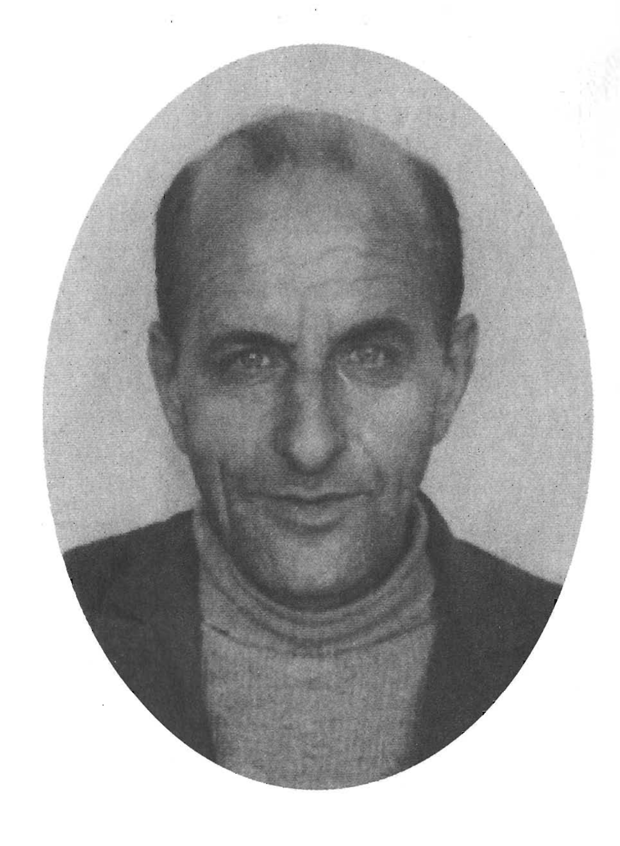
Сергей Волков

Возле монастырских стен



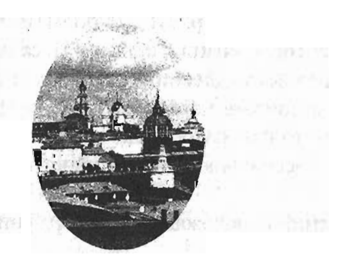




Сергей Волков

Возле монастырских стен

Мемуары. Дневники. Письма.



ИЗДАТЕЛЬСТВО
ГУМАНИТАРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва
2000

ББК 5.3.2
В 67

Волков С.А Возле монастырских стен. *Мемуары. - Дневники. Письма.* Публикация, вступительная статья, примечания. и указатель А.Л. Никитина. — М., "Издательство гуманитарной литературы", 2000. — 608 с. с илл.

В 67

ISBN 5-87121-022-8

В книгу избранной мемуарной прозы С.А. Волкова вошли воспоминания о последних годах Московской духовной академии, о ее студентах, преподавателях и профессорах — П.А.Флоренском, С.С.Глаголеве, Е.А.Воронцове, М.М.Тарееве, архимандрите Иларионе (Троицком), о встречах с патриархом Тихоном и митрополитом Антонием (Грановским), картины жизни Сергиева Посада в 1909-1970 и в середине 30-х гг. нашего века, дневники военных и послевоенных лет (1943-1948 гг.), а также письма последнего года жизни автора, представляющие многоплановую панораму культурной жизни России на протяжении более полувека. Рассчитана на широкий круг читателей.

В оформлении использованы фотографии Н.Н.Соловьева.

Фронтиспис — С.А. Волков, апрель 1952 г.



С.А.ВОЛКОВ И ЕГО МЕМУАРНОЕ НАСЛЕДИЕ

1

В 20-х и даже еще в 30-х годах нашего века Сергиев Посад, затем город Сергиев, а с 1930 г.— Загорск, которому только в 1991 г. было возвращено исконное имя, оставался явлением исключительным для посвященных. Маленький зеленый городок, веками слагавшийся под сенью величественных стен Троице-Сергиевой лавры, куда в 1814 году была переведена преобразованная митрополитом Платоном (Левшиным) Московская духовная академия, прямая наследница знаменитой Славяно-греко-латинской академии, к началу XX века стал играть роль одного из главных духовных и религиозных центров России. Он притягивал не только богомольцев. Сюда тянулись философы, писатели, художники, ученые. Здесь они оседали: одни — на время, другие — на всю оставшуюся жизнь. Их влекли древние храмы православной обители, редкие по красоте окрестности, уют и тишина провинциальной жизни всего в двух часах езды от Москвы. Привлекало уникальное собрание древних рукописей, четвертая по величине и значению для России научная библиотека, но, в первую очередь, та духовная элита, которую являл собой профессорско-преподавательский состав Академии. Лекции читали лучшие знатоки церковного права, знатоки древних языков, богословы, историки Церкви, специалисты по литургике и религиоведению. Большинство их жило в Сергиевом Посаде в собственных домах, подобно семьям белого духовенства и родственникам монашествующих.

Было и другое немаловажное обстоятельство. С конца 1917 года Сергиев Посад стал местом ссылки части пе-

тербургской и московской аристократии, интеллигенции, либеральной буржуазии. На его улицах можно было встретить бывших камергеров, фрейлин, журналистов, давно вышедших в отставку генералов, книгоиздателей и промышленников, деятелей земства и членов Государственной думы.

В этом удивительном мире на переломе двух эпох оказался молодой Сергей Александрович Волков.

Он родился 19 февраля 1899 года (по старому стилю) в селе Маврино Богородского уезда Московской губернии. Отец его, Александр Николаевич Волков, был крестьянин, мать — народная учительница. Семья оказалась не слишком благополучной: отец пил, довольно рано ушел из семьи и умер в 1930 г. Сын не любил о нем вспоминать. Мать, Любовь Александровна Волкова, умерла в 1935 году, и до конца ее дней он сохранял к ней удивительную сыновью любовь, а позднее — столь же нежную память, как и о ее сестре, Анне Александровне Поспеховой, своей тетке и «крестной матери», о которой он неоднократно вспоминает в дневниках и мемуарах. В Сергиев Посад семья Волковых переехала в 1909 году, по-видимому, в связи с поступлением С.А.Волкова в гимназию, которую он окончил в 1917 году, тогда же поступив в Московскую духовную академию. И хотя проучился он в последней недолго — весной 1919 года Академия была переведена в Москву, а затем и закрыта в 1920 г., — выбор этот оказал решающее влияние на всю его дальнейшую жизнь.

Вряд ли я ошибусь, если скажу, что С.А.Волков был рожден именно для Академии с ее торжественным богослужением, сопровождаемым древними распевами, с поисками древней мудрости, чувством сопричастности всей мировой культуре и истории человечества, с удивительным сплавом догматизма, порывов чистой веры и интеллектуального скептицизма. Это был мир в мире, сочетающий схоластику и экстаз, переплетающиеся с позитивным знанием, раз навсегда утвержденный ритуал и бесконечную изощренность утонченной философской мысли; мир, требующий от человека не такой уж большой аскезы, но зато предлагающий взамен все сокровища человеческого духа. Вот эта тяга к знанию, врожденное чувство мистицизма, великолепная память, редкий дар слушать и слышать собеседника позволили бывшему студенту МДА и после ее закрытия остаться в

среде наиболее ярких ее профессоров, будучи как бы их «общим келейником», которому те поверяли свои мысли, делились воспоминаниями и надеждами. Так был им сделан первый шаг в смешанное и одновременно изысканное общество Сергиева Посада.

Немаловажную роль при этом сыграло и следующее обстоятельство. С 1920 по 1954 г. С.А.Волков преподавал в средних школах, ремесленных училищах и на различных курсах г. Загорска, как был переименован в 1930 г. Сергиев Посад, русский язык, литературу, историю СССР, зарекомендовав себя с первых же шагов педагогом «милостию Божией». Энциклопедическая память, прекрасное знание предмета и чувство языка делали его уроки и публичные лекции своего рода праздником для учеников и слушателей. По самой природе своей С.А.Волков был не исследователем, а «хранителем предания», очень рано ощутив, что на его долю выпало, может быть, самое ответственное дело в те трудные годы — собирать, хранить и передавать последующим поколениям сокровища мировой культуры, которые тогда подвергались осмеянию и уничтожению. Все, что он смог получить из рук наставников, а в последующем и приумножить собственными трудами, он сторицей возвращал их детям и внукам, которых ему довелось обучать, воплощая в себе живую связь поколений.

Первые мои встречи с С.А.Волковым пришлись на страшные дни холодной и голодной зимы 1942/43г., и от них в памяти сохранилось немногое. Помнится узкая беленая комната с высоким потолком, в которой мы жили с матерью и бабушкой, с печкой у стены, — одна из келий бывшего Гефсиманского скита, а в то время — комплекса организаций Московского областного отдела социального обеспечения (МООСО) с больницей, в которой завхозом работала моя мать, В.Р.Никитина, и с общеобразовательными курсами для инвалидов войны, на которых преподавал русский язык, литературу, историю СССР и Конституцию С.А.Волков, живший этажом выше. Смутно помню его высокую, тощую фигуру в сером свитере, появлявшуюся у нас, несколько случайных замечаний, подаренную мне рукописную книжечку его стихов из цикла «Египет», которым я тогда увлекался, читая и перечитывая повествование Г.Картера и А.Мейса о раскопках гробницы Тутанхамона, — книжечку любовно и красочно оформленную одним из учеников

Волкова, А.Зморовичем, но дальше этого память отказывается высветить былое. Наряду с другими встречами и знакомствами тех мучительно тяжелых лет, эта казалась такой же случайной, почему и сам Волков уделил ей на страницах своего дневника 1943 г. всего несколько строк, тем более, что начались переезды, и уже в апреле 1943 г. мы потеряли друг друга из виду.

Истинное значение происшедшего выяснилось только спустя восемь лет, когда я учился в 8-м классе загорской школы № 1 и случайно возобновившееся знакомство стало для меня подарком судьбы в полном смысле этого слова. С тех пор и до самой смерти Волкова нас связывала искренняя дружба, насколько она была возможна при разнице возраста, творческих устремлений и обстоятельств жизни. Значение ее трудно переоценить. Исключительная в условиях провинциальной жизни тех лет библиотека С.А.Волкова, которой я мог широко пользоваться, а в еще большей степени — его беседы стали для меня тем университетом, который в духовном отношении дал неизмеримо больше, чем последующие годы учебы на историческом факультете МГУ.

Хорошо помню крохотную комнатку, бывшую комнату прислуги, в коммунальной квартире на четвертом этаже 4-го Дома Совета по проспекту Красной Армии, где Волков жил до самой своей смерти. Это была настоящая келья — четыре метра в длину и около двух метров в ширину. Дверь из коридора открывалась направо и внутрь, упираясь в полки с книгами. По правой стене стеллажи тянулись почти до окна, оставляя место лишь для крохотного столика, на котором стояла лампа со стеклянным зеленым абажуром, чернильница и вазочка с карандашами. Тут же лежали стопки тетрадей, книги, а позднее стояла еще и старая пишущая машинка со сбитым шрифтом, появлению которой особенно радовался хозяин. Над столиком висели фотографии П.А.Флоренского, с семьей которого Волков был дружен и близок, С.И.Огнёвой, несколько фотографий друзей молодости — А.П.Дурнова, В.П.Жалченко с С.А.Волковым на берегу Вифанского пруда, портрет А.С. Пушкина...

Слева от входа стояла узкая железная кровать, едва втиснувшаяся между стеной и притолокой двери, застеленная тонким шерстяным одеялом. Она упиралась в секретер карельской березы, откидная крышка которого

служила хозяину и его редким гостям обеденным столом. За секретером оставалось место только для узкого и высокого шкафа. Справа, в его большом отделении, висел выходной костюм и несколько рубашек; полки слева были заняты бельем, скудной обеденной посудой, но больше книгами, которые не предназначались для глаз случайных посетителей: Ф.Ницше, Л.Шестов, Н.Бердяев, М.Гершензон, З.Гиппиус, Д.Мережковский, Д.Философов, Р.Штейнер, Е.Блаватская, В.В.Розанов. Там же лежали тоненькие книжечки стихов Н.Гумилева, А.Ахматовой, О.Мандельштама и Вяч.Иванова. Над кроватью, в изголовье, висели гравюра Хиросиге из серии «Виды города Эдо», несколько рисунков карандашом и маслом его учеников, в том числе изображавший А.С.Пушкина в Тригорском, и цветные репродукции П.Гогена из «Ноа-ноа», изданного Я.Тугенхольдом. А на секретере, на столе в вазах и между стекол окна зимой цвел осенний сад из красных и желтых листьев, которые хозяин так любил собирать во время прогулок, сушить и закладывать в книги вместе с лепестками цветов.

Единственное высокое и узкое окно открывало вид на старый Конный двор, угловую Утичью башню Троице-Сергиевой лавры, на овраги, сады и березовые рощи, за которыми уже виднелись поля и перелески, подходившие в те годы с этой стороны чуть ли не к самым стенам Лавры...

Скуден был послевоенный быт, нищенским было наше существование, но какой контраст всему этому являли наши беседы, какой пир ума встречал меня каждый раз в этой крохотной келье, где жил, казалось бы, заурядный преподаватель русского языка и словесности! Над Загорском прокатились страшные 30-е годы, потом не менее страшные 40-е, прежних собеседников, друзей и учеников, выкосили репрессии, война, голод и старость, жить было трудно, и, встретив на улице худую и сутулую фигуру преподавателя ремесленного училища в черной форменной шинели и черной ушанке, несущего в кастрюльке скудный обед из столовой, кто мог подумать, что мысли его заняты воображаемым разговором с Платоном или с Анатолем Франсом, что он скандирует про себя чеканные строфы Вергилия на классической латыни или просто складывает очередные стихи?

Между тем, все так и было. Возвращаясь мыслями в годы моего военного детства и послевоенного отроче-

ства, всякий раз я с удивлением вспоминаю, какой богатой и яркой духовной жизнью многие из нас восполняли нищету окружающего быта. В мыслях и чувствах давно ушедших людей, в образах и красках давно умерших культур мы находили удивительно мощный противовес житейским невзгодам, черпали силы, чтобы выжить, и не просто выживали — жили! Вряд ли кто из моих тогдашних сверстников и соклассников понял бы, о чем мы говорили с Волковым при встречах в его келье, где интеллектуальный пир оказывался приправлен несколькими ложками постного винегрета, квашеной, только что принесенной с рынка капустой, половиной соленого огурца, отварной горячей картофелиной с постным маслом и луком, а по праздникам — стопкой водки. Чуть позже в наш обиход вошли пельмени, появившиеся в продаже, кусок тушеного с овощами мяса, однако главное заключалось в другом. Древний Восток, Египет, античность, европейское средневековье, Индия, Ренессанс, русская история, живопись, поэзия, философия, религия — вот что занимало наш ум и воображение, что открывалось для меня по-новому и внове, рождая множество вопросов, подстегивая желание все охватить, узнать и понять...

Но чаще всего разговор возвращался к нашему «серебряному веку», который расцвел, достиг своего апогея и был разрушен на глазах у моего учителя и собеседника.

Эта блестящая страница русской культуры была представлена в библиотеке С.А.Волкова отдельными годовыми комплектами «Аполлона», «Весов», «Мира искусства», изданиями футуристов, драгоценными книжечками стихов А.Блока, Ф.Сологуба, А.Белого, М.Цветаевой, К.Бальмонта, М.Кузмина и многих других. Именно здесь я их впервые листал, постепенно осознавая, наследником какого национального богатства на самом деле являюсь. Наверное, так же это открывали для себя и другие ученики Волкова, для которых настоящее тоже оказывалось не сиюминутным только, но частью огромной мировой культуры, общего дела всего человечества. Среди поэтов «серебряного века» для Волкова на первом месте стоял «мэтр» — В.Я.Брюсов, чьи книги, вышедшие в издательстве «Скорпион», украшены были дарственными надписями автора В.В.Розанову, дочь которого, Т.В.Розанова, жила дверь в дверь с Волковым на той же лестничной площадке.

Знаменательный перелом в жизни С.А.Волкова наступил в феврале 1954 г. Решившись порвать с бесцветным и нищенским существованием преподавателя ремесленного училища, он поступил на должность заведующего канцелярией в возрожденную после войны, вернувшуюся в свои древние стены Московскую духовную академию. На этой должности он проработал до 1960 г., когда вышел на пенсию. Но связи с Академией не порвались. Очень скоро после своего вступления в должность заведующий канцелярией получил приглашение преподавать в Академии русский язык аспирантам и студентам-иностранцам, что он продолжал делать и после выхода на пенсию.

Академия высоко ценила Волкова. Его блестящие лекции, яркий педагогический талант, способность дать справку по самым разнообразным вопросам лингвистических, исторических, философских знаний, указать соответствующую литературу, дать методические рекомендации, чем неизменно пользовалась новая профессура, ставили его в исключительное положение. Он был раритетом столь же ценным, как те, что хранились в Церковно-археологическом музее МДА, поскольку бегло говорил по-французски и по-немецки, при случае мог объясниться на латыни и разобрать без словаря греческий текст. Уже по одному этому его участие в приеме иностранных гостей оказывалось совершенно необходимым. Наконец, Волков был последним и единственным представителем старой Академии, на которую так хотела походить Академия нынешняя, а его присутствие в этих древних стенах как бы утверждало некую духовную преемственность.

Перемена места работы, а, в известной мере, и всего образа жизни, не могли не сказаться на моем наставнике и друге. Я замечал, как с годами менялись его взгляды, как прежний скепсис и несколько ироническое отношение к монашеству и Церкви в духе его любимого Анатоля Франса и аббата Жерома Куаньяра, с которым Волков порой сравнивал себя, постепенно уходили в тень, уступая место если и не глубокой религиозности, то радостной почтительности перед тем миром, в который он смог вернуться на склоне своих дней. Это не мешало ему оставаться с друзьями прежним свободомыслящим философом, скептиком и эпикурейцем: за свою жизнь он достаточно много повидал, прочитал и

передумал, чтобы обращать внимание на кажущиеся разногласия между умом и сердцем...

С.А.Волков умер в Загорске 21 августа 1965 года, оставив обширное творческое наследие, состоящее из стихов, мемуаров, дневников, переписки и фотографий. Его основная часть в автографах находится на хранении в РГАЛИ (ф.3127, подфонд С.А.Волкова, включающий полный корпус стихов, мемуары, дневники, переписка), в Краеведческом отделе Сергиево-Посадского государственного музея-заповедника (второй авторский вариант собрания стихов, фотографии, воспоминания и пр.), а также в рукописном отделе библиотеки Московской духовной академии (авторский экземпляр окончательного варианта «Воспоминаний о МДА», документы).

2

Обширное творческое наследие С.А.Волкова сохранилось, к сожалению, далеко не полностью. Он писал много и постоянно, писал всю свою жизнь — стихи (начиная с пятнадцати лет и до своей смерти), собранные им в книги-циклы, дневники (так называемый «Московский дневник» 1919-1920 гг., о котором он упоминает в сохранившихся рукописях, дневник 1943-1948 гг., а также ежедневные дневниковые записи на отдельных листах), и, наконец, мемуары под общим названием «Эрмитаж», к которым Волков приступил впервые в 1932 г., предполагая охватить ими всю свою жизнь, начиная с раннего детства, чтобы рассказать о всех замечательных людях, встреченных им на своем пути.

Долгое время я полагал, что Волкову так и не удалось в полной мере осуществить этот обширный план, хотя следы работы над отдельными его частями можно видеть в сохранившихся рукописях и дневниках. И только теперь я могу с уверенностью утверждать, что он смог довести свой грандиозный замысел до завершения. К тому моменту, когда С.А.Волков приступил к работе над воспоминаниями о МДА, основной труд его жизни был закончен, отредактирован и переписан в семь одинаково переплетенных «под красный мрамор» тетрадей большого формата (типа «амбарных книг» по 160 страниц в каждой), из которых первые четыре содержали «Эрмитаж», в трех последующих, по счастью сохра-

нившихся, находились дневниковые записи 1937-1948 гг. из серии «Сегодня» (5-я тетрадь), а в двух других (6-я и 7-я) — «Хрестоматия Servo», содержавшая, кроме выписок из книг с примечаниями переписчика, также неопубликованные тексты В.В.Розанова из архива его дочери, Т.В.Розановой. Что же касается четырех тетрадей «Эрмитажа», то они были затребованы местным отделом КГБ осенью 1965 г. вместе с другими рукописями, в том числе и с авторским экземпляром второго (дополненного) варианта «Воспоминаний о Московской Духовной Академии», у Е.А.Конева и не возвращены владельцу.

В результате от первоначального замысла «Эрмитажа» до нас дошли только отрывки: первая (черновая) тетрадь 1932 года, содержащая самые ранние воспоминания о детстве, переезде в Сергиев Посад, годах учебы в Сергиево-посадской гимназии, и окончательный (беловой) экземпляр истории дружбы мемуариста со своим учеником В.П.Жалченко, датированный осенью 1938 г.

Сами по себе оба этих отрывка «Эрмитажа» представляют интерес не столько литературный или исторический (особенно первые из них, как первый опыт работы в таком жанре), сколько биографический и, если так можно выразиться, интерес краеведческий. Это касается характеристик преподавателей мужской Сергиево-Посадской гимназии, их отношения к занятиям и ученикам, увлечения мемуаристом поэтами-модернистами, рассказа о дружбе с Алексеем Спасским, однако за всем тем читатель не найдет картины жизни города или эпохи, сколько-нибудь ощутимых примет времени, память о которых, как, например, о приезде в Сергиев Посад царской семьи в 1913 году, отразилась в воспоминаниях об МДА. Столь же мало эта внешняя жизнь просочилась на страницы воспоминаний о дружбе Волкова со своим учеником В.П.Жалченко, протекавшей на фоне трагического десятилетия 30-х годов. Впрочем, в последнем случае могла сказаться и жесточайшая самоцензура мемуариста, поскольку повествование связано с семьей ссыльного П.А.Флоренского и написано Волковым по свежим следам, в самый «разгар ежовщины», будучи отражением глубоко интимных чувств, волновавших его в то время.

И все же этот опыт, продолженный позднее, уже в годы войны, при работе над не дошедшими до нас гла-

вами «Эрмитажа», позволил мемуаристу незадолго до смерти вернуться к первым наброскам, чтобы создать самостоятельное и законченное произведение, которое с полным правом ввело имя С.А.Волкова в число наиболее примечательных историков и бытописателей русской жизни первой четверти XX века — воспоминания о последних годах Московской духовной академии или, как озаглавил рукопись сам автор, «Finis Academiae».

Действительно, в обширной русской мемуаристике, посвященной событиям первой четверти XX века, «Воспоминания о Московской духовной академии» С.А.Волкова уникальны. Их автор оказался единственным летописцем и бытописателем последних лет жизни крупнейшего духовного центра России, о котором мы практически ничего не знаем. Как показывает Волков, Московская духовная академия была отнюдь не специальным духовным училищем. Скорее, она представляла собой центр, который направлял научные исследования в области философии, литургики, богословия, этики, филологии, древней гимнографии, осуществлял научные публикации самостоятельных исследований и переводов трудов древних и новых зарубежных мыслителей. В ней преподавали люди, одновременно возглавлявшие кафедры в Московском университете, а список тем кандидатских сочинений, который приводит Волков, практически не отличается от университетского, превосходя его разве что более глубоким философским и социологическим анализом. Наряду со специальными, в Академии существовали кафедры истории, философии, филологии, истории древней и новой литературы. Ее окончание вовсе не обязывало выпускника к получению духовного сана или к занятию вакантного места в той или иной епархии. Очень часто он продолжал свою научную или педагогическую деятельность на светском поприще, в университете или в гимназии.

Естественно, что обучение в Академии и научная работа в ее стенах не должны были вступать в противоречие с догматами православия. Однако уже из рассказов С.А.Волкова о диспутах, происходивших при защите магистерских диссертаций, можно видеть, что в начале XX века традиционное русское православие начинало трансформироваться в нечто новое под влиянием научных открытий и философских течений современности. Можно утверждать, что начиная с 1900-х годов Академия и,

в какой-то мере, русская Церковь пытались идти в ногу с развитием всего русского общества — в чем-то поспешая за ним, а в чем-то даже его обгоняя. Особенно хорошо это видно из того круга чтения, который обеспечивали профессорам и студентам две академические библиотеки — фундаментальная и студенческая. Здесь были представлены все общественно-политические и литературно-художественные журналы, зарубежная периодика, не говоря уже о современной поэзии и беллетристике. И здесь же, на полках, ожидали своих читателей работы русских и немецких социал-демократов, анархо-синдикалистов, сочинения К.Маркса, К.Каутского, Г.В.Плеханова, даже И.И.Мечникова и К.А.Тимирязева, проводивших последовательную пропаганду дарвинизма и атеизма.

В своих мемуарах С.А.Волков рисует живой облик профессоров и студентов Академии, показывает их характеры, рассказывает о причудах и человеческих слабостях. Можно подосадовать, что портрет человека часто ограничивается у него наброском случайной или юмористической ситуации, поскольку нам не с чем сравнить этот рассказ, нечем его дополнить. Но и это объяснимо. Будучи приходящим студентом, Волков в те годы встречался во своими сокурсниками и наставниками только на лекциях, на торжественных актах, на богослужении или в коридорах Академии. Такие встречи не способствовали сближению. А после закрытия Академии разница лет и специфика интересов уже не могли дать большого материала мемуаристу.

В воспоминаниях С.А.Волкова напрасно искать экзальтированных подвижников, добровольных мучеников и аскетов. Такие люди, по всей видимости, были, но он с ними не встретился или не успел их разглядеть. Для нас гораздо ценнее — и цельнее — выступающие на страницах его мемуаров фигуры людей, нашедших себя в жизни и отдавшихся без остатка тому, что они полагали своим долгом. Таковы очерченные несколькими штрихами академический духовник игумен Ипполит, великий смиренник Порфирий (Соколов), страстный ревнитель церковного дела, влюбленный в возвышенную красоту богослужений Иларион «Великий». Характерен жизненный путь профессора Е.А.Воронцова. Ученый с мировым именем, он ощутил тщету собранного им научного знания, отказался от спокойного и почет-

ного места в центральной библиотеке страны и вступил на «крестный путь» службы приходского священника, чтобы своим словом нести утешение нуждающимся. Он не снял сан, подобно Феодосию (Пясецкому), не покинул вверенную ему паству — наоборот, пришел к ней в самое нужное и трудное время. То же можно сказать о Варфоломее (Ремове), Вассиане (Пятницком) и многих других, кто в те дни принял на себя добровольный крест служения, ничего не обещавший им, кроме гонений, ссылок, концлагерей и застенков ОГПУ.

Разобщенные, лишенные семей, близких, сочувствия и уважения окружающих, натравливаемых на них властями, они как бы повторяли путь «неистового протопопа» Аввакума, только в отличие от него отстаивали не прошлое, а будущее Церкви, выступали в защиту не мелочной обрядности, но самого духа веры. Они не оставили своих мемуаров, как не оставили нам и своих могил.

Этих людей можно было уничтожить физически, но не сломить. Таким предстает в рассказе случайного собеседника автора увиденный им на строительстве очередного сибирского тракта «священник, ученый с мировой известностью»; такими видим священнослужителей, уходивших по этапу на страшные Соловки, в воркутинские, колымские, казахстанские лагеря, как если бы их вел не приговор «Тройки», а долг быть среди тех, кого они считали своей паствой...

Касаясь вопросов веры и неверия, Волков проявлял осторожность и тактичность, понимая, как непросто решается каждый из этих вопросов в разных случаях. Развитие научных знаний о мире уже в его время заставило богословов Запада и Востока молчаливо обходить признание некоторых догматов, допуская возможность индивидуального решения этих вопросов.

Нам, людям конца XX века, разобраться в этих проблемах так же трудно, как обнаружить элементы «неправославия» в магистерской диссертации Флоренского или уклон к протестантизму в работах М.М.Тареева. Зато гораздо понятнее склад ума таких ученых, как Е.А.Воронцов или Вассиан (Пятницкий), чья глубокая, искренняя вера ничуть не мешала их научной деятельности и критическому подходу при анализе древних текстов. Стоит напомнить, что таким же глубоко верующим человеком был великий русский физиолог И.П.Павлов, которому не приходило в голову среди ок-

рованленных мускулов искать бессмертную душу именно потому, что как ученый, он умел разграничивать дух и материю. Впрочем, что знаем мы не только о душе человека, но о нем самом?

3

В воспоминаниях об МДА мы не найдем сколько-нибудь широкой картины жизни тех лет. Они сугубо субъективны, и это не метафора, а точное их определение. С.А.Волков писал не просто о том, что сам он видел и слышал: даже из виденного он выбирал лищь то, что привлекало его внимание и западало в душу, как это можно видеть и по его дневникам 1943-1948 гг. Остальное для него как бы не существовало.

Как признается в одном из примечаний сам Волков, с детства он был «книжной душой» — в том смысле, в каком употреблял это выражение любимый им А.Франс, — воспринимая окружающий мир исключительно посредством книг и через книги. Как в гимназии ему претило изучение точных и биологических наук, так в Академии увлекало духовное знание, мистицизм и визионерство. До конца своих дней Волков любил сны, жил ими, записывал их и этим, по-видимому, тоже защищался от реальности быта. Воснове своей он был истинным, редчайшей силы поэтом, все устремления которого были направлены не на активное творчество, а на создание мира грез, в который он уходил, как в книги. Его завораживали переливы красок закатов, музыкальность гласных, гармония звуков. Неудивительно, что наиболее полное соответствие этому он находил в торжественном таинстве богослужения православной Церкви, в красоте древних распевов, в романтике пожелтевших листов давно забытых книг.

Так же, как для философов и теологов позднего Возрождения и барокко, слово для него *«являлось не выражением абстракции, а ее квинтэссенцией»*. И точно так же в поэзии русских символистов он отыскивал не путь к зашифрованному постижению мира, а всего только искусное «плетение словес», пьянящих его своими сочетаниями.

Подлинную гармонию бытия в годы своей юности Волков находил *«в тихой сводчатой комнате старинного*

елизаветинского чертога, с толстыми стенами и маленькими окнами, выходящими на север», где жили его ближайшие друзья по Академии — студенты-монахи. Там его окружали голубые стены, лепной потолок, лампады, мерцающие перед образами, огромные стеллажи, уставленные книгами, зеленые абажуры электрических ламп на больших письменных столах и всюду — книги, книги и книги. То, что происходило за стенами этой комнаты, как он пишет сам, *«отталкивало своей грубостью, а подчас и жестокостью... в хаосе разрушения и озлобленной вражды ко всему старому, в том числе и к религии»*. Другими словами, молчание Волкова объясняется не столько его забывчивостью, сколько активной позицией неприятия хаоса во имя сохранения истинной и непреходящей гармонии. И для того, чтобы выполнить свой долг до конца, он обратился к перу и бумаге.

В основу воспоминаний С.А.Волкова положены его устные рассказы о людях Академии. Отсюда идет лаконичность, отточенность повествования и эффектность концовок, роднящие каждый рассказ с анекдотом. В устной передаче это подчеркивалось еще мимикой, интонацией и жестом. Мне неоднократно случалось слышать эти рассказы от их автора в разное время и в разной аранжировке, с комментариями и даже дополнениями по тому или иному случаю. И я думаю теперь, что их отработанность на определенную аудиторию, в конце концов, помешала Волкову в последующих попытках литературного развития сюжетов. Мысль записать их возникла у него в начале 30-х годов (1932-1934), как можно с уверенностью датировать наиболее ранние тетради, сохранившиеся в его архиве. Именно тогда определилась структура первой половины его мемуаров, ядром которой стали портреты-характеристики Илариона, Д.В.Рождественского, С.С.Глаголева и других профессоров Академии.

Вторично Волков приступает к продолжению и развитию своих воспоминаний в 1941 году, вероятнее всего, осенью и в начале зимы. Вряд ли я ошибусь, предположив, что толчком послужило его возвращение в родные когда-то стены Лавры и бывшей Академии, где тогда помещался Музей народных художественных ремесел и Загорский государственный музей-заповедник. Старший научный сотрудник обоих этих учреждений, С.А.Волков особенно остро мог вновь пережить годы

своей юности, работая с документами по истории Лавры, составляя библиографические указатели и архивные справки по архитектурным памятникам Лавры, встречая на каждом шагу имена своих академических наставников, которые так много сделали для спасения историко-художественных сокровищ монастыря и библиотеки бывшей Академии.

Завершающий период работы над мемуарами об Академии пришелся на начало 60-х годов, когда Волков ушел на пенсию, оставшись столь же тесно связан со своей alma mater, как и ранее. Его маленький рабочий столик постоянно был заложен стопками книг и связками годовых комплектов журналов; такие же связки лежали и на полу. От этого периода осталось множество выписок — обширные цитаты из статей, рецензий и протоколов заседаний Ученого совета МДА, списки бывших студентов, преподавателей и профессоров, их биографические справки, библиография их трудов, хроника жизни Академии, различные любопытные и курьезные факты.

Теперь, обладая достаточным для работы временем, пенсией, будучи освобожден от многих хозяйственных забот, поскольку С.А.Волкову было разрешено пользоваться академической столовой, он мог вернуться к воспоминаниям о людях, которых знал в годы юности. Менялся за эти десятилетия мир, менялся он сам, менялись его взгляды. Одно забывалось, другое по прошествии времени получало несколько иную оценку, третье просто отступало в тень, как несущественное. Волков не просто вернулся в стены возрожденной Академии: с годами он все более возвращался под ее духовную сень, сознательно утверждаясь в православии. Церковь становилась, в известном смысле, его *домом*, поэтому на многое он уже смотрел сквозь синеватый дым курильниц, в которых мерцало пламя тонких восковых свечей и множились блики золоченых окладов иконостаса. Отсюда и ощутимый пиетет перед своими учителями и наставниками, и сладостная радость переживаемого соборного служения. И если он не захотел отказаться совсем от памятных ему анекдотов, связанных с тем или иным персонажем, то лишь по причине того, что живым и близким для читателя человек становится не через подвиг, а именно через мелочи жизни и человеческие слабости и поступки...

Рукопись «Воспоминаний» объемом около 20 авторских листов была закончена им в августе 1964 года, как датировано новое «Вступление». Ее первая часть содержала текст собственно воспоминаний, вторая — поправки, дополнения и примечания. Однако Волков продолжал работать над текстом, внося уточнения, дописывая и расширяя его. Как мне известно, окончательный вариант был им подготовлен к лету 1965 года, когда его первый экземпляр с фотографией и негативом был передан автором в МДА, а второй — одному из ближайших друзей и бывшему ученику, Е.А.Коневу. После смерти Волкова, осенью 1965 года, этот второй экземпляр вместе с четырьмя книгами «Эрмитажа» был затребован у владельца районным отделом КГБ «на прочтение» — и так и не возвращен... Были ли рукописи уничтожены или до сих пор пылятся в одном из секретных хранилищ этого ведомства — выяснить не удалось, однако в последующее время в «самиздате» получил распространение первый вариант «Воспоминаний», отличавшийся меньшим количеством номеров примечаний (196 вместо последующих 210, как читается в случайно сохранившимся черновом авторском экземпляре с правкой Волкова), который и был положен в основу первоначальных публикаций.

Предприняв работу по подготовке воспоминаний С.А.Волкова к изданию, я не раз задавался вопросом, почему за четверть века со дня смерти их автора они так и не увидели свет на Западе? Тем более, что в отличие от других, менее известных мемуаров, эти довольно широко ходили по Москве в начале 70-х годов и были вполне доступны для экспорта. Вероятно, причин можно назвать много. Среди них уже отмеченная мною аполитичность автора, смягчавшего в своих воспоминаниях остроту и трагизм описываемых событий, его безусловная приверженность православной Церкви, ощутимо противопоставляемой католической и реформаторской церквам Запада, но главное, как мне представляется, необходимость серьезной литературной работы над рукописью.

С.А.Волков писал много, писал всю жизнь, выработав великолепный почерк человека, получившего законченное образование в классической гимназии. Однако фразы, выходившие из-под его пера, часто оказывались всего только красивы: глубокие мысли и чувства, кото-

рые он хотел выразить, нередко превращались в бесцветные «общие места». О причине этого я сказал выше: слово представляло для него самодовлеющий факт эстетического восприятия, не позволяя мысли использовать его лишь как материал для своего выражения. Он жил словами и в плену слов, как мне кажется, вполне сознавая это. Поэтому Волков не столько постулировал, сколько оправдывался перед своим возможным читателем, когда писал в дневнике: *«Я определенно убежден, что писать надо, если у тебя есть что сказать. Надо писать и для себя самого, во-первых, и затем для других. Многое уясняется лучше, когда об этом скажешь, и еще лучше, когда напишешь. Тогда отчетливее видишь, что ты сумел выразить и что не охвачено словом... Каждый писатель, как бы слаб он ни был, должен верить в то, что он причастен великому деланию, что и его слова хоть кому-нибудь да окажутся нужными и близкими. Иначе не стоит не только писать, но и жить»*.

В авторской рукописи «Воспоминаний» подобная противоречивость выступает особенно отчетливо. Желая расширить и переработать уже законченные портретные очерки, достаточно завершенные, чтобы жить самостоятельной литературной жизнью, Волков «разбавил» их обширными философскими, библиографическими экскурсами и отступлениями. Особенно показательна глава о Флоренском. Попытка сказать как можно больше о кумире своей молодости, одновременно дав портрет преподавателя, человека и ученого, привела его к загромождению текста многочисленными цитатами из публикаций и отзывов рецензентов. В результате оказалась полностью нарушена композиционная целостность и запутана последовательность событий. Больше того. Сам по себе яркий и любопытный факт, как, например, отзыв С.С.Глаголева, рекомендовавшего Флоренского в 1908 году на вакантную кафедру истории философии, представал чужеродным телом, вызывая у читателя недоумение и досаду. То же самое можно сказать и о большинстве приведенных отзывов на его книгу «Столп и утверждение Истины».

Конечно, эти материалы могут быть небесполезны исследователю жизненного и, в особенности, творческого пути П.А.Флоренского, однако с ними он может познакомиться по первоисточникам. Что касается широкого читателя, то, как мне кажется, для него важнее

узнать Флоренского как человека, как личность, и только после этого знакомства у него может возникнуть интерес к трудам ученого, предмет которых полностью остался за пределами рассказа мемуариста.

Вот почему в процессе подготовки рукописи Волкова к печати пришлось пойти по пути максимального сокращения таких привнесенных текстов. То же относится и к библиографии, занимавшей примерно 4/5 объема второй части рукописи. Почти к каждому имени, все равно, героя повествования или случайно упомянутого автора, Волков приводит возможно более полный список его печатных трудов, а часто и работ других исследователей, высказывавшихся или писавших по тому же вопросу.

Так, упоминая поэта Вяч.Иванова, он счел необходимым перечислить все известные ему книги поэта, включая и работы его критиков. То же он делает в отношении других поэтов и писателей — А.Белого, А.А.Блока, В.Я.Брюсова, З.Н.Гиппиус, Д.С.Мережковского, теософов и антропософов — Е.П.Блаватской, А.Безант, Р.Штейнера и пр. Обширную библиографию Волков приводит под именами Ф.Ницше, Н.А.Бердяева, Л.Шестова, В.В.Розанова, а также зарубежных философов, модных в те годы, — А.Бергсона, Э.Бутру, У.Джемса и других, на которых неоднократно ссылается. В начале 60-х годов подобные библиографические справки обладали безусловной ценностью, поскольку советский читатель не знал не только книг, но часто даже имен этих людей. Теперь же, когда П.А.Флоренский, Н.А.Бердяев, Ф.Ницше, В.В.Розанов и другие «мракобесы», как именовали их в годы советской жизни, упоминаются с пиететом на страницах нашей центральной печати, а их сочинения постоянно переиздаются, подобные обзоры оказываются излишними.

Поэтому, за исключением прямых отсылок к той или иной книге, я счел целесообразным ограничить комментарий Волкова указаниями на работы лиц преимущественно духовного звания, чьи труды до сих пор остаются неизвестными большинству историков и философов, не говоря уже о широком круге читателей.

Одновременно, в процессе работы следовало найти место многим эпизодам, уточнениям, дополнениям и прямым исправлениям основного текста, которые находились в авторских комментариях. Последнее, в свою

очередь, потребовало коренной переработки структуры воспоминаний, поскольку перед пишущим стояла задача по возможности сохранить весь объем фактов, приводимых Волковым, не искажая их оценок и эмоциональной окраски, и, в то же время, сохранить характерные интонации, строй фразы и образную систему языка мемуариста. Вот почему, например, глава о том же Флоренском, опубликованная в сокращенном виде журналом «Наука и религия» (1989, № 9, с. 44-47), отражает начальный этап работы над мемуарами и в деталях отличается от публикуемого ныне текста и публикации в журнале «Путь» (1994, № 5, с. 160-182). Наконец, серьезным препятствием для читателя оказывалась крайне запутанная внутренняя хронология «Воспоминаний», потребовавшая специальных сопоставлений и расчетов.

К примеру, рассказ иеромонаха Вассиана о том, как иеродиакон Гавриил (Мануилов) торопился поскорее закончить службу, поскольку был приглашен одной из своих почитательниц на ветчину (!), мог иметь место не позднее лета 1918 года, когда Гавриил уехал в Константинополь. Между тем, в рукописи этот эпизод помещен автором среди событий 1919-1920 годов. Точно так же поездка С.А.Волкова к патриарху Тихону с просьбой поставить Е.А.Воронцова настоятелем Пятницкой церкви, куда переместился академический приход, могла произойти лишь в ноябре-декабре 1919 года, когда из Лавры были выселены монахи, а поездка к «живоцерковному» митрополиту Антонину (Грановскому) — не позднее июня 1920 года, когда Вассиан и Варфоломей еще проживали в Сергиеве на частной квартире.

Столь же трудно было понять, что автор воспоминаний приложился к черепу преподобного Сергия на следующий же день после вскрытия мощей, а не в 1941 году, когда он работал в Историко-художественном музее Лавры, как то можно заключить из текста рукописи. Однако последнее находится в явном противоречии с сообщением о печатях Наркомюста: наложенные на стекло раки в 1919 году, они были сняты только по возвращении мощей из эвакуации после войны.

В ряде случаев в тексте можно было встретить факты, взаимно исключающие друг друга. Так, в одной из последних глав Волков сообщает, что Вассиан был рукоположен в епископы и уехал в Егорьевск, где достиг сана архиепископа и примыкал к какому-то церковному

расколу нашего времени. Но через две страницы оказывается, что сразу после хиротонии Вассиан был арестован, а его замечательная библиотека, пополненная частью библиотеки Е.А.Воронцова, — конфискована и, по-видимому, сожжена. Поскольку первое известие, как опирающееся на большое пространство времени и фактов (уехал в Егорьевск, стал архиепископом, примыкал к расколу), представляется более верным, приходится допустить, что арест (если он был) оказался кратким, а потому и библиотека была возвращена новопоставленному епископу. Именно поэтому «конфискованные» книги не поступили в бывшую академическую библиотеку к К.М.Попову, — факт, на основании которого Волков предположил их гибель...

Однако, повторяю, не эти исправимые недочеты определяют для нас значение мемуаров С.А.Волкова, а тот вклад в возрождение национальной русской культуры, который они в себе несут. «Воспоминания» служат связующим звеном между нашим прошлым и нашим настоящим. Отсутствие его отчетливо выявилось уже в момент празднования 1000-летия крещения Руси и общественного признания заслуг русской православной Церкви. Готовы к этому оказались только немногие. Между тем, рассказывая о Московской духовной академии и ее людях, мемуарист, по существу, рассказывает нам о том огромном культурном и научном значении, которое имела в начале века религиозная мысль в России. Московская духовная академия, несмотря на свои специфические черты, была одним из ведущих центров духовной жизни общества, без учета которых трудно, а, зачастую, и невозможно понять пути и тенденции его развития. В этой связи уместно напомнить слова П.Н.Каптерева, которыми С.А.Волков завершает свой рассказ о последних годах МДА: «*Она не была замкнутым учреждением, ведавшим лишь профессиональные нужды и насаждавшим лишь узкое богословское образование, а стояла в неразрывной органической связи с общим течением русской мысли и науки, занимая в не одно из видных мест...*»

4

Как я отметил выше, воспоминания о людях «старой» Московской духовной академии первоначально представ-

лялись Волкову только одной из глав обширного корпуса мемуаров, который он пополнял и переписывал неоднократно, поясняя в дневнике военных лет: *«Мне хочется, чтобы «Эрмитаж» стал как бы энциклопедией моей жизни. Туда войдет всё, кроме стихов, и этот дневник, который теперь буду вести непрерывно до конца жизни...»*

Дневник 1943-1948 гг. в том виде, в котором он сейчас известен, в послевоенные годы прерывался, а потом оборвался так же внезапно, как и был начат, в 1948 году, отметившем гибельный рубеж для многих россиян, так что, вполне вероятно, его прекращение было обусловлено не отсутствием времени, а боязнью за себя и упоминаемых в нем лиц. Он сохранился в виде двух стоп самодельных тетрадей большого и малого формата общим объемом около 30 авторских листов — «Большой дневник», содержащий, кроме собственно дневниковых записей, размышления о пережитом или прочитанном, стихи, записываемые по мере их возникновения, обширные выписки из книг, и его продолжение — «Малый дневник», ограниченный записями почти исключительно событийного характера. И хотя главным для автора того и другого дневника остаются его собственные мысли и переживания, ежедневная летопись его жизни, страданий, интересов и надежд невольно становится летописью жизни провинциального советского интеллигента, отражающей жизнь окружающую, то есть ценнейшим историческим документом.

Волков начал вести эти записи в марте 1943 года, когда наступил ощутимый перелом в ходе второй мировой войны и советские войска перешли из обороны в наступление — на Волховском фронте была прорвана блокада Ленинграда, разгромлена группировка немецких войск под Сталинградом, началось наступление на Ростовском направлении, на Северном Кавказе, в районе Новороссийска и на других фронтах, создавая предпосылки для общего контрнаступления, блестяще реализованного затем на протяжении последующих месяцев этого года. Собственно говоря, этот перелом в военных действиях, надежда на победу, пусть еще не скорую, и вызвал у Волкова неосознанную им самим новую тягу к жизни и желание записывать свои мысли и чувства. Наступала вторая военная весна, однако, в отличие от предыдущей, она сопровождалась уже не только

«похоронками», приходившими с фронта, но и фейерверками победных салютов. И с этого момента читатель может следить как за жизнью самого Волкова, так и за жизнью окружающего его мира маленького городка, которая откладывается в ежедневных записях то заметкой, то событием, то случайной зарисовкой, позволяющими из отдельных кусочков такой мозаики постепенно складывать целостную картину времени.

Так он записывает слухи об открытии церквей, известие о ликвидации Коминтерна, о посещении выставки трофейного оружия в Москве, которую и я хорошо помню, отмечает открытие Второго фронта в Европе, капитуляцию Италии, выборы патриарха, ликование по поводу долгожданной победы над Германией, о тяжелой для него вести об аресте К.Гамсуна за сотрудничество с норвежскими фашистами, записывает рассказ о жизни в Восточной Пруссии, разгроме Японии, об ударе, каким стало для него печально известное Постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», о раскопках в усыпальнице Годуновых, выставке работ загорских художников и о многом другом, что, собственно говоря, и составляет событийную ткань тех лет.

Теперь, по прошествии более полувека, все оказывается важным в этой летописи: ощущения людей, их мысли, работа, их быт, книги, которые они читали, реакция на события, последствия которых они не могли предугадать, размышления о перспективах дальнейшей жизни... И в этом плане особенно интересно следить за эволюцией самого Волкова, в первую очередь, за его растущим интересом к религии, христианству, к восстановлению в России Церкви, как таковой, за всем тем, что постепенно предопределило его возвращение через несколько лет в возрожденную Академию, сначала в качестве заведующего канцелярией, а потом и преподавателя, завершившего некий жизненный круг, зримым воплощением которого стали его воспоминания об МДА, оттеснив все остальное на второй план.

В дневниковых записях С.А.Волкова историки и краеведы Сергиева Посада найдут много интересных упоминаний о событиях тех лет, смогут проследить по этим записям дружеские связи и знакомства Волкова, и, конечно же, в первую очередь для них будут особенно интересны его записи, связанные с семьей Флоренских, с дочерью В.В.Розанова — Т.В.Розановой, с судьбами его

учеников... Однако для меня главной ценностью этого человеческого документа остается возможность проследить сложный путь свободомыслящего философа-эрудита, на протяжении долгих лет советской жизни хранившего в сердце под пеплом скепсиса и агностицизма теплую веру в Бога, к возрождавшейся православной русской Церкви.

Путь этот был сложен и нелёгок, не случайно еще в 1943 г. Волков записывал: *«Своим путем, сам, без понуждения <...> я готов придти ко Христу, но хочу его видеть в Церкви и сам найти добровольно свое место в Церкви. Отсюда и моя резкая критика Церкви вообще и русской — в частности: я слишком люблю ее, чтобы не болеть за нее, не страдать ее язвами...»* Такое признание дорого стоит, и здесь совсем не пустые слова. Будучи захвачен еще в юности, если можно так выразиться, «романтикой Церкви», в дальнейшем Волков, как признается он сам, отошел от нее под влиянием жизни, внешних обстоятельств, и, в известной мере, по причине слишком близкого знакомства с ее внутренней жизнью и бытом, встававшими в противоречие с чаемыми идеалами. Таких противоречий оказывалось слишком много не только в быту ее, но и в предании, и для ищущего, думающего и тонко чувствующего человека, каким был всегда Волков, «путь к Храму» теперь лежал не через обрядность православия, а проходил через его собственное сердце, когда за обрядами и богословскими догмами открывается нечто большее, чем только вера, надежда и любовь к ближнему своему.

Но этот «отход», как выяснилось с годами, был не расхождением с прошлым, а всего только поворотами жизненного пути, который неумолимо вел Волкова через все испытания назад, к Церкви, о чем сам мемуарист писал на заключительных страницах воспоминаний о своей alma mater, оставшихся в рукописи и так и не вошедших в книгу: *«Я пришел в Академию с простой, может быть, наивной верой детских лет, которую во мне не истребила типичная интеллигентская иррелигиозность, порядком распространенная в стенах гимназии. Но в этой моей вере была ясность, любовь, устремленность и доверчивость к прекрасному и высокому духовному миру, сквозившему для меня как глубочайшая сущность всего истинно прекрасного и возвышенного в явлениях видимого мира. В Академии я старался найти основание и утверждение для*

своих интуиций, умозрений и чувствований. Лекции и труды лучших профессоров помогли мне в этом. Я не только увидел, но глубоко прочувствовал и всем своим разумением постиг, что эти люди, владеющие современными методами познания, обогащенные сокровищами вековых научных достижений, стоящие часто наравне с лучшими учеными Запада, а иногда и превосходящие их (Флоренский), порой могут быть и скептиками, даже обладать человеческими слабостями. Но этот скепсис — лишь временное состояние ищущей и целеустремленной души, он распространяется только на явления мира сего, где все преходяще и тленно. <...> И у наставников моих я не слышал нот пессимизма или отчаяния. Я сумел услышать от них слова об особом знании — вéдении, основанном на вере, дарующей человеку видéние по слову Апостола: «Есть же вера уповаемых извещение, вещей обличение невидимых». И вот эту веру я видел и чувствовал в них и у них не только в словах, но и во всем существе их в самые ответственные моменты их жизни. Она очищала их от житейского суетного сора, просвещала и выпрямляла их души, помогала им «отложить всякое житейское попечение», подвизала их «жить верою в Сына Божия»»**.*

В этом плане чрезвычайно любопытны письма Волкова, адресованные в последний год его жизни к В.П.Жалченко и сохраненные вдовой последнего. Они предстают своего рода итогом жизни, привязанностей, интересов, отношения к миру и людям. Их автор еще не подозревает, что ему осталось совсем немного времени, и все же в этих письмах звучит нечто завершающее, своего рода заключительные аккорды, в которых перед знающими слушателями возникают отголоски мотивов начальных мелодий. Волков как бы проходится по всей своей жизни, известной его корреспонденту, напоминает ему былые шутки, слегка кокетничает своим показным вольнодумством, но в это уже не особенно веришь, потому что за шуткой звучит глубокая примиренность и спокойствие человека, отходящего от суеты жизни.

Примечательно, что в последней, уже предсмертной открытке уехавшему на Камчатку Жалченко Волков не прощается со своим бывшим, некогда самым любимым учеником — он лишь просит его не писать, пока сам

---

* Евр.11, 1.
** Гал.2, 20.

ему не напишет, — оставляя адресата в неведении о действительном положении дел, хотя в тот же день пишет другое письмо — протоиерею А.Д.Остапову, секретарю Ученого Совета и заведующему Церковно-археологическим кабинетом МДА, которое является как бы духовным завещанием Волкова-христианина, уходящего из нашего мира с верой и смирением, с просьбой к глубоко любимой им Академии отпеть его по православному чину, *«ибо,— пишет он,— несмотря на все мои вольнодумства, в глубине души я — православный»*. Путь завершен. Долгий и сложный путь мыслителя, жизнь которого была постоянным поиском гармонии между человеком и окружающим его миром...

5

Опубликованные мною в 1995 г. «Воспоминания о Московской духовной академии» С.А.Волкова (С.Волков. Последние у Троицы. М.-СПб., 1995) были с интересом встречены читателями, и книга сразу же стала библиографической редкостью, учитывая ее ничтожный тираж в 1000 экземпляров. В настоящем сборнике, подготовленном к 100-летию со дня рождения мемуариста, я поставил своей задачей познакомить читателя с основной частью прозаического наследия моего покойного друга, воссоздающего достаточно полную панораму прожитой им жизни. Она охватывает детство Волкова и его гимназические годы («В Сергиевом Посаде»), годы учебы в МДА («Последние у Троицы»), события середины 30-х годов («Ultima vale»), военные и послевоенные годы, представленные последовательными и наиболее существенными по содержанию фрагментами из дневников 1943-1948 гг., и последние полгода жизни, отразившиеся в письмах Волкова 1965 г. к В.П.Жалченко и к А.Остапову. Существенным дополнением этой картины служат составленные Волковым для «Эрмитажа» конспекты событий его жизни за 1913-1919 и за 1935-1945 гг. («Вехи»), а также «Автобиография», написанная С.А.Волковым 29.1.1954 г. при поступлении на работу в МДА.

Воспоминания Волкова о годах детства и гимназии, сохранившиеся в черновом варианте, потребовали большой стилистической редактуры, которую, вне сомнения, предпринял бы и сам автор, если бы имел такую

возможность. Что касается дневника, то, ввиду его большого объема, при подготовке публикации пришлось пойти на значительные сокращения, отказавшись от воспроизведения обширных цитат, занимающих порою многие страницы, стихов самого Волкова, включавшихся им в «Большой дневник» по мере их написания, копий писем к ученикам, а также ряда записей сугубо личного характера, не представляющих интереса для широкого читателя. В тексте эти сокращения специально не оговариваются. Остается надеяться, что когда-нибудь эти интереснейшие документы эпохи будут изданы полностью, как и все обширное поэтическое наследие мемуариста.

К сожалению, при подготовке книги не удалось реализовать первоначальный замысел — дать, по возможности, биографические сведения обо всех упоминаемых в воспоминаниях и дневниках людях, с которыми встречался мемуарист, в первую очередь, о людях, связанных с Сергиевым Посадом и его жизнью. Остается надеяться, что восполнить этот пробел помогут читатели книги после ее выхода в свет, адресуя имеющуюся у них информацию в Краеведческий отдел Сергиево-Посадского государственного музея-заповедника. Будущим исследователям творчества Волкова предстоит также выявить статьи и заметки, печатавшиеся им изредка в районной газете «Вперед», из которых сейчас известны только две — «Лермонтов в Троицкой лавре» (под псевд. «Вольский», № 170 (1525) от 15.10.1939 г.) и «Столица нашей Родины в художественной литературе» (№ 174 (3464) от 5.9.1947 г.); не найдены еще заметки о Муранове и Абрамцеве. И я также надеюсь, что когда-нибудь будут опубликованы и все поэтическое наследие мемуариста.

В завершение я приношу свою искреннюю благодарность всем, кто содействовал мне в поисках и сборе материалов и способствовал сохранению памяти о С.А.Волкове среди жителей Сергиева Посада, в первую очередь — Е.А.Коневу, Н.И.Жалченко, М.Б.Киневской, заведующей Краеведческим отделом СПГМЗ Л.В.Гирлиной и заведующему библиотекой МДА игумену Всеволоду, а также сотрудникам библиотеки им. Горловского, где проходили посвященные Волкову встречи и вечера. Спасибо всем вам!

Москва, 1998 г. *Андрей Никитин*

В Сергиевом Посаде



На обороте: С.А.Волков, осень 1909 г.

1. Друзья

Первый мой приезд в Сергиев Посад произошел зимой, на Рождественские каникулы 1908 г., когда я еще учился в начальной школе у Крестной в Огудневе, а родители мои уже жили в только что купленном доме на Болотной улице в Посаде, приводя его в порядок.

С Крестной и тетей Лизой мы ехали по железной дороге от Щелкова с пересадкой в Мытищах. Меня эта поездка сильно волновала задолго до ее осуществления. Ведь я впервые должен был ехать по железной дороге, увидеть город, новый дом... Куча впечатлений лавиной обрушилась на девятилетнего мальчика.

Я был в восторге от нашего дома на Болотной улице — с маленькой зальцей, столовой и совсем маленькими спальнями. Располагаясь в новой комнате, я вместе с мамой раскладывал свои вещи в маленьком шкафчике, потом катался на лыжах в саду, копался в снегу на дворе, играл с собакой Шариком и не только не думал о новых товарищах, но даже забыл тех, что оставил в деревне.

Помню свое первое впечатление от Лавры. Величественные стены, башни, колокольня и соборы потрясли меня. Я увидел их в солнечный морозный день сквозь сетку опушенных инеем деревьев. В памяти осталась красочная яркость монастырских зданий, блистание золотых куполов и крестов в серебряном венке заиндевелых ветвей на фоне голубого неба. А вот от посещения собора не осталось никакого впечатления. Вероятно, после сияющего морозного дня в нем было темно и душно, и

я мало там пробыл. Живя все время в деревне, часто далеко от церкви, в последней я бывал редко и мало ею интересовался.

Понравился мне и сам Посад с маленькими пестрыми домиками, весь в садах с заиндевевшими деревьями, с волнистыми, кудрявыми столбами дыма из труб, с красочными, обитыми бархатом санями парных извозчиков, с оживленным, как мне казалось тогда, движением на улицах. Все это, как я сейчас вижу, очень походило на картину Кустодиева «Зима в провинции». В первый же выход в город мне купили две книжки — «Наль и Дамаянти» Жуковского с прекрасными стильными иллюстрациями и книгу легенд и рассказов об Индии, о ее богах и героях.

В тот приезд меня водили несколько раз в только что открывшийся кинотеатр «Модерн», помещавшийся тогда в Доме кустаря на Московской улице, который теперь занят Клубом железнодорожников. Кино мне очень понравилось. Я и раньше любил «туманные картины», которые часто показывала Крестная у себя в школе, а картины движущиеся, притом с музыкальным сопровождением, казались мне сплошным очарованием.

Обратно в деревню я уезжал неохотно, утешаясь лишь тем, что снова приеду сюда на Пасху, а летом уже и совсем поселюсь в Посаде.

Пасхальное посещение вспоминается смутно. Мы были у заутрени в Никольской церкви, но вся церемония была мне плохо видна и не произвела никакого впечатления. Кажется, я больше интересовался окружавшей нас празднично разряженной публикой, и меня то и дело одергивали, напоминая шепотом, что глазеть по сторонам неприлично...

Летом я готовился к поступлению в первый класс Сергиево-посадской мужской гимназии, куда требовалось держать конкурсный экзамен, так как на сорок мест набралось желающих поступить около ста человек. В город и вообще за ворота одного меня не отпускали: мне казалось, что даже наш Шарик начинал лаять, когда я один подходил к калитке. Впрочем, тогда я был очень послушным мальчиком и попыток к бегству не было.

Тем же летом я ближе познакомился со своими соседями Сухоцкими, у которых старший мальчик, Орест, мой ровесник, тоже готовился в гимназию, с его млад-

шими братьями, Валерием и Кесарем, с их кузеном Володей Шлепетис, и у нас началась дружба. Мы бывали друг у друга, вместе играли, обменивались книжками. Кроме мальчиков, в их семье были еще три девочки — Маня Шлепетис, лет пятнадцати, сестра Володи, и Сухоцкие — Муся, лет шести, и Лида, еще моложе.

С мальчиками я постепенно обследовал нашу Болотную улицу вплоть до Московской, часть Вознесенской улицы (теперь Первомайская) и Полевую, а играли мы на поляне возле железнодорожной линии, которую потом застроили домами.

Зимой мы отправлялись на лыжах за линию железной дороги и за Вознесенское кладбище, где были горы, овраги и небольшой лесок, ныне вырубленный, куда мы забирались играть в рыцарей и разбойников. Лесок был мал, но нам казался таинственным и жутким, особенно одна роща, состоявшая сплошь из елей, которую с моей легкой руки прозвали «Синий лес». В ней мы сплетали между стволов изгороди из веток, окружали их снежными стенами и получали настоящие замки, откуда делали друг на друга нападения. Место было, как говорится, «на отшибе», никто туда не ходил, кроме нас пятерых да еще двух-трех мальчиков с нашей улицы.

Впоследствии, когда я начал писать стихи, одним из первых моих творений стала поэма «Синий лес», в которой герой чудесно переносился в гущу лесов доисторической Руси и переживал там массу приключений. Скорее всего, на меня тогда оказал влияние «Брынский лес» Загоскина или какие-то рассказы о друидах, прочитанные в первом или во втором классах. Поэма была страниц на двадцать, написана довольно выдержанным трехстопным амфибрахием с мужской и женской рифмами. Сама поэма затерялась, но у меня сохранились два ее фрагмента — «Песня виллы» и «Сон», вошедшие в первую тетрадь моих стихов «Далекие зарницы»...

Катание на лыжах мне всегда нравилось. Впервые я им увлекся еще в деревне, когда учился во втором отделении начальной школы. Вместе с родителями я жил на краю деревни в новеньком крестьянском доме, где стены еще пахли смолой. Вставал я очень рано и, быстро попив чаю, отправлялся в поле, начинавшееся тотчас же за нашим домом.

Как сейчас помнится такая картина.

Утро едва брезжит. Еще темно, нет даже зари. Далеко убегает снежное поле, сливаясь вдалеке с густым, нависающим темным небом. Тишина невероятная. Накануне была легкая оттепель, а потому под лыжами слегка похрустывает наст. Я ухожу довольно далеко от дома. Моя конечная цель — три больших березы, стоящие одиноко среди поля. Там я стою, прислонившись к одной из них, и смотрю, как восток медленно розовеет, потом делается красным, по красному фону пробегают золотистые струи, пожар разгорается сильнее и ярче, золотыми стрелами и огненными копьями пронзены уже полнеба, вся земля залита розовым сиянием и, наконец, царственно поднимается солнце. Веет свежий утренний ветерок, в нем чувствуется мягкость недалекой весны, влажно шумят ветвями березы, распрямляясь после долгой ночи и стряхивая остатки сна, а солнце уже поднимается выше над горизонтом, золотит сияющие переливами радуги снега, лиловатые и синие пятна ложатся тенями, и я чувствую единственную в своем роде радость — радость рождения дня...

Долгое время такие лыжные прогулки служили для меня лучшим отдыхом и удовольствием. Я любил ходить по утрам, встречая солнечный восход, вдыхая морозный воздух, наслаждаясь просторами полей. И с какой горечью мне пришлось лет в шестнадцать отказаться от лыж из-за моей близорукости! Без очков я уже плохо видел перед собою, а в них было еще хуже, потому что беспрестанно текли слезы...

Из мальчиков, учившихся со мной в первом классе, я немного сблизился с Юрой Мельниковым. У него был большой сад с прудом, над которым стояла беседка, причем ее крыша была им устроена как корабль — с мачтами, реями и даже парусами. Мы часто сиживали там, воображая, что совершаем морские путешествия, и вместе с Колей Комиссаровым, другим нашим товарищем по классу, устраивали игры в пиратов. Или же лакомились душистой и сладкой малиной, обширные заросли которой были открыты для нас.

В том же саду я выкурил как-то свою первую папиросу. И хотя меня не тошнило, голова не болела, поскольку я почти не затягивался, курение меня не завлекло, и я не соблазнялся им до 1922 года. Бывали слу-

чаи, когда Коля рассказывал какой-нибудь неприличный анекдот или пел подобного рода песенку, но и это не действовало на меня. Все это я выслушивал равнодушно, многого, пожалуй, даже не понимая, однако некоторая польза во всем этом была: я узнал, какие бывают неприличные слова, которые нельзя произносить при взрослых, и никогда не попадался впросак, как то бывает с наивными и любопытствующими в своей невинности детьми.

Зимой с Юрой мы вместе читали. Он брал у меня классиков, главным образом, Тургенева и Гончарова, но сам, кажется, читал мало, передавая книги своей матери. Это была симпатичная, бледная, немного болезненная дама. Она очень меня любила и частенько ставила в пример Юре мою воспитанность, опрятность и хорошие манеры, что нашей дружбе, впрочем, не мешало. Всвою очередь, я брал у него журнал «Путеводный огонёк», который потом стали выписывать и мне. Были у Юры, как будто, еще две сестры, маленькие девочки, но они всегда были с матерью, и я плохо представляю как их, так и их отца, служившего в кооперативе, который редко бывал дома.

Со второго класса гимназии эта дружба как-то потускнела и незаметно растаяла. Мы не ссорились, а просто разошлись: у каждого нашлись новые друзья, более интересные для того и для другого.

Из других товарищей вспоминаю погибшего во время гражданской войны Сережу Беляева. Его отец Владимир Алексеевич Беляев был инспектором нашей гимназии. Впервые я увидел Сережу, когда учился в первом классе, а он, будучи на год моложе меня, приходил иногда к отцу и прогуливался с ним по залу во время большой перемены. Мне сразу понравился этот веселый и приветливый мальчик в коротких штанах и белой матроске, ласково болтавший со своим уже тогда слегка меланхоличным отцом и с любопытством поглядывавший на нас, гимназистов.

Наше знакомство произошло год спустя, но как — уже не помню. Мы стали бывать друг у друга, вместе читали детские книжки. Помню, он восторгался Чарской, я же пытался заинтересовать его тем, что тогда увлекало меня — полным «Робинзоном» Дефо, «Хижиной дяди Тома» Бичер-Стоу, «Доктором Безымянным» Поля д'Ивца. Последняя книга мне особенно нравилась. Я уже

и тогда любил таинственное и экзотическое. Но детство в нас было еще сильно, и мы преисправно играли в солдатиков, устраивая на большом столе целые сражения, причем стреляли из миниатюрных пушек спичками и горохом, а укрепления и замки возводили из книг.

Рядом с Беляевыми жила семья купцов Котельниковых, где была девочка на год моложе Сережи. Зимой мы катались у них в саду с ледяной горки, устроенной на берегу пруда, и она иногда принимала участие в наших играх. Она была красива и изящна, держалась с нами просто и мило. Как сейчас вижу ее в белой лисьей шубке с подкладкой из цветного шелка и в белом меховом капоре. Она казалась мне маленькой Гердой из сказки Андерсена «Снежная королева». Мы с Сережей очень ее любили и играли с ней с удовольствием. Впервые в нас, малышах, пробуждалось нечто вроде рыцарского отношения к девочке, которая казалась нам северной принцессой, и мы катали ее на санках, наперерыв стараясь исполнить все ее желания.

Когда Сережа долго болел, я навещал его, читал вслух, рассказывал гимназические новости. Помню, с каким почтением и даже с оттенком некоторой боязни поглядывал я на его отца, который был для меня большим начальством в гимназии. Но он редко появлялся из своего кабинета и почти не разговаривал с нами, страдая меланхолией, которая через год развилась так сильно, что его вынуждены были уволить со службы и отправить в психиатрическую лечебницу, где он вскоре скончался...

Познакомился я и с одним из товарищей Сережи — Колей Черновым. Его отец разошелся с женой, и Коля с матерью жили вдвоем. Мы вместе рисовали: он — акварелью, я предпочитал карандаш, перо и масляные краски. Но Коля еще и лепил. Помню, как он очень недурно сделал из глины статуэтку Гомера, сидящего на скале с лирой в руках.

Нас с Колей свела любовь к коллекционерству, которая у меня развилась в третьем классе. Мы собирали марки, старинные русские и иностранные монеты, старые книги, открытки, гербарии, окаменелости. Затем, оба страстно любили читать и обмениваться мыслями о прочитанном, а главное, оба оказались фантазерами.

Вдвоем же фантазировать было интереснее, чем одному. Иной раз мы отправлялись в поисках старинных книг, которые старались купить по-дешевле, так как денег у нас было очень мало. Среди них встречались и старопечатные, например, какая-то богослужебная книга эпохи императрицы Елизаветы в красивом кожаном переплете с изящным, уже потускневшим тиснением в виде цветов, рассказы про Ивана Выжигина и старинные, грубо раскрашенные лубочные картинки. Возможно, нам попадались и подлинные раритеты, но мы мало понимали во всем этом, а научить нас было некому.

Тогда-то я и познакомился впервые с полутемными лавками букинистов, пахнущими плесенью и старыми книгами, где среди груды бумажного хлама мы со сверкающими глазами выискивали неожиданные сокровища. Как видно, семя это упало на благодарную почву, и такие книжные розыски я люблю до сих пор.

Мы любили бродить вдвоем по окрестным полям и лесам, и как не похожи были эти прогулки на те, что мы совершали на лыжах с Сухоухими! Здесь уже были первые серьезные мысли, первые серьезные разговоры. Мне было тогда 13-15 лет, Коле Чернову — 12-14. Жаль, что в ту пору я не вел дневника, — интересно было бы его прочесть теперь. Но вот одно из наших приключений я помню.

На Вознесенской улице, там, где теперь школа № 6, стояли два старых, ветхих и заколоченных домика. Много лет в них никто не жил. Любопытство толкнуло нас пробраться туда.

Сад нашего товарища, сына священника Вознесенской церкви Н.Соколова, соприкасался с садом, окружавшим эти дома. Однажды мы незаметно туда перелезли и оказались в старом запущенном и заросшем саду. Огромные вековые дубы, липы и клены, густые кусты, высокая трава, лопухи и крапива делали этот сад похожим на зачарованный лес. Мы с наслаждением пробирались сквозь эту чащу, воображая себя чуть ли не в джунглях. Вот и оба дома. Один уже совсем развалился: в первой же комнате под нами провалилась половица, и дальше идти мы не рискнули. Другой оказался крепче.

Мы обошли все его комнаты и заметили, что кое-где на полу навалены кучи сухих веток и травы, а в одном углу даже висела облупившаяся икона. Нам стало ясно,

что здесь должны жить разбойники. Вечером того же дня Коля специально прошел мимо этого дома по улице и потом уверял меня, будто бы сквозь щели заколоченных ставень увидел слабый мерцающий огонек. Это нас наполнило еще большим страхом и любопытством. Мы побывали там еще дважды, и, действительно, отметили некоторые перемены: была переставлена сломанная табуретка, на полу лежали хлебные корки... Была мысль проникнуть в сад вечером, но потом мы струсили и не пошли. Пожалуй, и хорошо сделали, так как в доме, скорее всего, ночевали бродяги, которые вряд ли бы обрадовались нашему появлению. Вскоре эти дома сломали, большую часть сада вырубили, и новый владелец начал строиться.

Как жаль мне сейчас этого сада! Он был так густ, так красив, несмотря на свое одичание. В настоящее время сравнится с ним может разве только сад Машинского по Кооперативной улице — бывшем Машинском переулке, в доме которого в первые годы после революции помещался Институт народного образования, ставший позднее Педагогическим техникумом.

Недурен сад у Шафрановых на Первомайской улице, у Александровой — в самом конце Валовой улицы, но они не идут ни в какое сравнение с этими садами: нет у них той мощи зелени, вековых деревьев и прямо-таки лесного вида. Много садов в Сергиевом Посаде погибло за холодные и голодные 1918-1921 годы. Так был вырублен в значительной своей части и сад священника Соколова, где было так же густо, где были дивные липовые аллеи, а про некоторые деревья, особенно мощные и старые, сам хозяин говорил, что они, пожалуй, могут быть современниками Сергия Радонежского.

Но все эти сады погибли, а остальные погибают в наше время, как в силу нужды, так и по неразумию. В академическом саду в Лавре недавно срубили несколько больших деревьев, «мешавших», якобы, электропроводке, а на днях (20.7.32 г.) срубили прекрасный клен около бывшей Трапезной церкви, где теперь находится краеведческий музей. Очевидно, этот клен тоже как-нибудь «помешал» заведующей музеем Лукьяновской. Да что говорить: за все 14 лет революции в Лавре не посадили ни одного деревца! Старые деревья не так уж долговечны, и может получиться, что прекрас-

ный архитектурный пейзаж Лавры будет полностью обезображен отсутствием зелени. Но когда начинаешь об этом говорить, то местная власть удивляется и с насмешкой пожимает плечами: «Вот чудак! Да Вам-то какое дело до этого? Ну и пусть рубят. Вам-то что за печаль? Ведь не Ваше это все...»

2. Книги

К детским книжкам я стал равнодушен уже с первого класса гимназии. Правда, с удовольствием читал сказки Андерсена и Гриммов, которые брал в гимназической библиотеке, журналы «Путеводный огонёк» и «Родник», иногда даже «Задушевное слово», детские книжки Гранстрем, которые я брал в частной библиотеке О.Н.Дмитриевской.

Небольшая, около 10 тысяч томов, эта библиотека помещалась сначала в собственном доме Дмитревской на Валовой улице рядом с академическим Детским приютом святителя Алексея (теперь школа 1-й ступени МОНО), потом в 1916 г. она переехала в лаврский дом на Александровской улице (теперь 3-й дом Совета), после октябрьской революции некоторое время существовала в виде 1-й районной библиотеки и, наконец, была соединена с Центральной городской библиотекой.

Помню, как гимназистом первых классов я подходил к маленькому желтоватому домику, окруженному липами, так сильно пахшими в пору своего медвяного цветения. Звенела дверь колокольчиком, и я входил в невысокую комнату, заставленную полками с книгами. Здесь царил приятный смешанный запах кофе и духов, сами книги пропитались им и пахли так, когда потом принесешь их к себе домой. Из другой комнаты, тоже сплошь заставленной книгами, выходила приветливая старушка, вся в черном, чаще — ее дочь в строгом сером или коричневом платье с кружевным воротничком. Старушка была суховата, говорила кратко, четко, но всегда очень любезно. Сдаешь прочитанную книгу, выбираешь новую, прощаешься; звенит колокольчик вместе с закрывающейся дверью, а ты потом сидишь на лавочке около дома под липами и жадными глазами просматриваешь взятую книгу...

Там я и стал со второго класса гимназии переходить от детских книг к романам. С упоением читал Марлитт, «Приключения Рокамболя» Понсон дю Террайля, «Тайны Мадридского двора» Борна, «Вечного жида» Эжена Сю. Своеобразный выбор объяснялся тем, что я старался брать книги, которых я не находил дома или в гимназической библиотеке. Дома у меня был Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Гончаров, Тургенев, Загоскин, Данилевский, Салиас; в гимназической библиотеке я брал классиков — Мельникова-Печерского, Л.Толстого, Писемского, Ал.Толстого, Майкова, Фета, Тютчева или же книги по истории. Библиотека Дмитриевской была существенным дополнением к основному чтению, потому что в ней я находил то, чего не допускала гимназическая цензура. И пользовался я ею, главным образом, летом, во время каникул.

С другой стороны, выбор книг у Дмитриевской можно объяснить той тягой к авантюрному, какая всегда наблюдается у молодежи. Дети охотно читают рассказы про сыщиков, индейцев, про войну. Но мне, начитавшемуся о подвигах античных героев или египетских фараонов и ассирийских царей, были скучны однообразные похождения Шерлоков Холмсов, Ников Картеров, Натов Пинкертонов или примитивный верноподданнический патриотизм «Военных рассказов». Чужды были и произведения Жюля Верна, Майн-Рида, Купера и Эмара. Индейцы с их схватками, скальпами и томагавками представлялись мне чем-то диким, варварским после стройного мира античности или причудливой красочной истории древнего Востока. Впрочем, некоторые вещи Жюля Верна я любил — «Таинственный остров» и «Восемьдесят тысяч верст под водой».

Вместе с тем рассказы Тургенева и романы Данилевского развивали во мне некоторую психологическую наблюдательность, заставили заинтересоваться чувствами и переживаниями героев, полюбить красоту описаний пейзажа или интерьера, а всего этого у перечисленных юношеских кумиров я не находил.

Отсюда и мое увлечение романами Марлитт. Сейчас я думаю, что напрасно говорят о ее творчестве, как о квинтэссенции филистерства. В душе этой старой девы жила поэтическая струнка, и в ее произведениях порою слышатся отголоски высокого романтизма. Она точно

чувствует и любит природу, умеет ее хорошо изображать. Лесные лужайки, заброшенные замки, избушки поселян, пасторские домики, руины готических монастырей — все это дано ею довольно поэтично, и искреннее чувство очаровывает читателя.

Возможно, живи она раньше, она могла стать своего рода Беттиной фон Арним. Неуклюжая и бездарная эпоха подавила талант Евгении Йон, превратив ее в сентиментальную романистку Марлитт...

Итак, я читал много и без разбора. Стихи шли труднее, в особенности Пушкин и Лермонтов, которых я оценил лишь после седьмого класса гимназии. Уроки литературы нам ничего не давали. Преподаватель П.Н.Колоколов, малокультурный и грубый человек, мог внушить к литературе если не отвращение, то, во всяком случае, полное равнодушие. Мы зубрили наизусть басни и стихи, вроде «Бородино» Лермонтова, отрывки из летописей и апокрифов. Никаких объяснений, никаких указаний, как подойти к художественному произведению, мы не получали. Было только задавание «от сих до сих» по Сиповскому и Саводнику, спрашивание, придирки к мелочам: «в каком году» да «как его звали» и т.п. Писали изложения, планы, с пятого класса — сочинения, и все по трафарету. Темы были типа «Характеристика Гринева» или «Чиновничье общество по «Ревизору». Мы смеялись, что можем написать «характеристику Пушкина по Плюшкину» до такой степени скучны и чужды были нам эти работы, списываемые большинством с каких-нибудь «темников».

В своем чтении я руководствовался вначале советами мамы, а затем пошел собственным путем. Я очень любил рассматривать иллюстрированные издания. Особенно хороших книг по их дороговизне я, конечно, иметь не мог, поэтому ограничивался журналами вроде «Нивы», в которой впервые встретил «декадентские» стихи — Бальмонта, Мережковского, Минского, Сологуба, Пожаровой, Дм.Цензора и других поэтов.

Эти стихи, особенно Бальмонта, поражали меня своей непохожестью на читанные ранее. Стихи Майкова, Фета, Полонского, Мея, Ал.Толстого были ясны и понятны; некоторые из них нравились, но большинство проскальзывали как-то незаметно, не возбуждая никаких чувств, не оставляя воспоминания.

«Декаденты» поразили меня прежде всего оригинальностью. Над стихом надо было задумываться, доискиваться его смысла, толкования могли быть самыми разными, кое-что оставалось непонятным и после размышлений. Стих странно тревожил и волновал, он пробуждал такие мысли, о которых раньше не было и помину, рисовал столь же загадочные картины, как Бёклин, Штук или Котарбинский, которыми я тогда начал увлекаться, находя снимки с их картин на почтовых открытках. Переживания и мысли, возбуждаемые стихами «декадентских» поэтов и картинами «декадентских» художников, как-то особенно нравились мне, казались близкими и родными, совпадая с еще малоосознанными грезами и фантазиями, которые сопутствовали мне с самых ранних лет и сияющей сетью сказки окутывали для меня весь реальный мир, преображая и одушевляя все то, что меня окружало.

В библиотеке Дмитриевской я стал брать книги Бальмонта — «Под северным небом», «В безбрежности», «Тишина», «Горящие здания», «Будем как солнце», «Литургия красоты», «Фейные сказки», Брюсова — «Земная ось», «Stephanos», Сологуба — «Тяжелые сны», «Мелкий бес», Кузмина — «Крылья», Верхарна — «Стихи о современности» в переводе Брюсова. Затем я записался в Земскую библиотеку, где меня полюбили и позволяли рыться в шкафах. Там я увлекся Ибсеном, Гамсуном, О.Уайльдом, Э.По, Роденбахом, Метерлинком, С.Лагерлёф, Стринбергом, Г.Гейерстамом, Бангом, Ростаном, Пшибышевским, Л.Андреевым, Д.Мережковским. Это все продолжалось с 14 до 18 лет, т. е. с четвертого класса гимназии и вплоть до ее окончания.

Мои товарищи-одноклассники ничего подобного не читали, тем более, в 4-5 классах. Мама и Крестная тоже помочь ничем не могли, так как мало читали новых авторов, не понимали их и не любили. Робкие мои попытки заговорить о любимых авторах с учителем русского языка закончились неудачей. «Это все кривлянье бездарных ломак, ерунда, чушь! — безапелляционно заявил Колоколов. — Читайте лучше Белинского и Добролюбова...» Но эти критики были мне скучны. Когда же я начал читать статью Белинского о Пушкине, то погиб в старой русской литературе, в Херасковых и Кантемирах, которые мне опротивели еще по школе.

Приходилось действовать самому.

Я прочел статью Стасова о новом искусстве в Марксовском сборнике «XIX век». Она громила пресловутых «декадентов». В статьях того же сборника по литературе о символистах или не говорилось ни слова, или же авторы ограничивались двумя-тремя строчками. Затем я прочел «Вырождение» Макса Нордау, о котором встретил где-то замечание, что он «дал научный и исчерпывающий» анализ символизма и декадентства. Но даже тогда, будучи подростком 16-17 лет, я почувствовал все несообразности и всю ограниченность автора, который, свалив в одну кучу Л.Толстого, Ф.Ницше, Г.Ибсена и С.Маларме, объяснял все исключительно неврозом и не мог подняться в своих суждениях выше заурядного филистера. Выдержки из произведений символистов, которые он приводил в изобилии, заставили меня еще больше заинтересоваться их творчеством, и я горевал, что многое из названного мне недоступно по причине отсутствия книг.

Случайно купленные книги Пояркова «Поэты наших дней», книга К.Чуковского «От Чехова до наших дней» и сборник «О поэтах последнего десятилетия», изданный книгоиздательством Вольфа под редакцией Модеста Гофмана, показали мне, что возможен и другой подход к символизму, кроме ругательств и тупых насмешек или сожалений, которые я встретил у авторов вроде Стасова и Нордау.

Вскоре я купил комплект журнала «Вопросы жизни». Он стал для меня откровением, познакомив с новыми поэтами — Андреем Белым, А.Блоком, Вяч.Ивановым. Я читал и без конца перечитывал их стихи, наслаждался статьями о Стефане Малларме и религии Диониса, читал философские статьи Булгакова и Бердяева. Перед этим была куплена книга Ницше «Так говорил Заратустра», и я читал ее с тем же благоговением, с каким мусульманин читает Коран.

Многое в философских статьях было **непонятно**, многозначен и темен казался Ницше, но это не пугало и не отталкивало. Наоборот, это лишь разжигало задор исследователя запутанных лабиринтов мысли и глубин недосказанных откровений. Я рылся в словарях, в библиографических указателях. Маленькая книжка «Модернисты, их предшественники и критическая литература о них» (Одесса, 1908) навела меня на ряд книг и статей. Удалось достать несколько разрозненных номеров журнала «Весы», и я прочел их «от доски до доски», захлебываясь от восторга и сочувствия.

Программная статья В.Брюсова «Ключи тайн», напечатанная в первом номере «Весов» 1904 года, наполнила меня прямо-таки исступленным восторгом. У Брюсова я нашел свои взгляды. Я увидел, что мои мысли не нелепость, на которую пофыркивает педагог-словесник, не чудачество, над которым посмеиваются «умные» и «развитые» соклассники, уже причастившиеся мудрости Белинского, Михайловского и Скабичевского, а идеи, которые разделяет ряд людей, смело отстаивающих их в печати наперекор всяческому глумлению.

Это стало для меня огромным торжеством. Я прочитывал статьи в журналах «Современный мир» и «Вестник Европы», которые выписывала Земская библиотека, рассказывавшие так или иначе о символизме, доставал книги, где только мог, и, будучи гимназистом восьмого класса, прочел в школьном литературном кружке доклад «О символизме и декадентстве», вызвавший упреки, похвалы и недоумения.

Не помню кто, чуть ли не директор гимназии, покойный ныне милейший Д.В.Дубов, как мне потом рассказывали, выразился так: «Доклад о символистах? Да кто они такие, что за величины, чтобы в гимназии о них доклад делать?!» А ведь это говорилось в 1916 году и в 60 верстах от Москвы! Ясно, конечно, что во время доклада с возражениями против моих положений хвалебного характера никто не выступал, даже учителя литературы. Были только в большом количестве вопросы, на которые я охотно отвечал, чувствуя себя в этой области уверенно. Это сейчас мне смешно представить, как мало я был знаком с движением русского, а, тем более, западного modern'а, но тогда я был полн отвагой юности, тем более, что мои оппоненты были осведомлены в этих вопросах значительно меньше меня.

И я торжествовал, став пророком символизма в стенах посадской гимназии...

Жизнь начала XX века, проходившая под шумы мировой войны, со всей ее проявившейся уже и тогда нервностью и напряженностью, разрушала устоявшиеся воззрения, образы, «типизм» характеров, который пытались внести в наше сознание педагоги-словесники. Символисты заставляли задумываться над проблемами жизни и смерти, личности и коллектива, свободы духа и гнетущей силы предрассудков и традиций. Вместе с Ницше они были для меня

разрушителями старой морали, старой религии, старого общественного порядка. Разрушителями и обличителями.

Ведь все то, что я находил в романах Сологуба, рассказах Л.Андреева, у Банга и Стринберга, я встречал в действительности. Разве не жизнь нашего Сергиева Посада, маленького провинциального городка, описана была в «Мелком бесе» Сологуба? При чтении этого романа меня поражало, до какой степени характеры, поступки людей, целые события и вся обстановка буквально повторяли то же, что я наблюдал вокруг себя. В свои шестнадцать лет я серьезно думал, что Передонов списан с нашего учителя словесности Колоколова, Володин — с учителя рисования Черникова, а Хрипач — с директора Дубова...

Та милая тишина, которая казалась столь естественной в детстве и о которой теперь (1932 г.) — увы! — вздыхают многие из нас, тогда производила на меня впечатление какого-то мистического ужаса, делая понятным Л.Андреева с его «Черными масками» и «Жизнью человека».

Так чтение стало чем-то органичным для меня. Я читал не ради развлечения. Книги открывали передо мной новый, желанный для меня мир, отвечали на вопросы, которые мучительно — в полном смысле этого слова — волновали и требовали ответа; книги заставляли по-новому взглянуть на все то, что меня окружало, отмечая в жизни не замечаемую дотоле красоту и пошлость, казавшуюся раньше терпимой и незаметной.

Насколько все живо и пылко воспринималось, можно судить по тому, что я до сих пор отчетливо помню даже обстановку, которая окружала меня при первом чтении того или иного автора.

Когда я сейчас перечитываю Бальмонта, то вспоминаю свой сад на Болотной улице, ясные летние утра, безоблачное небо, легкий ветерок, шелестящий ветвями, кое-где сверкающие в солнечном луче росинки и ощущаю запах цветущих роз. И поэзия Бальмонта — бурная, страстная, а порою нежная и мечтательная — как нельзя лучше подходила к этой обстановке. Она говорила мне о красоте жизни, о любви к жизни, и я находил вокруг себя эту красоту, я учился не только ее чувствовать и понимать, но прямо-таки жить ею и бесконечно, беззаветно ее любить...

А «Венок» Брюсова я впервые читал, прогуливаясь в Лавре по аллее с северной стороны Успенского собора. Высокие липы шумели над головой, роняя желтеющие листья, над ними было серое осеннее небо с легкими беловатыми просветами в прорывах туч. Едва слышно звенит ветер металлическими венками на могилах. Справа — академический сад, слева — белая стена Успенского собора, а перед глазами стройная лаврская колокольня, легко взносящаяся ввысь и роняющая оттуда мелодический перезвон своих часов. В этой стильной обстановке особенно остро воспринимались то строгие, то нежные, но всегда безукоризненно четкие и прекрасные строфы Брюсовского стиха, рождая одновременно печаль и радость, овеянные ароматом осени.

А вот воспоминание одного из февральских дней, связанное с Верхарном и библиотекой Дмитриевской.

Последние дни и ночи бушевали сильные метели, и пока я выбираю книги, за окнами библиотеки проносится очередной мгновенный буран. Я выхожу. Снег перестал, но ветер еще крутит снежную пыль на сугробах, и на небе прорвались облака, открывая ослепительно синее небо, какое обычно бывает уже в теплые дни конца марта. Я иду по улице. Ветер вздувает полы моей шинели, запах снега приятно смешивается с нежным и слегка грустным ароматом моих духов «Coeur de Jeannette», а я несу книжку стихов Верхарна и повторяю только что прочитанные строки:

Слыхали ль вы, как, дик и строг,
Ноябрьский ветер трубит в рог
На перекрестке ста дорог?..

«Вопросы жизни» и книгу Пояркова, о которой я упомянул выше, я купил одновременно со сборником стихов Тютчева в августе 1915 года. Уже начались занятия в гимназии. Учебники были все приобретены, но случайно я зашел к букинисту Шарову, торговавшему книгами на бульваре возле лаврской стены. Среди разного книжного хлама мне вдруг мелькают милые имена Малларме, Бодлера, Блока, Вяч.Иванова, и я радостно сжимаю книги в своих руках. Лучше всякого золота кажутся мне кирпичного цвета обложки журнала «Вопросы жизни», и вот я уже спешу домой, чтобы насладиться приобретенными сокровищами. А на бульваре ве-

ет вечерней прохладой, носится густой и острый аромат душистого табака и левкоев, ложатся длинные тени, и золотится закатное небо. В магазинах Красных и Белых торговых рядов зажигается электричество, проходят еще по-летнему оживленные пешеходы, мягко катятся коляски, а от монастыря несутся долгие, ласкающие слух вечерние перезвоны...

Еще одно воспоминание.

Поздняя ночь. Мама уже спит, а я в своей комнате с «Историей живописи XIX столетия» Мутера. Я читаю главу о прерафаэлитах, о японцах, о новом искусстве — и новая живопись так же оказывается дорога и близка мне, как и новая поэзия. Воображение дополняет и расцвечивает серые иллюстрации, мысль работает, сопоставляя Верлена с Каррьером, Гюисманса и Эдгара По с Моро, волнуется над античными реминисценциями в картинах Бёклина и Пювис де Шаванна, впитывает изысканность Уистлера и японцев, наивную мечтательность Бьерн-Джонса... Как много дала мне эта книга! С нее начался мой интерес к истории искусства и, главным образом, к живописи, который нередко помогал мне в создании моих собственных стихов.

Все эти философы, поэты, художники-модернисты говорили мне одно: жизнь — это борьба за красоту, за дух, за преодоление косной материи, за сильную личность, утверждающую свое «я» созданием новых культурных ценностей.

Каким пошлым и ненавистным становилось для меня тупое мещанское «житье-бытье» с его идеалом сытости и повседневного мирного растительного существования! Я видел это мещанство вокруг себя — дома, в гимназии, на каждой улочке нашего Сергиева Посада; видел его в разные исторические эпохи, когда душили свободную мысль, душили смелый порыв личности во имя какой-либо догмы, бременем ложившейся на человека. Индивидуализм стал для меня основой жизнетворчества. Ницше и вскоре прочитанный «Апофеоз беспочвенности» Льва Шестова утверждали меня в этом. Культ героев был заложен еще раньше, когда я читал книги по истории Греции и Рима и был страстно увлечен античностью. Эта же античность, казалось мне, возрождается в искусстве модерна, как некогда в эпоху Ренессанса, и зовет к красоте, к развитию своего ума, к постижению мира и его новой перестройке.

Я мечтал о новой земле и о новых людях на ней. Я представлял себе прекрасные города с величественными и простыми в то же время зданиями, с зелеными садами в шуме фонтанов и благоухании цветов. Я представлял людей, для которых труд был радостью и жизнь праздником, непрерывной струей творчества и наслаждения, которые не прячут произведений искусства в музеях и домах богачей, а украшают ими каждый уголок, каждый момент жизни всех людей Земли.

Но, оглядываясь вокруг, я понимал, что это только Dichtung*. Wahrheit** же представляла мне совсем, совсем иное. Все то, что мы обозначаем широко распространенным термином «социальная неправда», остро вставало тогда передо мной, мучило меня, дуалистически раскалывая мир, требовало принятия какого-то решения, поисков выхода для меня самого. Решающую роль здесь сыграла встреча с Алексеем Спасским и последующая с ним дружба. Но прежде, чем рассказать об этом, главном событии моего отрочества, я считаю нужным сказать несколько слов о Сергиево-посадской мужской гимназии.

3. Гимназия

В различных мемуарах мне приходилось неоднократно встречать горькие слова упреков в адрес гимназии. Меня это всегда удивляло.

Я не хочу сказать, что Сергиево-посадская гимназия, в которой я учился, была образцовой школой, которая идеально образовывала и талантливо воспитывала своих учеников. В ней имелось много недостатков, встречавшихся, вероятно, во всех средних учебных заведениях тогдашней России. Но они не превалировали, и я был бы глубоко не прав, если бы не отметил положительных сторон гимназического образования.

Начать с того, что знания нам давали приличные и в достаточном объеме. Те, кто мог, а, главное, хотел, получили их и пользуются ими до сих пор. Общее развитие мы получали тоже хорошее. Были во всем этом и пробелы, но где их нет? И разве они ликвидированы вполне и теперь?

---

* Поэзия (нем.).

** Правда, в данном случае — действительность (нем.). — *А.Н.*

Основными предметами в гимназии считались русский язык, латинский язык, история, математика и, конечно, закон Божий.

В младших классах русскому языку нас учил В.А.Мякишев, который сумел закрепить нашу уже и до гимназии приличную грамотность, научил выразительному чтению, пересказу прочитанного и грамматике. О нем я скажу подробнее как о латинисте, так как это была его специальность, а теперь перейду к другому преподавателю, который вел нас с третьего по седьмой класс включительно, — П.Н.Колоколову.

Малокультурный, ленивый и грубый человек с претензиями на «передового педагога», с жалкими потугами на дешевенький либерализм с отрыжкой писаревщины и народничества, частенько пьяный и почти всегда угрюмый, с головной болью после вчерашней выпивки,— вот его портрет. Как сейчас вижу его или сидящим на кафедре и натирающим лоб и виски ментоловым карандашом, или резко шагающим по классу и сыплющим бранные слова по адресу недостаточно вызубривших урок учеников, причем слова «болван», «осел», «дубинная голова» были обычным явлением в младших классах. И — никак не могу вспомнить, чтобы он объяснял урок или что-либо рассказывал, ни одной оригинальной мысли, хоть раз им высказанной. Колоколов только задавал по книжке и механически выслушивал заданное. Дежурной фразой «от сих до сих» исчерпывалось и то, и другое.

Когда я учился уже в 5-7 классах, раз в год Колоколов устраивал нечто вроде публичной лекции для учеников старших классов. Лекция назначалась в воскресный день, о ней он оповещал заранее, говоря, что хочет познакомить нас с философией и теорией Канта. Я аккуратно посетил все три лекции, на которых он говорил об элементарной истине психологии — различии между понятием и представлением, Кантом же тут и не пахло. То, что Колоколов выдавал нам за философию Канта, было какой-то нелепой отсебятиной. Тогда, конечно, я этого не понимал, но убедился в этом в Академии, когда изучал историю философии и знакомился с Кантом по Виндельбанду.

Для уяснения своих лекций он рекомендовал нам читать «Сущность головной работы человека» Дицгена. Я эту книгу приобрел и прочел. После Ницше, она мне не понравилась, хотя в ней не было ничего общего

с той белибердой, которую Колоколов нес собравшимся на его лекцию двум десяткам подростков. Наконец, на этих же лекциях он читал нам отрывки из «Жизни растения» Тимирязева, книги весьма ценной и интересной, но для философии не играющей важной роли. Вот и все.

Никакого литературного кружка в гимназии не было. И если бы не природная любовь к чтению, не мое открытие символистов, не беседы с Алексеем Спасским, о котором я еще буду говорить отдельно, то, возможно, я стал бы узким историком и был совершенно чужд литературе. Вина моей недооценки до восемнадцати лет Пушкина, Лермонтова и Некрасова падает всецело на Колоколова и на его бездарное преподавание. Лично для меня он сделал только одно доброе дело, заметив однажды, что у меня «дубовый язык». Это случилось в пятом классе, и замечание было не совсем справедливо, так как учитель истории этого не находил, тогда как отвечать ему мне приходилось чаще и более серьезные вещи, нежели пересказ какого-либо апокрифа или отрывка из летописи. Тем не менее, замечание Колоколова для меня было очень полезно. Оно сильно задело мое самолюбие, и я стал обращать внимание на свой стиль как в письменной, так и в устной речи, придирался сам к себе без конца и смог, наконец, в этой области коечего добиться.

Вот всё, что я могу сказать о преподавателе важнейшего предмета. Но Колоколов был печальным исключением в рядах педагогического персонала. Там были люди с недостатками, со странностями, но подобного монстра не было. В 1916 году, когда я был уже в седьмом классе, у Колоколова вышло столкновение с восьмиклассником Сапегой, галицийским беженцем, которого тот обругал «австрийским шпионом». Брат Сапеги, студент Академии, поднял шум, в гимназию нагрянула ревизия, и Колоколова вскоре от нас убрали. Он появился на некоторое время снова в Посаде после Февральской революции, но вел себя так непорядочно, что от него все отвернулись.

Латиниста В.А.Мякишева я уже помянул добрым словом за то, что он открыл мне двери в античный мир. Латинский язык он преподавал старательно и хорошо, был требователен, все четко разъяснял, и этот предмет мы знали вполне прилично, т.е. свободно читали a livre

ouvert* Цезаря, Цицерона, Вергилия и даже одолевали Тита Ливия. Когда впоследствии в Академии я свободно читал латинский текст «Патрологии» Миня, то студенты, пришедшие из семинарий, удивлялись этому, а ведь я имел в аттестате по латинскому языку только «четверку» — следовательно, были знавшие его лучше меня...

Недостатком преподавания Мякишева был его исключительно филологический уклон, вернее — лингвистический: все внимание обращалось на грамматику и ничего не говорилось о римской литературе и о латинской культуре вообще. Считалось, что мы должны были все это узнать еще в четвертом классе гимназии. Это было тем более странным, что в частных беседах — во время перемен, когда я любил ходить с ним, задавая ему бесконечные вопросы по поводу прочитанного, он мне рассказывал многое, что вместе с рекомендованными им книгами давало мне ценные сведения об античном мире.

Очевидно, за такие беседы меня в классе считали «любимчиком» Мякишева. Но это было не совсем так, и когда я плохо отвечал урок или делал ошибки в «extemporale»**, он придирчиво ставил мне «двойки», а однажды поставил даже «единицу» — единственную мою единицу за все восемь лет гимназии! Дело было в четвертом классе, я горько плакал, а педагог тонко улыбался и говорил, что не следует падать духом. В тот день я был очень зол на него. Но потом он сам как-то заговорил со мной на любимую тему, я утешился и позабыл свою обиду.

Вообще, Мякишев был нервным педагогом и грозой класса, «единицы» и «двойки» сыпались у него без конца, немало было выговоров и нотаций. Последние он любил и читал их долго, измучивая ученика. Ребята его недолюбливали, говорили, что он злится потому, что часто проигрывает в карты, но мне он нравился, и я готов был простить ему все недостатки за беседы, которые он вел со мною.

Другой латинист, Н.А.Леонтьев, в нашем классе преподавал немецкий язык. Он нам отчаянно надоедал с

---

* Буквально — «раскрыв книгу», т.е. без подготовки (фр.).— *А.Н.*
** Внезапно (лат.), т.е. ответ без подготовки. — *А.Н.*

грамматикой, которую заставлял вызубривать буквально от корки до корки. Но и на него оказывалась «управа». Ленивые ученики писали крупными буквами весь урок на листах и показывали листы отвечающему, который преисправно все считывал. «Барбарон» — таково было прозвище Леонтьева — ничего этого не замечал, так как весь урок сидел на своем стуле после того, как в начале обходил класс и спрашивал слова из заданного к этому дню перевода.

Но ученики и здесь ухитрялись отвечать, не зная предмета. Дело в том, что «Барбарон» спрашивал слова по порядку: он произносил их по-немецки, а ученик должен был дать перевод. Хитрецы записывали карандашом на парте подряд русские слова и называли их, не вслушиваясь даже в немецкое их звучание. Впрочем, здесь случались и ошибки. Иногда «Барбарону» приходила фантазия спрашивать слова с конца, а ученик, не знавший совершенно урока, не задумываясь «шпарил» русские слова с начала, как они у него были записаны на парте. Получалась невероятная чепуха: немецкий глагол переводился наречием, прилагательное — существительным, и так далее. Начинали сыпаться двойки, но, как правило, все сходило.

Хороших учеников «Барбарон» приучил к лени. Он заставлял их делать только переводы «к следующему разу», которые, конечно, нами подготовлялись заранее, а грамматику не спрашивал. В результате, я до сих пор неважно знаю немецкий синтаксис, но переводить при помощи словаря могу свободно.

Сам «Барбарон» был культурным человеком, отлично знал латынь, греческий, немецкий, французский и даже английский языки, в университете изучал санскрит и литературу, но нам ничего этого не давал. Даже о немецкой литературе он не говорил нам ни слова, все ограничивалось одной грамматикой. Чем это было вызвано? Боязнью сказать что-нибудь лишнее, неугодное начальству, или просто лень, казенное отношение к делу? Трудно сказать...

Совсем другим он бывал на уроках греческого языка.

Греческий язык в гимназии считался необязательным и начинался с пятого класса. Обычно вначале записывались в группу чуть ли не тридцать человек, но потом они быстро отсеивались и к восьмому классу оставалось не более четырех-пяти «греков», как их в шутку именовал

«Барбарон», а за ним и вся гимназия. Вот на этих-то уроках, где сидело шесть-семь человек, «Барбарон» преображался. Он много рассказывал о литературе, жизни и культуре Эллады и Рима, вместо спрашивания грамматики сообщал интереснейшие наблюдения из области сравнительного языкознания, причем использовал свои богатые лингвистические сведения, давая возможность прочувствовать и понять как «Одиссею», так и диалоги Платона. Даже «Анабазис» Ксенофонта в его подаче не казался нам скучным.

Что бы ему так же преподавать немецкий и латинский языки? Греческий всегда был на шестом уроке, но здесь мы даже после пяти уроков учились охотно и с интересом, тогда как на немецком и латинском (о последнем знаю от товарищей) умирали от скуки.

Латинистом был и директор Сергиево-посадской гимназии Д.В.Дубов. Я у него не учился. Говорили, что он был строг, и латынь у него знали хорошо. Однако в преподавании опять господствовала исключительно лингвистика.

Нам Дубов в первом и втором классах преподавал русскую историю. Строго спрашивал, требовал знать не только события, но и хронологию с генеалогией. Последняя была особенно трудна, когда проходили эпоху женских царствований, хотя сам я нисколько этим не тяготился, так как историю любил и знал.

Другой преподаватель истории, Б.Ф.Павловский, занимался с нами только один год. С ним мы проходили историю классического Востока. Бесцветный, безвольный педагог и такое же преподавание не оставили в наших душах никакого следа. Все, что он говорил на уроках — не дальше учебника Знойки, — я знал и без него, поскольку читал книги Масперо, Рагозиной, Корелина и других.

Когда я перешел в четвертый класс, историю у нас стал преподавать А.Е.Захаров. В программе полагалась история Греции, Рима и древней Руси. Этот педагог сумел увлечь нас своим предметом. Он прекрасно рассказывал, приносил большие картины, которые украшали наш класс, показывал иллюстрации в художественных изданиях, читал даже отрывки из художественных произведений, характеризующих эпоху. Все это делало его уроки не обязательной нудной работой, а сплошным удовольствием.

На уроках Захарова я впервые увидел прекрасные изображения Афродиты Милосской, Аполлона Бельведерского, Гермеса Праксителя, Лакоона, которые поразили меня силой и красотой, а, главное, своей изумительной ясностью и гармоничностью. Все дышало в них культом земной жизни, все было сплошным славословием человеку. Кроме этих картин, в нашем классе висели изображения Акрополя, римского Форума, Колизея — как в современном виде, так и в реконструкции. Их я видел и раньше в книгах, но там были мелкие рисунки, часто неважного качества, а здесь были большие картины в прекрасном европейском исполнении.

Интересные картины были и по русской истории в издании Кнебеля. Мне очень нравились картины Рериха, изображавшие доисторическую Русь. Преобладание красных, желтых, золотых, а иногда синих и зеленоватых тонов делало весь этот мир сказочным и пестрым, как Восток, преддверием которого и являлась древняя Русь, в особенности, для Западной Европы.

Уже тогда я смутно чувствовал красоту монгольского мира, которая, как и византийская узорчатость и величие, открылась мне значительно позже. И когда позднее я читал статьи Н.К.Рериха и о нем, а также книги Безобразова, Успенского, Кулаковского, Васильева, Ш.Диля, то видел, как мои отроческие грезы, смутные и робкие, казавшиеся, порой, мне самому только неопределенной фантазией, облекаются в плоть, обретая значение и смысл.

Преподавание истории Средних веков в пятом классе еще было достаточно живо. Но уже с шестого класса педагог обленился, стал рассказывать кое-как и ограничивался только развешиванием картин вроде Реймского, Кельнского, Бамбергского соборов, храмов Петра в Риме и Марка в Венеции. Правда, средневековая образованность, а затем и Возрождение все-таки блеснули перед нами. Захаров рассказывал о Данте, Франциске Ассизском, Фоме Аквинском; яркими пятнами обозначились Леонардо, Микельанджело, Рафаэль, Макиавелли, Савонаролла, Петрарка, Бокаччо. Мы получили представление о пышных папах, то боровшихся за власть, то меценатствующих, о трагических деспотах эпохи Сфорца и о свободных синьориях Флоренции и Венеции.

Тогда же я прочел книги Мережковского — «Отверженный» («Юлиан Отступник») и «Леонардо да Винчи», которые стали для меня поистине «пиром очей и ума». «Леонардо» увлек меня до сумасшествия. Я начал его читать в шесть часов вечера, читал до часу ночи (обычно я ложился спать в 9 или 10 часов вечера), на другой день не пошел в гимназию и дочитал книгу, засев за нее с утра и не отрываясь до обеда. «Юлиана» я тогда не вполне воспринял. Увядающая, чисто осенняя настроенность всего романа мне показалась странной. Античность я привык воспринимать жизнерадостно, грусть закатной эпохи и ее последнего царственного апологета стали мне понятны позже, когда уже в восьмом классе я перечитывал эту вещь, а вместе с ней и соответствующие книги Буасье. Потом, в Академии, я с удовольствием читал Буркхардта, Фойгта, Зайгине, Женбарс, Монье и ряд других монографий, а книги У.Пэтера «Ренессанс», П.Муратова «Образы Италии» и Вернон Ли «Италия» заставили полюбить Италию так же, как и мир античности.

История Нового времени была еще скучнее. Преподаватель как-то опустился. Очевидно, посадская лень победила хорошие порывы. Он вяло объяснял уроки, иной раз считывая прямо с учебника, а мы, ученики, при этом нагло водили пальцами по строчкам, и когда учитель перевертывал страницу, одновременно под руками ехидных мальчишек шуршали сразу тридцать страниц.

Помню такую сценку: «NN, как Вам не стыдно читать посторонние вещи, когда я объясняю урок?» — спрашивает Захаров. — «А.Е., это не посторонняя книга: я читаю учебник, по которому читаете и Вы...» Педагогу пришлось проглотить пилюлю, это на время его одернуло, но потом все продолжалось по-старому. Слегка оживился Захаров еще два раза — когда мы проходили Великую французскую революцию, да в февральские дни 1917 года, когда мы кончали восьмой класс. Но то были слабые вспышки, которые быстро угасли.

И все же этого учителя я вспоминаю с глубокой благодарностью. Вслед за В.А.Мякишевым он заинтересовал меня историей, и не на время, а на всю жизнь. Классные задания я готовил по более солидным книгам, чем учебник, и своими ответами, как и сочинениями,

всегда вызывал его похвалу, считаясь лучшим учеником по истории в классе. Одно из своих сочинений о древнерусской образованности в седьмом, кажется, классе я написал на семидесяти страницах: я много тогда прочел по теме, и для гимназиста работа была вполне приличная.

В отличие от истории, с самого детства я не любил математики. И хотя наш математик И.Ф.Богданов был отличным знатоком своего предмета, прекрасным методистом, великолепно объяснял и был любим и уважаем всеми учениками, я занимался у него небрежно и навсегда остался чужд этому строгому и сухому миру. Правда, как-то занимаясь вычислениями, я случайно отметил закономерность в цифрах и показал это учителю. Он посоветовал мне посмотреть соответствующие параграфы учебника алгебры: это была теория сочетаний, до которой мы тогда еще не дошли. Но то был единственный случай моего интереса, все остальное казалось скучным.

На уроке космографии уже в восьмом классе я смотрел обычно в окно, благо мы занимались на втором этаже гимназии, и предавался своим мечтам, глядя на покрытые снегом крыши. В один из таких моментов Богданов, которого гимназисты прозвали «Шпонькой» только за то, что его, как и гоголевского героя, звали Иваном Федоровичем, не утерпел и сказал, как обычно обращаясь в таких случаях к ученику «в третьем лице»: «А Волков опять смотрит в окно. Неужели ему не интересно слушать о звездах?!» — «Да, Иван Федорович, — откликнулся я, — совершенно не интересно.» — «Но смотрел ли он когда-нибудь на звездное небо?» — «Смотрел и неоднократно, а как только вспоминал о разных «углах склонения и восхождения» — становилось скучно и противно!...» Богданов улыбнулся, пожал плечами и продолжал свои объяснения, оставив меня в покое.

Так до самого конца гимназии я не чувствовал, а потому и совершенно не понимал математики. Я предпочитал алгебру, где все было ясно, совершенно не умел решать геометрических задач «на построение», тригонометрии же просто не выносил. В пятом или в шестом классе со мной произошел следующий курьезный случай. Не вникая в суть, я выучил только половину теоремы. Будучи вызван, я рассказал все, что знал, и остано-

вился.«Ну, продолжайте», — говорит Богданов.— «Все!» — «Как всё?» — «У меня так записано.» — «Покажите тетрадь... Э-э, да он не догадался перевернуть страницы! А смысл-то где? Философ моченый! (Это была его любимая шутка.) Ну, задачку...»

С задачкой было еще хуже. Обычно я путался в припоминаемых теоремах, усложнял простой вопрос, и с помощью учителя едва доканчивал задачу. «На воробья опять пушку зарядил», — следовала его реплика, когда я садился. Товарищи улыбались, а он ставил двойку. Но меня это тогда мало огорчало. Кое-как я наскребал за год в табель «3» — и успокаивался.

Позднее, когда я познакомился с М.М.Левковым, он сумел заинтересовать меня идеями высшей математики, показав, как близка она к философии, что я увидел также на лекциях П.А.Флоренского в Академии. Только тогда я пожалел, что плохо учил ее в гимназии, но было уже поздно.

Конечно, во всем этом виноват я сам, а не Богданов, который был прекрасным педагогом. Единственный упрек, который ему можно было сделать, так это то, что он слишком сухо излагал нам свой предмет. Подойди он к нему по-философски (именно такой подход я встретил у М.М.Левкова) — все было бы иначе. Но Богданов этого не сделал. И все равно, в памяти моей он остается прекрасным учителем. Много внешних черт и приемов его преподавания я перенял частью сознательно, частью инстинктивно, и до сих пор пользуюсь ими в своей работе...

Закон Божий по тогдашнему времени должен был бы считаться наиглавнейшим предметом. Но вся его «главность» заключалась лишь в том, что во всех списках он стоял на первом месте. Никакого религиозного давления на нас не было. Время от времени мы обязаны были посещать гимназическую церковь, поскольку же она была мала и всех не вмещала, составляли списки очередников на ее посещение, и каждый из нас бывал в ней не чаще раза в месяц. Раз в год следовало исповедываться и причащаться, а если это делалось не в гимназии, то надо было представить свидетельство. Вот и все. В душу к нам не залезали и не допытывались, веруем ли мы, или нет. Никакой религиозной пропаганды не было. За все восемь лет не помню, чтобы кто-нибудь из

учителей поинтересовался узнать наше отношение к религии, порекомендовал бы какую-нибудь религиозную книгу. Даже наш законоучитель, священник Алексей Смирнов, этого не делал. Да и книг этих в библиотеке почти не было. Помню, с каким удивлением и даже оттенком иронии поглядел на меня В.А.Мякишев, когда я отбирал кое-какие книжки из религиозно-философской серии, издаваемой Новоселовым.

Законоучитель Смирнов был довольно строг в младших классах, частенько ставил единицы и двойки, требовал знания священной истории; потом мы учили наизусть богослужение и должны были уметь его объяснить. Все это скрашивалось рассказами батюшки о Востоке, Турции и Египте, где он много путешествовал. Иногда он почти все время занимал рассказом о жизни и людях Сирии, Аравии, Палестины, и это делало его уроки особенно интересными.

Гораздо скучнее было выучивать наизусть катехизис Филарета. Поэтому уроки закона Божьего в четвертом и пятом классах были самыми неприятными. В объяснения батюшка вдавался мало, говоря, что «здесь надо все брать на веру, и в катехизисе все прекрасно разъяснено», поэтому на нашу долю оставалась пустая зубрежка. Потом, когда мы стали изучать историю Церкви и элементы богословия, преподавание сделалось опять интересным.

Сам о. Смирнов не обладал ораторскими способностями и говорить на отвлеченные темы не любил, поэтому он приносил в класс богословские труды и много из них читал. Я с удовольствием его слушал и, таким образом, еще в гимназии познакомился с некоторыми богословскими авторами. Он читал отрывки из трудов Ал.Введенского, Глаголева, Беляева, из лекций протоиерея Светлова и других — это я узнал в Академии, когда стал читать их сам и встречал знакомые уже места. Многие товарищи во время таких чтений занимались втихомолку своими делами, другие просто пропускали мимо ушей. Но я слушал охотно и не жалею об этом, потому что не только познакомился с философской мыслью, но и привык ее схватывать налету и быстро «переваривать» ее в себе. Все это мне очень пригодилось потом в Академии.

Начиная с пятого класса отношение к нам батюшки становилось мягче. Он даже шутил иной раз с нами или рассказывал о своих путешествиях по Западной Европе: зайдет речь о католичестве — он живо описывает нам Рим, Венецию, Флоренцию, а если о протестантизме, на сцену являются рассказы о Германии, Голландии и Швейцарии, где бывал почти каждое лето. Рассказы его были просты, но живы, и многое, казалось, мы видели своими глазами.

Был он большим франтом. Всегда в красивой шелковой рясе, в воротничке, в манжетах, в изящных шевровых штиблетах, всегда благоухающий розовым маслом. Несмотря на свои солидные годы — ему было около 60-ти, — он был бодр и представителен. Лицо благообразное и цветущее, небольшая седая борода и пышные волосы, всегда завитые, твердая походка, красивая осанка, мягкая и плавная речь, благообразные жесты делали его похожим на образцового протестантского пастора или на англиканского епископа. За границу он отправлялся в штатском платье и коротко подстригал волосы, которые к осени не успевали как следует отрасти. Нечего и говорить, что среди мелочной посадской обстановки этот священник-эпикуреец был безусловно странным и непонятным явлением.

Во время объявления войны 1914 года он оказался в Германии, с трудом сумел выбраться в Голландию и уже оттуда, с опозданием, прибыл к нам, но об этой поездке он нам почему-то не рассказывал...

Отец Смирнов был очень культурным человеком и много читал. После его смерти в 1920 году я просматривал его библиотеку. Она представляла хорошее собрание богословских, философских и исторических книг. По его пометкам и подчеркиваниям видно было, что он не только читал, но размышлял и даже штудировал многое. Сами он был вдовцом и ухаживал за учительницей М.А.Бьернелунд, маленькой очаровательной шведкой, которая преподавала у нас немецкий язык до пятого класса, а в женской гимназии — французский. С ней он и путешествовал за границей. Среди гимназистов младших классов по этому поводу было много зубоскальства, но в старших классах эта связь воспринималась уже как само собой разумеющееся.

Не знаю почему, но о. Смирнов не был близок ни с лаврским, ни с академическим духовенством. Вряд ли этому мешало наличие m-ll Бьернелунд, поскольку и у лаврских, и у академических «отцов» были свои поклонницы или «магдалины», как мы их называли в Академии. Во всяком случае, у меня осталось прекрасное воспоминание об этом священнике как об учителе, и, в особенности, как о человеке.

Что я могу сказать о самой М.А.Бьернелунд? Маленькая хорошенькая блондинка на непомерно высоких французских каблуках, всегда нарядная в своих синих и голубых платьях, всегда кокетливая и жизнерадостная, она была прекрасным педагогом, требовавшим от учеников твердых знаний грамматики и умения переводить. У нее я получил хорошее знание немецкого языка и потому мог легко переводить a livre ouvert у «Барбарона», не заглядывая в синтаксис.

Вообще в преподавании новых языков заботились о том, чтобы дать нам грамматические знания, запас слов, умение переводить и пользоваться словарем. Пожалуй, это было правильно. Теперешние «классные разговоры» по-немецки и по-английски немногого стоят. Я вышел из гимназии с умением читать немецкую и французскую книгу, последнюю — почти без словаря; по-французски я могу объясниться, да и по-немецки наскребу кое-какие фразы. К сожалению, нас не учили говорить. Мы только занимались грамматикой и переводили, переводили без конца, но эти переводы нам и дали знание языков.

Как сейчас помню нашего француза Ж.Брогара. Половину каждого урока он посвящал чтению a livre ouvert. Я ловил каждое его слово и замечание, сам постоянно вызывался читать и поэтому считался лучшим «французом» в классе. Так мы знакомились с Корнелем, Расином, Мольером, Паскалем, Шатобрианом, m-me де Сталь, Руссо, Ксавье де Местром, Бальзаком, Гюго, Флобером, А.Франсом, читали «Телемака» и «Историю крестовых походов».

Но и здесь открывалась та же картина, что и на уроках других языков: преподаватель давал объяснения почти исключительно лингвистического характера, сравнивая французский с латинским, или говорил о грамматике. Сведения о писателях укладывались в две-три фразы.

А о французском стиле, о литературе, о прекрасной латинской культуре, которая во Франции сохранялась дольше, чем где-либо в Европе, не говорилось ни слова. А ведь каким интересным и увлекательным можно было сделать этот предмет!

Но и без всего того, о чем с сожалением думаешь теперь, я любил французский язык так же горячо, как и милую моему сердцу историю. Латынь и греческий тоже были очень интересны, особенно «медь торжественной латыни», вещавшая о великом и великолепном Риме, однако французская речь с ее четкостью, изысканностью звуков и стиля, литература, подобная спелым плодам осеннего сада, исключительно нравились мне. Я жалел, что было мало этих уроков, что мы не учим стихов, возмущался равнодушием многих моих товарищей к этому предмету.

Вот почему Ж.Брогар, слишком строгий в младших классах, где он даже не улыбался, и чрезвычайно податливый в старших, где ученики при нем шалили и ленились, казался мне, порой, не лучшим педагогом для любимого предмета. Мне хотелось бы видеть на его месте Мякишева или Дубова, которые могли дать нам гораздо больше общекультурных знаний. Но, как бы то ни было, уроки французского языка в гимназии я вспоминаю с таким же удовольствием, как и самого педагога, сумевшего заинтересовать нас чтением французских авторов.

4. Алексей Спасский

Начиная со второго класса и до окончания гимназии, я сидел на одной парте с сыном сергиево-посадского нотариуса, Петей Грачевым. Это был милый мальчик, увлекавшийся в последние годы учебы Чеховым, Л.Толстым и... Аверченко. Последнего он любил и утверждал, что со временем из него получится новый Чехов. «Ведь и Чехов начинал со смешных эскизов», — обычно говорил он и сердился, когда я с ним не соглашался относительно столь блестящего будущего его любимого писателя. Увы! Из Аверченко не вышло Чехова, а сам Петя после бурных приключений в 1918-1919 гг. был вынужден покинуть Россию и оказаться там, где и его любимый писатель — в эмиграции.

Тогда, в 1913 году, Петя был добродушным мальчиком, чуждым каких-либо политических интересов. Бывая у него, я и познакомился с Алексеем Спасским. Семья Спасских жила рядом с Грачевыми, а ее глава, А.А.Спасский, был профессором Московской духовной академии, талантливым и известным историком Церкви. Но об этом я узнал позднее, когда уже сам поступил в Академию и прочел с большим интересом его сочинения.

В наших играх, разговорах и прогулках принимали участие сначала двое братьев Спасских — Сергей, бывший классом моложе, и Николай, классом старше нас. Алексей, как более старший, некоторое время нас сторонился: мы были еще только в 4-м классе, а он — в 7-м, к тому же он был «первым учеником» в классе, что по тем временам весьма ценилось, и мы, гимназисты, безусловно с этим считались. Петя с уважением говорил, что Алексей очень серьезный и умный мальчик, который свысока смотрит на всех. Хотя в силу родственного общения у его братьев не было к нему такого пиетета, однако и в их отзывах проскальзывало сдержанное удивление к способностям и знаниям «Ляльки», как его называли в семье.

Все это интриговало, вызывая желание познакомиться с Алексеем поближе. Немного отпугивал меня его слегка презрительный вид, когда с бледным лицом и ярко-красными губами он быстро проходил мимо, окидывая нас беглым, но внимательным взглядом острых, слегка зеленоватых глаз. Да и рассказы, что интересуется он, главным образом, химией, о которой я тогда не имел никакого представления, не давали почвы для сближения и знакомства.

Как и при каких условиях оно все же произошло, уже не помню. Главное, что мы как-то быстро сошлись, заинтересовали друг друга, у нас нашлись общие темы для разговора, а взаимное понимание привело и к последующей большой дружбе.

Эта дружба не была похожа на все предшествующие. Алексей был на три года старше, а, главное, значительно развитее и образованнее меня. Не удивительно, что я всецело поддался его обаянию, так как мне уже было скучно с прежними товарищами. Мы любили с Алексеем разговаривать вдвоем, у нас были свои темы, общие

взгляды и мысли, общий язык, благодаря которому понимали друг друга с полуслова. После всех товарищей, которые были у меня доселе и с которыми я держался слегка поучающего тона, я встретил, наконец, человека, у которого сам мог многому научиться. И я впервые с наслаждением понял, что дружба может давать нечто несравненно большее, нежели развлечение и приятное времяпрепровождение, как то было до сих пор.

Встреча с Алексеем стала, пожалуй, самым важным фактом моей юношеской жизни. Сейчас я с глубокой благодарностью вспоминаю о нем, жалею, что потерял его из вида, желал бы опять встретиться, как в былые дни, и благодарю судьбу, давшую мне при вступлении в зрелость такого бесценного друга.

Летом мы вместе совершали большие прогулки. Алексей любил выискивать оригинальные места: ему нравилась дикая красота обрывов, непроходимой лесной чащи, болот с желтыми пятнами ирисов, окруженных зарослями ивняка, синие еловые боры с заглохшим прудом посредине, где дремала черная вода... Любовь к мрачному и жуткому проявлялась и в его литературных вкусах. Он восхищался «Калевалой», «Эддой», «Нибелунгами», Э.По, Гюисмансом, Достоевским и Л.Андреевым. Его любимыми художниками были Гойя, Рембрандт с его поразительной светотенью, Штук, Врубель, Рерих, Котарбинский. Играя хорошо на рояле, он увлекался сонатами Бетховена, экзотикой Римского-Корсакова и Скрябина. Это была сильная и смелая натура, которой нравилось все необычное, сказочно-пестрое, потрясающее чувства и ум исключительной варварской красотой или страхом, заставляющим дрожать и бледнеть.

Алексей любил повторять стихотворение А.Кондратьева: *«Я — варвар, мне нравятся яркие краски...»* Он был «человеком готики» с необычайной тягой к средневековью, в котором изучал ведьмовские процессы, легенды о колдунах, оборотнях и демонах, интересовался алхимией, историей инквизиции и оккультными науками. Даже почерк его, прямой и готический, напоминал мне чем-то ассирийскую клинопись. Любимыми его странами были Индия, Тибет, древний Египет. Он грезил о несбыточных путешествиях и неведомых приключениях в этом царстве тайн и чудес. Излюбленные им

прогулки поздно вечером и при луне ночью делали его самого в моих глазах таинственным магом, усиливая его обаяние, заставляя невольно интересоваться тем же, чем жил он сам.

И все же я не только слушал его, как учителя, но и ему открывал свой заветный мир аполлонической красоты. Я говорил ему о радости солнечных пейзажей в поэзии Бальмонта, о нежной грусти в лирике Блока, в живописи Нестерова и Борисова-Мусатова; я раскрывал ему Бёклина с его священными рощами, наядами, фавнами и кентаврами, с его меланхолией покинутых вилл, склоняющихся под ветром кипарисов; я раскрывал ему пейзажи старых фламандских городов Роденбаха в звоне вечерних колоколов, в шелесте волн времени и моря; я говорил о мудрых созерцаниях Тютчева и Вяч.Иванова, открытых мною одновременно и бывших для меня как бы братьями, почти современниками. Все то, чем я жил доселе и только в себе и для себя, я открывал теперь Алексею.

Так мы вступали вдвоем в большой и великолепный мир мысли и поэтического очарования, и трудно было сказать, кто из нас влиял на другого больше, поскольку каждый был одновременно и Данте, и Вергилием.

Зимой наши встречи и беседы были нечасты, поскольку много времени отнимали занятия в гимназии. Мы виделись там, но мешала разница классов и учебные интересы. Обычно же мы встречались с Алексеем по субботам у всенощной в гимназической церкви, а по окончании богослужения отправлялись гулять, продолжая начатую еще в гимназических коридорах беседу. Как сейчас помню эти прогулки по линии железной дороги к Ярославлю, когда телеграфные столбы гудят под ветром, налетающим из полей, и изредка проносится поезд, мелькая освещенными окнами, или же по направлению к Вифании, к Черниговскому монастырю или к Гефсиманскому скиту в белой морозной тишине зимней ночи. Жутко светит луна сквозь черную сетку старых лип, обливая дорогу голубоватым мерцанием, на снегу лежат черные резкие тени деревьев, изредка раздается треск дерева от мороза да мелодичные перезвоны черниговских и скитских часов...

Летом мы бродили по окрестностям Сергиева Посада. Особенно нравились мне прогулки в Варавинский ов-

раг возле деревни Вихрево, где были высокие песчаные обрывы с большими елями и соснами наверху, а густая чаща леса давала прохладу в самые знойные дни, награждая нас малиной и земляникой на вырубках и опушках. По дну оврага бежал ручей, совершенно высыхавший летом. Мы копались в песке, выискивая аммониты, «чертовы пальцы» и другие окаменелости, так что ко времени окончания гимназии у меня собралась порядочная палеонтологическая коллекция, которую, как и свои гербарии, я отдал в естествоведческий кружок школы, поскольку уже совершенно перестал этим интересоваться.

Конечно, будучи старшим, Алексей играл во всех наших увлечениях и разговорах доминирующую роль, и мой последующий интерес к искусству и философии modern'a возник непосредственно при его помощи и участии. Он или наталкивал меня на открытие новых поэтов и писателей, или поддерживал уже возникший мой интерес своим сочувствием и острым восприятием всего того, о чем я говорил ему во время наших прогулок.

Алексей стал и первым, кому я решился показать свои стихи. Помню, как я волновался, передавая ему «Далекие зарницы» — первую тетрадь своих стихов, и потом, когда ожидал его отзыва. Отзыв был им написан, потому что по своей дикой застенчивости я просил его не говорить, а лучше написать мне о своих впечатлениях. Отзыв был сочувственный. Читая его, я мог видеть, что мои стихи ему действительно понравились. Это видно из того, как подробно и внимательно он разбирал их в своей рецензии, отмечая их достоинства и недостатки. Было им сделано и несколько стилистических замечаний, так что до 1920 г. Алексей оставался моим главным читателем и критиком.

Сам он стихов не писал: пробовал, но, по его собственному признанию, неудачно. Однако он обладал удивительно тонким критическим чутьем, а если говорить об общности наших вкусов, то понравившиеся и отмеченные им стихотворения до сих пор остаются в числе любимых мною.

У меня не сохранилось писем Алексея — из Петрограда, где он учился в Горном институте, и из Вологды, где служил до 1920 г. Несчастный случай все их уничто-

жил. Остался только его отзыв о моей тетради стихов «Осеннее солнце», — последней, которую он держал в своих руках. Приведу его целиком.

«Стихи замечательные. Это один из твоих шедевров до последнего времени. Наступает, наконец, момент, которого я давно дожидался, и переход к которому я едва устанавливал раньше, как неясный отзвук: прежде твои стихи двигались и в пространстве, и во времени, не развертываясь во всю ширь ни там, ни тут; теперь они замерли во времени и взвились с умноженным блеском и свободой, охватывая горизонт до фиалковой дымки, схватывая последние былинки обостренным взором.

Колеблюсь и не знаю, нужно ли желать следующего достижения, когда нет времени и пространства, когда потемневшие и спокойные глаза гашишиста с напряженным, как тысячи струн, окаменевшим нечеловеческим упорным вниманием прикованы к ничтожной вещи, к чахлому кустику травы, к рисунку обоев, между тем как душа его с замирающим криком хватается за эти последние якоря реального мира, чтобы не закружиться и не исчезнуть в диком тайфуне проносящихся кошмаров, идей и переживаний, обычных до повседневности, изменчивых до неуловимой утонченности и потрясающих с силой динамитного взрыва. Стремиться к этому нельзя; если суждено — это придет незаметно, как сумерки, неизбежно, как ночь.

Теперь иное, более неприятное. Когда я прежде читал о монахах, монастырях, церквах и разных православно-благочестивых чувствах, я мог легко и охотно допустить, что это писал ты. Но теперь я в тупике. И неужели эти стихи, покрытые пылью цветов, истомленные в золотистом солнечном зное и кротко освещенные опалами зари, — неужели эти редчайшие цветы земли созданы человеком, в речах которого все чаще и чаще звучит — увы! — узкая нетерпимость и фанатизм, который видит только грех и дьявола в незатейливых радостях земной жизни, который все более и более уходит от могучего и радостно-свободного созерцания золотисто-голубых высот и замирных далей в душную атмосферу кельи, напитанную молитвами и сплетней, и слова которого я скоро перестану понимать?

Что такое происходит? Или мы на одной дороге и только на разных языках говорим одно и то же? Или этот человек идет глухим подземельем, и только изредка сквозь щели между осклизлыми камнями его слепит солнце?»

5.5.1918 г. *А[лексей]*

Вторая половина отзыва уже говорит о новом фазисе моей жизни, который не мог не отразиться на наших отношениях. Сейчас мне понятно все, что писал Алексей. И так легко было бы развеять туман, который стал сгущаться вокруг нас и развел в разные стороны. Но тогда было иначе. Точно одержимый, я упрямо шел своим путем и готов был сжечь то, чему вначале поклонился и что беззаветно любил.

В жизни отдельного человека бывают свои эпохи, напоминающие периоды человеческой истории. Если время детства можно назвать «золотым веком», то юность моя представляется мне своеобразным возрождением античности. И не только потому, что я так увлекался ею, нет, сам строй жизни был таков. Все было как-то соразмерно, ясно, отчетливо и прекрасно — и в чувствах, и в мыслях. Были и темные миги, где-то в глубине таились грусть и тоска, но они не омрачали светлого мира грез, легкими тенями скользя и расплываясь в благоухании солнечного дня.

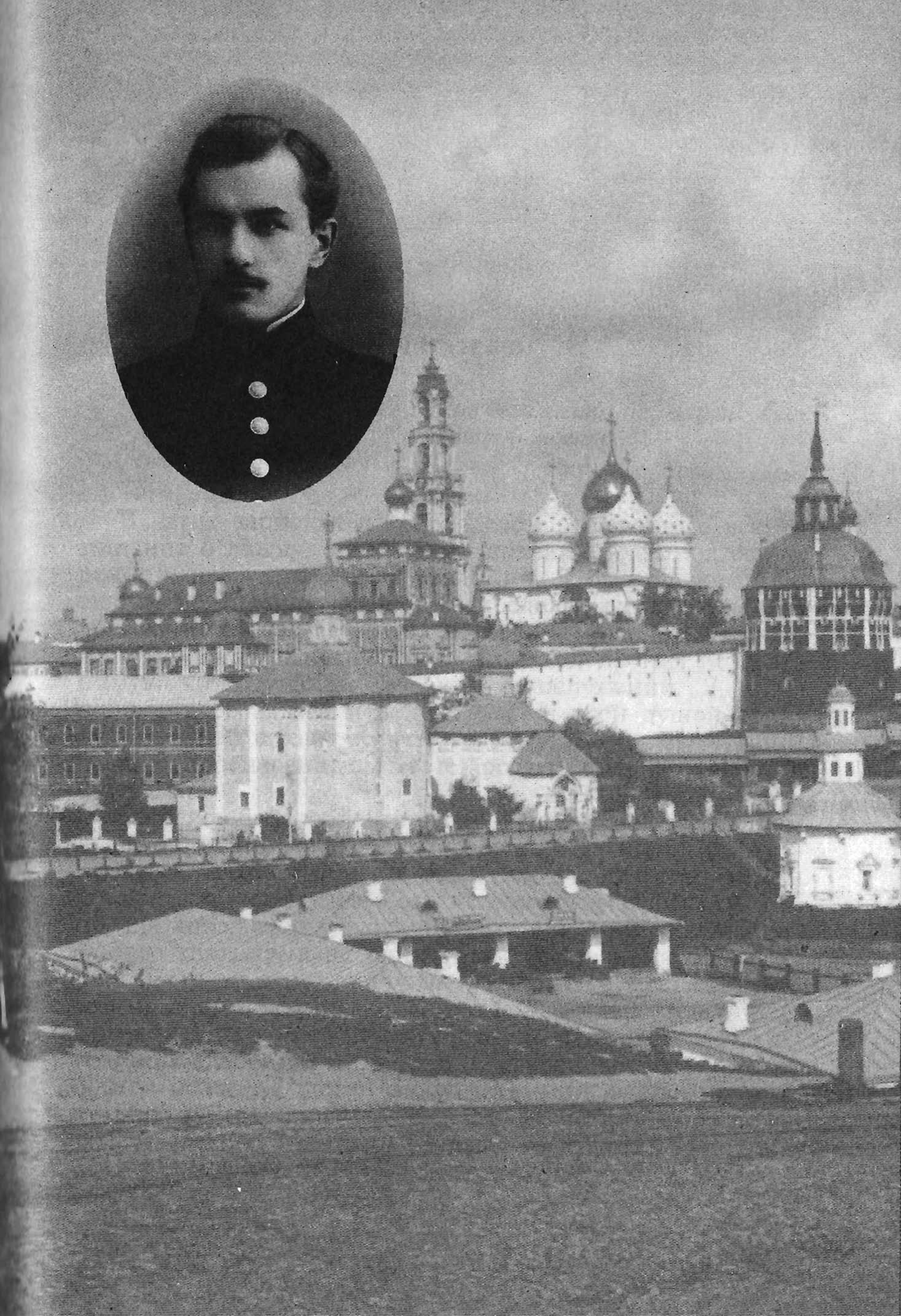
Не так ли воспринимается нами и Эллада? Печаль Деметры растворялась в примиряюще мудрых таинствах Элевсина, в оргиастическом хмеле Дионисовых действ. И все же истинным ликом эллинского мира остается для нас ясный и строгий Феб-Аполлон. Только потом эта ясность меркнет в сумерках эллинизма, когда смешиваются боги и люди, мысли и чувства, рождая предвечернюю грусть перед долгой ночью Средневековья, за которой следует уже Возрождение.

Так было и со мной. Я переживал прощальные лучи догорающего света отроческих дней, мыслей и чувств. Дуализм, о котором я говорил выше, казалось мне, еще больше сгущал действительные сумерки эпохи. Для надвигающейся ночи нужен был факел, который я нашел и ухватился за него жадной рукой. Это была — религия.

И здесь я должен отметить, что Алексей, будучи сам «человеком готики» со всем его пристрастием к таинственному и мрачному, столь живо воспринял мою отро-

ческую грезу о светлых мирах, столь глубоко ее пережил и настолько сумел полюбить, что стал ее защитником против меня самого, когда я сделался своего рода отрицателем и иконоборцем, восставшим против светлого лика Афины Паллады во имя сияющей тени из далекой Иудеи... Только со временем мне удалось установить в себе дивное равновесие этих двух миров, столь полно выраженное в стихотворении Вяч.Иванова «Аттика и Галилея», в котором отразились поиски целой эпохи.

Последние у Троицы



На обороте: С.А.Волков — студент МДА. Осень 1917 г.

К читателю

Песнь возлагаю на вашей бессмертной могиле...

В.Брюсов. «Романтикам»

В этих записках я собрал свои отрывочные воспоминания о людях, с которыми познакомился под сенью родной, нежно любимой Академии. Я был очарован ею еще до вступления моего в ее пределы, слыша о ней от других, наблюдая ее жизнь во время моих прогулок по Лавре, ощущая мистическую, ни с чем другим не сравнимую красоту академических богослужений. Я успел полюбить ее за два недолгих года и всей душой сродниться с ней в годы ее разгрома и угасания. Бедствия и печали, перенесенные вместе, роднят сильнее радостей и счастья.

Стараясь быть объективным, я не обошел молчанием те недостатки в характерах людей и в жизни самой Академии, которые были мне известны. Не для того, чтобы посмеяться, как древле Хам, не для того, чтобы осудить, но для того, чтобы будущий читатель смог увидеть реальную картину, а не одни только сожаления об ушедшем. Если он окажется чуток и мудр, то сумеет отделить сор от драгоценностей и понять, насколько подлинная душа Академии и ее людей была чище и выше их человеческих слабостей и ошибок. Я уверен, что если бы те, о ком я пишу, могли прочитать мои воспоминания, лучшие из них признали бы, что их ученик смог показать Академию накануне ее разгрома такой, какой она была на самом деле, — без лести и лукавства.

Для меня самого Академия была солнцем, осветившим годы юности. Она наставила меня на путь, которым я шел до настоящего дня; она помогла мне создать в себе мир, который поддерживал меня непрерывно в продолжение почти полувека, спасая в трудные минуты испытаний, утешая и успокаивая в часы уныния и скорби...

И если я на протяжении своей жизни мог давать что-то другим, помогая им приобщиться к драгоценным родникам культуры, то прежде и больше всего обязан этим моей наставнице — Московской духовной академии.

Август 1964 г. Загорск. *Сергей Волков*

Глава первая

Гимназия и Академия. Первые знакомства. События 1917 года и перемены в Академии. Первые впечатления. Студенты моего курса. Г.Н.Навроцкий. Диспуты М.Фивейского и А.М.Туберовского. Ректор А.П.Орлов. Профессор М.М.Богословский.

Уже в первом классе гимназии я почувствовал, а позднее со всей отчетливостью осознал, что интересуют меня исключительно гуманитарные науки. К математике, физике, технике я всегда относился как к чему-то совершенно чуждому, даже неприятному; науки биологические тоже не находили отклика в моем сердце. Я любил природу, но воспринимал ее эстетически, а не научно. Мне было достаточно того, что в моем сознании природа сливалась в единый мир прекрасного вместе с искусством и художественной литературой. И это искусство, эту литературу я хотел не только чувствовать, но изучать и осмысливать. Особенно же меня интересовала история. Мир былого манил и увлекал своей красочностью и разнообразием. Родными казались Египет, Ассирия, Вавилон, в особенности же дивный мир античности и его возрождение после сумерек средневековья. Самое средневековье и русскую историю я полюбил уже в Академии. В гимназии возник и укрепился мой интерес к языкам: сначала к латинскому и французскому, затем к греческому. Немецкий не нравился мне своей грубостью и неуклюжестью. Там же, при изучении психологии и логики, я впервые познакомился с философией, даже с начатками богословия, поскольку наш законоучитель, священник Алексей Смирнов, чтобы пополнить скудный материал из учебника Н.Липского[1], читал нам в старших классах отрывки из трудов русских богословов. Таким образом, уже к семнадцати годам умонастроение мое определилось довольно ясно.

Первоначально после окончания Сергиево-посадской мужской гимназии я предполагал поступать на историко-филологический факультет Московского университета. Но потом понял, что то, к чему стремлюсь, я найду только в Академии. Было ли случайным такое решение? И да, и нет: можно сказать, что так было предназначено свыше. И вот почему.

Учеником пятого класса я познакомился с Алексеем Спасским, сыном Анатолия Алексеевича Спасского,

профессора Академии. Мы подружились, несмотря на разницу лет, которая особенно ощутима в этом возрасте: он был уже в восьмом классе гимназии. Сблизила нас любовь к истории и литературе. Мы часто встречались, много беседовали на интересующие обоих темы. Алексей давал мне книги из библиотеки отца, которых не было ни в гимназической ученической, ни в городских библиотеках. От него я впервые услышал об Академии и о Флоренском. Как многие другие, я слышал, что в Лавре находится Московская духовная академия, но что она собой представляет — совершенно не знал и даже не интересовался ею. В среде гимназистов о ней не говорили. Младшие из нас полагали, что там, как и в духовной семинарии в Вифании[2], готовят священников и монахов. Старшие же гимназисты видели в студентах лишь своих преуспевающих соперников, пользующихся успехом в среде посадских барышень.

От Алексея Спасского я услышал, что в Академии изучают те же науки, что и на филологическом факультете университета[3], а сверх того — богословие и другие дисциплины, связанные с учением и практикой Церкви. В шестом классе я уже начал интересоваться вопросами философии и религии. Алексей тогда учился в Горном институте в Петербурге, однако мы часто встречались, когда он приезжал домой, в Сергиев Посад, на время рождественских и пасхальных вакаций, а также летних каникул. Собственно говоря, тогда я и начал расспрашивать его об Академии. Затем, через посредство своего соклассника, в доме которого бывал иеродиакон Гавриил (Мануилов), я познакомился как с ним, так и с его товарищами — иеромонахами Феодосием (Пясецким), Панкратием (Гладковым), Порфирием (Соколовым). Студенты-монахи подробно рассказали мне о преподавании в Академии и вообще о жизни в ней. Услышанное не только заинтересовало своеобразием и непохожестью на жизнь в гимназиях и университетах, о чем я уже был наслышан от старших товарищей, но и увлекло меня, поскольку отвечало моему тогдашнему умонастроению.

Вскоре кто-то из них — скорее всего, Феодосий — представил меня архимандриту Илариону (Троицкому), тогдашнему инспектору Академии. Тот принял меня просто и сердечно, благосклонно отнесся к моим планам поступления в духовную школу, обещал свою помощь и дал учебники за семинарский курс, поскольку тогда в Академию из светских средних учебных заведе-

ний принимали с экзаменами по ряду богословских предметов. За время учения в восьмом классе я трижды бывал у Илариона на квартире, прося советов и указаний. Помню, с какой радостью в марте 1917 года я услыхал от него, что теперь для поступающих из средних школ экзамены отменены, так что мне придется сдавать только один, по греческому языку. Греческий преподавался в нашей гимназии в качестве необязательного предмета, но я изучал его уже четвертый год. Иларион заметил, что если у меня будет официальная справка, то отпадет и этот экзамен. Чтобы проверить мои знания, он дал мне перевести отрывок из Евангелия от Иоанна, читаемого на Пасхальной литургии. Я перевел его безо всякого затруднения. Иларион удивился. Я счел долгом сообщить ему, что это Евангелие знаю почти наизусть, как и некоторые молитвы по-гречески. Иларион удивился еще больше. Тогда я рассказал, что наш преподаватель греческого языка — человек благочестивый, и мы, изучая в основном классический язык по отрывкам из «Одиссеи», «Анабазиса» Ксенофонта и даже «Апологии Сократа» Платона, познакомились и с церковным греческим языком, выучив наизусть некоторые молитвы и Пасхальное евангелие, причем произношение у нас было «эразмовское», отличавшееся от распространенного в семинариях, так называемого «рейхлинского» (по Эразму Роттердамскому и Рейхлину), большей четкостью и мелодичностью.

Удивление Илариона показало мне, как мало знали в Академии о том, что делается в городской гимназии. Меня и сейчас поражает это обстоятельство, а равным образом и то, что за восемь лет моего обучения в Сергиево-посадской гимназии мы не услышали ни одного слова об Академии от своих преподавателей, даже от нашего законоучителя, протоиерея Алексея Смирнова. В старших классах нам часто говорили, что нас ждет университет, но об Академии даже не заикались, как если бы ее не было на свете.

И как это типично для тогдашних гимназий! Наша считалась «благонамеренной», однако все религиозное воспитание, все обучение велось чрезвычайно формально. Мы должны были присутствовать на общей утренней молитве, за которой читалось Евангелие на данный день, последний урок заканчивался чтением «Достойно»; в воскресенье и в праздничные дни гимназисты «по наряду» посещали богослужения в домовой гимназичес-

кой церкви (церковь была маленькая и всех учащихся сразу вместить не могла). В «царские» дни количество назначаемых удваивалось, и мы иронизировали, что в эти дни следует молиться вдвое усерднее... Но мы видели, как равнодушно стоят учителя во время всенощных и литургий. Они тоже посещали церковь «по наряду», и лишь на молебны в «царские» дни являлись все. Знали мы и то, что искренне верующими были только директор и два-три педагога. Остальные смотрели на все это, как на досадную обязанность, а инспектор и некоторые учителя были известными атеистами. В Великий пост нас заставляли исповедоваться и причащаться. Те, кто делал это в приходских церквах или в Лавре, должны были принести оттуда официальные свидетельства. Собственно же религиозного воспитания не было совсем. Помню, с каким удивлением смотрел на меня преподаватель латинского языка, заведовавший ученической библиотекой, где был маленький отдел религиозных книг и брошюр, не более сотни, когда я стал брать книги Ф.-В.Фаррара и выпуски «Религиозно-философской серии», издаваемой Новоселовым... Наш законоучитель в своем преподавании ограничивался программой и только в седьмом и восьмом классе читал иногда отрывки из богословских трудов, но, поскольку он их с нас не спрашивал, таких чтений почти никто не слушал. И сам он необычайно удивился, когда по окончании гимназического курса в 1917 году я и мой товарищ Николай Липеровский выразили намерение поступать в Духовную академию.

— Вы, видно, хотите идти по стопам Нарбекова! — заметил он мне.

Действительно, за сорок лет существования гимназии в Сергиевом Посаде один только Сергей Григорьевич Нарбеков, закончив сначала Московский университет, поступил в Академию, окончил ее и принял монашество с именем Симеона. Иногда он появлялся в гимназической церкви (во имя св. князя Александра Невского) и служил с нашим законоучителем — будучи сначала иеродиаконом, затем иеромонахом. Он окончил Академию в 1911 году со степенью кандидата богословия. Позднее, в чине архимандрита, Нарбеков был настоятелем русской посольской церкви в Риме. Прибывший после второй мировой войны из Парижа архимандрит Стефан (Светозаров) рассказывал

мне, что архимандрит Симеон, неоднократно отклонявший предложения рукоположить его в епископы, пользовался глубоким уважением как заграничного православного, так и католического духовенства, но юрисдикции Московской патриархии не подчинился.

Таким образом, нас было трое, кто пошел из нашей гимназии в Академию, но закончить ее посчастливилось только Нарбекову.

В августе 1917 года я был зачислен на первый (76-й) курс, а с 1 сентября* приступил к занятиям.

***

Но я оказался в совсем иной Академии, чем та, о которой расспрашивал друзей-монахов и в которой первый раз беседовал с Иларионом. За лето 1917 года в ней многое коренным образом переменилось, а затем менялось на протяжении тех двух лет, что я находился в ее стенах.

Сразу же после Февральской революции, 13 марта 1917 года, по указанию нового оберпрокурора Синода В.Н.Львова профессор Б.В.Титлинов произвел ревизию Академии, в результате которой были признаны незаконными многие действия ее ректора, епископа Феодора (Поздеевского), *«делавшие его дальнейшее пребывание в Академии, в особенности в условиях нового устроения русской жизни, невозможным»*, как было опубликовано в отчете. В апреле Академию навестил сам Львов, беседовал со студентами и профессорами, а 1-го мая состоялось увольнение епископа Феодора от должности ректора и одновременно восстановление в профессорских званиях И.М.Громогласова, А.И.Покровского, Д.Г.Коновалова; В.П.Виноградов, кроме того, был возвращен на вакантную кафедру.

Произошли кардинальные изменения и в редакции официального органа Академии — журнала «Богословский вестник».

О том, каким было предшествующее направление журнала во время «всевластия» епископа Феодора, лучше всего свидетельствует программа, изложенная в 1914 году его тогдашним редактором П.А.Флоренским: *«Орган высшей церковной школы, «Богословский вестник» са-*

---

* Здесь и далее до с. 182 все даты приведены по старому стилю. — *А.Н.*

мим положением своим призывается к неуклонному служению методами и орудиями науки интересам св. Церкви. Раскрывать нетленные сокровища Сокровищницы Истины и углублять понимание их в современном сознании, уяснять вечное и непреходящее значение церковности, показывать, что она есть не только момент и факт истории, но и непреложное условие вечной жизни, — такова прямая, положительная задача этого служения Церкви. Но положительная задача неизбежно связывается с задачею отрицательною — с борьбою против расхищения духовного достояния Церкви, с расчисткою церковных владений от всех чуждых природе ее сил, покушающихся на ее собственность и на самое ее существование... Священник Павел Флоренский»[4].

Теперь редактором журнала был избран ярый противник «черного духовенства» профессор М.М.Тареев. Подобная замена сразу сказалась на тоне и содержании печатавшихся статей. Бывший ректор именовался не иначе, как *«разгромивший Академию изувер-деспот епископ Феодор»; удаленные с кафедр архиереи объявлялись «наиболее яркими представителями и поборниками епископского и царского самодержавия»*, при этом прямо указывалось на архиепископа Антония (Храповицкого) и «впавшего в детство» московского митрополита Макария (Невского). Резкой критике подвергался прежний состав Синода, который возглавлял киевский митрополит Владимир, и, наоборот, всячески превозносился его новый состав во главе с экзархом Грузии Платоном...

Однако изменить жизнь Церкви оказалось много сложнее, чем жизнь общества. Сторонники прежнего режима, в первую очередь, из «князей Церкви», отрешенные от власти новым Синодом, попытались взять реванш на Съезде ученого монашества, проходившем с 7 по 14 июля 1917 года в стенах Академии. О том, какие горячие дебаты там происходили, я узнал, естественно, много позже из рассказов некоторых его участников и по частично опубликованным отчетам. Так, например, большинство собравшихся (40 против 10) приняло обращение к будущему Всероссийскому Церковному Собору, где отмечалось, что *«Всероссийский съезд ученого монашества считает необходимым, чтобы Церковный Собор в ограждение чистоты православно-богословской науки от той опасности, которая угрожает ей при реформе ака-*

демий на началах автономности, оставил хотя бы одну из существующих академий не затронутой этой реформой, реорганизовав ее на началах строго церковных в смысле устава, дисциплины и быта, обеспечив ее профессорами из лиц священного сана (преимущественно монашествующих), а равно и мирян строго церковного направления»[5]. Товарищем председателя и фактическим хозяином Съезда был бывший ректор Академии епископ Феодор. Против этого постановления резко выступили архимандрит Иларион, иеромонах Варфоломей (Ремов) и еще некоторые присутствовавшие.

15-го августа, в день Успения Божией Матери, в Москве открылся Всероссийский Церковный собор; 27-го августа специальным поездом он прибыл на богомолье в Лавру. На вокзале духовные лица облачились в торжественные одеяния и с иконами и хоругвями двинулись к монастырю. Их путь от вокзала до Лавры был усыпан зеленью, по обеим сторонам стояли толпы народа, крестившегося и поклонами приветствовавшего Собор. А в это время неумолчно гремели колокола Лавры и всех посадских церквей.

Перед Святыми воротами прибывших встретил со всем лаврским духовенством и братиею настоятель обители преподобного Сергия Тихон, еще 21-го июня избранный на московскую митрополичью кафедру. За литургией в Троицком соборе знакомый мне архимандрит Иларион произнес вдохновенную речь, которая произвела на меня, как и на всех присутствующих, потрясающее впечатление. Иларион говорил о том, что нынешний Всероссийский Собор является торжеством православия и свершением чаяний многих поколений русских людей, ожидавших этого события со времен *«нечестивого царя Петра»*. И если бы эти древние стены могли рассказать нам о слезах и молитвах миллионов русских людей, побывавших здесь за века, мы почувствовали бы истинную радость, присутствуя при воплощении их надежд...

***

Первого сентября начался учебный год в Академии. На первый взгляд, жизнь моя вроде бы и не изменилась. Не будучи семинаристом, в академическое общежитие я не попал, да к тому же я всегда инстинктивно бежал всяких «общежитий». Жил я на частной квартире и, как и прежде, каждый день отправлялся на лекции, хотя

присутствие на них для студентов было необязательным. Но я привык к такому распорядку жизни и не слишком им тяготился. Свободу посещений я использовал лишь в том плане, что часы скучных и неинтересных для меня лекций проводил на других, привлекавших меня предметом или личностью преподавателя. Поэтому я оставался далек от жизни самой Академии, как профессорской среды, так и ее студентов, поскольку с теми и другими встречался только на занятиях, в библиотеке или на богослужении в храме. Все это мало располагало к разговорам и сближению.

С внешней стороны занятия в Академии ничем не отличались от гимназических уроков. Аудитории были маленькими, очень простыми, я бы даже сказал — пустыми: большие, грубоватые столы с длинными скамьями, рассчитанными на десять человек в ряд, перед ними — столик для профессора, а в некотором отдалении, у передней стены, — довольно примитивная кафедра, за которой можно было сидеть посторонним, желавшим слушать лекцию. Поначалу меня удивило столь убогое классное оборудование, достойное бурсы времен Н.Г.Помяловского, но вскоре я увидел, что в Академии все было очень простым. Отсутствовал элемент той грандиозности помещений и многолюдства, который так поражает вчерашнего гимназиста при поступлении его в Московский университет. Здесь все было много скромнее и как бы уютнее, так что резкого перехода от гимназии на первых порах не ощущалось. И все же разница была.

В Академии меня окружали исключительно взрослые люди. Студенты на моем курсе — а их было более ста человек — в подавляющем большинстве своем были не просто старше, а значительно старше меня. Даже только что окончившим семинарию было от 23 до 25 лет.

Возрастных ограничений при приеме в Академию не было. Странно было мне, совсем еще «зеленому» юноше, видеть своим сокурсником Григория Николаевича Навроцкого — человека с длинной седой бородой и такими же длинными седыми волосами. Ему было, вероятно, около пятидесяти лет, он давным-давно окончил Ришельевский лицей в Одессе, а теперь вдруг решил изучить богословие... И таких было немало.

Особый колорит студенческой массе придавали студенты-священники и монахи. Шелест их ряс, негромкие разговоры, почти полное отсутствие смеха, как среди духовных, так и среди светских, — все это создавало в

коридорах, аудиториях, в библиотеке атмосферу серьезности, даже некоторой строгости. Чувствовалось, что Академия для находящихся в ней не только дом, но и храм науки. Это впечатление еще больше усиливала общая религиозная установка и вытекавшая из нее настроенность, создававшие строгий, немного торжественный стиль всего учреждения: храм науки не только соседствовал с храмом веры, но и руководствовался его благочестием.

После февраля 1917 года, будучи учеником 8-го класса гимназии, я, как и многие мои сверстники, увлекся на какое-то время политическими вопросами: посещал митинги, проходившие в городском театре, часто сам выступал на них... Затем, по моей инициативе и с одобрения начальства нашей гимназии, двух женских гимназий и Ленчицкой учительской семинарии, эвакуированной в Сергиев Посад из Западного края, в нашей мужской гимназии стали проводить такие же митинги, чтобы отвлечь учащихся от участия в общегородских, которые в обстановке разгоравшихся политических страстей становились уже небезопасными... Поначалу меня удивило, что в Академии ничего подобного я не нашел. Но к осени 1917 года я успел поостыть к политике, увидев в своих и в чужих выступлениях только пустое словопрение молодых людей, вырвавшееся наружу после многолетнего молчания, — пылкое, искреннее, но не глубокое, а часто еще и по-юношески ошибочное.

То, о чем говорили между собой студенты в Академии, было для меня гораздо интереснее и ближе. Обсуждались религиозно-философские системы, мировоззрение русских и иностранных ученых, методология науки. Много места занимали вопросы богословия и его апологетики, встававшие по-новому перед их служителями. Подобные разговоры и обстановка, искусно поддерживаемая профессорами, особенно монашествующими и священниками, создавали общую мистическую настроенность, заставляя каждого, пусть даже неглубоко верующего, задумываться над виденным и услышанным. Насколько я мог наблюдать, большинство студентов переживали то же самое, что и я, хотя у некоторых, надо сказать немногих, в словах и в поведении ощущалась некоторая натянутость и фальшь. Конечно, как и везде, люди были очень разные.

Теперь, когда я проглядываю список студентов своего курса, лишь отдельные имена вызывают во мне отго-

лосок чувства или воспоминания, главным образом, по причине той разобщенности, о которой я сказал выше. И все же, даже то немногое, что сохранилось в моей памяти, может показать разнообразие людей, которых судьба, призвание, заблуждение или честолюбие приводили в нашу Академию.

***

Первыми передо мной встают два приходских священника из Сергиева Посада: Сергий Казанский из Петропавловской церкви и Михаил Лебедев — из Ильинской. Оба вдовцы. Как мне рассказывали общие знакомые, они пошли в Академию, чтобы затем принять монашество и стать архиереями. Талантами они не блистали. Если отец Сергий брал старательностью и сообразительностью, то отец Михаил был совершенно беспомощен. Он с трудом вызубривал нужный к экзамену материал, выпаливал его, но в ответ на дополнительные вопросы лепетал всякий вздор.

В своем семестровом сочинении П.А.Флоренскому он писал о философском значении поэзии Ф.И.Тютчева — собственно говоря, не писал, а только переписал своей рукой работу, написанную товарищем его сына, учившимся на историко-филологическом факультете Московского университета. Флоренский сразу понял, что простодушный батюшка сам такого сочинения написать бы не смог. И все же он завел с ним разговор о творчестве Тютчева, об его освещении в работах В.С.Соловьева, А.Г.Горнфельда, В.Я.Брюсова, Д.С.Дарского, С.Л.Франка, и когда стало совершенно ясно, что сочинение написано кем-то другим, дал понять незадачливому студенту, что для него самого лучше было бы не пользоваться «слишком усердно» чьей-то помощью, а написать собственное сочинение, пусть совсем небольшое, но самостоятельное...

На втором курсе отец Михаил Лебедев уже не появлялся.

Воспитанником Вифанской духовной семинарии, кроме В.М.Соловьева, о котором я расскажу ниже, был студент Андрей Писарев, достаточно способный. Его я лучше узнал во время моей работы в школе 2-й ступени при Сергиевском детском доме. Писарев оказался хорошим заведующим и хозяйственником но какого-либо педагогического таланта я у него не заметил. Был на нашем курсе румын, архимандрит Валериан (Моглано), окончивший до этого Одесскую духовную семинарию. Он очень плохо владел русским языком, и когда ему надо было разговаривать

в библиотеке, в канцелярии или со студентами, то прибегал к моей помощи: с ним мы объяснялись на французском языке. В 1918/19 году я его уже не видел и только недавно от своих учеников-румын узнал, что Валериан достиг сана епископа, но теперь уже скончался.

Помню, что мне очень хотелось познакомиться со студентом Владимиром Дмитриевичем Сето. До Академии он успел окончить два факультета в Московском университете и Московский археологический институт, о чем свидетельствовали три значка, которые он постоянно носил на студенческом мундире. Когда же это знакомство осуществилось, я был разочарован: он оказался, как теперь говорят, типичным «значкистом», человеком весьма посредственного ума, для которого оканчивание вузов стало своеобразным спортом, дававшим право надеть очередной значок.

Следует сказать, что подобная «значкомания» была развита уже в те годы. Студенты, даже серьезные и талантливые, имевшие какой-либо вуз за плечами, непременно щеголяли нацепленным значком, не снимая его даже в будни. Но разве — будем справедливы! — страсть к орденам, медалям, лентам и прочим знакам отличия возникла у людей только в наше время? Ведь и папуасы украшают свое тело рисунками, краской, втыкают в волосы перья, а в нос и уши — палочки и раковины, чтобы отличаться от остальных. И афоризм Оскара Уайльда — *«Будь произведением искусства или носи его на себе»* — оказывается гораздо ироничнее, вернее и глубже, чем может представиться на первый взгляд, потому что он предлагает человеку обратить внимание не на свою внешность, а на свой внутренний мир...

Такими «значкистами» были иеромонах Вассиан (Пятницкий) и священник Сергей Михайлович Соловьев, племянник великого философа, в год моего поступления в Академию учившийся уже на 4-м курсе, а затем ставший профессорским стипендиатом и доцентом.

Близкого знакомства у меня с ним не получилось, хотя жил он в доме покойного профессора Н.Ф.Каптерева, с младшим сыном которого, Сергеем Николаевичем, я был дружен.

Много хороших и прямо блестящих отзывов довелось мне слышать о студенте Сергее Дмитриевиче Милове и профессорском стипендиате Евгении Яковлевиче Кобранове. Последнему прочили блестящую будущность.

— Его кандидатское сочинение об Оригене таково,— говорил мне позднее профессор С.С.Глаголев, — что за него можно было бы сразу дать степень магистра, как Флоренскому за его «Столп и утверждение Истины» — доктора. К сожалению, Устав этого не позволял...

Оба они в советское время стали епископами, и обоим пришлось перенести немало горя и печалей. Мне рассказывали, что, когда Корбанова выслали в Казахстан, верующие его епархии смогли сохранить и переслать туда его большую и ценную библиотеку. Он же сумел разместить ее в своей юрте и уверял, что лучшей обстановки для научной работы ему и желать нельзя... Куда делись книги и рукописи после его кончины, мне неизвестно. Да и познакомиться с этими людьми мне не пришлось.

Как ни странно, меньше всего я могу сказать о Николае Липеровском, своем соклассснике, с которым мы вместе поступили в Академию. Мы не были близки с ним в гимназии, не сдружила нас и Академия, так как его не заинтересовали ни философия, ни богословие. Он был круглый сирота и после первого курса, спасаясь от надвигающегося голода, уехал куда-то на Урал. Больше я не имел о нем никаких сведений.

Двое галичан — Григорий Юрьевич Климков и Георгий Иванович Качмар — оставили по себе некоторую память в Сергиевом Посаде. Первый женился на сестре моего гимназического товарища, был простым, хорошим и милым человеком, принял сан и потом уехал к себе на родину. Качмар остался в Посаде. После ликвидации Академии он вступил в службу, стал членом президиума Сергиевского исполкома, а затем занимал солидный пост в Московском отделе народного образования. Это был делец, практик, который после Академии вряд ли интересовался богословской и философской наукой. Стоит заметить, что когда в Сергиевском исполкоме был поднят вопрос о переименовании города Сергиева, как стал называться Сергиев Посад в 1919 году, Качмар выдвинул предложение перенести на него имя Радонежа, который уже давно превратился из городка в маленькое сельцо. Но проект этот не был принят.

На старших курсах в мое время учились Иван Алексеевич Введенский, Владимир Македонович Волков, не имевший ко мне никакого отношения, Михаил Васильевич Соболев и Павел Николаевич Шувалов, которых упоминаю потому, что позднее близко узнал их, рабо-

тая вместе с ними в средних школах Сергиева и Загорска, как тот был наименован, наконец, в 1930 году. Был еще священник Иоанн Степанович Козлов: его я узнал уже профессором-протоиереем в возрожденной после войны Академии.

Студент Зосима Васильевич Трубачев был регентом правого хора в академическом храме. Он великолепно наладил церковное пение вместе с архимандритом Варфоломеем, профессором и благочинным нашего храма. И в этом отношении превосходил даже иеромонаха Иосафа (Шишковского), тоже знатока церковного пения, регента левого хора, обладавшего дивным тенором. Выделялся из общей среды своей воспитанностью и обаянием Сергей Александрович Орлов, а о Дмитрии Леонидовиче Вижевском, который до поступления в Академию заведовал академической школой-приютом имени святителя Алексия, мне кто-то говорил как о человеке социал-демократических убеждений, чуть ли не большевике, что в те годы в стенах Академии звучало весьма своеобразно. К сожалению, ни с кем из них я так и не сблизился: дальше отдельных разговоров, не оставшихся в памяти, наше знакомство не пошло...

Так получилось, что единственным человеком, с которым я более или менее сошелся на первом курсе, оказался Г.Н.Навроцкий, чье имя я уже упомянул.

***

Навроцкий был сыном известного в Одессе писателя-публициста, родственник которого издавал популярную газету «Одесский листок». В Академию его привело прекрасно поставленное в ней преподавание философии и богословия, имена известных профессоров, огромная библиотека, а равным образом близость к Москве, где можно было пользоваться библиотеками Исторического и Румянцевского музеев и где у него были знакомства и связи в некоторых издательствах. Он увлекался философией «путейцев»* и обнаруживал большую начитанность в художественной литературе, которую я тогда начал усиленно изучать, но действительно интересовали его проблемы мистики. Хорошо знакомый с теософией, ан-

---

* Автор имеет в виду С.Н.Булгакова, Н.А.Бердяева. Е.Н.Трубецкого, В.Ф.Эрна и других философов, книги которых выходили в Москве в издательстве религиозно-философского направления «Путь» в период с 1910 по 1917 год.— *А.Н.*

трософией и прочими оккультными системами, он признавался, что теперь поставил перед собой задачу изучить мистику западной и восточной Церкви.

Навроцкий снимал частную квартиру на Вифанской (теперь Комсомольская) улице, напротив дома покойного профессора Муретова. Все стены его большой комнаты от пола до потолка были заставлены стеллажами с книгами. Не помню, владел ли он иностранными языками, в том числе и древними, но книги были у него только на русском языке. Зато чего только здесь не было! Русские и иностранные философы, сочинения епископа Христофора, «Добротолюбие», полные комплекты «Вопросов философии и психологии», «Вестника теософии», «Ребуса», сборники «Логос» и «Труды и дни» издательства «Мусагет», сочинения Я.Бёме, Рейсбрука Удивительного, Мейстера Экхарта, Э.Щюре, Шарля дю Преля, Сент Ива д'Альвейдра, В.Шмакова, Е.П.Блаватской, Р.Штейнера, М.В.Лодыженского, Н.Ф.Федорова, В.А.Кожевникова, все книги, выпущенные издательством «Путь», и многое другое, что сейчас уже не вспомню. Интересовался он и писателями-символистами, группировавшимися возле журналов «Весы», «Золотое руно», «Новый путь», «Вопросы жизни», а потом перешедшими в «Аполлон» и «Русскую мысль». Стояли у него книги Д.Мережковского, А.Белого, Вяч.Иванова, В.В.Розанова...

Обо всем этом мы говорили при встречах. Кроме того, он давал мне читать некоторые книги, которые по тем или другим причинам я не мог получить в академической библиотеке. Он рассказывал мне о готовящихся к выходу в московских издательствах новых книгах, давал просмотреть в корректуре так и не вышедшую книгу «Типы религиозной мысли в России», в которой были собраны очерки об архимандрите Феодоре (Бухареве), Н.Ф.Федорове, профессоре В.И.Несмелове, П.А. Флоренском, М.М.Тарееве, С.Н.Булгакове, печатавшиеся в 1914-1916 годах в «Русской мысли».

Такого рода беседы можно было вести далеко не со многими студентами. Некоторые, особенно мои друзья — студенты-монахи, с которыми я познакомился еще в гимназии, смотрели на Навроцкого подозрительно, а то и откровенно враждебно, утверждая, что он тайный член хлыстовской секты, соглядатай, посланный своим «кораблем» в Духовную академию на разведку, чтобы

обстоятельнее познакомиться с официальным богословием.

— Вы посмотрите только на него, — говорили они.— Ведь это типичный Распутин: и длинные волосы, и борода такая же, и взгляд какой-то фиксирующий...

Действительно, таковы были его внешние черты, но за всем тем ничего хлыстовского в нем не было. Пожилой человек, он по-юношески увлекся философией и оккультизмом. Он никогда не навязывал мне своих взглядов, вполне довольствуясь тем, что мог досыта наговориться со мной на интересующие его темы.

Исчез Навроцкий как-то незаметно, когда стали ощущаться признаки скорой ликвидации Академии. Никто из студентов и профессоров о нем никогда при мне не вспоминал, и я больше ничего о нем не слышал...

***

Вообще за два года пребывания в стенах Академии я не смог почувствовать того, что именуется «внутренней жизнью» учебного заведения и обучающегося там студенчества. Возможно, она и была. Но поскольку сам я был приходящим студентом, не имевшим никакого отношения к академическому общежитию, она осталась мною не замеченной. Скорее же всего, что при мне ее просто не было.

Раньше, в 1905-1908 годах, Академия пользовалась известной свободой, не отличаясь этим от всего русского общества. Видимо, большую роль сыграл в ее внутренней жизни тогдашний ректор епископ Евдоким (Мещерский). При нем на страницах «Богословского вестника» печатались статьи об отношении духовенства к вопросам общественной жизни, о его политическом значении в жизни общества, о церковном обновлении, о неканоничности Синода, о необходимости участия народа и местного духовенства, вплоть до приходов, в высшем церковном управлении... Другими словами, официальный орган Академии поднимал и рассматривал все те вопросы церковной и общественной жизни, которые обсуждались в обществе и были частично разрешены Февральской революцией.

Такая постановка дела не могла не коснуться и жизни собственно студенческой. В Академии работали философский и литературный кружки, была создана своя общестуденческая организация с Исполнительным комитетом во главе, который, как и ее Устав, был утверж-

ден Советом Академии. В 1907 году велись переговоры с актером Малого театра А.И.Южиным-Сумбатовым относительно чтения им лекций по выразительному слову.[6] Все закончилось в 1908 году. Издаваемые при духовных академиях журналы стали снова подлежать обязательной духовной цензуре, студенческая организация была ликвидирована.[7] Когда же в 1909 году ректором Академии стал епископ Феодор (Поздеевский), часть прогрессивно настроенных профессоров вынуждена была покинуть ее стены...

В годы, предшествовавшие моему поступлению, студенты Академии под руководством профессоров занимались коллективными переводами иностранных трудов и издавали их. Достаточно указать хотя бы на труд Т.Фонсегрева «Элементы психологии», переведенный под редакцией П.П.Соколова и выдержавший три издания. В мое время С.И.Соболевский начал было переводить со студентами «Строматы» Климента Александрийского, а П.А.Флоренский — словарь философских терминов Аристотеля (с немецкого), но скорое закрытие Академии помешало довести эти работы до конца.

Наиболее яркими событиями академической жизни бывали диспуты, или коллоквиумы, как они официально назывались, при защите магистерских диссертаций. Подобно вступительным лекциям новых профессоров, они проходили в актовом зале в присутствии всех студентов, профессуры, приглашенных духовных и светских лиц. В первом семестре 1917/18 учебного года было четыре таких коллоквиума, последних. Свои работы защищали профессор П.В.Нечаев, священник И.М.Смирнов, протоиерей М.Фивейский и профессор А.М.Туберовский. Диспут по работе Нечаева«Теизм как проблема разума. Герман Ульрици.» продолжался восемь часов и как-то не остался в памяти. У священника Смирнова мне запомнился скрупулезный разбор ошибок в его переводе греческих текстов, сделанный С.И.Соболевским. Сам тон академического оппонента показывал его ироничность по отношению к диспутанту, как малознающему ученику.

Диспут Фивейского был примечателен тем, что его сочинение на магистерскую тему «Духовные движения в первоначальной христианской Церкви» было представлено еще в 1902 году, однако не было признано удовлетворительным. Вторично этот вопрос возбуждался в 1907 году, и здесь мнения рецензентов разделились: профес-

сор А.Д.Беляев дал положительный, а профессор М.Д.Муретов — отрицательный отзыв. Среди студентов говорили, что тогда в труде Фивейского были найдены «неправославные элементы». Теперь он делал третью попытку.

Диспутант, солидный и осанистый протоиерей, служивший последние годы настоятелем русской посольской церкви в Лондоне, держался очень уверенно. Он не только отражал нападки рецензента, профессора Страхова, но и сам переходил в атаки, засыпая противника обилием цитат на английском языке, который, несомненно, знал очень хорошо. После Страхова выступал архимандрит Иларион. Позднее Глаголев говорил, что в 1912 году при защите своей магистерской диссертации Иларион, тогда еще Владимир Троицкий, английский язык знал неважно и мало цитировал британских богословов. Однако за последующие пять лет он сумел изучить его весьма основательно и на залпы английских цитат отвечал такими же залпами, дополняя их обилием ссылок на греческие, латинские, немецкие и французские тексты, разумеется, на языке подлинника. Произошел действительный ученый поединок, где не было ни победителя, ни побежденного. И на следующий день я мог видеть, как новый магистр с торжествующим видом вышел из монастыря, направляясь к железнодорожному вокзалу...

Но самым примечательным, конечно, был диспут Туберовского, который, вопреки всем обыкновениям, продолжался два дня — 10 и 11 октября 1917 года. Мои друзья — монахи Феодосий, Панкратий и Порфирий — заранее предупреждали, что диспут обещает быть острым и интересным. Сначала рецензентами были назначены профессора М.М.Тареев и М.Д.Муретов, но после кончины последнего в 1917 году его заменил П.А.Флоренский. Рецензентами, таким образом, оказывались идейные и личные противники — прежний и нынешний редакторы «Богословского вестника». Острота положения усугублялась еще и тем, что, хотя Туберовский поставил своей задачей дать мистическую апологию догмата Воскресения Христа, понимание самого мистицизма у него было иным, чем у Флоренского[8]. Если последний опирался, главным образом, на мистику святых отцов, то Туберовский преимущественно исходил из понимания мистики западными философами, такими, как А.Бергсон, Э.Бутру, У.Джемс[9], поэтому его

считали в области богословия учеником и как бы продолжателем Тареева.

Как жаль, что журналы Совета за 1917 год не были напечатаны, а протоколы, скорее всего, погибли при катастрофическом разгроме канцелярии Академии! Жалею я и что не записал сразу же после диспута свои впечатления. Но, подобно остальным студентам, я полагал, что все происходящее со временем будет опубликовано в «Богословском вестнике» или в журнале Совета...

В первый день на диспуте председательствовал архиепископ новгородский Арсений. Заслушать успели только отзыв одного Флоренского, поэтому продолжение коллоквиума было перенесено на другой день, когда Арсений уже уехал.

— Владыка полагал, — говорил мне потом Глаголев,— что диспут «провернут» быстро, в четыре-пять часов, как бывало раньше. Но автономная Академия решила показать, что у нее «не иссяк порох в пороховницах», и затеяла такое словопрение, какого не помнят не только академические старожилы, но и ее летописи...

Сам я запомнил из первого дня только, что Флоренский упрекал Туберовского в несколько поверхностном понимании мистицизма, в сухом, чисто профессорском (на немецкий лад) подходе к проблеме, в недостаточном использовании мистики восточной, особенно православной, что делало его труд, по замечанию Флоренского, похожим на «Многообразие религиозного опыта» У.Джемса. Последний тщательно изучил субъективный религиозный опыт даже незначительных сектантских деятелей, однако совершенно не затронул тех богатств, которые имеются в «Добротолюбии» и вообще в святоотеческой письменности.

Второй день начался выступлением М.М.Тареева.

Здесь надо отметить одну деталь, понятную каждому, кто знал об отношении рецензентов друг к другу, и которая уже с первого момента как бы предопределила развитие дальнейших событий.

Обычно на таких коллоквиумах оба рецензента садились рядом за маленький столик возле старинной кафельной печи елизаветинского времени, напротив соискателя, который возвышался перед ними на кафедре. Однако уже в первый день Флоренский находился за этим столиком в одиночестве: Тареев сидел за большим столом вместе с остальными профессорами. Теперь они поменялись местами. Председательствовал недавно из-

бранный в ректоры и уже рукоположенный в протоиереи А.П.Орлов.

Тареев начал свой отзыв с указания положений и разделов диссертации, которые считал ошибочными. Таких, к общему удивлению, оказалось немало, хотя все считали Туберовского его единомышленником. Затем рецензент перешел к обсуждению принципиальных проблем и заговорил вообще о характере современного русского богословия, отмечая его достоинства и недостатки. В основном, он повторил те мысли, которые высказал в своей статье «Новое богословие», где обвинил Флоренского в нехристианстве «Столпа», утверждая, что это не православная, а «спиритическая» философия. Теперь же, говоря о развитии русского богословия за истекшее столетие, он ставил в заслугу ему стремление к предельной ясности, использование методов критического мышления, уклонение от модных в последние годы псевдомистических течений, вроде теософии и антропософии.

— ...Печальным исключением среди таких богословских трудов является книга священника Флоренского «Столп и утверждение Истины»! — подчеркнуто произнес он.

Тотчас же к А.П.Орлову обратился Ф.К.Андреев, друг и единомышленник Флоренского:

— Отец Анатолий! Прошу вас оградить Павла Александровича от незаслуженных оскорблений!

Ректор поднялся и, обращаясь к Тарееву, произнес:

— Михаил Михайлович, прошу вас в вашем отзыве держаться ближе к теме, к рассмотрению диссертации Александра Михайловича Туберовского, не переходя на личную почву и не затрагивая отдельных лиц!

Тареев отмахнулся, словно бы от назойливой мухи, и продолжал некоторое время в том же духе, только не называя имен. Но вдруг у него прорвалась фраза:

—...Та наглость, с которой священник Флоренский...

Он не успел ее закончить, как Андреев вторично и уже резким тоном воскликнул:

— Отец Анатолий!..

Его тут же перебил поднявшийся Флоренский:

— Отец ректор! Должен сказать, что, несмотря на указанные мною недочеты, я все же считаю диссертацию Александра Михайловича Туберовского достойной ученой степени магистра богословия. Вместе с тем по-

лагаю, что мое присутствие на этом коллоквиуме совершенно излишне!

Он вышел из-за профессорского стола и быстро направился к двери. Тотчас же встали и пошли за ним профессора — монахи и священники, а также светские профессора, принадлежавшие к антитареевской группе. Начавший что-то говорить ректор оборвал свою речь на полуслове и тоже направился к выходу. Остальным профессорам ничего не оставалось, как выйти следом за ними.

Последним медленно вышел Тареев.

И тут раздались шумные аплодисменты. И тогда, и теперь я не знаю, кому аплодировало студенчество — Тарееву или Флоренскому? Сколько я ни расспрашивал об этом других аплодировавших, никто мне толком не мог ничего сказать. Диспут был сорван.

Потом я узнал, что в профессорской комнате Тарееву было предложено извиниться перед Флоренским. Он извинился, но в таких выражениях, что только ухудшил положение. Там, в профессорской, кое-как закончился коллоквиум, присудивший расстроенному Туберовскому желанное звание магистра...

Я, конечно, сочувствовал Флоренскому, поскольку считал и считаю его, как ученого, несравненно глубже, даровитее и ярче Тареева, который, несмотря на свои познания, был до грубости несдержан, особенно когда ударялся в полемику. Понимаю, что тому немало пришлось перенести от епископа Феодора. После 1905 года его обвиняли в «неправославии», и долгое время казалось, что дни Тареева в Академии сочтены. Однако изгнать из стен Академии блестящего ученого-богослова академическое начальство не решилось, справедливо опасаясь, что ему тотчас же будет предложена кафедра в Московском университете. Плохо другое: перестав быть гонимым, а, кроме того, получив власть и возможность печатно и бесконтрольно высказывать свое раздражение, Тареев позабыл о тяжести гонений для каждого мыслящего человека и поспешил сам обрушиться с несравненно более грубыми и резкими обвинениями на тех, кого полагал виновниками своих прошлых бед: на епископа Феодора, рассыпая ему вслед упреки, граничащие с бранью, и на Флоренского, в котором на протяжении ряда лет видел более счастливого и прославленного соперника.

Несдержанность Тареева проявлялась и в тех его произведениях, где он ударялся в полемику со своими критиками. Особенно отличался этим его сборник «Философия жизни» (Сергиев Посад, 1916) с полемическими выпадами, даже выходками, по адресу профессоров Совета МДА и авторов, критиковавших его труды...

Скажу еще несколько слов о Туберовском, чтобы уже не возвращаться к этому профессору, лекции которого я слушал с удовольствием.

Его книга «Воскресение Христово» была очень интересна, как и брошюра «Внутренний свет»[10], хотя в освещении автором догматов христианства проскальзывали черты, роднившие его с католическим модернизмом и западноевропейским мистицизмом. Большой том его докторской диссертации, отпечатанный на машинке, я видел в 1919 году у Глаголева, но заглавие позабыл, а саму диссертацию не читал. Она, конечно, так и не увидела света, подобно многим другим творениям не только духовных, но и светских писателей, которых заставили замолкнуть суровые условия тогдашней жизни. Сам Глаголев отзывался о ней очень хорошо. Лекции Туберовского были интересны и содержательны. Я находил в них много общего с идеями Флоренского, но они не были напечатаны даже литографским способом, поэтому к экзаменам нам приходилось готовиться по догматическому богословию епископа Сильвестра[11].

В отличие от большинства профессоров, приученных с семинарской скамьи к так называемому «рейхлинскому» произношению греческих цитат, Туберовский неизменно придерживался «эразмовского» произношения, к которому я сам привык за четыре года изучения греческого языка в гимназии. Это произношение было много мелодичнее «рейхлинского», сохраняя дивные переливы гласных (особенно у Гомера), совершенно тускнеющие в «рейхлинском» произношении. Мне не нравилось также, что в новейшем греческом языке совершенно исчезла аттическая четкость, место которой заняли какая-то шепелявость и сюсюканье, звучавшие в произношении монаха Гавриила (Мануилова), для которого современный греческий был родным языком. Следуя примеру Туберовского, я тоже стал читать в Академии «по-эразмовски», чем вначале чрезвычайно удивил нашего профессора греческого и латыни С.И.Соболевского. Потом, узнав, что я питомец классической гимна-

зии, он разрешил мне читать так, как я привык, заметив мимоходом, что такое произношение звучит действительно приятнее...

После закрытия Академии Туберовский принял сан священника, но где он служил — не знаю. Скончался он, кажется, уже в пятидесятых годах.

***

Как я уже вскользь упомянул, начавшийся учебный год был ознаменован 10 сентября выборами нового ректора Советом Академии. Им стал профессор Анатолий Петрович Орлов.

После отстранения в марте епископа Феодора (Поздеевского), к тому же близкого московскому митрополиту Макарию, в свое время «поставленному» на московскую кафедру Распутиным, всеми делами Академии практически управлял архимандрит Иларион (Троицкий). Многие полагали, что именно он и станет новым ректором, поскольку Иларион обладал несомненно выдающимися организаторскими талантами, был блестящим педагогом и проповедником, «столпом веры», а кроме того, пользовался всеобщим уважением и любовью.

Произошло иначе. Действительно, значительная часть профессуры, в которую входили люди консервативного образа мысли, главным образом, монахи и священники, обладавшие исключительным весом в академических делах во время правления Феодора, поддерживали кандидатуру Илариона. Но вместе с тем в Академии существовала почти равночисленная группа либеральных профессоров, желавшая провести на пост ректора Тареева, уже поставленного во главе «Богословского вестника». Что могло произойти в результате такого выбора, можно судить по упомянутому мною скандалу, разразившемуся на диспуте Туберовского. Поэтому обе группы пошли на компромисс, в результате которого ректором был избран профессор А.П.Орлов, человек достаточно мягкий и покладистый, так что каждая группа могла надеяться в дальнейшем перетянуть его на свою сторону. Насколько я припоминаю, он читал обличительное богословие, которое начиналось на третьем курсе, так что слышать его как лектора мне не пришлось, а его магистерского сочинения об Иларии Пиктавийском[12] я не читал.

Согласно академическому Уставу, ректор Академии должен быть духовным лицом — белым священником или монахом. Поэтому, вскоре после своего избрания, Орлов поехал в Москву в сюртуке, а вернулся оттуда через несколько дней в коричневой муаровой рясе протоиерея с золотым наперсным крестом и в камилавке. Первое время он забавно путался в полах рясы, но потом постепенно привык и даже приобрел достойную осанку.

Примерно полвека назад подобная история произошла в Академии с А.В.Горским. Студенты моего времени о ней или не знали, или не помнили, но, по случаю, вспоминали скоропостижное возведение Фотия в сан константинопольского патриарха...[13]

Как новый, избранный на началах автономии ректор управлял Академией — сказать затрудняюсь, потому что никогда этими вопросами не интересовался, впрочем, как и большинство студентов. Мы полагали, что решать дела Академии должны профессора, которые нас учат и которые проводят в ее стенах многие годы, а некоторые — и всю свою жизнь, тогда как студенты проходят четырехлетний курс и обычно покидают ее навсегда. Да и успел ли Орлов сделать что-либо знаменательное в тех условиях, когда приходилось думать не о реформах, а о существовании самой Академии?

Правда, поначалу все шло, как обычно.

Первого октября, в день Покрова Божией Матери, которому была посвящена наша академическая церковь, торжественную литургию совершали у нас три святителя: московский митрополит Тихон, новгородский Арсений и орловский Серафим. Речь на тему «Реформа духовной школы при Александре I и основание Московской духовной академии» читал профессор М.М.Богословский. Его специальностью была эпоха Петра Великого, и я охотно ходил на его лекции, поскольку они меня интересовали, хотя производили гораздо меньшее впечатление, чем, скажем, лекции профессора Серебрянского. Богословский читал хорошо, просто, несколько хрипловатым голосом, часто сравнивал события и людей той поры с нашим временем, делая умные, а подчас и весьма остроумные замечания. В его интонациях и жестах порой проявлялся пафос гражданственности, но мне этот пафос казался несколько театральным, а блеск речи — поверхностным. Подобные ораторские приемы мне пришлось потом встречать на лекциях профессора Кизеветтера, но там они казались мне уже сов-

сем не к месту. Впоследствии Богословский стал академиком, и его незаконченная история Петра I, вышедшая, кажется, в пяти томах, остается ценным по своей скрупулезности, но не слишком увлекательным изложением жизни царя, которого Иларион неизменно именовал «нечестивым»...

Теперь, когда несколькими штрихами я обрисовал знакомое мне студенчество и жизнь Академии в начальный период моего в ней пребывания, я постараюсь набросать краткие портреты тех людей, которые, собственно, и представляли собой Академию, были нашими учеными и духовными наставниками. Далеко не всех их я знал, большинство — только по их лекциям, и уже совсем немногих мог наблюдать после разгрома Академии и Лавры в их частной жизни. Вот почему я не буду придерживаться никаких определенных хронологических рамок, забегая в рассказе о человеке иногда очень далеко вперед — настолько, насколько мне вообще что-либо известно о его дальнейшей жизни после закрытия Академии.

Глава вторая

Профессора и преподаватели: Варфоломей Ремов, Пантелеймон Успенский, И.В.Гумилевский, П.П.Соколов, С.М.Соловьев, игумен Ипполит, И.В.Попов, Ф.К.Андреев, Д.И.Введенский, С.И.Соболевский, Д.А.Лебедев, Н.И.Серебрянский.

Профессорский состав Академии был разнообразен и неоднороден. Наряду с венком блистательных имен, таких, как С.С.Глаголев, М.М.Тареев, И.В.Попов и, конечно же, П.А.Флоренский, были профессора, которые как-то незаметно проходили перед нашими глазами, вроде Н.Л.Туницкого, А.П.Орлова или П.Страхова. Они имели уже свои ученые труды, но ни ими, ни своими лекциями не оказывали большого влияния на студенческую массу. Другие, как А.М.Туберовский или Ф.К.Андреев, обладая талантами, не успели проявить их полностью. Точно так же мне нечего сказать и о некоторых других профессорах духовного звания — или потому, что они читали предметы, мало меня интересовавшие, как, например, священники И.М.Смирнов (церковнославянский и русский язык с палеографией) и Ф.М.Россейкин (история греческой Церкви нового пе-

риода, славянских и румынских Церквей), или же их лекции оказывались столь бесцветны, что, посетив их однажды, больше я на них уже не ходил. Таковы были лекции П.В.Нечаева по педагогике, столь нудные и вялые, что слушать их не хотелось. Говорили, что и профессором он стал только благодаря своему родству с митрополитом Макарием (Невским).

Были профессора-монахи, как правило, креатуры митрополита, Синода или какого-либо влиятельного «князя Церкви» вроде Антония (Храповицкого), который из своей епархии на Волыни влиял на определенную группу профессуры.

После удаления епископа Феодора (Поздеевского) профессора-монахи перестали занимать в Академии господствующее положение. Чтобы стать идейными вдохновителями и руководителями академической жизни, им не хватало ни эрудиции, ни талантов. Слова эти не относятся к архимандриту Илариону (Троицкому), человеку исключительного дарования, глубокой учености, до закрытия Академии продолжавшему быть одним из ее «столпов». В отношении других следует признать, что прежняя система поощрения студентов, собирающихся принять постриг или сан, особенно монашествующих, себя не оправдала. Получив кафедру, они оказывались в положении крыловской лягушки, и хотя раздувались они очень умеренно, однако их научная несостоятельность была для всех очевидна.

Таков был Варфоломей (Ремов), тогда иеромонах, вскоре затем игумен, архимандрит, епископ и, как я слышал, архиепископ. Человек ограниченных познаний, в науке лишь компилятор, он не обладал даже даром речи, постоянно перескакивал с одного вопроса на другой, часто совсем не связанный с предыдущим и возникавший в его уме в силу какой-то случайной ассоциации. С ним можно было приятно и легко потолковать о том о сем, но в силу этой особенности совершенно невозможно было вести сколько-нибудь длительную беседу на серьезную тему. Можно представить, каковы были его лекции и проповеди! Первых я не слышал, но даже его друг Вассиан (Пятницкий) говорил мне, что они бесцветны и совершенно бесполезны для студентов; вторые я слышал нередко, и они вызвали только скуку и утомление. Его профессорство было каким-то миражем. Ценили же его, и вполне заслуженно, как благочинного

академического храма. Здесь он был на своем месте, был мастером своего дела, отдавался ему с любовью и вдохновением и довел чин академического богослужения до высокого совершенства. Его же профессорство по кафедре Ветхого Завета представлялось случайным и несущественным придатком к главному. Меня удивляет, почему ему не дали кафедры литургики. Он не только безукоризненно наладил уставное служение в храме, но вместе с тем досконально знал историю и теорию науки о богослужении, глубоко чувствовал красоту церковных песнопений, их словесное и музыкальное богатство, поразительное соответствие с содержанием молитвословий и был знатоком, так сказать, «литургического богословия».

Мне приходилось часто с ним встречаться, в особенности после закрытия Академии, и я имел возможность наблюдать его в самых разнообразных ситуациях. Беседы наши были искренни, несмотря на мою ученическую сдержанность и на его некоторую склонность порисоваться. Кроме того, нас сблизила художественная литература: он любил читать и особенно восторгался... Анатолем Франсом! Что он находил у Франса? Сам он говорил, что ценит «стиль господина Бержере». Не думаю, что его привлекал только стиль. Тем более, я ни разу не видел у него подлинника, а только русские переводы, хотя Варфоломей знал французский язык довольно прилично и свободно читал научные труды. Нет, мне думается, что его мысли и, вернее, сердце, которое у него было очень чутким, уставали иногда от строгой монашеской позы, хотя он и любил слегка ею пококетничать, особенно перед дамами. Ему хотелось некоторой дозы свободы и критики, и тут на помощь приходила легкая и тонкая ирония Франса, его пусть поверхностный, зато изящный скептицизм. К тому же оба они любили скользить по поверхности человеческих чувств и явлений, не углубляясь в их сущность: Франс — по нежеланию тревожить себя и свое эпикурейство, а Варфоломей, пожалуй, в силу врожденной склонности.

Я часто беседовал с ним на литературные темы после того, как получил в заведование студенческую библиотеку и смог снабжать его новейшей беллетристикой, которой там было достаточно. Его высказывания о прочитанных книгах иногда были очень любопытны, даже

оригинальны, но и только. Таких глубоких и поразительных идей, как у отца Евгения Воронцова или Флоренского, такой злой, иногда несправедливой, но всегда яркой и меткой остроты, как у Глаголева, у отца Варфоломея не было. Он не шел дальше айхенвальдовского и гершензоновского «вчувствования» и того, что тогда называлось «имманентным чтением» и «сопереживанием»[14]. Но и это удавалось ему далеко не всегда и не в полной мере.

Все мои попытки пофилософствовать с ним на литературные темы обычно оканчивались неудачей. Быть может, он опасался вступить на скользкую, а потому и опасную для него почву, не чувствуя себя подготовленным. С литературоведением он тоже был мало знаком. Это я чувствовал, потому что готовился специализироваться в области истории и философии литературы и читал некоторые труды А.Н.Веселовского, Ф. де Ла-Барта, В.Н.Перетца, М.О.Гершензона, А.М.Евлахова, а также И.Тэна, Э.Генникена, Ж.Леметра и Ф.Брюнетьера. А с этими авторами ему стоило бы основательно познакомиться как специалисту, который постоянно имел дело с прекраснейшими памятниками древнееврейской поэзии и философии. Но в стилях он разбирался не блестяще. И хотя любил разыгрывать из себя литературного гурмана, на самом деле был всего только любителем занимательного чтения, отличаясь от других таких же лишь лучшим выбором книг.

К моему великому удивлению, отец Варфоломей своей библиотеки не имел. Для меня это было тем более странным, что солидные личные библиотеки были у всех профессоров; даже студенты, монашествующие и светские, одинаково заботились, еще учась, собрать самые необходимые и интересные книги. Монахи при этом усердствовали даже больше, чем светские. Иеромонах Вассиан (Пятницкий) по вопросам гебраистики, избранной им своей специальностью, и по смежным наукам имел более трех тысяч томов. Варфоломей же говаривал, что, пока он профессорствует, ему вполне хватает академической библиотеки, а там «видно будет».

Он жил в инспекторском корпусе, в нижнем этаже, и в его кабинете со сводчатым потолком, белыми стенами и темными панелями стояли невысокие стеллажи, заставленные книгами в красивых и импозантных переплетах, преимущественно на иностранных языках, взятыми из академической библиотеки. Некоторые из них

он мне показывал, как, например, «радужную Библию» английского издания, где разным цветом были выделены разделы, относящиеся к той или иной эпохе. Вся мебель была стиля «модерн», и даже лампада перед киотом была стильной и электрифицированной, что являло собой необычайное новшество, которого не было больше ни у кого. Здесь пахло хорошими французскими духами, главным образом, его любимыми цикламенами, и стояли свежие цветы, подношение его поклонниц. Но я ни разу не застал его читающим какую-либо из книг, стоявших на полках. Вероятно, они были использованы им при написании магистерской диссертации, а затем исполняли роль пристойных декораций...

В его труде о пророке Аввакуме[15] я тоже не заметил таланта. Это была одна из тех работ, которые считаются удовлетворительными и приносят автору желанную ученую степень не за научные результаты, а за потраченные на них старание и время.

За всем тем нельзя обойти молчанием тот факт, что Варфоломей пользовался всеобщей любовью. Некоторые прихожане прямо-таки обожали его и готовы были сделать все, чем только могли его порадовать. А он никогда этой любовью не злоупотреблял, потому что не был корыстным человеком, наоборот, сам был готов помочь любому в трудном положении, и действительно помогал.

Я испытал его заботу на себе летом 1919 года, когда заболел дизентерией, причем настолько тяжело, что уже не надеялся на выздоровление. В то страшное, голодное время нельзя было достать не только лекарство, но даже надлежащую пищу. И вот Варфоломей и Вассиан, навестив меня однажды, принесли довольно большой мешочек белых сухарей и бутылку красного вина, столь нужные при данном заболевании. По тем временам это была сказочная роскошь! Все это они получили от богатых прихожан для храма, но не задумались поделиться с бедным собратом по академическому приходу и тем спасли мне жизнь.

Кроме того, мне было сообщено, что в академическом храме не только вынимали просфоры, но даже на ектениях молились за мое выздоровление...

***

Другого монаха-профессора, Пантелеймона (Успенского), я ни разу не видел. Говорили, что это строгий аскет, постник, который из-за неумеренного постничества часто болеет. В мое время он отдыхал и лечился в

Новом Афоне. О нем мне рассказывал мой друг, студент-монах Порфирий (Соколов), который был близок с Пантелеймоном. Сам он был не меньшим постником, а кроме того, и великим смиренником, чем не очень-то отличались академические монахи. Его изумительное смирение меня порой поражало и подавляло. Всегда он старался оставаться в тени и незаметности, умалчивал о своих делах, говорил о других, и всегда только хорошее.

По его словам, Пантелеймон живо интересовался вопросами искусства и эстетики, писал большую работу, стараясь показать родство религии и искусства в их общем стремлении постигнуть и выразить вечные основы жизни. Не знаю, что сталось с его трудом: Пантелеймон вскоре скончался. Я читал его переводы гимнов Симеона Нового Богослова[16], но они не произвели на меня большого впечатления, показавшись лишь отвлеченными рифмованными рассуждениями. Возможно, по-гречески они звучат интереснее и лучше, однако в подлиннике я их не читал.

Между тем, самый факт таких устремлений у монаха весьма знаменателен. После 1900-х годов академическое монашество значительно расширило круг своих интересов и занятий в науке. Возможно, этому содействовали два возникших религиозно-философских общества, где представители Церкви встречались и общались с лучшими представителями русской интеллигенции, учеными, писателями, философами. Апологетика требовала основательного знания светской литературы, искусства и науки. В мое время монахи охотно читали не только философские статьи и книги, но и беллетристические произведения, потому что и о художественном творчестве надо было уметь сказать веское слово.

Профессор Академии В.П.Виноградов в своей рецензии на кандидатскую работу одного студента, рассматривавшего литературную тему, в 1912 году писал: *«Один из выдающихся русских пасторологов последнего времени, высокопреосвященнейший Антоний, архиепископ Волынский, решительно заявляет, что изучение живой человеческой души по ее отражениям в художественной литературе так же необходимо для будущих пастырей церкви, как для будущих врачей изучение телесного человеческого организма по моделям и картинам»*.[17]

Когда я стал заведовать студенческой библиотекой, то в записях выданных книг за прошлые годы нашел

«Ключи счастья» Вербицкой, записанные за тогдашним ректором Академии епископом Феодором. Если такой строгий аскет, чего не отрицали даже враждебно настроенные по отношению к нему люди, счел нужным познакомиться с нашумевшей в то время книгой, значит, на художественную литературу смотрели действительно серьезно. Варфоломей интересовался не только Франсом, но охотно читал О.Бальзака, Г.Флобера, П.Бурже, а из русских авторов Д.Мережковского, З.Гиппиус, Андрея Белого, Леонида Андреева, А.М.Ремизова, Бориса Зайцева. К стихам он был почему-то равнодушен. Архимандрит Иларион брал у меня из личной библиотеки только что вышедший роман Д.Мережковского «14-е декабря», а также книжечку К.Бальмонта «Поэзия как волшебство». Последнюю он даже потерял во время своих поездок, так как, по его словам, читал светскую литературу только в вагоне или перед отходом ко сну. Он вообще любил легкую беллетристику: на его ночном столике я видел романы Федорова, Криницкого, Ланского, Крашенинникова... Не блестящий подбор!

***

Лекции священника И.В.Гумилевского, несмотря на некоторую внешнюю эффектность ораторских приемов, к которым он прибегал, наводили скуку своей бессодержательностью. Поэтому литургика, которую он читал, оставила меня холодным, и я заинтересовался ею, лишь когда познакомился с Варфоломеем: тот тонко чувствовал «душу богослужения» и свое восхищение сумел передать и мне.

Столь же разочарован я был и лекциями по психологии П.П.Соколова, чей магистерский труд «Вера»[18] прочел с увлечением еще в гимназии. Но Соколов, к моему удивлению, оказался сторонником экспериментального метода, причем довольно ограниченным.

Когда после вводной лекции, в которой он разбирал некоторые труды русских и иностранных психологов, я поинтересовался, почему он не упомянул о только что вышедшей книге профессора С.Л.Франка «Душа человека»[19], прочтенной мною с огромным интересом, Соколов ответил довольно небрежно:

— Я еще не успел с ней познакомиться. Но ведь Франк — мистик, ученому психологу его домыслы не столь уж нужны...

В устах профессора духовной академии такая оценка была по меньшей мере странной.

Как ни грустно, к этой же группе профессоров, не оставивших в памяти никакого впечатления, приходится присоединить и священника С.М.Соловьева — племянника философа Владимира Соловьева и внука знаменитого русского историка. Я ценил его стихи раннего периода, с увлечением читал его статью о Гёте и христианстве[20], но его вступительная лекция по патрологии была скучна и неинтересна. О западных отцах церкви он говорил, как любой начинающий посредственный доцент. После лекций И.В.Попова его можно было не слушать. Много позднее я узнал, что он перешел было в католичество, но затем вернулся в лоно православия. О его католичестве мне рассказывала некая дама по фамилии Малиновская, дочь русского православного священника при лондонском посольстве и внучка того самого В.Ф.Малиновского, который был директором Царскосельского лицея во времена Пушкина. Сама она, особа весьма почтенных лет, была типичной экзальтированной католичкой и — конечно, безрезультатно! — пыталась уговорить перейти в католичество и меня: комизм ситуации особенно яркий, если пояснить, что разговоры эти велись в 1939-1940 годах...

О С.М.Соловьеве мне известно еще, что он закончил поэтический перевод «Энеиды» Вергилия, начатый Валерием Брюсовым, и скончался в лечебнице для душевнобольных. Лицом он очень напоминал своего знаменитого дядю-философа.

***

Рассказывая о монахах, надо остановиться и на фигуре игумена Ипполита, лаврском монахе, который был академическим духовником.

Когда, поступив в Академию, я впервые услышал о нем от знакомых студентов-монахов, то очень удивился, узнав, что Ипполит закончил только семинарию. Мне казалось невозможным, чтобы духовником студентов Академии и ее профессоров был монах-простец. Но я был еще не слишком знаком с монастырским «старчеством», о котором читал только у Достоевского в «Братьях Карамазовых», да и то не смог оценить его тогда и понять.

— Вот погодите, — говорили мне монахи, — побываете на исповеди и поймете...

Вскоре наступила первая неделя Великого поста. Я исповедался отцу Ипполиту, рассказал обо всем, что меня волновало и смущало в новой обстановке... и вышел от него успокоенный, с ясной душой. Тут только я понял, что, кроме обычного богословского подхода к религиозным вопросам, есть еще и другой подход, духовный и душевный, несравненно более высокий. Отец Ипполит так ласково расспросил меня о моих треволнениях, так глубоко все понял и так просто разрешил недоумения, что я был поражен. В его словах чувствовалась высшая мудрость человека, руководствующегося не только разумом, но и сердцем, и той силою, которую иначе не назовешь, как «великое в малом». Только тогда мне стало понятным это выражение, встречающееся в монашеской литературе, которое символизирует внутреннюю духовную жизнь под сенью благости Божией, и в дальнейшем я все более укреплялся в нем.

Своим прозрением я поспешил поделиться с Феодосием, Панкратием и Порфирием, с которыми советовался обо всем, что меня волновало в Академии, прибегая к их помощи чуть ли не ежедневно. И на этот раз они были обрадованы, особенно Порфирий. Позднее я убедился, что он был человеком такого же духа, как и отец Ипполит, который до конца дней Академии оставался ее духовником. Мне еще дважды удалось с ним так вот душевно побеседовать.

После закрытия Лавры он жил в Сергиевом Посаде на частной квартире и скончался в начале 30-х годов. Я всегда вспоминаю о нем, перечитывая Достоевского и Лескова. У первого мне напоминает его старец Зосима, а у второго — митрополит Филарет (Амфитеатров) и священник Захария Бенефактов в «Соборянах».

***

Выше я упоминал Ивана Васильевича Попова, читавшего нам лекции по патрологии. Пожилой мужчина с аскетически строгим, худым, окаймленным небольшой бородой лицом, на первый взгляд не привлекал внимания, и только приглядевшись, можно было увидеть в его глазах глубокую сосредоточенность и внутреннюю силу. Последнюю он смог вполне проявить позднее, во время своих неоднократных ссылок и в изгнаниях, когда в крайне трудных условиях жизни не терял стойкости и бодрости духа, перенося лишения с мужеством мучени-

ка древних времен, как мне рассказывали об этом живые свидетели его подвигов.

Свои лекции он читал интересно, хотя не блистал ни ораторскими приемами, ни элоквенцией, ни даже эрудицией. Но чувствовалось, что за его словами скрывается глубокое содержание и прекрасное знание своей дисциплины. Философия святых отцов вырисовывалась перед нами как непосредственное продолжение древней эллинской мысли и, одновременно, как глубочайший корректив, исходивший из божественного откровения, ко всему ценному, что внесла в мир античность. Христианизированную философию Востока он связывал с аналогичной философией Запада, а затем и с течениями западноевропейской средневековой мысли, показывая основное расхождение Востока, с его проникновенным логизмом и софийностью, и Запада, с его односторонними рационалистическими устремлениями, которые привели в конце концов к замене онтологии узкими рамками гносеологии.

Позже, уже после закрытия Академии, я не раз бывал у него на квартире. Мы разговаривали с ним на философские темы, однако больше о церковно-общественных вопросах современности. История и древность попрежнему интересовали меня, но вокруг кипела жизнь и заставляла выходить из самых глухих затворов духа. Между тем, говорить о жизни было не с кем. Мои товарищи-монахи, как и я, терялись в ее хаосе, а с Глаголевым и Воронцовым, с которыми я успел сблизиться, беседы не получалось. Первый, хотя и вышел из своего гебраистического затвора, тотчас же удалился в новый — в тщательное изучение философии и богословия с попытками примирить их с данными наук биологических и социальных. Реальной жизни он не замечал. Глаголев же ко всему новому относился резко отрицательно, все осуждал и высмеивал, часто не давая себе труда вдуматься в происходившее. С Флоренским я не был настолько близок, чтобы говорить на такие темы. Так что оставался один И.В.Попов, который оказался для меня в этом отношении очень ценен.

Он поразил меня своей живостью и свежестью в отношении к проблемам современности. Член Всероссийского Церковного Собора, доктор богословия, погруженный в древность или в сумерки средневековья (кажется, он читал лекции по средневековой философии в

Московском университете), он активно откликался на все современное, причем не только по вопросам церковной жизни. В нем не было повального осуждения того нового, что шумело и кипело вокруг. Напротив, он старался понять смысл совершавшихся перемен, понять причины, породившие их именно в данной форме, пытался предсказать то, что последует в дальнейшем, тогда как Глаголев любил говорить, что все мы понемногу приближаемся к умственному уровню готтентотов и бушменов, поэтому недалеки те времена, когда мы «станем на четвереньки, чтобы лучше доказать теорию Дарвина».

Попов был далек от таких шаржей. В обстановке тяжелых и мучительных 1919-1920 годов он пытался провидеть более светлое и отрадное будущее, веря в душевную доброту и неискоренимую ясность мудрости народной, в которой разуверились многие из тогдашних писателей и мыслителей. История и философия, особенно философия блаженного Августина, свидетеля древнего катаклизма, над которой Попов работал долго и прилежно, заставляли его и мыслить соответственно, не иронизируя над многими тяжелыми нелепостями переживаемой поры, а стараясь осмыслить общий ход истории и наметить хотя бы малый, но светлый прогноз, который ободрил бы человека и дал бы ему силы для жизни и действия. И, в целом, его прогноз был положительным, хотя уже тогда он предвидел много мрачного и тяжелого в судьбах русской Церкви на последующие годы.

***

Нечто противоположное И.В.Попову всей своей внешностью являл другой профессор, Ф.К.Андреев. Полный, упитанный, с маленькими усиками, еще совсем молодой, он производил впечатление выхоленного и достаточно заботящегося о себе барина. Странно было от такого франта в безукоризненном черном сюртуке, сидевшем на нем как-то особенно ловко и модно, которому, казалось, недостает только цветка в петлице, слышать утверждение, что, скажем, «начало премудрости» — не удивление и восхищение, как то полагалось древними, а «страх Господень», и, только руководствуясь такой установкой, можно подойти безбоязненно к истине; всякие же дерзания ведут либо к ереси, либо к полной погибели... Иеромонах Феодосий (Пясецкий) говорил мне, что Андреев — любимый ученик П.А.Фло-

ренского, но по своему ученическому усердию «перебарщивает». Там, где учитель указывает на значение религии и Церкви в деле познания, не забывая эллинской мудрости и пытаясь сочетать Платона с христианским учением, Андреев ломится в открытую дверь, не замечая античной мысли, которая удобрила почву для христианства.

Действительно, просматривая «Журналы Совета Московской духовной академии» за 1913 год, я мог увидеть, что на открывшуюся вакансию преподавателя систематической философии и логики Андреева рекомендовали С.С.Глаголев и П.А.Флоренский, причем последний в своей рекомендации писал: *«Питомец двух высших школ— Института гражданских инженеров и Московской духовной академии — он прекрасно усвоил не только то, что дали ему эти школы, но и занимался самостоятельно своим образованием. Он хорошо знаком с западноевропейскими литературами, хорошо знаком с историей. Реалист по первоначальному образованию, он ознакомился с древними языками — латинским, греческим и еврейским. Андреев владеет свободно французским и немецким языками, переводит по-английски. Он обладает математическими и физико-химическими познаниями, которые требуются для преподавания философских дисциплин... О любви его к философии свидетельствует все его пребывание в Академии».*[21]

Однако слушать лекции Ф.К.Андреева после Флоренского не хотелось: в сравнении с подлинно художественным произведением они представлялись только плохой имитацией. В Академии говорили, что Андреев — многообещающий и глубокий ученый, а его магистерская диссертация о Юрии Самарине исчерпывающе освещает основные проблемы славянофильства, связывая их с животрепещущими вопросами современной мысли. Но в условиях той поры эта работа так и осталась в рукописи, так что прочесть ее я не мог, а единственная статья, напечатанная в «Богословском вестнике» за 1915 года (№ 10-12) — «Московская духовная академия и славянофилы», — ничем особенно поражающим ум не отличалась, показывая лишь основательное знакомство автора с материалом.

Будучи в 1924 году в Ленинграде, я узнал, что Андреев стал священником и пользовался большим уважением за пределами своего прихода. Об его проповедях я

слышал самые восторженные отзывы людей, не подозревавших, что он был некогда профессором нашей Академии.[22] После смерти Андреева его библиотека была передана на хранение в семью Флоренского. Она представляла собой хорошо составленное собрание ценнейших трудов по философии и истории культуры, но, конечно, уступала уникальной библиотеке самого П.А.Флоренского.

***

Профессор Дмитрий Иванович Введенский читал студентам на старших курсах библейскую археологию. Говорили, что его лекции более чем посредственны, но сам я их не слышал. Брат известного философа Алексея Ивановича Введенского, скончавшегося за несколько лет до моего поступления в Академию, человека, несомненно, талантливого, Д.И.Введенский отличался лишь талантом искательности и приспособляемости. Рассказывали, что он пользовался расположением и милостями московского митрополита Макария и во время наездов последнего в Лавру имел честь принимать его у себя на дому, чего никто из других профессоров не удостаивался. В результате, как говорили злые языки, корова профессора Введенского состояла на академическом сене, полагавшемся по штату для двух лошадей, тогда как Академия обходилась только одной лошадью... Насколько это верно, не знаю, но слышал я это не от Глаголева или Тареева, славившихся своею язвительностью, а от лица духовного и вполне заслуживающего доверия. Характерно, что такие истории спекулятивного порядка рассказывали только о Д.И.Введенском.

Его докторская диссертация «Патриарх Иосиф и Египет. Опыт согласования египтологии с Библией.» (Сергиев Посад, 1914) хотя и имела солидный ученый вид, талантливостью не блистала и представляет лишь усердную и обстоятельную компиляцию. Во всяком случае, в перечне литературы соответствующего отдела своей «Истории древнего Востока» Б.А.Тураев ее не упоминает, и единственную сочувственную о ней заметку я нашел у В.М.Викентьева[23]. Глаголев рассказывал мне под секретом, что при написании диссертации Введенский английского языка не знал, и все цитаты и выдержки из английских текстов делала для него одна дама, труд которой он, конечно, прилично оплачивал. В 30-х годах и позднее мне приходилось слышать, что к такому способу использования иностранных книг

прибегали многие наши ученые, причем не только соискатели кандидатской степени...

После закрытия Академии Введенский быстро переквалифицировался и нашел себе место, занявшись кооперацией сергиевских кустарей-игрушечников. Он даже выпустил маленькую книжечку об этом кустарном промысле[24], но так как в ней высказал мысль, что инициатором промысла был не кто иной, как сам преподобный Сергий Радонежский, труд его, наряду с некоторым доходом, принес ему и весьма большую неприятность. Введенского обвинили в религиозной пропаганде, припомнили академическое прошлое (правда, без коровы, о которой его «критики», по-видимому, не слыхали) и вскоре выслали в Нижний Новгород. Судя по всему, он и там продолжал оставаться «кустарным профессором кооперации», как любил называть его Глаголев, поскольку в разных библиографических указателях мне приходилось встречать его труды в этой области. Что с ним стало потом — не знаю.

***

Как я уже упомянул, греческий язык у нас вел Сергей Иванович Соболевский — великолепный знаток своего предмета, излагавший его, однако, предельно скучно. Все сводилось исключительно к грамматическому анализу, проблемы семасиологии почти вовсе не были затронуты, царило сплошное грамматическое крохоборство. Возможно, так и следовало вести занятия: большинство студентов, в том числе и я, знали греческий язык плохо, поскольку семинарии и гимназии в этом отношении неважно готовили своих питомцев. И все-таки я скучал на его лекциях, с сожалением вспоминая гимназические уроки, на которых наш «грек» Н.А. Леонтьев не изводил нас грамматическими нюансами, зато часто прибегал к примерам сравнительного языкознания и семантики, связывая язык с жизнью Эллады той эпохи.

Для меня образцами эллинистов были Ф.Ф.Зелинский, Вячеслав Иванов, Иннокентий Анненский, книгами которых я зачитывался и которые открывали мне душу античного мира.

У Соболевского ничего этого я найти не мог. Во вступительной лекции, которая была как бы пересказом его актовой речи о значении греческого языка для богословской науки, он лишь слегка коснулся этих тем, а

потом говорил только о грамматической точности перевода с греческого языка на русский. Эту актовую речь, равно как и соответствующую статью А.И.Малеина о латинском языке, я потом прочел в «Богословском вестнике», и они были для меня очень интересны, но это произошло гораздо позже.

Когда пришло время писать семинарскую работу, Соболевский дал нам переводить «Строматы» Климента Александрийского. Каждому досталось по большому отрывку. Соболевский пояснил, что мы можем пользоваться уже вышедшим переводом И.Н.Корсунского[25], однако перевод этот «поспешный и слишком вольный, тогда как вам следует добиваться наиболее точного соответствия тексту автора и отнюдь у Корсунского не списывать». В своей работе я не ограничился переводами Корсунского, сверяясь с гораздо более точным латинским переводом Миня, при этом заглядывая как в греческий словарь, так и в словари греческого и латинского разговорного языка Ш.Дюканжа. Свой перевод я сдал Соболевскому, но ни оценки его, ни отзыва о нем не получил, поскольку Академия вскоре была закрыта.

О Соболевском я вспомнил гораздо позднее, в конце 30-х годов, когда вышли его грамматика и хрестоматия по латинскому языку. Я тотчас же приобрел эти книги, как приобрел в конце 40-х годов его же учебник древнегреческого языка и вторую часть латинской грамматики. Особенную радость мне доставила латинская хрестоматия. Вряд ли я ошибусь, сказав, что это исключительные, можно сказать, уникальные учебники, и вот почему.

В прежних учебниках и хрестоматиях по древним языкам, в немалом количестве издававшихся в России и раньше, в качестве примеров, фраз и отрывков для перевода если иногда и брались цитаты из древних авторов, то при их выборе основное внимание обращалось на то, насколько хорошо своими грамматическими формами и конструкциями они иллюстрируют то или иное правило. На смысл самих фраз, заимствованных из Цезаря, Овидия, Цицерона и других писателей, составители, по-видимому, не обращали внимания, вот почему своим нейтральным или формальным характером примеры эти никак не могли заинтересовать учащихся. Иногда составители хрестоматий и учебников сами сочиняли примеры, как то: *«На Альпах расположены многие города. На Альпах местопребывание больших и мрачных*

туч». Или еще лучше — *«в лесу нет статуй, а есть деревья», «девушки любят кур»*, — как пишет о том в предисловии к хрестоматии сам Соболевский[26]. Можно представить, как интересно и поучительно заниматься переводом таких «изречений»!

Соболевский своей задачей поставил выбрать такие фразы и отрывки, которые представляют собой законченные мысли, причем мысли глубокие, изречения философского характера, а вместе с ними — пословицы, моральные сентенции, меткие и остроумные замечания. Благодаря этому, его хрестоматия стала своего рода философским сборником, коллекцией интереснейших афоризмов древности, которую так же занимательно читать, как Ларошфуко и Лабрюйера. Не знаю, как обстоит дело на Западе, но ни одной подобной хрестоматии в русской учебной литературе я не знаю...

В 1959 году, в одном из августовских номеров «Вечерней Москвы», я обнаружил заметку, посвященную 95-летию С.И.Соболевского, из которой узнал, что наш старейший латинист продолжает еще работать. Показав ее нынешнему ректору, протоиерею К.И.Ружицкому, я с его согласия составил поздравление от Академии и отправил его неутомимому труженику науки, так много сделавшему и для нее, и для тех, кто ею занимается. Однако, вместе с поздней благодарностью, Соболевский так и остался в моей памяти одним из скучнейших лекторов.

***

Таким же великолепным знатоком своего предмета и совершенно бездарным педагогом был и другой профессор, священник Д.А.Лебедев, читавший историю древней Церкви. Маленький, действительно «плюгавенький попик» с лицом монгола, он как-то незаметно появлялся на кафедре и, не то морщась, не то усмехаясь, начинал гнусавым голоском негромко и неразборчиво, чуть ли не по тетрадке, бормотать свою лекцию. Она состояла из сплошного перечня имен, фактов и более всего цифр, цифр без конца. Крупнейший специалист по летосчислению, с мнением которого считались виднейшие ученые Запада, чьи труды издавались Академией наук, он интересовался только датами, свидетельствами эпиграфики, которые исправлял и уточнял, и вообще — деталями. Всю свою энергию он тратил на то, чтобы выяснить, в каком году заседал тот или иной Собор, кто

на нем присутствовал, как определить ту или иную историческую дату. Мне кажется, его совершенно не интересовало, какие догмы на этом Соборе были приняты, какие отвергнуты, как повлияло то или иное событие, вычисляемое им, на течение жизни и судьбы людей. Он не замечал ни гностицизма, ни последнего трепета античности, ни экстаза первохристианства, ни сгущавшихся над миром туч наступающего варварства. Может быть, сам он все это осмысливал и переживал, однако нам этого он так и не дал почувствовать.

Вся история древней Церкви превращалась на его лекциях в какую-то безжизненную пустыню, по которой он то брел, то несся, томимый своей хронологической жаждой, и, точно караван в оазисе, останавливался, оживая и расцветая, когда касался какого-либо невыясненного, часто малозначительного факта, спорного имени или неуточненной даты. Тут перед нами развертывалась вся его действительно исключительная эрудиция.

Такие гениальные рудокопы и камнетесы науке нужны. Они плотно скрепляют ее серые глыбы или разрыхляют доселе нетронутые пласты, накапливают проверенные факты и кладут незыблемый фундамент дальнейших построений. Однако собственно строительство станет уделом других. Им никакого цельного здания не построить, потому что они не видят его. А может быть, и не хотят видеть, полагая, что это дело не ученого, который должен придерживаться одних только фактов, а мечтателя-поэта, к которому испытывают не зависть, но своего рода легкое, снисходительное сожаление, как к большому наивному ребенку. Повторяю, такие ученые нужны, без них наука не может двигаться вперед, но их и на пушечный выстрел нельзя подпускать к студенческим аудиториям, поскольку они способны возбудить к излагаемому предмету не только равнодушие, но даже полное отвращение.

Хорошо, что до встречи с Лебедевым я читал Э.Гиббона, Э.Ренана, Л.Дюшена, Ф.-В.-А.Олара, В.В.Болотова, А.П.Лебедева, А.А.Спасского, иначе, не зная ничего, кроме Евграфа Смирнова и Д.А.Лебедева, мог бы возненавидеть историю Церкви. Как в литературе бывают «поэты для поэтов» — например, Вячеслав Иванов, Велимир Хлебников, Борис Пастернак, которые интересны, главным образом, поэтам и литературоведам, так и

в науке часто можно встретить ученых, которые интересны и нужны только своим коллегам.

Именно таким был неутомимый и старательный отец Дмитрий Лебедев. Рецензируя один из его трудов, архимандрит Иларион написал в конце своего отзыва: *«Но если пасхальная еннеакэдекаетирида Анатолия* (Лаодикийского. — *С.В.*) *не имела никакого церковного значения, если она не влияла ни на церковную пасхалию, ни на пасхальную практику IV века, то может ли иметь плодотворное научное значение ее реконструкция? Книга о. Д.А.Лебедева представляет из себя явление исключительно эффектное. Она весьма ценна многими побочными мыслями, сведениями и исследованиями, но ее главный эффектный вывод — реконструкция пасхальной еннеакэдекаетириды Анатолия, не имевшей никакого церковного значения, — не является ли лишь очень любопытным, но не слишком нужным примечанием к шести непонятным строкам церковной истории Евсевия?»*

Этот весьма деликатный вывод можно выразить просто: стоило ли огород городить?

Ценные побочные мысли, сведения и исследования, о которых замечает рецензент, могли быть высказаны в другом, более полезном труде или послужить темой новой, тоже более оправданной работы. С этой «еннеакэдекаетиридой», которую и выговоришь-то не сразу, получилась история вроде той, о которой рассказывает Достоевский в «Бесах», что Степан Трофимович Верховенский *«защитил блестящую диссертацию о возникшем было гражданском и ганаеатическом значении немецкого города Ганау в эпоху между 1413 и 1428 годами, а вместе с тем и о тех обстоятельствах и неясных причинах, почему это значение совсем не состоялось»*.

После закрытия Академии я уже больше Лебедева не встречал и ничего не слышал о его судьбе. Только после Отечественной войны, беседуя с одним человеком, счастливо возвратившимся из «мест не столь отдаленных», я услышал следующий рассказ: «Когда мне пришлось проезжать по Сибири, то в одном месте я увидел выведенных на работу заключенных из какого-то лагеря. Они дробили булыжник для шоссе. Среди них был высокий худой человек совершенно монгольского типа с длинными, черными, сильно поседевшими волосами. Мне сказали, что это священник, большой ученый, раньше

пользовавшийся известностью, но фамилии его назвать не могли...»

Когда произошла эта встреча — тогда ли, когда рассказчик ехал, направляемый по принципу «дальше едешь — тише будешь», или когда уже возвращался обратно, теперь не помню. Сначала мне пришло в голову, что это несомненно был Дмитрий Александрович Лебедев, но, по рассказу очевидца, тот заключенный был высокого роста. Да и мало ли известных и ученых священников закончили свой жизненный путь на откосах строящегося очередного сибирского тракта...

***

Наоборот, исключительно отрадное воспоминание осталось у меня о профессоре русской церковной истории Н.И.Серебрянском. Я и сейчас словно вижу его высокую, несколько полную фигуру с медленными, отчасти даже слегка ленивыми движениями, с мягким голосом и таким же мягким выражением приятного лица. Это был «барин, русский барин» в полном смысле слова — с барскими манерами, улыбками, произношением, почему и звали его в Академии за глаза «джентльменом». Было в нем нечто от Обломова, только облагороженного умственным трудом. Происходил он, кажется, из духовной семьи. Но благоприобретенное «грансеньерство» было у него вполне естественным, а не напускным. Однажды мне довелось увидеть его в домашней обстановке: он и там продолжал быть безукоризненным барином.

Конечно, пленяла в нем не эта внешняя сторона, а замечательная манера читать лекции и вести разговор. Никогда и ни у кого более мне не приходилось встречать такого прекрасного русского языка, такой чистоты и правильности произношения, такой ясной законченной фразы. Он говорил ровно, почти не повышая тона, оттеняя изредка нужный момент паузой и взглядывая при этом на слушателей, как бы проверяя впечатление, чтобы снова возвратиться к своему предмету. Лекция текла столь плавным и ровным потоком, что порой казалось, будто он читает по написанному, а не говорит. Я не могу вспомнить ни одной заминки, ни одного повторения или лишнего слова, неудачно построенной фразы, что встречается даже у опытных лекторов, — безукоризненный шедевр лекторского стиля. Слушая его, я

часто думал о тех величавых и вместе с тем простых летописцах, повествовавших о прошедшем, образ которых гениально запечатлел Пушкин в своем Пимене. Но передо мной был не престарелый инок на кафедре, а слегка пахнущий духами джентльмен в превосходно сшитом сюртуке. Как образовался этот безукоризненный стиль речи? Налицо была безусловная, изумительная одаренность, но вместе с тем и результат огромной подготовительной работы.

Древняя Русь в изложении Серебрянского предстала предо мной главным образом в картинах ее религиозной жизни, но профессор касался и смежных областей, и эти лекции навсегда затронули мое «историческое» сердце. Особенно ценным было его методологическое введение в тему. Впоследствии, читая соответствующие работы А.С.Лаппо-Данилевского, Р.Ю.Виппера, Н.И.Кареева и В.М.Хвостова, я встречал уже знакомые мне теории, которые в изложении Серебрянского понял гораздо лучше, чем у их авторов. И все же главным у него был язык и стиль.

Серебрянский в полной мере дал мне почувствовать красоту нашего родного русского языка, которому меня не научили в гимназии, поскольку горе-словесник, преподававший у нас, был пустым болтуном. И хотя тот за словом в карман не лез, говорил он штампованными фразами с долей семинарского тяжеловесного остроумия, причем отчаянно «окал по-володимерски».

Теперь, у Серебрянского, я учился говорить. По-моему, я сумел отчасти угадать секрет его ясности и законченности. Он говорил не слишком длинными фразами, не загромождая их растянутыми придаточными предложениями, причастными и деепричастными оборотами. Последними мы часто грешим, особенно в научной речи, и притом сами в них запутываемся. Если можно так выразиться, у Серебрянского был использован пушкинский прием «частых точек». Его можно сразу почувствовать, если сравнить чеканную прозу великого поэта с безумным полетом гоголевского лиризма или с его же бесконечными нагромождениями в описании быта — на первый взгляд натуралистическом и в то же время доведенном до фантастического невероятия гротеска, как было мастерски подмечено В.В.Розановым[27] и особенно Валерием Брюсовым в его нашумевшей речи во время гоголевского юбилея в 1909 году.[28]

То же ощущается, если сравнить сжатость и пригнанность пушкинской прозы с красивыми, душевными, но все же растянутыми и мало связанными с основным повествованием тургеневскими и гончаровскими описаниями. В этом отношении Пушкин никем не превзойден.

По его пути шли только М.Ю.Лермонтов, который учился на прозе Пушкина, Н.С.Лесков, исходивший из стиля житий, прологов и патериков, сохранивших стилистическую манеру древних авторов, и известный искусствовед П.П.Муратов в своих беллетристических произведениях. Но только у Пушкина звучала *«медь торжественной латыни»*[29], смягченная изяществом французов XVIII века.

Однако закончу о Серебрянском. В свою речь он необычайно умело и уместно вставлял славянские речения — в виде цитат или отдельным словом и выражением, чтобы придать соответствующий колорит тому или иному повествованию, достигая того, что от его безукоризненного русского языка порой исходило тонкое веяние аромата седой древности. И когда мне приходилось слышать или читать об изумительной лекторском обаянии В.О.Ключевского, мне всегда казалось, что Ключевский должен был говорить так же, как и Серебрянский...

Глава третья

«Столпы» Академии: Иларион (Троицкий), Е.А.Воронцов, М.М.Тареев, С.С.Глаголев, Д.В.Рождественский.

Одной из самых ярких, если не сказать — исключительных фигур среди монашествующего, да и всего профессорского состава Академии, безусловно, был архимандрит Иларион (Владимир Троицкий, 1886-1929), вначале инспектор, то есть помощник ректора, затем, летом 1917 года, исполнявший обязанности ректора, позднее — заместитель ректора и деятельнейший участник в работе Всероссийского Церковного Собора.

Помню его блестящие публичные лекции о Церкви и о России, которые я приходил слушать, будучи еще гимназистом. Он придерживался славянофильских взглядов, обильно сдабривая их почти католическими церковными тенденциями, измененными на православный лад в применении к русской обстановке. С особенной

страстью он говорил о взаимоотношениях государства и Церкви, бранил «нечестивого царя Петра», Синод, который, по его мнению, был учреждением вовсе не каноническим, ратовал за восстановление патриаршества. Недаром во время Всероссийского Собора, как мне приходилось слышать, его, единственного не епископа, в кулуарных разговорах называли в числе желательных кандидатов на патриарший престол — честь для молодого архимандрита не малая!

Хотя это были всего только честные беседы, но они показательны в отношении авторитета и славы, которыми он уже пользовался.

В то время в Академии среди монашества и примыкавших к нему кругов светской профессуры и студенчества были сильны тенденции перенести на русскую православную почву некоторые католические порядки и установления. В частности, высказывалась мысль, что недурно было бы иметь у нас нечто вроде орденов болландистов или бенедиктинцев, собрав воедино всех ученых монахов, которые в наших условиях теряются среди общей массы духовенства, не выполняя стоящих перед ними специальных целей и задач. Самого католичества Иларион не любил, можно сказать, даже не выносил, и отзывался о нем, особенно о римском папе, резко отрицательно. Когда в 1919 году, кажется, в Москве, проходили какие-то совещания представителей русской Церкви с католическими духовными лицами, на которых прощупывалась почва для возможного сближения, во время одного из редких наездов Илариона в Сергиев Посад к профессору Глаголеву я спросил его, не предвидится ли в дальнейшем соединение Церквей. Он ответил иронически и многозначительно:

— Эти собрания проходят под моим председательством, а потому от них вряд ли может быть положительный результат. Впрочем, если Рим покается, то...

Он не закончил фразы. Было ясно, что Рим «каяться» не захочет, но и мы, несмотря ни на какие трудности переживаемого времени, не «пойдем в Каноссу». Здесь чувствовалась вековая вражда к католическому миру и вместе с тем опасение «попасть ему в лапы», оказавшись на положении пасынков, которых будут третировать и эксплуатировать, как вздумается.

Иларион читал лекции по Священному писанию Нового Завета, в частности о евангелиях. Я не пропустил ни одной лекции, но их было мало, так как в мое время

он был уже членом Собора, постоянно проживал в Москве и в Академию заглядывал не часто, особенно после того, как ректором был избран А.П.Орлов, а Иларион освобожден от обязанностей временного ректора, возложенных на него после удаления епископа Феодора. Слышанные мною лекции содержали введение в изучаемую дисциплину и были прочитаны прекрасным языком. В них было много публицистического элемента, откликов на современность, что происходило от темперамента Илариона. Он не мог спокойно повествовать, как то делал, например, Н.И.Серебрянский или Е.А.Воронцов, а должен был гореть, зажигать своих слушателей, спорить, полемизировать, доказывать и опровергать. Теперь мне думается, что ему скорее подошла бы апологетика, а не экзегетика, не толкование, а защита религии и Церкви. Он никогда не был только теоретиком: он был человеком дела, всегда соединявшим теорию с практикой.

Для меня Иларион стоит в одном ряду с такими лицами, как патриарх Никон, митрополит Арсений (Мацеевич) или митрополит Ириней (Нестерович), описанный Лесковым в «Мелочах архиерейской жизни» и «Кадетском монастыре». Илариону нужен был простор исторической арены, чтобы размахнуться чисто по-русски, широко, безудержно и властно творить. Жизнь не даровала ему такой возможности...

Высокий и стройный, с очень умеренной и пропорциональной полнотой, с ясным и прекрасным взглядом голубых глаз (он был немного близорук, но никогда не пользовался очками), всегда смотревший уверенно и прямо, с высоким лбом и волосами, которых он (в отличие от многих) никогда не завивал, с небольшой окладистой русой бородой, звучным голосом и отчетливым произношением, он производил обаятельное впечатление. Им нельзя было не любоваться. Несколько портила его привычка слегка пофыркивать носом, но и эта мелочь как-то скрадывалась и не замечалась в сильном облике чисто русского человека, прямо-таки богатыря, одухотворенного глубоким интеллектом и чистой, благородной душой. Глаголев не раз говорил про него:

— Самый настоящий мужик-красавец. Бабы без ума бывают от таких!..

Я не знаю его личной жизни, но о нем не ходило никаких сплетен и к его имени не приплетали никаких «магдалин».

Тот же Глаголев рассказывал мне, как однажды Иларион при встрече с известным философом и публицистом В.В.Розановым, который после 1917 году проживал в Сергиевом Посаде, между прочим обронил:

— Да где уж нам, «людям лунного света», понять какие-нибудь бодрые настроения!..

Глаголева поразил контраст между слабеньким, щупленьким Розановым, носителем и выразителем земного ощущения жизни, поклонником плотского юдаизма, плодородия и чадородия, и Иларионом, русским богатырем, иронически говорящим о себе, пользуясь терминологией Розанова, как об одном из «людей лунного света», то есть отшельнике и аскете.

Величественно и красиво Иларион совершал богослужение. Было нечто возвышенное, легкое и прекрасное в его чтении Евангелия, произнесении возгласов и молитв звучным и раскатистым голосом, властно заполнявшим все пространство обширного академического храма. Столь же звучно раздавался он и в Успенском соборе нашей Лавры, и в храме Христа Спасителя в Москве. В его служении замечалась некая восторженность, вполне искренняя, чуждая малейшей тени театральности, увлекавшая молодежь и запомнившаяся мне на всю жизнь. Он отдавался богослужению всей душой, всем существом своим, как главному делу своей жизни. Движения Илариона были свободны и плавны, а мягкий, но сильный баритон пленял своими звуками и в хоре священнослужителей, и в сольном пении и чтении. Дивно пел он «Чертог твой вижу, Спасе мой, украшенный», дивно произносил: «Мир всем!» и «Слава Тебе, показавшему нам свет!». Он страстно любил Академию и ее храм. Однажды он сказал мне, что церковное богослужение, исполненное по уставу, с любовью и тщанием, прекраснее лучшей оперы с ее «нелепыми руладами и часто посредственным смыслом».

И я был согласен с ним — и тогда, и теперь. Никакие оперы и концерты не пленяли меня так, как пленяли церковные службы, особенно пасхальные — в Академии и великопостные — в Лавре. В театре, в опере я чувствую себя только зрителем и слушателем, тогда как в храме ощущаю себя единым существом со священнослужителями, хором и всеми молящимися. Эта слиянность завораживает и вызывает восторг, возвышающий сердце и душу человека. Флоренский совершенно правильно определил богослужение как синтез искусств.

Мелодии молитв и песнопений зачаровывают то своим величием и мощью, небывалым восторгом, то лирической грустью и тоской. Они не только пленяют, радуют, восхищают, наводят на раздумья, но преобразуют всего человека, давая силы дышать и жить в самые, казалось бы, непереносимые моменты жизненных невзгод и печалей.

Эту красоту церковного богослужения, которая привлекала меня в Академии, сильно и глубоко чувствовал Иларион. Мне часто удавалось беседовать с ним на эти темы, и всегда его высказывания были проникнуты глубоким пониманием религиозной эстетики. Он верно подмечал различие между католическим и православным ритуалом, отчасти изложенное им в «Письмах о Западе»[30], тонко постигал могучую силу церковного пения в православии и указывал на совершенную неуместность органов в наших церквах. Он понимал и чувствовал значение иконописи, всего церковно-вещественного обихода и мог передать свое понимание другим удивительно целостно, проникновенно и стройно.

Пожалуй, целостность и была главной чертой его личности. Этот смелый, исключительно талантливый человек все воспринимал творчески. Он не был мыслителем, по крайней мере, я этого в нем не чувствовал. Мне никогда не приходилось говорить с ним интимно о вопросах веры и основах христианского мировоззрения: он был все-таки профессор, проректор Академии, архимандрит, а я — всего только студент, к которому он, кандидат в «князья Церкви», относился с добродушной и покровительственной улыбкой, не лишенной иногда некоторой доли иронии.

Если немногие мои беседы с П.А.Флоренским, о котором я буду говорить отдельно, и частые — с С.С.Глаголевым и Е.А.Воронцовым раскрывали для меня необозримый мир мысли, то Иларион благодатно влиял на меня самой своей личностью — прямотой, властностью в отстаивании убеждений, восторженностью совершаемого им богослужения, сильной, покоряющей речью и, наконец, бодростью, энергией и жизнерадостностью. Он нисколько не был похож на ту часть интеллигенции, которая прибегает к Церкви от собственной немощи, от бессилия или оскудения духа. Иларион любил говорить, что насколько христианин должен осознавать свои грехи и скорбеть о них, настолько же он должен радоваться бесконечной милости и благости Божией и никогда не

сомневаться и не отчаиваться в своем жизненном подвиге. У него самого была поразительная восторженность и любовь ко всему, что ему было дорого и близко — к Церкви, к России, к Академии, и этой бодростью он заражал, ободрял и укреплял окружающих.

Характерен такой случай. Как я уже писал, в 1917 году Иларион большую часть времени проводил в Москве, принимая участие в работе Церковного Собора. Профессора и студенты Академии глубоко интересовались этими заседаниями, можно сказать, ими жили, обсуждали их, высказывая свои предположения и мнения. До Илариона дошли слухи, что среди части профессуры идут разговоры о нежелательности восстановления патриаршества, поскольку, дескать, это будет поставлением «церковного царя» взамен свергнутого царя гражданского; что патриаршая власть будет соперничать с властью соборной, так что вместо восстановления патриаршества следует только чаще собирать Соборы, а в промежуточное между ними время управлять может и Синод при условии расширения его состава путем включения представителей белого духовенства в лице как протопресвитеров, так и простых священнослужителей от приходов. Другими словами, в Церкви предлагалось учредить нечто вроде Советов депутатов, во всяком случае, по их образу и подобию.

Тотчас же, 23 октября 1917 года, Иларион произнес в общем заседании Собора речь «Почему необходимо восстановить патриаршество?»[31], а через день или два примчался в Академию и тем же вечером экстренно прочел лекцию на тему: «Нужно ли восстановление патриаршества в русской Церкви?» На лекцию собралось большинство профессуры и все студенты, продолжалась она около трех часов. Конечно, она была прочитана так блестяще, как это мог сделать только Иларион: восстановление патриаршества в России было его заветным желанием, как бы смыслом его жизни, которому он отдавал все свои силы. А.И.Троцкий, бывший однокурсник Илариона и очевидец, рассказывал мне, что Иларион плакал во время крестного хода, когда был избран патриарх Тихон.

Естественно, в своей лекции Иларион идеализировал патриарший период в русской Церкви, в том числе и Никона, исключительно благодаря которому была проведена реформа исправления богослужебных книг и самого богослужения.

— А что было бы, если бы не было единого главы, который сумел осуществить начатое дело, несмотря на сопротивление большинства духовенства? — вопрошал он слушателей.

Обращаясь к будущему Церкви, Иларион сказал, что кончились те времена, когда в церковные дела вмешивались цари и их чиновники, среди которых были иноверцы и карьеристы, даже совершенно неверующие люди. Будущие патриархи уже не станут помышлять о неограниченной власти, над ними будет высший орган — Собор.

— Теперь наступает такое время, — говорил он, — что венец патриарший будет венцом не «царским», а, скорее, венцом мученика и исповедника, которому предстоит самоотверженно руководить кораблем Церкви в его плавании по бурным волнам моря житейского...

Лекция закончилась овацией. Было ясно, что большинство присутствующих полностью разделяет мысли докладчика, и на другой день Иларион, успокоенный, возвратился в Москву. Позднее я слышал, что он имел большое влияние в церковных делах, достиг сана архиепископа, а за твердость в вере и за преданность Церкви удостоился негласного звания Илариона Великого. Погиб он в Соловках в 1929 году.[32]

Последний рассказ, который я слышал от него самого, касался посещения А.М.Горьким патриарха Тихона.

Во время страшного голода в Поволжье в советских кругах нашли полезным, чтобы патриарх обратился к главам иностранных церквей с воззванием о помощи голодающим, а переговоры с патриархом поручили А.М.Горькому. Последний запросил по телефону секретаря патриарха, примет ли тот его, если он к нему приедет. Секретарь отвечал, что патриарх принимает каждого человека, который имеет к нему нужду. На этой знаменательной встрече присутствовал Иларион. Когда Горький вступил в «голубой кабинет», патриарх встал ему навстречу. Горький смутился: он не знал, как следует здороваться с высоким хозяином. Подойти под благословение он считал фальшью, поскольку было известно, что он человек иррелигиозный, а протянуть руку считал дерзким, и потому на минуту замялся.

Патриарх приветливо улыбнулся ему и произнес:

— Давайте поздороваемся... — и первый протянул Горькому руку.

После этого беседа пошла легко, результатом ее стало соответствующее послание патриарха римскому папе, архиепископу Кентерберийскому и, кажется, Верховному управлению евангелической церкви. Послание было написано по-латыни, текст его составлял И.В.Попов. В ответ на послание в Россию прибыла миссия от римской Церкви, но поскольку она не ограничилась только помощью, а занялась пропагандой католицизма, время ее деятельности оказалось непродолжительным...

Портрет Илариона, которого я буду еще часто возвращать на страницы своих воспоминаний, будет не полон, если не сказать несколько слов о его знаменитом келейнике, которого все звали Васькой. Ни я, ни кто другой из живых еще старожилов Загорска не помнит его фамилии. Если не ошибаюсь, Васька был не только односельчанином, но и одногодком Илариона. Не имея никакого образования, он не мог в свое время нигде устроиться, прибился к Илариону, и тот из жалости взял его к себе.

Другой человек был бы счастлив таким оборотом и постарался добром воздать своему благодетелю. Но Васька был не таков. Правда, Илариону он служил преданно. Будучи «человеком не от мира сего», Иларион не умел, да и не хотел заботиться о себе в житейском смысле. Васька заменял ему заботливую няньку. Однако это нисколько не мешало ему нещадно обкрадывать Илариона, который никогда не вникал в хозяйственные дела. Но, что было много хуже, своим поведением Васька бросал тень на чистое и благородное имя Илариона, поскольку сам он был пьяницей, распутником и неуемным на сквернословие человеком. Будучи добр до самозабвения — я редко потом встречал таких действительно добрых людей, как Иларион, — тот все это терпел и неизменно прощал Ваську.

О деяниях этого неблагодарного слуги я немало слышал от Вассиана: Васька любил дружить со студентами-монахами, рассчитывая, по-видимому, что со временем они станут архиереями и от них тоже можно будет поживиться... Рассказывал о Ваське и Глаголев, который вообще относился к нему довольно снисходительно, быть может, из-за общего приклонения к Бахусу.

Именно Глаголев говорил мне впоследствии, что после удаления епископа Феодора Иларион не был избран

ректором Академии не столько по причине партийной борьбы профессорских групп, которые не могли столковаться между собой, а как раз вследствие их общего единомыслия по отношению к Ваське.

Васька надеялся и почти был уверен в избрании Илариона. После отъезда Феодора в Москву, в Данилов монастырь, Васька ходил по ректорской квартире в сопровождении своих прихлебателей и намечал, что и как он здесь переделает, когда Иларион станет ректором. Слухи об этом мгновенно разнеслись по Академии, и профессора пришли в ужас при мысли, что в случае избрания Илариона Васька будет обворовывать уже не только личные доходы своего патрона, но запустит руку и в академическую кассу... Так Иларион и не был избран ректором, хотя все его искренне любили и уважали.

Глаголев рассказывал мне и о последующих похождениях Васьки после закрытия Академии, когда он с солидным капиталом покинул Илариона и сумел устроиться на гражданскую службу. Все это напоминало историю похождений Чичикова в Советской России, рассказанную М.А.Булгаковым и возможную, вероятно, только в обстановке тогдашней суматошной жизни. О том, каков был его конец, я ничего не знаю. Может быть, при своих способностях и бесцеремонности Васька процвел и вознесся до ранга крупного «руководящего работника», а может быть, испытал «чичиковский» вариант — с последующим «перевоспитанием» или же прямо «к стенке»...

***

Выдающимся ученым и безусловно интереснейшим человеком был профессор еврейского языка и библейской археологии протоиерей Евгений Александрович Воронцов — невысокий, очень полный, с пушистыми черными, уже слегка седоватыми волосами, которые кудрявились, переходя в бороду. Его темные живые глаза смотрели проницательно из-под густых нависших бровей; бархатный, низкий и в то же время громкий голос четко и выразительно произносил слова, которые складывались в стройные фразы и казались красочными и скульптурными. И как они увлекали нас! В его словах оживал весь древний Восток. Узкая, казалось бы, сугубо специальная гебраистика становилась волшебным ключом, открывающим двери в своеобразный мир, полный тайн, красок, запахов и причудливых форм. Великолепное знание древних и новых языков давало Воронцову

возможность детально, по первоисточникам изучить не только свою, но и многие смежные с нею области. Отсюда его невероятная эрудиция, равную которой, быть может, еще шире и острее, но не глубже, я встречал только у Флоренского.

Воронцов свободно читал по-французски, по-немецки, по-английски. Он изучил испанский язык, чтобы читать испанских гебраистов. На еврейском он говорил так, что поражал ученых раввинов-талмудистов знанием их древних текстов, невольно заставляя вспомнить Иакинфа Бичурина, поражавшего своими знаниями китайцев*. Докторскую диссертацию отец Евгений написал на латинском языке, чтобы, как он говорил мне сам, она была доступна для зарубежных гебраистов. Ее должен был печатать в Лейпциге знаменитый Тейбнер[33], но разразившаяся сначала мировая война, а затем революции в России и в Германии нарушили все планы, и в 1919 году судьба рукописи оставалась неизвестной. Воронцов вообще печатался мало. Я не видел из его трудов ничего, кроме магистерской диссертации и статьи в юбилейном сборнике Академии 1914-го года. Правда, в духовных журналах, в частности в «Вере и разуме», мне попадались статьи по вопросам церковной истории периода борьбы христианства с язычеством, подписанные «Е.А.Воронцов», но был ли это он — не знаю. Быть может, он принадлежал к числу таких ученых, как протоиерей П.С.Делицын и Ф.А.Голубинский, которые почему-то таили накопленную мудрость в себе, избегая печатного слова. Во всяком случае, я могу теперь только пожалеть, что не записывал его лекций, а позднее — замечательных проповедей.

Вто время я разделял взгляд отца Евгения, что узкоспециальные научные труды, тем более по филологии и гебраистике, следует печатать по-латыни. Русский язык тогда еще мало кто знал за границей. Из немецких богословов, кажется, на нем читал только Адольф Гарнак. Поэтому многие русские ученые, печатая свои очень специальные труды, прибегали к немецкому или французскому языкам. Но эти языки не были в полной мере интернациональными. И я не раз задумывался: почему в XIX веке умерла латынь? Ведь как она в свое время по-

---

* Н.Я.Бичурин (1777-1853), в монашестве Иоакинф — китаевед, член-корреспондент Императорской Академии наук, представитель православной миссии в Пекине.— *А.Н.*

могла М.В.Ломоносову при слушании лекций и чтении научных трудов в Германии! Но потом, познакомившись с работой Леонардо Ольшки[34], должен был согласиться, что в наши дни латынь может стать тормозом для развития мышления и самой науки. Изменение жизни, расширение знаний о мире требуют коренного изменения словаря, то есть бесчисленного количества варваризмов. Кроме того, при письме по-латыни человек приучается соответственным образом мыслить и подпадает власти латинской лексики и стилистики, теряя индивидуальность и уклоняясь от изобретательности и словотворчества. Единственно, где мне кажется незаменимой латынь, — в богослужении у романских народов, точно так же как церковнославянский язык — у народов славяноязычных. Бытовая, разговорная речь в богослужении немыслима!

Воронцов любил говорить образно, уснащая свою речь метафорами, иногда разворачивая перед слушателями целые аллегорические эскизы. Можно думать, чтение восточных авторов снабдило его красочным, даже пряным стилем, который сначала представал перед нами пестрым ковром или лугом, исполненным трав и цветов, и лишь потом доносил аромат идей, всегда глубоких, поражающих, а иногда даже неожиданных и парадоксальных. В его лекциях оживала талмудическая Агада, да и сам он, серебрясь своими пушистыми пейсами на фоне черной бороды, напоминал премудрого раввина, толкующего тонкости Талмуда.

Мне приходилось бывать у него дома. Вместе со старушкой экономкой он занимал квартиру из четырех комнат в лаврском доме (теперь 4-й дом Совета, где с 1927 года живу и я). Мне нравилась строгость обстановки его кабинета: большая комната, шкафы и полки, уставленные книгами в прекрасных переплетах; огромный письменный стол, глубокие и покойные кожаные кресла. Все строго, массивно и просто, все в порядке и в изумительной чистоте. Никаких безделушек и украшений. Сразу чувствуешь, что жизнь здесь аскетическая, углубленная, всю ее до мелочей определяют научные интересы.

Он вел одинокий, довольно замкнутый образ жизни. Материальная обеспеченность давала ему возможность не зависеть от профессорского жалованья и, не стесняя себя, покупать в большом количестве дорогие книги. Путешествовал ли он? Как будто бы нет. Бывают люди,

которым достаточно и малого места на земле. Живя словно в затворе, они обладают всем миром, имея его в себе, и лучше всякого путешественника познают не только страны и материки, но и народы, и дела людей на протяжении веков. Я понял это уже тогда, а потом, в течение всей своей жизни, убеждался в правильности такого взгляда.

В Лавре была погребена мать Воронцова, которую он горячо любил и потому каждый день навещал ее могилку. Одна лишь эта святая привязанность отвлекала его ненадолго от научной работы. Не знаю, были ли у него друзья: я ни от кого о них не слышал. В те годы, когда я учился в Академии, он, по-видимому, мало интересовался церковной жизнью. Говорили, что в академическом храме он бывает только раз в году, на Пасхе, когда ему приходилось читать Евангелие на еврейском языке. Некоторые студенты, всегда готовые посплетничать, намекали на его неверие и увлечение юдаизмом, утверждая, что Воронцов — тот же Розанов, только более опасный, так как у него гораздо более основательный научный базис. Действительно, никто из русских так сильно и ярко не говорил на темы юдаизма, как он. Жаль только, что мало писал. Но я хорошо помнил аналогичные обвинения в буддизме, которые сыпались на известного его исследователя архиепископа Нила (Исаковича), а потому не обращал на такие слухи никакого внимания.

Одинокий старик, священник-целибат, что было крайне редким явлением (в Академии их было только двое — Воронцов и священник С.М.Соловьев, племянник Владимира Соловьева), первоклассный гебраист, глубокий ученый и своеобразный мыслитель, он сторонился окружающего мира, жил среди своих рукописей и книг, а потому казался загадкой для многих. Почти ежедневно он бывал в академической библиотеке, сдавая прочитанные книги и унося новые. Много позднее, когда я взял в библиотеке не помню уже какую латинскую книгу XVII века, заведовавший библиотекой К.М.Попов сказал мне:

— Поздравляю вас: вы взяли книгу, которую не брал отец Евгений!

И прибавил, что Воронцов перечитал почти все книги в библиотеке, за исключением только беллетристики и легких журналов, а ведь там было свыше четырехсот тысяч томов!

Единственным упреком, который мне доводилось слышать от студентов и встречать в печати по адресу Воронцова, был упрек в злоупотреблении иностранными терминами и словами, главным образом, греческими и латинскими. Так, безо всякой на то нужды, он употреблял слово «итинерарий» вместо «путеводитель», «визитировать» вместо «посещать», «экскавация» вместо «углубление», «автопсический» вместо «самоочевидный», «медиальный» вместо «единый» и т.п. По-видимому, это происходило от чтения книг преимущественно на иностранных языках, и он настолько привык к международной терминологии, что злоупотреблял ею даже в тех случаях, когда имелись соответствующие русские слова. Впрочем, этот недостаток вообще свойственен многим ученым. Как на курьез, могу указать на следующий пример. Профессор А.И.Покровский, разбирая труд Воронцова «Домасоретская и масоретская Библия» и упрекая автора, что тот, отметив *«загроможденность еврейского школьного языка варваризмами»*, сам *«усвоил не только достоинства, но и недостатки раввинов»*, и, забыв о только что сделанном упреке, писал: *«В качестве заключительного дезидерата, считаем весьма небесполезным выразить автору пожелание...»*, тем самым прибегнув не только к «варваризму», но и к тавтологии, или плеоназму.

Революция и последующий разгром Академии нарушили ясную и спокойную жизнь Воронцова. Былое материальное благополучие сменилось необходимостью заботиться о куске хлеба насущного. Самое страшное для этого книжного затворника заключалось в том, что нужно было окунуться в ту жизнь, которой он не знал и всегда сторонился. А может быть, и сознательно не хотел знать, чтобы она не мешала ему жить в иных пространствах и измерениях.

Последнее ужасающе подействовало на него. Помню, как летом и осенью 1919 года я встречал его одинокую фигуру на улицах Сергиева. Одетый небрежно, в один подрясник, часто с непокрытой головой, подобно «человеку из земли Уц», он размышлял, разговаривая сам с собою и производя впечатление помешанного. Незнакомые люди его сторонились, а знакомые боялись, чтобы он не сошел с ума...

Но кризис, наконец, разрешился. Воронцов почувствовал тщету всего земного. Мысли и настроения экклезиастического порядка всецело овладели им. Он разоча-

ровался в своей науке, находя, что она нужна только узкому кругу специалистов, тогда как душа человека требует иного знания, душевного и духовного, которое насыщает не только ум, но и пересоздает самого человека, а вместе с ним и через него преобразует мир.

Свою богатую библиотеку, которую собирал по зернышку, он раздал своим ученикам. Книги по ориенталистике — Соколову, впоследствии, кажется, профессору Ленинградского университета; гебраистику — Вассиану (Пятницкому).

Этот внутренний переворот приблизил Воронцова к Церкви. В христианстве и юдаизме он увидел теперь не научную, а глубоко жизненную проблему. Он задумался над вопросами о Церкви, которые его прежде мало трогали, стал часто бывать в академическом храме, который из Лавры к тому времени переместился за ее стены, в Пятницкую церковь. Постепенно отец Евгений начал выступать с проповедями, которые прихожан поражали своей необычностью, даже парадоксальностью, а меня — еще и своей глубиной, отличавшей их от проповедей других священников.

При его манере говорить образно, уснащая речь притчами и восточными метафорами, они производили, я бы сказал, некий экзотический эффект. Но до большинства прихожан доходили с трудом по своей сложности и насыщенности философским содержанием. Многие же ригористы, особенно из лаврских монахов, посещавших Пятницкую церковь, находили в них даже ереси и соблазны. И еще: он не мог отказаться от чтения книг.

По-прежнему, почти каждый день Воронцова можно было видеть в академической библиотеке, ставшей к тому времени филиалом Румянцевского музея. По-прежнему он приходил туда, уходя со связками книг, только теперь состав его чтения изменился. Вместо филологических, археологических и исторических монографий, вместо талмудических трактатов он брал творения отцов Церкви, сочинения мистиков, философов, богословов, а затем без конца книги по астрономии, геологии, биологии, антропологии и социологии.

Изменилась у него и домашняя обстановка. От былой комфортабельности не осталось и следа. Вместо просторной квартиры, которую он занимал один со старушкой-домоправительницей, у него оставалась теперь только одна маленькая комнатка метров в десять, где

стояли кровать, простой стол небольшого размера без скатерти и кресло. Принесенные из академической библиотеки книги лежали грудами на полу. В ящике, в углу, хранилась картошка. Кто ему готовил — я не знаю: к этому времени старушка-экономка уже скончалась.

После закрытия Академии я часто и подолгу просиживал у него на этом единственном кресле. Сам он обычно лежал на кровати и вел бесконечный монолог. Это не было разговором — я лишь изредка вставлял реплики, в которых Воронцов не нуждался. Очевидно, ему очень не хватало Академии, возможности читать лекции, и он утешался такими монологами с редкими посетителями. Кроме меня, его навещал довольно часто студент последнего (77-го) курса Борис Коггев. Он происходил из обеспеченной, если не сказать богатой, семьи сергиевских коммерсантов и мог помогать Воронцову продовольствием. По-видимому, картошка тоже была его даром.

Много интересного и глубокого довелось мне услышать во время таких бесед. Некоторые идеи, высказанные Воронцовым, я позднее встречал у М.О.Гершензона и Вяч.Иванова в их «Переписке из двух углов»: скорбные мысли Иова, горькая мудрость Когелета*. То же отчаяние и разочарование в человеческие силах, в знании; то же стремление сбросить с плеч груз цивилизации, культуры прошлых веков и стать лицом к лицу с окружающим человека миром.

Воронцова особенно волновала мысль о необходимости биологически и антропологически обосновать и тем самым как бы оправдать религию в глазах современных людей. Не думаю, чтобы он стал вполне православным и церковным человеком — слишком сильна была в нем старая закваска. Скорее всего, он оставался теистом в самом глубоком смысле этого слова, а в православии видел лишь конкретную форму выявления духовной и душевной сущности человека.

Об Академии он больше слышать не хотел и отказывался от разговоров на тему о ее возрождении:

— Если она возродится, то будет в Москве, а переезжать туда я вовсе не намерен, — говорил он мне, оправившись от своей душевной подавленности. — Мне предлагали хорошее место в Румянцевском музее —

* Когелет — проповедник (евр.). Речь идет об «Экклезиасте», книге, входящей в состав Библии.— *А.Н.*

стать заведующим Отделом восточных книг и рукописей. Но я отказался. Теперь меня интересует область чисто религиозного знания, его оправдания и доказательства путем изучения биологических, геологических и социальных наук. Востоковедение — это роскошь, своего рода ученое баловство. Сейчас народу требуется другое, жизненное, религиозное знание. Да и с могилкой мамаши я расставаться не хочу и не могу. Я привык бывать на ней каждый день...

Не без моего участия Е.А.Воронцов стал настоятелем Пятницкой церкви, куда перешел академический храм. Скончался он в конце 1925 года.

***

Одним из виднейших профессоров Академии, влиявших на ее внутреннюю жизнь и на умонастроение студентов и профессуры, был М.М.Тареев. Автор многих серьезных и глубоких работ, в том числе солидного богословско-философского исследования «Основы христианства»[35], обратившего на себя внимание Н.А.Бердяева и К.А.Смирнова, он был известен и в богословских кругах Германии, где его особенно ценил А.Гарнак. Лекции Тареева были содержательны и интересны. Они не блистали яркостью и оригинальностью стиля, но в них присутствовала хорошо продуманная мысль, глубокий анализ разбираемой темы, широкие обобщения и своего рода философский синтез идей, открывающий перед слушателем и читателем новые горизонты. Он был рационалистом и живо интересовался проблемами современности: философией Ф.Ницше, экономическим учением К.Маркса, трудами его немецких и русских последователей. Последний печатный выпуск его работы на тему «Религия и социализм» вышел уже в 1918 году.[36]

В те времена богослов, разбирающий учение Маркса внимательно, без предубеждения, по первоисточникам, избегающий резких выражений и тривиальных сентенций, был редкостью и считался передовым. Епископ Феодор, ректор Академии, Тареева не любил, как не любила его и монашеская группа. Ходил слух, что из Академии его не удалили (как в свое время это было с профессорами В.Н.Мышцыным, И.М.Громогласовым. Д.Г.Коноваловым, А.И.Покровским и другими) только потому, что Тареева тотчас же пригласили бы в Московский университет, а это стало бы до некоторой степени уже скандалом. Не знаю, насколько верны таких слухи.

Во всяком случае, после ректорства епископа Евдокима (Мещерского), когда Тареев чувствовал себя привольно, при епископе Феодоре для него настали нелегкие времена. Ему пришлось давать определенного рода заявления в своем православии и церковности и до февраля 1917 года о многом молчать.

Когда я поступил в Академию, положение Тареева радикально переменилось. Он мог уже смело высказывать все, что считал нужным. В своих рецензиях он и раньше не отличался сдержанностью. Теперь, когда был удален прежний редактор «Богословского вестника» священник П.А.Флоренский, примыкавший к консервативному монашескому крылу профессоров, академический журнал оказался в полном распоряжении его нового редактора. И Тареев позволил себе вылить все накипевшие в нем досады и обиды, обрушиваясь на своих противников, особенно на епископа Феодора, удаленного из Академии по указанию обер-прокурора В.Н.Львова. В последних статьях Тареев писал, что Феодор превратил Академию в свою «Волоколамскую вотчину» (епископ Феодор был викарным епископом волоколамским), преследовал неугодную ему профессуру, мешал развитию богословской науки — и так далее. Он даже изменил название дисциплины, по которой читал свои лекции: теперь она именовалась «христианской этикой» вместо традиционного «нравственного богословия», поскольку, по мнению Тареева, последнее название было бессмысленным, «ибо не может существовать безнравственное богословие»...

К сожалению, при всей своей содержательности лекции его были очень сухи, и читал он их по тетрадке голосом старого человека, тоже сухим и монотонным.

Помню, как он говорил об «имморализме» Ницше. Он подчеркивал трагизм личности немецкого мыслителя и показывал, как этот личностный трагизм отразился в его построениях, в его болезненном стремлении к силе и здоровью, в его ненависти ко всему посредственному и филистерскому, потворствующему слабости, в его отношении к христианству, которое он рассматривал как мировоззрение слабых, посредственных людей. Показывал Тареев и ту тайную жалость и боль, которые прячутся у Ницше в глубинах души, и доброту, которую он на словах презирает и клеймит «силою слабых», но сам тайно несет в себе, сострадая слабым и больным ближним...

— Ведь нельзя не любить близких, человека, каков он в действительности, — говорил Тареев, — и при этом мечтать о будущем «сверхчеловеке»: не с неба же упадет он! И ницшеанское желание подготовить для него почву, хотя бы и дерзновенными мерами, вопреки всем его настроениям и устремлениям, — уже человеческая доброта!

Но даже и в этом сказывался рационализм Тареева. В нем не было эстетического понимания предмета, как у того же Ницше. Он только мыслил, говорил о мыслях, анализировал их, контрастировал своими мыслями, но не давал соответствующего настроения и сопереживания. Впоследствии мне приходилось слышать таких пианистов и скрипачей: техника виртуозная, а души нет, и игра не трогает, оставляет тебя холодным...

Тареев мне всегда представлялся совершенным типом протестантского богослова. А протестантизм по своей сущности противен какому бы то ни было искусству. Пуританство неизбежно вырождается у людей слабых в ханжество и двуличие, вырабатывая у сильных личностей аскетическую настроенность ума, где не остается места для чувства, которое только и питает творчество. Стоит вспомнить известное стихотворение Ф.И.Тютчева *«Я лютеран люблю богослуженье...»* с его неожиданным, потрясающим выводом, который как бы зачеркивает все стройное благородство протестантизма, показывая, что путем гипертрофии одного только разума умерщвляется весь человек, иссыхает его душа и исчезает стремление к Богу. Это стихотворение поэта — своего рода оксиморон*: автор сначала восхищается суровой простотой лютеранского богослужения, а под конец показывает, что эта «бесцерковность» становится прямым путем к атеизму. Сходное стихотворение — «Евангелическая церковь» — есть и у другого поэта, Н.С.Гумилева. Сухая рационалистичность протестантизма здесь показана доступной только холодному разуму, когда душа окаменела и молчит. Оторвавшись от живого и животворящего чувствования Божества, такая холодная рационалистичность уже чужда всей «тварной» жизни, поскольку для нее мир — только «предмет познания», а не сфера живой жизни в Боге. Отвергнув воплощение Божества,

* Оксиморон — сочетание слов с прямо противоположным значением, один из видов парадокса.— *А.Н.*

обожествившее природу человека, такое мышление теряет последние остатки животворного импульса и погибает в мертвенности ничего не значащих формул.

В статье «Папство и римский вопрос» Тютчев писал: *«Протестантство с его многочисленными разветвлениями, которого едва хватило на три века, умирает от истощения во всех странах, где оно до сих пор господствовало...»*[37] Оно было нужно, чтобы под личиной христианства уничтожить католическую церковь: само по себе протестантство вряд ли может существовать. Вот почему А.Древс, один из самых левых критиков протестантского богословия, уже в начале века утверждал, что *«человек снова приобретает веру в самого себя, в божественную природу своей самости, в разумность бытия и через то достигает возможности спасать себя без посредника, на основе исключительно своего собственного божественного существа... Христианство знает спасение только через Христа; возможность спасения оно ставит в зависимость от веры в историческую действительность и истинность исторического Богочеловека. Религия будущего или будет верой в божественную природу человеческой самости, или ее вообще не будет. Но если нет никакого другого спасения человека, кроме спасения через самого себя, то для этого не нужно никакого Христа».*[38]

Сам Тареев избежал подобной участи. Жизнь научила его ценить и понимать значение Церкви для христианства и для каждого человека в частности. Как мне довелось слышать от близких ему людей, после закрытия Академии он продолжал свою научную работу дома и состоял в «Церковной группе Иоакимова подворья», то есть не порвал с Церковью и не примкнул ни к каким «обновленцам». (См. журнал «Безбожник у станка», 1928, № 3, с.15. Фамилию его переврали: «Торяев».)

***

Совершенно иное действие оказывали на меня лекции профессора Сергея Сергеевича Глаголева. Талантливый, энциклопедически образованный человек (кроме богословия, философии, других гуманитарных наук, он был хорошо знаком с высшей математикой, физикой и естествознанием), блестящий оратор, остроумный собеседник, он живо и глубоко заинтересовывал своими лекциями, в которых выступал как защитник религии и православия, живо откликаясь на все новейшие течения европейской мысли. Ему были близки философские сис-

темы Э.Бутру и А.Бергсона, прагматизм У.Джемса, гуманизм Шиллера и неокантианство, католический неотомизм и модернизм. «Близки» — то есть понятны. Отовсюду он брал все, что соответствовало его предмету, критикуя и отвергая враждебное.

В своих занятиях он использовал теорию сохранения энергии, теорию нарастающей энтропии, уже начинавшую тогда греметь теорию относительности А.Эйнштейна и проблемы высшей математики, к которой я тогда по своему невежеству был более чем холоден; он привлекал богатейший материал из истории религий древнего и нового мира, которые изучал в свое время в музее Клюни и в Сорбонне, где слушал лекции своего друга Альберта Ревиля, преемника по кафедре знаменитого Э.Ренана[39]; он использовал мистические течения нового времени, начиная с розенкрейцеров и кончая теориями Е.П.Блаватской, Рудольфа Штейнера и «христианской наукой» Мэри Бейкер Эдди. Огромная эрудиция, почерпнутая из многих книг, накопленная за время пребывания за границей, делала лекции Глаголева удивительно насыщенными материалом, а легкое и тонкое остроумие, заимствованное, по-видимому, у французов, мешало им превратиться в сухую схоластику, как то нередко случалось у Тареева.

Будучи профессором апологетики, Глаголев в своих лекциях и в своих работах должен был неминуемо касаться самых разнообразных проблем и аспектов науки. Он писал о религиях древнего Востока, Греции и Рима, о народах, которые в те времена именовались «дикими», о религиозных взглядах древних мыслителей, а одновременно — ученых и писателей нового времени; о вопросах преподавания богословских наук, отношении науки и религии, о новых теориях естествознания, геологии, палеонтологии, астрономии, физики и математики, не говоря уже о новейшей философии. Его научные исследования и статьи написаны живым языком, читаются легко и с интересом, не лишены иронии, а часто и сарказма. Но они всегда глубоки и проникнуты чувством веры и желанием защитить эту веру от всех нападок недомыслия и инакомыслия.

Глаголев любил парадоксы (хотя и не был поклонником Оскара Уайльда), иногда весьма смело играя ими на академической кафедре, не говоря уже о публичных лекциях и частных разговорах. Помню, как однажды он выступил своеобразным «адвокатом дьявола», защищая

последнего и утверждая необходимость его участия в процессе от грехопадения до искупления. Иногда он бывал как бы на грани оригеновской или какой-либо другой ереси, цитируя инакомыслящих авторов так, что трудно было различить, цитирует ли он этого автора или говорит от своего имени. Так мне запомнилось одно его утверждение, правда, не еретического характера: *«Человек не может жить без Бога и без богопочитания. Если он отрицает истинного Бога, то непременно создает себе вымышленных богов, которым поклоняется с несравненно большим усердием и отсутствием какой-либо критики, нежели верующий — истинному Богу»*. До сих пор не знаю — его ли эта мысль, или она им откуда-то заимствована...

Схожая по смыслу фраза есть в рецензии С.С.Глаголева на книгу А.А.Тихомирова «Доисторический человек и современные дикари» (М., 1916): *«Вместо того, чтобы всегда поклоняться Единому Истинному Богу, люди предпочитают сменять одних ложных богов другими ложными»*.[40]

Часто во время обсуждения серьезной философской проблемы его веселая шутка оживляла аудиторию, как бы «прочищая мозги». Так, излагая идеи солипсизма, почтенный профессор, не приступая еще к философской критике, иронически заметил, что эта идея — всего только плод кабинетного мышления, своего рода умственный курьез, немыслимый в реальной обстановке жизни, например, в обстановке московского трамвая, где реальность — и даже материальность! — воспринимаемого объекта не вызывает ни в ком сомнений, ибо надо иметь сверхъестественную убежденность в догме солипсизма, чтобы таких ближних мыслить лишь как «свое представление».

Вся философия Глаголева, изложенная им в многочисленных книгах, брошюрах, журнальных статьях и непосредственно на лекциях, сводилась к тому, чтобы во всеоружии современного наукознания оправдать истины религии, противостоять атеизму и, выражаясь языком наших дней, отражать всеми методами научного богословского арсенала возрастающую атеистическую агрессию. В этом отношении он считал себя обязанным быть стойким и мужественным бойцом. Одновременно он развивал положительные стороны учения православной Церкви. Это было не крохоборством и компиляцией,

почерпнутой из отцов Церкви, а продуманным, всеобъемлющим мировоззрением, исходившим из глубочайших основ христианской веры, где лучшие черты, почерпнутые из мира античности, сочетались с данными подлинно научного знания, дополнялись разработками древних религий Востока, а все это озарялось всепобеждающей истиной учения Христа.

Памятным остался мне экзамен, который я держал у Глаголева по основному богословию. Я готовился к нему по его краткому курсу лекций для Женских богословских курсов в Москве и по соответствующему труду профессора протоиерея П.Я.Светлова[41]. Спрашивал Глаголев весьма основательно. Передо мной отвечали два священника. Лекции они вызубрили почти наизусть и, отвечая, барабанили уверенно и быстро. Когда я прислушивался к их словам, мне казалось, что я читаю страницы краткого учебника. Такая зубрежка одинаково присуща нашим духовным семинариям, еврейским хедерам и мусульманским медресе, и везде она убивает душу религиозности, зародившейся в семейной обстановке, и делает из верующего начетчика, формалиста, а часто — и атеиста...

Глаголев недолго слушал эту пулеметную трескотню. Он прерывал отвечающего и задавал вопросы. Здесь «отцы» отвечали уже гораздо медленнее, с «мычанием», плавая без руля и без ветрил в неведомом им океане премудрости. После их удаления в ведомости против их фамилий появились две тройки. Пришла моя очередь. Я начал медленно, не спеша, как привык отвечать в гимназии, и заметил, что Глаголев слушает меня внимательно, даже как будто благосклонно. Это меня ободрило. Не помню, о чем я говорил, но по какой-то причине упомянул об энтропии, которой тогда интересовался и даже прочел книжку Фурнье д'Альба «Царица мира и ее тень»[42]. Я стал развивать свою мысль, но Глаголев прервал меня:

— Это к делу не относится...

Я не согласился, заметив, что эта теория может иметь место при рассмотрении данного вопроса и, стало быть, полезна для богословов.

— Докажите! — бросил Глаголев, скрестив руки и откинувшись на спинку кресла. Его проницательный взгляд впился в меня.

«Момент решительный!» — подумал я и постарался, собрав все силы, аргументировать свою мысль. Профессор слушал минут десять, потом остановил меня и, не задавая больше ни одного вопроса, вывел в графе против моей фамилии «пять».

Теперь, после многих лет собственной педагогической работы, я вижу, что Глаголев был тонким и опытным педагогом. Конечно, мои рассуждения не открыли ему ничего нового. Но он сумел увидеть и оценить оригинальный извив мысли, индивидуальный оттенок понимания проблемы, достаточную умелость в отстаивании взгляда, — и этого было достаточно, чтобы отграничить мой ответ от ответов двух моих предшественников.

С таким глубоким и подлинно педагогическим тактом, в основе которого лежат обширные знания, внимание к индивидуальности студента, умение оценивать оригинальную мысль, необычную формулировку — может быть, и не совсем правильную, однако заставляющую думать и показывающую, что отвечающий не только прошел курс, но и размышлял над ним, — относились к студентам лучшие академические профессора. Они ставили своей задачей не заглушать новую мысль, а, выражаясь языком Сократа, «майевтически»[43] помогать ей появиться на свет, и только потом творили свой суд, признавая ее или отрицая. Правда, такими были далеко не все. Одним мешало тщеславие — «как смеет молокосос учить меня!», — другие, подобно чеховскому Беликову, опасались, «как бы чего не вышло», третьи просто ленились думать, будучи «людьми двадцатого числа»...[44]

Помню и другой характерный для Глаголева случай на том же экзамене.

Отвечал маленький, заплывший жиром, самоуверенный и самодовольный молодой священник с громким именем — Владимир Соловьев. Правда, он был не «Сергеевич», как его знаменитый тезка, а «Михайлович». Он тоже трещал, как пулемет, но безо всякого смысла.

Глаголев слушал его недолго, прервал, задал два или три вопроса и получил на них уже совсем невразумительные ответы. Тогда он произнес с мягкой иронией:

— Вас, по-видимому, волнует обстановка экзамена. Успокойтесь, забудьте, что вас слушает профессор Академии. Вообразите, что с вами говорит ваш прихожанин, старичок, посадский обыватель, и спрашивает: «Батюшка, что такое Бог, как понять это?» Что бы вы ему ответили?

Священник стал нести какой-то невероятный вздор.

Лицо Глаголева стало строгим, почти жестоким:

— Какую семинарию вы окончили? Вифанскую? Я не могу понять, как вы могли ее кончить, как вам могли дать сан! Вы не только в священники не годитесь, но вас и псаломщиком нельзя назначить по вашему развитию! Придите на следующий год!..

Кстати сказать, мне довелось быть свидетелем еще одного «триумфа» этого самодовольного и глупого священника, на этот раз на экзамене по истории древней церкви у Д.А.Лебедева. Отвечая по билету, он точно так же сыпал словами, в которых было мало связи и почти никакого смысла. Лебедев прервал его и сказал:

— Не торопитесь, а то у вас какой-то вздор получается.

Соловьев ничуть не смутился и самоуверенно возразил:

— Я говорю то, что написано в лекциях Болотова!

Что тут было! Лебедев, который был почитателем В.В.Болотова, даже покраснел от гнева:

— Вы не только говорите вздор, но при этом оскорбляете память великого ученого, приписывая этот вздор ему! Довольно! Пожалуйте на место!

На следующий год его в Академии уже не было...

Но вернусь к рассказу о Глаголеве.

Мне приходилось слышать, что Глаголев считался опасным рецензентом на магистерских диспутах, поскольку его ирония часто вгоняла диспутанта в краску. В мое время я его в этой роли не видел. Но я читал его блестящий отзыв о магистерской диссертации П.А.Флоренского, в котором, однако, он не преминул кольнуть диссертанта: *«Число «три» у автора управляет миром. Простейшая семья, по Флоренскому, должна состоять из отца, матери и ребенка, который является центром семьи. Если бы на самом деле эта простейшая семья была нормальной семьей, то, по моему подсчету, человечество, при самых благоприятных условиях, через 900 лет прекратило бы свое существование...»*

Впоследствии сам Глаголев рассказал мне об этом случае и добавил:

— Странно, что Флоренский, прекрасный математик, увлекшись мистическим значением числа «три», не подумал о такой возможности, когда назвал это число идеальным для семьи! Ведь сам-то он в своей семье ру-

ководствовался совсем другим математическим числом, семеркой: двое родителей, трое сыновей и две дочери!..

Тогда же он рассказал мне о своей выходке на банкете по случаю защиты Д.И.Введенским диссертации о патриархе Иосифе и Египте на степень доктора богословия, в которой тот слишком вольно оперировал данными египтологии:

— ...Для банкета Введенский выписал из Египта какой-то особенный ликер в бутылочках, похожих на древнеегипетские саркофаги, — рассказывал Глаголев.— Когда его разлили по рюмкам и поздравили новоиспеченного доктора, то я, пригубив ликер, не удержался и сказал: «Вот только сейчас за весь нынешний день я почувствовал аромат настоящего Египта!» Можете себе представить мину отца Димитрия, когда он услышал мои слова...

Часто встречаясь с Глаголевым после закрытия Академии, я слышал от него много рассказов о ее прошлом. Он замечательно живописал словами картины прошлой жизни и нравов, портреты деятелей и видных лиц из церковного мира, причем был неизменно ироничен, а порою даже язвителен. Я не раз говорил ему:

— Вы так все интересно рассказываете. Почему вы не хотите писать мемуары? Они были бы увлекательны для читателей и анекдотической стороной, и — в особенности — фактами прошлого, которых никто уже не знает...

Поначалу Глаголев отговаривался тем, что у него нет времени, что теперь все меньше становится людей, которым это может быть интересно. В дальнейшем же их, похоже, совсем не будет, ибо жизнь строится сейчас так, что все прошлое или оплевывается, или забывается. Но однажды он признался:

— Когда при мне говорят о чьих-либо мемуарах, передо мной возникает образ хилого и желчного старца, который своей немощной десницей наносит удары не только молодым и сильным современникам, но и бесплотным теням своих ровесников и старшим поколениям, уже давно покинувшим этот мир... Стоит ли множить число таких мемуаристов? Вы, конечно, знаете мемуары историка Соловьева?

Я ответил, что встречал в какой-то рецензии слова, что воспоминания С.М.Соловьева можно назвать «мемуарами Собакевича».

— Вот видите! — заметил Глаголев.— Стоит ли добиваться такой оценки?!

Конечно, назвать Глаголева «хилым» и говорить о «немощной деснице» по отношению к его уму и энергии было бы ошибкой. Он был не молод, но сил у него было достаточно, и он живо интересовался всем новым. Помню, что в конце 20-х годов он охотно читал труды молодого тогда философа Лосева[45], высоко ценил их, отмечая близость его идей к идеям Флоренского, интересовался работами «путейцев», даже трудами Р.Штейнера, которого считал мистификатором и не любил. С большим интересом он прочел только что вышедший тогда в переводе П.Муратова роман А.Франса «Восстание ангелов» и, хотя не согласился с его идейной направленностью, утверждая, что она в значительной мере повторяет религиозно-моральные установки Льва Толстого, говорил, что за художественность «Песни Нектария», за обильный исторический материал, использованный Франсом при написании романа, автору можно было бы дать степень кандидата богословия.

— Впрочем, — прибавлял он тут же, — никакая высшая власть эту степень ему не утвердила бы...

Я пытался заинтересовать его поэзией Вячеслава Иванова, но Глаголев отнесся к ней холодно. Заинтересовало его только стихотворение «Аттика и Галилея»[46], о котором он тоже выразился, что за одно это стихотворение поэт вполне заслужил степень кандидата богословия, причем эту степень духовное начальство вполне возможно что и утвердило бы.

— Ведь дали же магистра богословия Флоренскому за его «Столп», а он вполне родственен по духу творчеству Вячеслава Иванова, — говорил Глаголев и продолжал. — Надо сказать, что среди богословов многие относятся к «Столпу» с недоверием и даже с неодобрением. Но епископ Феодор был достаточно умен, чтобы оценить эту оригинальную, мало того — прямо-таки гениальную книгу. Я так и сказал в своей рецензии на диспуте...

Писателей «новопутейцев» (Д.С.Мережковского, З.Н.Гиппиус, В.В.Розанова и др.) он считал интересными, но только теми вопросами, которые поднимают; решения же самих вопросов они не дают, а если и дают, то неопределенные и неудачные. Из них он выделял В.В.Розанова[47], говоря, что тот — самый глубокий ум среди всей «этой братии», «ум каверзный и опасный».

— Не Ренан, не Штраус, не Древс опасны для христианства, — сказал он мне однажды, — а Ницше и Ро-

занов. Только такие души, как Флоренский, умеют глубоко понять этих двух и в силах противостоять им...

Не любил он и публицистических работ И.И.Мечникова и К.А.Тимирязева, особенно книгу последнего «Наука и демократия».[48]

— Теперь он на просторе развернется, — заметил Глаголев, прочитав эту книгу. — Только держись! Неуемный старик! Его хлебом не корми, дай только громить ламаркизм, витализм и «неомистицизм», как он называет возродившийся философский идеализм...

О знаменитом шлиссельбуржце Н.А.Морозове, авторе нашумевших в свое время книг «Откровение в грозе и буре» и «Пророки. История возникновения библейских пророчеств», в которых тот *«на основании астрономических вычислений, верность которых была подтверждена астрономами Пулковской обсерватории»*, делал произвольные выводы о времени написания и об авторах Апокалипсиса и библейских пророчеств, Глаголев говорил исключительно иронически:

— Сколько времени и сил он потратил на свою работу! И все — зря. В.Ф.Эрн неопровержимо доказал, что исходный пункт его расчислений был в корне произволен, а потому и неверен. Библейские авторы писали не астрономические трактаты, а сочинения об основах веры. Восточные поэтические приемы позволяли им использовать символы, художественные образы, которые ничего общего не имели с планетами, а передавали поэтически определенные духовные идеи и сущности. Он же их прилепил к тем или иным планетам и на основе сочетания и расположения тех делал свои астрономо-математические расчеты. Самые расчеты могли быть безукоризненно точны и верны, но произвол, допущенный в начале труда, свел на нет всю проделанную работу. Это все равно, что решать математическую задачу при помощи логарифмов и неверно списать эти логарифмы. Самый процесс работы может быть вполне правилен, но вывод будет неверным. Странно, что ему это не пришло в голову. Он не постеснялся объявить все работы историков, археологов, филологов, ссылавшихся на неопровержимые исторические данные, выдумками и вздором... Для него верны лишь его вычисления и его внутренняя уверенность в безусловной правильности своих толкований библейского текста. По-видимому, пребывание в шлиссельбургском заточении плохо подействовало на его умственные способности... И сейчас

богословы говорят — какой же он богослов, он астроном и математик! А те откликаются: да что вы, он не астроном и не математик, он богослов! Прав был Измайлов, когда писал, что *«появление таких книг возможно только в России, стране неограниченных возможностей...»*.[49]

Прекращение занятий в Академии, затем ее переселение в Москву и недолговременное, в течение 1919/20 сокращенного учебного года, скитание по московским монастырям в чаянии более постоянного убежища нарушили привычную профессорскую жизнь Глаголева.

Некоторое время он принимал живое участие в работе Всероссийского Церковного Собора, но потом, в связи с тяжелыми обстоятельствами личной и общественной жизни, отошел от церковных дел, к которым, как мне думается, всегда относился несколько платонически, предпочитая исключительно научную деятельность. Религия привлекала его, в отличие от Илариона, только как предмет богословского, философского и исторического изучения, но не как область непосредственной церковной практики.

Глаголев не оторвался от жизни, как Воронцов, не ушел в келейный затвор книжной мудрости. Энергичный и бодрый, несмотря на немолодые годы, он старался найти для себя место в новой жизни.

Вскоре в Сергиеве организовался Институт народного образования, и Глаголев стал его заведующим. Туда он привлек много умных и талантливых людей — П.А.Флоренского, М.М.Тареева, П.В.Нечаева, бывшего попечителя Московского учебного округа, известного антидарвиниста А.А.Тихомирова, переводчика «Многообразия религиозного опыта» Джемса М.В.Шика и его жену Н.Д.Шаховскую, И.Ф.Огнёва из Московского университета и некоторых других. Но, как и Глаголев, все эти люди были чужды новым порядкам и ненадолго удержались в Институте. После этого Глаголев был некоторое время преподавателем математики на Электрокурсах, расположившихся в здании Академии, затем в средних школах Сергиева Посада, в том числе и в бывшей частной женской гимназии, еще до революции открытой вдовой профессора Академии Е.М.Цветковой. Работа эта не могла удовлетворить его, он скучал и хандрил. Поэтому особенно радовался редким посетителям, бывшим ученикам по Академии, вроде меня, с которыми, как он замечал, «можно было разговаривать на че-

ловеческом языке», не прибегая к упрощениям, не боясь непонимания и кривотолков из-за малокультурности и враждебности.

Официальное положение ординарного профессора Академии в свое время удерживало его язык в определенных рамках, так что его ирония и скепсис не переходили пределов салонного и кабинетного остроумия. Теперь это свойство усилилось желчностью и раздражительностью. Раньше он мог на равных бороться со своими противниками, теперь же ему оставалось молчать в обществе и высказываться только в узком кругу. И вот тогда, не сдерживаемый уже ничем и никем, он позволял себе говорить правдиво и резко.

Его злой и насмешливый язык не щадил никого. Доставалось и духовным, и светским деятелям. Он умел ловко подметить слабую сторону или больное место человека и потом безжалостно и едко колол его своей иронией. Однако эта ирония никогда не распространялась на самые положения веры. Он смеялся над людьми, их глупостью, подлостью, нелепыми делами или словами, но религия оставалась для него неизмеримо более ценным, высоким и дорогим.

В самом конце 20-х годов Глаголев уехал из Сергиева Посада, как говорили, к своей жене, которая последнее время жила от него отдельно в Вологде. Он приезжал еще однажды, и мне удалось с ним встретиться. Вместе мы побродили немного по городу, по закрытой Лавре, которая производила грустное впечатление своей заброшенностью и запустением. Остаток былой насмешливости прозвучал в его словах, когда он спросил об одном из наших общих знакомых, подвизавшемся теперь в качестве преподавателя в какой-то школе. Глаголев его недолюбливал. Я ответил, что тот благоденствует, но, как мне кажется, несколько поглупел.

— Что вы говорите?! Поглупел? — откликнулся он с прежним жаром. — Да разве может поглупеть само воплощение глупости?!

Но это была уже последняя вспышка язвительности.

Вскоре после этого я услышал о его смерти.

Но где, при каких обстоятельствах он скончался, я уже не помню...[50]

***

Другим человеком, произведшим на меня неизгладимое впечатление, был профессор, протоиерей Дмитрий Васильевич Рождественский, и, пытаясь набросать его

портрет, я искренне сожалею, что я — не Лесков, которого сей протоиерей почитал и весьма любил.

Как сейчас, вижу его высокую, довольно угловатую фигуру. Сильно поседевшие волосы на голове и в бороде, медленная речь, произносимая глухим, слегка гортанным голосом, нарочито витиеватые и торжественные ее обороты, обилие архаизмов, а в содержании — неизменная язвительность. Все это создавало облик угрюмого мизантропа, злая ирония которого, как и словоизлияние, усиливалась по мере его увлечения Бахусом. В абсолютно трезвые минуты Рождественский предпочитал мрачно молчать и недовольно смотреть вокруг. Кроме Лескова, он очень любил Салтыкова-Щедрина, с которым его роднило саркастическое отношение к окружающему миру. Недаром одна из его статей, напечатанная в «Богословском вестнике», посвящена «Сатирическому элементу в проповедях св. Иоанна Златоуста». Между прочим, он охотно декламировал стихи Бальмонта, особенно после изрядного подпития. А последнее, к сожалению, бывало весьма нередко. Глаголев рассказывал, будто бы городовым Сергиева Посада давался от полицеймейстера наказ: если случайно ночью они найдут пьяного человека в рясе, то должны тотчас же деликатно, на извозчике с поднятым верхом, доставить его в Академию для опознания — не профессор ли это Рождественский, а если в Академии не опознают, то уже тогда представить его лаврскому начальству...

Рождественский читал введение в Святое писание Ветхого Завета. Первые его лекции обычно бывали очень интересны, и об этом предупреждали новичков, рекомендуя их непременно послушать. Он разбирал труды разных ученых, и критика его была не столько строгой, сколько придирчивой. Едкий и насмешливый ум профессора охотно подмечал все ошибки, несообразности, а порой и смешные промахи его предшественников. Он коллекционировал их и, словно пестрыми камешками, расцвечивал свое изложение. Впечатление оказывалось сильным. После такого уничтожающего введения можно было ожидать от автора небывалого по силе и завершенности самостоятельного курса с глубоким освещением рассматриваемых вопросов. Но его, увы, не было. Когда Рождественский приступал к собственному анализу, он оказывался ничем не лучше, а порою даже слабее только что поверженных в прах предшественников. По-

сле тщательно возведенных Пропилеев в стиле самой суровой критики, вместо ожидаемого и, казалось бы, неизбежного Парфенона, налицо оказывалась довольно неуклюжая храмина, являвшая смешение разных принципов, стилей, с солидной долей бесцветной отсебятины.

Не знаю, были ли отпечатаны эти лекции: во всяком случае, «введение» этого заслуживало. Экзамены мы сдавали, помнится, по П.Юнгерову.[51]

Из ученых трудов Рождественского мне известна только довольно скучная монография о книге пророка Захарии[52], которой никто не интересовался, да учебный курс по св. Писанию Ветхого Завета для духовных семинарий. Последнюю в кругу близких людей сам автор называл «довольно гадостной книгой», что, впрочем, не помешало ему добиться от Учебного комитета при Синоде, в котором заседал его брат, рекомендации «гадостной книги» в качестве обязательного учебника для семинарий и получить, таким образом, весьма приличную мзду.

Любил он и понасмешничать над студентами. Например, спрашивал у кого-нибудь на экзамене:

— Перечислите мне канонические книги Ветхого Завета.

Студент перечислял.

— А книга премудрости Иисуса, сына Сирахова?

— Да, и она.

— Найдите мне ее!

Студент перелистывает двухтомную еврейскую Библию, мельком пробегая глазами латинские заглавия над еврейским текстом.

— Ее здесь нет.

— А вы ее видели когда-нибудь в еврейском тексте?

— Да, помнится, видел, — отвечает растерявшийся студент.

— Так сообщите же скорее, где, в каком издании и когда вы видели ее в еврейском тексте! Мы вам дадим командировку, чтобы вы могли тщательно изучить этот текст. Ведь это огромное научное открытие!

Все это говорилось торжественным тоном, в котором, однако, звучала едкая ирония. И заканчивалось все уничтожающими словами:

— Позвольте вам заявить, милостивый государь, от имени всех гебраистов прошлого, настоящего и будущего времени, что этой книги в еврейском каноническом тексте вы никогда и нигде не могли видеть: ее там

не было и нет, она появилась только в греческом переводе Семидесяти...

Так иронией и бравадой развлекал себя этот своеобразный мизантроп.

Помню, как иеромонах Вассиан, впоследствии епископ и архиепископ, рассказывал мне о своем столкновении с Рождественским:

— Когда закончился ряд лекций, исполненных ядом критики и уничтожения своих предшественников, и начались собственные скучные измышления Рождественского, я перестал их посещать. Рождественский это быстро подметил и незадолго до экзаменов по окончании одного из занятий сказал как-то, обращаясь к аудитории: «Некоторые из студентов не считают нужным даже реально присутствовать на лекции. Таков иеродиакон Вассиан, который является для меня некоей мистической личностью или отвлеченным понятием. Когда же настанет момент воплощения этой отвлеченности, то она воплотится для плача и скрежета зубовного!» Все это произнесено было с мрачной торжественностью и даже своего рода величием. Я понял, что на экзамене Рождественский собирается меня «допечь», и стал усиленно готовиться. Несмотря на это, он сумел все же придраться к каким-то мелочам и выставил мне «четыре». Отметка нарушала мои планы: по всем остальным предметам у меня были одни «пятерки», и я рассчитывал остаться в Академии профессорским стипендиатом. С досады во время богослужения в академическом храме я перестал кадить ему персонально, как то обыкновенно делалось перед каждым из сонма священнослужителей. После нескольких случаев такого невнимания Рождественский был уязвлен и, обратившись к иеромонаху Варфоломею, своему сотоварищу по кафедре, благочинному академического храма и в то же время моему другу, спросил: «Почему это иеродиакон Вассиан не желает воздать благоговение моей святыне каждением фимиама?» — «Но вы, отец Димитрий, обидели его, поставив ему «четыре», тогда как он надеялся стать профессорским стипендиатом», — ответил тот. «Пусть придет снова», — насупившись, сказал Рождественский, и на вторичном экзамене я получил заслуженную «пятерку». В ближайшую же всенощную я воздал такое благоговение «святыне» профессора, что от обилия фимиама тот даже чихнул и величественно заметил: «Довольно!»...

У меня тоже было маленькое столкновение с Рождественским. Согласно обычаю, по окончании лекции профессор записывал ее название в специальный журнал и там же расписывался. Книгу эту на каждый курс приносил утром швейцар и вручал дежурному студенту, тот подавал ее перед началом лекции на кафедру профессору, а после занятий относил в канцелярию. Однажды швейцар почему-то не принес журнал, а я, будучи дежурным, то ли не догадался сходить за ним, то ли не успел. Первым читал Рождественский и, не найдя на кафедре книги, по окончании лекции величественно вопросил:

— Кто дежурный студент? Почему нет книги?

Я ответил, что дежурный — я, а книги нет, потому что ее не принес швейцар.

— Теперь все равны, и студент должен, как и швейцар, приносить книгу, — изрек Рождественский, глядя на меня с высоты кафедры.

— Хорошо, — отвечал я, — я буду приносить книгу, но пусть тогда Совет Академии сделает распоряжение, чтобы и швейцары слушали лекции, если теперь все равны.

Рождественский ничего не ответил и, уничтожающе посмотрев на меня, вышел. Следовало ожидать с его стороны грозы, но этого не случилось: скоро меня избрали заведовать студенческой библиотекой, где было много новейшей беллетристики, а Рождественский весьма ею интересовался. Поэтому он старался дружить с библиотекарем, чтобы забирать сразу по много томов, тогда как распорядком библиотеки это не разрешалось.

Почтенный протоиерей учел это обстоятельство и, встретив меня как-то на квартире у проректора Илариона, вмешался в мой разговор с одним из гостей, когда я говорил, что мне нравятся сочинения Лескова:

— А, вы любите Лескова! Это хорошо. Все хорошие люди любят Лескова. Только глупцы его не ценят. Я было в вас ошибся и подумал, что вы — нехороший человек. Но нехороший человек не может любить Лескова. Давайте помиримся!

Я был рад, что инцидент исчерпан так легко, и поспешил ответить, что не может быть и речи о каком-то примирении, так как отец Димитрий — профессор, а я — всего только скромный студент, который весьма рад, что отец Димитрий сменил гнев на милость.

Рождественскому, очевидно, моя скромность понравилась так же, как обильное каждение «его святыне»,

совершенное Вассианом, и мы стали в какой-то мере друзьями.

Вспоминаю еще один рассказ Вассиана, рисующий Рождественского как бы одним мазком кисти. Дело происходило вскоре после февраля 1917 года. На вечернем чаепитии у Илариона, бывшего тогда инспектором Академии, собралось несколько близких людей, в том числе и Рождественский. После двух-трех рюмок виноградного вина — водка тогда была изъята из продажи, что, впрочем, не мешало таким любителям, как Рождественский, ее доставать, — разгорелся спор о будущей форме правления в России. Большинство высказывалось за монархию, хотя бы конституционную, на английский манер. Рождественский молчал, прикладываясь к рюмке и угрюмо прислушиваясь к спорящим.

— Хоть плохонький царь, а для порядка нужен, иначе невесть что получится! — воскликнул кто-то.

— Нужен-то нужен, — вдруг мрачно и монументально произнес Рождественский, — да где взять людей? Людей-то нет!

— Вот бы вас, отец Димитрий, избрать императором, очень следовало бы, — с напускной наивностью иронически заметил келейник Илариона, знаменитый Васька, подавая ему стакан чаю.

— Меня? Не пойду! — презрительно отмахнулся тот. Но вдруг его точно осенило вдохновение, и он, повысив голос, обратился ко всем присутствующим: — А что думаете? Ну и взойду на престол. Издам высочайший манифест о повсеместной свободной продаже водки распивочно и навынос, а к вечеру пьяный, сопровождаемый пьяными криками ликующего и благодарного народа, торжественно отрекусь!

Сцена и фигура, поистине достойные гоголевского или щедринского пера...

После закрытия Академии он куда-то уехал, а когда объявилась «живая церковь», пронесся слух, что отец Димитрий присоединился к ней и без пострижения в монахи стал живоцерковным епископом. Когда при встрече с Тареевым я сообщил ему эту новость, тот с характерным для него слегка брезгливым смешком заметил:

— Не понимаю, к чему отцу Димитрию было вступать в «живую церковь», зачем ему архиерейство? Ведь пить-то он и протоиереем мог сколько угодно!

Глаголев говорил потом, что вовлечение Рождественского произошло, конечно, «под пьяную лавочку». Живоцерковники подметили слабость Рождественского, солидно напоили его, он подписался под их программой и чуть ли не навеселе, без пострижения в монашество, что было недопустимо для ортодоксальных кругов, получил хиротонию* на епископа. Когда же сознание его прояснилось, отступать уже было невозможно. Он утешался лишь тем, что в письмах к друзьям, в том числе и к Глаголеву, показавшему мне такое письмо, подписывался: «Ваш лжеархиерей Димитрий».

— ...И умер он по-христиански, — обычно заканчивал свое повествование о нем Глаголев. — Он исповедался и причастился, затем пособоровался у священника-тихоновца, признав свою вину... А в ночном столике осталась недопитая бутылка водки.

Выслушав это повествование, я подумал, что сам Глаголев находит такой конец как будто очень неплохим не только для Рождественского, но и для себя самого.

Над этой печальной слабостью, которой были подвержены Рождественский и Глаголев, последний сам любил не раз подшутить. По его словам, об отличительных чертах четырех духовных академий говорили следующим образом: «Петербургская пребывает в столице, там и Двор, и высокое начальство, поэтому из нее выходят преимущественно политики и дипломаты. Киевская соседствует с католической Польшей и, невольно подпадая ее влиянию, выпускает людей иезуитского склада. Казанская видит подле себя фанатичных мулл и сама прививает солидную долю фанатизма своим питомцам. Что же касается Московской, то она благополучно соединяет в себе в пристойной мере все эти качества, превосходя при этом прочие Академии приверженностью Бахусу...»

Глава четвертая

П.А.Флоренский.

Отдав дань бытописанию и несколько анекдотической стороне жизни Академии, я перехожу к воспоминаниям о человеке, с которым не был близок, но который своей жизнью и своими трудами наложил неизгладимый

* Хиротония — рукоположение, возведение в сан.— *А.Н.*

отпечаток на всю мою последующую жизнь. Бывают люди, чье имя с ранних пор окружено легендами. Постепенно они и сами становятся легендой и так переходят в историю. Павел Александрович Флоренский, имя которого уже не раз мелькало на страницах этих воспоминаний, принадлежит к их числу. Он родился и вырос в Тифлисе, окончил физико-математический факультет Московского университета, затем — Московскую духовную академию, стал ее профессором, священником, настоятелем домовой церкви Общины Красного Креста в Сергиевом Посаде, работал после закрытия Академии в научно-исследовательских институтах Москвы, был сослан в Сибирь, где занимался проблемами вечной мерзлоты, был переведен в страшные Соловки, где изучал водоросли Белого моря, и кончил свою жизнь неизвестно когда и где.

Впервые о Флоренском я услышал еще в гимназии от моего друга Алексея, сына профессора А.А.Спасского, читавшего историю древней Церкви. К моменту моего поступления в Академию профессора уже не было в живых, но до этого я бывал в их доме, а потом и читал его труды, которыми увлекался. «История догматических движений», «Эллинизм и христианство» были написаны не только живо, но, я бы сказал, еще и изящно. Спасский был ученым французского типа, который умел хорошо обобщать и увлекательно излагать свои и чужие мысли. Последние годы своей жизни он интересовался историей гностических учений и готовил книгу на эту тему[53]. Флоренский был учеником Спасского, а после выхода последнего на пенсию часто посещал его на дому и много с ним беседовал.

Алексей, старший сын Спасского, иногда присутствовал при этих беседах, об остальном ему рассказывал отец. Так это становилось известным и мне.

Шестнадцатилетним гимназистом я имел весьма смутные представления о философии. Меня увлекала история древнего мира, волновала поэзия Тютчева и символистов, стихи которых я стал разыскивать в журналах, а книги брать в частной городской библиотеке. Как ни покажется странным, в гимназической библиотеке русская литература заканчивалась А.П.Чеховым и В.Г.Короленко. О символистах мои товарищи не имели никакого понятия, а учителя, если я их спрашивал, отзывались о тех со снисходительным, а то и с грубым пренебрежением.

— Мы такой дряни у себя не держим! — заявил как-то наш горе-словесник, когда я попросил у него в гимназической библиотеке стихи К.Д.Бальмонта и В.Я.Брюсова.

А я ощущал у символистов подлинную поэзию, видел в них действительных преемников Тютчева, Лермонтова, Пушкина и Фета, тогда как всякие Коринфские, Ратгаузы и Фруги представлялись мне подлинными декадентами, то есть поэтическими выродженцами...

Поговорить и посоветоваться мне было не с кем. Единственной отдушиной в моих неосознанных духовных и литературных поисках оказывался Алексей; если же заглянуть глубже, то даже не он, а отраженный им Флоренский. Сейчас, вспоминая историю своего духовного взросления, я понимаю, как часто ни в школе, ни в среде товарищей, ни дома не подозревают, какими чувствованиями, какими идеями живет и дышит подросток, откуда он достает пищу для ума и души. Огромной поддержкой было для меня узнать от Алексея, что Флоренский не только ценит символистов, но со многими из них дружен и близок, и его собственные взгляды близки Вячеславу Иванову, Андрею Белому и Валерию Брюсову. Подобным же рассказам я обязан возникновению интереса к философии и мистике, к сочинениям Владимира Соловьева, которые, в свою очередь, послужили для меня как бы пролегоменами к той дивной области, где царят Логос и София. Так, сам того не ведая, Флоренский уже в гимназические годы стал моим духовным учителем, хотя увидел я его впервые только на лекциях в Академии.

Но до этого было пока еще далеко.

Алексей рассказывал мне, что Флоренский готовит к печати большую религиозно-философскую диссертацию — «Столп и утверждение Истины», в которой рассматривает основные вопросы бытия, причем свою книгу собирается посвятить самой Божией Матери. Нам казалось это огромной смелостью и даже дерзостью. Достаточно напомнить, что говорилось это в 1914 году, когда понятия «кощунство» и «святотатство» были весьма действенными в уголовном законодательстве России. Но, действительно, по выходе книги в свет можно было прочесть напечатанное там посвящение *«Всеблагоуханному и Пречистому Имени Девы и Матери»*.[54]

Книга была издана узорчато и замысловато: с заставками из редкого издания петровского времени «Симво-

лы и Емблемата»[55], витиеватым «елизаветинским» шрифтом, который, по первоначальному замыслу Флоренского, должен быть столь мелок, что его следовало читать с лупой. По словам Флоренского, переданным Алексеем, это требовалось для того, чтобы читатель подходил к книге со вниманием, читал ее с трудом, вникая в содержание, а не рассеянно пробегая глазами строчки...

Тогда этот замысел мне понравился. Потом я понял его нелепость. Книга и так оказалась достаточно трудной для понимания. Что же касается внешних факторов, таких, как шрифт, виньетки, заставки и прочее, то все это является мишурой, не облегчающей понимание, а только мешающей читателю, загораживающей от него смысл слова и фразы. Книга должна быть написана и напечатана так, чтобы между читателем и мыслями автора стояло как можно меньше препон. Истину незачем осложнять хитросплетениями — это «византизм», как чутко и справедливо заметил В.В.Розанов[56], причем не творческий, а упадочный.

Уже потом, познакомившись с книгами средневековых философов и мистиков, изданными в XVI веке, я понял, откуда Флоренский заимствовал идею оформления своей книги — микроскопический шрифт, заставки, инициалы, концовки... Так издавал бы свой труд Пико делла Мирандола или Агриппа Неттесгеймский.[57]

Подобная книга, изданная для соискания ученой степени в Московской духовной академии, была, конечно, неприемлема. Поэтому, выставляя свой труд в качестве магистерской диссертации, Флоренский издал ее в сокращенном виде без посвящения, аллегорических рисунков и под более скромным заглавием: «О духовной истине. Опыт православной теодицеи». И все равно, как мне говорил впоследствии архимандрит Иларион, знаменитый в те годы ученый архиепископ Антоний (Храповицкий) отозвался о работе Флоренского достаточно резко, сказав:

— Или я уже ничего больше не смыслю в философии, или это просто хлыстовский бред!

Рассказывая об этом в 1919 году, Иларион добавил, что хотя он весьма чтит и уважает владыку Антония, видя в нем «столп православия», однако готов согласиться только с первой половиной его суждения, поскольку, занятый делами церковного управления и общественности, Антоний «порядком поотстал от философии и недооценивает ее новейших направлений».

Но все это будет много позже. А тогда я расспрашивал Алексея о Флоренском при каждой встрече, и в этих рассказах меня поразил еще один случай.

Как-то во время прогулки мы заговорили о буддизме. По своей наивности я готов был считать буддизм своего рода язычеством, чем-то вроде шаманства. Алексей объяснил, что это глубокое философское учение, в котором заложена огромная сила, особенно в идеях кармы, перевоплощения и нирваны. Он рассказал, что буддизм пользуется большим успехом в Европе, в том числе и в России, а под Петербургом, в Новой Деревне, воздвигнут даже буддийский храм. По-видимому, Алексей сам тогда увлекся идеями буддизма, почему и говорил о нем как о серьезном сопернике христианства.

Тогда же он рассказал, что Флоренскому как-то пришлось навестить одного тайного русского буддиста, причем не только из богатых, но, кажется, даже из высокопоставленных лиц в Петербурге. Любезный хозяин показал гостю свою тайную буддийскую молельню, где стояла статуя Будды, цвели лотосы и находились другие принадлежности культа, и тут же совершил моление, возжигая какие-то душистые палочки и окуривая ими себя и гостя. По словам Флоренского, эти действия привели его в ужас. Он говорил отцу Алексея, что в тот момент отчетливо почувствовал присутствие в молельне каких-то неведомых сил, которые для Флоренского были, конечно, силами ада.

А мне это напомнило другой случай и другой рассказ, услышанный тем же летом, когда я гостил в Маврино, верстах в двадцати от Сергиева Посада, у старой тетки-учительницы.

При мне к ней в гости зашел тамошний сельский священник. Незадолго до того ему пришлось побывать у местного колдуна по какому-то делу и говорить с ним. Священник признался, что ему было страшно:

— Уж очень пронзительные глаза у него, точно сила какая-то их них выскакивает...

Меня удивил этот страх, как оказалось, одинаково присущий и захудалому сельскому священнику, который за требами и хозяйственными заботами позабыл всю свою скромную семинарскую премудрость, и ученому богослову-мистику, тоже священнику. «Неужели они, — думалось мне, — люди духовного сана, служители Божии, обладающие силою и властью «вязать и отпускать», не ощущают в себе той благодати, которая проявляет

через них эту силу и власть?! Они трепещут даже не перед «темными» силами, а просто перед непонятным и неведомым...» И невольно вспомнилось предание, как преподобный Сергий одной только пламенной молитвой изгнал угрожавших ему бесов. Или теперь благодать покинула церковь? Все это побуждало к долгим раздумьям, к поискам ответов на встававшие передо мной вопросы веры, разжигало любопытство по отношению к Флоренскому...

Гимназистом старших классов я часто бродил по стенам Лавры; любил смотреть сквозь узкие бойницы на живописно разбросанные домики Сергиева Посада, утопающие в густых садах, которых тогда так было много, на ширь расстилавшихся вокруг полей, подходивших вплотную к городку, на совсем близкие леса, уходящие к горизонту... Проходя по восточной стене, я взглядывал на окна академической библиотеки. Летом они часто бывали открыты, и в глубине залов можно было видеть огромные шкафы и стеллажи, заполненные книгами, где, по-видимому, работал и Флоренский. Но встретил я его только на первой лекции, осенью 1917 года, и эта встреча, естественно, врезалась в память на всю мою жизнь.

...Самая большая аудитория Академии переполнена. Минут за десять до звонка уже стоят в проходах, вдоль стен, сидят на подоконниках, толпятся возле двери. Звенит звонок, и появляется Флоренский — среднего роста, слегка горбящийся, с падающими до плеч черными, слегка вьющимися волосами, с небольшой кудрявящейся бородкой и очень большим, прямо гоголевским носом. Он бочком пробирается, почти протискивается сквозь толпу и выходит к столику перед студенческими скамьями. Сзади — большая доска. На кафедру Флоренский никогда не поднимался. И сразу наступает тишина.

Он не казался красивым. Было нечто восточное во всем типе его лица, особенно в его «долгом» взгляде изпод приспущенных век, который падал как-то искоса, скользил по собеседнику и словно уходил внутрь его. Он никогда не надевал свой магистерский крест: черная простая ряса и серебряный наперсный крест, как у рядового сельского священника. Забегая вперед, скажу, что Флоренский никогда не стремился к славе, никакие почести и отличия не привлекали его. Это проявлялось и в повседневности. Помню, как я был изумлен, когда

при первой нашей встрече на мой простой, хотя и вежливый поклон он ответил чисто монашеским, низким, почти поясным поклоном! Можно сказать, что я «остолбенел». Потом мои друзья-монахи объяснили, что это его обычная манера кланяться. И все же, даже годы спустя, я не мог отделаться от первого недоуменного впечатления. Каюсь, мне представлялось, что такое смирение — «смирение паче гордости», и в поясном поклоне Флоренского заключено что-то обидное для человека, которому так кланяются. Думаю, что так же воспринимали смирение его и люди типа Тареева, в поведении которых, пожалуй, даже подчеркивалось их «величие», и за эту противоположность Флоренского недолюбливали...

Но вернусь к первой лекции.

Движения Флоренского скованны, фигура несколько наклонена, голос звучит глухо, и слова падают отрывисто. Вопреки ожиданию, в нем не было ни величественности позы и жестов, ни витийной плавности фраз. Речь лилась как бы изнутри, не монотонно, но и без риторических ухищрений и декламационного пафоса, не стремясь к красоте стиля, но будучи прекрасной по своему органическому единству.

Было некое магическое обаяние в его речи. Безо всякой усталости ее можно было слушать часами. Несмотря на глуховатый тон голоса, он живописал словами, вызывая соответствующие музыкальные отзвуки в душе слушателя, завораживающие всего его целиком. В течение двух академических часов и я сам, и остальные сидели буквально не шевелясь, отдаваясь потоку мыслей, возникающим ассоциациям и настроениям. И только потом, когда Флоренский кончил говорить и как-то внезапно исчез из-за столика, когда загудела аудитория, вставая, разминаясь, и потекла к выходу, я почувствовал, как у меня затекло и закаменело от неподвижности тело. До этого момента я его не ощущал. На лекциях Флоренского у меня как бы не было тела — оставался только дух, и он ревностно следил за течением мысли лектора.

За два года, что я учился в Академии, я не пропустил ни одной лекции Флоренского. Он их читал так, как если бы «писал вслух», поэтому они требовали от слушателей максимального внимания. Нужно было не потерять последовательности развития мысли, а вместе с тем уловить ту или иную особенность в произношении отдельных слов,

поскольку Флоренский умел интонацией выделять неожиданные смысловые оттенки, подчеркивать едва уловимые нюансы, позволяющие ему делать поразительные сопоставления, иногда граничащие для слушателей с подлинным откровением. Точно так же при письме он использовал приемы индивидуальной орфографии при написании отдельных слов, в особенности слов с префиксами. Поэтому многим студентам его лекции казались трудными: «Уж очень он темно говорит и много приводит имен и фактического материала», — вот типичное отношение к его лекциям рядового студента, которому хотелось бы, чтобы наука была проще и легче, а диплом поскорее лег в руки. Действительно, стиль речи и мысли Флоренского выделялись на фоне лекций других профессоров, но для меня они были понятны: я встретил в них то, что частично уже было мне знакомо по символистам и философам, которых читал.

Особенно запомнились мне лекции по истории античной философии. Дивный эллинский мир, знакомый еще с гимназии, предстал теперь в новом своем аспекте происхождения культуры и искусства из древней мудрости. Ее прародину Флоренский усматривал в архаическом Египте, в мистериях крито-микенской эпохи и в более далеких, только еще угадываемых в начале XX века древних цивилизациях.

Глубоко и основательно объяснял нам Флоренский, что для нас и для будущего эта древняя мудрость — не археологическая только реликвия, ценная лишь своей курьезностью, а корень всего нашего познания, ключ к загадкам мира и человеческой души, наконец, питание, укрепляющее наши ведомые и неведомые силы. Отворачиваясь от этого источника, человеческая мысль хиреет, а творчество иссякает, тогда как, происходя из этого первоначала и постоянно возвращаясь к нему, древо знания высится, крепнет и осеняет своими побегами землю, «принося плод мног».

Но особенно меня поразили лекции о Платоне.

Флоренский был платоником, поэтому, говоря о заветном, он достигал предельного совершенства. По этой же причине А.Ф.Лосев считал его истолкование идеализма Платона лучшим и никем не превзойденным во всей философской литературе[58]. Не только помыслить, но и ощутить можно было все, когда он говорил об идеях, раскрывая тайную сущность «мифа о пещере», или уяснял и развивал положения «Пира» и «Федра».

После них я выходил прямо-таки опьяненный, чувствуя и себя в какой-то мере причастным этой поистине божественной жизни. Хотелось жить, мыслить, творить. Раскрывались глаза на мельчайшие детали окружающего мира, прекрасное начинало сиять и ласкать своей просветленностью. Зло переставало угрожать, оно постигалось как тень, как всего лишь отсутствие прекрасного. Оставаясь в мире, оно не делало человека беспомощным и слабым; наоборот, звало к борьбе, к подвигу, к отречению от зла в самом себе для победы над мировым злом...

Сила лекций Флоренского, как я уже говорил, была поразительной. Он не только живописал. Он очаровывал, подобно Орфею, магически овладевал душой слушателя, превращая ее в воск или глину, из которой затем лепил свои создания. Особенностью моей натуры было то, что определялось когда-то словом «визионерство»: явление, поразившее меня чем-то в реальности, возвращалось претворенным в сонном видении, где трансформировалось, утончалось и углублялось до невыразимости, но в то же время становилось в своих образах понятнее и доступнее. Один из таких снов я увидел после цикла лекций о Платоне. Какие-то светлые существа (даймоны Платона!) увлекли меня в сказочную страну, которая возникает разве что на картинах итальянских прерафаэлитов, — прозрачные потоки среди холмов и долин, покрытых цветами и деревьями, усеянными плодами, прозрачные голубеющие дали, замки и маленькие средневековые города... И в момент прощания зазвучала музыка, которая потрясла меня до слез.

Каково же было мое удивление, когда через некоторое время я услышал ту же божественную музыку в исполнении одного из моих знакомых, одаренного скрипача! Это была мелодия «Орфея» Глюка. И потом, когда она начинала звучать в концерте или по радио, я вспоминал свой сон, отчетливо сознавая, что до него мне никогда не приходилось ее слышать...

У меня сохранились планы двух лекций Флоренского — записи, сделанные уже дома, по памяти: сухой скелет услышанного. Многие записывали во время лекций, но я этого не делал сознательно. Оправданна только стенографическая запись, иначе искажается стиль, а вместе с ним и смысл. Кроме того, записывая, что-то обязательно пропускаешь мимо ушей, и отсюда возникает нарушение связности и понимания, особенно когда прислушиваешься к такому мастеру, как Флоренский, у которого очень

многие мысли и выводы опираются на малозаметные акценты речи. Дома я записывал основные положения и моменты, позволяющие потом вспомнить все остальное. Таких листов у меня было много, но они, к сожалению, погибли в жизненных перипетиях. Впрочем, я не особенно и старался все записать, поскольку сам Флоренский говорил нам, что уже готовит к печати курс лекций и первый их выпуск уже увидел свет.[59]

Увы, события последующих лет помешали выходу дальнейших выпусков...

Итак, вот план этих двух лекций — о знании:

1. Знание. Наше отношение к нему. Взгляд В.А.Кожевникова на этот вопрос. Два типа знания: естественное и искусственное. Антропоцентризм первого (но не в смысле протагоровского — «человек — мера вещей»), антропизм второго. «Научное миросозерцание» как второй тип знания. Его стремление к безусловной объективности. Невозможность этой объективности. Неизбежность «человеческого» во всех научных отвлечениях, как их первоосновы.

2. Продолжение и развитие той же темы. Различие «научного миросозерцания» и науки. Первое как позднейшее и смутное эхо последней. Догматизация «научным миросозерцанием» гипотез и методов, являющихся для науки «поскольку — постольку». Присутствие известного элемента этой догматизации и в самой науке. Научная хитрость. Неотвечание прямо на вопрос как основной смысл последовательного и кропотливого анализа. «Смазывание» проблем посредством введения бесконечно великого для обозначения протяженности этого процесса. Перенесение в бесконечно давние времена или в неопределимое будущее как способ бездоказательного доказывания проблемы. Исторический обзор роста идей «научного мировоззрения». Ренессанс как эпоха богоборческая. Философское значение великих открытий. Коперник — Птолемей. Роль великих открытий в деле сведения к нулю значения Земли и отсюда в деле уничтожения различий, индивидуальных окрасок.

Конечно, здесь не найти ни аргументов, ни блестящей диалектики автора, парадоксов, которые сначала ошеломляли, а затем поражали глубиной проникновения в сущность вопроса, остротой и четкостью его разрешения; нет здесь и той красочности — я сказал бы даже пахучести — слова, его мелодического звучания и

семантической насыщенности — всего того, что делало лекции Флоренского шедевром, а слушание их — праздником мысли и духа...

В таком маленьком городке, как Сергиев Посад, любая мелочь оказывается всеобщим достоянием и делается предметом пересудов, в том числе и личная жизнь человека. Естественно, что студентов интересовали их профессора, о них говорили много и по-разному, но я никогда не слышал никаких замечаний и россказней о домашней жизни или «слабостях» Флоренского. Все разговоры о нем сводились исключительно на философические и мистические темы. Одни были готовы объявить его теософом, другие — спиритом и чернокнижником, третьи — магом... Приведу один рассказ, очень характерный в отношении к Флоренскому.

Когда он был еще студентом Академии, его заболевшего товарища поместили в академический лазарет. Флоренский пришел его навестить. Третьим в палате был еще один студент, в то время дремавший. Когда же он проснулся, то, по его словам, Флоренский сидел на полу на подушке, поджав по-турецки ноги (привычка грузинского детства?!), на коленях у него лежала огромная книга, из которой он читал нараспев на непонятном языке, раскачиваясь вправо и влево, а его товарищ лежал на кровати, вытянувшись как мертвец. Картина произвела столь жуткое впечатление на рассказчика, что от ужаса тот... заснул!

Приснилось ли это рассказчику или для характеристики Флоренского была использована предпоследняя сцена «Песни торжествующей любви» Тургенева? Бог весть. И все же случай этот показывает, что и в Академии Флоренского считали не вполне «своим». Видимо, такова судьба любой незаурядной личности: вначале она вызывает у окружающих любопытство, потом — подозрительность, наконец, страх и даже осуждение...

Мне не часто приходилось разговаривать с Флоренским на дому или в академической библиотеке. Он был не слишком общителен, и в этом отношении не походил на протоиерея Воронцова или профессора Глаголева, готовых без конца говорить со студентами и дома, а еще точнее, продолжать чтение лекций у себя в кабинете, ибо иначе как лекциями их монологи назвать трудно. Насколько мне известно, некоторые студенты одолевали Флоренского своими посещениями, но тот, если не хотел до конца обнажать свою мысль, начинал говорить темно и сложно, так что слушатель оказывался в недоумении. Бывало, что в

такой момент Флоренский вдруг умолкал. И молчал довольно долго, а потом, словно очнувшись, начинал говорить о чем-либо другом. В.В.Розанов, знавший его долго и близко, очень точно подметил такой момент в своих записях: *«Флоренский посмотрит долгим взглядом — и ничего не скажет...»*[60]

Столь же образно это свойство его отмечено в изданной к 100-летнему юбилею Академии редкой брошюре, озаглавленной «Academiae Historia Arcana»: *«Павел поп от многия его учености речь ведет темную и неудобь вразумительную: глаголет бо аще и языком русским, обаче словеса его Павловы иноземныя...»*[61]

Впервые к Флоренскому я попал осенью 1917 года. Помню, что я волновался, когда шел к нему. Мне надо было посоветоваться относительно задуманного мной семестрового сочинения о Гоголе. В то же время я хотел увидеть человека, которому втайне поклонялся, в его домашней обстановке, поскольку она всегда способствует раскрытию характера, вкусов и привычек, а пожалуй, даже и стиля мышления хозяина.

Меня провели по коротким сенцам, затем небольшим коридорчиком, и я оказался в кабинете, стены которого были сплошь заставлены книжными шкафами. Их глухие деревянные дверцы надежно скрывали содержимое от любопытствующих взоров. Заглянуть в них мне удалось гораздо позднее, уже без Флоренского... На дверцах — небольшие застекленные фотографии: виды Акрополя, Пестум, снимки с античных статуй и барельефов. В углу — киот с иконами, перед ним — зажженная лампада. Напротив — небольшой, очень простой стол, на котором нет никаких «письменных приборов», а только чернильница и ученическая ручка с пером.

Я задавал вопросы, а Флоренский отвечал — глухим, как бы слегка надтреснутым голосом, с большими паузами, во время которых он словно бы забывал обо мне и, устремив мимо меня взгляд, погружался в созерцание собственных видений. В такие минуты наступала томительная тишина. Но вот хозяин кабинета как бы просыпался, с недоумением смотрел на меня, словно что-то вспоминая, и опять продолжал прерванный разговор. При этом он смотрел не прямо, а куда-то вкось, и лишь изредка взглядывал на меня пронзительным и долгим взором, словно пытаясь заглянуть в самую глубину души. Было в этом взгляде не-

что, идущее от древности, от иерофантов* Элевсина и Египта. Вероятно, то же самое чувствовали и три футуриста, в числе которых был и Велимир Хлебников, когда они навестили Флоренского, чтобы предложить ему войти в число «Председателей Земного Шара», но так и не посмели об этом сказать, выслушав его лекцию о законе «золотого сечения»...[62]

В тот раз я получил у Флоренского не только консультацию по вопросам моего сочинения. На улицах и в учебных заведениях, в учреждениях и в домах, когда собирались знакомые, шли споры о том, что такое «свобода» и какой она должна быть. Вот и Флоренский в беседе со мной между прочим заметил:

— Теперь все говорят и даже кричат о свободе, а мало кто знает, в чем она заключается. Глупый человек, подавленный суетой, в самой демократической стране не почувствует свободы, не сумеет воспользоваться ею, а истинный мудрец может чувствовать себя свободным даже в обстановке насилия и рабства...

Я хорошо запомнил эти слова, которые помогли мне выявить суть идеи, смутно чувствуемой и ранее. И в последующие годы они не раз бывали для меня поддержкой и утешением в различных трудных обстоятельствах моей жизни.

Насколько мне известно, Флоренский никогда не принадлежал никакой партии и, по-видимому, не интересовался политикой и не любил ее. Попросту говоря, он был человеком консервативного склада мысли, видя в противоположном направлении элементы Хаоса, которым считал себя обязанным противостоять во имя Логоса. В 1923 году известный «обновленец» протоиерей А.И.Введенский писал, что *«перед самой революцией о.Флоренский поместил на страницах одной из правых московских газет статью, где требовал догматического признания органической связи православия и самодержавия... Полное слияние божеского и человеческого, низведение небесного царя на землю и возведение земного царя на небесный трон. Такого апофеоза не знала, не смела знать Византия. Требование о. Флоренского прозвучало уже тогда, когда даже нечуткое ухо определенно слышало подземные раскаты приближающейся революции»*.[63]

Статью, на которую ссылается Введенский, я не нашел и о ней никогда не слышал. Правда, в критическом

---

* Старшие жрецы, «всезнающие» (греч.).— *А.Н.*

отзыве Флоренского о книге В.З.Завитневича, посвященной Алексею Степановичу Хомякову, есть довольно схожее утверждение: *«В сознании русского народа самодержавие не есть юридическое право, а есть явленный самим Богом факт, — милость Божия, а не человеческая условность, так что самодержавие царя относится к числу понятий не правовых, а вероучительных, входит в область веры, а не выводится из внерелигиозных посылок, имеющих в виду общественную или государственную пользу»*.[64]

В этих словах нет догматизации самодержавия, но они ясно показывают, что Флоренский, говоря так, мыслил идеальный образ царской власти, который вряд ли уживался в его сознании с последним реальным его выразителем.

Стоит напомнить, что, будучи еще студентом Академии, в 1906 году Флоренский издал под названием «Вопль крови» отдельную брошюру, обличающую бесчеловечный террор реакции. В ней напечатан текст проповеди, сказанной им в академическом храме 12-го марта 1906 года. Вот что он писал: *«Волны крови затопляют родину. Тысячами гибнут сыны ее — их вешают, расстреливают, тысячами переполняют тюрьмы. Вернулись времена безбожного царя Иоанна. Под видом «умирения» избиваются мирные крестьяне и рабочие. Людей, не имущих куска хлеба, расстреливает живущий за счет их трудов. Женщин и детей и то не щадят — насилуют, оскорбляют на каждом шагу. Издеваются в безумном озверении... И мы молчим, все молчим, все умываем руки... не водой уже, как Пилат, а кровью, ибо нет теперь воды, не смешанной с кровью, нет воды, которая смыла бы кровь с Руси... Смотри, Русь святая, не оказаться бы тебе позорищем истории!»*[65]

Страстный вопль Флоренского против братоубийственного кровопролития не услышали, а если он и был услышан, то очень скоро оказался забыт...

Задуманное мною сочинение о Гоголе, по поводу которого я шел советоваться к Флоренскому — «Темные лики. Элементы тоски и ужаса у Гоголя (1821-1831)», — к весне 1918 года было закончено. В своем исследовании я хотел показать, что эти элементы присутствовали в творчестве нашего классика с самого начала, а не появились только в конце жизни. Я много поработал, просмотрел много трудов о Гоголе и предпослал сочинению небольшое методическое вступление. Получилась

объемистая тетрадь более полутораста страниц. Флоренский похвалил вступление и мое старание, но заметил, что это скорее литературоведческая, чем философская работа. А чтобы меня утешить, посоветовал рассмотреть и остальной период творчества писателя, создав, таким образом, «чисто профессорский том», как он выразился не без некоторой иронии.

Затем, как бы в назидание, Флоренский заговорил о сочинении моего сокурсника, священника Михаила Спасского, небольшом по размеру, зато весьма насыщенном и глубоком, тоже посвященном Гоголю. Спасский сумел показать в своей работе роль лунного света в гоголевских описаниях, связав его с некоторыми особенностями мироощущения и миропонимания писателя, причем привлек при этом некоторые моменты из книги Розанова «Люди лунного света». И тут же, правильно почувствовав мое состояние, Флоренский предложил прочесть это произведение. Конечно, он был совершенно прав в своих оценках! Компактная, четкая и ясная работа Спасского была именно философским исследованием, тогда как мой «труд» оказался перегружен биографическими материалами, совсем не затронутыми философским осмыслением.

Сам Флоренский умел и говорить, и писать так, что слушатель или читатель мог, перечитывая или обращаясь мыслью к услышанному, еще долго открывать для себя разнообразнейшие пласты идей и чувств, очерченные немногими фразами. Его идеализм истекал из двух источников — философии Платона и христианского учения. Конечно, христианство доминировало: Платонова мудрость рассматривалась только как прообраз христианского откровения. Здесь Флоренский словно бы шел по стопам Климента Александрийского, который пытался объединить философский эллинизм с христианскими догматами. Вот почему «Столп...» Флоренского столь же узорчат и энциклопедичен, как и «Строматы» его египетского предшественника.

Здесь можно найти Библию, творения отцов и учителей Церкви, средневековую схоластику и мистику, новейшее богословие вплоть до католических неотомистов и русских «богоискателей». А вместе с ними — мудрость языческих мыслителей от элеатов до Плотина и Ямвлиха, которая через отреченный гностицизм расцвела в философии средневековых реалистов и перешла в романтико-идеалистические течения нового и новейшего времени. Здесь найдется

экзотика Каббалы, умноженная хитросплетениями Талмуда, солипсическое визионерство браминского и ламаистского Востока, трансформация его в современном оккультизме и пытающиеся быть эзотеричными, а одновременно — наукообразными теософия и антропософия. И тут же рядом — тяжеловесные, не всегда приемлемые плоды науки: Флоренский не игнорировал и ее тучных нив и огородов.

И хотя Флоренский неоднократно и подчеркнуто говорит о своем православии, хотя в предисловии к «Столпу...» почти отрекается от суетной мудрости мира сего, рассматривает и выявляет относительность человеческого познания и беспомощность познающего «я», его ничтожество перед сокровищами святоотеческого духовного опыта, сравнивая творения учителей и апологетов Церкви с *«водопадом из камней самоцветных»* (чисто византийский образ!), он не преминет прибегнуть и к суровым истинам математики, к запасам фактов и наблюдений, нагроможденных в кладовых естествознания, к «афинейским» хитросплетениям свободомыслящих философов и к еще более опасным поэтам светским.

В то же время Флоренский был глубоко искренен и говорил от чистого сердца, когда проповедовал смирение и возвеличивал мир христианских аскетов и пустыннолюбцев. Скепсис превозмогается у него лишь христианской любовью, относительность всего и вся в человеческом мире — лишь опорой на Церковь, которая и постулируется им как «столп и утверждение Истины», а обреченная бескрылость рационалистического познания — лишь экстатическим опытом молитвы и подвига. «Столп и утверждение Истины» вызвали довольно жаркие споры в академических кругах. Духовная профессура в большинстве своем чрезвычайно лестно и высоко оценивала этот труд. С.С.Глаголев прямо назвал его «гениальной книгой». Тогдашний ректор Академии, епископ Феодор, отметивший, что *«книга о. Павла — явление исключительное»*, в завершение своего отзыва счел нужным заметить: *«Быть может, я не оценю по достоинству эту книгу, если признаю ее достойной степени магистра, а не высшей ученой степени»*.

Совсем другую оценку заслужил Флоренский у своего противника, профессора М.М.Тареева, который писал, что у Флоренского *«принцип «отечества», проводимый сверху, есть принцип провинциального католичества; проводимый*

снизу есть принцип замаскированного протестантства; всегда он есть принцип произвола... И в заглавии книги, и в ее тексте автор афиширует церковно-отеческие источники, но его книга в своем содержании не имеет ни одной черты христианской философии: это не что иное, как спиритическая философия».

А вот что пишет о Флоренском, по-видимому, сам П.А.Флоренский в 44-м томе «Энциклопедического словаря Товарищества Гранат»: *«Свою жизненную задачу Флоренский понимает как продолжение путей к будущему цельному мировоззрению. Основным законом мира Флоренский считает принцип термодинамики — закон энтропии, всеобщего уравнения (Хаос). Миру противостоит закон атропии (Логос). Культура есть борьба с мировым уравнением — смертью. Культура (от «культ»), есть органически связанная система средств к осуществлению и раскрытию некоторой ценности, которая принимается за безусловную и потому служит предметом веры. Вера определяет культ, а культ — миропонимание, из которого далее следует культура. Всеобщая мировая закономерность есть функциональная зависимость, понимаемая как прерывность в отношении связей и дискретность в отношении самой реальности. Эта прерывность и разрозненность в мире ведет к пифагорейскому утверждению числа, как формы, и к политике истолкования «идей» Платона, как прообразов».*[66]

После Октябрьского переворота, который Флоренский воспринял в том духе, который выразил в своих знаменательных словах о «свободе», он постепенно начинает сотрудничать с новой властью, принимая самое деятельное участие в работе Комиссии по охране научных и художественных ценностей Троицкой лавры. Интересуясь вопросами искусства, он читает многочисленные доклады в московских искусствоведческих обществах, печатает статьи в журнале «Маковец». Позже он начинает работать в московских научно-исследовательских институтах, причем какое-то время был очень близок с Л.Д.Троцким, который его уважал и ценил. Из достоверного источника мне довелось услышать рассказ, как произошла их первая встреча.

Троцкий приехал во Всесоюзный электромеханический институт. Флоренский, который постоянно ходил в рясе и с крестом, решил не создавать неловкости для

начальства и остался в лаборатории. Едва только Троцкий вышел из машины и поздоровался с директором, как тотчас же спросил о Флоренском. За тем побежали. Сотрудники образовали две шеренги. Между ними на одном конце стоял Троцкий с директором института, на другом — появился Флоренский. Они пошли навстречу, директор представил их друг другу, и Троцкий, взяв под руку Флоренского и не обращая внимания на остальных, отправился к нему в лабораторию...

Другой эпизод, более позднего времени, рассказанный одним из моих бывших учеников в 1925 году. По людной московской улице марширует комсомольский отряд. Движение экипажей приостановилось. В открытом автомобиле, тоже остановившемся, сидят Троцкий и Флоренский — по своему обыкновению, в рясе, скуфье и с наперсным крестом; они беседуют, не обращая внимания на окружающих. Комсомольцы, поглядывая на них, угрюмо ворчат: «Видно, нами скоро попы командовать будут...»

Трудно сказать, что влекло Троцкого к Флоренскому, о чем они разговаривали и какие вопросы обсуждали, может быть, самые для нас неожиданные. Бессменный хранитель академической библиотеки и тогда, когда она стала филиалом Румянцевского музея, К.М.Попов рассказывал мне, что Л.Д.Троцкий однажды затребовал из нее какое-то редкостное сочинение мистического автора на немецком языке... об ангелах! Книга была не переплетена. Троцкий вернул ее уже переплетенной, и Попов сделал на ней соответствующую надпись. Кто, как не Флоренский, мог рекомендовать ему эту книгу и указал на ее существование в академической библиотеке?!

Мне думается, что именно дружба с Л.Д.Троцким и Н.И.Бухариным столь трагично отразилась на дальнейшей судьбе Флоренского, бравировавшего своим священническим саном слишком долго. В 1930 или 1931 году его сослали в Нижний Новгород, но вскоре вернули к прерванной работе; потом сослали уже в Сибирь, в область вечной мерзлоты, которой он занимался там вместе со своим другом, университетским профессором П.Н.Каптеревым, сыном профессора Академии Н.Ф.Каптерева. Каптерев вернулся в Москву, а Флоренского отправили в Соловки. И хотя оттуда какое-то время приходили письма, и родные

однажды даже добились возможности свидания с ним, обстоятельства, время и место его гибели так и остаются невыясненными...

В судьбе и в жизни Флоренского вообще много загадочного. Я возвращаюсь мыслями к загадке его дружбы с Троцким — и не могу понять, что связывало политика, оратора, человека действия с философом и мистиком, постоянно пытавшимся уйти от вопросов реальной жизни, не участвовать в ее событиях? Вот характерный случай.

Незадолго до вскрытия мощей преподобного Сергия, когда стало известно, что, невзирая на протесты верующих, мощи все-таки будут вскрыты, одна из видных прихожанок нашего академического храма, будучи потрясена такой перспективой и не зная, что сделать, чтобы «уберечь Преподобного от поругания», решила обратиться за помощью к Флоренскому. Поскольку с Флоренским она не была знакома, то попросила меня ее сопровождать.

Дома мы Флоренского не застали: он был у Олсуфьевых, на Валовой улице, куда мы и направились. Вызвали Флоренского. Разговор происходил в больших светлых сенях олсуфьевского дома. Моя спутница, плача, умоляла, почти заклинала отца Павла воспрепятствовать вскрытию раки Сергия, просила искать покровительства Троцкого, внушить ему, что не следует оскорблять чувств верующего русского народа.

Флоренский чувствовал себя неловко. Он говорил нам об историческом и мистическом значении Преподобного, о том, что вскрытие — не оскорбление, а своего рода новый подвиг Сергия, который, таким образом, становится после своей смерти еще и мучеником... Ничего реального он посоветовать не мог, к Троцкому обратиться отказался и постарался поскорее распрощаться с нами. Чувствовалось, что все это его мучит и тревожит, но что сам он беспомощен и растерян. Мы явились к нему посланцами другого мира, которого он не хотел знать, потому что... не понимал? Или, наоборот, понимал слишком хорошо? Не знаю.

Заканчивая его портрет, не могу умолчать о случайной с ним встрече, которая особенно врезалась в мою память.

Это было зимой того же 1919 года. Я шел по Вифанской улице, направляясь к железнодорожной линии. Уже наступила глубокая ночь. Мороз окутал инеем ветви де-

ревьев, резко хрустел под ногами снег, а в небе, в бесконечных пространствах, сияла зимняя сиреневая луна.

Внезапно из-за угла Валовой улицы появилась фигура Флоренского в его обычной черной рясе. Очевидно, он возвращался домой от Олсуфьевых, у которых тогда часто бывал.

Было что-то таинственное во всем его облике. Черные волосы, выбивавшиеся из-под скуфьи, сверкающие под луной стекла очков, за которыми не было видно глаз, большой, устремленный вперед «гоголевский» нос, несколько склоненная вбок голова, а главное — черная длинная ряса с развевающимися полами и широкими рукавами — все это отчетливо выделялось на сверкающем синеватом снегу. Шагов Флоренского почти не было слышно в льдистой тишине, и казалось, что он не идет, а медленно летит среди оцепенело спящего мира.

В эту минуту я увидел не знакомого профессора, чьи лекции слушал с таким восторгом, а таинственного мага из древней страны Мицраим, улетающего в неведомую для нас даль...

Глава пятая

Летопись жизни Академии в 1917-1919 годах. Друзья-монахи: Феодосий, Панкратий, Порфирий. Вскрытие мощей преподобного Сергия. Выселение монахов и конец Лавры.

Теперь, рассказав о людях, окружавших меня в Академии, а частично — и об их дальнейших судьбах, я возвращаюсь к осени 1917 года, чтобы продолжить повествование о событиях, последовавших от моего вступления под кров Академии и до ее конца. Может быть, подобная историческая справка, отнюдь не претендующая на полноту, окажется небесполезна будущему исследователю тех лет, а моему возможному читателю поможет сориентироваться в событиях, которые повлияли на духовную жизнь и на судьбы многих людей России, в том числе и на мою судьбу.

Яркими вехами жизни Академии на протяжении первого семестра 1917/18 учебного года для меня стали такие события, как уже упоминавшиеся диспуты, торжественная служба московского митрополита Тихона с митрополитом новгородским Арсением и орловским Се-

рафимом в академическом храме 1-го октября, блистательная лекция архимандрита Илариона в защиту патриаршества (после этого он был единодушно избран на должность помощника ректора); весть о том, что 5-го ноября в храме Христа Спасителя избран и наречен патриархом московским и всероссийским митрополит Тихон; его посещение Академии; служба в академическом храме и, наконец, его интронизация, или, как тогда говорили, «настолование», 21-го ноября в Успенском соборе, пострадавшем в результате обстрела Кремля штурмовавшими его красногвардейцами.[67]

Новый, 1918 год начался для всех нас большими и тревожными событиями. Декретом Совета народных комиссаров Церковь была отделена от государства, а школа — от Церкви. Во всех учебных заведениях отменялось преподавание Закона Божия, выносили иконы, ликвидировали домовые церкви. Повсеместно закрывали духовные учебные заведения, а занимаемые ими помещения передавали местным Советам. Соответственно и дома Академии в Сергиевом Посаде были переименованы в 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Дома Совета. Везде по России происходили столкновения между комиссарами и служителями Церкви. Как я слышал, наибольшую остроту они приобрели в Александро-Невской лавре, в Петрограде, и в Почаевской лавре, на Украине.

Группа членов Церковного Собора, в том числе профессор Академии Н.Д.Кузнецов и бывший ранее обер-прокурором Синода А.Д.Самарин, обратились к Советской власти. При этом Самарин от имени делегации сказал следующее:

— Да будет ведомо вам, что религиозное успокоение ста миллионов православного русского населения, без сомнения, необходимое для государственного блага, может быть достигнуто не иначе как отменой всех распоряжений, посягающих на жизнь и свободу народной веры...

В своем ответе комиссар М.Т.Елизаров объяснил, что, дескать, Совнарком *«вовсе не имел в виду нанести какой-либо вред Церкви, а хотел лишь отделить ее от государства»*, и что *«декрет может быть изменен, если эти изменения не будут противоречить принципу отделения»*. При этом он добавил, что *«стеснять Церковь»* большевики не хотели, желали только, *«чтобы духовенство не занималось политикой»*, поскольку интеллигенция от большевиков отшатнулась и в образовавшуюся пустоту

начала вливаться всякая дрянь, с которой работать невозможно и которая везде ведет государство к развалу.[68]

·Ни подобное «разъяснение», ни обращение патриарха Тихона и воззвание Собора ко всем верующим, как и следовало ожидать, ничего не изменили. Дальнейшие события показали, что подлинная борьба новой государственной власти с Церковью только еще начинается.

В Академии, несмотря на всю напряженность положения, продолжали идти регулярные занятия. Студенты писали очередные сочинения, работали в библиотеке, сдавали экзамены... Так закончился 1917/18 учебный год. Большинство студентов разъехалось на лето по домам и... половина из них осенью уже не вернулась: начался голод, началась гражданская война.

Жизнь становилась все труднее. Летом 1918 года мне пришлось заниматься репетиторством, давать много частных уроков, чтобы добывать средства к существованию для себя и для мамы, которая после Октябрьского переворота, как и множество пожилых людей по всей России, лишилась скромной пенсии бывшей сельской учительницы.

В то время я еще больше сблизился с моими друзьями-монахами — Феодосием, Панкратием и Порфирием,— а вместе с тем и с Варфоломеем и Вассианом: последний, закончив курс обучения, остался при Академии профессорским стипендиатом по кафедре библейской археологии и еврейского языка, где работал под руководством профессора Е.А.Воронцова. Немалую роль в нашем сближении сыграл и тот факт, что в феврале 1918 года при академическом храме Покрова Пресвятой Богородицы был образован приход, соответственно, с приходским советом, в котором оказался и я, как житель Сергиева Посада. Такая мера была совершенно необходима, поскольку в ином случае наш храм, согласно декрету о Церкви, закрыли бы так же, как закрывали все домовые церкви, и закрыли бы саму Академию, если бы она находилась вне стен Лавры: на закрытие монастырей новая власть еще не могла решиться.

Начало нового учебного 1918/19 года было грустным, хотя, как обычно, был произведен прием студентов на первый курс Академии, ставший последним (77-м) в ее истории. Желающих заниматься было мало, меньше половины студентов собралось и на моем курсе. 1-го октября был совершен торжественный акт, на котором патриарх служил литургию в академическом храме. Но все

уже чувствовали, что Академия доживает свои последние месяцы, если не дни. Еще летом у нее отобрали весь четвертый этаж аудиторного корпуса, и в нем разместилась эвакуированная из Петрограда Военно-электрическая академия. По счастью, этот вынужденный симбиоз двух учебных заведений протекал достаточно мирно. Во главе военной академии стоял бывший генерал, преподавали в ней заслуженные военные инженеры. Все они к нашим профессорам и студентам относились исключительно внимательно и корректно; так же вели себя и слушатели, бывшие офицеры.

В распоряжении Академии оставались елизаветинские «чертоги» с храмом, библиотечный и больничный корпуса, три этажа аудиторного корпуса и правое крыло инспекторского. В последнем наверху находилась квартира архимандрита Илариона, где он практически не жил, проводя все время в Москве, а потому и предоставил ее своему брату, архимандриту Даниилу, если не ошибаюсь, бывшему ректору Вифанской духовной семинарии, к тому времени уже закрытой, и иеромонаху Иоасафу (Шишковскому), квартиру которого в аудиторном корпусе заняли теперь под классы. Внизу жили мои друзья, иеромонахи Варфоломей и Вассиан, тогда как среднюю часть инспекторского корпуса и ее левое крыло заняла военная академия. В нижнем этаже распологались больница и аптека. Над ними теперь жили протоиерей Д.С.Рождественский, помощник ректора Валентин Дмитриевич Металлов и студенты, которым не нашлось места в «чертогах».

Занятия продолжались, однако лекции часто не могли состояться или потому, что отсутствовали профессора, занятые в работах Церковного Собора в Москве, как то было с архимандритом Иларионом, И.В.Поповым и Д.В.Рождественским, или потому, что профессора, проживавшие в Москве постоянно, просто не могли добраться до Сергиева Посада: поезда ходили нерегулярно.

Последний 1918/19 учебный год был скоропостижно закончен на пятой неделе Великого поста. Экзаменов не было. Кое-кто из профессоров сделал нечто вроде зачета, который обернулся не индивидуальной проверкой знаний, а как бы общей беседой с курсом. Нас распустили, объявив, что мы условно переводимся на следующий курс, а вот будут ли экзамены — покажет осень 1919 года.

Студенты разъехались почти сразу. Разогнал начавшийся голод: Академия была не в силах содержать сто-

ловую. Остались мои друзья, жившие в большой сводчатой комнате елизаветинских «чертогов», которую в Академии по обитавшим в ней студентам-монахам обычно называли «синодом». Кое-кто оставался и в большом корпусе: вплоть до выселения монахов из Лавры администрация позволяла жить в академических помещениях и даже обеспечивала живущих дровами...

***

Как житель Посада я ежедневно навещал своих монахов, ставших к тому времени самыми близкими для меня людьми, поскольку все мы ощутили, что *«кончилась жизнь и начинается житие»*, как выразился у Н.С.Лескова его герой, протопоп Туберозов.

То, что говорилось за стенами Лавры, отталкивало меня своей грубостью и жестокостью. Элементов «нового» мира я не видел, главное же, не мог понять и принять царивший вокруг хаос всеобщего разрушения и озлобленной вражды ко всему «бывшему», в том числе и к религии. Меня мучили даже не столько голод, холод и почти нищенская нужда тех лет, сколько сознание, что мир прежней культуры разрушается до основания и на смену ему приходит ночь всеобщего варварства и оскудения.

Здесь же, в тихой сводчатой комнате елизаветинского «чертога» с маленькими окнами, выходящими на север, и толстыми стенами, через которые слабо и приглушенно доходил даже звон четырехтысячепудового колокола Лавры (ныне это комната Церковно-археологического кабинета, граничащая с библиотекой, которая в первые годы новой Академии служила канцелярией), я чувствовал себя защищенным от суетного, трудного и непонятного для меня мира. Голубые стены, лепной потолок, мерцающие перед образами лампады, длинные высокие стеллажи, уставленные книгами, книги на больших письменных столах, уютный свет электрических ламп под зелеными абажурами и хорошо натопленная печь — все это создавало для души обстановку покоя и тишины.

Первоначально в «синоде» жили четыре студента-монаха — Гавриил (Мануилов), Феодосий (Пясецкий), Панкратий (Гладков) и Порфирий (Соколов). Они были первые, с кем я познакомился еще гимназистом, они ввели меня в Академию и на протяжении всех этих лет

поддерживали своими советами. По-настоящему я сблизился только с тремя. Четвертый — иеродиакон Гавриил (Мануилов), полуболгарин, полугрек, — держался несколько в стороне от остальных, да и от науки, предпочитая веселое общество сергиево-посадской молодежи, в особенности девиц, с которыми флиртовал, правда, весьма осторожно.

Когда начались трудности с продовольствием, Гавриил почти все время проводил у знакомых прихожанок, которые могли его накормить. Помню характерный в этом отношении рассказ иеромонаха Вассиана:

— Служим вчера с Гавриилом всенощную. Царские ворота открыты, поют Великое Славословие. Гавриил наклоняется ко мне и говорит: «Сейчас я буду читать ектению скоро-скоро». — «Почему скоро?» — «Мадам Шенфильд в гости звала, обещала ветчиной угостить, ей недавно прислали откуда-то». — «Ну, ладно, прекрати разговор, неудобно: народ видит, что мы разговариваем». — «Они ничего не понимают. Они думают, что мы молимся». — «Какое «молимся»! Ты меня развлекаешь. Я чуть не рассмеялся, когда услышал от тебя о ветчине!»— «А ты стой благоговейно, думай, что рядом с тобой ангел стоит...»

В этой сцене — весь Гавриил. Он уехал в Константинополь летом 1918 года, хотя достать разрешение на выезд оказалось делом трудным. Я помогал ему писать различного рода прошения церковным и гражданским властям, ходил с ним объясняться, и все закончилось благополучно...

По-настоящему близок я был с Феодосием, Порфирием и Панкратием. Они были много старше меня и опытнее, к тому же осведомленнее в вопросах философии и богословия. Большинство наших бесед велось на духовные или философские темы. Мы обсуждали недавно вышедшую книгу профессора Юрьевского университета В.С.Шилкарского, который выдвинул идею типологического метода в изучении истории философии: он как бы синтезировал различные системы и направления философской мысли на протяжении веков и этим приближал их к нашему времени, тогда как метод исторического изложения представлял развитие человеческой мысли в виде какой-то случайной мозаики. Очень интересовали нас работы искусствоведа Ф.Шмита — о законах истории в их применении к развитию искусства.[69]

Конечно же, очень много мы говорили о Флоренском, его идеях, лекциях, способе выражения своих мыслей. Феодосий недолюбливал Флоренского за его пристрастие к математике и оккультизму, особенно протестуя против математических формул, которые тот любил выписывать на доске.

— К чему все это? — недоумевая, досадовал Феодосий.— Ведь никто из студентов не знает высшей математики, даже алгебру не помнит, которую проходил в семинарии. Это щегольство какое-то с его стороны!

В последнем я с ним охотно соглашался, поскольку сам терпеть не мог математики. Но против нас восставал Панкратий, окончивший реальное училище и потому понимавший Флоренского. Он всячески пытался доказать нам, что высшая математика тесно соприкасается с философией и многие проблемы последней оказываются интереснее и глубже, если к их изложению применен математический подход. Нужны и формулы: далеко не всегда сложную мысль можно выразить простыми словами, тогда как формула с точностью вводит в понимание той или иной идеи... Если же Феодосий возражал ему, что Владимир Соловьев, будучи глубоким философом, прекрасно обходился без математики, то Панкратий замечал, что время усложняется, расширяются наши представления о мире, поэтому сейчас уже нельзя мыслить так, как то было возможно в конце XIX века.

Феодосий часто нападал на меня за мое пристрастие к символистам и обычно читал пародии на них Владимира Соловьева. Я пытался объяснить, почему ценю Бальмонта, Брюсова и Блока, приводил в подтверждение стихи самого В.Соловьева, но доказать ничего не мог, потому что мои друзья поэзию не любили, не знали и в своих суждениях руководствовались исключительно взглядами враждебной ей обывательской критики.

Так же относились они к Е.П.Блаватской и к Р.Штейнеру, но в оценке последнего я готов был с ними согласиться. Книги основателя антропософии не удовлетворяли меня. В них были одни намеки и обещания что-то открыть в следующих книгах — обещания, которые так никогда и не были им выполнены. В конце концов мне стало казаться, что это не более чем коммерческий трюк, рассчитанный на распространение книг и интереса к антропософии. Когда же впоследствии я прочел о строительстве «Иоаннова здания» в Дорнахе

(Швейцария), о его гибели и последующей судьбе Штейнера, мои подозрения переросли в уверенность.

Друзья-монахи советовали махнуть рукой на всех «декадентов» и познакомиться лучше с работами К.Н.Леонтьева, которого я тогда совсем не знал, Н.Ф.Федорова, его издателя В.А.Кожевникова и с книгой В.И.Несмелова «Наука о человеке»[70]. Но сделать это я смог значительно позже.

Мережковского монахи считали модным болтуном, слегка помешанным на теме «Христос и Антихрист», которую тот довольно однообразно втискивает в свои художественные произведения. Зато о В.В.Розанове говорили осторожно: он исключительно талантлив, но нельзя понять, с кем он — с христианской Церковью или с Египтом, Иудеей и Вавилоном...

Все они любили и глубоко чтили Ф.М.Достоевского — и как писателя, и как мыслителя, а Льва Толстого — лишь как писателя, и то — до «Воскресения». Относительно же его философско-религиозного учения говорили, что оно интересно только для тех, кто никогда не читал настоящие богословские и религиозно-философские сочинения, которые сам Толстой знал очень мало, да и то в специальном для себя отборе. При этом нападки писателя на богословие Макария бьют мимо цели, поскольку в наше время Макарий — «пройденный этап богословия»... И — советовали прочитать о Толстом статью Глаголева.[71]

Я упоминаю о разговорах только с двумя монахами, потому что третий, Порфирий (Соколов), хотя и присутствовал при наших беседах и спорах, сам в них не участвовал, будучи по природе своей молчальником. Об этой его черте, как и о его исключительном смирении, еще в самом начале нашего знакомства меня предупредил Феодосий:

— Он и с нами ведет себя так же...

Привыкнув к постоянному молчанию Порфирия, я стал было подумывать, что молчит он лишь потому, что ему нечего сказать своего. И оказался глубоко неправ.

Однажды, придя в «синод», я не застал ни Панкратия, ни Феодосия. Порфирий просил меня подождать их, особенно Феодосия, который хотел меня видеть и о чем-то обязательно говорить, скорее всего, навести справку по какому-то литературному вопросу.

Оставшись один на один с Порфирием, я незаметно втянул его в разговор. Сначала он только отвечал на мои

вопросы, потом разговорился сам. И как же я был поражен! Оказалось, что он хорошо понимал наши интересы, во многих случаях имел свое мнение по вопросам, которые мы обсуждали, и его мнение неизменно оказывалось оригинальным и хорошо обоснованным. Просто в лице Порфирия я впервые встретил истинно монашеское смирение, которое не открывает своего внутреннего мира не из страха, не по равнодушию к людям, а потому, что не хочет никого стеснять своим мнением, не хочет по чувству врожденной скромности навязывать его собеседникам. И вот теперь он говорил легко и свободно, так безыскусно и душевно, что совершенно пленил меня.

Наша беседа с Порфирием продолжалась несколько часов, и когда потом я сказал об этом Феодосию, тот очень обрадовался:

— Таким разговорчивым отец Порфирий бывает очень редко. Он постоянно всех стесняется. А ведь ему есть что сказать! У него душа хорошая. И если он так разоткровенничался с вами, значит, вы ему понравились...

Но больше у нас таких разговоров не случалось.

Помню еще один факт, относящийся к 1919 году. Академия была уже недели две как закрыта, хотя монахи еще жили в своем «синоде». Есть было нечего. В магазинах полки были пусты, а купить какие-либо продукты, даже овощи, на рынке было подчас непосильно из-за их дороговизны. Чтобы не умереть с голоду, Феодосий и Панкратий ухитрялись покупать конину — тогда еще большинство ею брезгало, и она была сравнительно недорога.

Порфирий конину не ел.

— Я их не осуждаю, — говорил он мне о своих сожителях, — их нужда заставляет. Мысленно я согласен поступать так же, как они, но чувствую, что физически этого сделать не смогу. Мне и куска не проглотить!

Он съедал в день только одну небольшую полуржавую селедку, поджаривая ее на лампадном масле, и малую порцию скверного черного хлеба, который еще выдавали по карточкам.

Помню, точно так же Порфирий защищал перед своими товарищами Гавриила, когда он еще жил с ними, уверяя, что тот вовсе не так плох, как о нем думают. Феодосий и Панкратий недолюбливали Гавриила, полагая, что его поведение роняет достоинство инока, и

часто в глаза корили его за очередную выходку. Порфирий же неизменно выступал на его защиту, заканчивая, как помнится, одними и теми же словами:

— У Гавриила добрая душа. А если он иной раз и блажит, то не со злого умысла, а по детской простоте и наивности!

Друзья мои только головой при этом качали...

В такой обстановке тишины и аскетического воздержания укреплялось мое идеалистическое мировоззрение. В наших беседах на исторические и философские темы было грустное созерцание суеты мирской, непрочности сил и царств на протяжении веков, смены надежд и человеческих устремлений, та гамма грусти и утомления, что звучит в проникновенных словах Экклезиаста... Когда, наконец, уехали и мои монахи, я остался совсем одинок. Гавриила, Панкратия и Порфирия я потерял сразу[72], а с Феодосием переписывался в 1919-1920 годах.

Он жил на Украине, священствовал, но к обычным в то время для священника бедам и огорчениям присоединялось то обстоятельство, что его епархиальный архиерей Василий (Богдашевский) оказался ярым реакционером и требовал от подчиненного ему духовенства активной антисоветской деятельности. В одном из своих последних писем Феодосий сообщал, что выполнять подобные требования своего епископа счел делом, противным своей совести священника и христианина, поэтому он снял с себя сан. Порвав с Церковью, но не с верой, он не вызывал теперь подозрений у гражданских властей и стал преподавателем русского и украинского языков в городе Кролевце Черниговской губернии, где благополучно учительствовал вплоть до гитлеровской оккупации.

В 1937 году он приезжал в Загорск, разыскал меня, и мы целый день проговорили с ним, вспоминая прошлое. Я рассказал о том, что произошло с Академией после его отъезда, о судьбе профессоров. Потом мы бродили по Лавре, вспоминая былое, и он скорбел о всеобщем теперешнем запустении и разрушении. Он оставался верующим христианином с мистическими устремлениями, но признавал, что философия его прежнего кумира, Владимира Соловьева, в наши дни уже устарела; непреложным в ней он считал лишь учение о добре и эсхатологические чаяния, высказанные в «Трех разговорах».

Он дал мне свой адрес, мы обменялись письмами, но потом началась война. Когда после войны я написал

по его прежнему адресу, ответа не получил. Так что не знаю, что с ним сталось...

***

На пятой неделе Великого поста 1919 года Академия была распущена; на следующей неделе академический храм был захвачен, закрыт и опечатан студентами Электрокурсов, созданных при Военно-электрической академии, по-видимому, с целью ее дальнейшего преобразования. Если с Академией мы мирно сосуществовали, то теперь стали испытывать прямые и откровенные гонения. Курсанты, молодые коммунисты, в большинстве своем не русской национальности, держались весьма агрессивно и не скрывали своего желания «изгнать религию» из академических помещений. Почему-то больше всего их возбуждало существование нашего храма. Теперь его не стало.

Поскольку в самом начале 1918 года при нашем храме был образован приход — иначе он был бы тотчас закрыт на основании декрета об отделении Церкви от государства, — комиссар Лавры А.Волков, которого многие полагали моим отцом или старшим братом, предоставил нам для богослужений надвратный храм Иоанна Предтечи. Он был мал, с трудом вмещал в себя небольшое число молящихся, поэтому, по договоренности с Лаврой, академическому приходу было предоставлено помещение Трапезной церкви, в которой совершались службы пасхальной недели. Отец Варфоломей, возведенный на Пасху 1919 года в сан архимандрита, стал нашим настоятелем, а я — товарищем председателя церковного совета академического храма. После закрытия храма в «чертогах» Сергиевский совдеп передал нашему церковному совету некоторые облачения из академической ризницы (большинство было просто расхищено), а также напрестольную икону Покрова пресвятой Богородицы, которая находилась в верхней части иконостаса и во время акафиста спускалась вниз. Впоследствии, когда академическому приходу предоставили Пятницкую и Введенскую церкви возле стен Лавры, икону перенесли в Пятницкую церковь.

А затем произошло событие, воспринятое всеми нами самым тягостным образом: вскрытие и освидетельствование мощей преподобного Сергия Радонежского.

В других городах и обителях вскрытия мощей уже совершались большевиками. Теоретически мы были готовы

к тому, что такая же участь постигнет и мощи Преподобного, и все же втайне надеялись, что минет их чаша сия. Однако уже с начала 1919 года в сергиевской газете «Трудовая неделя» стали появляться статьи о Лавре, о монахах, об Академии и о возможности вскрытия мощей. В середине или в самом начале Великого поста в Лавре, в Трапезной церкви, состоялось большое собрание верующих. Там наместник Лавры архимандрит Кронид (Махаев) сказал краткую и сильную речь, в которой призывал народ и верующих защитить и оградить от поругания «не монахов, а священное место, где отпечатались стопы отца нашего, преподобного Сергия». После этих слов наместник земно поклонился народу, который отвечал ему тем же, и все запели тропарь Преподобному. С речами выступали многие, даже наш гимназический законоучитель прочел по бумажке заранее написанное обращение к верующим.

Вскоре после этого в храмах Лавры, в академическом храме, тогда еще не выселенном, и в посадских приходских церквах стали собирать подписи под прошением Совнаркому не вскрывать мощи преподобного Сергия. С копиями прошений и подписными листами ходили и по домам, потом их подклеивали к основному экземпляру. Получился огромный свиток, переданный по назначению, но, конечно, оставшийся без ответа. Впрочем, ответ был, и он был таким, каким его следовало ожидать: 11 апреля 1919 года* было неожиданно произведено вскрытие мощей.

В тот знаменательный весенний день я зашел к архимандриту Варфоломею, который вместе с игуменом Вассианом жил на первом этаже правого крыла инспекторского корпуса. Оба они стояли во главе академического храма, поэтому я, сначала как член церковного совета храма, а затем как «товарищ председателя», то есть его заместитель, был связан с ними множеством общих забот.

В гостях у Варфоломея я застал Е.А.Воронцова. Мы мирно разговаривали о каких-то вещах, когда отца Варфоломея внезапно вызвали. Вскоре он вернулся озабоченный и сказал, что сегодня в шесть часов вечера начнется вскрытие мощей Преподобного. Сейчас собираются представители власти и общественных организаций. Святые и Успенские ворота уже закрыты и охраняются

---

* Здесь и далее все даты приводятся по новому стилю.— *А.Н.*

курсантами, из них же составлен караул, окруживший колокольню, причем все ключи у монахов отобраны, а богомольцев из Троицкого собора, где находится рака с мощами, удаляют из Лавры через Певческие ворота в южной стене (они находились рядом с башней, где раньше жили монастырские певчие). К моменту вскрытия в собор обещают пустить всех монахов.

В этот момент к нам зашли живший рядом Вассиан, Иоасаф и архимандрит Даниил, проживавший в квартире Илариона, этажом выше. Иоасаф подтвердил сведения Варфоломея и сказал, что идет в собор, так как хочет все видеть самолично. Наоборот, Варфоломей, Вассиан и Даниил идти категорически отказались.

Я не был монахом, поэтому не мог идти на вскрытие, но меня беспокоило, что из-за всей этой процедуры меня не выпустят из Лавры, а это вызовет волнение у моей больной мамы.

— Сколько времени может продлиться вскрытие? — спросил я Воронцова.

— Думаю, что к полуночи закончится, — ответил за него Варфоломей. — Видите, как бегают большевики по академическому саду? У них сначала должно состояться какое-то совещание в нашем актовом зале. Говорят, что туда пригласят и наместника...

Мы подошли к окнам. Действительно, вереница людей тянулась по дорожке к «чертогам». Под нашими окнами бегали курсанты. Среди них суетился комиссар Шатагин, которого мы все знали в лицо, потому что он был женат на дочери посадского благочинного А.П.Константиновского — к великому соблазну как верующих, так и коммунистов. Шатагин давал курсантам какие-то указания. Неизвестно почему, именно Шатагин вызвал гнев и волнение Даниила.

— Ах он, такой-сякой, а еще попов зять! В такое дело ввязался! Сейчас крикну ему в форточку: «Попов зять!» — И уже лез на стул, когда мы его оттащили от окна.

Воронцов его уговаривал:

— Что вы, отец Даниил, да ведь они нам все стекла перебьют со злости, а то еще хуже что-нибудь сделают...

Даниил, все еще пылая негодованием, ушел к себе наверх, а Воронцов стал собираться домой. Я пошел с ним. Запоздавших богомольцев выпускали из Лавры через калитку в Успенских вратах, которые изнутри и снаружи охраняли вооруженные курсанты. Увидев нас, они

категорически отказались нас выпустить, так как отец Евгений был в рясе, а меня они хорошо знали по Лавре и Академии. На все наши уговоры ответ был один:

— Нет, не выпустим. Вы пойдете народ бунтовать! Сидите у себя в Академии!

Пришлось возвращаться. Воронцов нервничал и никак не мог успокоиться, а Варфоломей уговаривал его остаться ночевать, обещая устроить его со всеми удобствами на большом турецком диване: уж одну-то ночь сможет отец Евгений провести без своих рукописей и книг?!

— Пошли, пошли! — воскликнул в этот момент Иоасаф, смотревший в окно, и предложил мне идти с ним в собор. Когда же я заметил, что пускать туда будут только монахов, Иоасаф предложил мне свою рясу и клобук или скуфью. Но на подобный маскарад, да еще в такую минуту, я не согласился.

Иоасаф ушел, а мы остались сидеть и разговаривать. Всех волновал вопрос: что представляют собой мощи Преподобного? Каковы они? Вассиан рассказал, что незадолго до революции мощи горели, но все обошлось благополучно.

— Дело было так, — начал Вассиан. — На ночь собор запирали. В притворе Николая Угодника оставался дежурный монах, но войти из притвора в собор он не мог: соединяющая их дверь тоже была заперта, и он должен был смотреть, что делается внутри, через маленькое окошечко в железной двери, как раз напротив раки. Над ней всегда горели три негасимые лампады. Тяжелая серебряная крышка раки на ночь опускалась. И вот однажды монах заметил, что из-под крышки выбивается струйка дыма. Он тотчас же разбудил наместника, отца Кронида, тот послал за ректором Академии, епископом Феодором, и вызвал проживавшего на покое в Лавре архиепископа Никона. Втроем они освидетельствовали раку. Как оказалось, горела вата, которую клали по краям раки для раздачи богомольцам. По-видимому, во время вечернего богослужения из кадила в раку незаметно попала искра, она еле тлела в вате, и только к ночи загорелись некоторые покровы и пелены, положенные на мощах. Их было очень много, часть их сгорела в тлеющем огне, но до низа огонь не дошел, и под покровами лежали целые, совершенно неповрежденные мощи. Обо всем этом сообщил утром монахам наместник Лавры...

Факт этот стал широко известен в городе и чуть ли не был опубликован в газетах.

«Мощи были совершенно целыми» — вот что вспомнилось всем нам, и теперь мы с трепетом ждали, что же найдет комиссия.

Около 12 часов ночи вернулся отец Иоасаф. Он сказал, что мощи сохранились в виде древних костей, части кистей рук и ступни ног превратились в прах, однако никаких подделок, о чем много писали в газетах и журнале Наркомюста «Революция и Церковь» по поводу вскрытия мощей в других местах, обнаружено не было. Что же касается самого тела, очертания которого проступали в раке, то эту иллюзию создавали множество пелен и покровов, обвивавших многочисленными слоями кости Преподобного.

Такому известию мы несказанно обрадовались.

Иоасаф успокоил нас и относительно вскрытия. Во время самой процедуры не было никаких грубых выходок, никакого бесчинства. Все было тихо, спокойно, деловито. Вскрытие протоколировалось, потом присутствующих заставили этот протокол подписать.

— А ты подписал? — с подозрением спросил Иоасафа подошедший к тому времени Даниил.

— Нет, мне удалось увернуться...

— Ну и слава Богу! Молодец, что избежал рукописания...[73]

Уже далеко за полночь мне удалось выбраться через калитку в Успенских вратах. Сначала я оказался среди конных и пеших красноармейцев, которые удерживали толпу, пытавшуюся прорваться в Лавру. Протиснувшись между ними и потеряв в давке несколько пуговиц с пальто, я очутился в многотысячной кипящей толпе. Под темным небом происходило что-то невероятное. Отовсюду неслись глухой говор, споры, резкие выкрики, долетавшие со стороны Святых ворот, отрывки молитвенного пения, ржание коней, истерические женские голоса, истошный визг и брань. Толпа состояла из множества групп, которые соединялись, растекались, сливались с другими и снова распадались на новые группы.

Видя, что я вышел из ворот, ко мне сразу бросилось несколько кучек женщин, по-видимому, узнавших меня по службам в академическом храме, где я исполнял должность церковного старосты.

— Вы были в соборе? Что там? Что нашли? Какие мощи?

Вопросы сыпались на меня со всех сторон, и мне было трудно сразу на все ответить:

— Всоборе я не был. Там был отец Иоасаф во время вскрытия. Мощи целы, но сохранились только кости Преподобного...

— Врет он! — перебил меня какой-то мужчина в солдатской шинели.— Вместо мощей доску нашли!

Что тут началось!

— Молчи, окаянный! Безбожник! Гнать тебя в шею!..

Солдат говорил что-то еще, но тут одна из женщин, интеллигентно одетая, бросилась на него с тоненькой тросточкой, истерически выкрикивая:

— Что вы его слушаете?! Бейте его, бейте!

Окружающие бросились на мужчину, размахивая кулаками, и он побежал...

Сцена была настолько нелепа, что я, забыв о своих недавних душевных переживаниях, рассмеялся и поспешил домой — на Штатную Всехсвятскую улицу, ведущую к Кукуевскому кладбищу, где жила мама. Действительно, она не спала и ждала меня, но, против ожидания, не слишком волновалась, поскольку знала, что я в Академии, у своих друзей.

На следующий день я смог узнать, что происходило за стенами Лавры.

Ключи от всех церквей и колоколен в городе были изъяты властями, поскольку те боялись набатного всполоха, а вокруг церквей были расставлены караулы из красноармейцев и чекистов с подсумками боевых патронов, чтобы, если произойдет волнение, стрелять в народ. Действительно, едва лишь молнией по городу пронеслась весть, что ворота в Лавре запирают, — а это могло означать только вскрытие мощей Преподобного, которого уже с неделю ждали, — множество людей со всех концов города кинулось на площадь. К шести часам вечера вся площадь была запружена народом, и многие, особенно женщины, стремились прорваться, в Лавру. Кто-то предлагал вооружиться кольями и бревнами, чтобы выломать Успенские ворота, которые были не чугунными, как Святые, а деревянными, но их охраняли красноармейцы и курсанты.

Ворота пришлось все же приоткрыть, когда прибыли грузовики с электрооборудованием и киноаппаратами для съемки. Этим моментом воспользовались рвавшиеся в Лавру. Они бросились на цепи красноармейцев. Поднявшись на

дыбы, лошади ржали, женщины кричали, но не отступали, кто-то из военных стрелял в воздух, однако смять заслон не удалось, и ворота опять захлопнулись.

Стоит заметить, что киносъемки оказались неудачными. Фильм показывали в кинотеатре Сергиева, но он был очень короток и содержал лишь моменты, предшествующие собственно вскрытию. Все остальное не получилось «из-за недоброкачественной пленки», как тогда объясняли власти. А верующие, конечно, шептались, что этого не допустил сам Преподобный.

Потом рассказывали, что военный комиссар Сергиева Посада Рейнвальд, которого сергиевские жители позднее знали как страстного любителя футбола и, уже в почтенных летах, участника всех соревнований (с трибун футбольного поля ему кричали: «Рейнвальд! Пора на свалку!»), все-таки пострадал. «Остервенелые бабы» стащили его с лошади и порядком поколотили, как хотели побить и того скептического солдата, которого я видел по выходе на площадь. Не знаю, было ли так на самом деле, или уже потом придумали шутники: рассказывали мне этот эпизод не по свежим следам, а несколько лет спустя после событий...

Организованные верующие поспешили оповестить о происходящем приходских священников.

Первым на площади появился протоиерей Александр Петрович Константиновский, настоятель Рождественской церкви, находившейся неподалеку от Лавры. Возможно, произошло так не по причине близости его дома, а потому, что, скомпрометированный в глазах верующих браком своей дочери с комиссаром, он старался реабилитировать себя. Откуда-то принесли аналой. Отец Александр начал служить молебен Преподобному с акафистом. Певчие из академического хора, почти все — девушки и женщины, поскольку студенты разъехались и новый хор был создан иеромонахом Иоасафом, ставшим его регентом, подхватили пение, народ присоединился, и острота положения несколько сгладилась. Страсти стали утихать.

На смену Константиновскому пришли другие священники. Таким образом, на протяжении всего времени вскрытия мощей перед Святыми вратами Лавры непрерывно шла служба Преподобному с акафистом. Как я слышал, на другой день наместник сердечно поблагодарил посадское священство за их молитвенную помощь в трудную минуту:

— В соборе мы должны были молчать, а вас Господь вразумил и сподобил помолиться в такие часы за всех нас!

И вот, когда я с трудом вырывался из ворот Лавры, на площади уже выстраивалась очередь, чтобы поклониться раскрытым мощам Преподобного, ставшего, по пророческому слову Флоренского, теперь еще и «великомучеником».

На следующий день я проснулся от громового звона всех лаврских колоколов. Звонили полиелейным звоном* как в самые большие праздники. Наспех одевшись, я поспешил в Лавру.

От небольшой часовни, стоявшей на площади возле Красных торговых рядов (теперь в ней магазин «Охотник»), до самого Троицкого собора в четыре человека тянулась очередь желающих приложиться к мощам и впервые в жизни взглянуть на них. Люди шли медленно, и когда я приблизился к собору, войти в него, казалось, нет никакой возможности. Два лаврских монаха, отец Диомид и кто-то еще, провели меня через южный вход возле Серапионовской палаты и поставили на место, обычно занимаемое при мощах дежурным иеромонахом. Отсюда было все хорошо видно.

В соборе горели все паникадила. На огромном подсвечнике перед ракой пылало неугасимое пламя: сгоравшие свечи непрерывно заменялись новыми. Отец Вассиан говорил о мученичестве Преподобного с воодушевлением и силой, и в толпе то тут, то там раздавались плач и рыдания. Потом начался молебен Сергию. На клиросах вместе с монахами пели хоры мальчиков, а «радования» в акафисте, тропарь Преподобному и некоторые молитвы пели все присутствующие. Общенародное пение в храмах началось после посещения Лавры Церковным Собором и теперь стало обычным на литургиях, всенощных и молебнах.

Невольно я вспомнил тех писателей и даже духовных лиц, утверждавших, что славянский язык непонятен и чужд народу, что следует в богослужение ввести разговорный русский язык... Какая ошибка! Какое незнание души русского народа! Эти «бабы и мужики», эти парни и девки, а в особенности старики и старухи — прекрасно понимают церковно-славянский язык богослужения, за исключением разве отдельных слов. Они познакоми-

---

* Здесь — всеобщим.— *А.Н.*

лись с ним в школах, изучили его во время частых и прилежных посещений церкви, во время своих странствий по святым местам. И они с любовью и жаром поют священные слова, звучащие столь возвышенно и проникновенно.

Впрочем, сейчас, когда я пишу эти строки, все совершенно изменилось: не только народ, но и образованные филологи, преподающие теперь в средних школах и в вузах русский язык и литературу, не смогут, пожалуй, прочесть и перевести самые простые тексты молитв. Но разве невежество, распространявшееся чуть ли не насильно с отделением от школьного образования Церкви, а вместе с ней — и всего исторического наследия русского народа, связывающего его с народами славянскими, может служить аргументом в пользу искоренения культуры вообще?

По окончании молебна доступ к мощам преподобного Сергия был открыт, и к раке снова потянулась бесконечная вереница людей. Многие из верующих, прикладываясь, закрывали глаза, чтобы, как объясняли мне потом, «не оскорбить своими грешными взглядами наготу Преподобного». Подошел и я.

Все рассмотреть в деталях было уже некогда — торопили подступавшие сзади. Уже потом, работая в музее, перед самой войной и в первые ее месяцы, когда мы готовили к эвакуации наиболее ценные экспонаты, я мог внимательно рассмотреть мощи Преподобного, но это мало что дало по сравнению с первым, самым ярким впечатлением. Тогда все покровы были убраны, к стенкам раки отодвинуты ветхие, частично истлевшие ткани, похожие на грубую мешковину — одеяние или саван, в котором Преподобный был некогда предан земле... Множество свечей заливали раку ослепительным светом. Среди ветхих обрывков последнего одеяния Сергия лежали серовато-коричневые кости и отчетливо выделялся прекрасно сохранившийся череп почти шоколадного цвета, окруженный пучками рыжеватых, уже тронутых сединой волос. Испытывая невыразимое волнение, я приложился к черепу Преподобного и ощутил слабое, но отчетливо проступавшее благоухание розового масла, которое, по-видимому, перешло на кости с обвивавших их покровов.

И вот что мне невольно подумалось.

В Москве, в Музее изящных искусств (ныне Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина), мне довелось видеть мумии фараонов и древних египтян. Они

произвели на меня тягостное впечатление, как всякие бренные останки человеческого естества. «Вот они, — думалось мне, — когда-то владыки, земные боги. Как много значили они при своей жизни и как жалки, как беспомощны сейчас, выставленные на всеобщее обозрение... Кому какое дело до них? Их тела искусственно сохранены и дошли до нас через тысячелетия. Но какие чувства, кроме брезгливого любопытства, могут они вызвать во мне и в моих современниках? Мне было бы крайне неприятно, если бы пришлось прикоснуться к такому праху, персти земной. И уже совершенно немыслимым и сумасшедшим показалось бы предложение поцеловать мумию... А вот видя мощи Преподобного, я нисколько не думал о его эпохе, о древности этих останков, а только чувствовал их невыразимую святость, которая делала их близкими и родными, много роднее тел даже самых дорогих покойников, которые всего только прах. Для меня же прикосновение к черепу преподобного Сергия было как бы прикосновением к нему самому, который продолжал жить во мне и во всех нас, прибегающих к его помощи и защите. Ибо останки Преподобного были сохранены для нас не искусством людей, а неизмеримой милостию Божией!..»

Тотчас по окончании процедуры вскрытия рядом с ракой в «почетном карауле» был поставлен красноармеец с винтовкой. Вероятно, власти боялись, что монахи Лавры или даже простые верующие захотят похитить мощи, распустив молву о «чуде» Преподобного.

Вряд ли кто-нибудь пошел бы на это! Верующие и богомольцы сразу заставили часового снять буденовку и стоять с непокрытой головой. Таким образом, первый регулярный военный караул у святых останков был поставлен не у Мавзолея на Красной площади в Москве, а в Троицком соборе Лавры, рядом с мощами преподобного Сергия Радонежского, первого общерусского святого, столько потрудившегося при своей жизни для блага России.

Часовым пришлось немало выслушать резких и прямо бранных слов от богомольцев, так что красноармейцы, как мне рассказывали, старались всячески уклониться от этого почетного назначения. Вконце концов на дежурство в собор командование стало посылать одних только проштрафившихся, как бы на «исправление к Сергию». Когда был ликвидирован этот пост — не знаю, скорее всего, в 1924 году, чтобы не вызвать нежелательных

аналогий и толкований. Во всяком случае, в 1921 году, когда, работая преподавателем Сергиевской средней школы им. А.М.Горького, я проводил по Лавре экскурсию для учеников 9-го класса, в числе которых был сын покойного профессора Академии Павел Голубцов (ныне новгородский архиепископ Сергий), часовой с винтовкой все еще охранял мощи Преподобного...

Очень скоро по распоряжению гражданских властей над мощами была положена крышка из толстого зеркального стекла, скрепленная с ракой сургучными печатями Наркомюста. Во время Отечественной войны мощи с ракой и с другими художественными ценностями Лавры были эвакуированы в Сибирь, потом возвращены назад, но сургучные печати были сняты только при передаче национальной святыни патриархии.

***

Вскрытие и освидетельствование мощей преподобного Сергия, как и следовало ожидать, оказалось лишь первым ударом по Лавре.

Я не касался в своих воспоминаниях отношений между Лаврой и Академией — а они были далеко не простые и не всегда радостные. По мере секуляризации Академии между нею и лаврским монашеством вырастала все более высокая стена непонимания и неприязни.

Удаление с поста ректора епископа Феодора, резкое падение в самой Академии и в обновленном Синоде влияния монашества, переход «Богословского вестника» в руки Тареева — все это не могло вызвать симпатий лаврских монахов и их начальства. Как мне рассказывали, начиная с перевода Академии в стены Лавры, она ощущала себя в ней как «инородное тело». Вот почему разгром Академии и ее выселение были восприняты большинством монашествующих если не с радостью, то с равнодушием. Больше того, когда летом 1919 года академический храм вынужден был перейти со своими прихожанами из надвратной Иоанно-Предтеченской церкви за пределы Лавры, в Пятницкую церковь, некоторые монахи Лавры, как мне с горечью повествовал Вассиан, прямо радовались, говоря, что «этим еретикам» давно пора убраться из святого места... Но недолго пришлось злорадствовать таким людям «от ветра глав своих».

3 ноября 1919 года, ночью, лаврских монахов неожиданно выселили в Гефсиманский скит, в трех километрах от города. Все храмы и кельи в Лавре были опечатаны, а в саму Лавру никого не пускали до 11 ноября. Накануне,

на заседании президиума Сергиевского исполкома задним числом было сформулировано следующее решение, «объясняющее» этот акт: *«Ввиду необходимости в размещении учреждений Совдепа и Военного Ведомства, Лавру, как монастырь, ликвидировать, общежитие монахов закрыть, выселив последних в Черниговский монастырь и Гефсиманский скит».* 15 ноября постановление было утверждено пленарным заседанием Сергиевского Совета, позднее — Московским губисполкомом.

21 ноября 1919 года Троицкий собор, видимо, по прошениям верующих, все-таки был открыт для богослужения, а 8 мая 1920 года — вновь опечатан. Последний раз он был открыт с 1 часа дня 29 мая 1920 года до 6 часов вечера 31 мая 1920 года. В нем совершили богослужение бывший наместник Лавры отец Кронид с монахами и Вассиан с академической братией и приходом. 31 мая 1920 года последний раз звонили лаврские колокола. Лавра замерла, затихла почти на четверть века. Только колокол «Лебедь» меланхолически выбивал часы, да звенели маленькие колокольчики, выбивая четверти часа...

После закрытия Лавры часть монахов осталась жить в Гефсиманском скиту, где к тому времени его настоятелем, иеромонахом Порфирием, была устроена монашеская трудовая коммуна, зарегистрированная местной властью. Другие, в том числе и архимандрит Кронид, поселились в Сергиеве на частных квартирах. Они остались теперь без своего храма, поскольку гражданская власть предоставляла церкви исключительно прихожанам в лице их церковно-приходских советов. И вот бывшим хозяевам Лавры, столь не любившим «академиков», пришлось идти в нашу маленькую Пятницкую церковь и просить приютить их в часы богослужений. Их приняли сердечно, по-братски, и лишь тогда закончилась более чем вековая вражда между Лаврой и Академией.

Глава шестая

Патриарх Тихон. Антонин Грановский. Вассиан Пятницкий.

Выселение монахов из Лавры и приход отца наместника с частью братии в наш академический храм, переселившийся в Пятницкую церковь, напомнили мне о кратких, но запавших в память встречах с его святейшеством всероссийским патриархом Тихоном, так много сделавшим в те годы для русской Церкви. Он отстаивал

ее автономность, ее значение в русской религиозной и общественной жизни, выступая против различных церковных расколов, которые стали тогда плодиться и множиться.

Впервые патриарха Тихона я увидел, когда он был настоятелем нашей Лавры, то есть еще до избрания 21 июня 1917 года на московскую митрополию; затем я присутствовал на традиционном торжественном богослужении 1 октября 1917 года в академическом храме, когда он служил литургию с двумя другими святителями; был и при торжественном избрании его почетным членом нашей Академии, а потом видел его всякий раз, когда он посещал Лавру и Академию.

Лично святейшему я был представлен в начале 1918 года как товарищ (то есть заместитель) председателя приходского совета академического храма. Святейший запомнил меня, поскольку среди представлявшихся лиц я один выделялся академическим мундиром с посеребренными пуговицами, на которых сияли двуглавые орлы. Напомню, что это случилось почти год спустя после свержения самодержавия, когда ко всем его эмблемам относились более чем отрицательно. Именно поэтому Тихон меня спросил:

— А вы не боитесь носить свои светлые пуговки?

Я отвечал, что на улице они у меня прикрыты пальто, а к нему я не считаю возможным явиться иначе как в академическом мундире, напоминающем о моей принадлежности к Академии.

Ответ мой, как видно, ему понравился, поэтому всякий раз, как патриарх видел меня — в патриархии ли, куда я приезжал по делам нашего храма, в Троицком ли соборе, когда вместе с другими богомольцами подходил под его благословение, — он всегда меня узнавал, даже если я был в штатском костюме, и тихонько с улыбкой произносил:

— А, светлые пуговки...

Такое отношение ко мне патриарха предопределило мой визит к нему, предпринятый по просьбе настоятелей нашей приходской церкви, архимандритов Варфоломея и его друга Вассиана. Я сблизился с ними на протяжении 1918 года, когда нас связали дела академического храма, который стал вначале приходским, а затем испытал мытарства переселения, пока окончательно не водворился в помещении Пятницкой церкви возле лаврских стен.

Монахи были много старше меня. Один — профессор, другой — профессорский стипендиат. Конечно, это была не та дружба, что с Феодосием и другими студентами, но от них, особенно от отца Вассиана, я мог многому научиться. Оба они советовали мне принять монашество, и вначале я даже колебался, но затем, обдумав все серьезно, понял, что в таких условиях и в такое время подобный шаг для меня невозможен. На руках у меня была старушка-мать, лишившаяся прежней пенсии и еле передвигавшаяся из-за больной ноги. Я был ее единственной опорой в жизни, и надо было думать, как зарабатывать средства к существованию. Став монахом, рано или поздно я окажусь в заключении или в ссылке. Жизнь складывалась так, что подобный конец становился неизбежным для большинства духовных лиц. А что тогда произойдет с моей мамой? Кто будет заботиться о ней и как она переживет подобный удар? Так что, хотя у меня и было достаточно сильное желание уйти от мира, я решил монашество не принимать.

Варфоломей был явно огорчен таким решением, но Вассиан, как более практичный человек, вполне согласился с моими соображениями и нашел, что до некоторой степени я поступаю так же, как отрок Варфоломей, ставший позднее преподобным Сергием, который отказался от намерения принять постриг при жизни своих родителей...

После выселения из Лавры оба монаха поселились на Вифанской улице в доме покойного профессора Академии П.С.Казанского, куда я к ним часто приходил. Кроме того, мы ежедневно виделись в храме.

Когда к нам в Пятницкую церковь пришли служить вместе с отцом наместником лаврские монахи, Варфоломей и Вассиан забеспокоились. Они говорили, что на нашу церковь сергиевские власти могут посмотреть как на новую «малую Лавру» под боком у старой. А это, в свою очередь, приведет к тому, что церковь закроют. Чтобы предотвратить это, Варфоломей и Вассиан решили устраниться от настоятельства и просить у патриарха поставить вместо них Е.А.Воронцова, который к тому времени целиком обратился к религиозному служению.

— Он — не монах, он — белый священник, поэтому у советской власти не будет оснований для придирок. А мы, как и лаврские монахи, станем только прихожанами и гостями на службах...

Предложение было разумным, и я согласился. Они помогли составить мне от имени приходского совета прошение на имя патриарха Тихона. Мне следовало передать эту бумагу лично патриарху, не обращаясь в епархиальное управление, как то полагалось делать, поскольку там могли решение затянуть, а тем временем храм будет закрыт. И это станет уже катастрофой.

Я поехал в Москву.

Святейший и на этот раз принял меня милостиво. Прочитав наше прошение, он задумчиво проговорил:

— Да ведь вам следовало бы обратиться к митрополиту Евсевию. Приходские храмы — в его ведении...

По наставлению Вассиана, я ответствовал, что, хотя академический храм в силу обстоятельств изгнан из своего помещения и даже существование самой Академии находится под вопросом, все мы, сплотившиеся вокруг храма, представляемого нашей храмовой иконой Покрова Божией Матери, считаем себя, как и прежде, в лоне Академии, а потому и находимся в ведении самого святейшего.

Тихон благодушно улыбнулся и сказал:

— Ну что с вами поделаешь! Будь по-вашему...

И вот «в голубом кабинете фиолетовыми чернилами» — было тогда такое выражение в патриархии — на нашем прошении патриарх начертал благословение назначить настоятелем академического храма профессора протоиерея Е.А.Воронцова. А при этом заметил:

— Вот вы просите отца Евгения в настоятели. Но теперь ваш храм приходской, настоятель должен будет крестить и венчать, а отец Евгений вряд ли умеет это делать. Он все время сидит за книгами, так что и литургию, говорят, совсем недавно научился совершать. Как же вы будете устраиваться?

Я ответил, что после закрытия Лавры многие монахи приходят к нам в храм, служат в нем, они помогут отцу Евгению совершать требы.

— Так, так, — задумчиво произнес святейший и неожиданно улыбнулся, как будто вспомнил что-то забавное.— Ох, уж эти мне монахи! Они не только венчать — сами венчаться готовы!

Своим долгом я почел заступиться за монахов:

— Ваше святейшество! Конечно, и среди хорошего стада могут быть плохие овцы. Но считаю своим долгом сказать относительно лаврской братии, что, за исключением одного-двух недостойных, все они со смирением

переносят выпавшие на их долю испытания и под заботливым руководством отца наместника сохраняют свой прежний иноческий дух и образ жизни. Не случайно они пользуются глубоким уважением всех верующих Сергиева Посада и окрестностей!

— Дай Бог, чтобы это было так, дай Бог! Мне отрадно это слышать...

Святейший стал приподниматься с кресла в знак, что аудиенция окончена. Я поспешил встать. Благословляя меня, на прощание патриарх сказал:

— Вы загляните все-таки в епархиальное управление, там зарегистрируют ваше прошение и мою резолюцию...

Благодаря и откланиваясь, я отступал к двери и вышел в ожидальню. Секретарь патриарха, архимандрит Неофит, указал мне, как пройти в епархиальное управление. Там чрезвычайно удивились, увидев резолюцию патриарха, но, ни слова не сказав, в какие-нибудь пятнадцать минут все оформили, и я мог возвращаться домой. И вот тут начинается для меня самое интересное и загадочное.

Поезда в то время очень запаздывали, так что вернулся я поздно вечером и лишь на следующее утро отправился на квартиру Варфоломея и Вассиана, чтобы рассказать о результатах своей поездки. Они расспросили меня обо всем, посмеялись над замечанием святейшего относительно отца Евгения и лаврских монахов, а потом попросили зайти к Е.А.Воронцову и пригласить его для введения в курс дела.

Я вышел. Сначала мне встретился отец наместник, который жил в доме Сычевой по Штатно-Набережной улице, потом архимандрит Ионафан. Отец наместник первым поздоровался со мной. Меня это крайне удивило, но я не решился спросить его о причине такого ко мне внимания. Отец Ионафан, как человек более импульсивный, тоже поздоровался первым, но этим не ограничился и тут же произнес с большим чувством:

— Спасибо, большое спасибо вам!

Уже совершенно сбитый с толку, я поинтересовался, за что он меня благодарит: ведь я ничего для него не сделал. Ионафан тотчас же пояснил:

— Спасибо за то, что вступились за нас! Ведь теперь многие люди готовы в нас камни кидать. Есть и такие, что нашептывают о нас в патриархии всякие гнусные вещи. А вот вы не побоялись заступиться за нас перед самим святейшим!

Мне было неудобно спросить, как и от кого они узнали о вчерашнем разговоре. В кабинете патриарха, кроме нас двоих, никого не было. В патриархии же я никому не передавал содержания своих разговоров с патриархом, на все расспросы отвечая приблизительно следующее: «Святейший изволил выслушать меня очень милостиво и дал свое согласие на те прошения, которые я подавал ему от академического прихода». За такую сдержанность меня там недолюбливали и, как мне однажды передали, досадовали:

— Никогда не поговорит подробно! Скажет в общих словах — и был таков...

Неужели у стен патриаршего кабинета были уши?

Так бывший профессор Академии Е.А.Воронцов стал настоятелем академического храма в Пятницкой церкви. Конечно, всем по-прежнему руководили Варфоломей и Вассиан, подсказывая отцу Евгению, что, как и когда надо делать, поскольку в житейских делах ученый гебраист был совершенно беспомощен...

***

Не могу умолчать о другой своей поездке в патриархию, когда ее помещение уже было захвачено обновленцами, или, как их тогда именовали в просторечии, «живцами».

Наступила пора внутрицерковных колебаний и сомнений. Высшее церковное управление обновленцев (ВЦУ) во главе с митрополитом Антонином (Грановским) пыталось подчинить себе целые епархии и отдельные церкви. В силу обстоятельств ВЦУ признали даже многие видные епископы. Только отдельные церковные иерархии, как тогдашний епископ ямбургский Алексий (ныне благополучно здравствующий Святейший патриарх всея Руси), отказались подчиниться самопоставленной власти.

Наши академические монахи тоже волновались и недоумевали, как быть, поскольку массы верующих решительно не хотели признавать обновленцев. Поэтому Варфоломей и Вассиан снова попросили меня съездить в Москву, побывать в ВЦУ, по возможности повидаться с митрополитом Антонином и поговорить с ним, чтобы выяснить положение и своими глазами увидеть обстановку.

— Нам ехать нельзя, — объяснили они. — Поехать нам туда — значит признать ВЦУ, а это будет для нас погибелью. Вы же можете поехать как частное лицо. Не

упоминайте, что связаны с академической церковью, скажите, что беспокоитесь о судьбе Академии, желая ее окончить. «Живцы» не раз говорили, что они снова ее откроют, — вот вы и приехали узнать что-либо определенное! А сами наблюдайте все до мелочей, что делается вокруг них, какие люди там, кто бывает на приеме...

Конечно, в такой позиции оставалось больше лукавства, чем правды. Летом 1919 года мы еще могли тешить себя иллюзиями, что Академия возродится если не в Лавре, то в одном из московских монастырей, например в Даниловском, у епископа Феодора, как часто говорил тогда Глаголев, постоянно бывавший в Москве и встречавшийся с академическими профессорами. Не знаю, насколько верили в это остальные. Воронцов прямо говорил, что разочаровался во всем, чем с таким увлечением занимался раньше, а Вассиан и Варфоломей, как мне казалось, очень быстро отошли от научной работы, от самой Академии, целиком сосредоточившись на своей будущей (и настоящей) церковной деятельности. Скоро тщетность своих надежд понял и я.

1-го — по «новому» стилю 14-го — октября 1919 года, в день Покрова пресвятой Богородицы, когда совершалась торжественная литургия в нашем академическом храме, я, как обычно, пришел в Пятницкую церковь. Церковь была переполнена, я пошел в алтарь и там увидел московского митрополита Серафима (Чичагова). Мы с ним встречались в доме Каптеревых, а потому считались достаточно знакомыми. Тогда-то я и сообразил, что если профессор архимандрит Варфоломей в день Покрова служит в Пятницкой церкви, и московский митрополит Серафим именно здесь, в Сергиеве, на развалинах Академии, отмечает ее «праздничный день», то ни о каком возрождении alma mater не может быть и речи.

Действительно, когда во время причастного стиха я заговорил с митрополитом об Академии, он весьма пессимистически отозвался о ее дальнейшей судьбе, как, впрочем, и обо всем положении Церкви. Серафим резко критиковал патриарха Тихона за мягкотелость и недостаточную смелость в действиях, выражал сожаление, что тот идет на компромиссы, ослабляя церковную организацию, хотя, по моему мнению, разраставшийся к тому времени конфликт между Советами и Церковью уже обострился до чрезвычайности.

Позднее, когда я пересказал содержание нашей беседы Варфоломею, тот согласился со мной, что митрополит Серафим ошибается. Если поступать по его рецеп-

там, можно натворить таких бед, от которых не скоро избавишься, ибо «нельзя действовать теми методами, которыми пользовался митрополит в бытность свою начальником в Суздале...»

И все же Академия боролась за свое существование, пусть даже призрачное, собираясь то в одном, то в другом московском монастыре. Вряд ли на протяжении 1919/20 «учебного года» читались какие-либо лекции, поскольку многие профессора разъехались по родным местам, другие жили в Сергиеве и крайне редко выбирались в Москву, а подавляющее большинство пыталось устроиться на советскую службу, чтобы не умереть с голоду. Я слышал, что студенты старших курсов как-то «на ходу» сдавали свои экзамены и писали сочинения, чтобы получить степень кандидата богословия, но все это было случайным и непрочным. Академия давно уже превратилась в бедствующий остров среди моря житейского, и волны этого моря, подтачивавшие и раньше его основание, наконец поглотили остров целиком.

Что же касается «обновленческого» движения среди духовенства, то оно было резко враждебно Лавре, монашеству и монастырям, вносило раздоры в жизнь Церкви и вряд ли могло способствовать возрождению высшей духовной школы.

И вот, с одной стороны, не теша себя никакими надеждами, а с другой — как бы цепляясь за иллюзию, я отправился в Москву.

В патриархии меня сразу поразили перемены. Уже не было в вестибюле величественного швейцара, который предлагал раздеться, а затем расписаться в книге посетителей, где нужно было указать свое имя, отчество, фамилию и откуда прибыл. Приходили и уходили, громко разговаривая, какие-то небрежно одетые люди, почти все штатские. Немногие священники держались среди них робко и растерянно, да и вид у них тоже был совсем непрезентабельный, тогда как раньше все являлись безукоризненно одетыми: святейший не терпел небрежности ни в чем. Впрочем, и сам я на этот раз явился не в академическом мундире, а, поскольку дело было летом, в легком белом костюме. Ковра на лестнице не было, везде лежал сор.

Наверху, в приемном зале, меня встретила такая же картина. Исчезли ковры, обитая шелком мебель давно не чищена, запылилась, кое-где порвалась; огромные

пальмы в кадках засохли, вокруг них в земле понатыканы папиросные окурки...

Да и посетители сидели совсем иные, чем прежде. Не было сановитых епископов и митрополитов в пышных рясах, с блистающими, усыпанными драгоценными камнями панагиями и академическими знаками; не было величавых игумений в платьях со шлейфами и с наперсными золотыми крестами; не было внушительных светских лиц в солидных сюртуках или в старых мундирах с орденами... Теперь здесь сидели и стояли те самые неряшливые личности, которых я заметил в вестибюле. Среди них — очень немного духовных лиц.

Ни на одном из них не было клобука, некоторые были даже без крестов. Только один старенький, седенький епископ с кротким, как бы подавленным выражением лица сидел, облокотившись на ручку кресла, в клобуке и с маленькой, очень скромной панагией на груди.

Вокруг шныряли — иначе не скажешь! — какие-то молодые люди в потертых пиджачках, а то даже и в косоворотках с расстегнутыми воротниками. Чувствовали они себя здесь, как дома.

За столом, где обычно находился секретарь патриарха архимандрит Неофит, спрашивая каждого: «Вы к Святейшему или к митрополиту?» — а потом указывая, за кем его очередь, теперь сидел какой-то развязный молодой человек, покуривая папиросу.

Я подошел к нему и спросил, принимает ли его высокопреосвященство митрополит Антонин.

— Нет. Он куда-то ушел...

— Скоро ли вернется?

— А черт его знает!

На моем лице, очевидно, отразилось неподдельное изумление таким ответом. Однако молодой человек принял его за выражение огорчения, смягчился и сказал:

— Да вы присядьте, подождите. Вот здесь... — Он показал на кресло неподалеку от себя и от двери, которая вела в знакомый мне кабинет патриарха. — Как он придет, вы тотчас и идите за ним в кабинет, а то эти... — он несколько небрежно кивнул головой в сторону ожидающих, — уже не первый раз здесь. Подождут!

Сев на указанное кресло, я стал осматриваться. Все производило угнетающее впечатление. Ждать пришлось недолго. Через некоторое время в зал вошел и быстро направился к патриаршему кабинету высокий человек в черном засаленном подряснике и с соломенной шляпой

в руке. На его груди как-то бесприютно болталась большая некрасивая панагия из финифти без каких-либо драгоценных камней.

— Вот и Антонин! — быстро сказал мне молодой человек.— Не зевайте!

Я последовал его совету и тотчас же за Антонином вошел в патриарший кабинет, думая про себя с опаской: а ну как он прикрикнет, что я лезу без спроса, и выгонит меня?! Но Антонин нисколько не удивился моему вторжению и ограничился вопросом:

— Вам что?

И сел, не предлагая сесть мне.

По-видимому, я уже заразился духом здешнего заведения, поэтому проговорив «Позвольте, я сяду...» — уселся напротив, не ожидая его разрешения. Он не обратил на это никакого внимания и сказал:

— Я вас слушаю.

Следуя совету монахов-наставников, я объяснил, по какому делу приехал. Говорил почтительно, именуя его «ваше высокопреосвященство». Он внимательно слушал меня. По-видимому, его заинтересовал вопрос о возрождении Академии, тем более Академии обновленческой, о чем он, возможно, думал и сам. Во всяком случае, он выразил безусловную радость, что я решил закончить начатое образование в духовной школе, сказал, что большинство профессоров старых академий сочувствуют ему и обещают свое содействие, назвав при этом фамилии Титлинова, Зарина, кого-то еще, но ни одного имени из нашей Академии названо при этом не было.

— Новая Академия будет лучше, чем была до последнего времени, — говорил он.— Богословская наука будет развиваться без монашеской опеки, она станет действительно свободной наукой...

Пока Антонин говорил, я незаметно осматривал кабинет. На нем лежала такая же печать неухоженности и заброшенности, как и на всей патриархии. Прошло, вероятно, с полчаса. Антонин, спохватившись и посмотрев на карманные часы, произнес:

— Меня ждут, мне надо идти. Если вы хотите, пойдемте вместе, договорим по дороге.

Мы вышли из кабинета. Его тотчас же остановил маленький старичок-епископ, которого я видел дремлющим в кресле.

— Ваше высокопреосвященство, — обратился он к Антонину, — я преосвященный... — тут он назвал свою епархию, но какую, я не расслышал, — и прибыл к вам за руководящими указаниями. Я жду возможности поговорить с вами уже второй день!..

Антонин небрежно отмахнулся:

— Вы же видите: мне некогда, я занят!

Он взял меня под руку, и мы вышли из зала. Я успел поймать растерянный взгляд епископа, разводившего руками. Мне было его жаль, и я почувствовал прямо-таки недоброжелательство по отношению к митрополиту, хотя он и принял меня крайне любезно. «Какой же это руководитель Церкви, когда он окружен Бог знает кем и ради разговора с неведомым молодым человеком не хочет принять своего младшего собрата, который прибыл к нему с несравненно более важными вопросами, чем я?!» — думалось мне.

Когда мы вышли на улицу, оказалось, что только что прошел дождь. Несколько мальчишек, лет пяти-шести, устраивали в канаве запруду. Двое из них подошли к Антонину, он благословил их. Остальные смотрели недружелюбно. Один из них внезапно крикнул:

— Антонин — дурак!

— Дурак! Дурак! — поддержали его остальные. Прохожие стали останавливаться. Какие-то женщины тоже стали выкрикивать угрозы и брань в адрес обновленческого иерарха. Я почувствовал приближение скандала, частого при появлении обновленческого духовенства среди публики, и поспешил откланяться.

Когда по возвращении в Сергиев я рассказал обо всем, что было и что я видел, Вассиан и Варфоломей были мне искренне благодарны.

— Мы видим теперь, что за люди претендуют стать руководителями Церкви. Нам с ними, конечно, не по пути. Спасибо вам, что вы согласились на эту неприятную поездку. Вас там никто не знает, и о вашем визите тотчас же позабудут. Нас же вы избавили от позора и унижения, которые там испытывают даже архиереи, как вы сами могли убедиться...

И здесь я должен, наконец, рассказать о Вассиане — в миру Владимире Васильевиче Пятницком, имя которого уже не раз всплывало на этих страницах.

***

Когда я познакомился с ним, Вассиану было уже сорок четыре года. Он родился в 1873 году, в 1902 окончил юридический факультет Московского университета и в течение семи лет работал присяжным поверенным в Москве. Что с ним произошло — я никогда не спрашивал, но знаю, что он был женат, потом разошелся с женой, оставил службу, и в 1909 году поступил послушником в Параклит, неподалеку от Сергиева Посада, в 1910 году перешел в Троице-Сергиеву лавру, в 1913 году рукоположен был в иеродиаконы и поступил в Академию. Закончил ее профессорским стипендиатом, весной 1920 года был возведен в сан архимандрита и вскоре после этого рукоположен в епископы.

Человек среднего роста, полный или, вернее, плотный, он не отличался красотой, но выражение его лица было приятным и располагающим. Кроме того, он обладал незаурядным умом. Вассиан отличался удивительно ясным и четким мышлением. Изучение юриспруденции, в особенности римского права, да и последующая адвокатура приучили его к рационалистической ясности и четкости мысли, столь характерной для составителей римских законов.

Он был чужд восточной мистики, не любил никакой туманности и недоговоренности, суждения его по любым вопросам были дельны и логичны. Вероятно, поэтому в Академии он избрал своей областью филологию и работал под руководством столь же четко и рационально мыслившего профессора Е.А.Воронцова. Однако, в отличие от своего учителя, увлеченного восточной экзотикой, Вассиан никогда не использовал в своей речи и в работах поэтики Востока, а в анализе Библии и Талмуда неизменно оставался на сугубо рационалистических позициях, стараясь проникнуть в суть мысли древнего автора, отделить факт от украшающего его иносказания или поэтических покровов. Этот подход распространялся у него и на историю с археологией, в которых он видел и находил факты, позволявшие создать незыблемый базис дальнейшего исследования.

Вот эти ясности и логика, четкость построений и предельная обнаженность самой мысли делали его проповеди понятными всем слушающим. Быть может, самым удивительным для меня вначале был факт одновременного существования в Вассиане рационализма мысли и глубокой убежденности в вопросах веры. Сейчас

я думаю, что, подобно Канту, и в жизни, и в мышлении Вассиан умел разграничить области веры и позитивного знания: в первой он был тверд и послушен, в другой — последовательно критичен и аналитичен.

Другими словами, он являл совсем не редкий в то время тип подлинного ученого, чья искренняя и глубокая вера нисколько не мешает глубоко продуктивной научной деятельности.

Сам я в то время был увлечен мистикой, которая казалась мне единственным ключом к познанию мира и человеческой души, тогда как рационализм отталкивал своей сухостью и бездуховностью. Вот почему я тянулся к Флоренскому, на мой взгляд, пытавшемуся синтезировать оба эти направления, отдавая главенствующую роль мистике, и чувствовал инстинктивную неприязнь к его «антиподу» Тарееву, несмотря на обширную эрудицию последнего. Впрочем, здесь, может быть, на меня отталкивающее действие производил не только один рационализм Тареева. Неприятно воздействовало на меня его олимпийское величие, его неприкрытая самовлюбленность и самоуверенность, соседствующие с мелочностью и раздражительностью, когда он забывал о чувстве меры и нарушал все правила приличия в споре с реальным или воображаемым оппонентом.

У Вассиана ничего подобного не было. Человек с огромной выдержкой, он умел выслушивать спокойно, даже участливо, совершенно противоположные его взглядам мысли и столь же объективно обсуждать их, не давая места никакому личному чувству. Огромным достоинством Вассиана была его простота и доступность каждому. Он не изрекал, как Тареев, смотревший свысока на окружающих, а охотно делился накопленным знанием и жизненным опытом, отнюдь не навязывая их слушателям, но привлекая их внимание и заставляя задуматься.

Мне приходилось часто с ним встречаться во время моей учебы в Академии и потом, когда и Академия, и Лавра были уже закрыты: в его келье, на частной квартире в Сергиеве, в доме одной из ревностных прихожанок* академического храма. С ним было всегда интересно говорить еще и потому, что Вассиан никогда не повторялся и в разных ситуациях позволял себе высказывать иногда весьма свободные мысли. Это не было бравадой или выражением пошатнувшейся веры, как то мне по-

* Надежды Александровны Матвеевой.— *А.Н.*

началу казалось. Однажды, будучи в доме наших общих друзей, Вассиан высказал свое мнение по какому-то богословскому вопросу, далекое от общепринятого. Хозяйка, дама образованная, напомнила, что совсем недавно он затронул ту же тему в своей проповеди, причем говорил несколько иначе.

Вассиан охотно откликнулся и сказал, обращаясь к хозяйке:

— В церкви я говорил для народа, зная, что среди богомольцев много не только малообразованных, но даже просто неграмотных людей. Им нельзя говорить о разных мнениях по одному богословскому вопросу, потому что они не смогут в этом разобраться, а смута в словах внесет смуту в их мысли и в их веру. Им следует нести церковное учение в наиболее доходчивых словах и понятиях, чтобы не ввести в соблазн сомнения. Вам же, женщине с высшим образованием, много читающей по вопросам религии, я могу сказать гораздо больше, зная, что вы поймете меня...

И, повернувшись ко мне, добавил:

— А вот вам, как студенту Академии, я могу сказать по этому вопросу гораздо больше и смелее, потому что вы сумеете понять, где частное богословское мнение следует отделить от действительного учения Церкви. Флоренского часто обвиняют, что он ссылается в своих работах на принципы эзотеризма и экзотеризма, то есть знания тайного, открываемого лишь посвященным, и знания общедоступного, понятного и профанам. Многие полагают, что все это он позаимствовал у теософов и антропософов[74]. На самом же деле это всего только обычный педагогический прием. Ведь в жизни мы одним языком говорим с подростком, другим — со взрослым человеком, но не имеющим специальных знаний, третьим — со своим собратом, понимающим нас с полуслова... А истина одна! Но для того чтобы человек смог ее постичь, всякий раз мы приноравливаемся к его знаниям, опыту, способности понимать то, что стоит за словами...

Этот маленький пример помог мне раскрыть секрет замечательного ораторского дарования Вассиана. Он умел и любил говорить, причем речи его и проповеди были поразительны и по содержанию, и по мастерству изложения мысли, и по тому виртуозному владению ораторскими приемами, которое он выработал в себе, вероятно, выступая в качестве адвоката в судебных заседаниях. Очень характерно, что длинных речей и проповедей он не любил и говорил по этому поводу:

— Зачем утомлять внимание длиннотами, ненужными, часто отвлекающими ум слушателей от основной темы, расхолаживать их и тем самым не выполнять поставленной цели — воздействовать на людей, зажигать их сердца?! Здесь нужны не красоты стиля, не ученые цитаты, как на лекциях; здесь надо обращаться к сердцу человека...

И не раз я видел, как на проповедях Вассиана в храме люди плакали, а потом выходили с просветлевшими лицами, пережив подлинный катарсис.

В своей жизни я знал только двух великих проповедников — Вассиана и Илариона. Мне представляется, что сила и страстность обоих были равны, так что спор, кто лучше — по существу своему бесполезен. Как правило, речи и проповеди обоих были блестящими импровизациями, хотя иногда, в особенно важные и ответственные моменты, Вассиан готовился, составляя краткий план своего будущего выступления, но потом уже никогда в него не заглядывал.

Некоторые публичные проповеди и лекции Илариона были напечатаны. К сожалению, сказанное Вассианом никто не записывал, да и не то было время...[75]

Любил Вассиан и просто рассказывать. Читал он всегда очень много, немало повидал сам и с удовольствием повествовал о случаях из жизни духовенства конца прошлого и начала нынешнего века. Он говорил не столь величественно, как Серебрянский, но зато без иронии, а тем более сарказма, столь характерных для Глаголева и Рождественского. Зато в его рассказах присутствовал мягкий диккенсовский юмор, тонко окрашивающий фигуры действующих лиц и подчеркивающий комизм ситуаций. Это в полной мере отразилось и на замечательном памятнике академического «самиздата» — «Челобитной на черного дьякона Трифона», написанной им в стиле кляузных грамот XVII века и помещенной в брошюре «Academiae Historia Arcana», выпущенной ничтожным тиражом к юбилею Академии, о чем я уже как-то упомянул.

История возникновения «челобитной» следующая.

Среди студентов Академии был некий иеродиакон Трифон (Мохор), прибывший из Италии. Он любил рассказывать о своей жизни в Ватикане, критиковал католичество, но потом начал весьма критически отзываться и о русском православии. Академические монахи часто с ним спорили. Самого Трифона при мне в Академии уже не было, о судьбе его я ничего не знаю, но мои друзья

о нем неоднократно вспоминали. Вассиан надумал изобразить споры с Трифоном в «челобитной», которую он и его друзья как бы адресуют «Покровския обители владыке», то есть епископу Феодору. В ней монахи говорят, что Трифон вначале был ими принят и, пока ругал «папежников», его речи были им «любы». Теперь же, когда он взялся критиковать православные порядки, спорить им с Трифоном «не мочно»: Трифон им *«книги и хартии показует»*, а им эти премудрости не прочесть, ибо писаны те еллинскими, латинскими и фряжскими письменами, коих они не разумеют. Трифон же торжествует, сказывая, что они *«от невежества своего блазнятся»*.

Когда же Трифона стали они подробно расспрашивать, то *«он, Трифон, учал сказывать, что и Российская, де, Церковь не крепко стоит, отвержеся бо многих канонов и святых отец правил, и обдержима есть от власти мирския, внешния, и верх, де, взяли миряне, а бывало, де, что и владык ставили не владыки, а лукавые старцы, многою хитростию да лестию... А Николай дьякон, ревностию распаляяся, вопросил его, Трифона, на кого, де, он, Трифон, теми своими затейными словами указует. А Трифон сказывал: говорил, де, я про одново старца лукавого, от стран Сибирских, да про одново владыку в Иверской земле, да еще про одного владыку в Сибирской земле, что поставлены, де, те владыки не по правде, а через того лукавого старца...»*. Далее в «челобитной» рассказывается о допросе Трифона лаврскими властями и приводится его показание: *«А что, де, он, Трифон, про Российскую Церковь какие речи сказывал, и те речи говорит не он един, а многие добрые и книжные люди, и в тех своих речах шлется он, Трифон, на Павла попа, что в сиропитательном доме служит, да на черного попа Серапиона, из Житомирския обители, что писал о сих делах не мало и писанное тиснению предал... И месяца декемврия в той же 20-й день, сыскивали Покровския обители архимарит и Академии дидаскал Ларивон, да старец книгохранитель черной поп Игнатей тех — попа Павла, да черного попа Серапиона, а скаски их записати было не мочно. Павел поп от многия его учености речь ведет темную и неудобь вразумительную: глаголет бо аще и языком русским, обаче словеса его Павловы иноземныя. А Серапиону попу черному за многия его писания и вздорные и неучтивыя речи указано от монастырскаго приказу жити в дальних украинных городах...»* Далее указывается, что конец «челобитной» утерян.

Под лукавым старцем от *«стран Сибирских»* подразумевался небезызвестный Григорий Распутин, имя которого тогда не произносилось; *«владыка в Иверской земле»* — Питирим, экзарх Грузии, потом митрополит петербургский; *«владыка в Сибирской земле»* — Варнава, архиепископ тобольский; *«Павел поп»* — священник П.А.Флоренский, бывший настоятелем домовой церкви в Доме призрения престарелых сестер милосердия; *«черный поп Серапион»* — архимандрит Серапион (Машкин)[76].

Как я уже замечал, Вассиан редко, почти никогда не говорил о своей жизни в миру, но охотно вспоминал, что довелось ему увидеть, услышать и пережить в бытность в Лавре и в Академии. Мне запомнились два его рассказа, достаточно характерные для той среды, которые и привожу от его лица.

«Приехали как-то в Лавру, чтобы навестить меня, два присяжных поверенных, с которыми я вместе служил когда-то. Встретились радостно. О себе они рассказывали мало, говоря, что теперь меня это вряд ли может заинтересовать, зато расспрашивали о моем новом житье-бытье. Я показал им мою келью, рассказал о новых занятиях, потом угостил обедом, поскольку подошло время. Они расхвалили мой постный стол, пеняли только, что ради них я растратился на такое угощение, хотя денег у меня, по-видимому, теперь нет. И очень удивились, узнав, что этот обед мне ничего не стоил: я лишь попросил отца эконома в тот день отпустить мне по три порции всего, что подавалось на обед братии. От себя я прибавил только две бутылки виноградного вина.

— Так это обед монастырского начальства? — допытывались они.

— Нет, обычный обед, который подают всем монахам и послушникам, — разочаровал их я. — Я ел бы его в трапезной, но по случаю вашего приезда мне разрешено пообедать с вами в келье.

— Так у вас на все надо спрашивать разрешение?

— Конечно. Ведь я почти уже монах и живу по монастырскому уставу.

— Однако как сытно, а главное — вкусно у вас кормят! — восхищались они. — Даже не скажешь, что все блюда постные. Дома мы никогда так не едим!

— Так за чем же дело стало? — улыбнулся я. — Поступайте к нам в монастырь, и вы каждый день будете

есть так же вкусно. Ну, разве что за исключением особо строгих постов. Зато в праздничные дни еда гораздо вкуснее!

— Нет, нет! — замахали они руками. — Обед вкусный, а воля дороже!

Так мне и не удалось заманить их в монастырь нашей кухней», — заканчивал рассказ Вассиан.

А ведь в Лавре действительно очень вкусно и сытно кормили — и не только монахов, но и богомольцев, тысячи которых останавливались в лаврских гостиницах и стекались на общие трапезы...

Другой рассказ был значительно любопытнее.

Дело происходило в 1913 году, когда по случаю 300-летия дома Романовых Николай II посетил Лавру. Приготовления к приему царской семьи начались задолго до назначенного дня. В Царское Село был послан архимандрит Кронид, как наиболее ловкий и дипломатичный представитель, чтобы подробно разузнать о вкусах самого царя и членов царской семьи: торжественный обед собирались приготовить со всем тщанием, чтобы всем угодить. И действительно, Кронид разузнал все до мелочей, включая чай: Николай любил чай совершенно черный, и заварочный чайник наполнялся сухим чаем чуть ли не до самой крышки.

Накануне приезда из Москвы прибыли представители тайной полиции. Они обшарили весь монастырь, запечатали входы в тайники и подземные помещения, чтобы там, не дай Бог, не спрятался какой-нибудь злоумышленник. Монахи были недовольны и говорили:

— Да кто из нас будет злоумышлять против государя? Вы бы лучше среди собственной братии посмотрели: набираете невесть кого в свой «Союз русского народа», так что это от ваших проходимцев можно ждать чего угодно...

В день приезда доступ в Лавру для посторонних был закрыт. По специальным билетам проходили представители посадских властей и делегаты соседних городов. Царя в Святых воротах Лавры встретили приехавшие накануне московский митрополит Макарий и тогдашний наместник Лавры архимандрит Товий со всем духовенством и братией монастыря. Но торжественного, столь ожидаемого обеда не получилось. Прослушав краткий молебен и приложившись к мощам Преподобного, Николай зашел в Митрополичьи покои, там он и его свита наскоро закусили и тотчас же под торжественный звон

всех лаврских и посадских колоколов отправились в дальнейший путь к Ростову и Ярославлю.

С царем прибыли только его дочери и наследник Алексей, которого носил на руках его дядька-матрос, поскольку тот почти не мог ходить. Царица Александра Федоровна чувствовала себя не совсем хорошо и отдыхала на вокзале в специально убранных и обставленных монастырской мебелью и коврами помещениях. Последние два обстоятельства — болезнь наследника и отсутствие царицы — произвели самое неблагоприятное впечатление на встречавший народ и монахов. Шептались, что, де, царица — немка, потому, дескать, она и не захотела оказать почтения Преподобному, а о наследнике скорбели, говоря:

— Какой же у нас новый царь будет, коли его самого ножки не держат?

В свою очередь придворные, особенно молодые фрейлины, шушукались и посмеивались, кивая на огромный живот отца наместника...

Когда высокие гости покинули Лавру, а наместник и несколько важнейших лиц из духовенства отправились проводить их на вокзал, монашеская «аристократия» собралась в зале, где был накрыт так и не тронутый пиршественный стол.

«...Я, — продолжал Вассиан, — тоже был в их числе, так как меня и еще некоторых послушников с высшим образованием назначили подавать кушанья царю и прочим гостям. Вот один из архимандритов и говорит:

— Ну, слава Богу, все прошло благополучно, гости убрались восвояси, теперь и нам пора отдохнуть! А в награду за труды и хлопоты вкусить от царской трапезы. Садитесь-ка, отцы и братие!

Мы, конечно, не заставили себя ждать, расселись, и тот же архимандрит, налив свой бокал, поднял его с предложением:

— Чего же медлить? Выпьем за здоровье высокого гостя...

Сказал — и остолбенел, глядя на раскрывшуюся дверь.

В проеме двери возникла маленькая фигурка в белом клобуке с бриллиантовым крестом на нем. Это был сам митрополит Макарий. После торжественной встречи хилый старец утомился, приткнулся где-то на кресле и заснул. И царь, и все окружающие как-то о нем позабыли, когда собрались уезжать. Теперь, проснувшись, он вышел в зал, полагая, что Николай со свитой еще здесь.

Мы переполошились. Все вскочили.

— Ваше высокопреосвященство, не угодно ли будет что-нибудь выпить или скушать? — бросились к нему самые почтенные из братии.

Но стол ломился от самых тучных яств, а Макарий был постник.

— Мне бы рыбки...

Бросились искать — рыба одна другой жирнее: осетрина, белуга, стерлядь, семга... В результате митрополит поел немного какого-то салата, выпил полрюмки кагора и, узнав, что царь и свита уехали, выразил желание вернуться в Москву.

Тотчас же позвонили на станцию, чтобы приготовили поезд, и минут через пятнадцать, благословив нас всех, полудремлющий митрополит, сопровождаемый лаврским колокольным звоном, поехал на вокзал. К этому времени мы все успокоились, вернулись к столу, а тот архимандрит, который первый заметил Макария, громко произнес:

— Пойдите, поглядите хорошенько, не завалился ли еще где-нибудь этот ледащий, а то и поесть спокойно не дадут!..»

Митрополита Макария (Невского) не любили в Лавре, да и вообще в интеллигентских кругах. Темным пятном падало на него расположение Григория Распутина. Именно благодаря Распутину, после перевода московского митрополита Владимира на петроградскую кафедру, Макарий, чуть ли не единственный из тогдашних архиереев не имевший академического образования, был назначен на московскую митрополию. Сохранилась телеграмма, посланная Распутиным из Сибири Николаю II, в которой безграмотный автор, охаяв других кандидатов — архиепископа Антония (Храповицкого), Арсения (Стадницкого) и Сергия (Страгородского), — с настойчивостью указывал на Макария. Хитрый Распутин сумел обойти простодушного и чуждого политических тонкостей старца, разыграть перед ним благочестивого человека и добиться от него некоторого к себе сочувствия. Поэтому он и решил возвести его на московскую митрополию, чтобы иметь опору в Москве, и почти приказал царю: *«Дай ему метру!»**. Вот эта-то «темная сила», как говорилось тогда, и наложила свое пятно на имя Макария, который до того немало и хорошо потру-

* То есть «митру».— *А.Н.*

дился в Алтайской миссии и пользовался любовью и уважением тех людей, которые непосредственно встречались с ним и его знали.

«...Что же касается лаврских монахов и их отношения к Макарию, то причина неприязни коренилась в другом. Макарий действительно был ветх и слаб, то и дело засыпал, даже во время службы, но иногда бывал очень требователен и даже придирчив», — так закончил свой рассказ о царском поезде Вассиан.

Подобно всем остальным академическим монахам моего времени, Вассиан очень неодобрительно высказывался о русских царях, которые, забрав самодержавную власть, совсем не считались с Церковью, управляя ею столь же безапелляционно, как и другими институтами государства, культуры и общества. Однако в отличие от Илариона, не упускавшего, как я говорил, возможности помянуть «нечестивого царя Петра», Вассиан определенно полагал, что бесцеремонное вмешательство светской власти в церковные дела, а отсюда и весь развал культуры и образования в России, вместе с делами веры, началось гораздо раньше — даже не во время «буйства» Ивана IV, а во времена Ивана III, удалившего Зосиму с престола.

— Петр Первый только завершил, законодательно обосновав, беспрекословное подчинение Церкви государству в своем "Регламенте", — говорил в таких случаях Вассиан. — А начали все первые цари, научившись рабству в Орде, едва только сами вырвались из-под татарской сабли и петли...

Несмотря на свою общительность, Вассиан был одинок: кроме упомянутого мной семейства прихожан академического храма* и меня, он так ни с кем и не сошелся близко, за исключением разве Варфоломея (Ремова). Правда, когда после разгрома Лавры он вынужден был поселиться в городе на частной квартире, его часто посещала мать Клеопатра, бывшая игуменья одного закрытого уже монастыря, помогавшая ему в его хозяйстве. ВЛавре я ее никогда не видел. Но и теперь она принимала меня очень сдержанно, не считая нужным с кем-либо сближаться, и, насколько мне известно, никогда не бывала в доме, где Вассиана принимали с почетом и любовью. Как мне говорили, происходила мать Клеопатра из древнего рода Палицыных, потомков зна-

* Семья Матвеевых.— *А.Н.*

менитого келаря Авраамия Палицына, прославившего Лавру в эпоху Самозванчества своей мудрой политикой, патриотизмом и своими "Записками". Умная, строгая, выдержанная, обладавшая столь же ясным и рационалистическим умом, как и Вассиан, она была безусловно старше его и держалась с достоинством, с той «дистанцией», о которой в таких случаях говорят французы.

В последнее время перед закрытием Лавры Вассиан жил с Варфоломеем даже в смежных комнатах, но не упускал случая посмеяться над суетностью своего друга. Варфоломея должны были рукоположить в епископа сергиевского, что и произошло. Но в последние месяцы перед хиротонией Варфоломей очень волновался, хотя и старался этого не показывать. Причину волнения будущего епископа мне открыл Вассиан, сказав:

— Варфоломей знает, что его дело в принципе уже решено. Епископом он будет, но боится, чтобы я его не обогнал — как бы ему не пришлось у меня благословиться! Видите, какие пустяки могут отравлять жизнь совсем не глупого человека...

После хиротонии Варфоломей перебрался на жительство в Москву. Раза два я навещал его там, а когда он приезжал в Сергиев и служил в академическом храме, то был у него книгодержцем, как, впрочем, потом и у Вассиана, ставшего епископом Егорьевским. К этому промежутку времени относится курьезная история, которую мне со смехом поведал Вассиан.

— На днях к матушке Клеопатре приезжала знакомая монахиня из Москвы. Конечно, расспрашивая о московских новостях, ее не преминули спросить, как чувствует себя новопоставленный епископ Варфоломей и что о нем в Москве говорят. Старица ответствовала, что «здоровье у владыки Варфоломея пока, слава Богу, хорошее, но вот говорят-то о нем нехорошо!» — «Как нехорошо?» — «Да как же, матушка! По всей Москве говорят втихомолку, что скоро Варфоломеевская ночь будет! Уж чего хуже для монаха, когда о его ночных делах поминают!»

Вряд ли отец Варфоломей подозревал, сколько толков в умах московских простецов вызвало его имя в связи с ожидавшимися политическими событиями... Умер Варфоломей в 1936 году.

Я говорил уже, что Вассиан любил читать, читал много, но был совершенно равнодушен к поэзии. Прозаиков русских и иностранных он знал хорошо, однако среди поэтов даже Тютчев и Владимир Соловьев его не трогали. О Вячеславе Иванове он не имел никакого представления, наоборот, «Огненного ангела» В.Брюсова держал в своей библиотеке и говорил, что там хорошо показан конец средневековья, а кроме того, указана обильная библиография...

Собственная библиотека Вассиана насчитывала более трех тысяч томов. Книги были, что называется, отборные — по богословию, истории религии, по истории гражданской и церковной, всеобщей и русской, по церковной археологии и языкознанию. Он приобрел у Е.А.Воронцова почти все книги по гебраистике, а там были издания достаточно редкостные.

К сожалению, библиотека Вассиана, по-видимому, погибла. Когда его арестовали вскоре после хиротонии*, библиотеку, как мне рассказывали, передали в сергиевскую милицию. Там ее свалили в какой-то сарай, а потом, вероятно, сожгли, как хлам. Во всяком случае, в филиал библиотеки Румянцевского музея, то есть в нашу академическую библиотеку, она не поступала, я специально спрашивал об этом у К.М.Попова. Правда, именно последний факт подает надежду, что, может быть, библиотека все же была возвращена ее владельцу, когда Вассиана выпустили и он уехал в свою епархию. Но я его уже не видел. Слышал только, что потом он стал архиепископом, примыкал к одному из бывших тогда в церковном мире расколов и умер в 1949 году.

Глава седьмая

К.М.Попов и библиотека Академии. Пожар Лавры. Филиал Румянцевского музея. Делегации. Судьбы посадских библиотек. Забытые чаяния.

Последние страницы этих воспоминаний я хочу посвятить тому интеллектуальному средоточию Академии, на котором взрастали все мы, и профессора, и студенты, — ее библиотеке и ее верному хранителю Константину Михайловичу Попову. Благодаря его стараниям, а

* 6 августа 1920 года.— *А.Н.*

правильнее сказать — подвигу жизни, библиотека была сохранена, приумножена и передана в Библиотеку имени В.И.Ленина, правда, не на дальнейшее сохранение, а на гибель и разорение. Но это уже иной сюжет.

Константин Михайлович Попов не мыслил своей жизни без книг, которым служил истово, как служат вверенной для попечения святыне. Со слегка взъерошенными волосами, спутанной бородкой, невысокого роста, в очках и непременно с книгой в руках, из которой он или что-то прочитывает вслух, или, просмотрев, передает ее посетителю, указав нужное тому место, — таким он оставался на протяжении долгих лет нашего знакомства и отпечатался в моей памяти. Влюбленный в книгу, он стал живой энциклопедией самых разнообразных сведений в этой области, живым каталогом и в то же время летописью прошлых времен Академии. Многому он был свидетель сам, другое знал из книг, но чаще — из рассказов профессоров, и при желании мог повествовать часами, если не был занят и находил достойного и любознательного слушателя.

Его помощник, простоватый и застенчивый иеромонах Игнатий (Садковский), никогда не решался сам дать какие-либо ответственные справки, если в библиотеке был Попов, и на вопросы неизменно отвечал:

— Подождите немного, я позову сейчас Константина Михайловича...

Действительно, из-за стеллажей, откуда-то из глубины, точно гном, вскоре появлялся Попов с очередной книгой в руках, и тут начинались его указания, которые превращались нередко в увлекательный рассказ.

Попов относился к книгам с почтением, бережливостью и нежной любовью. Он не терпел, если кто-нибудь уронит книгу на пол или загнет в ней листок. Когда ему возвращали редкие или особо ценные книги, он со вниманием просматривал каждый лист и каждую иллюстрацию.

— Зато я не помню, чтобы за всю мою жизнь было бы что-то вырвано и попорчено в нашей библиотеке, — говорил он мне потом. — Книгу у нас любили и умели ее беречь...

У самого Попова особой любовью пользовались те, в ком он видел и чувствовал таких же почитателей книг, каким был он сам, например, отец Евгений Воронцов,

перечитавший почти все книги в библиотеке, за исключением легкой беллетристики и современных изданий.

В большом зале (теперь здесь помещается кинозал новой Академии) стояли два больших стола с ящиками, в которых находились карточные каталоги: один — для книг на русском и славянских языках, другой — для книг на латинице и на греческом. Каталоги книг арабских, еврейских и китайских были только в виде тетрадей и рукописные.

Считалось, что студенты должны быть знакомы с библиографией интересующего их вопроса, иметь у себя списки нужных книг, а по этому алфавитному каталогу только узнавать, имеется ли нужная книга в библиотеке. Если таковая отыскивалась, то на особой требовательной рапортичке, кроме автора, названия, места и года издания, следовало написать дробный библиотечный номер, числитель которого обозначал место книги по порядку в шкафу или на стеллаже, а знаменатель — номер шкафа или стеллажа. Система была удобной: и в числителе, и в знаменателе номера были не более трехзначных, хотя в библиотеке хранилось до полумиллиона томов.

Существовали и печатные каталоги, но они сильно отставали от ежегодного поступления изданий, так как денег у библиотеки было мало и шли они главным образом на приобретение книг и на их переплеты. Что же касается рукописных каталогов по отделам, то Попов их берег, давал только профессорам, а для студентов наводил справки сам.

Студент Академии имел право брать в библиотеке ежедневно четыре книги и не сдавать их до окончания учебного года. Если взятая им книга была нужна профессору или другому студенту, библиотекарь сообщал, у кого она находится, и тогда они или просили его сдать книгу, или об этом просила сама библиотека. Иногда студенты обменивались взятыми книгами: это облегчало работу библиотекарей, которых всегда было три. Но в конце года каждый студент обязан был сдать именно те книги, которые числились за ним по распискам.

В библиотеке имелось огромное количество энциклопедий, словарей, справочников, указателей, библиографических журналов и пособий. Русские энциклопедии были почти все. Из иностранных — Британская, словари Ларусса, Брокгауза, Мейера, старинные словари вроде Бейля, словари филологические, как, например, много-

томные словари средневековой латыни и простонародного греческого языка Дюканжа, многотомные словари французского языка Л.-Н.Бешерелля, знаменитая «Энциклопедия, или Объяснительный словарь наук, искусств и ремесел» Дидро и д'Аламбера и так далее. Выписывались почти все богословские журналы на английском, французском и немецком языках, а также философские, исторические и искусствоведческие. Русские журналы, практически, были представлены все: «Вестник Европы», «Русская мысль», «Мир Божий», «Русское богатство» и сменившие его «Русские записки», «Русский архив», «Русская старина», «Исторический вестник» и многие другие за все годы своего существования. Имелись полные комплекты «Современника» и «Отечественных записок». Чтобы перечислить их все, потребовалось бы несколько страниц. Из книг особенно богаты были отделы богословский, философский, исторический, филологический, историко-литературный, искусствоведческий, художественной литературы — древней и новой, русской и иностранной, на самых различных языках, в том числе тысячи две книг на китайском языке — дар какого-то питомца Академии, работавшего потом в Пекинской миссии. Правда, за все время Академии их, кажется, никто не читал...

Академическая библиотека считалась четвертой в России по своей ценности после Публичной в Петербурге, Румянцевского музея в Москве и библиотеки Академии наук в Петербурге. В ней имелись инкунабулы, многие книги XVI и XVII веков, а также много древних рукописей, в том числе такие уникальные, как «Космография» Козьмы Индикоплова.

Старинные книги на дом не выдавались, ими можно было пользоваться только в читальном зале при библиотеке.

Кроме этой фундаментальной, существовала еще библиотека студентов Академии, насчитывавшая свыше тридцати тысяч томов, среди которых тоже было немало редких и старинных книг, попавших туда в составе пожертвований. Так известный ученый библиограф Василий Александрович Андреев через архиепископа литовского Алексия (Лаврова), бывшего некогда профессором Академии, пожертвовал в студенческую библиотеку около двух с половиной тысяч книг, в том числе юбилейное ватиканское издание «Творений блаженного Августина» 1640 года в 18 томах in folio, словарь Дюканжа,

семидесятитомное собрание сочинений Вольтера на французском языке, изданное на средства Екатерины II, роскошное описание коронования Александра II (самая большая по размеру книга, изданная в России) и многое другое. После кончины И.С.Аксакова его вдова, Анна Федоровна, дочь Ф.И.Тютчева, великого нашего поэта, пожертвовала библиотеку братьев Аксаковых — Ивана Сергеевича и Константина Сергеевича, — в которой было много ценных изданий конца XVIII и первой половины XIX века[77]. Были здесь и сочинения Ф.М.Достоевского, пожертвованные его вдовой.

К слову сказать, отдел художественной литературы, русской и иностранной XX века, в студенческой библиотеке был много богаче, нежели в фундаментальной. Студенческая библиотека выписывала также все главнейшие русские газеты и почти все литературные журналы. На эту подписку каждый из нас ежегодно вносил три или пять рублей.

Вот этот книжный океан и был величайшим подспорьем в деле образования для человека, желавшего серьезно заниматься. Кроме того, студенты IV курса, работавшие над кандидатскими диссертациями, имели право выписывать из Румянцевского музея или из Публичной библиотеки те книги, которых не было в академической. Еще более широко пользовались этим профессора.

Когда в 1919 году Академия была закрыта и изгнана из своих помещений, на прежнем месте осталась только ее библиотека, которая стала филиалом Румянцевского музея, а потом — филиалом Библиотеки им. В.И.Ленина, куда тотчас же были увезены все рукописи, инкунабулы и вообще все редкие книги. Весной 1919 года разъезжавшиеся студенты передали в мое ведение студенческую библиотеку, которая размещалась в двух залах нижнего этажа здания академической библиотеки, так что в какой-то мере я стал коллегой К.М.Попова, что тоже очень содействовало нашему сближению.

Вбиблиотеке было много дел: следовало разобрать все сданные книги, проверить общее количество, расставить их... Я приходил в нее каждый день, разбирал, записывал, много читал и просто просматривал книги и журналы, но работа эта не давала никакого материального достатка. Между тем голод уже наступил, и надо было думать о хлебе насущном. Репетиторство теперь никому не требовалось, армия безработных росла, но

тут мне опять помогли книги и в какой-то мере К.М.Попов.

Еще раньше, приходя в академическую библиотеку, я познакомился с Георгием Федоровичем Гирсом — бывшим полковником и бывшим начальником Московского кадетского корпуса. После Октябрьского переворота корпус был закрыт, и Гирс некоторое время жил у своей матери в Сергиевом Посаде. Поскольку же он горячо интересовался вопросами философии и религии, то стал постоянным посетителем академической библиотеки. Естественно, разговаривая с ним о Л.Шестове, Н.А.Бердяеве, об истории России, древней и нынешней, я меньше всего мог думать, что Гирс на какое-то время окажется моим спасителем, когда его, как военспеца, пригласят возглавить Военно-педагогический институт, позднее преобразованный сначала в Академию Генштаба, а потом — в Академию РККА им. М.В.Фрунзе. Однако все так и произошло. В институте оказалась вакантной должность библиотекаря, и Гирс, зная мою любовь к книгам, подкрепленную к тому же рекомендацией Попова, предложил мне это место.

Служба в институте обеспечивала хороший военный паек, что в те времена было главным, поскольку деньги вообще ничего не стоили. Я проработал в Москве все лето и часть осени 1919 года, но меня тяготила необходимость целую неделю жить вдали от мамы и приезжать домой только на воскресенье, тем более, что движение поездов стало непредсказуемым: от Москвы до Сергиева, как переименовали Сергиев Посад, поезд мог идти 8-10 часов, а то и вообще приходил на следующий день. Но мне и тут посчастливилось.

Осенью 1919 года Сергиевский исполком принял решение преобразовать часть студенческой библиотеки Академии во 2-ю городскую общедоступную библиотеку, оставив ее в том же помещении, которое она занимала. Вполне естественно, на должность ее заведующего К.М.Попов рекомендовал меня: ему хотелось, чтобы рядом с ним работал «свой» человек... Зарплата здесь была много меньше, чем в институте, паек мизерный, но зато не надо было ездить в Москву, я был вместе с мамой и моими друзьями по Академии.

И, конечно же, вместе с «моими» книгами!

Новая городская библиотека считалась как бы в совместном владении Румянцевского музея и Сергиевского отдела народного образования, поэтому Попов оказы-

вался в некотором роде моим начальством. Первое, что от меня потребовали городские власти, — отделить все книги религиозного содержания и связанные с историей Церкви, сложить их в отдельные шкафы, запереть и никому не выдавать. Читатели могли брать книги исключительно светского содержания — никакого знакомства с богословием, философией и тому подобными предметами теперь не допускалось. Академическая библиотека функционировала на таких же условиях, но, в отличие от моей, была открыта не ежедневно, а лишь три раза в неделю на два-три часа и обслуживала исключительно научных работников и преподавателей средних школ города.

С этим периодом моей жизни связано одно из страшных событий в истории Лавры — пожар, который грозил полностью ее уничтожить, как бы довершив огнем то, что начали руки людей.

***

31 июля 1920 года, в канун памяти преподобного Серафима Саровского, днем загорелась небольшая лавочка возле Пятницкой башни, от которой начинался полукруг торговых рядов, спускавшихся с Красногорской площади вниз, на Торговую. Лето стояло в тот год сухое и жаркое, по всей Московской, Владимирской, Ярославской, Рязанской губерниям горели леса и болота, а в Сергиеве пожары случались почти ежедневно. О них оповещали набатным звоном колокола приходских церквей, что впоследствии тоже было запрещено властями — по какой причине, не знаю...

Когда раздался набат, я был в доме своих знакомых, прихожан нашего храма. Вскоре туда пришел знакомый монах и успокоил нас, сказав, что пожар пустяковый и его скоро потушат. Действительно, через некоторое время набат прекратился, но затем в него ударили сразу несколько церквей. Сын хозяйки вышел узнать, в чем дело, и вскоре вернулся перепуганный: горели Пятницкая башня и весь верх лаврской стены от башни к Святым воротам.

Тотчас же я побежал на площадь.

Над Пятницкой башней и над стеной поднимались огромные языки пламени и клубы черного дыма. Пересохшие за лето деревянные стропила, перегородки и полы переходов полыхали с чудовищной силой. Пожарные команды были бессильны справиться с огнем. С позолоченного купола Святых ворот уже капал расплав-

ленный металл, купол кренился, оплывал, затем рухнул, и пламя взметнулось еще сильнее. В толпе тревожно говорили, что если огонь доберется до академических зданий, то на воздух взлетит вся Лавра: в Электроакадемии хранились взрывчатые вещества...

Через Успенские ворота мне удалось пробиться внутрь. Там, возле академической библиотеки, я встретил бледного К.М.Попова.

— Константин Михайлович, что делать? Как спасать библиотеку? — обратился я к нему, думая не только об академической, но и о «своей» библиотеке. — Если пожар пойдет дальше по стенам, то огонь перекинется и к нам!

— Не знаю, не знаю... — растерянно ответил он мне. — Я закрыл глухие металлические ставни в центральной части библиотеки, где рукописный отдел и самые ценные книги. Может быть, так удастся их спасти. Об остальных залах даже подумать страшно! Ведь большинство окон глядит на стену, а их нечем закрыть. Теперь вся надежда на милость Господню...

И он истово, с верой перекрестился.

Вместе с другими сергиевскими жителями я встал качать воду. Через два часа пожар удалось остановить, а потом и потушить. Пламя уже не бушевало. Шел только густой дым, и тлели залитые водой стропила.

На следующий день пожар возобновился. На этот раз горели Красные торговые ряды перед Лаврой и чуть подальше — Белые торговые ряды, стоявшие на том месте, где теперь находятся Институт игрушки и кинотеатр «Мир». Они сильно обгорели. Пожар был страшен настолько, что приезжали пожарные команды из Мытищ и Александрова. Если бы не эта помощь, из-за сильного ветра могла выгореть вся северная часть Сергиева.

Долго еще после этого Красногорская площадь представляла собой жуткое зрелище: обугленные развалины торговых рядов, черная, без кровли Пятницкая башня, Святые ворота и стена между ними с провалившейся крышей и торчащими обломками обугленных стропил... Только через два-три года был произведен их ремонт, но окончательная реставрация Святых ворот была сделана уже после войны, когда Лавра была частично возвращена патриархии.

***

Ужас Попова перед пожаром и ощущение собственного бессилия были мне очень понятны. В качестве фи-

лиала Румянцевского музея бывшая академическая библиотека в стенах бывшей Лавры влачила жалкое существование. Суммы на ее содержание отпускались ничтожные, и работников в ней было только двое — сам К.М.Попов и его жена Ольга Николаевна, бывшая верной подругой мужу в тяготах жизни и неизменной помощницей в работе. Она ходила в старомодном темном жакете и в такой же шляпке с маленьким пером и крепом, который надела после смерти старшего сына. Я с ним учился в гимназии: скромный, тихий и болезненный мальчик был на год старше меня. Умер он, если я не ошибаюсь, в 1916 году. Они жили в собственном домике к западу от Лавры — на Ильинской (теперь — Пролетарской) улице. Хорошо известна была пунктуальность Попова, по выходу которого из дома, как в свое время в Кенигсберге по Канту, посадские обыватели проверяли часы.

Начиная с 1920 года, здание библиотеки уже не отапливалось, зимой в нем стоял страшный холод. Пробудешь там час или полтора в валенках, в шубе, в перчатках, почувствуешь, что совсем застыл, и выбегаешь греться на улицу... После вьюг и метелей Поповым приходилось откапывать проход в библиотеку; иногда им помогали в этом подоспевшие посетители. Там они окончательно подорвали свое, и без того не блестящее здоровье.

Позднее К.М.Попов рассказывал, каким суровым способом он пытался бороться с нажитыми за эти годы подагрой и ревматизмом. Когда летом он косил траву в своем саду, то отдельно собирал вороха крапивы, ходил по ней босиком, натирал ею ноги от ступней до колен и выше, а также кисти рук. Но все это мало помогало. В последние годы жизни болезни настолько одолели его, что он не мог не только ходить, но даже сидеть — так искривились и закостенели его ноги и руки. Особенно это мучило его потому, что мешало писать. И все же, лежа, по мере сил он продолжал работать над каталогом всех учившихся и учивших в Академии с 1914 года до ее закрытия, составляя на каждого человека подробную карточку с данными его жизнеописания.

Его дочь, Мария Константиновна, передала этот ценнейший материал возрожденной Академии в год ее 150-летнего юбилея...

В 20-е годы Сергиев, позже переименованный в Загорск, являл собой типичный русский, глубоко провинциальный городок, чьи улицы и даже центральная площадь летом порастали яркой зеленой травой. Цивилизация вхо-

дила в городок осторожно, еще не набрасываясь с неистовством разрушителя на кварталы уютных деревянных домов, утопавших в зелени садов, не давила безликими многоэтажками-бараками, не душила, как сейчас, кольцом огромных заводов, расползшихся по окрестным полям и даже лесам, где мы когда-то привыкли гулять.

Посетителей в библиотеке было мало, да и то, как правило, они появлялись летом. Какое-то время ее книгами пользовались сотрудники Сергиевского историко-художественного музея, в частности А.Н.Свирин; заходили немногие из учителей средних школ города.

Бывал у Попова и М.М.Пришвин, поселившийся в Сергиеве после своей жизни в Переславле-Залесском. Я тоже старался приходить к Попову в летнее время, когда раскрывались все окна библиотеки, чтобы она проветривалась и могла попользоваться хотя бы малою частицей летнего тепла.

Мы с ним, два обломка погибшей Академии, сидели у открытых окон и вспоминали прежние времена. Собственно, вспоминал Попов, который много слышал о прошлом, много читал и, как он признался позже, даже вел записи услышанного и увиденного. Он отмечал все замечательные события в Академии, в том числе посещения ее разными видными лицами, такими, как Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой, китайский диктатор Ли-Чунг-Чанг, известными зарубежными католическими и протестантскими богословами... Эти записи он мне не показывал, но рассказывал о многом. Увы, как он сам признался перед войной, этот дневник он сжег в 1937 году, когда погибло немало подобных дневников, воспоминаний и документов, бесценных и невосполнимых для нашей истории...

Особенно радовался Попов, когда летом библиотеку навещали научные работники из Москвы — из музеев, Академии наук, исследовательских институтов. Тогда Попов говорил с гордостью:

— Вот видите, нас еще не все позабыли, в нас нуждаются!..

***

Огромной радостью для Попова был приезд в Лавру и специально в ее библиотеку иностранных ученых, приглашенных Академией наук в качестве почетных гостей в 1925 году на свой 200-летний юбилей. Гостей интересовали Лавра, библиотека, Историко-художественный музей, открытый в бывшем монастыре стараниями Флоренского, Олсуфьева и других работников Комиссии

по охране историко-художественных ценностей Лавры. Об этом визите мне тогда же рассказывал Александр Константинович Мишин.

Раньше он преподавал в Академии французский язык, теперь же мы вместе работали в средней школе, где Мишин вел географию, а я — русский язык и литературу. Кроме того, я заведовал бывшей гимназической библиотекой. Именно поэтому Мишин и обратился ко мне с довольно неожиданной просьбой дать ему наиболее полный русско-латинский словарь. Я удивился. Выяснилось, что местный отдел народного образования поручил ему от имени сергиевских учителей сказать иностранным гостям приветственную речь. Не знаю, по какой причине, Мишин решил говорить ее не по-французски, а по-латыни.

Впоследствии Мишин рассказывал, что приехавшим очень хотелось услышать торжественный звон лаврских колоколов, о котором им столько доводилось читать у своих путешественников по России и слышать от русских эмигрантов. Дирекция музея поддержала просьбу гостей, но местные власти отказались ее исполнить, ссылаясь на то, что звона уже давно не было, а теперь он, дескать, может вызвать ненужное волнение среди городских и окрестных жителей. Кроме того, по их словам, не было и прежних звонарей.

Действительно, последний раз колокола Лавры звонили 31 мая 1920 года. То был прощальный, похоронный звон по прежней Лавре и ее Академии. Однако ссылка на отсутствие звонарей была только хитростью. Как мне достоверно известно, последний — потомственный! — звонарь Лавры был еще жив. Это был слепой монах, которого все звали Сережей. Он пел на клиросе и после закрытия Лавры жил в Сергиеве, снискивая себе пропитание игрой на баяне на разных семейных праздниках и вечерах.

Вспомнив о приезде ученых гостей в бывшую академическую библиотеку, позволю себе рассказать о курьезном случае, происшедшем незадолго до этого и тоже связанном с уничтожением Лавры.

Как я уже говорил, в мае 1920 года произошел окончательный погром помещений Академии, захваченных слушателями Электрокурсов. По счастью, я не был очевидцем этого печального и дикого зрелища и рассказываю с чужих слов. Архив Академии, по-видимому, был просто сожжен, так как мои знакомые видели в бывшей канцелярии и в саду во множестве измятые, изорванные

листы документов с подписями профессоров Академии и высоких духовных лиц. Комплекты «Христианина», «Богословского вестника», «Творений св. Отцов», «Прибавлений к творениям св. Отцов» и другие академические издания, ставшие теперь чрезвычайной библиографической редкостью, представленные далеко не во всех крупнейших библиотеках страны, были пущены на оклейку помещений, на пакеты и прочие хозяйственные нужды. Тогда же был разломан и вместе с иконами сожжен иконостас академического храма, а помещение домовой академической церкви стало клубом Электрокурсов... Разгромлен был и склад лаврской типографии, но какая-то часть печатных изданий, особенно художественных, была сохранена.

Полагаю это потому, что незадолго до приезда иностранных ученых лаврский музей посетила другая делегация — иностранных членов Коминтерна, приехавших в Москву на очередной конгресс. Для них в бывшей трапезной Лавры и на ее торжественном сервизе был устроен роскошный по тем временам обед, на который со стен взирали еще не заклеенные лики святых и святителей. Поскольку же хорошей бумаги в то время не было, меню было отпечатано на оборотной — чистой — стороне прекрасных гравированных портретов московских митрополитов, хранившихся на складе бывшей типографии Лавры.

Стоит представить себе деятелей Коминтерна, идущих в Трапезную церковь, в руках которых красуются портреты московских митрополитов, начиная с Платона и кончая Владимиром! Один экземпляр такого портрета-меню мне удалось раздобыть с помощью Попова. Потом, вместе с полным комплектом «Богословского вестника» за 1918 год (все 12 номеров в четырех довольно толстых книгах), я передал через одного своего знакомого в библиотеку Академии наук, узнав, что там этого комплекта нет... Не знаю, сохранили ли они «меню», или, как у нас часто случается, выбросили «за ненадобностью»...

Но возвращаюсь снова к академической библиотеке.

После того, как она стала филиалом Румянцевского музея, у Попова на первых порах оказалось много работы. Сюда были свезены бывшая библиотека самой Лавры и библиотека Вифанской духовной семинарии. Каждая насчитывала несколько десятков тысяч томов, а ядром последней служила уникальная в своем роде библиотека митрополита Платона (Левшина), основателя Ви-

фании, состоявшая из русских и иностранных книг XVIII и начала XIX века.

***

Надо сказать, что мне тоже удалось пополнить собрание бывшей академической библиотеки, и вот каким образом.

С осени 1920 года я работал преподавателем Сергиевской средней школы им. А.М.Горького и одновременно заведовал ее фундаментальной библиотекой, в прошлом — библиотекой мужской гимназии Сергиева Посада, в которой сам когда-то учился.

В библиотеке оказался богатый отдел классической филологии с хорошим подбором зарубежных изданий классиков на латинском и греческом языках, а также немецких и французских трудов по языкознанию. Было много книг и по богословию. Когда после 1925 года школа стала семилетней, все эти книги, а вместе с ними книги по древней истории, труды Гиббона, Шлоссера, Вебера, Лависса и Рамбо, Иегера, монографии Шильдера, ученые словари латинского и греческого языков, французского языка Ларусса и Бешерелля, монографии по археологии и искусству — античному, средневековому и древнерусскому, различные мемуары и дневники — издания «Русского архива», «Русской старины», комплекты таких журналов, как «Русский филологический вестник», «Филологические записки», «Журнал министерства народного просвещения», «Гимназия», «Гермес», «Исторический вестник» и многие другие такого же порядка, были признаны дирекцией школы «хламом», который следовало немедленно передать городской публичной библиотеке, а если та от него откажется — продать на вес местным кустарям-игрушечникам.

Я уже знал, что это не пустая угроза. Именно так, на вес, кустарям были проданы учителями одной из средних школ, вселившейся в реквизированный особняк какого-то посадского богача, найденные там полные комплекты «Русского архива», «Русской старины» и других подобных журналов. Поэтому я предложил своему директору передать все эти журналы и книги в филиал только что наименованной Библиотеки имени В.И.Ленина. Это показалось лестным. Мне было предписано оформить все как можно скорее, опять-таки угрожая в случае неисполнения продать книги на вес.

Я помчался к Попову, обрисовал ему ситуацию, указал, какие ценности у нас хранились. Чуть ли не на свои

собственные средства он нанял грузовик и увез к себе свыше десяти тысяч томов и около трех сотен исторических карт и картин, оформив все актом и поблагодарив меня за спасение ценных книг. От Москвы я никакой благодарности не получил, хотя Попов говорил, что «они», просматривая список, обрадовались комплекту «Гимназии», которого в Ленинской библиотеке не было, и некоторым другим книгам, в том числе прекрасно сохранившемуся экземпляру «Арифметики» Магницкого, по которой в свое время учился М.В.Ломоносов.

Тогда же я пошутил, сказав Попову:

— Вот до 1918 года к вам поступали разные многотомные пожертвования. Самым большим была библиотека архиепископа Саввы (Тихомирова) в семь тысяч томов. А через меня вы получили свыше десяти тысяч томов, тоже очень ценных... Следовательно, это можно считать как бы митрополичьим даром!..

Попов был глубоко огорчен, узнав о судьбе журналов, проданных на вес. Так погибла и часть библиотеки Г.И.Земеля (собрание книг по вопросам социологии, политической экономии, коллекция политических брошюр и политико-сатирических журналов 1905-1907 годов), переданной в городскую публичную библиотеку. Аналогичная судьба постигла беллетристику, художественные и литературно-исторические журналы из бывшей нашей студенческой библиотеки. Уходя работать в школу, я передал их в ведение Сергиевского отдела народного образования, а через некоторое время узнал, что все они изъяты и уничтожены. Хорошо еще, что остальные книги мне позволили передать Попову, то есть они опять-таки попали в Библиотеку им. В.И.Ленина, которая в 1933 году перевезла все книжные богатства Лавры, Академии и Сергиева Посада в Москву.

Последний раз мне довелось встретиться с К.М.Поповым уже в 1939 году, когда «филиал» оказался в Москве и «почил» большей своей частью в закрытой церкви св. Климента, где, кстати, пребывает и сейчас, подвергаясь если не уничтожению, то разбазариванию и распродаже за границу. В это время Попов служил библиотекарем в Институте игрушки. Я его навестил там, чтобы получить справку относительно некоторых старожилов Сергиева Посада — теперь Загорска. Он охотно сообщил мне все, что знал. Рассказал он мне, между прочим, что в Посаде жила тетка Салтыкова-Щедрина, которую писатель навещал, а в связи с этим бывал и в Лавре, слегка описанной им в одном из его произведений. Здесь же жили

вдова протоиерея Иоанна Кронштадтского, вдова генерала Стесселя и многие другие замечательные лица или их родственники. Но в его рассказах уже чувствовалось утомление, и говорил он не так охотно, как раньше.

При прощании Попов показал мне небольшую, тысячи в три томов библиотеку Института и сказал:

— Вот какая у меня теперь библиотека, а бывало... — И не закончив, горестно махнул рукой.

Больше мы с ним не виделись.

К.М.Попов дожил до радостных дней возрождения Академии в стенах Лавры. Последние годы его жизни, насколько мне известно, были согреты и скрашены заботой о нем святейшего патриарха всея Руси Алексия, которого он знал еще студентом Академии. Узнав о бедственном положении и болезни Попова, тот способствовал выдаче ему пособия и назначения пожизненной пенсии, а после его кончины 19 февраля 1954 года пенсия была продолжена его дочери...

***

Что я могу добавить еще к своему скорбному повествованию?

Оба мы с К.М.Поповым — он, близящийся к старости, я, еще молодой — видели гибель прежнего мира в лаврских стенах, последовательный уход в «мир иной» или удаление «в места не столь отдаленные» сначала людей старших поколений, потом наших сверстников; были свидетелями постепенного потускнения, обветшания когда-то великолепного облика Лавры, восхищавшего в разные времена разных людей — от Павла Алеппского[78] до Теофиля Готье[79], этого «волшебника французской литературы».

Последнее событие, которое я должен занести на эти страницы, — гибель главного колокола Лавры, самого большого из действовавших колоколов не только России, но и всего мира, — «Царя», как он был когда-то назван. Этот колокол весом в четыре с лишним тысячи пудов в начале января 1930 года был сброшен с колокольни, разбит на куски и увезен на переплавку. Сам я этого не видел и узнал только потом из рассказа очевидца...

Невольно вспоминаются слова одного из последних римских поэтов, Децима Магна Авсония: *«Смертный день для камней и для имен настанет...»*[80]

К 1941 году, когда я пришел работать в Загорский историко-художественный музей, Лавра уже сильно обветшала. Потускнели золотые купола, дожди смывали ок-

раску зданий, осыпались карнизы, растрескивались стены и даже фундаменты, отваливались лепные украшения, разрушено было почти все «гульбище» Трапезной церкви с его балюстрадой... Чтобы хотя частично починить фундамент колокольни, администрация музея сняла с могил вокруг Трапезной и Успенского собора почти все надгробия. Их обтесывали в плиты, которыми латали обветшавший, осыпающийся фундамент. Так была уничтожена самая подробная летопись Лавры — монастырское и академическое кладбища. Впечатление было очень тяжелое, особенно для тех, кто помнил Лавру в годы ее расцвета или даже в те годы, о которых я рассказывал.

Большая часть деревьев засохла, в том числе четыре больших кедра и два вековых вяза в академическом саду, часть — вымерзла, но спилили много и вполне здоровых деревьев, поскольку, по мнению высокообразованных и чутких к красоте сотрудников музея, они мешали «эстетическому восприятию памятников архитектуры»... Жадные руки новых насельников хватали что попало и тащили к себе, возмещая убыток горами выброшенного — где попало! — мусора. Тяжело и горько было видеть все это тем, кто действительно знал и любил Лавру, но кто не мог ничего сделать для ее сохранения от новоявленных варваров и дикарей. Казалось, что прежний мир погиб навсегда, рушатся последние остатки культуры и через несколько лет всех нас скроет разливающийся океан всеобщей дикости.

И я вспомнил вдохновенные слова Флоренского, написанные им о Лавре и Академии в 1919 году в сборнике «Троице-Сергиева лавра. Издание Комиссии по охране памятников старины и искусства Троице-Сергиевой лавры»: *«Лавра есть художественный портрет России в ее целом, по сравнению с которым всякое другое место — не более как фотографическая карточка. В этом смысле можно сказать, что Лавра есть осуществление или явление русской идеи.<...> Московская духовная академия, питомица Лавры, из лаврского просветительского и ученого кружка Максима Грека вышедшая и в своем бытии, при всех своих скитаниях, неизменно блюдшая крепость уз с Домом Живоначальной Троицы, не без глубокого смысла после четырехсотлетней своей истории нашла себе, наконец, место успокоения в родном своем гнезде и вот уже более ста лет пребывает здесь с рукописями и книжными своими сокровищами. Эта Старейшая Высшая Школа России духовно была и должна быть, конечно, отнюдь не самостоятельным учреждением, а лишь одною из сторон в жизни Лавры»*.

И далее Флоренский давал очерк своей мечты о Лавре и Академии, написанный в дни, когда ни о каком возрождении этих священных очагов России простой человек помыслить не мог:

«Мне представляется Лавра в будущем русскими Афинами, живым музеем России, в котором кипит изучение и творчество, и где в мирном сотрудничестве и благожелательном соперничестве учреждений и лиц совместно осуществляются те высокие предназначения дать целостную культуру, воссоздать целостный дух античности, явить новую Элладу миру, который ждет творческого подвига от Русского народа. Не о монахах, обслуживающих Лавру и безусловно необходимых, как пятивековые стражи ее, говорю я, а о всенародном творчестве, сгущающемся около Лавры и возжигающемся культурною ее насыщенностью. Средоточием же этой всенародной Академии культуры мне представляется поставленное до конца тщательное, с использованием всех достижений русского высокостильного искусства, храмовое действо у священной гробницы Основоположника, Строителя и Ангела России...»

Эти вдохновенные строки, преобразующие будущее Лавры, конечно, были нетерпимы в те годы. Сборник был законсервирован, он лежал несброшюрованным, в листах, на чердаке Трапезной церкви. С большим трудом я собрал в огромной куче перепутанных листов два полных экземпляра, один из которых отдал в Загорский музей-заповедник (впоследствии я узнал, что этот экземпляр из библиотеки музея исчез), а другой передал в возрожденную Академию. Остальные, беспорядочно сваленные листы были сожжены в 1941 году вскоре после начала войны по приказу временного директора музея Зельмы Швагер, болезненно ненавидевшей все, связанное с духовным наследием России...

В том же сборнике Павел Николаевич Каптерев, профессор Московского университета, сын историка русской Церкви профессора Н.Ф.Каптерева и старший брат моего гимназического товарища, тоже Сергея, написал знаменательные слова о Московской духовной академии: *«Она не была замкнутым учреждением, ведавшим лишь узкое богословское образование, а стояла в неразрывной органической связи с общим течением русской мысли и науки, занимая в нем одно из видных мест...»*[81]

Ultima vale

На обороте, сверху вниз: В.П.Жалченко, 1937 г.;
С.А.Волков, май 1940 г.;
В.П.Жалченко и С.А.Волков на берегу Вифанского пруда,
лето 1935 г.

*Et ego in Arcadia fui.**

1

Золотая осень... Ясные, теплые дни. Солнце нежарким лучом ласково заливает все великолепие пожелтелых и алых лесов. Сочно налились плоды в садах, все пышней и пышней расцветают последние цветы. Их свежий и горьковатый аромат сливается с родным запахом далеких полей, где бледно золотятся снопы сжатого хлеба, и густым дыханием медленно ржавеющих дубовых рощ. Так прозрачны дали вновь зазеленевших после покоса лугов, и синеватою дымкой курится зубчатый лес на горизонте. А по ночам свежесть и прохлада окутывают отдыхающую землю. Влажный туман всплывает над долинами. Яркие звезды мерцают в бездонной черноте неба. Все тихо, и ели черными исполинами прислушиваются к неторопливым шагам отдаленной зимы.

Это та драгоценная пора, которую я любил с самых ранних лет, люблю сейчас и буду всегда любить, как самое лучшее для меня время года. Сколько дивных слов сказано об осени всеми поэтами, а особенно Пушкиным, Тютчевым, Вл. Соловьевым и Брюсовым! Как проникновенно живописали ее Левитан и Жуковский! А в творениях Чайковского она поет и звенит тысячами нежнейших голосов... Но не эти великие творцы, не их чудесные мелодии, краски и ритмы заставили меня полюбить эту пору. Они только укрепили, углубили и

* «И я был в Аркадии», т.е. «и я изведал счастье» (лат.). — *А.Н.*

утончили чувство, возникшее непосредственно у ребенка, когда сама Мать-Природа, лелея и питая, дыша и тайнодействуя, приникала ко мне, привлекала к себе и открывалась изумленной и очарованной душе.

Есть некая аналогия у времен года с возрастами человеческой жизни. Обычно полагают, что осень соответствует старости. Я сам долгое время думал, что это так. И только недавно меня осенила мысль, что не старость, а зрелость символизирует осень. Старость, граничащая с дряхлостью, — это зима с ее ледяным покровом и оцепенением всей природы. Осень же — великолепие и полнота жизненных сил, познавших восторг расцвета, принесших зрелый плод и во всем величии и красоте спокойно глядящих на предстоящий закат своего существования.

Действительно, промежуток между летом и зимой очень неопределенный. Нельзя провести строго разграничительных линий, как, впрочем, и между всеми временами года. Есть осень ранняя в изобилии плодов и цветов. Это еще летние дни, но они пронизаны уже щемящею грустью увядания, столь милой и прелестной для чувствительной души поэта. Потом свежеет ветер, пестреющая листва разносится по воздуху и мягким ковром устилает зябнущую землю. Но сколько бодрости в этих холодных и светлых днях! Как прекрасны силуэты полуобнаженных ветвей, как пряно и освежающе дышит простор полей и сквозящая чаща лесов! Есть исключительная услада в осенней горечи, в сиянии удаляющегося солнца, в отрадном холоде, делающем крепче тело и закаленнее душу. И уж только потом, когда ринутся серые тучи, застучит дождь и скроет даль своею стеклянной завесой, — только тогда можно говорить, что осени приходит конец, что зрелость исполнила себя и спустилась под склон в суровые долины старости.

Счастлив человек, который из этих долин видит, оглядываясь назад, большой пройденный путь. Счастлив вдвойне, если ему есть, что вспомнить, если он не зря шел по этому трудному, но вместе с тем и радостному пути, если у него за спиной остались хоть и не великие, но бодрые дела. Но счастлив безмерно тот, кто вступает не одиноко в эту суровую пору, кто имеет возле себя верного спутника, товарища, друга. Тогда не страшны угрозы зимы, и старость озарится отрадным светом со-

чувствия. Так в зимние дни проглядывает солнце и блестят снега, синеет небо и сосны пахнут, как летом, и в спокойном созерцании сливаются прошлые дни с наступающими, прообразуя, хоть слабо и трепетно, близящуюся всепримиряющую Вечность.

Один из моих друзей говорил мне как-то, что если имя соответствует судьбе человека, то меня надо было бы назвать «Феликсом», — до такой степени счастливой показалась ему моя жизнь, когда он познакомился с моими стихами, дневником и прочими писаниями. Я с ним согласен, но должен уточнить понятие моей счастивости. Действительно, я счастлив, если говорить о внутренней жизни. «Felix est non alius videtur, sed qui sibi»* — говорит Сенека. И на взгляд большинства людей я не могу показаться счастливым. Я не приобрел никакого материального благосостояния, у меня нет даже маломальски приличного обеспечения под старость. Я не сделал карьеры, моя жизнь протекла и будет до конца протекать в безвестности. Я не захотел и не сумел даже обзавестись своей семьей. Я создал в себе для себя свой внутренний мир. Я живу в нем и им. Он достаточен для меня, и его хватает даже для других, которые из «других» захотят превратиться в моих друзей. Не хвалюсь, однако. Много зияний и срывов в этом «внутреннем Тибете», как я любил впоследствии называть свой мир. И бурные грозы проносились над ним, и засушливые лета ползли одно за другим вереницей...

И все же я счастлив. Felix sum. Я — жизни раб, я — царь моей мечты! Ничтожный и незаметный для подавляющего большинства окружающих меня людей, я нисколько не огорчаюсь этим. Моя безвестная Муза поет для меня. Ее песни открывают мне мир, делают его прекрасным и значительным, и я чувствую себя человеком, чувствую природу и историю, вижу и познаю мысли и деяния людей и действую сам, хотя более в метафизическом смысле этого слова.

Но неизбежным для поэта и для человека является общение с людьми. И здесь я счастлив. Мне не приходится жаловаться. Наоборот, мне надо только благода-

* «Счастлив не другими видимый [таковым], но себе» (лат.).— *А.Н.*

рить доселе благосклонную ко мне судьбу. Я имел и имею много друзей, которые любят и ценят меня, порой больше, чем я этого заслуживаю. Правда, многие из этих друзей принадлежат к числу тех людей, о которых некогда говорил Монтень в своих «Опытах», что их привязанность — результат скуки, разочарования в других людях или привычки. Гениально это определил Пушкин, назвав их *«от делать нечего друзья»*. Но такие друзья облегчают скуку повседневной жизни. Они ласковы, не только приветливы; они многое ценят в тебе и многое готовы сделать и делают для тебя. Но не эти друзья и не такая дружба питают душу человека. Тот же Монтень удивительно проникновенно говорит об иной дружбе, когда «я» и «он» настолько сливаются и смешиваются, что трудно бывает выяснить, где «мое» и где «его». Есть одно существо в двух лицах, которое живет и дышит единой душою, несмотря на два тела и две часто совсем несхожие жизни. Не буду приводить примеров, они слишком известны. Это не любовь-страсть и это не дружба-приятельство. Любовь-страсть основана только на сексуальности. Она вспыхивает внезапно, проносится то дождем, освежающим и оплодотворяющим, то бурей, опустошающей и страшной. Редко кончается она дружбой, гораздо чаще она исчезает без следа, как и тучи, летящие черной громадой над притихшею землею. И тогда создается тягостная атмосфера. Страсть исчезла, осталась привычка. Люди прикованы друг к другу жизненными условиями. Эти условия цепями удерживают их друг возле друга, а возможность новых страстных вспышек только тревожит, будучи же осуществленной, губит всю жизнь. Таков брак — неизбежное завершение страсти. Дружба-приятельство не потрясает человека. Она наполняет праздность и рассеивает скуку, скрашивает трудности и увенчивает веселье. Можно дружить со многими. Не слишком трудно терять таких друзей и приятно приобретать новых. Такая дружба — приятная теплота весны, летняя ночная прохлада, легкий скользящий ветерок. Но не она создает человека, не она направляет жизнь.

Есть иная, высшая дружба-любовь. Не пол, не приятельская взаимопомощь создают ее. Она не вспыхивает внезапно и не скрывается неудержимо, как страсть, но она и не тянется бесцветной привычкой изо дня в день,

как приятельство. В ней нет той безудержной и безумной пылкости, которая сменяется утомлением и печальным равнодушием, которое еле-еле сдерживается идеей долга или клейкой привычкой; нет в ней и той уютной и удобной теплохладности, столь часто встречающейся в самых лучших приятельских отношениях. Она исходит одновременно и из сердца, и из ума. Она имеет в себе подлинный огонь, но это не скоро сгорающий огонь страсти; она имеет в себе постоянное тепло, но это не скучно тлеющий пепел полуравнодушного приятельства. Любовная дружба, если так назвать ее приблизительно, разрастается во времени и, будучи по существу своему единой, условной и неизменяемой, развертывается постепенно, все заполняя собою, преобразуя друзей, ведя их вперед, ввысь, вширь, вглубь, как бы усиливаясь с каждым днем и часом и достигая своего апогея к моменту смерти каждого друга. В ней есть скачки и замедления, неровности и порывы, вспышки и замирания, но, в сущности своей данная с самого начала полностью, эта дружба-любовь остается самой собою во всю жизнь. Это постоянная величина, различная в своих проявлениях во времени. Будучи нарушена одним или обоими друзьями, она губит всегда обе жизни и если и не приводит неизбежно к смерти, то неизменно калечит человека на всю жизнь. Лучше всех и вернее всего возвестил о ней божественный Платон в своем «Федре» и «Пиром» своим предложил человечеству пищу богов, окрыляющую немощное существо для взлета в горние миры. Эта дружба-любовь столь же таинственна, как душа человека, столь же проста и очевидна, как произрастание векового дуба из малого жёлудя, столь же редкостна и чудодейственна, как усердно добываемые китайцами корни жень-шеня, столь же отрадна, как ключевая вода среди песков пустыни, столь же необходима, как воздух, и столь же бесценна, как сама жизнь.

Счастлив безмерно, кто ее имеет, и горе тому, кто ее потерял.

2

Я дважды испытал это счастье. В одной из предшествующих глав рассказано, как в дни моей юности мне дано было встретиться и подружиться с Алексеем и как

благотворно эта дружба подействовала на меня. Когда после 1920 г. мы разбрелись в разные стороны и не имели никаких вестей друг от друга, наступило бурное затишье для меня. Бурным оно было с внешней стороны. Я стал учителем и отдался со всем молодым жаром педагогической и умственной работе. Затишье же наступило во внутренней жизни. Я перестал так много мыслить и читать, как это было в пору гимназии и, особенно в Академии. Работа и развлечения обступили меня, заполнили все дни, и не оставалось времени для глубоких дум и творческих созерцаний. Молодость, м.б., отчасти сдерживаемая в ранние годы, прорвалась. Мне нравилось вести легкомысленную жизнь. Всю серьезность я отдавал школе, преподаванию и общественной работе, а на досуге развлекался. Окружавшие меня люди тоже веселились и развлекались, кто как мог, после трудных и скудных годов гражданской войны. Около меня не было такого друга, который смог бы одернуть меня, протрезвить от наступившего угара. В учительском кругу и в гостиных уцелевшей дореволюционной интеллигенции я блистал (если можно так выразиться, применяя светский термин к изменившимся масштабам тогдашней жизни) и выделялся. Для этого нужно было немногое. Приличные манеры, приличный костюм, приличная внешность и общее развитие, а главное — умение красиво говорить. Все это у меня было. Относительно широты кругозора и знаний беспокоиться не приходилось: я превосходил всех окружавших тогда меня людей. Конечно, были там и такие, которые знали ту или иную область шире или глубже меня, хотя бы в силу того, что они были значительно старше, а, следовательно, и опытнее меня, но никто из них не умел все это проявить быстро, во-время и высказать с таким эффектом, как это делал я; кроме того, Академия дала мне такие огромные и энциклопедические запасы культурного багажа (недаром я с 1917 по 1920 год тонул в библиотеках), что, живя только на проценты с этого капитала, я мог поражать и весьма солидных людей своей эрудицией. Конечно, всё это льстило молодому тщеславию и кружило мою неопытную голову. И опять с грустью повторяю, некому было на меня повлиять, заставить по-серьезней взглянуть на жизнь и на свое поведение. Не было настоящего друга, хотя друзей-приятелей было, хоть отбав-

ляй. Я ловко драпировался в плащ поверхностного, но элегантного скептицизма, обнаруживая при случае нужную дозу не менее поверхностного и столь же элегантного, а также весьма модного в ту пору мистицизма. И то, и другое воспринималось всеми легко. Появившееся материальное благополучие нэповской поры сменило аскетическую героику первых лет Революции. Жилось привольно, весело и беззаботно. Серьезно и глубоко ни о чем не задумывались. В сознании создавалась какая-то неопределенная амальгама из идей прошлого и коммунистических, из привычек, оставшихся с детства, и опыта советской жизни. Все было сбито наскоро, не продумано до конца, всюду были трещины и неувязки, но жизнь, сверкая и шумя, неслась вперед. Силы были у меня свежие, молодой задор поплевывал на всякие затруднения, и я отдался общему течению. Так прошло около 10 лет.

Я сильно опустился за это время. Я даже мало читал, разве только беллетристику. Научные книги, которые в изобилии были у меня под рукой, т.к. филиал Ленинской библиотеки (бывшей б-ки Академии) до 1934 года был в Загорске, да еще притом у меня в распоряжении имелась библиотека бывшей гимназии, очень ценная и интересная, я только просматривал. Внутренняя жизнь замерла. Все, что дышало и звенело во мне в гимназические и академические годы, как-то скрылось и затаилось в самых тайных глубинах моего существа. Хорошо, что еще не умерло совсем! Только поэзия продолжала освещать мои дни, но стихи становились безделушками, которые лишь забавляли. И только изредка и почти всегда непроизвольно в них проявлялось подлинное чувство. Так я почти потерял 10 лет своей жизни.

Мало было подлинно интересного и ценного в ней за этот период. Путешествия по Крыму и Кавказу показали мне море и красоту южной природы. Две поездки в Ленинград познакомили с сокровищами Эрмитажа, я сумел полюбить величественный город Петра, который и раньше привлекал меня своими отражениями у Пушкина, Гоголя, Достоевского и А.Белого. Сильное впечатление произвели царские резиденции в окрестностях. Некоторые люди, встречавшиеся в ту пору, оказали на меня влияние того или другого рода. Беседы с С.С.Глаголевым и Л.А.Тихомировым развивали мой ум; через

Б.А.Гальнбек я вошел в музыкальный мир и научился ценить настоящую музыку; у его сестры В.А.Обрехт я находил уют, приветливое и даже сердечное отношение ко мне. Я акклиматизировался в ее «салоне», говоря высоким штилем, и стал в нем играть ту же роль, что и Анатоль Франс в салоне «Мадам». АЗ и К. дали мне легкую радость простой и непритязательной дружбы, когда можно было острословить и беззаботно болтать de omne re scibili* за бутылкой вина, вместе бродить то по загорским лесам и полям, то по московским театрам и музеям, наслаждаясь всяческой красотой. Наконец, три поездки в Переславль пробудили интерес к русской старине (Лавра, хоть и оставалась милой, но пригляделась). Вот и все. Время летело незаметно. Все серьезное воспринималось en passant**, легкомыслие и поверхностность преобладали.

Затем наступили годы пятилеток. Жизнь изменилась. Неуловимо исчезло веселье, легкомыслие, а вместе с ними материальное благополучие. Пришла опять трудная, строгая пора. Но по сравнению с годами военного коммунизма в ней было больше ответственности. На первый план стали вопросы промышленности и техники. Все остальное сделалось второстепенным. Все силы были брошены на индустриализацию и переустройство страны. Отсутствие материальных ресурсов прервало веселую и беспечную жизнь. Кружки распадались, люди разбредались по необозримым пространствам СССР в поисках заработка. Приходилось опять серьезно думать о том, что будешь есть и во что оденешься, как и в 1919 и 1920 годах. Многие охали, ворчали, высказывали сомнения и недовольство. Теперь, конечно, видно, как ошибались эти люди и как нужно было на время подтянуть ремень и поднатужиться в работе, чтобы потом все стало хорошо и прочно. Тогда это понимали лишь немногие.

Я тоже охал. Но меня не столько угнетали материальные затруднения, сколько тот факт, что техницизм царил повсюду и во всем. Я всегда смотрел на технику, как только на средство, а тут она стала чуть ли не самодовлеющей целью и даже смыслом жизни. Невольно

---

* Здесь: обо всем на свете (лат.). — *А.Н.*

** Мимоходом (фр.). — *А.Н.*

приходилось задумываться. Прекращение всяких пикников, фестивалей, обедов и попоек заставили уйти в одиночество. И это было очень хорошо. Я теперь с огромной радостью и благодарностью вспоминаю то время (1929-1931 гг.). Я вернулся к книгам, к мыслям и созерцаниям, к творчеству. Вначале было даже грустно и страшно. Я с трудом удерживал внимание, читая научные и философские труды, иной раз даже не понимая многого; а ведь это часто были те книги, которые в Академии я читал с удовольствием и понимал легко. Так я опустился и поглупел за веселое десятилетие! Приходилось сызнова перечитывать многое, снова приучать свой обмелевший ум к глубинам и высотам. Понемногу дело пошло на лад. Я опять погрузился в мир познания и подлинно эстетического наслаждения. И опять, как когда-то в академические годы, я увлекся всем этим. Античный мир, Средневековье и Ренессанс; Гёте, Шекспир, Достоевский и Бальзак; персидские, японские и китайские поэты; история Китая и Египта, философские и археологические журналы, мемуары, труды, путешествия — все снова ожило для меня. Я читал новые и перечитывал старые книги. Как и прежде, в 1917-1920 гг., так и тут с 1930 по 1934 год я таскал книги грудами из филиала Ленинской библиотеки, часов до 2-х ночи сидел над ними и, ложась спать с пустым желудком, редко и мало думал о еде, а испытывал несказанное блаженство от духовного пира, которым только что насладился вполне.

Я чувствовал, что к прежнему образу жизни никогда не захочу вернуться. И я был вполне счастлив этим. Недоставало одного — друга. Подлинного Друга, с которым можно было бы разделить все. Во время легкомысленного житья-бытья я скользил по людям, если можно так выразиться. Теперь я стал вглядываться, прислушиваться, искать. Большую отраду доставило мне знакомство с В.И.Пиковым. Я никогда не забуду светлой осени 1932 года, которую мы провели в совместных прогулках и беседах. У нас оказалось много общего. Но еще больше было расхождений. Более всего я ему благодарен за то, что он дал мне прочесть свой многолетний дневник. Эта книга сильно перевернула меня и открыла мне Достоевского, которого я до тех пор только понимал, а не чувствовал. Теперь я его пережил и тем самым приоб-

щился к трагическому. После этого еще углубленнее и острее я воспринимаю вновь перечитанного Ницше, особенно «Заратустру». Никогда не прощу Пикову, что потом он уничтожил свой дневник. Это был «человеческий документ» в лучшем смысле этого слова, более глубокий и страстный, нежели знаменитый «Дневник» Башкирцевой. У него было много схожего со столь любимым мной «Дневником» Амиеля, но у Пикова была сила и порыв, чего не доставало Амиелю, гибнувшему от резиньяции. Памятью нашей дружбы остался у меня второй венок сонетов, посвященных Пикову, и ряд удачных стихотворений, отражающих то, что я переживал в те годы. Я потом напишу специальную главу, посвященную этому упрямому и тяжелому другу; сейчас же надо сказать, что с 193...* года, после его переезда в Хотьково, наша дружба ослабевает, и мы встречаемся редко. Несхожесть оказалась сильнее всех связывающих нитей.

В 193...** году неожиданно умерла Madame***. Ей было только 40 лет. Эта смерть потрясла меня. Впервые я задумался и о своем конце. Невольно стал подводить итоги всему, и увидел, как я одинок. Правда, в то время еще была жива моя Мама, но ей уже было под 70, и она, как ни любила меня, не могла быть другом. Она сильно уставала, ее утомляли мои длинные разговоры, наша любовь была только родственной. Мир идей и вкусов был очень несхож и у нее, и у меня. Все вело к одному: нужен был Друг, его не было, и не было надежд его найти.

В эти годы я впервые встречаюсь с Валентином. Он учится у меня в школе с 6 по 10 классы. Я привыкаю, а затем привязываюсь к нему, и он становится для меня Другом, сыном, братом — на всю жизнь. Эта дружба-любовь, более сильная, нежели дружба с Алексеем в годы моей юности, сыграла огромную роль в моей жизни. Она продолжает оказывать свое влияние и теперь, усиливающееся с каждым годом. Я чувствую, как мы оба растем, воздействуя друг на друга. О ней-то я и хочу рассказать в этой книге. Здесь передо мной встает совсем недавнее время — период последних семи лет. Как все отчетливо помню, почти вижу, и как все быстро летит, становясь прошлым! Но это прошлое еще живо в

---

* Так в оригинале. — *А.Н.*

** Так в оригинале. — *А.Н.*

*** Обрехт Н.Р. — *А.Н.*

нас обоих, а будущее таинственно чернеет, приковывая взор. Что-то случится? Как пойдет далее наша жизнь?... Придет время — узнаем!

3

Впоследствии мы всегда будем с улыбкой вспоминать, как это делаем и сейчас, сцену нашего первого знакомства. Валя учился в 6-м классе. Когда я начал заниматься, то завшколой предупредил меня, что этот класс, хотя и способный, но распущенный и озорной. «Надо сразу взять его в руки. Будьте построже», — советовал он мне. Я сразу же и решился на эту строгость. Прихожу на второй урок с исправленным диктантом (его писали накануне), раздаю листочки, одного из мальчиков посылаю к доске, чтобы писать показательный текст, а сам собираюсь объяснять ошибки. «А ты дай мне свой листок», — обращаюсь к Вале, не зная еще ни имени его, ни фамилии. «Сейчас.» Проходит минута, другая. Я что-то записываю в журнале. Кончил. Листка на столе нет. «Ну что же ты тянешь?! Давай скорее!» Мальчик роется в парте, вытаскивает книги и тетради, опять роется... «Ну?!» Он встает красный со слегка смущенным лицом и заявляет: «Я не могу дать листка, его у меня нет.» — «Как нет?! Куда же он делся?» — «Я не знаю. Его, вероятно, ветром унесло в окно.» — «Какой вздор! Окно от тебя далеко и никакого ветра нет. Ты его отдал кому-нибудь?» — «Нет, я не отдавал.» — «Так куда же он делся? Это безобразие! Только что получил диктант на руки, и уж его след простыл...» Мальчик стоит и мнется. Я на самом деле начинаю сердиться. «Где же диктант? Подашь ты мне его или нет?!» — «Его у меня нет.» — «Куда же он делся?» — «Я не знаю.» — «Это изумительно! Как он мог у тебя исчезнуть среди белого дня? Может быть, кто-нибудь взял его у тебя?» — «Нет.» — «Ну, так где же он?» — «Не знаю.» Мальчик совсем красный. Губы слегка вздрагивают, глаза блестят. (Последние две черты сохранились в нем и до сих пор, они всегда налицо, когда он сильно волнуется.) Кто-то из девочек говорит: «Он изорвал свой листок и выбросил за окно.» Я прихожу в ярость. Начинается выговор. Как он смел это сделать? Это — озорство, хулиганство. Это дерзость по отношению к учителю. Это, наконец, просто дикость какая-то. Я вспоминаю совет завуча и

пробираю вовсю. «Как твоя фамилия?» — «Жалченко.» — «Садись. Чтоб больше этого никогда не было. А то...» Речь моя обрывается по очень простой причине: я сам не знаю, что будет после этого «а то». Время было бестолковое, 1931 год, когда учитель был совсем нолем, мер воздействия никаких, дисциплина разваливалась. Это была пора разных экспериментов в школе, которые, к счастью, были разом отменены потом первым постановлением ЦК ВКП(б) о начальной и средней школе. А тогда приходилось ухитряться воздействовать, не смея прибегать ни к каким воздействиям. Мальчик садится, недоумевающе и испуганно поглядывая на меня большими блестящими глазами. Ожидая дальнейших нападок, он уже внимателен вовсю. Я беру другой диктант. Начинается объяснение. Я то и дело спрашиваю учеников, почем так? И вижу, что только что распушенный мною малец почти постоянно поднимает руку. Начинаю часто спрашивать его. Ответы правильные и толковые. Я заглядываю в журнал, какая у него отметка. Оказывается — отлично. Диктант без единой ошибки. Раздражение уже исчезло. (Мне достаточно немного покричать, и весь мой гнев без следа улетучивается.) Мне становится жалко мальчугана. «Он, наверно, не виноват. Здесь есть какая-то другая причина, которую он не хотел или не мог сказать. А какое у него умное и открытое лицо! И ответы хорошие. Да и грамотный вполне. Теперь таких, ой, как мало! И чего я на него наорал? А он выдержанный и воспитанный! Другой уж успел бы надерзить в ответ. А этот смолчал. Только глаза блестят. Ишь как глядит внимательно. Какое славное, правдивое лицо! Такой врать не будет. Ладно. Надо смягчить резкость...» Все эти мысли молниеносно проносятся у меня в голове, вперемежку с задаванием вопросов, слушанием ответов и объяснениями. После звонка я уже совсем мягко говорю ему, чтобы он больше никогда не рвал работ, что это нехорошо, а ответы у него дельные и видно, что он неглупый мальчик, так пусть и ведет себя прилично, тогда и все будет хорошо.

Года через четыре, когда этот мальчик уж стал не по летам взрослым и серьезным юношей, когда мы уже подружились и запросто бывали друг у друга, я напомнил ему этот комический эпизод. Оказывается, что он вовсе не был комичен для Валентина. Его листок из зависти

разорвали сидевшие сзади мальчишки, попросив его посмотреть. Он легко мог объяснить причину исчезновения диктанта. Но чувство товарищества не позволило сказать правду. И он предпочел незаслуженно выслушивать крик рассерженного учителя и выговоры. Это было тем более тяжело, что, учась в 5-м классе, он всегда был на самом лучшем счету у прежней словесницы, как безукоризненно грамотный и умный мальчик. Здесь сразу же передо мной встает отличительная черта Валентина: благородство, доходящее прямо-таки до самопожертвования. Впоследствии я не раз имел случай убедиться в этом. И невольно думается, что такое благородство обычно остается незаметным. Люди этого не ценят. Мало того, даже злоупотребляют таким чувством в хорошем человеке. Ведь мальчишки, разорвавшие диктант, молчали. Никто из них не захотел чистосердечным сознанием избавить благородного товарища от выговора, а, может быть, и от наказания. Таково, к сожалению, большинство людей!

В следующие дни ученик Жалченко на моих уроках вернул снова свой прошлогодний престиж своими умными ответами. Я увидел, что мой наскок был неуместен, и приветливым обращением старался сгладить резкость первого объяснения. Вскоре в перемену ко мне подошла молодая женщина с добрым и открытым симпатичным лицом. «Ну как мой Валюська? — спросила она. — Как его успехи? Не шалит ли?» — «А как его фамилия?» — «Жалченко.» — «А...» И я рассказал, что мальчик учится хорошо, но очень живой, иногда шалит, и передал тот случай с диктантом. Мать разволновалась, хотя я и сказал, что смотрю на все это, как на ребяческую шалость. Она просила меня тотчас же по возможности извещать ее, если сын что-нибудь напроказит, но в то же время говорила, что о проказах сына не надо только сообщать отцу, т.к. тот очень строгий и нервный человек и безжалостно выдерет сына за всякую проделку. А она сумеет ласково и уговором лучше повлиять на мальчика. Я потом при случае как-то мельком сказал Валентину, что если он будет шалить, то я все буду рассказывать его маме. Он пообещал серьезно, что никогда проказничать не будет, а будет совсем образцовым мальчиком, и при этом слегка лукаво улыбнулся. По этой улыбке я сразу догадался, что мать, очевидно, говорила

с ним обо мне, и он знает, что жалоб строгому отцу не будет. Мне было приятно сознавать, что мальчик, который стал для меня славным, главным образом благодаря хорошей учебе, не считает меня злюкой, и я ласково улыбнулся ему в ответ. Как часто потом я видел у него эту легкую и слегка лукавую, но, в сущности, очень добрую улыбку! С годами она не исчезла, разве только прибавился некоторый оттенок иронии, которая, как и известная доза лукавства, очень свойственна украинцам. Это люди, кажущиеся с первого взгляда или слишком суровыми, или уж очень добродушными, прямо-таки до простодушия. А вот такая улыбка показывает ум, таящийся в глубине, не тот поверхностный и сам себя выставляющий на показ умишко, у которого на самом деле медного гроша нет за душой, а серьезный и по-своему глубокий истинный ум, который не хвалится собой и не стремится, чтоб его заметили, а знает, что он есть и есть для себя. Лукавство — не хитрость. Оно добродушно и незлобливо. Хитрость мелочна, корыстна и противна. Вот этой мелочности и корыстности за все 8 лет, как я знаю моего друга, я ни разу не замечал даже в самой малейшей степени.

Вскоре он стал моим любимым учеником. Кстати, несколько слов о «любимых» учениках. Последний, чисто школьный термин обозначает подлиз, которые низкопоклонством, а порой и доносами на товарищей добиваются благосклонности у некоторых учителей, получают за это хорошие отметки, не имея никаких умственных способностей, и, таким образом, начинают «карьеру» уже в школе. Гоголь прекрасно изобразил это, повествуя об ученических годах Чичикова. Для меня «любимыми» всегда были лучшие по успехам ученики, особенно те, которые обладали какими-нибудь художественными талантами. Им я спускал всякие шалости и даже непослушание или упрямство. Одного я не мог никогда простить такому ученику — лени, небрежного отношения к литературе. Стоило только ему начать бездельничать, как я чувствовал, что он опускается, и принимал все меры, чтобы снова вызвать интерес к делу, а если не удавалось, то ни о какой симпатии с моей стороны не могло быть и речи. Так что нет ничего одиозного в том, что Валентин стал моим любимым учеником. Грамотность у него была абсолютная: за все пять

лет, что он учился у меня в школе, он не написал и 5 диктантов, в которых было бы 2 ошибки. Все работы были отличны. Грамматику он знал безукоризненно. Всякий, кто был когда-нибудь хоть недолгое время учителем русского языка, знает, как это много значит. Потом я убедился, что у него было какое-то изумительное, прямо-таки инстинктивное чувство в области языка. Стиль его речи был прост, но всегда правилен. Стилистикой мало занимаются в младших классах, и он ее, конечно, не знал, но говорил хорошо. Впоследствии, будучи учеником 10 класса, когда я их познакомил с основными стилистическими правилами, когда были усвоены главнейшие тропы и фигуры, он поправлял иногда меня, когда я, усталый, экспромтом диктуя конспекты, так как они учились без учебников, иной раз заговаривался. Эти поправки он вносил всегда очень деликатно: «А не думаете ли Вы, С.А., что вот так сказать было бы лучше?» — спрашивал он, и я с удовольствием отмечал, что он прав, и радовался (не только про себя, но и вслух), что лучшие из моих учеников действительно молодцы. Иногда пытался это делать и другой отличник в классе, Л.Володкович, но он не всегда был удачлив. Валентин же поразительно четко и закругленно строил фразу или метко и верно подыскивал тот термин, который именно был и нужен. Я и теперь, и тогда часто сожалел и сожалею, что он не стал филологом. Я убежден, что из него мог бы выйти крупный ученый в этой области.

К литературе он относился холодновато. Он исправно выучивал то, что полагалось, излагал при ответах все прекрасным языком, но идейная сторона до 8-го класса как-то мало затрагивала его. Впоследствии я узнал от него самого, что в ту пору его еще интересовали подвиги индейцев и разбойников, в лучшем случае — герои Вальтер Скотта. Он еще был слишком мальчик, чтобы оценить как следует поэмы Пушкина, рассказы Гоголя или Горького. Зато все военное приводило его в исключительный восторг. Поэтому не удивительно, что Гоголь для него был прежде всего автором «Тараса Бульбы», а не «Ревизора» и «Старосветских помещиков». Для мальчугана, который домашние досуги посвящал сражениям, где он предводительствовал группой таких же ребят и вытворял разные чудеса храбрости и выносливости, конечно, скучны были Афанасии Ивановичи и

Пульхерии Ивановны с их кашами и похлебками; ему ничего не говорили образы Хлестакова и Городничего. Осмыслить же это социологически, а тем более философски, мешали лета. Но все же меня это сильно огорчало, и я немало читал ему нотаций на эту тему, приводя в пример другого ученика, Амбарцумова, который несравненно лучше учился по литературе, но увы!— был малограмотным.

В 6 классе я дал ребятам анкету о домашнем чтении. К счастью, Валина анкета у меня сохранилась. Он в ней перечисляет следующие прочитанные им книги: *Вальтер Скотт* — Айвенго, Вудсток, Роб-Рой, Пуритане; *Жюль Верн* — Дети капитана Гранта, Пятнадцатилетний капитан, Таинственный остров, Южная звезда, Вокруг света в 80 дней, Джангада (?), Робур-завоеватель, Север против Юга, Ченслер, 80 000 лье под водой; *Фенимор Купер* — Зверобой, Следопыт, Последний из могикан, Кожаный Чулок, Прерия, Колония на кратере, Сатанстоу, Хижина на холме; *Марк Твен* — Приключения Гека Финна, Янки при дворе короля Артура; Майн Рид — Всадник без головы, Записки охотников; *Виталий Бианки* — Бизоны, Волки, Моржи, Олени, Ослы; *Джемс Шульц* — Апок, зазыватель бизонов, Ошибка Одинокого Бизона; *Виктор Гюго* — Собор Парижской Богоматери; *Лермонтов* — собрание сочинений (2 тт); *Никифоров* — Андрейкино крещенье, и затем без авторов — Макар-следопыт, Черный лебедь, Новые приключения капитана Кетль, Пограничный легион, Приключения одного школьника, Черный Бизон, Тихий Дон. И хотя он на один из дальнейших вопросов отвечает: *«русских старых писателей я люблю»*, но тут же он рядом говорит: *«Мои любимые авторы: Фенимор Купер, Майн Рид, Жюль Верн и Вальтер Скотт; мои любимые герои: Айвенго, Следопыт Орлиный Глаз, Чингачгук — Великий Змей и Ункал — Быстроногий Олень.»* Все это потому, что *«в большинстве этих книг описывается жизнь индейцев, а в остальных разные приключения»*, тогда как *«Янки при дворе короля Артура» — не очень интересная, т.к. там все описывается как-то непонятно»*. И даже подпись под анкетой такая: *«Громовая стрела, великий вождь племени могикан»*. Конечно, эта анкета говорит многое о любви к чтению, но она еще слишком мальчишеская. Лермонтов и Гюго только упомянуты, а в центре всего — индейцы и рыцари с их неизбежными подвигами. И хорошо, что у Ва-

лентина было детство в детские годы, и притом детство веселое, живое. Серьезность придет в свое время. Печально бывает, когда она появляется преждевременно, в силу житейских условий, как это было со мной.

За это время я видел Валентина в школьной обстановке и если что и знаю о его тогдашней жизни дома, то только по его рассказам. По окончании семилетки он чуть было не поступил в Мытищинское ФЗУ. Если бы это случилось, то его развитие, пожалуй, замедлилось бы года на два, на три. Природный ум, восприимчивость и любознательность проявили бы себя, разумеется, но позднее и, может быть, не так широко. Возможно, что из него вышел бы умный, развитый, отлично знающий свое дело мастер; несомненно, что он продолжал бы читать, но выбор книг был бы у́же и беспорядочнее. Я уверен, что и тогда, рано или поздно, он непременно поступил бы в вуз, но все его образование было бы прямолинейнее, догматичнее, а поэтому и несравненно беднее. Эта возможность, которая не была осуществлена, напоминает мне аналогичную возможность, которая в свое время открывалась передо мной. Когда мне было 10 лет, мама сначала хотела отдать меня в фельдшерскую школу, где учились когда-то ее братья. К счастью, Крестная отсоветовала, и меня отдали в гимназию. Я с ужасом думаю, что было бы со мной. Я, в конце концов, кое-как «выбился бы в люди», стал бы каким-нибудь чиновником 14 или 13 класса или даже — о верх благополучия! — сумел бы попасть на медицинский факультет и сделался бы сельским доктором. Конечно, тогда не было бы дружбы с Алексеем, знакомства с Глаголевым, Воронцовым и Тихомировым, ученья у Флоренского. А был бы типичный сельский врач с книжками «Знания» и экземплярами «Нивы» и «Родины» на полке. М.б. он был бы и передовым, прочел бы Вересаева «Записки врача», выписывал бы медицинский журнал и, глядь, придерживался даже кое-каких отрывков социал-демократизма, — но у него было бы солидное брюшко, послеобеденный сон с головой, закрытой газетой, преферанс и иногда выпивка по вечерам в кругу соответствующих друзей-приятелей.

К счастью, этого со мной не случилось. Спасибо Крестной! Думается мне, что и Валентин немного потерял, что не поступил в ФЗУ.

Осенью 1932 года в нашей школе открылась после нескольких лет перерыва 8 группа или класс, как ее стали называть после постановления ЦК. Когда я в первый раз явился в нее в качестве словесника и классного руководителя, меня встретили сверкающие радостные взоры сильно подросшего за лето Валентина. Очевидно, он уже за предшествовавшие два года сумел привязаться ко мне и рад был видеть любимого учителя. Я тоже был рад встретить любимого ученика. За занятия я принялся с жаром. Дела со школой к этому времени несколько упорядочились. Появились новые программы, более серьезно составленные. В литературе преобладали классики и лучшие из современных писателей. Правда, не было учебников, но это меня не огорчало. Я просматривал старые лекции и монографии, черпал оттуда фактический материал. Кроме того, я внимательно читал классиков марксизма и критиков-марксистов, чтобы давать соответствующую установку. Работа эта меня увлекала. Я чувствовал, что мои познания не лежат мертвым капиталом, а могут принести пользу молодому поколению. За неимением не только учебников, но и авторов в достаточном количестве, приходилось читать произведения в классе и делать конспекты объяснений. Положенных по расписанию часов не хватало, и я часа 4 еще в шестидневку занимался с классом по вечерам. Эти занятия не оплачивались, но мне и не думалось ни о какой оплате, когда я видел, что ученики растут, начинают мыслить, понимают художественное произведение как эстетически оформленную мысль о жизни и отражение этой жизни в творческом сознании и образе поэта, наконец, приучаются любить литературу и тем самым приобщаются и к великой русской и мировой культуре. Много сделали эти чтения и параллельный (иногда до мелочей) анализ произведений. Вступительная лекция характеризовала эпоху, автора вообще. Я пытался в ней всегда нарисовать историческую картину, показать политический строй, взаимоотношения классовых сил, идеологию той поры, философские, социальные и эстетические теории, а затем, рассказав об авторе, его жизни и творчестве, переходил к анализу произведения.

Во время этих чтений обычно ученики задавали вопросы, высказывали недоумения, а затем и спорили то со мной, то между собою. Особенно это развилось в 9 и

10 классах. Иногда эти вопросы отвлекали от темы, уводили в сторону, но я не боялся таких отклонений, т.к. это сильнее заинтересовывало ребят, а главной целью моей было не только дать знания, но и заинтересовать, заставить полюбить литературу. Мало того, что ученик усвоит что-то, важно, чтобы он и дальше после школы сохранил интерес к чтению и мышлению, хотя, м.б., он и будет работать вовсе не в области гуманитарной. Ведь прежде всего и больше всего воспитывает человека и образует его характер гуманитарная наука и искусство. Мне кажется теперь, когда я вспоминаю своих тогдашних учеников и встречаюсь иногда, и беседую с ними, особенно с лучшими из них, что мои старания не пропали даром. М.б., со временем некоторые из учеников скажут мне свое спасибо в сердце своем, когда поймут, что первый толчок в деле культурного становления был дан мной. А тогда я только радовался, что большой запас знаний, умение хорошо говорить дают мне возможность широко развернуться и легко вести свое преподавание. Я много написал здесь о себе, но это я делаю для того, чтобы показать, как учился Валентин, какова была школьная обстановка. Не о своих занятиях хочу я сказать, о них скажут или напишут со временем те из моих учеников, которые хорошо вспомнят и захотят это сделать. А здесь я пытаюсь обрисовать, как я влиял на Валентина, будучи его учителем. Надо признаться, что я тогда был единственным учителем в своей школе, который влиял на мировоззрение учеников. Это я говорю не из тщеславия, а только констатирую факт и с большой печалью. Дело в том, что историка долгое время не было. А те, кто время от времени преподавали историю, не знали элементарных исторических фактов. Где уж тут было мечтать о культурности и тем более о мировоззрении! Преподаватель политэкономии тоже был посредственностью. Не лучше его был физик, у которого бывали ученики, знавшие предмет лучше его, так что он на иной вопрос говаривал: «Спросите у NN, он вам все расскажет!» Математик был отлично знающим человеком, но он не давал математического мировоззрения; его задачей было научить решать задачи, запомнить аксиомы и теоремы, и только. Биологичка была неглупая женщина, достаточно культурная и начитанная, но ей часто нехватало знаний философского или общефизиче-

ского характера, она иной раз порядком завиралась, толкуя с учениками о дарвинизме, витализме, менделизме и т.п. вещах. Об остальных педагогах нечего было и говорить. Это были статисты учебного дела. Главное заключается в том, что они не жили своей наукой, они ею только зарабатывали на пропитание. Преподавание не было для них трудным, но увлекательным искусством, а лишь необходимостью. Неудивительно поэтому, что мне принадлежала доминирующая роль в деле выработки мировоззрения, так как я с душой отнесся к своему делу, видя в нем свое второе (после поэзии) призвание. И я только жалею об одном, что я еще недостаточно сделал: иного не знал и не умел достичь, иной раз утомлялся и опускался сам до уровня вышеописанных педагогов.

Но все же некоторые мои уроки были интересны, я видел это по лицам учеников, а потом убедился, встречаясь с ними впоследствии и замечая некоторые следы своего преподавания, у одних давшие пышный расцвет, у других еле сохранившиеся.

Валентин как-то сразу вырос в период между 7 и 8 классами. У него появились серьезные запросы, он стал читать и классиков, и научные книги. Его вопросы, ответы, замечания и высказывания выявляли передо мной недюжинный ум. Двое из его товарищей соревновались с ним, все же уступая ему в оригинальности мысли, хотя и превосходя его старательностью и вниманием. Это были Лева Володкович и Лида Красихина. Были и другие, умные и способные ученики, как Борис Мишин, Евгений Мирский, Павел Котович, но они увлекались техникой, и все гуманитарное им казалось только украшающим добавлением в жизни. Обо всех этих и других ребятах я скажу еще несколько слов позднее. Сейчас же мне хочется отметить еще одну черту Валентина, которая для меня сыграла большую роль. Он был не только умен, не только жадно стремился к познанию и удачно овладевал им, вырастая, как в сказке, не по дням, а по часам. Он, кроме всего этого, исключительно сердечно относился ко мне. Он любил меня, как можно любить только родного человека. Левушка Володкович тоже любил меня, но он так же любил и всех почти педагогов. У него эта любовь была как бы одной из обязанностей образцового ученика, и он ее проявлял так

же, как и усердно выучивал заданные уроки или соблюдал классную дисциплину. Валентин же сделал выбор и остановил его на мне. Это я чувствовал и естественно полюбил его с той поры уже не только как лучшего ученика, но и как родного человека.

Мне было уже за 30. Детей у меня не было, как не было никогда и братьев. О семье я не хотел и думать, т.к. она мне всегда рисовалась в карикатурных и печальных образах виденных мною в жизни многих семей. Я не раз смеялся, говоря своим приятелям, что неизбежными спутниками семейного счастья [являются] пеленки, примус и ночной горшок, а так как я не выношу этих вещей, то я *«не создан для блаженства»*. В этих словах была доза насмешки, доза горечи, а больше всего правды. Но человеку трудно жить, не любя никого, не привязываясь ни к кому и никому себя не отдавая. Так и мне хотелось тоже видеть себя любимым, дорогим и близким для кого-то, кому, в свою очередь, я отвечал бы тем же. Поэтому, чувствуя любовь и привязанность Валентина, я полюбил его тоже, и он стал для меня самым родным и близким человеком. Мне после этого еще приятнее было заниматься с тем классом, где он учился. Я готов был сделать для этого класса всё, т.к. я знал, что это принесет свою пользу и Вале. И, вначале казавшийся мне только сыном, он стал постепенно братом и другом, когда его умственный кругозор расширился, когда его мысль стала глубокой, а отношение к жизни серьезным. У нас появились общие темы для разговоров, мы читали одни и те же книги, многие вкусы и взгляды были схожи. Конечно, были и различия.

Сильно было в Валентине увлечение всем военным, тогда как я с детства терпеть не мог военщины. Правда, Красная Армия — не армия царского времени, но и она берет человека всего и заполняет и ум и душу его своим материалом. Я знаю, что мои взгляды в данном случае расходятся с современным мировоззрением, но ведь я пишу не для печати, а поэтому и смогу сказать здесь всё. Мне хотелось, чтобы из Валентина вышел ученый, творец культуры, а не только военный служака-специалист. Ведь последний, пусть он гуманен и культурен, все же слишком прямолинеен и ограничен заботами и делами своей специальности, чтобы отдаться широкому и богатому познанию жизни. Что бы мне ни говорили о

большой культурности современных военных, я все же вижу, что она для них — нечто дополнительное. В противном случае они уже плохие военные, ибо военное дело, как и всякое серьезное дело, требует от человека отдать себя всего. Затем и самый характер Валентина казался мне неподходящим для военной обстановки. Чисто по-украински ленивый и медлительный в движениях, добродушный и ласковый по натуре, он становился сразу резким и даже бешеным, если ему что-либо не нравилось по существу или его возмущало. В последнем случае он становился прямо-таки яростным и забывал о всяком благоразумии. Такая вспыльчивость и несдержанность нетерпима в военной обстановке, и я боялся, что она сможет когда-нибудь сильно ему повредить. Мы много говорили и спорили с ним на эту тему. Некоторые его порывы и планы, которые возникали в молодом и горячем мозгу с быстротою молнии, немало принесли мне огорчений, если говорить мягко; хорошо было, что они исчезали и забывались, если и не с быстротой той же молнии, то все же довольно скоро. Расстраивали меня и его частые, постоянно сменявшие друг друга сердечные увлечения. Я прекрасно понимал, что молодость есть молодость и без увлечений быть не может, но зная его натуру и видя, как какой-нибудь очередной кумир отвлекает его от занятий и чтения и втягивает в пустую среду только веселящейся молодежи, я начинал бояться, как бы он не закружился и не опустился в этой атмосфере. Мы иной раз ссорились даже слегка, но потом все проходило, и я успокаивался, видя, что на его развитие все это нисколько не влияет.

Дело в том, что самым главным и ценным для меня в жизни было, есть и будет — человек, человеческая личность. И потом уже творчество этого полноценного человека. Если человек неразвит, ограничен, принижен и забит, то и деятельность его тоже неполноценна. Достигнувшая же возможного совершенства личность претворяет свою работу в творчество. Это не механическое действие машины, не рабский труд, а раскрытие своего *«я»* в своем деянии. Для этого надо быть свободным в полном смысле слова человеком, а затем, чтобы источать из себя, надо иметь в себе. Справедливо сказал Ромен Роллан: *«Чтобы проливать солнце на других, нужно носить его в себе.»* И вот первой задачей воспитания и

обучения и должно быть накопление культурного запаса и выработка должного к нему отношения, а затем выработка серьезного взгляда на себя и на жизнь. Мало одного рвения к делу, даже к подвигу, надо знать, что ты сможешь дать и как сможешь сделать. Здесь опасны и переоценка, и недооценка себя и своих сил, т.к. в этом случае из великого может получиться жалкое или смешное. Я сам неоднократно испытал это, после необоснованных порываний оказываясь жалким и смешным, потому так упорно и говорю о необходимости знать свои силы и возможности как основном условии всякого разумного действия. Вот почему я частенько на разные порывы и стремления Валентина воздействовал легкой струей скепсиса. Для юношеских безрассудств это — самое лучшее лекарство.

Но всей отчаянной глубины своего безотрадного скепсиса я перед ним в те времена не открывал. Для молодого ума и чувства это в лучшем случае остается непонятным, а в худшем — ведет к трагедии. Достаточно вспомнить гётевского «Вертера» и его влияние на современников. Сам я принадлежал к поколению, которое вынесло на своих плечах переходное время от 1905 года до 1917 года. На наших глазах рухнули все устои старого мира — империя, общество, семья, церковь, религия, мораль, философия, искусство и наука. Все было развенчано, во всем проглянули белые нитки, которыми были наскоро и кое-как сшиты разнородные куски, державшиеся еще при тихой погоде с некоторым благоприличием, но заколебавшиеся во время войны 1914 г. и окончательно расползшиеся в 1917 году. Такой грандиозный крах, какого не знала история, пожалуй, со времен гибели Римской империи, невольно перетряхивал сознание человека. Мне было 18-20 лет, когда все это происходило. Я еще не был достаточно зрел, чтобы отвернуться от всего нового и удержаться на старых позициях, но я не был и настолько молод, чтобы, не зная, не пережив старого, целиком отдаться только новому. Естественно в этом положении рождалось критическое отношение ко всему. Но критика хороша, когда она исходит из каких-либо устоев. Для меня же все устои были безнадежно поколеблены или даже окончательно разрушены. И вот в безрадостной пустыне среди развалин прошлого и робких прорастаний молодой травы сухим

зноем веет ветер скептицизма. В нем есть необузданная гордость человеческого мыслящего «я» и безмерная горечь отчаяния и покорности перед слепой судьбой. Я пережил все это в свое время. Не изжито оно и сейчас. Это мучительное состояние. Но в те годы я никому не поверял своего настроения, не тревожил я и молодой души Валентина.

Его жадность к знанию всякого рода пленяла меня. Он напоминал мне меня самого в мои молодые годы. Кроме литературы, его интересовали естественные науки, история и философия. Помогая ему советами и указаниями в гуманитарной области, я должен был ограничиваться лишь рекомендацией книг и статей по биологическим и геологическим вопросам, т.к. чувствовал себя совсем не осведомленным в этом отношении. Здесь мне помогло и то обстоятельство, что во время учения в 9-м классе Валентин знакомится через меня с Кириллом Флоренским, который, учась в геологическом вузе, мог дать ему то из естествознания, чего не давала школа и уж, конечно, не мог дать я. Но об этом знакомстве скажу позднее, а сейчас мне хочется рассказать о первом лете 1933 года, которое мы провели вместе с моим другом.

Одной из сил, сблизившей нас, была природа. Мы оба страстно любили лес. Наши прогулки, начавшиеся с малого, быстро разрослись. Мы уходили километров за 10 от Загорска, чаще всего в сторону Царьдарского оврага. Там было глухо и таинственно. Длинный овраг тянулся извилинами. На дне песок, камни. По краям обрывы, то мрачные, с темными вымытыми углублениями, запутанными свисающими корнями деревьев, то отлогие, сверкающие ярко-жёлтым, а иногда белым песком с большим количеством слюды. То и дело огромные деревья, упавшие во время гроз или весеннего половодья, преграждали путь. Кругом — ни человеческого голоса. Только свисты птиц и жужжанье пчел и мух. Мы чувствовали себя совсем отрезанными от цивилизованного мира, и это доставляло огромную радость. Надо заметить, что в нашем понимании «цивилизация» была явлением, если не одиозным, то, во всяком случае, достаточно противным и неприятным. Мы рассматривали ее как своего рода кожуру культуры. Она была приемлема, как окружение культуры, но если вместо ядра — культуры — была пустота, то кожура цивилизации не

имела в себе ничего ценного. В наших глазах многое в жизни оказывалось этой пустой кожурой, и мы тяготились ею и не любили ее. Здесь же, в лесу, где все пело, цвело, благоухало, где не было ни следа людской жадности и пошлости, мы подлинно оживали и чувствовали себя легко и отрадно.

В 9-м классе Валентин сильно увлекся естествознанием и геологией, в частности. Одно время он даже собирался стать геологом. Его привлекала в этой специальности возможность частых экспедиций. Путешествия и связанные с ними приключения с юных лет волновали его. И вот он во время летнего отпуска любовались далекими горизонтами с островерхой каймою лесов и между 9 и 10 классом чуть ли не ежедневно посещает этот овраг. Я, конечно, являюсь его неразлучным спутником. Как хорошо помню я эти светлые дни. Мы выходили часов в 7-8 утра, а возвращались часто к 10 вечера. Немного белого и черного хлеба, иногда дешевый сыр — вот спартанская пища, которую мы захватывали с собой. Воду пили из речки. И чувствовали себя бодрыми и здоровыми. По дороге к оврагу делали привал у назарьевской речки, где купались, а потом, после Назарьева, маленькой деревушки, подходя к которой мы оврагами, окутанными волшебной синеватой дымкой, мы вступали в густые дубовые рощи, которые перемежались кленовыми зарослями. Затем начинался огромный хвойный лес с просеками и вырубками, где было много земляники, и приближались к заветному спуску в овраг.

Было во всем что-то таинственное — и тишина в сверкании солнечного дня, и безлюдье полное кругом, и следы зверей на песке (а один раз мы видели даже молодого волчонка, который испуганно убежал при нашем появлении), и, наконец, различные геологические и притом редкостные отложения, в которых Валентин уже умел разбираться и растолковывал их мне. Над головами — шум леса, шорохи, шелесты густой высокой травы по склонам. Огромные, почти в человеческий рост колокольчики с крупными голубыми цветами; малина, которую, видно, там никто не собирал. Признаюсь, я грехом побаивался медведей, а особенно змей, про которых говорили, что их в овраге очень много, но, к счастью, ничего этого не было.

Наши прогулки проходили безопасно и радостно. И о чем мы только не говорили! — И о литературе, и о жизни, на философские и исторические темы, и о мелочах школьной жизни. Иной раз принимались рассказывать про свое детство или отдавались вольным полетам мечтаний. Помню, как мы мечтали построить большой замок около оврага, наполнить его массою книг и сделать своей постоянной резиденцией. Придумывали разные фантастические истории, участниками которых бывали общие знакомые. Иной раз это были комические приключения, в которых обычно бывали героями Лева Володкович, над которым Валентин любил подтрунивать, и Борис Мишин с его симпатией, Ритой Скориковой. Надо заметить, что когда-то Борис интересовался усиленно на уроке естествознания суринамскими пипами (лягушками). Ребята прозвали его самого «пипой», но прозвище потом было забыто. Валентин вспомнил как-то эту историю, и мы в шутку, говоря о Борисе, всегда величали его «Pippenherr von Surinam», а Риту — «Pippenfrau von Surinam». Так шутки перемежались серьезными разговорами, воспоминания — раздумьями. Мы делились друг с другом своим внутренним миром, и невольно во время этих прогулок создавалось подлинное родство душ.

Хотя я в два раза был старше Валентина — мне не было с ним скучно. Мало того, если в период 8 класса я еще слишком часто чувствовал себя на положении учителя, которого больше спрашивают и слушают, то вскоре мой юный друг смог достаточно крепко стать на ноги. Он прямо-таки поглощал книги, мысли с неудержимой быстротой возникали в его голове. Он развивал их передо мною, мы часто спорили, чаще соглашались, но я всегда удивлялся и умилялся, видя этот поразительный внутренний рост. Уже не как учитель, а как старший товарищ, разговаривал я с ним, когда он продумывал и философские проблемы Ницше и Гёте, и взгляды Флобера на искусство, когда его пленяли остроумные идеи и образы Франса, экзотика Лоти и Гумилева, историзм Брюсова, меланхолия и гневные порывы Шевченко, насмешливый скепсис Льва Шестова, мощные страсти героев Шекспира, стройный логизм Энгельса и Ленина.

Я многого не запомнил, к сожалению, чем он интересовался и жил в те годы, но все же в моей памяти отчетливо остался его юный облик со сверкающими гла-

зами и легкой улыбкой на губах, каким я его видел в моменты наших задушевных бесед. Запомнилось и мое чувство радости, что он так быстро нагоняет и несомненно перегонит своего учителя в ближайшие годы, и за себя, что я смог найти такого друга-ученика, которому отрадно отдать свои лучшие знания и лучшие порывы души, потому что он сто́ит и большего. Когда я пишу теперь эти строки, я по-прежнему думаю так и счастлив, что я не ошибся. Теперь мне не страшно даже умереть: он сам пойдет вперед, он никогда не будет филистером, в нем есть личность. А тогда я порой побаивалося, как бы вдруг судьба не разлучила нас, и я не успею дать ему все то, что я хочу. Поэтому я не останавливался перед дозами этой здоровой пищи, зная, что он сумеет и сможет все воспринять и переварить.

Методически мыслящие, а тем более действующие люди, конечно, осудят меня за столь неметодичный образ действия, но я, ценя метод, всегда презирал всякую методику, а особенно — методичность. И действительность показала, что никакой умственной гипертрофии не получилось. Наоборот, попав в вуз, Валентин сразу же чувствует себя легко и становится одним из лучших. Методика — дешевка, нечто штампованное и если безвредное, то нисколько не полезное дело. Это — нечто вроде aqua destillata*, которой жажды не утолишь. Метод — путь. И он для каждого отдельного случая свой. Только индивидуальностью и особенностью действует на нас художественный шедевр, только индивидуально надо подходить к воспитанию человека, чтобы из него вышел тоже шедевр, — личность, а не стадное существо. Я пытался быть таким по отношению к своему юному другу. Конечно, и у меня были промахи и ошибки, иной раз очень крупные, но они не испортили всего дела. Я помню, как тогда я огорчился, что Валентин не чувствует Пушкина, Тютчева и Л.Толстого. Что ж? Теперь он сумел подойти и к Пушкину, и особенно полюбить Тютчева. Увлечение стихами Гумилева и Киплинга этому не помешали. Правда Л.Толстой и Достоевский и сейчас от него далеки. Но надо вспомнить, что Толстого я оценил только в 25, а Достоевского — после 30 лет.

---

* Дистиллированная вода (лат.). — *А.Н.*

Но я, по обыкновению, отклонился, а мне хотелось бы еще рассказать о нашей счастливой жизни среди природы. С особенным удовольствием занимался Валентин сенокосом. С раннего утра он отправлялся с отцом косить еще влажную от росы траву. Потом они отдыхали. Часам к 10-11 приходили к ним мама, младшая сестра и бабушка. К этому же времени приходил и я. Мы растрясывали сено для просушки, ворошили его и сгребали в копны. В свободные промежутки уходили побродить по лесу в поисках земляники.

Красива местность за Черниговским скитом. Лиственный лес перемежается густыми еловыми чащами, где постоянный сумрак и прохлада даже в самые знойные дни. Кое-где встречаются вырубки, заросшие кустарником. Всюду краснеет цветущий «иванов чай». Среди леса то и дело попадаются большие поляны, окаймленные ольховыми кустами. Как все это дивно и сладко для сердца, любящего нашу русскую природу! Высоко-высоко поднимаются над всем лесом отдельные огромные сосны. Их красноватые стволы, прямые, как свечи, с пышными темно-зелеными вершинами красиво выделяются на лазурном фоне глубокого ясного неба. Пряно пахнет подсыхающее сено. Несчетными голосами гудят, свистят, трещат мухи, пчелы, кузнечики. Приятно лежать в тени куста, проворошив сено, и глядеть, как к полудню из-за леса начинают выплывать белые закругленные облака. Медленно ползут они по лазурному океану, чуть золотясь под солнцем. Но вот их все больше и больше. Доносится издали что-то напоминающее глухое ворчанье: это туча поднимается за лесом. Надо спешить собирать сено в копны. Легкий ветерок приятно раздувает рубашки, мы гребем, болтаем, смеемся. Валентин на верхушке копны, он уминает ее. На минуту он раскидывает руки в стороны и в своем белом костюме на верхушке копны кажется со стороны жемчужным крестиком на объемистой зеленой митре.

Один раз сильная гроза нас захватила в лесу. Мы только что позавтракали, как сразу хлынул проливной дождь. Мы бежали в кусты, чтобы закопаться в сено, но вдруг ударил такой сильный гром, что мы пригнулись чуть не до земли. Все же спрятались в копну, вырыв в ней углубления. Мы с Валей весело смеялись, что похожи на двух медведей, зарывшихся в берлогу, и рассказы-

вали друг другу разные сказки. Потом, когда вышли по окончании дождя, то увидели, что шагах в 10-15 от нас молния ударила в березу и пожгла на ней почти всю кору.

Сколько раз во время таких прогулок мы попадали под дождь, который пережидали в какой-нибудь чаще, наблюдая, как сумрак сразу охватывает всю местность, ели воют, раздается треск сухих ветвей и скрип деревьев. Лес становится тогда жутким. Что-то исключительно северное, даже первобытное, чувствуется в нем. Все это так увлекательно и интересно! А дивные осенние прогулки, даже самой поздней осенью, когда все листья уже облетели и мягким мокрым ковром лежат под ногами! Деревья стучат голыми ветвями, и унылая бесприютная луна мелькает меж ними, кочуя из облака в облако...

Как сейчас вспоминаю одну прогулку ранней осенью. Мы вышли на большую поляну, сплошь заросшую молодым осинником. Деревца были немного выше нашего роста. Листья на них были все желтые. Изредка возвышались одинокие высокие осины, одетые в пурпур. Вечерело. И вдруг сзади брызнули красно-золотые лучи закатного солнца, прорвавшегося сквозь серые облака, закрывавшие все небо. Мы пробирались среди трепетания золотистых и алых листьев, вдыхая свежий и горьковатый осенний воздух. Чувствовалось что-то сказочное в этом позднем великолепии, и я помню, как сказал другу, что мы кажемся зачарованными странниками, ищущими чудес в волшебном лесу.

Действительно было так. Любвеобильная мать-природа ласкала нас своими дарами, пробуждала в нас лучшие мысли и переживания, как бы благословляла нашу дружную ясную жизнь. Даже зимой она бывала к нам благосклонна. Я, к сожалению, не мог ходить на лыжах, и эти прогулки Валентин устраивал без меня. Но мы все же бродили по окрестным лесам, выбирая тропинки. Приятно оказаться среди осеребренных инеем деревьев. Сквозь стволы видны небольшие поляны, покрытые пышным белым снегом. Изредка проглянет бледное солнце и тотчас же скроется — редкий гость нашей суровой зимы. Начнет падать мелкий снежок. Случайная ворона, каркая, пролетит куда-то. И тишина, безграничная тишина зимы, о которой так дивно писал Некрасов.

В осеннее и зимнее время мы виделись ежедневно в школе, на уроках, во время перемен, на собраниях литературного и исторического кружков, которыми я руководил и в которых Валентин принимал самое активное участие своими докладами и участием в прениях. Многие вечера он проводил у меня. Тогда вместе читали любимых поэтов, долго разговаривали за чашкой чая или уютно играли в безик. Иногда развлекались и другими играми: один говорил отрывки, другой должен был угадать автора, или писали имена, литературные, исторические или географические на определенную букву, потом сличали и выясняли, у кого больше незачеркнутых (имена, совпадавшие у обоих, вычеркивались). Несколько раз ездили вместе в Москву покупать книги и побывать в музеях. Были в Музее изящных искусств и в Третьяковской галерее. Вместе смотрели «Мертвые души» и «Страх» в Художественном театре, слушали «Бориса Годунова» в Большом и «Пиковую даму» у Станиславского. В это время у Валентина развивается интерес к музыке. Его отец, сам музыкант, поддерживает в нем это чувство. И теперь, будучи студентом, он посещает симфонические концерты в Консерватории и с удовольствием слушает серьезные музыкальные радиопередачи.

Так незаметно пролетели три года школьной жизни. Приближались выпускные экзамены. А там надо было думать о поступлении в вуз. Наступила тревожная пора для нас обоих.

Я переживал вместе с Валентином все события. Радовался его удачам, утешал и ободрял, когда дела шли плохо. Все его неудачи я чувствовал очень болезненно; страшно волновался в решающие минуты, особенно ожидая его из Москвы после экзаменов: это было даже не душевное волнение, а какая-то физическая боль, которая не давала мне ни минуты покоя до тех пор, когда опасный момент не миновал. Но для него, который тоже волновался и мучился, у меня всегда находились ноты оптимизма и надежды на лучшее. И, действительно, я не ошибся. Правда, не сразу, а через год, после нескольких месяцев учения на курсах по подготовке в вуз, Валентин поступил на исторический факультет Педагогического института имени Либкнехта.

Уже учась на подготовительных курсах, он смог познакомиться с московской средой и обстановкой. Судя по его рассказам, товарищи его там были неплохие. Не-

которые из них живо интересовались литературой, искусством и даже философией. Валентин подружился с ними, и их беседы, очевидно, были интересны и будили в нем живое стремление к знанию. Он три раза в шестидневку ездил в Москву, остальное время жил дома, занимался, много читал. Бывал часто у меня, мы о многом говорили, вместе гуляли. Наступила передышка. Впереди предстояла еще борьба за поступление в вуз. В это время мы оба довольно часто бывали у Флоренских, где к Валентину быстро привязались и полюбили все члены семьи. Обстановка была исключительно культурная. Беседы и споры на философские, литературные и научные темы, интересные книги, разговоры серьезных гостей — все было очень не похоже на времяпрепровождение обычной интеллигентной семьи, все напоминало в некоторой степени обстановку студии художника или кабинета ученого. Я часто думал про вечера «на башне» у Вячеслава Иванова, которые так хорошо описаны Бердяевым в «Русской литературе 20 в.» изд-ва «Мир». Вот только с ними можно было сравнить наши вечера у Флоренских. После них, бывало, выходишь освеженный, ободренный, с запасом мыслей и чувств, с позывом к творчеству, к новой плодотворной умственной работе. И вся жизнь кажется радостной, полной глубокого смысла. Я испытывал еще раньше такое же чувство, когда проводил вечера в Академии в обществе моих друзей-монахов — Феодосия, Порфирия и Панкратия, да после бесед с Алексеем.

Мне кажется, что это знакомство было полезно для Валентина. Оно показало ему если и не идеальную, то все же весьма хорошую и ценную среду и сумело лишний раз пробудить его мысли и чувства и заинтересовать ни с чем не сравнимой красотой духовной жизни. Там же затеялась его поездка на Кавказ, которая и осуществилась ближайшим летом. Я был этому и рад, и не рад. Не рад потому, что Валентин уезжал, не закончив даже учения на курсах: осенью предстояли экзамены в вуз, а он на три месяца скрывался в глушь Сванетии и отрывался от всяких занятий. (Не говорю уж о том, что я на три месяца должен был с ним расстаться — такой довод играл самую меньшую роль в данном случае, как мне это ни было печально.) Но, видя порыв Валентина, его мечту осуществить свое заветное желание о странствии с

приключениями, я был рад. Я знал, как ценно в молодом возрасте, когда все чувства так сильны и ярки, увидеть новые страны, экзотическую обстановку, пережить все трудности и радости, связанные с этим, и не противоречил своему другу, восторгавшемуся предстоящим путешествием. В юные годы нет ничего лучше осуществленной мечты, тем более мечты о путешествии. Мне пришлось испытать его сладость лишь в 25 лет, и то впечатление от поездки в Крым было огромное. И вот, хотя благоразумие рекомендовало во имя успешного поступления в вуз отказаться от поездки, я стал на сторону молодого порыва и восторга и поддержал Валентина перед его родителями.

Забыв обо всем и обо всех, мой друг с увлечением к ней готовился. Их ехало только трое: Кирилл, Валентин и Мика, младший брат Кирилла. Я не ходил провожать Валентина, т.к. всякие проводы для меня с детства невыносимы, а особенно тяжело и грустно было в данном случае. Сестра его Галя, провожавшая его в Москву и бывшая при посадке в вагоны дальнего следования, говорила, что у Вали чувствовалась некоторая грусть и нерешительность во время пути от Загорска до Москвы. Он даже признался ей, что ему уже почему-то не хочется ехать, и он готов был бы остаться, но дело сделано и отступать нельзя. В Москве, в присутствии семьи Флоренских, он, конечно, был внешне спокоен.

С этой поездки начался перелом в его жизни. Он стал как бы старше и серьезнее за три месяца, впервые проведенные без близких людей, в далекой чужой стороне. Там, мне кажется, он понял всерьез, что значит быть совершенно одному, самому располагать собою вполне, но и самому отвечать во всем за себя. Там он увидел иную природу, ее иную красоту и иное величие. Там он видел иных людей, с их нравами, обычаями. Там, наконец, он привык искать поддержки в себе самом и в тех людях, которые в данный момент находятся около него, и для него потускнели образы тех людей, которые раньше были исключительно дороги и близки. Они окутались туманной дымкой отдаления, их ослабленные очертания мелькали еще в памяти, вызывая грусть и любовь, но он приучался, сам того не замечая, жить и действовать без них и довольствоваться теми, кто случайно оказывался возле него.

В молодые годы быстро привыкают, а отвыкают еще быстрее. Так начинался для Валентина новый период жизни. Он сразу многое приобрел, но в то же время постепенно, незаметно для самого себя, стал отходить от меня и терять свое прежнее исключительное чувство привязанности ко мне. Сначала меня заменил Кавказ, потом Кирилл, а потом вуз и круг новых товарищей и подруг. Мне грустно было все это чувствовать тогда, но я еще не видел ничего этого ясно; это лишь смутно тревожило и затуманивало мой тогда еще светлый горизонт. Теперь, когда я не только ясно вижу все, но и отчетливо знаю даже то, что будет впереди, мне больно и горько, даже оглядываясь назад, наблюдать это незаметное с первого взгляда начало конца и еще невыносимее предвидеть самый неизбежный конец, который уже не за горами.

В отсутствие Валентина я ездил подавать его заявление и бумаги в Историко-философский институт, куда он собирался поступать на философское отделение. Вернулся он с сильным запозданием, когда кончался уже последний экзаменационный «поток», как его называют. Все же для него и некоторых других, как для опоздавших по уважительным причинам (а он ездил с экспедицией Академии наук СССР), были устроены еще экзамены. Несмотря на спешку (приходилось сдавать по два экзамена в день) и трехмесячный перерыв в занятиях, он сдал все благополучно, даже экзамен по всеобщей истории, к которому совсем не готовился в течение года. Глубокий ум и блестящие способности победили все, но разные обстоятельства сложились так, что поступить ему пришлось не в ИФЛИ и не на философский факультет, а в Институт Либкнехта, и стать историком. Институт этот военизирован, параллельно с общенаучными дисциплинами изучается досконально военное дело в области артиллерии и военного воздухоплавания. Я вскоре узнал от Валентина, что ближайшие два лета он проведет в лагерях и после этого получит звание лейтенанта воздушного флота. Это сильно тревожило меня. Опасности лётного дела были слишком очевидны. Тяжело было думать и о том, что два лета подряд я не буду видеть моего друга, прекратятся наши излюбленные прогулки по лесам. Но сам Валентин был так рад своему поступлению, так счастлив, что одновре-

менно с наукой будет изучать и любимое им с детства военное дело, что я невольно поддавался его радованию и старался скрыть свою печаль и страхи. Я успокаивал себя лишь одним: во время войны Валентин, как крепкий и вполне здоровый человек, неизбежно пойдет на фронт; так уж лучше летчиком, чем пехотинцем — меньше тягот и трудностей, которые мучительны в окопной обстановке, а что касается опасности, то летчику грозит только смерть, а пехотинцу увечье, иной раз кошмарное... Внутри себя я твердо был убежден тогда, как и сейчас, что все для Валентина кончится не только благополучно, но и хорошо, т.к. беспредельно верю в его счастливую судьбу.

Итак, для Валентина началась вузовская жизнь. Прошло два года, идет третий. За это время многое изменилось. И кругом, и в нашей жизни. Трудно думать и писать связно о том, что еще не кончилось, что дышит и трепещет в самом непосредственном процессе своего бытия. Я мало что знаю о каждодневной жизни своего друга, там, в Москве, в кругу неизвестных мне людей. То, что он сообщает мне мельком, касается лишь внешней стороны. Это — события или важные, как вступление в комсомол, получение чина лейтенанта, назначение главой осоавиахимовской организации на всем факультете, удачный экзамен, хороший доклад, или же пустяки, вроде какого-нибудь товарищеского вечера с попойкой, или игры в карты с девушками по вечерам. Своей внутренней жизни мой друг мне не открывает. Я перестал в его глазах и в его душе занимать то место, что занимал раньше.

Его отношение ко мне изменилось. Это изменение шло постепенно; подпочвенными водами оно смывало все прежнее доверие и расположение, резкими взрывами порой заливало и засыпало последние огни в его душе и с декабря 1936 года определенно увело его от меня далече, в сторону. Я перестал быть для него исключительным другом, как бы вторым его «я». Я стал для него только старым учителем, который когда-то был дорог, а теперь более или менее близок в силу воспоминания, благородной благодарности и снисходительной жалости. Я вижу его не чаще раза в шестидневку, а иной раз значительно реже. Во время встреч он избегает говорить со мной так же откровенно, доверчиво и задушевно, как

это было прежде. Он многого не сообщает мне даже о своей внешней жизни, м.б. не желая не только слышать, но даже и чувствовать моего неодобрения или сомнения, проскальзывающего порой.

Судя по его недомолвкам или обмолвкам, я создал себе не слишком высокое мнение о его новых товарищах и друзьях. Достаточно было мне услышать о его планах зарабатывать побольше, чтобы «кутить и развлекаться», как он говорил, хотя и несколько шутливо, достаточно было подметить в нем стремление к франтовству в современном стиле или узнать от его мамы об иронически-снисходительных замечаниях его теперешних товарищей относительно его вполне приличной, но очень скромной блузы, в которой он являлся первые годы и которая, к слову сказать, весьма шла ему, делает его как-то выше, стройнее, одухотвореннее, — как я понял, какие люди теперь бывают с ним, как они в той или иной мере действуют на него, что его теперь увлекает и захватывает, о чем он мечтает, к чему стремится и что, в конце концов, из всего этого выйдет.

Та же самая волна, что могла захлестнуть его в старших классах школы, но, к счастью, не захлестнула, та же самая волна, только несравненно более мощная — к сожалению — достаточно сильно охватила его теперь и повлекла за собой. Тогда я еще мог как-то влиять на него. Теперь я с грустью отхожу в сторону и вспоминаю, как однажды в 10-м классе он сказал в разговоре с кем-то из товарищей, что неглупый человек сможет при благополучной обстановке самостоятельно изучить все то, что дает вуз, а иногда и больше того — в области гуманитарного знания — особенно если у него под руками богатая библиотека и, кроме того, в его распоряжении опытный и многознающий руководитель-друг. Теперешний Валентин этого не скажет. Не скажет и ничего даже в малейшей степени подобного этому. Разве только в глубине души иной раз в минуту раздумья у него шевельнется нечто, что заставит вдруг задуматься и загрустить хоть на миг о том, что он сознательно отбросил и забыл... Но это «нечто», возникнув непроизвольно, тотчас же исчезает, изгнанное голосом рассудка; вернее же всего, что шум каждодневного существования окончательно заглушил это «нечто», и оно лежит глубоко погребенное в тайниках души, не чая даже времени своего восстания из мертвых.

Мне очень хочется, чтобы все отрицательное, что я наблюдал и наблюдаю за последние два с лишним года в моем друге, оказалось временным и преходящим, чтобы я ошибся и преувеличил эти теневые моменты в силу своего ущемленного дружеского чувства! Я слишком хорошо помню прежнего светлого и умного человека, в котором преобладали исключительно благородные черты характера. Они и сейчас по-прежнему сохранились в нем и являются основой всего. Но разная наносная шелуха так залепила собой все подлинно глубокое и ценное, что оно пробивается только изредка, и притом сам Валентин не то боится, не то стыдится этих проявлений. Он всегда был натурой в высшей степени сенситивной, холерического темперамента, и необычайно ярко и остро воспринимал все те явления, которые его так или иначе сильно поражали. Событие, идея, образ — все это, встреченное ли в жизни, вычитанное ли в книге, способно целиком захватить его на некоторое время, иной раз даже на очень продолжительный срок. В нем неожиданно вспыхивает, порой, сильное чувство гнева, доводящее его до состояния аффекта, когда он, как бы зажмурив глаза и наслаждаясь этим состоянием и, в то же время, в отчаянии махнув на все рукой, отдается разрушительному вихрю, не мысля ни о причинах, ни о возможных последствиях. В тот момент ему не жалко ни других, ни себя. Точно так же проявляется в нем героическое самопожертвование и преданность по отношению к человеку, которого он любит вообще, а неожиданно вдруг так полюбит, что готов за него отдать жизнь. Своею жизнью он не дорожит нисколько (по крайней мере, так было до самых последних месяцев) и готов ею пожертвовать в любой момент, часто даже не задумываясь нисколько над такой расточительностью. Он мне говорил в свое время неоднократно, что готов жизнь отдать за В.М. (в которую был тогда влюблен), за Алешу В[ихляева] и Кирилла, т.к. первый спас его, когда он тонул, а второй тоже спас, когда он заблудился где-то среди пропастей ночью на Кавказе, наконец, за меня, хотя я и не сделал для него ничего похожего на предшествующие поступки. Я шутливо замечал, что ему не хватит жизни на все подобные случаи; что он, пожалуй, самоотверженно отдает свою жизнь тогда, когда можно было бы ограничиться меньшим, а когда придет

такой момент, что действительно надо отдать жизнь, его уже не будет на свете, т.к. жизнь-то все-таки у него одна!

Он весь — в этом всплеске, героическом самозабвенном порыве. Но я не знаю, насколько способен он на «великое в малом». Не красивым и гордым жестом жизнь отдать сразу, как бы драгоценную влагу одним взмахом руки выплеснуть из хрустальной чаши, а медленно, незаметно, день за днем, год за годом жить во имя кого-то или чего-то. Жить, а не умереть. Притом жить так, что в этом не будет ничего эффектного, а будет, пожалуй, трудности, мелочи, заедающие душу, самоотречение, покорность необходимости, часто мучительной и всегда скучной и нудной, когда видишь с каждым днем, что тебя и твое угнетают постепенно — и все это ради кого-то или чего-то.

Я не знаю, способен ли я на это. Думаю, что сознательно — нет. Но бессознательно, почти не задумываясь и не замечая, я сделал нечто подобное. Когда в 1919 году я отправился в Москву и попытался устраивать самостоятельно свою жизнь после разгрома Академии, то мне пришлось сталкиваться с самыми разнообразными людьми, масса самых неожиданных перспектив открывалась передо мной, — это была жуткая, тяжелая и в то же время сказочная пора, когда многое невозможное стало вдруг возможным — и притом я был молод, здоров, в расцвете сил. У меня частенько мелькали мысли отдаться этому бурному морю действительности, кинуться в него, чтобы или погибнуть, или выплыть победителем, но мне тотчас же представлялась фигура моей Мамы, одинокая, грустная, и... соблазны рассеивались.

Я видел, приезжая, как она тоскует без меня, как ей трудно живется, вспоминал, как она, не покладая рук, трудилась все время, чтоб вырастить меня и «вывести в люди», как обычно она говорила по-старинному. Я знал, что если я погибну, она этого не перенесет, но даже если и не погибну, а исчезну с ее горизонта года на 3-4, то тоже ей этого не вынести. Со своей больной ногой, она была беспомощна в обстановке тяжелых 1919-20 годов. Отец, подверженный алкоголю, ради этого покидавший ее на полгода, на год, а то и больше, не мог служить ей опорой; Крестная тогда сама еле перебивалась и еще содержала старшую сестру. И вот я решил

вернуться в Посад, жить, не разлучаясь с мамой, и отдать все силы на то, чтоб поддержать ее. Правда, мне нетрудно было это сделать: в Москве мне самому жилось не легко, я уже утомился тамошней суетней, с детства у меня была любовь к тишине и склонность к созерцательности, и вот я остался с тех пор в Посаде и прожил незаметно до сего дня. Я однако отчетливо сознавал и тогда, что, становясь библиотекарем и учителем, я получаю кое-какой твердый паек, обеспечивающий возможность не умереть с голоду мне и маме, получаю некоторое успокоение, но со всеми надеждами на будущее покончено раз и навсегда. Потом не раз я вспоминал об этом шаге, видя, как другие люди сумели продвинуться вперед, стать учеными, писателями, деятелями, на некоторое время чувствовал горечь, но, в конце концов, успокаивался. Мне казалось, что я выбрал ясный путь скромной безвестной созерцательной жизни, что мое творчество и моя мысль станет достоянием небольшого числа избранных друзей-учеников, что их привязанность скрасит мою жизнь. Я мечтал быть счастливым в тихом малом кругу. И не думал, что и здесь меня ждет тоже разгром и разочарование. Не знал до декабря 1936 года и последующих за этим лет, когда сразу все, что я строил, рухнуло и передо мной раскрылась черная ужасающая пустота.*

И вот я думаю сейчас: не потому ли Валентин отходил от меня, что он не хотел идти по такому пути? Он много со мной говорил раньше о жизни в «маленьком домике», среди природы, книг и мыслей. Теперь у него иные планы и мечты. Но если и суждено ему со временем снова захотеть этого, то там ему придется жить не со мной. Меня к тому времени не будет в живых. А сейчас он далеко отошел от таких планов. Я вижу в нем сильный порыв и размах. Плохо ли, хорошо ли, но он находит возможность проявлять себя так, как он этого хочет, только в Москве, в кругу своих новых това-

* Речь идет о запрете на преподавание в общеобразовательных школах, поскольку С.А.Волков не имел свидетельства о специальном педагогическом образовании. Это было для него подлинной катастрофой во всех отношениях, во многом определившей его дальнейшую жизнь, и боль эта не раз проскальзывает в его позднейших дневниковых записях.— *А.Н.*

рищей и друзей. Там, очевидно, ему хорошо и легко, там он живет. А я тяну его в тину провинциального застоя. Я сам оказался вне жизни, так нечего удивляться, что ему, полному жизненной энергии, со мной не по пути. Нечего огорчаться и тем, что он находит возможным часами говорить с К[ириллом] Ф[лоренским] и скучать в моем обществе: ведь тот тоже смотрит вперед, тоже молод и опьянен жизнью, а я обречен на неизбежную гибель. И московские товарищи, какими бы они ни казались мне порою, имеют передо мною огромное преимущество: пусть они невоспитанные и малокультурные недоучки, пусть в них много вульгарной самоуверенности (не скажу примитивной — ибо они восприняли всетаки некоторые элементы культуры, но больше дешевой современной цивилизации), пусть, наконец, никто из них так не любит и не ценит Валентина, как я, даже в самой малейшей степени — пусть! Они глядят вперед, как варвары времен Алариха и Теодориха, перед ними жизнь, и жизнь в них. Поэтому и Валентин с ними, а не со мной. Ибо в нем тоже жизнь, и перед ним должна быть жизнь. И жизненная его сила ведет его прочь от меня ему предназначенным путем.

А мне, *«мудрецу и поэту, хранителю тайны и веры»**, надо остаться в стороне, хоть это и смертельно. Надо устраниться и потому, что всегда я был странный для жизни человек, а теперь странником одиноким отправлюсь вскоре в ту страну, где нет ни печали, ни воздыхания. Пора приводить в порядок свои дела, мысли, чувства. Я так любил упорядоченность во всем — в жизни и в искусстве, что должен и умереть порядочно. Я так всю жизнь одинок! Многие друзья только мимолетно скрашивали мое одиночество. *«Иных уж нет, а те далече...»* Все сильнее с каждым годом и с каждым днем замыкается круг моего «внутреннего Тибета». Скоро он станет математической точкой — это моя душа. Я устал мыслить, чувствовать и жить. Я исчерпал, очевидно, всего себя. Моя Муза умолкла, моя память слабеет, и еле теплится внутри слабое дыхание жизни.

* Парафраза из стихотворения В.Брюсова «Грядущие гунны».—*А.Н.*

Болезни и печали, трудности и потрясения сделали свое дело. За последние два-три года я превратился в живой труп. Один еще сильный толчок — и всему конец.

Мне не жалко себя. Разве только в минуты слабости бывает, что горечью вдруг захолонет сердце. Но потом все проходит. Я спокоен. Холодный разум обдумывает и уточняет последние действия перед неизбежным концом.

Но есть еще душа и сердце во мне. Больше всего и чаще всего в жизни я любил быть и был любимым. Они (душа и сердце) говорят последние слова любви и приветы тому, что было дорого и мило мне в мой жизни. Милая моя Мама и Крестная — вы две матери, одна дала жизнь, и обе вырастили и воспитали меня. Природа-мать, я сын твой, тобой дышал, тебя любил и пел. Поэзия, искусство, философия, наука — вы освещали лучами небесными мой ум, радовали сердце, просветляли душу. Книги — вещественные сгустки мирового разума и мировой души — вы были истинными учителями и спутниками жизни. Академия и Флоренский, символисты, мистики, мечтатели, визионеры, поэты, музыканты — вы радость и цвет мира, учителя, наставники, друзья, любимые и родные! Все люди, что близко соприкасались со мною, своей добротой, участием, лаской, мудростью влиявшие на меня, все учителя, друзья, знакомые, ученики, товарищи — вижу, помню и благодарен Вам. И Вы двое, лучшие из лучших, самые родные, самые главные в жизни моей — Алексей и Валентин. О Вас последняя и самая горячая мысль, к Вам постоянная и неизменная любовь, Вам вечная преданность моей души!

Алексей создал меня умственно, дал радость и счастье юной дружбы и любящим руководством ввел в страну Муз, открыл мир символов.

Валентин солнцем осветил последние дни, преданностью укрепил, ласковой дружбой согрел, благородством утвердил меня перед испытанием. И бестрепетной рукой ввел в преддверие последних дней. Сейчас, когда болезнь и тоска смертная часто заставляет меня жаловаться и стенать, он делает все, что может, что в силах, чтоб только облегчить мой скорбный путь. Он вынес на себе мою тяготу и был всегда со мной. Он — мой цветок голубой, та сказочная роза романтиков, тот идеальный

первосимвол, к которому устремилась и устремляется моя душа в сумерках наступающего вечера. О нем последняя мысль, к нему последнее слово.

Сейчас ты как бы отошел от меня, но и издали греют мое стынущее сердце лучи твоей благородной души. Сейчас ты идешь своим путем. Так, очевидно, должно быть. Спасибо тебе за все, что ты без меры уделил, уделял, уделяешь мне. За последние 5-6 лет самое дорогое в жизни для меня — это ты. Мне больно и горько покидать тебя. Но я знаю, что скоро должен умереть. У меня нет больше сил, чтобы жить. Я еще хочу жить, но уже не могу жить. Самое печальное и мучительное — расстаться с тобой. Меня успокаивает то, что ты уже твердо стоишь на своих ногах. И теперь тебе не нужны не только мое руководство, но и даже моя помощь. Придет время, когда, м.б., я снова буду нужен тебе, но мне этого не дождаться. Тогда перечти все мое, что я оставлю тебе, если это будет цело. Или, по крайней мере, вспомни меня, мои мысли и слова. Вспомни всей душой, когда тебе будет трудно и ты почувствуешь себя одиноким и, может быть, пожалеешь, что меня нет возле тебя. И ты почувствуешь меня в себе, как я непрерывно имею тебя в себе. Тогда будет легче, и ты все поймешь.

Я знаю, что всегда останусь с тобой и в тебе. Ты меня почувствуешь и в полете осенних ветров, и в шуме ночного леса, и в морозном безмолвии зимних полей. Моим голосом заговорит с тобой огромное море, и моим молчанием застынут горы. Я буду к тебе обращаться творениями любимых мыслителей и поэтов, в музыке ты уловишь движение моей души.

А в осенние вечера, когда пламя закатов озолотит и обагрит безлистые рощи, в горьком запахе прели, в шелесте сохлых трав для тебя откроется вся радость и вся боль моего сердца, которое так страстно желало счастья и жизни. Тогда ты научишься побеждать страдание, ибо ты больше и лучше меня.

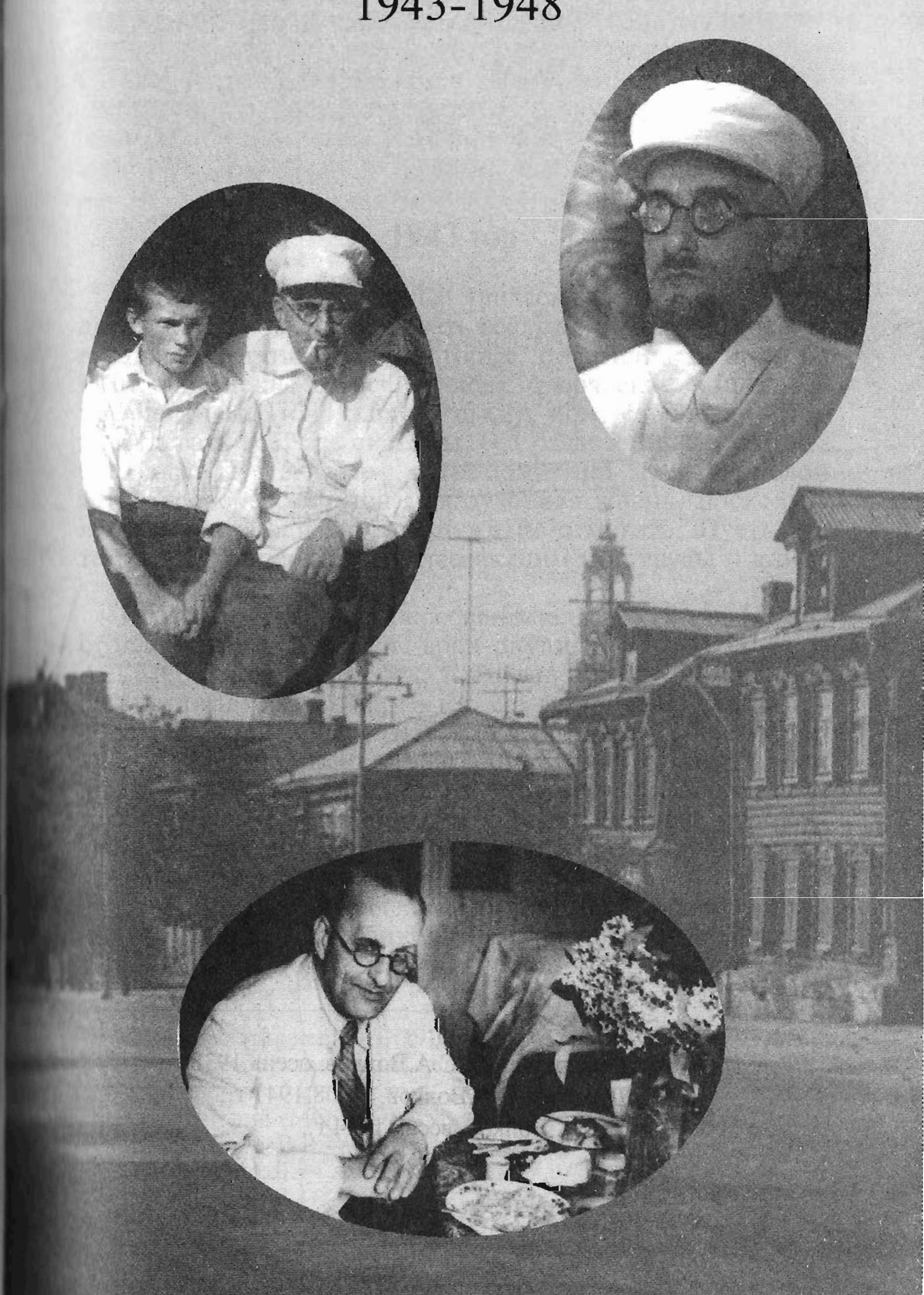
Ты будешь счастлив в жизни. Я абсолютно верю в это. Обо мне не жалей, не тоскуй, не плачь. Мир велик и обителей в нем много. Для вечности одинаковы и миг, и многие десятки лет. Не торопись. Помни меня и мое. Будь самим собой. Я унесу тебя в себе и в тебе останусь.

Когда же минет твой срок, мы встретимся снова в осиянии блаженнейшего света, чтобы не расстаться уже никогда.

Смерть и время царят на земле.
Ты владыками их не зови:
Все, кружась исчезает во мгле,
Неподвижно лишь солнце Любви!

3 ноября 1938 года.

Из дневника
1943-1948



На обороте, сверху вниз: С.А.Волков, осень 1938 г.;
А.П.Дурнов и С.А.Волков, 10.08.1941 г.;
С.А.Волков, весна 1954 г..

1943 год

11.3.43 г. Поздно ночью явилась мысль снова* вести дневник. Причем, записывать всё: стихи, мысли, впечатления, названия книг, которые поразили, цитаты из книг, житейские встречи и дела, творческие замыслы и перспективы. Пока живу и дышу, пока свободен — запечатлевать всё, без системы, без разделения по разным тетрадям. Пусть в этом нагромождении моей черновой тетради сосредоточится моя духовная жизнь, поскольку я ее примечаю и считаю нужным отметить. Пусть эта тетрадь будет зеркалом, отражающим мои труды и дни.

13.3.43 г. Утром на переосвидетельствовании. Не состоялось, т.к. заболел врач-окулист. Потом был у А.Д.Меркуловой. Пообедал. Разговоры о А.И.Лаврове, об обстановке его смерти и о семье учителя Александрова. В скит** шел с Верой Робертовной*** и Андрюшей****. Меня трогает привязанность мальчугана. Каким нежным я мог бы быть отцом! Дал ему несколько картофелин из «дара Харпцо», а то мать говорила, что сейчас у них плохо. С В.Р[обертовно]й разговор в пути о японском искусстве, Рёрихе и т.п.

Вечером перед обедом в МООСО просматривал книгу И.Тэна. (Ипполит Тэн. Путешествие по Италии. Пер. П.П.Перцова, т. 2. Флоренция и Венеция. М.,

---

* «Московский дневник» (1918-1920 гг.) не сохранился.— *А.Н.*

** Бывший Гефсиманский скит, в котором тогда размещались учреждения Московского областного отдела социального обеспечения (МООСО), курсы, больница и пр.— *А.Н.*

*** Никитиной В.Р.— *А.Н.*

**** Никитин А.Л.— *А.Н.*

1916.) Какая прекрасная вещь! Вот у кого учился Муратов как писать «Образы Италии»... Но у Муратова больше тонкости, глубины и лиризма. Это потому, что наш век утонченнее и совершеннее, нежели пора позитивизма и дарвинизма, в которую жил Тэн. И Муратов, кроме Тэна, имел в числе своих учителей У.Пэтера и Вернон Ли, а также Симондса (которого я, к сожалению, не читал, т.к. не знаю по-английски). Книгу взял у Ж.Конева. Ему тоже она нравится меньше, чем «Образы Италии». Точно так же Ромэн Роллан и Франс мне ближе, чем Флобер и Ренан...

Я один в скиту. В.И.Овитовский в Москве. Я съел сразу все свои порции завтрака, обеда и ужина. Сижу, просматриваю книгу Тэна, делаю выписки. На плитке варится картофель. У меня есть еще кусок черного хлеба. Закушу еще немного, и можно будет ни к кому не ходить: сыт, незачем побираться...

Я вполне согласен с Тэном относительно угнетающего влияния огромных государств. Проблема «великого в малом» и скудости почти всякого внешнего величия занимает меня уже давно. Здесь надо найти какую-то гармонию в соотношении отдельных частей и целого, чтобы современные империи, превращаясь в дружественные федерации совершенно независимых малых государств, смогли возродить самостоятельную жизнь областям. Тогда сойдут на нет вампиры-метрополии, ослабеет рознь и вражда между городом и деревней, и личность перестанет болеть индивидуализмом среди стадного скопления столиц или в запустении и бесцельности провинций. Это я почувствовал сильно, читая книгу И.Эренбурга «Виза времени» (изд. 2-е, доп., Л. 1933), особенно главы, посвященные Швеции, Норвегии и Дании. Несмотря на иронию автора, который, подобно всем советским путешественникам и публицистам, смотрит на буржуазный мир со своей недосягаемой снисходительно-социалистической крутизны, само повествование невольно вскрывает те скрытые источники благосостояния и счастья, которые свойственны обитателям малых стран и которые неведомы и недоступны подданным грандиозных империй, пребывающим в состоянии обезлички и депрессии. Об этом мне стоит подумать для моей книги «Возрождение Европы»...

«Давление традиции» — вопрос, поднятый еще в свое время футуристами. Они создали около него большую шумиху. Все их высказывания негативного порядка очень искренни и справедливы. Но то, что они противопоставили «культурному наследству», слишком жалко и кустарно, несмотря на их вопли об индустрии, технике и всяческие попытки казаться грандиозными. Более глубоко эта, чисто руссоистская тенденция выражена в замечательной книжке Вячеслава Иванова и М.О.Гершензона «Переписка из двух углов» (изд. «Алконост», Пг., 1921).

И что же? Оба правы. Есть разные пути. Один совлекает с себя ризы ветхого Адама и стремится заново создавать вокруг себя мир. Другой благоговейно приемлет писания и предания пращуров земли и провидит в них неувядаемое цветение высокого порыва единого человеческого духа. Оба пути должны равно существовать. Оба ведут к единой цели: познанию мира и человека, пересозданию мира и человека на основе высших духовных истин, будь они восприняты как некая скрижаль, врученная свыше, или как извечно свойственное человеку откровение изнутри. В одном случае преобладает свежесть, непосредственность, сила и простота; в другом — насыщенность, глубина, изобилие и полнота. И обоим видам творчества свойственна на высоких ступенях достижений посильная для человеческих возможностей устремленность к совершенству, выражающая святая святых его души...

Пока кончаю. Пора идти домой*. Там сегодня тепло. А ночью при звездах и блеске узкого молодого месяца по слегка подмерзшей и хрустящей дороге так хорошо идти, погрузившись в свои думы и изредка отрываясь от их плавного течения, чтобы еще и еще раз взглянуть кругом и с восторгом в душе благословить мир и Бога за несказанную красоту и милость.

14.3.43 г. Утром к 10.50 — в МООСО. Дивная погода. Солнце, легкий морозец. Ясно на небе и на душе. Три урока, обед и завтрак вместе. Маленькая радость: к завтраку миниатюрный кусочек сливочного масла, а на

---

* Т.е. в Загорск.— *А.Н.*

обед — второе — омлет. Кроме этого — одна серая капуста. С 4-х до 10-и у Коневых. Отличный по нашему времени обед, затем патефон с песенками Вертинского, романсами Козина, фокстротами. Легкий разговор; наконец, чтение отрывков из путевого дневника ГАЛа*. Вечером дома, у себя. Мой привычный уют, покой и относительное тепло — десять градусов по Реомюру. Удобная постéль, которой мне так не хватает в МООСО, ясные и радостные сны.

17.3.43 г. Вчера определенно говорилось о том, что Военная академия** уже переезжает, и нам придется скоро менять свое местопребывание. Еще неизвестно, куда мы будем выселяться. Хорошо, если в Абрамцево, а не в санаторий имени Загорского. До последнего — 15 км от города. Пешком часто не походишь. Всё это тревожит, как и известия с фронта, особенно печальная новость о взятии Харькова, как и сведения о новой мобилизации, которая может неожиданно захватить и меня, т.к. говорят, что все льготы по зрению отменены. В полном смысле слова *«грядущие годы таятся во мгле»*. И даже не годы, а месяцы, недели и даже дни... Поживем — увидим. Я ко всему так привык, что уже не удивляюсь никаким неожиданностям. Вчера вечером был у А.И.Леман. Немного участия, немного хороших душевных слов, — и все стало как-то легче на душе. *«И нам сочувствие дается, как нам дается благодать...»**** Ночевал дома. Было тепло и хорошо...

С утра сегодня было только три урока. Они пролетели быстро. Пообедал, сварил себе 4 картофелины и съел их сверх обеда с черным хлебом и солью. Все было очень вкусно, даже серая капуста за обедом. Чувствую себя сейчас неплохо. На душе ясно, несмотря на мрачные угрозы жизни. Какая-то тайная сила изнутри внушает мне уверенность, что я всё переживу, выживу и дождусь лучших дней...

---

* Лицо не установленное, по-видимому, Г.А.Лебедев.— *А.Н.*

** Военная академия им. М.В.Фрунзе, захватившая сначала комплекс быв. Гефсиманского скита, а затем и обширные окрестные территории. — *А.Н.*

*** Из стихотворения Ф.И.Тютчева *«Нам не дано предугадать...» — А.Н.*

18.3.43 г. Пишу в перерыве между уроками. Завуч Новиков совещается с директором. Последний, м.б., привез из Москвы новости относительно нашего скорого переезда на новое место. Хорошо было бы, если бы это было Абрамцево!... Вчера вечером шел мимо Лавры к В.И.Печалину. Сколько дум проплывало в уме! Но разве их расскажешь кому-либо? Надо, чтобы собеседник был созвучен тебе, чтоб его мироощущение было проникнуто той же мелодией, что неумолчно поет во мне, несмотря на недомогание, утомление и болезни. А таких людей около меня совсем нет. Если бы они были, то я был бы счастлив, несмотря на все горести текущих дней!

19.3.43 г. Новиков сообщил, что нас должны перевести в санаторий им. Загорского. Это — в 15 км от города. Я в отчаянии. Совсем придется распроститься с моей комнатой. Будет трудно чаще 2-х раз в месяц посещать ее. Это значит надолго засесть в глуши, без людей, без книг.

Есть малая надежда, что удастся устроиться в быв. Черниговском монастыре, в помещении детского дома. Дай-то Бог! Об этом мечтаю, как об огромном счастье. Завтра иду на переосвидетельствование. На душе спокойствие и равнодушие. Гораздо более волнует возможность переселения в санаторий. Читаю с интересом книгу В.В.Розанова «Природа и история». Продолжаю выписки из И.Тэна.

20.3.43 г. На военном переосвидетельствовании снова освобожден по зрению (5-й раз с 30.3.42 г.!). Вопрос о нашем переселении все еще висит в воздухе. Всей душой мечтаю остаться в быв[шем] Черниговском монастыре. Сейчас иду в город, сначала к Алеше Вихляеву, а потом домой. Завтра вечером у Ж.Конева.

21.3.43 г. Перечитываю вторично книгу Франсиса Карко «От Монмартра до Латинского квартала» (изд. «Прибой», Л., 1927). Любопытна жизнь парижской богемы. Много легкости, но мало серьезности. Впрочем, это объясняется молодостью. Серьезность ведь приходит с годами. Мне вспоминается пленка «Под крышами Парижа» из одноименного кинофильма, которую я очень

люблю. Она, по-моему, очень хорошо передает всё изящество и элегантность облика парижской улицы и толпы; есть в ней легкая нотка меланхолии, свойственная старинным городам и древним цивилизациям, в то же время большая бодрость и жизнерадостность, та исключительная способность «s'amuser»*, которая так присуща французам.

Сейчас дам еще один урок и иду к Жене Коневу. Там ждет меня вкусный обед (великое дело в наши дни!), а потом интересный разговор и музыка. Среди пластинок патефона мои любимые: соната Брага, песенка «Листья падают с клена» и эта самая мелодия «Под крышами Парижа» со словами на немецком языке: «In Paris, in Paris ist die Fruhling so süss...» **. Становится легко, когда прослушиваешь ее и улыбаешься своей безвозвратно ушедшей молодости...

22.3.43 г. Вчера вечером узнал от А.И.Леман, что А.Ф.Павловский принял священство и вскоре поедет на 11-й завод, где вновь открывается церковь, которая и будет его местом служения. А.И.Леман слышала об этом от Н.Л.Тихомировой, дочери известного Льва Тихомирова, которого я когда-то хорошо знал в бытность его делопроизводителем школы имени М.Горького (бывшей Сергиево-Посадской мужской гимназии). Я был в то время (1921-23 гг.) уже в ней учителем, а «Лев» или «Карл Маркс», как, к его огромному неудовольствию, прозвали его ученики, заканчивал там свое жизненное странствование, начавшееся в обстановке «Народной Воли». Тогда же и там же познакомился я и с А.Ф.Павловским. У него прежде была своя гимназия в городе Ельце. Но после февраля 1917 года его, как монархиста, сняли с директорского поста и перевели простым учителем в Сергиев посад. Тут он уже порядочно юродствовал. Интересно, сохранятся ли эти городские черты в нем после того, как он станет священствовать? Н.А.Тихомирова говорила, что нашла его просветленным и умиротворенным после принятия священического сана. Любопытно будет с ним встретиться. Скажет ли он что-нибудь мне? Пока всё это, по словам А.И.Леман, держится в большой тайне.

---

* Развлекаться, радоваться (фр.).— *А.Н.*

** «В Париже, в Париже так сладка весна...» (нем.).— *А.Н.*

Интересно для меня также и то обстоятельство, что кое-где стали открываться опять закрытые было церкви. Что это? Случайные ли проявления некоторой незначительной толерантности партии и правительства по отношению к религии, явившиеся в результате воздействия со стороны Англии и Америки, которые вообще всегда были склонны к ханжеству, или же своего рода НРП, новая религиозная политика, вернее — первые ее ростки, и как долго все это продержится и в какие выльется формы? Интересно с этим сопоставить различные поздравления и пожертвования со стороны православных митрополитов и служителей других культов, а также ответы им Сталина. Очень уж подобострастен стиль у всех этих «духовных» персон. Как сказываются вековые навыки рабства! У людей совсем не осталось чувства собственного человеческого достоинства и малейшей капли уважения к своему высокому сану. Раболепствуют так же, как их древние предшественники перед татарским, а затем перед московским ханом. Неблестящая перспектива у православной Церкви с такими пастырями. А какие будут дальше?! Ведь А.Ф.Павловский, несмотря на все его юродства, все же человек с высшим гуманитарным образованием, начитанный в церковной области, знаток уставов, и все же личность, обладающая некоторыми принципами и характером. Это для современной Церкви ценное приобретение. А кто вообще теперь становится священниками и даже архиереями? Дельцы, проходимцы, карьеристы, или же тупицы и ничтожества... Грустная картина падения вековой силы. Sic transit gloria mundi!*

21-го марта взял у Ж.Конева книгу академика Е.Тарле «Наполеон». (ОГИЗ, Госполитиздат, 1941, s.l.) Читаю. Очень интересно. Мне надо ознакомиться с биографией Наполеона и постараться вникнуть в его психологию. Раньше я как-то не интересовался им нисколько. Теперь в связи с современными событиями его жизнь и дела приобретают особое значение и помогут разобраться во многом, что окружает нас в эти дни.

Вчера получил письмо от Георгия**. Грустно мне за него. Опасность надвигается большая, а внутри у него, я

* «Так проходит мирская слава» (лат.).— *А.Н.*

** Лебедева Г.А.— *А.Н.*

чувствую, пустота и холод. Как бы хотел я его видеть и ободрить, внушить ему свою веру в жизнь и надежду на лучшее будущее!...

Это письмо всколыхнуло мои мысли и о Георгии, и о Саше*. От последнего нет вестей уже 10 месяцев. Я начинаю думать, что его нет в живых. Эта мысль пока не стала еще уверенностью, и поэтому я не испытываю сильной боли. Кроме того, ежедневные заботы и вся мелкая жизненная суета отвлекают. А вот когда придется задуматься всерьез над этой неотвратимой утратой, я знаю, меня ждут часы и дни самой мрачной тоски и отчаяния. Слишком я люблю моего милого юного поэта. И жизнь без него, без надежды когда-либо снова увидеть его или, по крайней мере, хоть узнать о нем что-нибудь, вообще знать, что он жив, — эта перспектива для меня кошмарна. Теперь же к этому прибавляется тревога и мука за моего милого Жоржа. Видно, что тяжко ему приходится. Даже в подписи стоит «Егор» или иной раз и «Егорка». Это лишний раз свидетельствует о его внутреннем опустошении. Я вспоминаю, как Жорж любил книги Олдингтона «Смерть героя» и особенно — «Все люди — враги». Тогда он не думал, что ему придется переживать то же самое, что заставляло в свое время страдать героев этих романов, эту ненавистную и отвратительную бойню, которая превращает людей или в свирепых зверей, или в беспомощных и обреченных скотов...

23.3.43 г. Сейчас пронесся слух, что нам, м.б., придется-таки ехать в санаторий имени Загорского, т.к. детский дом, в помещение которого мы собирались вселиться, не хочет туда отправляться, а требует формального выполнения постановления Совнаркома, т.е. переезда школы инвалидов в назначенное место, в санаторий. Начальник МООСО Медведев и председатель Загорского горсовета Павлов поехали хлопотать в Москву о переводе детского дома и о нашем вселении в его помещение. Результаты пока неизвестны. А эти колебания, перемены, исправления и различные слухи отвратительно действуют на нервы. Уже инвалиды ворчат, что они не поедут в такую даль и глушь. Они прекрасно понимают, что тогда на загорский рынок не прогуляешься,

* Дурнов А.П. — *А.Н.*

как это они делают сейчас почти каждый базарный день. Слышно теперь, что больницу, которая помещается в нашем корпусе, переводят в Царьдар, в помещение тамошнего туберкулезного санатория*. Сейчас пойду к завхозу больницы В.Р.Никитиной. М.б., узнаю что-нибудь более определенное. Да надо вернуть книги, взятые у ней:

1) Гумилев Н. Мик. Пг., 1921.
2) Гумилев Н. Фарфоровый павильон. Пг., 1922.
3) Гумилев Н. Стихотворения. Пг., 1923.
4) Гумилев Н. Тень от пальмы. Рассказы. Пг., 1922.

С удовольствием перечитал всё это. Только поэма «Мик» мне не понравилась. В ней нет единства внутреннего стиля, и есть нечто, роднящее ее до некоторой степени с юношеской приключенческой литературой, которой я не люблю. Стихи посмертные очаровательны.

Изумительное действие оказывают на меня стихи. Я способен ими опьяняться, как вином, ароматами или любовью. И сильнее всего меня захватывает творчество тех поэтов, у которых в основе лежит мысль. Недаром первым пленил меня такой мудрец, как Тютчев, и с этим Вергилием я пошел странствовать по волшебной стране поэзии. Поэты-мудрецы, философствующие в своих художественных образах, превращающие лирику в собрание глубоких и поразительных афоризмов, а поэмы — в своеобразные ритмованные схолии, мне близки. Они отвечают самым интимным и насущным запросам моей души. Последователи «чистого искусства», ценящие лишь бесстрастную, прекрасную внешность вещей, кажутся мне недостаточно пленительными: всякий формализм, как таковой, мне чужд, хотя я ценю безукоризненную форму и не люблю «идейных» авторов, у которых идея развивается за счет формы и превращает художественное произведение в какую-то тенденциозную проповедь или пропись. Только идеальный синтез формы и содержания, пронизанных глубокой и потрясающей ум и душу идеей, способен создать шедевр, который столь же необходим для меня в жизни, как и хлеб насущный.

---

* Теперь — территория поселка Лоза.— *А.Н.*

И вот Гумилев, возглашавший в свое время в качестве мэтра акмеизма возврат к первобытной простоте поэзии, ставивший им в пример *«великого номенклатора Адама»*, отрекавшийся от усложненности и глубокомысленности символистической углубленности, — и в его посмертных стихах чувствуется мистическое веяние. Интересно было бы узнать, как дальше пошло бы его творческое развитие?

Грустно думать, что такие поэты, как Пушкин, Лермонтов, Гумилев и Есенин ушли в самый разгар своего поэтического дела, не исчерпав, м.б., и десятой доли своих творческих возможностей, лишив, таким образом, нас целого ряда великих созданий... Если бы им долговечность Гёте и Льва Толстого! Неисповедима воля судьбы. Она дает долголетие какому-нибудь Боборыкину и прерывает безумием жизненный подвиг Ницше. И все-таки, несмотря на такие явные нелепости и, можно сказать, несправедливости рока, я чувствую, в общем, некую закономерность в мире литературного бытия. Есть незримая глазу, но явная внутреннему чутью тайная связь между поэтами разных стран и всех времен, которая ведет непрерывную цепь преемственности от Гомера до Пруста и Андрея Белого, от Сафо до Анны Ахматовой, от Эсхила до Ибсена и Метерлинка. Все они составляют как бы особое тайное, эзотерическое братство, наподобие розенкрейцеров, масонов или теософов, но только более прекрасное и истинное, более благородное и благотворное. Я сам неоднократно чувствовал и чувствую свое родство с теми или иными авторами, отдаленными от меня не только пространством, но и временем, а также национальностью, расовой или классовой природой, положением, возрастом, воспитанием, жилищными условиями. В душе есть что-то такое, что сразу, после первого же знакомства, роднит меня с ними, заставляет любить их, верить их откровениям, подчиняться их авторитету и вызывает созвучные отклики в моих мыслях, переживаниях, творчестве...

24.3.43 г. «Евангелическая церковь» Гумилева по своему духу близка стихотворению Тютчева *«Я лютеран люблю богослуженье»*. Здесь так же подчеркнута рационалистичность лютеранства, его основное свойство религии отвлеченной мысли, очищенной от обрядового вс-

ликолепия; религии, остановившейся на пороге пантеизма и даже атеизма, и в то же время бесконечно удовлетворяющей ненасытность человеческого разума: *«Так может мертвый лечь в могилу, так может сын войти к отцу»*. Но эта отвлеченная, хотя пока еще христианская, рационалистичность, оторвавшись от реального обожания и обожествления всего реального и пренебрегающая всем тем, что делает осязательным мир веры, иссушает человеческую душу. Вместо живого и непосредственного миросозерцания и мироотношения появляется искусственная гносеология, хотя сохранившая пока еще христианские черты, но она уже не включает в себя любовно всего мира со всеми его вещами и явлениями в их прочной и ощутительной жизненности. Мир для этой гносеологии лишь предмет познания; бездна между познающим субъектом и внешне покоящимся или движущимся объектом не покрывается никаким мостом: *«мир стал нем, предметы мира убегали, их будто не было совсем»*. Вывод ясен: *«Последний раз вы молитеся Богу...»* Мне всегда был близок порыв лютеранства — лично, без посредников приблизиться ко Христу и своими силами найти свой путь жизни. Но мне всегда претило это отсутствие культа в протестантизме, как и во всяком сектанстве. Здесь я чувствую нечто безжизненное, безóбразное и потому неизбежно чуждое и безобрáзное. Своим путем, сам, без понуждения, но, м.б., и без содействия, я готов придти ко Христу, но хочу его видеть в Церкви и сам найти добровольно свое место в Церкви. Отсюда и моя резкая критика Церкви вообще и русской — в частности: я слишком люблю ее, чтобы не болеть за нее, не страдать ее язвами.

Любопытны размышления Гумилева о войне. Здесь нет никакого шовинизма и империалистического задора, которые так щедро приписываются этому поэту советскими литературоведами. Он не хуже Некрасова говорит о горькой участи тех, кого война стерла в прах. А в конце концов предвидит саморазрушение цивилизации и самоистребления старого человечества, очищающего место новой первобытности новых дикарей. Этот мотив, независимо от Гумилева (тогда я этого стихотворения не знал), выразился у меня в стихотворении *«Я стою на иссщербленном камне»* (в книге «Lege artis»). Сейчас я еще острее переживаю аналогичное чувство, но думаю, что даже эта война еще не разрушит мировой цивилизации,

хотя сильно подсечет ее древние корни. Это сделают будущие неизбежные войны, которые, м.б., к концу XX века будут несравненно тяжелее и ужаснее, нежели то, что мы видим сейчас вокруг себя. Заслуга Гумилева в том, что он предчувствовал и предугадал этот кошмар уже в 1915 году...

Когда-то Владимир Соловьев писал о триаде, которая должна руководить народом в его историческом бытии: царь, первосвященник и пророк. Реальная действительность подтверждает эти мечты великого русского мыслителя. Царь должен быть вождем своего народа, не ограниченным никакими конституциями, но морально глубоко ответственным перед страной и народом, живущим и действующим только во имя народа и родины. Не таково ли теперь положение Сталина, а в свое время — Ленина? Их власть была и есть сильнее и автократичнее власти любого из самодержавных императоров, но она сильна и неколебима только основой народа.

Первосвященником будет тот руководитель духовной жизни народа, кто соединит в одно целое веру и знание. Религия, включающая в себя всю науку и благословляющая все ее неисчислимые пути, и наука, как дитя, любовно покоящаяся и возрастающая в материнских объятиях религии, совместно устремят свои усилия в деле организации мира душевного и благоустроения духовного в душе человека, и глава этой новой религии и будет первосвященником человечества. А творцы искусств, провидцы тайн, провозвестники голосов иных миров, — поэты, художники уже и теперь стали пророками человечества.

25.3.43 г. Мы остаемся! Школу переводят в помещение детского дома. Мы будем жить в бывшем Черниговском монастыре и в далекий санаторий ездить не придется. Это сразу создало мне бодрое настроение. И на улице, точно в аккорд со мною, проглянуло солнце после двух хмурых дней со скверным северным ветром.

Писал продолжение «Эрмитажа» — главу «Мое житие», часть 2-ю «Утренняя заря»*. Я уверен, что для меня уже наступил перелом в жизни. Черные тени, обуяв-

---

* Судьба рукописи не известна.— *А.Н.*

шие меня с 1937 года и грозившие погубить накануне войны и в первый ее год, начинают понемногу рассеиваться, и хотя кругом еще довольно тоски, мрака и бедствий, на горизонте проблеснули ало-золотые полосы зари, возвещающей приближение ясного дня новой жизни. Я в это верю. Я это чувствую всеми тайными глубинами своего существа. А сейчас надо использовать каждый свободный миг — видеть, слышать, восхищаться, впивать в себя все потрясающее многообразие мира и писать, писать! Чтобы потом, когда снова будут около меня мои родные Александр, Георгий, Евгений* и другие друзья,— открыть им все, что я изведал и пережил...

27.3.43 г. Сегодня получил у директора МООСО разрешение на диетическое питание в течение 3-х дней. Надеюсь, что отсутствие черной капусты немного улучшит мои силы. Чувствую себя неважно. Только бы не заболеть! В.И.Овитовский в хлопотах. Приходил сегодня, Увез из дома продкарточки, по которым предстоит получать продукты завтра. Завтра рано утром едет опять в Москву, а сейчас носится по разным местам, получая молоко и картофель. У него устраиваются дела в Москве. Там он будет получать значительно больше, чем здесь, и поэтому, как я предвижу, недолго пробудет на этом месте. Малейшая размолвка с директором Харпцо (а она может произойти в любую минуту!) — и он укатит тотчас же. Мне надо будет озаботиться, чтобы сохранить за собой право иметь свой угол при школе. На всякий случай такой pied-a-terre** мне безусловно необходим. Мне будет жаль, если он уедет. Мы жили с ним неплохо, и хотя он по всему своему складу совершенно мне противоположен, я все-таки к нему сильно привык.

Вчера вечером у себя дома при коптилке начал перечитывать «Темный лик» Розанова. Жуткая книга! Таковы же его «Люди лунного света». По-моему, за последние несколько столетий он и Ницше — самые сильные, самые опасные враги христианства. Вся критика остальных — детский лепет и бросание мелких камешков, тог-

---

* Конев Е.А.— *А.Н.*
** Временное убежище (фр.).— *А.Н.*

да как эти двое низвергают на церковь и даже на идеальное христианство громы и молнии, подтачивают самые [его] корни — Евангелие, не оставляя камня на камне от того, что казалось незыблемым навеки.

На меня еще в 1916-1917 гг. сильно, почти ошеломляюще подействовали эти два автора. Но тогда я был молод и с легкомыслием молодости не останавливался долго на этих жутких проблемах. Теперь же, когда прожито полжизни, а, может быть, и значительно больше, когда ум тянется только к подлинному знанию и желает углубляться в суть, отклоняясь от всего случайного и поверхностного, — теперь эти мысли тревожат и заставляют задумываться, искать выхода из открывшегося тупика.

Странная вещь: когда я читаю Ренана — я на стороне Христа и христианства. Тем более, когда я читаю такую вещь, как «Марий Эпикуреец» У.Пэтера. Тихое веяние света вечернего — угасающего античного мира, сливается с утренней зарей — нарождающимся христианством. Еще нет дикой аскезы Сирии и Египта, не появились лицемерные или безумные богословские утонченности и хитросплетения тяжеловесной Византии. Все дышит ясностью, прелестью и чистотой ранней весны. Здесь христианство — первоцвет, неповторимый никогда впоследствии в широком масштабе и доступный, может быть, лишь отдельным кристально-чистым душам Сергия Радонежского или Франциска Ассизского. И это христианство так близко мне. Иногда, впрочем, думается, не вымышлено ли оно такими людьми, как Ренан, Пэтер или Амиэль? Последний своим интимным дневником тоже значительно усилил мою любовь к ясному и душевному христианству кротких людей, которое так не похоже на суровое учение всяческих церквей. Мне легко и отрадно дышать и жить в этом тихом свете святой славы, который не грозит, не проклинает, не горчит радости мира. И если в нем есть легкая нота грусти осенней, то это лишь увеличивает и углубляет сладостную остроту приятия этой скоропреходящей, часто трудной и даже жестокой, но, в основном, — милой и желанной земной жизни. Мое языческое пристрастие к Матери-Земле с ее полнотою и красотою не попирается таким христианством, а приветствуется, углубляется и возвышается во имя высшего вечно начала.

Но когда передо мной возвышаются стены и башни града церковного со всеми рвами, укреплениями и бой-

ницами, с его стражами, вооруженными до зубов, готовыми сокрушить нечестивых (а нечестивые все те, кто хоть на йоту уклоняется от каменной и давящей дух догмы!), — то мне становится не только досадно, тяжело и больно, хуже — я начинаю чувствовать полное безразличие! Равнодушное спокойствие овладевает душой, и она безразлично проходит мимо этих воплей и этого скрежета зубовного: это — не её мир, он ей противен, жалок и чужд. Она идет своим путем тихих дум, прекрасных озарений, мудрых созерцаний и кротких благоговений.

Во мне живет заветная мечта синтеза, синтеза язычества и христианства, платоновского идеализма и евангельской задушевной красоты. Эти мечты сквозят и в «Юлиане» Мережковского и в «Алтаре Победы» Брюсова. Они почти осуществлены в «Марии Эпикурейце» Пэтера; во всяком случае, если их нельзя вполне осмыслить, то можно вполне почувствовать в благородных образах и проникновенных словах этого исключительного романа. И мне думается, что если бы я смог когда-нибудь выразить всё то, что я мыслю по этому поводу, то получилась бы неплохая поэма.

Сильно тревожат меня мысли о самой сущности христианства. Во-первых: кто был Христос? Был ли он действительно Мессией, исполнившим иудейский Закон и превзошедшим его, или — великим Разрушителем этого Закона и создателем своего, не имеющего никакой связи с духом предшествовавшего? И не прав ли в своей безумно-дерзкой догадке Розанов?!

Во-вторых: не является ли христианство фактом провинциального порядка, геономическим только, а на других планетах — всё иначе, совершенно не похоже на то, что было и есть у нас? Тогда возникают вопросы: как и что там есть и было? Не являются ли Бог и Христос лишь эонами, как об этом мыслили гностики? А если и на тех планетах был аналогичный процесс творения, грехопадения, искупления, то не будет ли тогда это слишком банальным и механичным, почти штампованным для мировых беспредельных пространств и времен?

Вот эти проблемы, которые атеистам покажутся нелепыми и ненужными, а фидеисту-догматику дерзкими, безумными и богохульными, часто занимают мою мысль. В одной из них я встречаюсь с Розановым и то

соглашаюсь с ним логически, то душевно отталкиваюсь от него, а относительно другой я нигде, ни у одного автора не встречал никакого намека. Обе проблемы жизненно важны для меня. В зависимости от их осмысления и переживания в себе я чувствую себя то верующим, то неверующим, а чаще всего — скептиком, бредущим по раскаленной пустыне с томящей, но неутолимой жаждой знания и веры...

30.3.43 г. Ночевал в скиту. Было тепло — накануне крепко истопил печь. Но, очевидно, был угар, т.к. сегодня утром у В.И.Овитовского сильная головная боль, а у меня головокружение. На улице седой туман. Небо серое. Совсем не похоже на весну. Во сне видел, что чуть-чуть не был раздавлен поездом, стоя около изгибающейся стены, возле которой проходили вагоны. Испытал большой страх. Вчера вечером докончил чтение книги Розанова «Темный лик». Изумительная, гениальная вещь! Действительно, до него никто так не мыслил и не писал о христианстве. И какие страшные мысли он возбуждает в уме! Не об этом ли он впоследствии писал в «Уединенном»: *«Я мог бы потрясти мир и залить его кровью...»* (передаю слова приблизительно, на память)*. Сейчас у меня слишком тяжелая голова, но потом, м.б. сегодня же вечерком, я запишу всё то, что думаю по этому поводу.

31.3.43 г. В.И.Овитовский залил мне сегодня мои галоши, и я счастлив и благодарен ему бесконечно. Вспоминаю, как хлюпал ими вчера вечером домой... Тяжко. Ноги мокрые, на желудке пусто, дорога скользкая, кругом темно. Была какая-то повышенная безрадостность. Больше — абсолютная тоска. Не хотелось даже думать ни о чем. Так все стало противно и чуждо. Я чувствовал полное одиночество. Никому до меня нет никакого дела. Всю жизнь я старался найти близких людей, чтобы было легче пережить тяготы этой жизни. И в результате, в тот миг, когда стало особенно тяжело, я вижу, что большинство тех людей, которых я мог бы с некоторым основанием считать близкими, на самом деле оказываются и чужими, и чуждыми. Я не хочу обвинять никого, но мне больно и грустно констатировать

---

* Цитата не найдена.— *А.Н.*

этот факт. Теперь мне многое становится понятным, в том числе и отношение Валентина* ко мне за последние годы. Здесь, очевидно, есть нечто врожденное. И когда я сравниваю его с Женей Коневым, которого я раньше любил гораздо меньше, чем Валентина, мне припоминается евангельская притча о сыновьях. Одному отец сказал «сделай», и он согласился, но не сделал, а второй противоречил, но сделал. Валентин — первый, Евгений — второй. Так, порою, учит нас сама жизнь...

Книга Розанова по-прежнему продолжает волновать меня. Мысли о христианстве неотступно ставят вопрос за вопросом, чувствую, что надо попытаться снова и снова ответить хоть на некоторые из них.

Розанов, безусловно, прав, когда говорит о «темных лучах в христианстве». А последовательная мысль продолжает: темные лучи в христианстве составляют его сущность, без них оно — пустое место, розовая водица морализирующего протестантства. Что же тогда делать миру? Отречься от себя, от жизни, ото всего, чтобы приобрести «жемчужину царствия небесного»? А чтобы быть последовательным и до конца довести свои выводы, всем уйти из мира, стать девственниками, нестяжательными, наконец, запоститься до смерти... Но ведь это — намеренное коллективное самоубийство! Если весь мир превратится в монастырь, если прекратится рождаемость, то зачем тогда какое бы то ни было творчество? Всё будет стремиться к одной точке — к смерти, и чем скорее, тем лучше... Итак, ясно одно: мы живем и любим мир, радуемся ему, производим товары, создаем ценности, творим и оставляем после себя потомство только потому, что мы плохие христиане, не умеющие и не смеющие полностью отдаться христианскому учению и осуществить до конца призыв Христа: отречься от мира, от ближних, от самих себя и пойти за Христом. Если же мы захотим и сможем этот идеал осуществить во всей его полноте, — человечество должно перестать существовать. И опять-таки прав Розанов, говоря, что только потому, что мы плохие христиане, самосожжения и самозакапывания, запощевание, и вообще самоубийства мгновенные, в экстатической возбужденности или методом медленной, но неуклонной аскезы, являются

* Жалченко В.П.— *А.Н.*

редкими исключениями, которые ужасают человечество, вызывая речи о психической невменяемости решившихся на это дело людей. Однако то, что мы считаем сумасшествием, оказывается сутью проповеди Христа. И апостол Павел подтверждает это, говоря, что мудрость учения Христова *«для эллинов — соблазн, для иудеев — безумие»**. Верно. И эллины, и иудеи, да и вообще все люди, за самыми редчайшими исключениями, хотят жить. Несмотря на все трудности, печали, болезни и воздыхания, они все-таки хотят жить. И если они часто призывают смерть, как избавительницу, то всё же большинство, подавляющее большинство встречает ее приход, как старик в известной сказке, который стал просить ее помочь ему поднять вязанку дров... Разве только невыносимые физические мучения заставляют человека желать смерти и радоваться ее приближению. Да и то, пожалуй, не всегда. Мы ведь так мало знаем о последних минутах жизни людей, оказавшихся в таком безвыходном состоянии.

Маленькое отступление. Когда на моих глазах умирала и умерла моя Мама**, и я был свидетелем этого конца, то этот вечер 18.1.1935 года навсегда запечатлелся в моей памяти. Эти немногие часы потрясли меня до основания и раз навсегда изменили все мое внутреннее существо до неузнаваемости. Настолько изменили, что это сказывалось во всем моем поведении, так что многие спрашивали меня (не зная о постигшей меня утрате) значительно позже, что такое со мной произошло, отчего я стал совсем другим? И если впоследствии боль и горечь как бы затихли, рана зарубцевалась, я живу, мыслю, работаю как будто по-прежнему, то внутри всё цело, всё больно, все грустно так же, как и в тот тяжелый день. И стоит только вспомнить, — все оживает до мельчайших подробностей, а как задумаешься — невыносимый ужас и смертная тоска сжимает сердце и леденит мысль. Последнее с годами бывает реже, но действует, пожалуй, еще сильнее, чем тогда, при событии...

И вот я думаю: как мало мы знаем не только о смерти, но даже о предсмертных часах людей. Меня и раньше интересовали эти моменты, а после смерти Мамы они то и дело неотступно занимают мои мысли. Что

---

* 1 Коринф. 1, 23.— *А.Н.*
** Волкова Л.А.— *А.Н.*

чувствовали, о чем мыслили, что говорили люди в последний день, в последние часы и минуты своей жизни? А особенно великие люди, те, к которым мы привыкли присматриваться и прислушиваться при их жизни! Ведь если в жизни они могли иногда лицемерить, лукавить, надевать маски из тех или иных соображений, то в такой момент они, конечно, были предельно искренни. Здесь было невозможно и не нужно лгать...

«Маленькое отступление» разрослось и невольно привело меня опять к начальной теме: христианство основано на страхе смерти, христианство — попытка победить смерть. Это общераспространенные положения. И рядом с ними стоят положения Розанова: христианство есть нелюбовь к жизни, отрицание жизни; христианство — проповедь неизбежной смерти, приближения к смерти или путем экстатического мученичества или методом медленной аскезы; христианство — проповедь самоубийства для человека и человечества. Если этого не произошло и не происходит, то только потому, что мы, в сущности, — не христиане, а двоеверы, подобные древним селянам: на словах, формально — христиане, на деле, в сущности — язычники... Так что ясно и неизбежно вытекает одно: если человек живет спокойно заботами дня, среди семьи, своих дел, то он спокоен, уравновешен, но он чужд христианству, он, попросту говоря, вовсе не христианин. А стоит только ему по-настоящему задуматься над учением Христа и захотеть вспомнить его заветы, то тотчас же начинается крушение всего его жизненного уклада, приводящее его почти всегда к неизбежной гибели, часто при этом преднамеренной.

Отсюда следует одно: христианство действительно губит мирную жизнь, разрушает устои цивилизации, разоряет семью, обесцвечивает и отравляет источники культуры. Христос это выразил своими словами *«не мир я принес на землю, но меч».*

Вслед за этим появляется другая мысль: кто же был Христос? (Я пока отстраняю гипотезу Древса; о ней и о ее исторической, а главное психологической несостоятельности я буду говорить позже.) Во всяком случае, после книг Розанова невольно возникает заново вопрос об отношении Христа к юдаизму, к иудейской традиции, к идее о Мессии, к учению о едином Боге-творце, Иегове. Здесь являются неизбежно мысли такого огромного зна-

чения, которые трудно высказать сразу... В ближайшие дни вернусь к этой теме и напишу просто и без страха всё, что мыслю по этому поводу. «Е[сли] б[уду] ж[ив]», словами Толстого, как любила говорить и моя приятельница С.И.Огнёва в последние годы своей жизни.

2.4.43 г. Вчера ночевал дома. Сегодня пришел в скит к 6 ч[асам] вечера. Поел. Потом читал «Законы» Платона и «Курс русской истории» проф. Платонова. Приехал В.И.Овитовский. Затопили печь. И вдруг неожиданно мы заметили, что мы — одни в корпусе. Все курсанты, очевидно, уже выехали в новое помещение. Я, когда подходил к зданию, видел, как вывозили мебель, но подумал, что это перемещается канцелярия. Комендант и завуч Новиков видели мельком меня, но ни слова не сказали о переселении. Что за любезность с их стороны! Наверно, завтра предстоит переезд и нам. Куда? Есть ли для нас с Овитовским комната? — Ничего не знаю.

3.4.43 г. Ночевал в скиту. И ночью угорел безумно. Если бы не помощь В.И.Овитовского, который, хотя тоже угорел, но крепче держался на ногах, я бы упал в обморок в уборной и валялся бы там, т.к. никого из курсантов в корпусе уже не было. К счастью, Овитовский тоже вышел в уборную вслед за мной и поддержал меня, когда я упал. Сидел в коридоре на холоде и немного пришел в себя. А если бы мне не понадобилось выйти в уборную за малым делом и я не разбудил бы Овитовского, то мы оба сегодня были бы покойниками. Так что, когда я вчера перед сном поставил в конце своей записи «е[сли] б[уду] ж[ив]», то эта толстовская абревиатура, видно, была подсказана мне тайным инстинктом, и все события этой ночи говорят мне, что пока судьба еще бережет мою жизнь. Скажем ей на этом спасибо.

Вчера все курсанты переехали в детдом. Сегодня занятий не было, вернее — я не занимался и Овитовский тоже. Оба слишком еще слабы после вчерашнего. Директор сказал мне, что занятий не будет. Завуч Новиков на воинском переосвидетельствовании.

Утром я сильно волновался по поводу нашего переезда. Директор Харпцо потом сказал мне, что пока еще

мы сидим на месте, т.к. не найдено для нас помещения, а в интернате курсантов жить посторонним Наркомат не разрешит. Был утром в новом помещении. Оно показалось мне лучше теперешнего. Около — прекрасный сад. Все в стенах б[ывшего] Черниговского монастыря*.

Сейчас полежал некоторое время, отдохнул. Подремал слегка, а больше всего думал о том, как написать свои размышления, вызванные розановской темой. Пока они войдут в дневник в необработанном виде, а потом я их включу в книгу «Россия и христианство». В этой книге мне хочется выразить свою заветную идею последних месяцев, что нет единого христианства, тем более того, которое было когда-то проповедано Христом. Нет и не было. Начиная с первых христианских общин апостольских времен и вплоть до современного католичества, протестантизма, православия и всех бесчисленных христианских сект, все эти христианские по названию объединения каждое по-своему трактует Евангелие, создавая свои догматы и теории. Здесь можно говорить только о том, кто глубже и шире, а кто у́же и поверхностней развивает христианскую идеологию, у кого больше жизненности и кто впадает в изуверство или в бездушный формализм. О степени же приближения к духу учения Христова рассуждать очень трудно, почти невозможно, т.к. все наши попытки перестать быть субъективными, в конце концов, оказываются неудачными, а желанная объективность, как «синяя птица» в пьесе Метерлинка, или умирает, или не достается в руки.

Говоря о христианстве в России, мне хотелось бы выявить и подчеркнуть те специфические русские черты, которыми наполнилось христианское учение на берегах Волги, Оки, Днепра и Волхова, в привольи южных полян и в дремучих чащах русского Севера. В одном я убежден вполне, а именно: христианство в русском облике православия нисколько не хуже и не ниже католицизма и лютеранства. Уступая им в некоторых частностях, оно в своем существе духовнее, душевнее, проще, благороднее и прекраснее их. Оно взяло от природы

* Монастырь иконы Черниговской Божьей матери, отделенный от Гефсиманского скита нешироким прудом. В его ограде в числе других были похоронены К.Н.Леонтьев и В.В.Розанов.— *А.Н.*

русского человека лучшие черты и добавило к ним многое хорошее, принесенное из долин Галилеи, из знойного Египта и узорчато-хитроумной Византии. Конечно, немало вредного и ненужного примешивалось к этим ценным дарам, но опытный взгляд сумеет отличить красивую вещь от покрывающей ее иногда грязи и пыли.

И вот это-то христианство является творческим восприятием и развитием того наследства, которое передала нам Византия. Русские люди глубоко индивидуально, по-своему, по-северному, по-русски вникли и в Евангелия, и в церковное предание, и в учения отцов и учителей церкви. Были в этом и грубые ошибки и безобразные извращения, но была и есть та внутренняя правда, которая не только укрепила русскую церковь, но и дала ей силы и возможности укрепить русское государство. Так с X по XV век вырисовывается ясно и отчетливо большая, исключительно ценная, прогрессивная роль христианства, православной русской церкви в русской истории. И лишь с Ивана Грозного начинается ее надлом, приведший затем к жалкому упадку и полному омертвлению.

3.4.43 г. Возвращаюсь снова к мыслям о Христе и его деле. Обычное противопоставление юдаизма и христианства заключается в следующем: юдаизм — закон, христианство — благодать. Иегова через Моисея заключил договор с «жестоковыйным» народом еврейским, которому еще раньше, со времен Авраама, дарил свою милость и расположение. Но, несмотря на все самые наглядные и ощутительные знаки Божьего благоволения, народ еврейский отворачивал лицо свое от Бога, поклонялся идолам, избивал и изгонял пророков. Почему же Бог, несмотря на все эти недостатки, продолжал числить еврейство богоизбранным? На это нет ответа. Наконец, является Мессия — Христос. Он провозглашает религию любви, смирения, призывает смиренных, униженных и порабощенных, открывает им возможность стать сынами Божьими, войти в его царство, которое не от мира сего. Душа человека становится храмом Божьим. Но евреи распинают Христа, а его ученики несут его учение всему миру. Для христианства нет национального ограничения, в Церкви Христовой нет

ни эллина, ни иудея, ни обрезанного, ни необрезанного, ни раба, ни свободного; она широко открывает свои двери для всякого, кто принял Христа.

И распространенное мнение полагает, что учение Христа полно исключительной всеобъемлющей любви, всепрощения. Оно поднимает павшего человека из бездны греховной, оно благословляет весь мир, оно призывает человека уподобиться птицам небесным и полевым лилиям, устранить от себя житейское бремя, уйти в дивный мир своей души, открывая в ней новые и новые сокровища при помощи Христовой благодати.

Если позднейшие церкви и различные вероисповедания, укрепившись в государствах, стали слишком прилежать всему земному, предались алчности, властолюбию, гордыне, стали искательствовать перед сильными мира, наконец дошли до жестокостей, насилий и кровопролития во имя Христово, то обычно полагают, что это — лишь искажение подлинных заветов Христа, это — *«человеческое, слишком человеческое»* непонимание основных положений Евангелия. В раннем христианстве этого, де, не было, потом Церковь в лице своих недостойных пастырей и негодных мирян сошла с Христова и апостольского пути. И стоит только снова вернуться к нему, черпать истину непосредственно из Евангелия, тогда снова будет восстановлен чистый и высокий строй жизни первоначального христианства. Так мыслит Лютер, создавая движение протестантизма, борясь с упадком папства; так учат все сектанты, выступая против любой из господствующих церквей; так, например, проповедует Лев Толстой, создавая «свое евангелие»; так мыслят и действуют все свободные мыслители, не отрекающиеся от христианства в принципе, но отвергая крайности фанатизма и все прочие недостатки тех или иных официальных вероисповеданий.

Им всем ясно одно: живи по Евангелию, и ты — подлинный ученик и последователь Христа. Пусть все будут единомысленны в этом благородном решении, пусть все выполнят его в совершенстве, — и всё будет хорошо, жизнь станет раем. А для этого прежде всего и главным образом надо изучить Евангелие.

Но здесь-то и встает трудность и появляется опасность. Протестантизм, пошедший исключительно по этому пути, отрекся от предания, в основу всего поста-

вил личный религиозный опыт каждого верующего, сообразующий веру в Бога с критической работой разума. В результате получилось то, что прекрасно выражено в парадоксальном, но глубоко верном стихотворении Тютчева: *«В последний раз вам вера предстоит, в последний раз вы молитеся Богу»**, и в стихотворении Гумилева «Евангелическая церковь», когда *«мир стал нем, предметы мира убегали, их будто не было совсем»*. Рационалистическое приятие христианства убило очарование религии. Испарились ее ароматы, потускнели цветы, бесследно развеялись звуки, иссяк родник тайн и чудес. Всё стало повседневным, может быть, нужным, разумным и полезным, как ежедневное омовение, но и столь же мало увлекательным и волнующим тайное тайных в человеке, как и это омовение. То же можно сказать и обо всех рационалистических сектах, присоединяющих к этой скуке вдобавок еще свою убогую серость — достояние скудоумных голов. Это — последний этап религиозного состояния, когда человек еще держится за какую-то религиозную общину. За ним следует индивидуальное христианство, когда каждый *«выкраивает себе Христа по своему вкусу и по своей мерке»*, как обычно говорил мой академический учитель С.С.Глаголев. В протестантизме это явление уже налицо. Достаточно познакомиться с деятельностью богословов Тюбингенской школы. А дальше, когда все ступени пройдены, открывается широкое поле для ничем не поддерживаемых и никем не сдерживаемых исканий, блужданий и заблуждений. И как завершение всего — неверие. Вольтер и энциклопедисты, Маркс и марксисты — прямые потомки Лютера и завершители его дела. Не всякий способен, как Кант, найти выход в категорическом императиве. Мысль человека беспредельна, и ее выводы могут быть безжалостны по отношению к самому дорогому для того же человека. Отсюда понятен и атеизм Ницше, и антихристианство Розанова, которые, в сущности, глубочайшими корнями своего мировоззрения уходят в почву религии, но на ветвях их познания расцветают горькие цветы скепсиса и ядовитые плоды разрушительной критики.

Итак, мы подходим к Евангелию, к этому краеугольному камню не только Церкви, но и христианства во-

---

* Стихотворение Ф.И.Тютчева *«Я лютеран люблю богослуженье...».— А.Н.*

обще. Было бы наивно мне думать, что я смогу здесь, на нескольких страничках, сказать о нем что-либо новое или подвести итог двухтысячелетним размышлениям лучших умов человечества. Я попытаюсь лишь зафиксировать свои мысли и недоумения.

Прежде всего вопрос об антиномиях. Это — первое, что смущает всякого мыслящего человека, когда он непредвзято и искренне задумывается над Евангелием, и это — последнее, чем заканчивается самое глубокое богословское изъяснение того же Евангелия. Если согласиться, что борьба противоположностей и стремление их к единству является основной сущностью всех форм бытия, то все же верующий разум будет категорически требовать сверхбытия, выражающегося в боге, в единстве. Если же мы и божественную субстанцию будем мыслить аналогично всему остальному двойственной, то получится манихейское учение, принижающее самую идею Божества и ставящее его на одну плоскость с миром. Такой бог — не Бог. Итак, если подходить к Евангелию, как к книге божественной, боговдохновенной, то неизбежно приходится и от нее требовать исключительной ясности и определенного единства. Иначе — это тоже только человеческое творение, к которому человек может относиться не только критически, но и произвольно. Когда же христианский богослов, вроде Флоренского или Булгакова, сводит всю сущность христианства к антиномизму, то он этим не только ничего не изъясняет и ничем не удовлетворяет жаждущего единой и полной истины человека, а только создает положение, известное в логике как ignotum per ignotius*. А эти противоречия в Евангелии обострены до крайности. И если Бог есть любовь и Сына своего единородного посылает пострадать за людей ради их спасения и искупления греха праотцев, то одновременно есть Бог грозный, карающий грешников вечным мучением в геенне огненной.

Если Христос есть живое воплощение божественной любви в человеческом образе и проповедует высшую любовь для человека в самопожертвовании душой своей ради ближнего, то тот же самый Христос говорит, что принес не мир, а меч, разделение, так что мать будет отделена от сына и муж от жены, и врагами станут для

* «Неизвестное [объясняется] через неизвестное» (лат.).— *А.Н.*

человека домашние его. И вот за ясным и тихим сиянием Нагорной проповеди открываются такие суровости, которые совсем не под силу слабому человеку.

Кто хочет идти за Христом, тот должен отречься от всего, что ему дорого, близко и мило: от родных, от домашнего уютного окружения, от забот о завтрашнем дне, от всякого, в конце концов, домостроительства, чтобы уподобиться не хлопотливой и хозяйственной Марфе, а мечтательной и ни о чем не заботящейся Марии, избравшей «благую часть», которая «не отнимется у нее». Но коли дело обстоит так, то на что же семья, дом, хозяйство, друзья и товарищи, общество, государство? Тогда не нужны ни наука, ни искусство. Если каждый богатый раздаст все имение свое нищим, это хорошо. Но если после этого все уравнившиеся таким образом люди не станут заботиться о завтрашнем дне, довольствуясь лишь текущим мигом, то в мире повсюду воцарится оскудение, и все станут нищими. Кто же подаст и поможет им? Ведь богатых уж больше не будет. Если же все, оставив семейные тяготы, уйдут в монастыри, то как же будет продолжаться человеческий род? Если все захотят уподобиться птицам небесным и полевым лилиям, то как же можно будет людям прожить на земле, особенно на севере, во времена жестоких зим? Ведь и птицы строят гнезда, высиживают и выращивают птенцов, совершают ежегодные перелеты в южные страны и обратно, и лилии нуждаются в теплом климате и соответствующей почве, а в иной обстановке требуют тепличного режима.

Жить исключительно созерцательной жизнью, предаваясь радости духовного совершенствования, уделяя лишь минимум усилий для материального своего элементарного обеспечения можно только где-нибудь под тропиками, но мы видим, что народы Африки или Полинезийских островов, пребывая в таком окружении, не стали идеальными праведниками, а наоборот: у них были и кровопролитные войны, и человеческие жертвоприношения...

Если же разрешить вопрос в той плоскости, что о земном заботиться надо, но ограничить себя только самым необходимым, то получится грубый утилитаризм, своеобразное опрощение, вроде того, что проповедуется толстовцами, которое отвергает всякую духовную куль-

туру, науку и искусство, погрязающее, в заключение, в скучных мелочах, необходимых для каждодневного существования...

И получается в результате грустная картина: христианство только терпит всякую культуру, науку и искусство, терпит заботы человека о семье, о домашнем благополучии. Идеал же в отречении от всего этого, в уходе в монастырь, приводящем к медленному вымиранию человеческого рода.

Неужели этого хотел Христос? А ведь все это с неумолимой неизбежностью вытекает из его учения, если его осуществить в совершенной полноте!

Так кто же он? Сын Божий, пришедший взять грехи мира и спасти человечество, или Люцифер, соблазняющий человечество, зовущий его на путь массового самоуничтожения? Мысль дерзкая, безумная и греховная! Но она вытекает из доводов беспристрастного разума.

Тогда, может быть, лучше всего не думать вовсе, а только верить, как верили отцы и деды, не углубляясь, не доходя до таких жутких выводов. Но зачем же тогда разум? На эти вопросы ни один богослов не дает ответа.

Будут говорить о смирении, о любовной сыновьей покорности. Но ни один отец не потребует от сына гибели ради своего отцовского счастья, если только этот отец не безумец.

Будут говорить о непостижимости божественной субстанции для человеческого разума. Но тогда, следовательно, все качества, как всеведение, всемогущество, всеблагость и т.п., — только человеческие измышления, попытки так или иначе антропоморфизировать Бога, сделать его мало-мальски ближе человеку и доступнее для человеческого понимания. А раз это так, то и все слова о любви Божьей, о гневе Божьем, о воздаянии за праведные и неправедные дела — тоже человеческие измышления, причем человек строит свои догадки и предположения, исходя из своих земных условий и человеческих отношений, перенося на Бога все свои чисто человеческие потенции, лишь гиперболизируя их при этом, делая отбор лучших, по его мнению, качеств и употребляя их в суперлативной* форме. И если библейское повествование о сотворении человека гласит, что послед-

* Превосходной (лат.).— *А.Н.*

ний создан был Богом по образу своему и подобию, то человек точно также поступает, мысля о Боге и создавая свои теории о его сущности. Когда же дело обстоит так, то тогда неуклонно вытекает вывод, что и Христос, мысля о Боге и говоря о нем, как об Отце небесном, прибегает к этому же методу, чтобы быть понятным для окружающих людей, т.е. действует исключительно по-человечески. Это приводит к арианскому толкованию личности Христа, которое особенно близко современному протестантскому богословию. Тогда получается положение, что Христос — только один из гениев, «великих посвященных» человечества, может быть, только первый из равных. И мысль тогда обращается уже исключительно к Богу, минуя и Евангелие и Библию, видя в них лишь человеческие творения со всеми свойственными таковым недостатками и несовершенствами. Теизм и атеизм тогда становятся коренными свойствами души человеческой, порождающей в одних случаях веру в бытие Бога, а в других такую же веру в его небытие.

Бессильный разум при всем своем пламенном желании познать эту величайшую сущность и вместить ее тем или иным образом в границы своего сознания делает круги и замыкается в себе самом. Только интуиция, эстетическое прозрение на миг обостряет неисповедимое в словах внутреннее переживание и познание человека, когда он неожиданно, потрясенный и умиленный, в небесах видит Бога, но не может об этом сказать ясно и логично слабыми средствами несовершенного своего языка. Остается одно: благоговеть, восхвалять и благодарные слезы лить. Об этом сказано немало в «Добротолюбии»*...

Итак, подведя некоторый итог своим размышлениям, я отчетливо вижу, что наш разум абсолютно неспособен постичь ни сущности Бога, ни личности Христа, если Его мыслить как воплощение того же Бога. Мы можем мыслить о Христе лишь как о величайшем из сынов человеческих. Но и в этом случае нам остается непостижимой сокровенная сущность Его учения. То, что дано нам в Евангелии, при внимательном вдумывании открывает нам не только всесовершенное благо, но и такие тяжелые и грозные тени, которые роняют от себя

---

* Собрание поучений святых подвижников и отцов Церкви. — *А.Н.*

светлые и ясные лучи евангельского лика. Эти тени настолько сильны, мрак сгущается так щедро, что невольно ум человека начинает мыслить о христианах как о *«людях лунного света»*, непригодных для жизни, чуждых бодрому и радостному строительству на земле, еле переносящих эту землю и всё земное, как грех и скверну, всецело устремленных к небесному отечеству, к лику *«сладчайшего Иисуса»*. А самый лик этот оказывается темным. Он зовет к попранию всех земных человеческих чувств и привязанностей, к тому небесному совершенству,. необходимым условием которого является медленное, но верное самоуничтожение человека здесь, на грешной и ненавистной земле...

Вот об этой-то стороне христианства никто, кроме Ницше и Розанова, не говорил. Отмечалась вражда церкви по отношению к науке, к чистому знанию, к свободной мысли, к вольному искусству. Многократно указывалось на жестокости, совершенные инквизицией в частности и Церковью вообще, на то, что Церковь почти всегда стояла на стороне богатых и сильных, и сама только и знала, что приумножать свои сокровища и стремиться к власти. Без конца говорилось о пороках духовенства и мирян, считающих себя христианами и верными сынами Церкви. Вообще — критиковалась Церковь, как историческая форма воплощения христианства в жизнь, со всеми ее реальными недостатками. Само же христианство, как евангельское учение Христово, критике не подвергалось. Наоборот, оно в большинстве случаев противопоставлялось «историческому» христианству, теории и практике Церкви, как нечто идеальное, исключительно светлое, могущее быть и бывшее на первых порах своего существования движущим импульсом для человечества, чем-то жизнерадостным, утверждающим человека в его творческой деятельности на земле, зовущим к жизни и дарующим не только надежды на загробную, но силы на земную жизнь.

Вот тут-то и встает перед глазами то огромное открытие, сделанное по отношению к христианству вообще и по отношению к личности самого Христа Ницше и Розановым, которое заставляет меня сравнить его с открытиями Коперника и Колумба и поставить его даже выше по своему огромному значению для человеческого самосознания.

Розанов не задается вопросом о том, был ли Христос Богом или человеком. Ницше явно показывает свое убеждение в человечности Иисуса, и это не ново. Это утверждение шло со времен Ария до Ренана и Штрауса и нашло свой апогей в мифологической теории Древса. Но Ницше, будучи сам декадентом, с одной стороны, и страстно мечтая о возрождении исчезающей силы, молодости и красоты в человеке и человечестве, сумел глубоко познать и остро отметить декадентский характер христианства, как такового, не только в его историческом выявлении, но, в значительной мере, и в его сокровенной сущности. Проповедь Христа, возвышавшая нищих духом, приниженных, смиренных, слабых, больных, уродливых и неудачливых представителей человеческого рода, разрушала идеал силы, здоровья, земной красоты, земного творчества во имя небесных благ, разоряло мать-землю и лишало ее любви и привязанности ее сынов, отвлекая их к небесному отечеству, путь к которому вел через могилу. Этим сводился на нет античный идеал, столь дорогой и близкий для Ницше. Правда, наравне с Аполлоном, утверждающим и ясным, античность знала и скорбного, безумствующего Диониса, в своем страдании являвшегося как бы прообразом Христа, но вся античная культура в ее главнейших достижениях аполлинична, т.е. ясна и логична, и в лице своих величайших творцов всеми силами стремится к этой ясности и логичности. Декаданс эпохи Римской империи уже знаменовал утрату этого аполлинического строя жизни и вторжение темной дионисийской стихии в сознание античного мира. Восточные влияния усугубили упадок и разложение, а христианство довершило его, заменив одряхлевшую империю идеалом «града Божьего» и его историческим осуществлением в виде Византийской империи и Римского папства. Вот это и заставляло Ницше бороться с христианством, видеть в нем корни всяческого лицемерия, которое помогает ничтожествам побеждать героев и на смену античному идеалу калокагатии* выдвигает лукавое смиренномудрие, не брезгающее никакими средствами для достижения своей цели еще за много веков до создания Ордена Иисуса. Мережковский в своем «Юлиане» является подлинным собратом Ниц-

* Великодушия (греч.).— *А.Н.*

ше, с небывалой силой и яркостью показывая в художественных образах одоление прекрасной античности варварами и изуверами Сирии, Египта и Византии. «О галилеяне, галилеяне!...»

Розанов смотрит еще глубже Ницше, и его критика еще неотразимее. Он исходит из религиозных начал. Принимая библейское учение о Боге — творце мира и промыслителе, он старается вглядеться в лик Христов, чтобы отметить в нем черты Мессии, сына Божия, спасителя человечества, и вместо благости, кротости и любви, которые прославлялись в течение двух тысячелетий и одни только и виделись восхищенными и влюбленными человеческими взорами, он видит грозные черты аскета, а, может быть, и безумца. Христос приносит суд миру; отвергает мир, как творение рук божиих, как тоже своего рода детище Бога, а находит в нем одну скверну и грех, считает его достоянием князя тьмы, борется с этим миром и побеждает его, отторгает человека от радостной жизни и творчества на лоне матери-земли, призывает его как можно скорее уйти в эту землю, лечь в могилу, чтобы потом, пройдя через это испытание, восстать преображенным и очистившимся для инобытия в доме Отца небесного, где *«обителей много»*. Отсюда у Розанова является сомнение не только в истинности Христовой проповеди с точки зрения ветхозаветного откровения, но и в истинности самого Христа, как Мессии, как Сына Божия и Спасителя мира. Он готов видеть в нем другого, м.б., Люцифера, приявшего небывало и дерзостно лик воплощенного Бога, чтобы окончательно полонить, пленяя, и погубить, призывая к спасению, обмануть человечество. Правда, Розанов не ставит точки над і, но эта идея ясна для всякого чуткого читателя его книги. Такого нападения на христианство и такой критики самого Христа не было со времен первохристианских, когда ожесточенное иудейство и презрительное язычество трактовало новую религию и ее основателя, не будучи сдерживаемо никаким многовековым пиететом.

Розанов поставил вопрос и умолк. В его время и в его обстановке нельзя было сделать иначе. Да и его силы не были таковы, чтобы произвести этот гигантский катаклизм в сознании человечества, который должен неизбежно произойти, если апологеты церкви и христианства не смогут дать на этот вопрос ясного, четкого и разумного ответа, уничтожающего всяческие недоразуме-

ния. Однако они до сих пор такого ответа не дали. Такие системы богословия, как книги Флоренского, Булгакова, Несмелова, Тареева, не говоря уже о более слабых, даже не ослабляют остроты поставленного вопроса, а, тем более, не дают исчерпывающего ответа. Книги Розанова прошли незаметно, к счастью, для церкви и христианства, оставаясь достоянием немногих избранных глубоких умов. Поэтому они и не имели того потрясающего влияния, которое должны были оказать. Заботы и тревоги каждодневной жизни, громы войн и революций отвлекли умы людей от этих вечных проблем к нуждам насущным. Но придет час, когда опять сознание человеческое обратится к этим проблемам и станет искать ответа и выхода. Его пока нет и не предвидится в будущем.

4.4.43 г., воскресенье. Вечером был у Жени [Конева]. Читал ему свои заметки о Розанове. Затем диктовал сочинение об эстетических взглядах Платона. Это — для его симпатии Ирины, которая учится на Историческом факультете МГУ. Ночевал дома. Во сне видел Сашу. Будто бы он — в Варшаве и женат. Еще видел, что поднимаюсь на высокую башню со стропилами, которые, чернея металлом, точно остов зонта возвышаются над ней. Я же повис на самой вершине, держась за какой-то приклеенный к стене лист толстой бумаги, и вот-вот могу оборваться. А кто-то мне говорит: «И ради чего так стараться и рисковать собою? Ну, сорветесь — и конец. Вам мало будет радости, или за это после смерти вас провозгласят заслуженным артистом...» Любопытно, какая в этом символика?

Ночевал в холоде, только +8° по Реомюру, но укрылся и спал хорошо, тепло, с удовольствием, потому что в своей постели. Беспокоился за квартиру в скиту и возложил всю надежду на милость Божию.

5.4.43 г. Когда шел в скит, опять думал о христианстве. Главным образом о том, почему оно все-таки живо у нас в России, несмотря на всю борьбу с ним на верхах и равнодушие низов. А оно живо, в частности хотя бы во мне, одновременно с чисто-античным языческим восприятием жизни. Природа приводит меня и к тому, и к другому. Как я счастлив, что у меня такой запас внутренних переживаний, мыслей и грёз!

Меня очень угнетает отсутствие новых книг. Их и новых журналов я совсем не вижу. Перечитываю то, что есть у меня. А это всё уже много раз читано. Сейчас браню себя за то, что в свое время, когда зарабатывал много, мало покупал книг, покупал иной раз малоинтересные, а ленился съездить в Москву, порыться у букинистов. Теперь понятны до боли и счастья шутливые слова Вяземского: *«Блажен, кто смог библиотеку себе собрать под старость лет!»* Какая-то мне предстоит старость? Где? С кем? В какой обстановке? Господи, помилуй и сохрани меня!

Кончил уроки в новом помещении. Пришел в свою комнату в скит. К ней я уже успел привыкнуть за 4 месяца. И даже жалко как-то уезжать, хотя ни красоты, ни уюта, ни удобств в ней нет. Великое дело привычка, особенно в немолодые годы! Как я в этом отношении, да, впрочем, и во многих других, стал похож на мою милую Маму! Насколько я помню ее, она сильно не любила всяких перемен и особенно переездов. Я, бывало, ликую, собираясь на новую квартиру, а она печалится. «Привычка — душа держав», и не только держав, а даже самого скромного и маленького существования. И только там, где устоявшийся быт, где порядок, спокойствие, только там ясность духа и счастье. А там, где, как у нас сейчас, да и вообще за последние 25 лет, постоянная ломка, переустройство, передвижение, всяческие ежедневные неожиданности, там только заботы, печаль, раздражение. Там радости мало, счастья нет и не может быть.

На улице почти темно. Во всех трех этажах огромного дома я — один. Раньше это, может быть, слегка даже пугало бы меня. Но теперь я так равнодушен. Ведь не станет же мне являться тень бывшего наместника Лавры Товии, скончавшего здесь, может быть, в этой самой комнате, свои дни, или тень какого-нибудь другого монаха? А я не прочь был бы поговорить с такой тенью. Она, глядь, сказала бы что-нибудь любопытное. Вдруг она предсказала бы мне мое будущее? Это было бы прямо бесподобно. А вдруг я струшу, даже поседею от страха? Не думаю. Эта тишина, которая царит кругом, наводит на такие мысли. Давно я не слыхал подобного. Мне даже нравится она. Жаль только, что холодновато и неуютно. Если бы в этом доме была комната с

моими книгами и со всей моей обстановкой, то было бы прекрасно. А если бы к этому на столе стояли две бутылки с хорошим вином, а рядом основательная и вместе с тем изысканная закуска и любимые английские папиросы, то было бы совсем бесподобно. Пока прерываю писать. Прилягу, не раздеваясь, вздремну немного. Потом приедет Овитовский и скажет: «Мир вам. А он все пишет...»

6.4.43 г. Вечером был у А.И.Леман. Уютный разговор. Ее дочь, В.Г., волнуется, т.к. ждет, что её того и гляди призовут в армию. Рассказывала о разных непорядках и безобразиях, творящихся на хлебозаводе, где она служит. Ночевал дома. Не топлено и холодно. Только +7° по Реомюру. Но я хорошо укрылся, и спать было тепло. Спал, по обыкновению, с удовольствием, т.к. на своей постели.

7.4.43 г. Благовещенье. Сегодня утром около часов 8-и шел в скит. Дивно пели и щебетали птицы. Сколько жизнерадостности в их звонких и мелодичных голосах! Каждый раз, как я только слышу эту весеннюю перекличку, все оживает в моей груди. Я снова становлюсь тихим и доверчивым мальчиком, который лет тридцать тому назад радовался дыханию природы и жил дивным миром своей мечты. И вот сейчас, усталый, голодный, одинокий и беспомощный, а главное — больной и стареющий, я забываю все, все тяготы и неприятности, снова чувствую свежесть и бодрость, снова несказанно радуюсь своему непосредственному ощущению жизни. Хочется снова верить в возможность счастья, надеяться на лучшие времена. Не знаю, почему, но на меня природа всегда действует ободряюще. Мне сейчас совсем непонятны жалобы и упреки тех поэтов, которые говорят о ее бесчувственности, ее великом безразличии по отношению к человеку. Сейчас, в те минуты, когда оказываюсь в ее окружении, я сам сливаюсь с нею, не требуя от нее ничего. Пусть только она остается такою, какова есть, т.е. прекрасной, полной жизни и своего непостижимого очарования, которое вызывает во мне жизненные силы и творческое одушевление! И мне больше ничего от нее не надо. Это, вероятно, происходит потому, что я сейчас совсем отдалился от людей, стал так одинок в своих мыслях, чувствах и грезах, которые покажутся наивными, жалкими и смешными для подавляющего большинства окружающих меня людей. Да и я

сам кажусь, конечно, им каким-то блаженненьким, ненужным, почти сумасшедшим. Пусть! Я ушел в свой мир, и меня теперь ничто не может из него исторгнуть. Разве только смерть. Но я ее не боюсь, т.к. убежден абсолютно в том, что она — только переход к инобытию, которое если будет и не лучше, то, во всяком случае, и не хуже этого существования. Есть великая тайная отрада в том, как я мысленно живу в обществе милых сердцу людей, особенно моих лучших друзей, наиболее близких моей душе — Алексея* и Александра. Я вижу их, слышу их голоса, ощущаю их прикосновения, задумываюсь над их речами и сам говорю им заветные свои мысли... Прошлое становится настоящим, а фантазия творит образы и мгновения не осуществившегося, но возможного будущего. И все сливается воедино, создавая дивный, небывалый миг подлинного счастья. Не так ли жили и все отшельники, уходившие от мира в пустыню?

Все это я пишу уже в новой квартире, в бывшем Черниговском монастыре, куда мы с Овитовским переехали сегодня. Дело было после уроков, перед ужином. Немало было хлопот и кутерьмы. Я постарался поскорее навести порядок в новом обиталище. Овитовский шутил, балагурил, и это меня не только расстраивало, но даже раздражало. Я был резок с ним, о чем теперь жалею. Когда лягу в постель, извинюсь, хотя и чувствую себя правым в том отношении, что считаю неуместным и даже неумным для солидного мужчины такое балаганничанье в серьезные моменты работы. Всему свое время. Когда надо трудиться — не до шуток. Когда свободен и отдыхаешь, отчего не пошутить? Я не люблю иметь дело с балаганом. Но я был неправ, что высказал ему это и довольно прямо и резко. Надо было промолчать. Но я не сдержался. Увы! Не всегда бываешь таким, каким хочешь.

Поселились в комнате бухгалтера. Тесно. Пока помещение, предназначенное для нас, еще не очищено. Ну, поживем — увидим, как всё дальше устроится. Сожители мои собираются спать. Пора ложиться и мне. Кончаю. Det mihi Deus veniam et patientiam! Solvet animam meam puram et vitem immobolem! Finis loquandi**.

---

* Спасского. — *А.Н.*

** «Дай мне, Господи, прощение и терпение! Исполни душу мою чистотой и жизнью неколебимой! Конец болтовне.» (лат.) — *А.Н.*

8.4.43 г. Ночевал первый раз на новом месте. Спал крепко. Видел много снов; когда просыпался, чтоб выйти «до ветра», по русскому выражению, глядел на черные громады собора и колокольни, выделявшиеся на бледнеющем фоне неба, усеянном звездами. Вечером, в лучах заходящего солнца, эти красные здания светились как-то особенно, камень казался теплым. И только раздражали маленькие главы и детали украшений. Они снижали впечатление от массивности здания. Издали, когда все эти мелочи недоступны для взора, собор и колокольня производят лучшее впечатление, нежели вблизи. Меня удивляет безвкусие архитекторов, строивших такие монументы в ложнорусском стиле. Надо потерять всякое чувство меры, красоты и величия, чтобы создавать образцы такого уродства в стране, где есть Новгородская и Киевская Софии, Троицкая лавра, Московский кремль, Василий Блаженный и тысячи прекрасных церквей и монастырей. Вот где подлинный decadence* архитектуры.

Сейчас надо идти завтракать. Я не умывался. В том доме, где ночуем, воды нет, надо идти в учебный корпус. Но дело идет к лету. Тогда все наладится, а пока потерплю. Сегодня вечером пойду домой и умоюсь, как следует, а сейчас протер глаза, прополоскал рот и, мóя посуду, одновременно освежил слегка руки. Боже мой! Как я опустился! В какой обстановке вынужден жить и уже почти привык к ней! Жалкое и одновременно удивительно стойкое существо — человек: ко всему применяется, приспособляется, способен перенести чёрт знает что! А для чего? У большинства на этот вопрос нечего сказать. Разве для того только, чтобы пить, есть, спать, испражняться в надежде, что потом, в конце концов, он будет вкуснее пить, есть и удобнее спать и испражняться, не подозревая даже, что наряду с этой зоологической жизнью есть иная лучшая и более достойная человека жизнь.

4 часа дня. Дал 7 уроков. Устал. И не столько от самих уроков, от количества часов, сколько от убогого и элементарного курса. Я могу читать лекции по литературоведению, истории, даже искусствознанию, философии и филологии, а мне приходится преподавать грамматику

---

* Упадок (фр.).— *А.Н.*

в объеме 5-6-х классов, историю СССР в объеме учебника Шестакова и элементы Конституции. Ведь это то же, что заставлять композитора быть тапёром на любительских вечеринках!

Утешает одно: я это делаю для инвалидов Отечественной войны, и в чашу горечи, принесенную этой проклятой войной, лью хоть каплю малого лекарства. Утешает и то, что в немногих способных и развитых слушателях мне удается расшевелить мысль, заставить их полюбить чистое знание, заинтересоваться культурой. Это оправдывает для меня мою жизнь и работу в МООСО. А работать так, как другие, для куска хлеба, я не могу.

Горько до отчаяния сознание того, что никому не нужны мои подлинные знания и таланты. Их мне негде применить: у меня нет диплома, нет «звания» — профессора, академика, писателя, поэта. А у нас везде и во всем теперь нужны «бумажка», «удостоверение». Как постыден этот бюрократизм и формализм для Советского социалистического государства! Как жаль, что его не смогли изжить до сих пор! И еще более горько и тягостно то, что мои лучшие мысли и мечты ни в ком не встречают ни отклика, ни понимания. Всё надо таить и хоронить в себе. Никто не разделит, а, тем более, не даст ободрения, не возбудит импульса к дальнейшей творческой работе. Полное давящее одиночество. Неужели оно будет усиливаться и в дальнейшем, даже по окончании войны? Неужели у меня никогда не будет друзей, равных мне в научном и художественном отношении, а тем более — превосходящих меня?! Грустная перспектива.

Сейчас полежу немного. Потом поужинаю и пойду в Загорск. Сегодня ночую дома, если там не очень холодно.

9.4.43 г. Днем был на базаре, купил стакан махорки за 20 рублей и кусок хлеба за 50 рублей. Половина полумесячного заработка вылетела. Встретил Л.К.Тихееву. Такая же говорливая и с той же пустотой во всей ее многоречивости. Все мысли только о семье, особенно о своем «Вове». Удивительны мне такие существа! У них всё в семье, всё в семью, а семья получается, тем не менее, совсем неудачная. Так и у Л.К.Т[ихеевой]. Только одна дочь — толковый человек, а остальные три сына — какие-то нелепые недоумения. Меня ужасает их некуль-

турность. И любопытно: у них такое же исключительное семейственное чувство. И я уверен, что они так же не сумеют воспитать своих детей, как не сумела воспитать их самих мать, хотя положила на это все свои силы. А почему так вышло? Мне ясно до предела. Она, собственно, не воспитывала, а только питала их. Никакого духовного воздействия не было совершенно. Ни она, ни муж ничего не читали, ничем не интересовались. Книги в их доме — жалкие существа. Они валяются, где попало, покрытые пылью, загрязненные. Она пианистка. Но я не видел, чтобы она жила музыкой. Музыка для нее — лишь предмет ее преподавания, способ зарабатывать деньги, как и немецкий язык, ее другая специальность. Я сомневаюсь, прочитала ли она хоть одно произведение Гёте или Шиллера по окончании своего учения? Уже не говорю о других авторах. И вот, результаты налицо. Дети так же неразвиты и некультурны, хотя у Владимира и Николая есть склонность к живописи, а у Николая, сверх того, — к музыке и танцам. Но из Николая вышел отчаянный алкоголик, грубиян, который хамит в обращении с матерью, а из Владимира — мямля; муж — под башмаком жены. Стоило отдавать всю жизнь, чтобы вырастить таких деток! А мать, действительно, жила и до сих пор живет только ими и только для них и их детей. Во всем этом я вижу тупое продолжение своего рода, животный инстинкт бессмысленного существования. Как жалки такие люди! Как скучно и грустно глядеть на них!

Заходил к жене священника Ржепик. Она больна. Муж выслан. Она продает книги. В большинстве — хлам. Есть 4 тома Тареева — «Основы христианства», 4 тома истории Ключевского (дореволюционное издание) и полный Достоевский в издании Маркса. Цен не узнал. Когда придет сын, то выяснится. В комнате много икон, но темно, неуютно. А грязь и пыль отчаянные. После просмотра книг пальцы у меня стали совсем черные. Как не противно жить в такой полускотской обстановке! Впрочем, сейчас почти у большинства интеллигенции такое окружение. Все помыслы и силы обращены на одно: на еду. Как все это мне чуждо и противно! Как я ни устаю, как я ни голодаю за последний год, и хотя почти не живу в своей комнате, всё же по мере сил поддерживаю в ней некоторый порядок и даже красоту. Врожденное эстетическое чувство не позволяет мне превращать свое жилье в скотское логово.

Сейчас за ужином слышал от бухгалтера свежую новость: директора и завуча вызывают в Москву. Говорят, что Академия [им.] Фрунзе, занявшая наш скит, претендует на все окрестные помещения, в том числе и на наш монастырь. Может быть, встанет вопрос о ликвидации нашего учреждения в этой местности и о переводе его в другой район. Это крайне неприятно. Только что перенесли одну передрягу с переселением, кое-как разместились, уполошились, приступили к делу, как предстоит еще большая ломка. Мне не улыбается переезд в места, далекие от Загорска. А где устраиваться в Загорске, глядя на лето, не знаю. Вообще, будущее более чем неопределенно. Вот уж когда приходится целиком положиться на Судьбу! Что она решит, так и будет. Постараюсь не волноваться, не расстраивать себя заранее. Авось, всё устроится к лучшему. Бог милостив...

Когда был у Ржепик, туда пришел Г.С.Горохов, бездарный художник, который несколько лет преподавал со мной вместе в школе 2-й ступени имени Горького (бывш. мужская гимназия, теперь средняя школа им. КИМ). Своим рисованием он не сумел заинтересовать учеников. Не обладая даже в малейшей степени эстетическим вкусом и художническим дарованием, он не оказал никакого влияния на учащихся. Когда надо было писать художественные плакаты для школьных вечеров и украшать зал, то обычно это делали ученики под моим руководством. Потом он оставил школьное преподавание, занялся массовым изготовлением портретов вождей, которые писал крайне грубо и топорно. Однако они хорошо раскупались. Местные власти охотно украшали этими уродливыми полотнами свои служебные кабинеты, и он зарабатывал на своем промысле солидные суммы. Война выбила его из колеи. Заказы прекратились. Одно время пронесся даже слух, что он сошел с ума, так сильно будто бы обуял его страх безработицы и угрожающего голода. В свое время, когда мне об этом сказали, я заметил, что этого опасаться не приходится: Горохов не сойдет с ума, т.к. ему «сходить не с чего». Он никогда не был умен. Я помню, что в бытность свою учителем рисования он пытался что-то говорить об искусстве, о творчестве, но это все было так кустарно и примитивно, что его и скучно, и жалко было слушать.

Он брал, помню, читать книги Гершензона «Мудрость Пушкина», «Мечта и мысль Тургенева» и еще кое-что в таком же духе, но вряд ли смог осмыслить их, а только нахватался из них кое-каких идей, которые не сумел связать в одно целое, ни даже просто-напросто понять по-настоящему. Для этого у него не было ни внутренней культурности, ни элементов необходимого образования или хотя бы серьезного самовоспитания. Получилась какая-то смесь, в которой ни он сам, ни его собеседники не могли ничего разобрать. Сегодня на мой вопрос, где он работает, сказал мне, что не служит нигде, сидит дома. Он — нервно больной. Его тревожит всякий шум. Он не выходит без крайней надобности даже на улицу. А дома у него нет радио. Он не выносит никакой техники. Техника заполонила всё. Люди стали ее рабами. Она убивает все духовные порывания человека и его самого превращает в машину. Наконец, в этой войне техника истребляет человечество... Мысли, конечно, не новые и весьма справедливые. Но он говорил их так напыщенно, точно каждая была откровением с его стороны, неведомым доселе неразумному человечеству. И эти фразы звучали плохо пересказанными откровениями из учебника, когда бестолковый ученик, не понимая и не желая вдумываться, барабанит зазубренное при ответе. Не было в его словах того личного своеобразия, которое показывает, что человек пережил чужую идею глубоко в себе, сроднился с нею настолько, что она стала его плотью и кровью... Вдобавок он сказал еще, что, по его мнению, всё это — дело диавола, который не только хочет соблазнить и погубить, а еще и измучить при этом человечество. Последние слова показались мне более искренними и более интимно прочувствованными, нежели все его рассуждения о гибели культуры. Мне стало ясно: просто у человека отняли возможность есть ежедневно белый хлеб со сливочным маслом и запивать его душистым кофе, вот он и видит во всем злобное поползновение диавола, который нарушил благополучие его каждодневного menu, т.е. культуры, как он выразился. Вот на таких-то субъектах и строит свою агитацию фашизм. Такие Гороховы — идеальнейшая плодоносная почва для всяческого ханжества, суеверия, фанатизма, которые любят рядиться в пышные фразы и прикрываться возвышенными устремлениями, когда подо всем

скрывается одно неудовлетворенное брюхо. Надо иметь тонкое чутье и действительно быть культурным человеком, чтобы почувствовать сущность таких «истлевающих личин»...

Сегодня я опять стал продолжать главу «Мое бытие» для «Эрмитажа». Пишу о том, что представляю собой теперь, какие фантазии приносят мне отдых и отраду в наши тяжелые дни.

Вчера получил после долгого перерыва открытку от д-ра М.М.Мелентьева, приятеля Т.В.Розановой, с которым познакомился в прошлом году по переписке, а затем виделся один раз летом. Он собирается перебраться в Москву, а еще более — в Загорск, где похоронен его молодой друг художник В.* Надеется к концу апреля быть в Москве, а летом увидеться со мной. Меня как-то мало обрадовало это известие. Это несомненно культурный и интересный человек, но сейчас меня совсем не соблазняют перспективы новых знакомств и сближений. У меня появилась прямо-таки какая-то боязнь всего нового. Посмотрим, что из всего этого выйдет.

10.4.43 г. Ночевал в монастыре. Теперь у меня вместо кровати диван, и спать на нем гораздо удобнее. Но все же вчера вечером долго не мог заснуть. Почему-то зябла правая нога. Я побаиваюсь рецидива ишиаса. Вчера вечером стал заканчивать чтение второго тома писем Флобера, начатое еще год тому назад. Книгу эту подарила мне в свое время С.И.Огнёва, подписав на ней инициалы своих трех фамилий: Юшкова, Киреевская, Огнёва — «Мадам ЮКО», как иногда в шутку называл я ее. В связи с этим я тепло вспомнил об этой умной и чуткой женщине, которая полюбила меня как родного сына и много дала мне в духовном отношении. Ей будет посвящена специальная глава «Эрмитажа».

Сейчас на улице хмуро. Небо серое. Из окна моей комнаты видны мрачно чернеющие стволы лип, елка и красные массивы собора и колокольни. Было бы всё очень красиво, если бы не мусор и разные нелепые уродливые заборы. Как люди умеют все изуродовать и загадить! Я замечаю, что подавляющее большинство не только не любит и не понимает красоты, а сознательно стремится истребить ее или ослабить привнесением вся-

---

* Свитальский В.(?) — *А.Н.*

ческого ненужного безобразия, которое не оправдывается ни удобствами, ни необходимостью.

Чувство красоты надо воспитывать с детского возраста и приучать к нему человека так же, как мы приучаем его к опрятности или порядку. У нас же семья и школа в лучшем случае заботится о том, чтобы дать побольше знаний ребенку, но совершенно не задумывается об организации и развитии его чувства. В результате вырастают дикари или хамы, которых не облагораживает никакая ученая степень. Все разговоры о художественном воспитании, которых было так много во времена Луначарского, так и остались пустой болтовней, а после него сошли на нет. В школах остался один голый утилитаризм, и дети не понимают и не чувствуют ни красоты природы, ни обаяния искусства, пока кто-нибудь со стороны не обратит их внимания. После Наркомпроса вина в этом отношении падает главным образом на учителей рисования и литературы...

Читаю письма Флобера. Изумительно интересно. Масса мыслей, многие из них очень близки и родственны мне. Со временем, как кончу второй том, запишу соображения по поводу многого, что возникало в голове при чтении. В свое время я читал эти письма в «Русской Мысли» и в издании «Шиповник», но там их было значительно меньше. Флобер говорит, что делал массу заметок и выписок, читая огромную литературу о Карфагене, работая над романом «Саламбо». Любопытно было бы узнать, сохранились ли эти записи, напечатаны ли там во Франции, и где именно. Я очень хотел бы их просмотреть.

С таким же огромным наслаждением я читал избранные места из дневников Гонкуров в издании «Северного Вестника», а потом в наши дни в журнале «Интернациональная литература». Очень жалею, что они не переведены полностью и что не видел их подлинника. Такого рода литература в высшей степени интересна и полезна. Здесь maximum искренности и непосредственности, здесь личность и все субъективное на первом плане. А я, в противовес Флоберу с его преклонением перед якобы научным объективизмом, считаю, что самое ценное во всяком творчестве, даже в малейшем высказывании — его субъективность, то, в чем проявляется самое существо человека. Безумное и истощающее силы человека стремление к объективности родилось у Флобера,

без сомнения, под влиянием естественно-научного мировоззрения, которое в его годы переживало пору своего расцвета и еще не предвидело тех разочарований, которые явились к концу века. А, в сущности, как это наивно! Неужели Флобер не чувствовал и не понимал того, что полный объективизм не только невозможен, но и неинтересен, т.к. скрадывает оригинальность личности, выражающуюся лучше всего в субъективном заострении. Можно сказать, что даже сам порыв быть объективным — не что иное, как своеобразная форма субъективности, присущая определенным натурам в определенные периоды истории. Полный объективизм недоступен для человека, т.к. последний — живое существо и, volens-nolens*, всюду вносит свои личные страсти и пристрастия. Даже в науку, даже в такие дисциплины, как химия, математика, астрономия и статистика, не говоря уже о гуманитарных областях, тем более об искусстве. Здесь субъективизм не только допустим, но вполне законен и даже желателен, т.к. он раскрывает просторы мира и обнажает глубины души сквозь чудесную призму человеческого сознания.

11.4.43 г. Был у Жени Конева. Интересный разговор о Боге. (Кстати — курьез: вернувшись домой, прочел в письмах Флобера наши сегодня высказанные мысли! **)

---

* Хочешь не хочешь (лат.).— *А.Н.*

** В сохранившемся экземпляре книги С.А.Волковым тогда же были подчеркнуты следующие строки: *"Объяснять зло первородным грехом равносильно тому, чтобы ровно ничего не объяснить. Поиски причины антифилософичны, антинаучны, и в этом отношении все религии еще менее нравятся мне, чем какое бы то ни было философское учение, поскольку они утверждают, что им знакома причина. Пусть это потребность сердца — согласен. Эта потребность, несомненно, достойна уважения, но отнюдь не эфемерной догмы. Что же касается идеи об искуплении, то она исходит из узкого понимания Справедливости, — своего рода варварской и туманной способности воспринимать ее. Это наследство, переданное человечеству на его ответственность. Восточный милосердный бог, который вовсе не отличается милосердием, заставляет маленьких детей искупать грехи отца совершенно так же, как паша требует от внука уплаты долгов за деда. Дальше этого мы не пошли, когда говорим о божьей справедливости, милосердии или о гневе божьем, — обо всех человеческих качествах, относительных, полноценных и в то же время несовместимых с абсолютным".* (*Флобер Г.* Собрание соч., т.VIII.М.-Л., 1938, с.155.) — *А.Н.*

Ночью возвращался в темноте. Луна закрыта тучами. Влажный и теплый южный ветер с редкими каплями дождя. Плавно гудели ели. Мне показалось, что пахло березовыми и тополевыми почками. В монастыре тихо. Не встретил ни души. Дома никого. Овитовский и бухгалтер уехали. Читал письма Флобера. Очень, очень интересно. Вполне согласен с мыслями Кузена: *«Прекрасное в Европе создано для сорока человек в столетие»*, и самого Флобера: *«Самое значительное в истории — это маленькая человеческая часть (может быть, три-четыре сотни людей в столетие), которая, начиная Платоном и кончая нашими днями, не изменялась. Они-то и создали всё, они — совесть мира»**. Замечательна еще его фраза: *«Когда народ перестанет верить в непорочное зачатие, он уверует в вертящиеся столы»***. Прочитав ее, я тотчас вспомнил о том, как сейчас даже интеллигенты бегают к разным гадалкам и ворожеям, а деревенские бабы, сделавшись гражданками, зарабатывая десятки тысяч рублей на картофеле, капусте и молоке, покупают не книгу, а трюмо, пудру и одновременно слушают на базаре в Загорске предсказания слепых инвалидов, бормочущих им пошлейший, но приятный их сердцам и понятный их умам вздор, ведя пальцем по книгам, изданным для слепых, по *«слепым книгам»*, как с благоговением и страхом шепчут эти самые дуры. Как прав Флобер! Как жалка масса! Никакой социализм ее не переделает.

12.4.43 г. Ночь прошла хорошо. Спать было тепло: рядом горела плитка. <...> Через 20 минут уроки. Их сегодня у меня 8. Тяжелый день. Постараюсь его облегчить: проведу читку газет. В перемены буду читать письма Флобера, чтобы не замечать «нищих духом» педагогов. Иначе на меня навевают унылость невольно слышимые извечные разговоры о еде. Все время вспоминаю Сашу и Жоржа. Где-то они? Живы ли? Сейчас, за заботами трудной жизни, в обстановке голодания и всяческих травм не так резко чувствуется боль и беспокойство за них. Как-то отвлекаешься и то и дело забываешь. Но лишь только наладится существование, а от них и об них не будет вестей, — меня постигнет такое

---

* Там же.— *А.Н.*

** Там же.— *А.Н.*

горе, которое трудно себе представить. Дай Бог, чтобы они остались живы, целы и невредимы, вернулись бы домой на счастье себе и своим ближним!

Вечер. У меня опять нет часов, и я нахожусь вне времени. Сейчас после ужина сидел в монастырском саду. Сосны, ели, липы и тополя, беспорядочно разбросанные, золотистые в закатных лучах. Краснели громады собора и колокольни. Постепенно лучи меркли и погасли совсем. Затих щебет птиц, и только слышался отвратительный треск пролетающих то и дело самолетов. Даже сейчас, когда я пишу один в своей келье, этот шум неприятно доносится до меня, напоминая о проклятой бойне. Никуда от нее не спрячешься, не уйдешь, разве только в могилу!

А все-таки монастырский сад неважен. Монахи не сумели ни сохранить виды леса, хотя кругом, за стенами, множество огромных елей, сосен и берез, ни сделать красивых насаждений. Липы и тополя рассажены безвкусно, беспорядочно. Липы уродливо подстрижены. Сразу чувствуется, что монастырь недавний и все эти посадки делались в конце XIX века, когда уже никто в России не умел толком строить здания и разводить сады. И нет в этом монастыре того обаяния древности, великого покоя и прекрасной устойчивости и гармонии, которую я почувствовал в переславских монастырях и которая есть в Лавре, несмотря на многовековые в ней наслоения. Ну, а послереволюционные обитатели сумели добавить своего уродства в достаточной мере: многие деревья спилены, кусты уничтожены, всюду мусор, битые стекла, разные обломки... Тошно видеть такое безобразие.

16.4.43 г. Все эти дни ночевал дома. Холодно, +7 градусов [R]. Укрывался двумя одеялами и пальто. Тяжело спать под таким грузом, но зато не зяб. Сегодня с утра убирал комнату, перетирал пыль. Зашил вконец изорвавшийся матрасик из верблюжьей шерсти. Она вся свалялась. Надо бы расщипать, но руки не доходят. Устаю. Вложил матрасик в новый, еще прошлым летом купленный чехол, порадовался. Пора навести порядок, а то все сыпалось. Матрасик покупала еще мама, когда мне было 10 лет. Итак, он прослужил 34 года! Надеюсь,

что прослужит мне, как и остальные мои вещи, до конца жизни, который, вероятно, уже недалек. Открыл форточку. На улице теплый, душистый ветер. Сразу в комнате стало теплее, +9°. Сейчас на улице теплей, чем в каменном нетопленом доме. Надо сходить побриться, и в баню. А то в Страстную неделю будет теснота.

За эти дни утешался лишь природой, когда ходил в монастырь и обратно, и чтением писем Флобера. Как они мне многим-многим близки, да и сам Флобер, со всеми его мыслями и переживаниями, с особенностями его характера, вплоть до тончайших нюансов...

Вчера вечером, когда возвращался домой около 9-и часов, на северо-западе вспыхивали огни и слышались короткие тупые удары. Очевидно, на 11-м заводе стреляли зенитки. А я сначала подумал было, что это молнии.

На улице сразу очень потеплело. В лесу журчат ручьи. Вчера в липовых зарослях Корбухи я вспоминал Огуднево, 1908-1909 годы, как бывало с Крестной и тетей Лизой мы гуляли весной по дороге к Петровскому. Те же свежие запахи земли, воды, почек; те же теплые звенящие ветры; те же переливы весенней воды в ручьях и голосов птиц в лесу... Стало тепло и нежно на душе. Милое, милое детство! Куда ты скрылось? Зачем я — не тот тихий и беззаботный мальчик в деревенской глуши! Как быстро и невозвратно летят годы! Как грустна наша человеческая жизнь!

Если Богу будет угодно и я по-прежнему останусь на старом месте, ни угрозы войны, ни голод, ни другие неприятности не нарушат моего существования, то летом буду продолжать усиленно работать над «Эрмитажем», заканчивая начатое, а также создавая новые главы. Хотелось бы мне завершить хоть этот труд. Вместе с моими стихами это будет мой вклад в русскую литературу. Если же судьба позволит, то впоследствии переработаю его. Дополню примечаниями и библиографией, отделаю стиль, вставлю целый ряд экскурсов. Мне хочется, чтобы «Эрмитаж» стал как бы энциклопедией моей жизни. Туда войдет всё, кроме стихов, и этот дневник, который теперь буду вести непрерывно до конца жизни. Я убежден, что эта моя книга будет нужна. Если не многим, то некоторым людям, подобно мне живущим своим внутренним миром, без понимания, без отклика и

сочувствия в живых современниках, которые, как кажется порой, на тысячи верст и сотни лет отдалены от тебя... Я, по крайней мере, теперь это испытываю почти ежечасно. Было нечто подобное и раньше, начиная с 1932 года, когда я в тоске одиночества, видя, как разрушается и гибнет, уходит и забывается все то, что мне дорого, начал писать свою книгу. Я полагаю, что по окончании войны будет то же состояние и у меня, и в окружающей среде, во всей контрастности, какая сейчас налицо. Может быть, этот разрыв обострится, и для меня будет еще болезненнее. Тогда, тем более, надо писать и, не имея устойчивости в окружающем мире, создать в себе свой дивный мир и им жить и дышать.

17.4.43 г. Снова кутерьма. Преподавателя Чернова спешно переселяют из скита к нам, поэтому я временно покидаю свое временное обиталище в монастыре, перебираюсь на свою квартиру в город, куда буду уходить ежедневно после уроков, а Чернов поселяется на моем месте. Меня это не огорчает, т.к. стало очень тепло на улице, и в комнате моей стало сносно. Тяжело только сегодня будет тащить ватное одеяло на спине в мешке, да сумку в руках со всякой мелочью. А потом, когда освободится здание, занимаемое сейчас туберкулезниками, там будет произведена дезинфекция, и я снова смогу получить свой pied-á-terre.

Среди всего этого безалаберного шума и суетни я закончил чтение писем Флобера. Как они интересны! Особенно, когда мною прочитаны все его сочинения, имеющиеся в русских переводах. Ясно вырисовывается облик человека, жившего и дышавшего литературой и влюбленного бескорыстно в возвышенную и возвышающую красоту. Есть в его изумительном трудолюбии, в его усидчивой и самоотверженной работе над стилем (несмотря на некоторые крайности в этом отношении) нечто родственное моему милому Валерию Брюсову. У обоих искусство на первом плане, оба осуществили девиз Nulla dies sine linea*. А в любви к книгам, к чтению, ко всей безграничности познания мира и человека он так сближается с Максимом Горьким, которого за эту

* «Ни дня без строчки» (лат.).— *А.Н.*

черту я особенно ценю и люблю. В письмах есть упоминание о том, что для «Бювара и Пекюше» Флобером была собрана масса всяческих выписок, составившая большую тетрадь *«в восемь пальцев толщиной»*. С каким удовольствием я просмотрел бы все это! Ведь там — материалы для 2-го тома романа, обещавшего быть очень интересным (особенно для меня). Авось, во Франции все это издано. Тогда я со временем постараюсь достать эти тома, конечно, е[сли] б[уду] ж[ив]. Эту толстовскую оговорку теперь очень и очень уместно держать на уме. Жизнь так богата самыми неожиданными и непредвиденными возможностями!...

19.4.43 г. Вчера вечер провел у Ж.К[онева]. Подарил ему синий венецианский бокал с изображением трех дожей. Он, кажется, остался доволен. Время прошло хорошо. Я читал отрывки из сказок Уайльда и повестей Кузмина. Разговаривали сначала на эстетические темы, а потом о современности и перспективах. Последние две темы навели на грусть. Возвращался в 10 ч. вечера. Сияла луна, прорываясь сквозь облака, сверкали мокрые крыши...

Вчера в разговоре с Ж.К[оневым] я говорил о том, что с 1914 по 1917 г. и с 1922 по 1928 гг. у меня были периоды эстетические, тогда как с 1918 по 1921 и с 1928 по сие время — философские. В каждом периоде была своя основная идея, окрашивающая всё в определенные тона, свои симпатии и увлечения, в связи с этим и особая форма проявления моей личности. Даты, конечно, указаны приблизительно. Надо будет в главе «Мое житие» поговорить об этом подробнее, а еще лучше — написать специальную главу для «Эрмитажа» под заглавием «Ступени»...

В субботу слышал, что умирает А.А.Башилов, преподаватель математики, которого я помню еще с 1910 года. Он тогда служил в женской гимназии Сергиева Посада. Вероятно, — от голода, или от недоедания. Теперь такова участь многих стариков. В пятницу в бане видел А.Ф.Павловского и ужаснулся его худобе: кожа да кости! Однако и сам я выгляжу немногим лучше. В той же бане имел удовольствие убедиться в этом, разглядывая себя нагишом в большом зеркале. Овитовский вчера перед отъездом основательно застращивал меня ужасами голода в предстоящую зиму. Говорил о необходимости все

усилия положить на огород: «Иначе подохнем с голоду...» Таков его рефрен за последнее время. И хотя я знаю, что в этом отношении он порядочный паникер, всё же невольно задумываюсь о своей судьбе. То, что я совершенно одинок, одновременно и удобно, и плохо. Мне не на кого надеяться, но моя гибель никого не погубит и мне не о ком страдать и заботиться. Прямо-таки по пословице: «Одна голова не бедна, а если и бедна, то одна». Поживем — увидим! Вообще, я убежден, что это лето будет решающим для всей военно-политической ситуации наших дней.

24.4.43 г. Вчера купил на базаре кусок хлеба за 80 рублей и два куска пиленого сахара за 20 рублей. Потом, сидя на пеньке на бульваре, с аппетитом уничтожил этот сторублевый завтрак, наслаждаясь солнцем и легким теплым веянием ветерка.

Перечитываю книги Метерлинка «Разум цветов» и «Смерть». По-прежнему они оказывают на меня исключительно сильное впечатление. Сейчас приехал из Москвы Овитовский: пугает перспективами летнего немецкого наступления со Смоленска на Москву. По всем вероятиям, они будут действовать газами. Мне как-то не страшно все это. Я так устал и так ослаб, что смерть не пугает. А кроме того, какой-то внутренний голос говорит во мне: «Все скоро кончится, и ты опять заживешь по-человечески». Завтра Пасха. Но нет прежнего радования, которое обычно охватывало меня в эти дни. Один курсант — Францкевич, сказал мне сегодня за обедом, что он слышал, будто бы в РККА сегодня в ночь разрешено отпускать красноармейцев в церковь на 5 часов, если кто из них пожелает. Верится с трудом...

26.4.43 г. Вечер перед Пасхой провел в одиночестве дома. Было грустно. Рано лег спать. Первый день Пасхи ясный, солнечный. Жара совсем летняя. Ходили без пальто. Вечером гроза с молниями и громом. Теплый дождь. Сегодня прохладный ветер и сумрачно. В комнате у меня хорошо — прибрано и тепло, +12° по R.

Вчера был у Коневых. Хорошее угощение, хотя без пасхи и кулича. Из традиционных блюд — только яйца. Мне дали голубое. Я в ответ подарил цветные фотопластинки, подаренные в свое время мне С.И.Огневой, с «брюсовским видом» (т.е. не я с брюсовским видом да-

рил их, а там изображен вид, который, как рассказывала СИО, понравился Брюсову в свое время и был назван им «царским видом», на что СИО не без некоторой льстивости заметила: «Достойный короля поэтов», что *тоже* понравилось Брюсову)...

27.4.43 г. До сих пор никаких вестей от Саши и Георгия. Страшно и подумать об их возможной гибели. Часто вспоминаю о них, а теперь об Алексее Спасском. О последнем особенно в тех местах, где бывали вместе: в бывшем гимназическом саду, у дома Казанского, у дома Чагиной, на линии железной дороги по направлению к Ярославлю, в лесу между скитом и Вифанией... И так всё сразу становится живо и ярко!

Флобер в последних письмах говорил, что живет исключительно воспоминаниями. Это всецело относится и ко мне. Я так отчаянно одинок сейчас в мире. Кроме Жени Конева, никого не осталось около меня из моих друзей, и я даже не уверен в том, что они живы...

1.5.43 г. Сегодня для меня подлинно праздник: получено письмо от Леонида* после 11-ти месяцев молчания. Оказывается, он и Саша были в немецком окружении. Саша был ранен, а потом отправлен в госпиталь. Сейчас его судьба пока неизвестна, т.к. Леонид после этого уже был еще в сражениях. Надо ждать теперь письма от него. Во всяком случае, хорошо то, что он жив. Скорей бы только получить от него весточку. Самое главное: мне есть теперь для чего и для кого жить!

2.5.43 г. Вчерашний вечер провел и ночевал в монастыре. Сегодня с 6 утра и до 2-х [часов] дня — обычное в эти праздники дежурство, м.б., и нужное в иных учреждениях, но у нас, где нет ни радио, ни даже телефона, совершенно излишнее и бессмысленное. Вечером до 12 ч. ночи читал «Ренессанс» У.Пэтера. Который раз я перечитываю эту книгу, начиная с того счастливого дня в 1917 (или в 1916) году, когда я приобрел ее и познакомился с ней впервые! Я помню, что она оказала на меня такое же огромное и исключительное по своему значению влияние, как «Заратустра» Ницше, как «История живописи XIX столетия» Мутера, как статьи Рёскина об

---

* Дурнов Л.П., брат Дурнова А.П.— *А.Н.*

искусстве и книга Р.Сизерана о самом Рёскине. Это было мое вступление в подлинный мир высокой культуры, которое сразу поставило меня перед «горными вершинами» европейской мысли, а передо мной поставило трудную, но столь отрадную задачу преодоления инертности и традиционализма в себе и в окружающей среде ради блаженства стать причастным этой окрывшейся увлекательной перспективе.

С тех пор прошло более четверти века. Я многое узнал, многое пережил, прочувствовал и продумал. Очень много прочитано книг и замечательных, потрясающих до основания всё внутреннее существо человека, и просто хороших, и, наконец, только занимательных, служащих развлечением в часы отдыха, или необходимых в связи с работой по той или иной специальности. Многие книги, увлекавшие в годы незрелой юности, постепенно поблекли, как-то отошли в сторону, смененные другими, более соответствующими идеям и настроениям моей души в поздние периоды жизни. Так же случилось и со многими мыслями и переживаниями. Потеряв свой аромат и постепенно блекнувшую окраску, они перестали постоянно звучать во мне и только изредка появляются, как воспоминания, случайностью ассоциаций вызванные из небытия, воскрешая на миг былые увлечения в сознании теперешнего человека, который смотрит на них с полулюбовью, с полуснисходительной улыбкой критики. И вот среди всего этого две книги У.Пэтера, его «Ренессанс» и «Воображаемые портреты» с фрагментами романа «Марий Эпикуреец» остаются попрежнему сохранившими для меня весь аромат первоначального очарования, усложненный и углубленный нарастанием позднейших наслоений внутренней моей жизни. Идеи Пэтера и его прелестные в своей легкой грации и нежной меланхолии образы не только не потускнели, не отлетели вдаль, наоборот: они стали одними из краеугольных камней моего миросозерцания, на которых можно производить пробу ценности вновь воспринимаемого мира. Немногие авторы и книги сразу и навсегда стали для меня таковыми, составив «вечное сокровище», определяющее весь дальнейший жизненный путь. И каждое новое возвращение к этому первоистоку, каждое перечитывание всегда дает нечто новое, освежая и углубляя прежние восприятия, бережно хранимые памятью в ее несчетных тайниках.

Хотелось бы отметить такие книги, которые с ранней юности дали мне многое и раз навсегда стали достоянием души на всю жизнь. Прежде всего, стихи Тютчева. Они помогли не только полюбить нашу русскую природу (в этом отношении много ценного дали мне стихи Пушкина, Лермонтова, Некрасова и Никитина, а также картины Левитана и Нестерова и музыка Чайковского). Стихи Тютчева заставили задуматься над проблемой Космоса и Хаоса, извечной борьбы аполлонического и дионисийского начал в мире и в душе человека. Они приучили вглядываться зорко в облик жизни и чутко прислушиваться к внутренним голосам, ценить сокровенное и уметь его различать там, где всё кажется обычным для неопытного и поверхностного взгляда. Они, наконец, показали изумительную, почти неизреченную красоту всего того, что есть и, тем более, должно быть в нас и вокруг нас. С той поры и до сего дня, и, надеюсь, до самой смерти Тютчев — мой самый любимый, самый близкий и родной поэт. Это мой отец в деле поэтического творчества. Отец, учитель, водитель по путям поэзии!

Затем полный «Робинзон»*. Я до сих пор помню, как заставила меня еще в детстве эта книга задуматься об одиночестве. Она показала, что человек носит в себе огромнейший запас творческой энергии, которая спасает его от гибели и отчаяния в самую тяжелую минуту жизни. Суметь воплотить свой внутренний мир, создать себе необходимое окружение из вещей и, наконец, найти товарища, спутника жизни, который сможет понять тебя, насколько возможно одному человеку понять другого, сможет и захочет разделить с тобой твои труды, мысли, чувства и упования, — вот задача, которая показалась мне существенной даже тогда, в силу моего тогдашнего разумения. Впоследствии эта тема обросла позднейшими мыслями и фактами, почерпнутыми из книг и полученными непосредственно из жизни. Но семя было брошено тогда, и дерево выросло из него.

Книги стихов Бальмонта — «Тишина», «Горящие здания», «Будем, как Солнце», «Только любовь», Брюсова — «Венок», Верхарна — «Стихи о современности» пленили меня ликами красоты, дерзновением юного порыва, насыщенностью красок, звуками, запахами. Как

* Д.Дефо.— *А.Н.*

они были ярки, смелы и пленительны после эпигонства всех Надсонов и Апухтиных, даже после Майкова, Полонского и самого Фета! У них я учился по-новому смотреть на мир. Они сделали меня человеком modern'а, как сочинения Платона и последних византийцев пробуждали и укрепляли идеи Ренессанса в сознании флорентийцев XV века. Сюда же следует присоединить фантастические новеллы Э.По в переводе Бальмонта, «Земную ось» Брюсова, «Мелкий бес» Сологуба, сказки и «Дориана Грея» Уайльда, пьесы Ибсена, романы Гамсуна и, особенно, пьесы и статьи Метерлинка. К последнему так легко было переходить от Тютчева. Это было моим вступлением в мир Европы, знакомством с высшими ее достижениями в области культуры.

Сюда же надо отнести те NN «Весов», «Вопросов жизни», «Нового Пути», «Мира искусства», «Золотого руна» и «Аполлона», которые мне удавалось видеть в те ранние годы. Они показали мне, что такое подлинно художественный журнал.

О других книгах, как, например, о «Заратустре» Ницше и об «Истории живописи» Мутера, об их влиянии на меня я говорил.

Теперь, когда я вспоминаю всё это, я сознаю, какое огромное значение имеет та среда, которая окружает ребенка и подростка. Если вещи и люди, пейзаж, музыка и книги, чувства, мысли и разговоры вокруг него красивы, глубоки и оригинальны, то ему легче развить всё хорошее и ценное, что заложено в нем от природы. Ранний возраст создает ту основу, на которой будет произрастать всё дальнейшее. Я убежден, что отрочество — самый важный период в отношении формирования личности. Если в эту пору не приобретено ничего, то все дальнейшие попытки не дают достаточного усвоения. И сильные натуры, не встречая в окружающей среди поддержки своим эстетическим запросам, сами ищут для себя такую среду и находят. Сильный человек всегда умеет добиться своего!

8.5.43 г., суббота. Пять дней не писал. Много времени уходит на походы в монастырь. Ухожу из дома в 7 ч. утра и возвращаюсь — самое раннее — к 7-и вечера, а то и к 9-и. Всё это из-за еды. Завтрак от 8 ч. до 9; обед в 1 ч. дня, ужин в 6 ч. вечера. После этого теперь почти

ежедневно собираю шишки для А.И.Леман. А уроков — самое большое — 6 в день. Вот уже полтора месяца, как получаю «диетическое питание», т.е. вместо серой капусты — картофель, почти всегда без масла. Только изредка — пюре или лапша на молоке. С сегодняшнего дня добился (и не без неприятностей) от директора по стакану молока в день. Противно всё это выпрашивать, чувствуешь себя нищим. Да чего, впрочем, смущаться? Я и в самом деле нищий, который только молча просит о милостыне и бывает счастлив, когда добрые и понимающие люди, вроде родителей Ж.К[онева] или Саши, ее подают, то-есть, приглашают поесть...

На днях возвращался около 10 ч. вечера и сел передохнуть на скамеечке около одного домика на Огородной улице в районе Красюковки. Какой-то маленький мальчик, лет 5-и, сказал женщине, копавшей грядки в саду на противоположной стороне улицы: «Какой-то господин сел на скамеечке напротив...» — «Господин, господин! А у господина ноги не ходят от голода», — проворчала та. Меня насмешила эта своеобразная реплика, в которой было мало любезности и приветливости, но зато много горькой правды, хотя и высказанной с пренебрежительностью, свойственной сытым и вульгарным людям...

9.5.43 г., воскресенье. Днем у Ж.К[онева]. Обед, разговор на темы книги Поля Верлена, которую я ему принес. Немного музыки, а потом ходили в кино смотреть «Леди Гамильтон». Очаровательный фильм! Но я вспомнил одноименный фильм, который видел в первые годы революции. В нем играл Конрад Фейдт. И английскому артисту до него далеко. Артистка, игравшая Гамильтон, очень интересна. В немецком фильме она была бесцветна. Вспомнил и роман Пименова о леди Гамильтон и Нельсоне, который читал давно в «Русской Мысли», и задумался над этой судьбой женщины, прошедшей в жизни все пути: и счастья, и тусклого заканчивания в бедности среди блестящих, но скорбных воспоминаний... Непостижимы пути человеческой жизни.

12.5.43 г. Вчера вечером был у А.А.Захаровой. Занимательная беседа. Интересно поговорить с интеллигентной женщиной старого времени, которая еще не ушла целиком в заботы о еде.

Сегодня начали сажать картофель с курсантами для МООСО. Нам, учителям, работы немного, приходится лишь присматривать. Кругом леса, поля и глинковская церковь на бугре. Березовая роща возле нее сильно поредела. Сколько мыслей и чувств во мне, и... некому о них сказать, не от кого услышать ответное слово!

Получил письмо от М.М.Мелентьева. Оно датировано сентябрем 1942 г., а пришло только сегодня.

17.5.43 г. Несколько дней не писал. Занимался посадкой картофеля на поле МООСО. Собственно говоря, ничего не делал, т.к. картофель сажали курсанты, а нам, учителям, поручено было наблюдать. Мы слонялись по полю, составляли список явившихся на работы, иногда тоже сажали, а по большей части садились где-нибудь в сторонке и отдавались мечтам, каждый по своему вкусу. Я жалел, что нельзя было принести своего шезлонга и сидеть в нем, вытянув ноги, покуривая и читая интересную книгу. Это слишком подчеркнуло бы мое барственное безделье. Поэтому я наслаждался солнцем, дыханием теплого ветра, приносившего свежие запахи с лугов и из леса, любовался на золото одуванчиков, рассыпанное среди зелени полян; на линию лесов, где свежие березы и красноверхие молодые осинки выделялись на фоне слового бора; на белую глинковскую церковь с березовой рощей вокруг, сильно поредевшей за последние годы, на отдаленную линию горизонта, где поле, закругляясь, как плоская чаша, сливается с ясным небом, а на нем четко вырисовывается силуэт далекого пахаря... Все вызывало в душе сладко-грустное томление, которое неизбежно появляется у меня, как только я попадаю в деревенскую остановку. Что это? — Поэтическое настроение руссоистского порядка, вызванное чисто литературными и художественными реминисценциями, или глухой отголосок крови предков-землеробов, живших в затишьи лесов и лугов, покорствуя природе и руководимых законами земледельческого труда?...

Вчера всё воскресенье был свободен, т.к. теперь присутствует при работе только один педагог. Я посидел дома. Почитал кое-что. Вечер провел у Ж.Конева. В сумерках под шум набежавшего дождя поговорил кое о чем, между прочим, о той обстановке, которую каждый из нас намерен создать для себя по окончании войны.

Так хочется обоим нам покоя, уюта, красивой и интересной жизни! Масштабы ее так скромны, так невелики, что любой интеллигент прежнего времени ахнул бы, изумляясь нашей непритязательности, но сейчас и это невозможно. Сейчас только одно дается в удел всем: жестокая борьба за существование или суровое нищенство. И то, и другое создает переносимую прозу жизни и мертвит все живые ростки души...

20.5.43 г. Когда я шел на работу, то меня поразил изумительно свежий блеск омытой ночным дождем листвы. Сколько бодрости в этом шуме и сверкании! Как они мне напомнили летние дни блаженного детства, когда я, бывало, встречал раннее утро в своем саду среди берез, тополей и цветов, сверкающих алмазами еще не высохших капель росы и ночного дождя. Какое синее небо, как прозрачен воздух! Какую неисчерпаемую радость и силу вливают такие часы в душу человека!

В этой обстановке легко думается и привольно дышится. Мысли свободно и плавно текут, складываясь в стройное целое. И какими далекими, неважными, даже совсем ненужными оказываются все старые догмы и теории! Идеализм, материализм, со всем веками накопленным арсеналом и богатств, и всякого хлама, кажутся уже только досадными препятствиями на царственном пути мысли. Надо проще и жизненнее смотреть на вещи. Здесь будет уместен здоровый реализм, который всегда был свойственен великим умам человечества, лучшим воплощением которых были Пушкин, Гёте, Шекспир и Лев Толстой. Эта своеобразная геософия, если можно так выразиться. Мудрость земли, земное постижение земного. Своеобразный геоцентризм в отношении основной и первоначальной целеустремленности. Свирепая война, выявившая всю жестокость существования, показала необходимость хлеба насущного для земнородных и подчеркнула, что земнородным прежде всего надо позаботиться о том, чтобы прожить на земле. Умирающий с голоду человек не сможет думать о небесном. Голодного надо прежде всего насытить. Об этом говорит и Евангелие, эта величайшая в мире проповедь идеализма. И Христос насыщал хлебами утомленных и проголодавшихся своих слушателей. Об этом же гово-

рит и мудрость всех времен и народов. И только тогда, когда человек сыт, согрет и имеет пристанище, он способен внимать божественным глаголам. Иначе ему грозит возможность превратиться в труп. Так грозная жизнь научает нас реально мыслить обо всем и постигать относительность дуалистического разделения идеализма и материализма в многовековой теории человеческой мысли. Этот синтез реалистичен. Это жизненный реализм, простой, правдивый и часто кажущийся грубым утонченным натурам, но только он может спасти человечество от вырождения и декаданса, создать здоровую и прекрасную жизнь. Конечно, он не исключает ничего высокого и глубокого, но он, отменяя всю их важность, необходимость и неизбежность, все-таки констатирует тот факт, что все возвышенное и прекрасное возрастает только на почве известного благосостояния, которое создается исключительно путем реального отношения к жизни.

24.5.43 г., вторник. Когда хожу в монастырь и обратно, размышляю на самые разнообразные темы. Сегодня думал о религии, о том, какое значение будет иметь для нее поворот в политике советского правительства, который уже довольно явственно чувствуется во многом, а на днях резко выразился в ликвидации Коминтерна. Меня не радуют перспективы оттаивания и оживания обветшавшего и подгнившего православия со всеми его былыми претензиями и, особенно, недочетами. Не оно возродит русский народ и всю нашу жизнь. Церковь будет по-прежнему только литургисать и исполнять требы, а интеллигенция в лице лучших и глубоко мыслящих людей не пойдет за ней. Обновления же церкви не предвидится. Она по привычке былых лет будет льстить и низкопоклонничать перед властью. Да это уже налицо. Достаточно прочитать за последний год поздравительные телеграммы митрополита Сергия, сообщения духовных лиц о пожертвованиях на войну, выступление митрополита Николая на Всеславянском конгрессе в Москве... *«Егда же состареешися, ки тя повяжет и ведет, амо же не хощеши...»*

27.5.43 г. Вчера весь день шли тучи. Изредка дождило. Гремел гром. Ночью проливной дождь. А говорили,

что май будет сухим и сейчас сулят засушливое лето! Вчера днем в монастыре неожиданно встретил Овитовского и очень обрадовался ему. Я и сам не подозревал, что так сильно к нему привязался. Очевидно, мое одиночество так тяжело, что я рад доброму человеку, который ко мне всегда так хорошо относился, несмотря на полное несходство во взглядах и вкусах. Он материалист, скорее — практик-позитивист, а я идеалист и одновременно скептик. Говорил с ним о ликвидации Коминтерна, как и с А.И.Леман вечером. Это — событие огромного международного значения. Его последствия скажутся в непосредственном будущем. Это новый этап в истории СССР и в истории рабочего движения. И новый пункт в развитии социализма. Отныне последний становится как бы национальным делом, прежде всего, делом народов СССР.

Овитовский, кажется, снова будет преподавать у нас. Это меня радует. Будет с кем поговорить. У меня вчера было большое горе: разорвалась правая галоша, а левая протекает. Теперь это — непоправимая беда, особенно в моем положении. Вчера вечером, вернувшись от Леман, даже хандрил и пал было духом. Но поспал — и успокоился. Такова моя натура. Я утром всегда бодрее, чем вечером. С каждым утром я возрождаюсь вновь. После ночи и сна приходит успокоение и нарастает энергия. Для меня это — символ. Так будет и после смерти, когда я проснусь для новой, иной жизни...

28.5.43 г. Вчера я получил 10 килограмм картофеля. Сегодня надо будет сажать после обеда. Итак, и у меня будет свой «огород». Сейчас все только этим и заняты, только об этом и думают, и говорят с самого начала весны, а некоторые даже с зимы. «Хлеб насущный». Вернее — картошка насущная!.. На улицах с конца апреля только и видишь людей с лопатами, граблями. Вид у них усталый, озабоченный, но довольный. Везде поднимают целину, даже выкорчевывают кусты. Но все же в разных местах много неиспользованной хорошей земли. Это все результат нашего неумения да и нежелания, пожалуй, как следует организовать дело. У меня небольшие надежды на урожай. Много воровства. Уже и сейчас таскают только что посаженный картофель, несмотря на строгие постановления, а что будет, когда он поспеет? Голод и нищета доводят человека до отчаяния.

Овитовский вчера говорил, что в Москве ходят усиленные слухи о скором мире, но предполагается, что перед этим будут решительные бои с немцами на юге. Опять ужасное кровопролитие! Сколько уже людей погибло, а сколько погибнет еще! Говорят, что немцы сосредоточивают большие силы, готовят всяческие ужасные сюрпризы и неожиданности, стараясь спасти свое положение. Многие ждут химической, а, может быть, и эпидемической, вернее, бактериологической войны. Это будет кошмар! Наши, конечно, ответят тем же. Да и англичане с американцами в лице своих соответствующих представителей заявляли не раз, что ответят тем же, если немцы прибегнут к таким крайним мерам. Миру поистине грозит перспектива, описанная Лондоном в его «Алой чуме». Хочется верить, что, если есть Божество в высших сферах мирового бытия, то оно не допустит такой погибели почти всего человеческого рода. Только слаба эта вера в моем скептическом уме и уставшем сердце!...

29.5.43 г. Небо без облачка. Солнце. Так ясно в природе и на душе! Хорошо спал, и сейчас чувствую себя бодро. По радио передается какая-то красивая вещь. Звуки рояля, плавные и переливающиеся, говорят о красивой и счастливой жизни. И так хочется верить и надеяться, что окончится скоро весь этот кошмар, которым мы живем вот уже два года, снова наступит пора, если и не полного счастья, то все-таки сносного и мало-мальски отрадного существования...

30.5.43 г., воскресенье. Сегодня, как и обычно, у Жени Конева. Обед был превосходный, т.к. ждали начальство из Москвы, а оно не приехало. И все же, несмотря на то, что порядочно выпил водки и пива и вкусно, сытно закусил, несмотря на патефон, мне было скучно. Это потому, что на этот раз разговоры были только на политические темы, главным образом, о ликвидации Коминтерна, о немецких поражениях, о возможном скором мире, а также о возможном поправении всего государственного курса в самом недалеком будущем. А потом, когда пришел один из инструкторов автошколы, то беседа перешла совсем на узко практическую тему: как и где и что можно добыть, и еще о своих повседневных

делах. Я в этом ничего не смыслю, и мне было тоскливо до боли, хотя я и не подавал вида, а там, где оказывалось возможно, вставлял свои реплики. Я жду этого воскресенья целую неделю и не столько потому, что хоть раз в неделю сытно и вкусно поем, а сколько ради того, что могу в кои-то веки поговорить с Женей. Он один остался у меня, с которым можно говорить по-прежнему, так, как я привык беседовать в кругу моих друзей в моей «малой Академии», как я в шутку называл бывало свою скромную комнатку-келью. И каждый раз, когда подобная беседа удается хоть отчасти, я счастлив, а когда, срываясь, она замещается деловой или бессодержательной болтовней, я грущу...

За последние дни по дороге в монастырь и обратно я много думал о том, как мы сроднились с христианством, как много интимного, своего душевного, личного и национального внесли в эту, казалось бы, чуждую, рожденную в отталкивающем своей корыстностью и жестокосердием еврейском народе религию. Каждая страна, каждый народ, каждый человек так прочно и всепроникающе впитал в себя с молоком матери и с воздухом родины христианское мироощущение, так сжился с ним, так пропитал его не только своим духом, но и плотью и кровью, что всякий отрыв от христианства, если и не смертелен порой, то неизлечимо мучителен, болезненно потрясающ как для отдельной личности, так и всего общественного организма. Вся наша советская жизнь за 25 лет тому самое яркое доказательство.

31.5.43 г. Возвращаюсь опять к теме о приспособляемости христианства к местным условиям. Когда я взгляну в золотые сны моего детства, то вижу себя верующим в Бога. Размышляя теперь о своем тогдашнем мироощущении (о миросозерцании в возрасте 5-10 лет говорить не приходится, т.к. элемент мысли тогда был слишком незначительным), я теперь прихожу к выводу, что я и тогда был одновременно и христианин, и язычник, каким в значительной мере являюсь и теперь, только с солидной долей благоприобретенного за последующие годы горького скепсиса и грустной иронии. А тогда непосредственный, пусть и наивный, но живой и животворящий синтез христианского и языческого элемента создавал блаженную ясность в душе.

Была органическая слитность с миром. Природа, немногие люди, с которыми я близко соприкасался, и мой внутренний мир составляли единое целое. И природу я воспринимал чисто язычески, а в отношениях к людям, в душевной жизни сказывалось христианское начало любви и доброты. Потом и к природе я отнес эти специфически христианские чувствования, а к людям стал подходить с языческим любованием. Мне вообще кажется, что эстетизм — явление преимущественно языческого порядка, тогда как всякая этика, отношение к чему-либо, исходящее из моральных соображений, основанных не на каком-нибудь законе и категорическом императиве, а на самых интимных чувствах сострадания, любви и благоговения — явления преимущественно христианские. Так что впоследствии, именно годам к 10-ти, эти два чувствования как бы перемешались друг с другом, взаимопроникая одно в другое, тогда как раньше они существовали во мне неслиянно.

2.6.43 г. Пришел домой, а в почтовом ящике меня ждала радость: письмо от Кати, кузины Саши, в котором она сообщает, что от него получено письмо. Он жив, здоров, на передовой линии. И, наконец, прислал свой адрес, так что ему можно написать. Как я рад! Сейчас пойду к его маме, чтобы узнать подробности. Слава Тебе, всемилостивый Боже, что Ты сохранил моего родного Сашеньку!

3.6.43 г. Прекрасное утро. Солнце. Небо ясное-ясное. Только кое-где маленькие легкие облачка. Тепло. За последнее время, начиная с воскресенья, стоят ясные и теплые дни. Это так радует в теперешней скудной жизни! Сегодня Вознесение, а через несколько дней и Троица. Как я любил всегда этот праздник! И в церкви, и в домах свежие березки, все с цветами... Я вспоминаю, как в детстве все сверкало радостно в этот милый Троицын день! Особенно мне запомнились яркие, красочные платья девочек, идущих к обедне, — розовые, голубые, желтые, пунцовые, сиреневые... На шляпках цветы, в руках букеты. Сколько было чистой и красивой радости в жизни!

Сейчас у меня стоит на столе букет сирени, и его запах мне опять-таки напоминает мое детство, жизнь в

Маврино... Как всё миновало, кануло в неизмеримую и невозвратимую бездну прошлого, и лишь волшебница память хранит в своей глубине дивные очертания, звуки, цвета и запахи вечно дорогих и непрестанно живущих в душе образов прошлого, которые так сладко и так грустно волнуют в скорбной обстановке наших дней...

В связи с этими воспоминаниями подумал о 2-й «Симфонии» А.Белого. Как хорошо смог он изобразить эти весенние праздники в Москве, давая почувствовать и понять их телесную природную красоту и возвышенную духовность! Символисты были изумительно талантливы. Грустно, что наша советская современность их не знает, не понимает и не ценит. Достаточно вспомнить, сколько глупостей, не уступающих чепухе в пресловутой книжке М.Нордау, написали о символистах советские «ученые»; большинство этих «литературоведов» только и заслуживает того, чтобы их имена заключали в кавычки. К сожалению, среди них оказывается и мой бывший ученик И.В.Сергиевский...

Творчество символистов было своеобразным окном в Европу, которое почти два века спустя после Петра Великого снова надо было прорубать, чтобы хлынул свежий воздух. Более того, оно было окном в мир, которое открыло русской интеллигенции этот мир во всем его сверкающем многообразии.

На смену аскетам народничества и затворникам позитивизма появились в лице символистов новые люди, которые захотели и смогли преодолеть национальную ограниченность и рассудочную узость и сухость своих современников, увидели не только свой маленький замкнутый мирок, но несравненно более широкие сферы жизни и пошли самыми разнообразными путями мысли, воспринимая весь мир без каких-либо ограничений, сумели и посмели восхищаться открывающимися перед ними необъятными просторами и волнующими глубинами, постарались в своем творчестве выразить свое новое мировоззрение и пленить других этими поразительными горизонтами.

Творчество символистов, их кругозор, углубленность тематики, обостренность ощущений, оригинальность идей — все необычайно ново, увлекательно и ценно на тусклом фоне конца XIX века, когда отдельные крупные личности, вроде Льва Толстого, не искупали общего

упадка мышления и творчества. Символисты старшего поколения сосредоточивают свое внимание почти исключительно на эстетической проблеме. К ним тесно примыкают художники-мироискустники. Весь мир предстает их взорам, как явление красоты, par excellence*. После тусклых и грустных тонов пейзажа и жанровых сцен, преобладающих в поэзии Чехова, Успенского и Надсона, не говоря уже о менее значительных авторах, и в живописи передвижников, где социально-этические темы, развернутые почти всегда в узко-национальном, типично русском масштабе, доминировали и вытесняли все остальное, появляется звучная и многогранная поэзия Бальмонта, пытающаяся с восторженной неумеренностью схватить и выразить всю красочность и пахучесть, все полногласие земного мира от серых валунов Исландии до изощренной четкости Японии, от легенд и преданий древних майев до песенных мотивов русского хлыстовства. Творчество Брюсова в этом отношении еще глубже, богаче и углубленнее. Сочетая мудрость ученого с ясностью и восхищением поэта, он достигает изумительного совершенства и в своих поэтических интуициях, и в изысканиях эрудита-специалиста, обращается ли к былым векам, рисует ли современность, или уносится мыслью и мечтою в нерожденное еще будущее.

4.6.43 г. Сегодня мой выходной день. С утра дома. Так отрадно побыть в своей уютной комнате, с любимыми книгами и рукописями. Заходил Н.С.Чернов или «pater Черни», как мы шутливо называем его с Овитовским. Смотрел мои книги. Неумело, рассеянно. Я сразу узнаю подлинно культурного человека и книголюбца-книгочия по тому, как он перелистывает и смотрит книгу, как ориентируется в библиотеке. «Pater Черни» малокультурен. Уже по одному этому я с ним никогда близко не сойдусь. Это — человек не моего стиля. Да и скучноват он со своей фанатической приверженностью ко всяческому магизму, который им понимается крайне вульгарно, материалистически.

Почему это сейчас я стал чувствовать так остро, что большинство людей скучны неимоверно и отчаянно бесцветны, неинтересны? М.б. потому, что я сейчас

* Преимущественно (фр.).— *А.Н.*

очень одинок и нет около меня тех моих друзей, к которым я привык, которые, отчасти под моим воздействием, воспитаны во всей полноте многообразной глубокой культуры, с которыми можно было говорить de omne re scibili*, которые создавали во мне импульс к рождению мысли. В данном случае я имею в ввиду моих друзей-учеников — Женю, Жоржа, Сашу, Валентина, отчасти Колю Сухова, Бориса Мишина и Левушку Володковича. В них семя культуры заложено мною, а они смогли пользительно и любовно его вырастить. А из посторонних людей, которых я встретил уже с цельным мировоззрением, мне по-настоящему близки были только Флоренские, Софья Ивановна Огнёва и милейшая Ольга Ивановна, ее племянница — «Marc Aurele». Только в их обществе я чувствовал себя легко, в своем кругу, где можно говорить так, как думаешь, не боясь, что тебя не поймут, что твои идеи не дойдут до человека, как песня до глухого. Вот вчера я провел вечер с Е.Е.Волковой и все время думал: «До чего может опуститься человек!» Вся она как-то выдохлась. Ничего почти не осталось. Даже любви к книгам. Чувствую, что в ее голове нет уже никаких мыслей, как только о еде, о службе, о разных других житейских делах. А было время, когда с ней можно было поговорить и даже порой мало-мальски интересно.

И все сейчас как-то снизились, погрубели, поглупели. Мне говорят, что я — «человек не от мира сего», поэтому-то я по-прежнему и живу в мире дум, фантазий, философии и искусства. Но разве я не голодаю? Разве не хожу оборванным в дырявых ботинках? Разве мне легко быть по месяцу без смены чистого белья, по два месяца не бывать в бане, осень ходить в дырявых галошах с промоченными грязными ногами, зимой ночевать в нетопленном помещении? А разве нет у меня болезней, которых сейчас нельзя залечить, и таких горестей и печалей, о которых лучше и не упоминать?!

И все же я кое-как держусь. Бывают миги отчаяния и упадка духа, когда желаешь только одного — забыться, уснуть, и готов примириться с возможностью неминуемой, преждевременной, безотрадной смерти. Но проглянет солнце, поешь чего-нибудь, поспишь, или хоть

---

* О самых различных вещах (лат.).— *А.Н.*

почитаешь любимую книгу, или затихнешь, прикорнув где-нибудь в уголку, погрузившись в свои мечты, или уйдешь в лес и поле — и все снова хорошо и ясно на душе, и мысль опять плетет свой узор, и хочется с кем-то поделиться всем тем богатством откровений, которыми дарят тебя твой Гений и твоя Муза...

Символизм знаменателен как доказательство роста всего человечества. То, что прежде было редкостным уделом исключительных умов, теперь стало доступно многим. Это не значит, что люди вообще в массе своей стали талантливее. Я убежден, что духовные потенции человечества, сумма заложенной в нем гениальности — величина постоянная и почти не изменяющаяся на протяжении веков, но социально-экономические условия, то способствующие, то препятствующие выявлению этого внутреннего богатства, постоянно меняются. К концу XIX в. и в первые пятнадцать лет XX века создались наиболее благоприятные условия в Европе, которые и создали такое высоко культурное и духовное течение, как символизм, легший в основу всего европейского Модерна. Сейчас эти условия для человечества в высшей степени неблагоприятны. Отсюда мрачность и тоска у всех культурных людей в Европе, и варварство новой социалистической культуры, которая совершает еще первые шаги по земле. Умирающий мир глубоко и проникновенно, но косноязычно и безнадежно шепчет устами Франса, Пруста, Т.Манна и Джойса. А рождающийся социализм по-детски лепечет, подобно героям книжки К.Чуковского «От 2-х до 5-и». И таким людям, как Р.Роллан, — тяжело.

Русский символизм равноценен явлению Пушкина. Западный — явлению Шекспира и Гёте. Раньше судьба вершила гигантским методом, создавая дивную статую великого человека из огромной глыбы. Теперь она действует как искусный мозаист, создавая сложную картину, в пестроте и красочности которой не меньше очарования, нежели в небывалой мощи и красоте единого изваяния...

4.6.43 г. Вот снова я дома. Догорел закат. Солнце село в голубые продолговатые облачка. Их края отливают перламутром и розовеют, как лепестки яблоневого цвета. Вечереет. Стихает городской шум. Где-то далеко в садах кричат вороны.

Я до некоторой степени сыт, хотя завтрак, обед и ужин сегодня ужасны: трижды солянка из черной горькой капусты, суп — сплошная вода, слегка подбеленная молоком с тремя чайными ложками крупы и стакан молока. А сыт я потому, что вчера продал маленький столик за 212 рублей, купил хлеба. Его хватило на вчера и на сегодня. (Всего было полтора кило — за 180 рублей.) Да поел еще картошки. Желудок набит...

7.6.43 г. Вчера вместе с Ж.Коневым ходили в лес на запад. После Келарского пруда за городом тянется узкая ложбина, посреди которой извивается подобие узкой речки с перемежающимися бочажками; в них мутная, тоскливая и неподвижная вода. По бокам холмы, упирающиеся своими округлыми поверхностями в небо. Все заросло травой, одуванчиками, сурепкой и лютиками. Вдали лес. В этих местах красивы осенние, огненно-тоскливые, прямо-таки мучающие душу закаты. Мы шли вечером, но небо было жемчужно-облачное, и палево-розовые краски заката как-то незаметно и нежно растворялись в нем. Дошли до леса, но вглубь не ходили. Устали, да и пить захотелось. Жуткую картину представляют черемуховые заросли. В этом году на черемуху напали какие-то паразиты. Они поели все листья. Деревья стоят голые, стволы и ветки, как саваном, окутаны грязно-белой паутиной. Суеверные люди видят в этом недоброе предзнаменование и сулят голодный год. Посмотрим, как будет на самом деле. Пишу я об этом спокойно, а страшно и подумать о том, что будет, как придется жить, если нам судьбой суждден неурожай! И без того голодали весь 1942 год, а теперь будет сплошной кошмар. Страшно и тяжело даже думать об этой перспективе.

Поговорили с Ж.К[оневым] о том, о сем. Конечно, и о том, скоро ли кончится война, скоро ли заживем мало-мальски по-человечески... Серенький денек и незаметно спустившийся вечер располагали к задумчивости и задушевности. Люблю я эти серенькие, как-то притихшие, серьезные дни, столь свойственные нашему северному лету. Они окутывают тело мягкой прохладой и свежестью запахов земли и травы, а душу настраивают слегка грустно, но вместе с тем вносят струю строгой ясности и сердечной примиренности.

На обратном пути заглянули в сад при доме Машинского. Даже в теперешнем своем запустении и заброшенном состоянии, заросший огромными липами и дубами, с остатками кустов, с обширными полянами, густо покрытыми высокой травой и лопухами, он производит очаровательное впечатление. Это — последний большой и пышный сад в Загорске, который еще уцелел, не вырублен окончательно, не застроен, не разбит на жалкие мелкие участки. А сколько их было раньше, до 1917 года. Многие из них я еще видел в свое время. Теперь от них не осталось и следа. Как мне их безумно жаль! Говорили с Женей о том, какое счастье было бы для нас, если бы наш дом стоял в таком саду! Мы могли бы его превратить в рай, откуда не захотелось бы уходить даже в лес. И как прежде все это можно было сделать, а теперь — это только мечта, вызывающая грусть и боль при сознании, что она никогда не осуществится...

В 7 часов вечера пришел «Спартак»*. Чаепитие и разговор о болезни. «Ut medicamenta non sanant — mors sanat».** Я почувствовал это приближение холодного крыла. Оно вскользь задело меня, но потрясло мою мысль.

8.6.43 г. Пришел домой, и хотя сильно устал и безумно хотелось прилечь на шезлонг, все-таки вытер пыль со стола, всех вещей и даже с пола. Не могу сидеть в неубранной комнате. Противно. Даже и отдыха тогда не испытываешь. В высшей степени не люблю, жалею, а иногда и слегка презираю неряшливых людей, которые не могут, не умеют, а главное — не хотят добиться максимальной чистоты, красоты и уюта в своем обиталище...

Приехал Овитовский. Я обрадовался ему и поговорил с ним после уроков. Он приходит в ужас от нашего школьного меню — сплошь из капусты и притом серой и горькой. Странно: вполне он человек не моего стиля, слишком уж terre-á-terre***, но его прямота и сердечность меня трогают и заставляют симпатизировать ему, тогда как «pater Черни» при всех его мистических склонностях не только мне чужд, но отчасти неприятен. Это происходит потому, что Овитовский прямой, чест-

---

* Волкова Е.Е.— *А.Н.*

** «Что не излечивают лекарства — лечит смерть» (лат.).— *А.Н.*

*** Приземленный (фр.).— *А.Н.*

ный и искренний человек, притом с солидной долей альтруизма, а Черни — двуличный, хитрый и скрытный, трусливый и эгоистичный. Он какой-то сухарь, тип подлинного старого холостяка, когда слишком въелись разные упрямства и привычки. А они у него невысокой мерки.

В перемены читал книгу Вересаева «Пушкин в жизни», второй раз. Интересно, но не очень. Такие работы слишком мозаичны. Они дают представление о герое, но не дают ни его понимания, ни возможности вчувствоваться в его жизнь. Надо хорошо знать мемуарную, дневниковую и эпистолярную литературу соответствующей эпохи, чтобы суметь разобраться в пестроте этих самых несогласных и неравноценных кусочков, производящих импрессионистическое впечатление. Биографические романы типа «Жизнь Дизраэли» Моруа или «Записок д'Аршиака» Л.Гроссмана куда лучше, полезнее и увлекательней.

Сегодня днем то и дело думал о «Спартаке» (Е.Е.Волковой). В связи с этим вспомнил некоторые моменты своего прошлого. Многому меня научили годы 1935-1939!

9 часов вечера. Проглянуло оранжевое закатное солнце сквозь облака. Золотит своими лучами ковер и шкаф в моей комнате. У меня легкая грусть на душе. Сварил и поел картофеля, даже не очищая от кожуры, с солью, но без хлеба. За едой почитал отрывки из книги Моруа «Карьера Дизраэли». Мне удивительно близок по уму и по душе этот великолепный лорд, властный политик, а в сущности — бесконечно нежный, грустный и, в конце концов, одинокий, несмотря на свое окружение, мечтатель-скептик. Меня так же, как и его, влечет к женской трогательной отзывчивости. Но у меня не было своей Мэри-Анн. Вера (жена — В.Н.Луценко) и «Маркиза» (Е.В.Кузнецова) до нее не доросли, а Софья Ивановна (Огнёва) была слишком стара. Эта книга — одна из любимых мною. Она при каждом перечитывании вызывает массу размышлений. Мне особенно близок и мил дух той легкой меланхолии и грустного скептицизма, которым она проникнута. Всюду сквозит осенняя грусть, с которой примиряешься под улыбкой осеннего солнца, в благоухании прекрасных осенних цветов.

9.6.43 г. Сегодня прочел книгу Льва Тихомирова «Демократия либеральная и социальная». М., 1896. Очень интересна первая статья «Социальные миражи современности». Надо будет со временем записать свои мысли на эту тему. (М.б., в виде примечаний к этой статье, как это любил делать Розанов.) В связи с чтением задумался о том, что мы все, и я в частности, пережили за последние 25 лет. Как сильно изменилась вся жизнь, как изменились люди и миросозерцание! Какие-то перспективы откроются нам в ближайшем будущем? Сколько мыслей у меня обо всем этом, и не с кем поделиться, не от кого услышать отклик... Вспоминал и самого Льва, которого я знал на закате его дней. Тяжелый, но любопытный старик!

11.6.43 г. 9-го июня вечером в 11 часов опять была воздушная тревога. Вторая за это лето. Из окна было видно, как вспыхивают огни московских зениток. Говорят, что немцы делали налет на Щелковский аэродром. Там — Валентин. Какова-то его участь?! Надо сегодня зайти к его маме и, не говоря об этом случае, чтобы ее не тревожить, если она сама ничего не слыхала, спросить, не имеет ли от него известий.

Вчера, идя с работы домой, видел как на краю Карбушинской улицы, где находится свинарник, какие-то две чумазые и истощенные девочки трех—пяти лет, в рваных кофточках и юбочках, разгребали ручонками остатки свиного месива в кормушках, что-то вытаскивали и ели. Ужас! До чего мы дожили...

Вчера вечером был у А.И.Леман. Говорили о разном. Была Л.М.Шарапова, говорила о московских слухах, что якобы ожидаются перемены в правительственном курсе в связи с ликвидацией Коминтерна и даже в составе самого правительства. Удивлялись огромному списку компартий, опубликованному в газетах. Потом с А[нной] И[вановной] говорили о ее делах. Настроена она очень тревожно.

Я вчера перечитывал «Магические рассказы» и «Эгерию» Муратова. Прелестные вещи. Как я их люблю! Который раз читаю и всегда нахожу что-то новое, особенное, над чем глубоко задумываюсь. Заходила Е.Е.Волкова. Положение ее прежнее. Хотела взять Лескова «Некуда», но потом раздумала... Я случайно обратил внимание

на то, что махорка, купленная мной на базаре, когда лежит в общей массе, отдает запахом какао. Странное впечатление... У свернутой козьей ножки этого запаха нет.

Надо бы продолжать писать начатое и обдумывать новые главы для «Эрмитажа», но нет времени: целые дни проходят в монастыре, в походах туда и обратно. Кроме того, сейчас нет соответствующего душевного спокойствия: думаю о переосвидетельствовании 16 июня... Меня волнует сообщение А.И.Леман о переменах в хозяйстве «Madame»*...

Сейчас опять возобновились слухи о том, что военная академия им. Фрунзе, занявшая скит, теперь имеет виды и на наш Черниговский монастырь. Ей в скиту тесно. Говорят, что нас могут переселить в Дмитров. Конечно, я туда не поеду. Надо будет устраиваться на новую должность. А сейчас, в связи с изменениями у «Madame», это может оказаться делом очень не легким. Всё это волнует меня. Нет ясности и спокойствия внутри. Будущее более чем неопределенно. А я так не люблю всех этих треволнений и неопределенности. И из-за этого дни проходят бессодержательно, впустую. Ничего не пишешь, в мыслях и чувствах разброд...

Возвращался после ужина вечером. Все время дивное солнце, клонящееся к закату. В лесу собирал незабудки. Они уже расцвели, как расцветают в полях милые лиловые колокольчики, красная и белая кашка. Завтра Троицын день, самый мой любимый истинный праздник. Сколько с ним связано поэтических воспоминаний детства!...

12.6.43 г. Взял у М.Н.Гребенщиковой две книжки Марлитт: «Совиное гнездо» и «Степная принцесса». Перечитываю последнюю. Сколько раз я перечитываю вещи этого автора, и всегда вспоминаю те отроческие дни, когда я прочел их впервые, после романов Тургенева и романов Данилевского. Детский наивный вкус не различал степени мастерства, но верно улавливал элемент цветущей романтики и аромат сентиментального прекраснодушия и у великого русского писателя, и у посредственного изобразителя минувшей поры — Данилевского, и у типичной дамской

---

* По-видимому, подразумевается Советская власть, она же — «Софья Владимировна» по терминологии тех лет.— *А.Н.*

романистки, по-немецки простодушной и по-немецки мечтательной Марлитт. Мы любим иногда некоторые вещи и местности, людей и книги не за них самих, а за те ассоциации, которые они в нас пробуждают, за те сладкие воспоминания о невозвратном, но бесконечно милом, которые с ними связаны...

14.6.43 г. В школе на переменах перечитывал «Сатирикон» Петрония. Люблю я эту грубоватую, но сильную и подчас талантливую сатиру. Жаль, что до нас дошли лишь фрагменты. В первый раз читал ее в 1917 г. по-латыни и по-французски после того, как встретил неполный перевод в издании Чуйко и заинтересовался им. Эта вещь по стилю ближе «Золотому ослу» Апулея и мемуарам Казановы. Такая же калейдоскопичность фактов, быстрая их смена, говорящая об импрессионистической легкости мыслей и переживаний, тесно связанной в то же время с реальной жаждой этой жизни и почти циничным наслаждением всеми ее материальными благами. Своего рода бездумность пронизывает все эти произведения. Над людьми надвигается гроза, а они кружатся, как бабочки возле огня, руководясь одной идеей: «Carpe diem...»* Не так ли бывает, или вернее — было в наши дни перед войной? Теперь огонь обжег крылья многим бабочкам!...

15.6.43 г. Заходила m-me Котович с предложением уроков в ремесленном училище. Условия выгодны, особенно с питанием. Посмотрим, что выйдет. Как еще пройдет завтрашнее переосвидетельствование! Хорошо бы устроиться здесь. И посытнее, и к дому поближе.

16.6.43 г. Сейчас надо идти на переосвидетельствование. Не знаю, долго ли придется там пробыть. Ничего не ел, т.к. вчера вечером не вытерпел и съел остаток рыбы, хотя и не был особенно голоден. Сейчас же об этом жалею. Должен признаться, что за последние годы (войны) появилась такая жадность и особенно к хлебу. Сколько ни ешь, все кажется мало. Организм совсем истощен. Это уже нечто болезненное. Мне противно записывать такие свои черты, но надо отметить и их, чтобы потом было памятно. Грустная и скверная пора настала...

---

* «Лови день!» (лат.).— *А.Н.*

Переосвидетельствование закончено. Я снова получил белый билет и снова свободен на 2-3 месяца. В наших условиях жизни и это хорошо. Сегодня продался в комиссионном магазине мой шкафчик. Вместо намеченных 850 рублей я получил 750. Но и это хорошо. Не вытерпел: купил буханку хлеба, кило картофеля и две кружки молока, съел порядочно — в результате болит голова. Возможно, что это и от других причин: от сильного ветра и от дырявых туфель, в которых озябли ноги...

19.6.43 г., суббота. Получил письмо от Крестной. Дом совсем разваливается. Они с Борей живут в сарае. В дождливые дни крыша протекает. Крестная очень устала. Это, конечно, от огорода. Господи, какая боль и тоска! И я ничем никак не могу им помочь... Когда же такая жизнь кончится?!

22.6.43 г. Сегодня ровно два года со дня начала войны. Говорят, что в 6 ч. вечера в Ильинской церкви будет молебствие о победе и крестный ход. Новость, типичная для наших дней. Некоторые высказывали предположение, что крестный ход будет в Лавру и молебен состоится в Успенском соборе. Но этого быть не может. Собор в таком виде, что там никакое богослужение невозможно...

25.6.43 г. Сегодня был в бане. Почти полтора месяца не мылся. Нет мыла, нет чистого белья, нет времени и сил. А какое блаженство чувствовать себя свежим и чистым! Как мало, в сущности, надо человеку...

Устал после бани. Сейчас вздремну в шезлонге. А потом пойду в монастырь есть. На обратном пути надо заглянуть к Флоренским. Оля* обещала дать цветов.

Читаю роман К.Леонтьева «Подлипки» (ПСС, т. I, изд. Саблина, М., 1912). Слабая вещь. Написана как-то вразброд, сумбурно. Нет четкости образов и ясности мысли. Немного в стиле герценовских романов, которые я невысоко ставлю; пожалуй, даже слова их. Во всяком случае, далеко до романов Тургенева, Гончарова, не говоря уже о Толстом и Достоевском. Леонтьев интересен как мыслитель, а писатель — посредственный.

Вечер. Заходил к Флоренским. Олю, к сожалению, не застал. Хорошо у них в саду. Получил букет — розы и

---

* Флоренская О.П.— *А.Н.*

пион. Взял читать Эренбурга «Трест ДЕ» и воспоминания Буслаева. Обе книги читаны раньше.

26.6.43 г. На душе хорошо, а в желудке пусто. Завтрак — солянка из гнилой капусты, на обед второе — то же, первое — пустые щи. Даже молока до ужина не было. Только и сыт тем, что съел 600 грамм хлеба. Ужина ждать не стал. Не хочется сидеть в неуютном помещении среди скучных и ненужных людей три часа. Поручил pater'у Черни получить за меня молоко. Ушел в лес, и, хотя перепадал мелкий, как бисер, дождичек, нарвал букет незабудок и дикой гвоздики с лиловыми колокольчиками. Нашел две ветки расцветшего «иванова чая». Небо еще закудрявилось облаками. Свежо. Порой даже холодно, когда нет солнца. А стоит ему проглянуть, снова тепло и весело.

Прочел «Трест ДЕ». Порядочное дрянцо. Замысел интересен. Но какое жалкое и бездарное выполнение! Это — знамение эпохи, послевоенное похмелье. Люди не совсем очнулись от угара войны и утонули в угаре развлечений. Неужели то же самое будет по окончании этой войны?! Всё говорит за то, что именно так и случится. А сейчас сколько слухов, сколько гипотез о скором конце осточертевшей всем этой проклятой бойни! Как в прошлое лето, разные благочестивые старики и старухи предсказывают сроки. Модное прорицание: «Война кончится через два года и два светила...» Под «светилами» иные подразумевают дни, иные — месяцы. Вдохновение черпается из Апокалипсиса и пророческих книг. Наивные простецы свято верят в то, что в Библии есть ответ на всё, что авторы, жившие за два тысячелетия и больше, предвидели судьбы России и Германии в ту пору, когда эти страны еще не существовали. Святая простота! Но увы! К этим бредням прислушиваются окончившие высшие учебные заведения и даже еще до 1917 года. Прислушиваются и верят... Вот что делают холод, голод и всяческие лишения и печали! Немудрено, что разные гадалки, вроде m-me Тэб, имеют колоссальный успех. Их сотоварищи по ремеслу, слепые из Киновии*, гадают на базаре Загорска по своим «книгам для слепых». И эти книги с проколотыми страницами вызывают благоговейный страх и уважение у доверчивых

* Киновия — быв. общежительный монастырь рядом с Черниговским монастырем, где помещалась колония и школа слепых. — *А.Н.*

колхозниц, которые стоят, разинув рты и хлопая глазами, и слушают медленную речь слепого, водящего пальцем по «волшебной» книге, которая, м.б., не что иное, как учебник арифметики или политграмота. Неискоренима человеческая глупость, и так же неискоренимо желание заглянуть в тайны бытия, причём все это хотят сделать попроще, полегче, без особенных усилий...

28.6.43 г. Я возвращался со службы под сильным дождем. Промок. Новые башмаки, полученные с таким трудом от директора МООСО, снял и спрятал в сумку, а шел в своих рваных тапках, которые совсем похожи на «опорки», в которых ходила когда-то самая отъявленная беднота. Когда пришел, мыл уборную, потом вытирал пол у себя в комнате, мыл ноги, стирал носки и носовые платки, а потом, наконец, вымыл руки и сел писать, закурив сверточек махорки. На улице всё еще льет, но я уже блаженствую: чист, сух и в своей уютной келье средь милых книг. Сегодня утром выпил оставшийся со вчерашнего дня стакан молока, съел кусочек селедки. За обедом были сносные щи и так называемый «омлет» — блин из яичной и простой муки. Вдобавок две кружки чаю, и еще за весь день съел 600 грамм хлеба — вот и всё мое узаконенное питание. Пока чувствую себя «ничего себе». Если к вечеру разыграется аппетит, попробую сходить к кому-нибудь из близких, авось, Христа ради, дадут чего-нибудь поесть... Вот до чего я дожил! Думал ли когда я о такой жизни? И все же на душе хорошо, и я, когда шел домой, мокрый и с мокрыми грязными ногами, с наслаждением вдыхал запах тополей и берез, освеженных дождем, радовался бегущим по небу клочковатым тучам и думал только одно: «Дай Бог быть здоровым, всё пережить, всё перенести и сохранить бодрость духа, любовь ко всему многообразию бытия!»

Вчера вечером был у Ж.Конева. Хорошо поговорили. Потом он провожал меня домой, заходил ко мне и посидел у меня немного. Уговорились в ближайшем будущем съездить в Мураново. Женя не видел музея Тютчева, и меня радует то, как он будет рад, увидев эту миниатюрную, но очаровательную усадьбу, где все дышит обаянием самого любимого нашего поэта.

1.7.43 г. Настроение у меня неважное. Разные заботы делового и ультраделового порядка угнетают меня. Как хочется свободы и независимости от всех подобных яв-

лений. Сейчас пойду к А.И.Котович, чтобы выяснить о возможностях преподавания в ремесленном училище при ЗОМЗ'е*. Она говорит, что там с питанием дело будет обстоять лучше. Хорошо, если бы так всё устроилось. Меня тяготит ежедневное хождение по 6 километров.

Когда встретился с m-me Котович, я был сильно не в духе. Редкое явление для меня в утренние часы. Но это после вчерашнего позднего разговора. И вот приветливый тон ее как-то сразу изменил мое настроение. Вдруг стало легко и хорошо. Я невольно задумался о том, какое огромное значение имеет для меня то или иное окружение, то или иное отношение ко мне. Надо, по возможности, стремиться избегать неприятных встреч, не обращать внимания на грубости и всяческое хамство, которое теперь встречается на каждом шагу, а побольше быть одному среди своих книг и писаний или в милом лесу. А с молодыми встречаться только с теми, которые утешают и успокаивают душу. Таковы для меня сейчас Женя Конев, Флоренские и отчасти Леман.

6.7.43 г., вторник. На днях арестовали Е.Е.Волкову: она за год растратила 32 тысячи рублей казенных денег. Вот до чего доводит голод! Сегодня меня допрашивали как свидетеля по ее делу. Был неприятный момент: следователь, которому, очевидно, говорили, что я был близко знаком с Е.Е.[Волковой], заподозрил, что я мог пользоваться от нее этими деньгами, т.к. у неё сохранилась какая-то расписка моя от прошлого года, что я взял у нее со стола свои деньги. Вот к чему привела моя пунктуальность, когда я писал о каждых пяти рублях, которые брал или оставлял ей для покупки махорки у красноармейцев в Лавре. Никогда я не думал, что на меня может пасть такое подозрение, что я могу оказаться в положении альфонса... Впрочем, в наши дни обижаться и оскорбляться не приходится. Люди дошли до того, что следователь вправе подозревать всякого человека чёрт знает в чем, кем бы он ни был...

Но довольно об этой грязной, хоть и не марающей меня внутренне истории. С меня достаточно того, что я сам себя чувствую спокойным, т.к. никакого отношения

* Загорский оптико-механический завод (ЗОМЗ).— *А.Н.*

к этим делам не имел. А бедную Е.Е. жаль. Теперь ей дадут лет 10, а то и больше. И вряд ли она выживет. И во всём опять-таки виновата война!...

9.7.43 г. Вчера с курсантами ездил в Москву осматривать выставку трофейного оружия, захваченного у немцев. Ужасное впечатление от всех этих пушек, танков и аэропланов — проклятый мир человекоубийственной техники. Как я его ненавижу! Москва выглядит внешне неплохо. Но какая пустота в магазинах. Даже у букинистов мало книг. А про другие магазины и говорить нечего. Разрушений от бомбардировок совсем не заметно. Публика одета в большинстве случаев прилично и даже нарядна. Но это всё на главных улицах. В переулках я не был. А самое ужасное — отсутствие еды. Везде — всё только прикрепленные. Приезжему человеку можно умереть с голоду. Я не ел с 8-ми утра, как позавтракал перед выездом еще у себя в МООСО, до 7-ми часов вечера, пока не вернулся в Загорск. Погода была ясная. День жаркий.

10.7.43 г., суббота. Перечитываю дневники А.Блока за 1917-1921 гг. Многие мысли его будят многое во мне. Хотелось бы об этом сказать свое слово. Но пока некогда. Может быть, когда-нибудь и соберусь. Завтра с Женей Коневым еду в Мураново. Тень Тютчева пройдет перед нами, и оживут пожелтевшие страницы, повествующие о мигах былой жизни. Как это красиво и грустно.

На днях, возвращаясь домой вечером, я шел мимо Келарского пруда с цветами, любуясь на милую Лавру на фоне золотого заката, вспоминая, как жил когда-то в уголке этой Набережной улицы в доме Жехова с моей милой Мамой и любимым черным котом Жуком. Увы! Оба — в сырой земле, а души их где — неведомо. И только старательная память сохранила во мне воспоминание о тех днях, которые, может быть, и были по-своему тяжелы и трудны, но теперь возникают такими радостными и осиянными. Я обогнал в дороге босую старушку, которая шла одиноко, разговаривая неразборчиво сама с собой. Я с любопытством взглянул на нее. — «Молитву читаю, — молвила она, — Царице Не-

бесной: спаси и сохрани, и Господу: хлеб наш насущный даждь нам днесь...« — «И хорошо, — сказал я. — Господь — наше единое упование!»

Как такие мелочи трогают меня. Теперь только и слышишь разговоры о еде и о разных спекуляциях или матершину. После всего этого так отрадно видеть кроткую и ясную веру простого, но, видно, хорошего и доброго существа...

11.7.43 г., воскресенье. Дивная поездка в Мураново вместе с Женей Коневым. Тютчев и Тютчевский музей. Красота, уют, покой. Интересный разговор с Н.И.Тютчевым. Потом завтрак в парке и прогулка по лесу. У меня целый день дивное настроение. Почти полное ощущение счастья. Туманило одно: не было с нами Саши и Георгия. И день изумительный. Погода прекрасная. Это — второй день после начала войны, когда я был счастлив. Первый — у Крестной в Милете, тоже воскресенье, когда я был в церкви...

12.7.43 г. Получил письмо от Саши. Хоть и знал о нем из его писем домой, но теперь так рад получить весточку непосредственно от него. Завтра утром напишу ему. Сейчас схожу к Флоренским. Сегодня день Петра и Павла. Небо облачное. Солнце скрылось. Но на улице жарко. Всю ночь спал с открытым окном. Цветут и дивно пахнут липы. Как хорошо!

15.7.43 г. Вчера пилил дрова с «pater'ом Черни». Суетлив он и бестолков, как типичный старый холостяк, мало-помалу делающийся мышиным жеребчиком. Есть в нем что-то, что я не могу еще ясно понять, но это отталкивает меня. День был облачный. Набегали тучи. Два раза был дождь, который основательно меня промочил. Сильно устал. Принимал кофеин, иначе, вероятно, и сил не хватило бы. В кустах много земляники, и в свободные минуты я ее ел с наслаждением.

Вечером был у А.И.Леман. У них встретил Печалиных. Разговор был совершенно неинтересный. Типичная застольная болтовня о том, о сём, а в общем — ни о чем. Чувствую, что А.И. совершенно поддалась духу времени, может говорить и говорит только об огородах,

о последних житейских новостях, о ребенке, усыновленном ее дочерью, и т.п. Грустно. А еще в прошлом году она была увлекательной собеседницей. Как скоро исчерпываются люди, особенно женщины! Невольно вспомнишь милую Софью Ивановну Огнёву. Эта — всегда была чуткой и интересной...

В войне нет особенных новостей. На Курско-Орловском фронте затишье. На Белгородском продолжаются жестокие бои. Танки исчезли с загорских улиц. Но в окрестностях много войск, постоянные ученья, то и дело слышна пушечная пальба. К этому так привыкаешь, что не обращаешь никакого внимания. Итальянцы отступают, англичане занимают Сицилию, хотя двигаются медленно. Видимо, берегут свои силы. Всё наводит на мысль, что к зиме война не кончится. Жутко об этом думать — жить будет опять мучительно тяжело. Не знаю, хватит ли у меня сил перенести эту зиму...

16.7.43 г., пятница. Вчера вечером был у Флоренских. Читал Оле свои последние стихи. Разговаривали с ней о всяких разностях в сумерках, т.к. электричество у них не горит. Заходила Т.В.Розанова. Как она озлоблена! Это все — от голода! Но всё же для «православной христианки» неприлична такая злоба, особенно из-за голода. Следовало бы вспомнить завет Христа о смирении и всепрощении. Ожесточенно говорила она о несчастной Е.Е.Волковой, и здесь сказалась ее давнишняя вражда к ней. А о ее отзывах о современном положении дел, о власти лучше и не упоминать... Никогда я не думал, что в таком хилом существе, как Т[атьяна] В[асильевна], может умещаться такая сильная злоба и такая зависть ко всякому чужому благополучию. Вот уж поистине человек не хочет и не может по-христиански нести свой крест, хотя он и тяжел. Несимпатичная, в конце концов, оказывается эта личность. Вообще, эта война и связанные с ней бедствия показали внутреннюю сущность многих людей, и она, оказывается, очень и очень некрасива. При благополучном существовании всё драпировалось внешними приличиями и т.п., а теперь вскрылось и прямо-таки режет глаза своей отвратительной уродливостью. Я и в себе нахожу теперь очень много нехорошего, чего раньше не подозревал. Надо будет в ближайшие дни подумать об этом и искренно и подробно все записать. Пока же скажу кратко: я станов-

люсь безжалостным, жестким эгоцентристом, «человеком Возрождения» со всеми его достоинствами и недостатками. И в то же время откуда-то сверху вижу самого себя и осмысливаю все холодно, спокойно, беспристрастно.

Сейчас надо идти в монастырь обедать. Так неприятно тащиться вдаль по грязи и под дождем, когда у тебя зонт сломан, а калоши дырявые... Что ж! Придется терпеть. Постараюсь отдаться своим думам. Это самый удобный и излюбленный мною за последнее время метод, помогающий не заметить расстояния. Для меня это — лишнее доказательство относительности времени и места, которые являются лишь субъективными состояниями человека, причём последний при известном желании и усилии всегда может их преодолеть...

19.7.43 г., понедельник. Вчера, по обыкновению, с 4-х часов дня и до 10-ти — у Жени Конева. Он купил в Москве хорошие книги: Буасье «Археологические прогулки по Риму», Чулкова «Неизданные стихи Тютчева» и Муратова «Герои и героини». Я с наслаждением перечитал «Леросского змея», где описана как бы моя судьба. Когда ходил в монастырь обедать и возвращался, всё глядел на облака. Как они хороши над зеленью загорских садов, из которых поднимается верх стройной лаврской колокольни! Издали весь город кажется утонувшим в садах... Думал о круговороте жизни. Всё возвращается к своему первоистоку и грустит о прошлом, которое невозвратно ушло, как внешнее событие, но неизбывно стоит перед глазами, как воспоминание о минувших днях. На днях с глубокой меланхолией я пережил всё это, когда проходил по Полевой, Болотной и Первомайской улицам, так тесно связанным с годами моего детства и юности...

Вчера под утро видел во сне Маму — молодой и нарядной, и Крестную. Был день Крестниных именин. Очевидно, она рано встала и думала обо мне. А я в теперешней суете забыл ее даже поздравить. Надо будет сегодня после занятий написать письмо. Вчера же от В.П.Цветковой узнал о смерти А.М.Бурлева. В связи с этим думал о несчастной доле Е.Е.Волковой. Как-то она себя чувствует сейчас в тюрьме?! Невольно подумал о том, что, как мне ни трудно, я всё же на свободе, могу бывать в поле и в лесу. О, наша скудная и трудная жизнь! Как ты всё-таки нам дорога!

Сейчас меня сильно волнует одно обстоятельство: как бы достать 500 рублей. За эту сумму продается полное собрание сочинений Достоевского в издании Маркса. Для меня это — необходимейшее приобретение. Даже сейчас, когда я голодаю! Иметь своего Достоевского, как и своего Соловьева, — моя заветная мечта с давних лет.

20.7.43 г. Записываю мысль, набросанную на днях между уроками.

Та внутренняя тревога и трагедия души, о которой столь проникновенно возвещали философия и искусство последней четверти века накануне первой мировой войны, сменилась общечеловеческой трагедией и всеобъемлющим волнением, вызванным наступившей эпохой революций и войн. Интимные переживания, камерная музыка их, выражавшая неизмеримую глубь тайников отдельной личности, уступили место всенародным потрясениям, охватившим почти весь мир, и строгая мелодия искусства оказалась заглушенной жуткой симфонией мировой борьбы, которая оглушает и поражает своим ужасающим шумом. В этом урагане, потрясающем все вековые основы и материи и духа, теряется голос отдельной личности, возвещающей о своем неизбывном горе. Человек, как таковой, потерян. Его не различишь в бурном хаосе. Слышны только вопли миллионов, явственны лишь смятенные толпы людей. Вот тема для искусства и философии нашего времени. Она требует эпического размера и гениальной мощи Шекспира, Гёте, Толстого, Достоевского.

В газетах сегодня сообщается о бомбардировке Рима. Говорится о том, что летчикам приказано беречь религиозные и художественные памятники Вечного города, но разве можно избежать несчастия?! Жутко мне думается о возможной гибели сокровищ культуры в Италии: она — достояние всего мира. И за разрушение Новгорода и Пскова, ленинградских окрестностей надо мстить не разрушением памятников Германии и Италии, а уничтожением фашистов и фашизма до корня. Трудное это дело. И жертвы есть и, конечно, будут. Жаль бесконечно людей, жаль и дивных созданий искусства — не меньше. И тех и других — не воскресишь...

21.7.43 г. Лето надломилось. Как и обычно, после Петрова дня уже чувствуется веяние осени. Я вижу и слышу его и в запахах, и в цветах среди полей, и в первых желтеющих листьях, и в веянии ветров, и во всем дыхании милой русской природы. Сколько воспоминаний будит все это во мне! Задумываешься о том, что вот еще год прошел. Жизнь неудержимо стремится к своему пределу, а как мало совершено мною, как много надо еще начинать, не говоря уже о том, как много надо доканчивать. Жуткая современность отнимает и время и силы. Хотелось бы всецело отдаться своему писанию и чистому, блаженному миру мысли и творчества. Увы! Это невозможно. Для этого нужна полная свобода и минимальная материальная обеспеченность. Ни той, ни другой у меня нет и никогда не будет. Мне до смерти надо будет трудиться, не покладая рук, и неинтересно, нудно, а, точнее, и тяжело трудиться, чтоб иметь «хлеб насущный». И для сладкого творческого труда будут оставаться только немногие часы и дни отдыха...

22.7.43 г. Сегодня вернулся домой под дождем. Насквозь промочил ноги, и ревматизм сильно дает себя знать: в коленях ноющая боль, и ноги от колен до конца тяжелые, как каменные. Вчера дежурил. Бессмысленное занятие: следи за затемнением окон, а у многих штор нет, занавешивают всяким тряпьем. Сквозь дыры виден свет. Некоторые же совсем не занавешивают, считая, очевидно, себя превыше всех постановлений. Приходится напоминать и настаивать, чтобы сделали затемнение. Спал в учительской на диване. Было жестко, неудобно, а под утро холодно, т.к. я по недомыслию не запасся ни одеялом, ни подушкой, думая, что и так сойдет. На следующий раз буду умнее...

23.7.43 г., пятница. Сегодня мой выходной день. Я устроил генеральную уборку. Привел в порядок комнату, коридорчик, переднюю, уборную и свой уголок в кухне. Так как делал все, еще не евши, кружилась голова, один миг думал, что упаду в обморок. Принял кофеин. А потом радовался, что все чисто и прибрано. Тотчас после уборки ушел в монастырь и съел сразу завтрак, обед и ужин и 600 граммов хлеба. Поэтому сейчас сыт. Но

сердце надорванно бьется. По дороге глядел на бегущие облака, радовался запахам сена, влаге от ветра и даже влажного чистого белья, развешанного после стирки для высушки, мимо которого я проходил. В голове мысли о Боге — на этот раз — почти атеистического порядка. Что если существует иерархия богов и наш — лишь димиург, как мыслили гностики? Какая дурная и скучная бесконечность! А если нет никого? И только одна бездушная и равнодушная материя? Как жутко и одиноко тогда в мире! Все наши идеи о Боге — лишь проекции человеческого, слишком человеческого, но в суперлативной форме, обращенные к миру бесконечности и вечности... Мы не столько богоискатели, сколько богостроители, и, следуя завету Вольтера, выдумываем себе Бога и богов для собственного утешения в скорбях земного существования...

Вчера, когда шел домой уже по Комсомольской улице, какая-то старушка с умным, но истощенным лицом и добрым взглядом сказала встречным детям: «Идите, идите с Богом, детки, Господь вас сохрани и спаси!» А когда я поравнялся с нею, то, также приветливо глядя на меня, она молвила: «А этого я знаю, это — учитель знаменитый...» Я разминулся и пошел дальше, ничего не сказав, только улыбнулся. А потом пожалел, почему не спросил, откуда она про меня знает. Лицо ее мне совершенно не знакомо. Слова были сказаны просто, даже сердечно, без тени насмешки. Любопытно было бы узнать, какими путями докатилась до нее слава об учителе Серво?

Скоро 7 ч. вечера. Надо будет зайти по делам в одно место, а потом, если не будет дурноты и слабости (авось кофеин поможет!), схожу к Печалиным, к которым никак не соберусь, чтобы взять 3-ю книгу мемуаров генерала Игнатьева, а если их не застану, то зайду к А.И.Леман. Надо бы зайти вечером к д[окто]ру Пономареву. Авось, его жена приобретет что-нибудь из принесенных мною книг. Деньги до зарезу нужны.

24.7.43 г. Сейчас я так устал, что никак не соберусь с силами, чтобы написать Крестной и Георгию. Вчера вернулся поздно, во время дождя. На ногах были дырявые туфли, насквозь промокшие. Сегодня предстоит идти в монастырь по грязи, а галоши и башмаки дыря-

вые... С собой несу в сумке носки и крепкие полуботинки, чтобы там переобуться и хоть на время работы сидеть с сухими ногами. Пальто рваное. Зонтик сломанный... — Полное убожество и нищета! Никогда я не думал, что придется жить так, и если бы мне в возрасте 15-ти лет нарисовали такую перспективу моего будущего, то я не поверил бы ни за что. И вот всё налицо!...

25.7.43 г., воскресенье. Ночью под утро сильный дождь. Спал с открытым окном. Вчера на 110 рублей продал книг д[окто]ру Пономареву (учебники по русскому языку — для его жены-словесницы). Есть деньги, чтобы купить кусок хлеба. И это меня радует несказанно. — Бедная участь гуманиста Серво в обстановке почти «кулачного права»!

На небе хмуро. Тучи и тучи, хотя с некоторыми просветами. Чувствую себя бодро. Сегодня отрадный день — пойду к Жене К[оневу] и отдохну душой. Главное мое горе последних лет — не столько постоянный голод, сколько неимение около себя близких по духу людей. Не с кем говорить, никто не способен понять меня и разделить мой мир чувств и идей. Поэтому мне так дорог Ж.К[онев], последний мой ученик и друг.

Вечер. Был у Ж.К[онева] на лету. Они переезжают к себе домой, на Полевую. Потому только пообедал. Чувствовал себя тяжело, плохо было с сердцем. Переутомил его за предшествующую неделю уборкой, тасканием книг к д[окто]ру Пономареву и обратно. Следует воздержаться в дальнейшем от такого напряжения, а то будет плохо. Обратно ехал на автомобиле, Женя подвез. И я был так рад, т.к. идти после сытного обеда было бы трудно. Тотчас же лег. Всё это грустно: до какой степени я изголодался и ослабел! Мне даже не под силу поесть сытно! И грустно то, что не удалось поговорить по душам. Авось, всё это будет через неделю. 1-го августа он уже устроится в своей отдельной комнате. Эта перспектива окрыляет и радует его. Я от души сорадуюсь ему, т.к. помню неоднократные аналогичные переживания своей жизни, особенно когда в тринадцать лет я впервые получил отдельную комнату и смог ее убрать по своему вкусу.

26.7.43 г. Вечером был у меня П.Захаров. Разговаривали о М[осковской] Д[уховной] А[кадемии], я описы-

вал академическую жизнь. Как мало и плохо ее у нас знали даже в Сергиевом посаде! Сужу по вопросам и мнениям собеседника.

27.7.43 г.* На небе всё еще хмуро. Облака чуть клубятся к горизонту. Сквозь них едва просвечивается солнце. Его полуулыбка чувствуется на природе. Все же очень прохладно. Я чувствую себя совсем по-осеннему. Часто вспоминаются прежние, более счастливые осени. Вчера вечером получил открытку от Саши. Он моих писем, кроме первой открытки, еще не получал. Слава богу, что он жив, здоров и благополучен. Очевидно, он на Кавказе, т.к. пишет, что поспели груши, яблоки, вишни и абрикосы. Скорей бы кончилась война, и мы увиделись снова! Как хочется испытать эту радость!

Немного почитал книжку В.Сафонова о Гумбольдте. Интересна жизнь великого ученого. Но неприятно то презрение ко всему русскому прошлому, пусть и времени императора Николая Палкина, которое так и «прёт» из авторских строк. Не так уж оно было плохо! Противная манера советских писателей — глядеть свысока на всё, что вне пределов СССР во времени или в пространстве. Подумаешь, какие мудрецы, забравшиеся на недосягаемые высоты совершенства, пофыркивают на все кругом. А оглянешься около себя, на нашу современность, и видишь, что от времени Николая I недалеко ушли. Те же методы, те же достижения и промахи, наконец — тот же дух, как это ни парадоксально. Только нет ни Пушкина, ни Гоголя, ни Лермонтова, ни Тютчева!...

Взялся на минуту за латинский словарь — и не оторвался: так и нахлынула вся милая, блаженно родная душе моей античность. Какие мы были ослята, когда в гимназии не ценили латыни! Какое счастье, что я ею владею! Непременно начну обучать Евгения латыни! Надо, чтобы и он владел этим языком подлинной культуры...

28.7.43 г. Вчера я узнал, что по радио передавали об отставке Муссолини. Газет еще не видал. Его заменяет

* Позднейшая приписка: «В этот день погиб мой Саша, мой Alexander! Узнал об этом после. S.»

маршал Бадальо. Но война еще продолжается Италией. Впрочем, я думаю, что это — уже первый шаг к капитуляции. Италия должна капитулировать, если не хочет погибнуть и погубить свои сокровищницы искусства, единственное, чем она богата и ценна для всего мира. О, если бы это было первым шагом к прекращению войны в мире! Какое было бы счастье для человечества!

Вчера вечером был у Флоренских. Долго разговаривал с А[нной] М[ихайловной] о прошлом. Потом пришла Оля из леса. Говорил с ней и читал ей свои последние стихи и отрывки из "Эрмитажа". На улице и вчера и сегодня холодно. Небо в облаках. Но дождя, к счастью, нет.

4 часа дня. Вернулся из монастыря. Ноют ноги в коленях, а сердце тяжело бьется. Еле дошел. А дал всего один урок. Что со мной стало! До чего милая жизнь довела! Шел и огорчался — гибнут сады во всем Загорске. И от топора, ради дров и доступа солнца в огороды, и от бомбоубежищ, которых понарыли везде, и они стоят, наполненные водой, грозя детям, а по ночам и взрослому человеку потоплением. И сами деревья сохнут без конца. Почва что ли изменилась, но от былого Посада, сплошь утопающего в кудрявых садах, и следа не осталось. Даже Красюковка, самый красивый «зеленый район», и та порастеряла свои сады. Грустно и больно мне видеть, как оскудевает и разрушается мой родной город!

29.7.43 г. Получил, наконец, вчера от Печалиных третью книгу А.А.Игнатьева «Пятьдесят лет в строю» (ОГИЗ—ГИХЛ, М., 1942) и читаю ее с увлечением. Какие интересные картины жизни Западной Европы накануне 1914 года!...

30.7.43 г. Сейчас в связи с болезнью сердца и голоданием боюсь как бы не умереть внезапно. Не смерть страшит — она облегчение и избавление от мучительной и унизительной моей жизни в эти дни, а страшит и мучит то, что я не выполнил всего того, ради чего я был явлен на свет и что составляет суть моей жизни и всего моего бытия. Я еще не рассказал себя всего. Много стихов не написано, не кончен «Эрмитаж» (и не обработан совершенно — комментарии, экскурсы, синтез, библиография, иконография, указатели — отсутствуют). Не на-

писана книга «Модерн», «Возрождение Европы» и ряд статей. Совсем не приступил к прозе, а какие темы и сюжеты романов и повестей теснятся у меня в голове! Надо будет на днях записать хоть их планы. Вот почему мне смерть страшна!..

1.8.43 г., воскресенье. Вернулся от Жени. Хорошо провел время. Он со вкусом убрал свою комнату. Мне было приятно в ней находиться. За последние годы я очень редко встречал комнаты, убранные так, чтобы мне было приятно в них быть. Это меня радует в Жене. Он умеет ценить прекрасное и выработал тонкий вкус. Жаль только, что в отношении к женщинам ему этот вкус изменяет. Вчера была у него молодая особа, про которую мама Жени сказала, что это — его пассия. На мой взгляд, это жалкое, полуувядшее существо с полным ничтожеством внутри и малопривлекательная внешне. Но «на вкус и цвет» и т.д., и «любовь зла»... Уходя, взял у него Тэна «Путешествие по Италии», т. I, а ему дал прочесть 3-ю книгу мемуаров Игнатьева.

4.8.43 г., среда. Ночь со 2-го на 3-е провел в монастыре. Дежурил. Спал в комнате у pater'а Черни, на кровати Овитовского. Грязно, душно, неуютно. И вдобавок ко всему — блохи! Спал плохо, тяжело, как всегда в подобных обстоятельствах. Pater Черни вздумал разыгрывать из себя хироманта и держался в высшей степени глупо. Бухгалтер же просто хрипел какой-то вздор. Ужасно жить все время среди таких людей. Сам превратишься, в конце концов, чёрт знает во что. Я с изумлением и страхом вспоминаю прошедшую зиму, которую прожил в скиту. Неудобства и отсутствие элементарного уюта и красоты отчаянно мучили меня. Только добродушие и радушие Овитовского скрашивали немного это тяжелое существование. Теперь, авось, не придется жить в таких условиях. Если бы топили дома и был бы свет! Да, устроиться бы в ремесленном училище при ЗОМЗе! Тогда было бы все сносно. На днях всё это определится...

Весна и детство — это романтизм импрессионистический, сентиментально воодушевленный, разражающийся бурями сильных, но непродолжительных чувств, которые, подобно грозам, освежают воздух и животворят

всю землю. Лето и юность — это реализм натуралистический, преисполненный роскошью жизненного расцвета, разнообразием восприятий, необъятностью раскрывающихся горизонтов и богатством предстоящих возможностей. Осень и зрелость — это снова романтизм, но уже символистически углубленный, когда утончаются дали, углубляются мысли, суживаются и четко очерчиваются перспективы мира и деятельности человека, усиливаясь насыщенностью внутреннего содержания, все сильней и сильней проглядывающего сквозь изменчивый внешний облик вещей и явлений. Чаще и ощутительней встает в памяти прошлое, ища практического соединения с настоящим и будущим. Меланхолическая грусть туманит ясные просторы действительности и мечты. Зима и старость — это снова реализм, но уже слившийся воедино с символизмом, им просветленный и умудренный, соединяющий мудрость мышления с кристаллизовавшимся опытом жизни. Дали замкнуты, круг жизни очерчен. Остается одно: подводить итоги, углублять, завершать, формулировать. А там, за волшебной чертой окоёма зимних пространств, встает иная действительность, манящая, может быть, еще больше и сильнее, чем самые страстные мечты молодости, своей непознанной тайной, своими поистине необозримыми возможностями. Память слила воедино весь пройденный путь жизни, настоящее — только ускользающий миг, прошедшее определяет и уясняет будущее, и сама смерть — только порог иного, но, в сущности, бесконечного и всеединого бытия духа, который вечен и неуничтожаем.

Я об этом думал вчера вечером. И раньше эти мысли являлись, но только вчера всё стало так ясно, ясно.

6.8.43 г., пятница. Сегодня с утра читал воспоминания о Вл.Маяковском его сестры Людмилы («Молодая гвардия», 1936, № 9 и 1937, № 2).

Какая дивная природа окружала М[аяковского] на Кавказе! И странно, она нисколько не отразилась в его творчестве. Автор мемуаров замечает, что она повлияла на гиперболизм образов М[аяковского]. Может быть. Но куда девался колорит?! Ведь природа Кавказа, пожалуй, сильнее всего в отношении красочности. А ее-то у М[аяковского] тоже совсем нет. Грандиозность налицо,

но какая-то серая, почти бесцветная. Его образы не живописны, как в романтических поэмах Пушкина и Лермонтова, на которых отразилось кавказское влияние, а только скульптурны, напоминая своей величественной несоразмерностью не греческие статуи, а каменных баб, стоящих на курганах среди степей. Странно всё это, тем более, что по натуре своей М[аяковский] — художник и немало занимался живописью.

Мне кажется, что переезд его семьи в Москву был роковым для его дарования. Природа Кавказа была позабыта и в конце концов вытеснена впечатлениями города-гиганта. И скорей от этого города идет тенденция монументальности и грандиозности, сказывающаяся с ранней поры в творчестве М[аяковского], а не от забытого Кавказа. Маяковский урбанистичен с самого первого поэтического шага. Поэтому-то все так и бесцветно в его поэзии — серая громада города заслонила экзотическую яркость и пестроту кавказских воспоминаний. А напряженный пульс городской жизни, особенно мелькание кино, которым он, судя по мемуарам, увлекался превыше всего, наконец, суетная и мелочная домашняя квартирная обстановка с ее каждодневными заботами и неприятностями, неизбежными спутниками бедной и непрочной жизни маленьких людей, были так непохожи на простую, здоровую и вдумчивую жизнь на Кавказе, когда он был на лоне природы и в окружении семейного уюта и тепла.

Все это выработало натуру Маяковского со всеми ее недостатками, которые искривили его талант и направили его по жестокой и жесткой дороге. Недаром он говорил о себе, что *«становился на горло собственной песне»*. Кто знает, какого поэта мы потеряли в его лице и кем бы он был, не будь этих полумещанских, полуинтеллигентских переживаний и всех отрицательных в своей сущности впечатлений урбанистического окружения, которые охватили его в Москве и (я убежден в этом!) сломали и погубили его талант.

Глубоко прав Пастернак, говоря в своей «Охранной грамоте», что ранние годы имеют огромное значение для всей дальнейшей жизни человека, определяя ее раз навсегда. (*«Как необозримо отрочество... Эти годы в нашей жизни составляют часть, превосходящую целое.»*) Вот это-то отрочество, проведенное в сутолоке Москвы в обстановке бедности и домашнего неустройства, и обесцветило душу Маяковского.

Как в этом отношении непохожа его жизнь не только на жизнь Бальмонта и Блока, Брюсова и Андрея Белого, но даже и на такую скромную и бедную жизнь, какая была у меня в мои отроческие годы! Я чувствую, что я ближе к Блоку и Бальмонту, нежели к Маяковскому, хотя экономическое мое положение роднит меня с последним. Вот и вывод: экономика отнюдь не определяет всего сознания. А с экономикой связано много другого, что создает целое окружение человека, вот оно-то и определяет его духовный мир, да и то не вполне и не всегда.

И еще — мысль чисто фаталистического порядка: случайности играют огромную роль. Если бы Маяковский поселился не в Москве, а где-нибудь в Звенигороде или в Сергиевом посаде, или же по-прежнему оставался бы на Кавказе, кто знает, как и какими путями пошло бы развитие талантливого мальчика и каким бы он стал потом?

15.8.43 г. Сегодня пасмурно, но тепло. Впрочем, солнце проглядывает то и дело. Иду в последний раз в монастырь. С завтрашнего дня начинаю работать в РУ (ремесленное училище) № 22 при ЗОМЗе. Посмотрим, как-то пойдут у меня дела здесь. Авось, с питанием будет лучше. Только бы не голодать!

7 часов вечера. Вернулся от Ж.Конева. Пообедал, посмотрел приобретенные им книги Роденбаха (5 тт., издание Саблина). Но самого его не было. Он — в Москве со своей пассией, той самой, которую я не одобрил в одной из прежних записей. Но о любви другого судить трудно. Интересно, что он сам о ней скажет, когда увлечение пройдет. В саду у них дивные георгины. Я любовался ими не менее, чем Роденбахом, из которого прочел кое-какие отрывки. «Певец Брюгге», создавший славу этому городу и получивший от него свое нежное, задумчивое, очаровательное настроение. Такие старинные города утончают душу художника, оберегая ее от житейской суеты, от преходящей моды, от хищнического и отвратительного шума и ажиотажа больших современных городов. Особенно ценно влияние таких городов на нежные, замкнутые в себе, одинокие и чуткие натуры, подобные той, что была у Роденбаха. Я сам это испытал на себе, т.к. во многих отношениях близок ему

душой. И дивная Лавра была, есть и будет моим Брюгге, многое сделавшим для моей души и моего творчества. Живя в каком-нибудь Богородске или Талдоме, я был бы другим человеком. И снова — судьба! Надо было Маме и Крестной поселиться в Сергиевом Посаде! Будь иначе, останься мы с Мамой в 1904 г. в Москве, — я не знал бы никогда Алексея Спасского, Флоренского, не учился бы в Академии, и Бог весть каким путем пошло бы тогда мое развитие, и что бы из меня получилось!...

16.8.43 г. 2 часа дня. Обеденный перерыв. Вот я дома. Дал уже уроки в РУ. Обстановка на первый раз не слишком-то отрадная. В классах грязно. Нет хороших досок и мела. У ребят нет книг и тетрадей. Пишут карандашами на каких-то листочках. Шумно. Сегодня ночью шел дождь. Дует резкий ветер. Поэтому холодно. В учительской нет стульев. Приходится сидеть на табуретах. Неуютно. Ну, да ладно! Как-нибудь всё наладится. Зато сегодня сытно поел...

19.8.43 г. Днем был сильный дождь. Мне пришлось много ходить по делам. И я промок. Особенно ноги в дырявых галошах. Это мучение: чувствуешь, как дырявый ботинок переполняется грязью. В грязи носки и ноги. Противно до ужаса. Снова мучения из-за обуви, как и в ту осень. Господи! Когда же этому будет конец?! Был по делам в монастыре. Поел там. Возвращаясь, посидел на одной из улочек Красюковки, глядя на золотящиеся в лучах заходящего солнца порыжелые тополя. Так всё стало тихо на душе. И вдруг до безумной боли захотелось уюта, покоя, тишины, созерцательности и творчества в обстановке своего маленького домика, своего сада, среди своих близких и милых людей. Я все мечтаю об успокоении и уходе от мучительных тягот и сует современной безрадостной жизни... И Пушкин, и Блок так же мыслили и чувствовали в последние годы перед смертью. Неужели и моя кончина близко? Но только Блоку и тем более Пушкину не приходилось испытывать и сотой доли тех страданий, которые пали на меня. Воображаю, как бы они жили и что бы чувствовали, если бы после своей обстановки получили полностью мой удел вот этих дней?! А я всё-таки еще хочу жить, превозмочь всё и пока еще пишу стихи...

По дороге из монастыря думал о мемуарах. Потом запишу подробнее. А сейчас скажу только одно: если «Золотой осел» Апулея и «Сатирикон» Петрония (а это ни что иное, как подлинные мемуары античности!) предсказывали гибель Римской империи; если достаточно прочесть мемуары Казановы и Сен-Симона, чтобы почувствовать неизбежность Великой Французской революции, то в наши дни достаточно прочесть дневник генеральши Богданович и мемуары Андрея Белого, чтобы увидеть, как Октябрь и всё то, что последовало за ним, были достойным завершением последнего полустолетия...

Сашина мама на днях мне сказала, что последнее ее письмо, посланное к нему, вернулось обратно за выбытием адресата. Это опять заставляет меня мучиться и беспокоиться: где он? Неужели его отправили под Харьков, где сейчас идет отчаянная борьба?! Господи, спаси и сохрани моего милого поэта, моего родного Alexander'a!..

21.8.43 г. Вчера вечером был у Флоренских. Разговор с Олей. «Только теперь я вижу, какие культурные люди собирались в нашем доме!» Действительно. Только теперь, в этой ужасной обстановке голодного и холодного варварства, вызванного безумной войной, можно оценить все те радости жизни, которых мы прежде почти не ценили. Особенно — возможность соприкосновения с интересными людьми, возможность жить духовной жизнью и делиться ею с близкими духом. Теперь этого нет или почти нет. И в ближайшем будущем ничего подобного не предвидится. Может быть, еще хуже станет!

Как вино становится крепче, чище и слаще, когда стареет, так и мысли человека. В молодости всё кипит, бродит, брызжет и сверкает. А с годами, когда улягутся страсти и порывы, жизнь укладывается в прочное русло, и ее воды становятся кристальны. В них можно различать тончайшие водоросли мысли, глубочайшие затоны переживаний.

Огромна роль окружения человека. Оно направляет его по тому или иному пути жизни. И все-таки душа, даже душа ребенка, не tabula rasa*. Есть в ней свои

* Чистая доска (лат.).— *А.Н.*

предрасположения, необъяснимые ничем и никак склонности, которые, сочетаясь с влиянием среды, местности и времени, творят человеческую личность. Сейчас, в одиночестве, я невольно то и дело обращаюсь к своему прошлому и задумываюсь то об одном, то о другом событии того времени. Определенно вырисовывается моя склонность к мечтательности, полная неспособность ко всякому практическому деланию и устремленность к дивному миру красоты. Почему даже мальчиком я не любил никакого утилитарного физического труда? Ни мастерить, ни конструировать, ни даже работать на огороде. Но зато нравилось разводить цветы, сажать кусты и деревья, устраивать клумбы, проводить дорожки. Это было красиво. Это очаровывало глаз. А все утилитарное казалось невыносимо скучным, хотя ум и тогда сознавал, что это необходимо, без этого не проживешь. А в тайниках души что-то шептало: это не твое дело. Другие всё сделают, как надо, а ты делай то, к чему призван, чем только и дышит твоя душа. И я сначала любовался красотой мира, потом грезил, а потом стал писать, и в этом нашел свой выход в мир действия. Так, не любя работать, я любовно отдался творчеству, и оно стало моим оправданием перед судом жизни. Вот эта предрасположенность для меня очевидна. Отсюда все мои стремления, вкусы, интересы, весь строй моего мировоззрения с отрочества до настоящих дней. И думается мне, что наследственность в данном случае не играла большой роли, т.к. отец, и особенно, Мама и Крестная были людьми отнюдь не мечтательного склада, а, скорее, практиками, и уже к творчеству, тем более литературному, явных порывов не проявляли...

22.8.43 г., воскресенье. Утром, между завтраком и обедом, составлял учебный план для РУ по русскому языку. Противно! Сплошная формальность, совершенно бесполезная для моей работы. Потом почитал немного «Савву» Л.Андреева. Раньше **я** этой пьесы не читал. Может быть, поэтому она меня не так сильно захватила. Несмотря на некоторые острые и глубокие мысли, в ней ощутительна ходульность, вообще свойственная Андрееву в его пьесах. Впрочем, читая «Профессора Старицына» тоже в первый раз, я ее не чувствовал, и мне эта пьеса понравилась.

Когда ходил завтракать и обедать, глядел на зубчатую синюю полосу елового леса, четко рисующуюся на северном горизонте за желтым, сжатым полем. Мысли, не останавливаясь, скользили в голове. На сердце было так холодно и бесприютно. В эти миги я не имел в себе ничего человеческого. Просто был какой-то движущийся, мыслящий механизм. И, вероятно, поэтому, задумавшись о Боге, я не чувствовал Его ни в себе, ни в мире. Это — не под влиянием «Саввы». Наоборот, вследствие этих мыслей я, вернувшись домой, достал пьесу и начал ее читать. Тут я понял, что когда в человеке нет любви и горения этой любви, Бог для него умирает. И сейчас я только мыслю, но не чувствую. Какое-то странное омертвение, оцепенение! Особенно странно, что это появилось с утра, т.к. утром у меня всегда бывает очень бодрое и радостное настроение. Хочу сейчас прилечь и соснуть часок. Авось, это настроение исчезнет. Мне не хочется идти таким к Жене Коневу...

23.8.43 г., понедельник. Недаром вчера с утра у меня было мрачное, подавленное, прямо-таки какое-то окаменелое состояние. Вечером у Ж.Конева я узнал, что Саша, мой Саша — убит! У Евгения был товарищ Саши, Андрей Арбузов. Он сказал, что мать Саши получила еще одно свое письмо, адресованное Саше, обратно, с пометкой о выбытии адресата. А в углу якобы было написано: «Невозможно описать. Убит.», причём последнее слово было зачеркнуто, но так, что прочесть можно. Не знаю, насколько это верно. Раньше среды мне не удастся вырваться и сбегать на другой конец города, чтобы всё узнать у его матери. Да и тогда еще остаётся робкая надежда, что всё это — может быть, лишь ошибка. Такое случалось неоднократно за эту войну. И всё же я поражен. Я вчера не упал в обморок, даже не заплакал, когда Женя сообщил мне эту новость. Но всё во мне как-то оборвалось и замерло. И чем дальше, тем хуже будет. Сегодня ночью все время снился мой родной Сашенька: с глазами, полными слез, он крепко целовал меня и обнимал, твердя неустанно: «Я вернусь, я вернусь...» Что это? Предвещание? Передача чувств и мыслей его на расстояние? Или игры моих мыслей и чувств? Неизвестно. Известно одно: он убит...

Я не могу сказать, что это для меня значит. Нет сил писать и даже думать об этом, и всё время на уме одно: «Неужели я его никогда не увижу?! Неужели его нет совсем на свете?!» Мертвая тоска.

24.8.43 г. Мысль о Саше. Невыносимая, нестерпимая боль. Ничто теперь не радует. Эта мысль камнем легла и придавила меня. Нет сил переносить. Нет слов выразить. Всё во мне замерло, умерло. Так жить — ужасно! А на улице — ясно, солнечно. Стоят дивные осенние дни, та августовская свежая прелесть, которая всегда была мила моему сердцу. Но теперь ничто не трогает. Прохожу мимо с глубоким горем, захолонувшим меня всего до конца.

5 часов вечера. Сейчас вернули мне письмо к нему от 31 июля с пометкой о выбытии адресата.

25.8.43 г. Вчера был у Сашиной мамы. Поговорили о пометках на письмах. Очевидно, «убит» на ее письме поставлено по ошибке, поэтому и зачеркнуто. У меня начинает теплиться надежда. Сашина мать написала письмо к командиру его части. Авось, он ответит. Будем ждать. Не хочу, не могу себе представить, что Саши нет на свете...

27.8.43 г. Вчера вечером получено извещение от Загорского Райвоенкомата, что Александр Петрович Дурнов убит 27 июля 1943 года и похоронен в 1 км. от Южной башни, х. Гапоновский, Крымского р-на, Краснодарского края. Нет моего Саши. Прощай, мой Alexander!

28.8.43 г. Спасибо Жене. Он смягчил мою боль вчера вечером, когда я уже определенно узнал, что Саша убит под Краснодаром. Я не могу сейчас описать вчерашнего вечера и ночи. Потом. Но если бы не дружеское, поистине сердечное отношение Евгения, то всё было бы еще тяжелее.

Сегодня весь день дивная погода. Стоит та ясная, меланхоличная, задумчивая и тем не менее бодрая осень, которую я всегда так любил. Любил ее сильно и умел чувствовать Alexander, мой милый незабываемый Саша. И я сейчас не чувствую ничего. Двигаюсь и живу как в полусне. В мыслях непрестанно: я не увижу его никогда, и он не увидит этой грустной, но милой земли

и земной красоты. Это убивает во мне всё. Мне легче, когда я на людях. В одиночестве тоска нарастает и мучит невыносимо. Сейчас тихий закат. Золото, разные тона. В комнате у меня так хорошо. Но я убегаю к Флоренским, чтобы не быть одному.

30.8.43 г. Сегодня первый день у меня в комнате свет. Получил от О.Флоренской лампочку. Днем у Жени К[онева]. Замечательно вкусный обед, даже слегка выпил рябиновой. Немного поговорил о Саше, почитал ему отрывки из его записной книжки. В гостях у них Женина тетка, моя бывшая ученица К.Конева. Уходя, получил букет георгин и дивной красоты гладиолус. Поздно вечером — у Флоренских. Разговор с Василием Павловичем*. Он решил возвратиться из Уфы в Москву...

5.9.43 г., воскресенье. Сейчас вернулся из кино, куда меня увлек Женя. Смотрел фильм «Миссия в Москву» — по книге б[ывшего] американского посла Дэвиса. Очень интересно. Жаль только, что свет плохой. Всё очень туманно, точно на картинах Каррьера. Да и звук скверный. Не знаю, чем это вызвано, плохим ли напряжением электроэнергии или неумелостью киномеханика. Фильм, по обыкновению, навел меня на многие размышления. Какая яркая, содержательная жизнь, полная кипучей деятельности у всех этих дипломатов, правителей и вообще у тех, кто там наверху. Они вершат судьбы мира. Какой простор для проявления своей воли, для приложения рук к самой непосредственной деятельности! А массам остается маршировать под звуки оркестров и барабанов, рукоплескать, приветствовать и... покоряться, покоряться без конца. В противном случае — уход в личную малую жизнь. Но и он теперь невозможен. Рука властителей достанет тебя везде и всегда и потребует, чтобы ты был послушным колесиком в убийственном, быть может, для тебя государственном механизме. Жестокая ирония судьбы: человечество создало государство, чтобы оно служило благу всех людей, а обстоятельства сложились так, что все люди, за малым исключением, должны сделаться рабами этого государственного механизма, безропотно служить ему и во имя

* Флоренский В.П.— *А.Н.*

его жертвовать всем, даже своей жизнью... Впрочем, как я наблюдаю, это происходит во всех областях — и в науке, и в искусстве и даже в религии. Такова, очевидно, порочная сущность человека в основном, что у него цели забываются, а средства становятся целями, и все стремительно перепутывается, усложняется, теряет свой первоначальный замысел, мертвеет, механизируется, делается тяжким, бессмысленным и гнетёт свободную мысль и душу. Но кто в наши дни ценит свободную мысль, душу, вообще человеческую личность?! Теперь корова, коза нужнее и ценнее для человека, чем человек. А государству нужно пушечное мясо и рабы, рабы... Грустная мысль. Маленькое примечание: в показе воинских парадов и толп народа отчетливо ясно, что то и другое — одинаково и в Германии, и у нас. Полное тождество. Только внешняя символика разная. А дух, душа, сущность массы одни и те же. И об этом у меня тоже — грустные, грустные мысли...

Бедный Саша! Из-за этого погиб ты. Из-за этого, возможно, скоро умру и я. Получил от Жени в подарок 2-й том «Путешествия по Италии» Тэна. Рад. Но прежде, до гибели Саши, эта радость была бы стократ сильнее. А сейчас всё во мне бесчувственно...

7.9.43 г. Вчера видел в «Известиях» сообщение о том, что три митрополита были на приеме у Сталина и получили разрешение созвать собор епископов для выбора «патриарха Московского и всея Руси». Дивны дела твои, Господи! Кто бы об этом подумал три года назад! И на что теперь патриарх? Разве только для того, чтобы поторжественней схоронить русскую православную Церковь, которая вот-вот умрет? Ведь это то же, что и все великие первосвященники Рима после победы христианства...

В 10 ч. вечера зашел неожиданно И.В.Сергиевский — мой бывший ученик. Просидел с ним около часа. Сколько воспоминаний! И как постарел он! А как — я! Как невозвратно ушла молодость!

9.9.43 г. Сегодня, как говорят, по радио утром сообщили о капитуляции Италии. Давно пора! Дай Бог, чтобы это было началом конца — войны и всяческого фашизма! А в мыслях рядом с надеждой на избавление от

теперешнего мучительного состояния — грусть и боль: Саша не дотерпел, не дожил до этого. И смутная, тайная вера: авось весть о его гибели — ошибка!...

11.9.43 г. Вернулся из РУ. Как мне всё там противно! М.б., уйду оттуда, если обстоятельства сложатся благоприятно. Вчера в газетах радостная весть о капитуляции Италии, а сегодня по радио утром сообщили, что немцы оккупировали Милан, Геную и Рим. Вот теперь и у англичан с американцами есть возможность непосредственно воевать с Германией в Европе и развернуть вовсю 2-й фронт. Посмотрим, что будет. А у нас — победы, победы! Немцев гонят, и это отрадно.

Получил письмо от Жоржа Л[ебедева]. Он — в окопах, под бомбами... Господи, спаси его и сохрани!...

16.9.43 г. С 5 час. вечера 14-го и по 5 час. вечера 15-го я продежурил в РУ. Надо было сидеть на пятом этаже ЗОМЗа. Скучное, ненужное дело. Читал «Подростка» и «Лит[ературную] энциклопедию». Утром любовался на восход солнца. Красивы красные и золотые полосы над морем туманов, из которого, как острова, выступали остроконечные верхушки елей. Спал ночью плохо в раздвижном кресле. Было холодно, неудобно. Кусали блохи, которые, очевидно, обитают в этом полуразваленном кресле. Со мною были два ученика, но это — такие нули, с которыми не о чем разговаривать...

Как ни скорбно мне сейчас, когда я думаю о погибшем Саше, — надо писать. Это теперь мое единственное оправдание жизни.

Если Богу или Судьбе угодно, чтобы я остался цел и невредим в этой кошмарной жизни наших дней, то я должен оправдать эту милость постоянным трудом. Не только стихи и мемуары, и дневник, но и всё, что теснится во мне, надо запечатлеть в слове, чтобы мой дар жизни остался для будущего человечества.

Неведомо, кто уцелеет в наши дни. Близятся времена не счастья, не расцвета, а суровые и, очень может быть, долгие годы тяжелого труда, бедности, скудости и изнеможения. Высокая и утонченная культура будет уделом ничтожного количества людей, часто даже и не достойных этого благодатного удела. Народные массы будут зализывать раны, нанесенные этой жестокой и безумной

войной, восстанавливать разрушенное хозяйство земли, добывать хлеб насущный. Несколько поколений будут расти и воспитываться в спартанских условиях. Им будет не до песен сладких и не до молитв. Их идеалом будет сытость, тепло, отдых после утомительного долгого труда и самые примитивные радости и развлечения. О той изощренной культуре, которую удалось еще застать людям моего поколения, они не будут в состоянии даже судить здраво. Она им будет столь же неведома и непонятна, как язык крито-микенских таблиц для историков наших дней. Но так не сможет продолжаться жизнь человечества. Рано ли, поздно ли, но дух возродится вновь. Тогда достанут из пыли забвения старые книги и рукописи и, как когда-то во времена Ренессанса, возродят и воскресят умершую древность, чтобы постичь жизнь и суметь создавать новое. Если к тому времени чудом сумеют сохраниться и мои писания, то пусть они будут искренним и безыскуственным повествованием о том, как жил и мыслил один из последних александрийцев в дни великой войны и разрухи, созерцая с грустью и болью умирание старого, столь родного его сердцу мира и пытаясь сквозь надвигающиеся сумерки прозревать первые лучи далекого и недоступного Возрождения Европы и России.

18.9.43 г., суббота. Сегодня исполняется ровно 25 месяцев после того, как я проводил Сашу на фронт. Как сейчас вижу его шагающим в последнем ряду группы, уходившей от военкомата на вокзал. Он один раз обернулся ко мне, взглянул, махнул рукой на прощанье, и больше я его не видел. И не увижу. По крайней мере здесь, на земле. Как мне больно и тяжело. Не за себя, а за него. Поистине о нем сказаны слова: *«Вкушая вкусих мало меду, и се аз умираю»*. О, непостижимая тайна жизни и смерти!

21.9.43 г. После завтрака занятий не было. Я ушел в лес ко 2-й будке, к Ярославлю. Было так хорошо. Я ведь не был в лесу целый месяц. Родным повеяло на меня от этих полей, кустов и деревьев. Горький запах осени. Деревья пожелтели. Многие растения стали уже красными, особенно листья земляники. Но, в общем, трава еще зеленая. Я набрал букет ромашек и сорвал несколько ве-

ток осины с желтыми и красными листьями. Небо ясное. Даль в молочном тумане. Солнечно и ветрено. Все время грустил о Саше. Придя домой, расставил цветы и ветки, а потом заснул в шезлонге. Проснулся — по радио передается дивная мелодия — рояль, виолончель и скрипка. Чья вещь — не знаю, слышу в первый раз. Но сколько в ней грусти, сколько неизбывной тоски! Почему печали в жизни и в искусстве несравненно больше, чем радости? Почему мы не можем быть только радостными и счастливыми? — И ведь это на протяжении всей истории всего человечества, поскольку мы ее знаем и помним...

23.9.43 г. 8 час. вечера. Приезжал М.М.Мелентьев. Пробыл у меня. Потом был у Т.В.Розановой. Я заходил туда, и мы обо многом поговорили. Он настроен оптимистично, т.к. устроился во Владимире прекрасно. Мне было грустно сознавать себя нищим и видеть себя обтрепанным, тогда как он был одет прекрасно. А особенно мучило то, что обувь моя вся в дырах, а на улице льет и льет противный дождь, шумит ветер и вообще непогода, очевидно, разыгрывается основательно и надолго.

24.9.43 г. Конечно, патриотизм — хорошая вещь, и Россию я очень люблю, но всё же надо сказать искренно, что картины Боттичелли, Леонардо да Винчи мне роднее, милее и ближе, нежели иконы Андрея Рублева и Дионисия, а размышления Монтеня интереснее «Домостроя» и переписки Грозного с Курбским... Я — русский, но в то же время — и европеец. И когда патриотизм переливается через край, то это мне уже не нравится. Как не терплю и тех, кто умеет только ругать всё русское, видеть одни в нем недостатки, и в то же время рабски благоговеть перед всем иноземным без разбору...

26.9.43 г., воскресенье. Самое главное, самое простое и в то же время самое трудное — жить настоящим. А мы — постоянно в прошлом или в будущем. Настоящее ускользает, как будто оно в шапке-невидимке. Редко удается радоваться мигу, дышать им, как дышишь осенней горьковатой свежестью или пролетевшим мимо ароматом нежных духов. Для этого надо

иметь кротость сердца, ясность ума и большую пламенность чувств. Это больше всего удается, когда человек влюблен или переживает поэтическое воодушевление. Первое для меня отошло в область преданий, а второе не покинет меня до конца дней. Вот и сегодня утром: снова слышу запах чайной розы на лестнице, выхожу на улицу, и туманный день расцветает сказкой, которую создала причудливая мечта поэта. И красивое стихотворение создалось, но я его забыл, когда вернулся домой. А пока шел, был почти счастлив.

27.9.43 г. Занятий в РУ пока нет. С новой школой тоже всё еще не выяснено. Я сижу на двух стульях. Это нервирует...

Вчера вечером душевный разговор с Женей К[оневым]. Сегодня интересный разговор с Т.Н.Грушевской. Она отрицательно относится к западноевропейскому порядку и благоустроенности, считая их обездушивающими всё и вся. Разговор с А.М.Флоренской об упадке старых родов, о том, что каждый род имеет свое восхождение, вершину, после которой начинается быстрое, почти катастрофическое снижение. Интересно, как она прилагает это мнение к своей семье и кого считает вершиной? Несомненно, П[авла] А[лександровича]. А тогда дальше — дети и внуки — снижение? Конечно, мне неудобно было ставить такой вопрос. В лесу сейчас, разумеется, дивно, но у меня нет сил туда пойти: всё мне напоминает милого несчастного Сашу и растравляет душу. Сегодня перебирал свои рукописи и увидел, что я много написал, особенно за 1942 год.

30.9.43 г. Сегодня был у меня зав[едующий] кухней МООСО Владимирский. Трепло. Кричит, что он был директором музея Василия Блаженного, до этого работал в МОНО, в АРА, намекал на близость с НКВД. Не люблю таких людей. Явился со своей выпивкой и закуской. Теперь приходится терпеть таких посетителей, хотя меня от них тошнит. Зимой так же был у меня завуч МООСО Новиков. Как мне чужды эти человекоподобные! Как я далек от них и от их жалкого мира!

Сегодня именины милых Мамы, Софьи Ивановны. Увы! Их нет на свете. Мне снилась Крестная. Она поздравляла меня и со мной вспоминала Маму. Как мне тяжело в одиночестве!

1.10.43 г. 12 час. ночи. Вечером был у Флоренских. Вялый разговор с А[нной] М[ихайловной] и Ю[лией] А[лександровной Флоренской]. Они как-то стесняются говорить при новых жильцах. Встретил там Женю К[онева]. Он, очевидно, ухаживает за Т., женой С.Н.Е. Возвращался домой в большой меланхолии. Мне очень скучно и тяжело в своем духовном одиночестве.

3.10.43 г. Вчера после обеда ходил по линии ж.д. к Ярославлю за 3-ю будку. В лесу хорошо. Только как много вырубленных деревьев! Грустно видеть такое опустошение. Возвращался поздно. Дома ждал отдыха, а, приблизившись к своему подъезду, натолкнулся на Л.П.Владимирского с приятелем. Он пришел с выпивкой и закуской. В наше время это выгодно. Но я предпочел бы лучше напиться чаю с молоком и белым хлебом, нежели пить скверную водку и заедать ее солеными грибами с тем же белым хлебом. Да вдобавок слушать пустые и глупые речи. Горе иметь дело с полукультурными людьми, которые много о себе «воображают», как говорят ребята! Когда придет то время, когда я смогу затвориться в своем углу и принимать только тех, кто дорог и близок мне?!..

Сегодня проспал завтрак и до 2-х часов дня без еды. Холодно. Надел валенки. Сижу, курю, пишу очередную главу для «Эрмитажа». Одно утешение — сегодня в 4 часа буду у Жени К[онева] и поговорю с ним по душам. Надо еще сходить на выставку картин загорских художников, которая сегодня открывается в Трапезной Лавры.

6.10.43 г. Был на днях на выставке картин. Ни одной работы, которая понравилась, которую мне хотелось бы иметь. Всё или несимпатично, или как-то сделано наспех, просто-напросто посредственно, или даже плохо. Знамение времени. С грустью поглядел на соборы Лавры. В каком они ужасном состоянии! В РУ по-прежнему беспорядок, ученья нет. Моё положение с переходом на другую службу пока неопределенно. Пусть будет, что будет!... Совсем нечего записывать в этот дневник. Дни похожи один на другой, как стертые медяки. Внутри у меня опустошенность. Сегодня с ночи резкий холодный ветер с запада. Прямо в мое окно. В комнате у меня холодно. Сейчас пойду в лечебницу за бюллетенем. Чувст-

вую себя неважно. С 10 до 12 вздремнул на постели, не раздеваясь. Перед сном грустные, холодные мысли о своей полной неприспособленности и негодности для такой суровой жизни, которую приходится сейчас переживать. Какое-то холодное, отчаянное спокойствие и равнодушие в конце концов овладевает мною подчас. Смерть совсем не страшна. Ум говорит, что умирать не надо, что не всё еще сделано, что я должен сделать и могу сделать, но душа остается безразличной...

7.10.43 г. Вчера вечером был у Флоренских. Интересный и душевный разговор с А[нной] М[ихайловной] и Т.Н.Грушевской. Видно, мне надо поближе держаться к пожилым и старым людям. С ними я скорее найду общий язык, чем со своими сверстниками, а тем более с молодежью. Недаром я всегда любил беседовать, даже и в юные годы, с людьми, которые значительно старше меня. Вспомнить только разговоры с Глаголевым, Воронцовым, Вассианом, Феодосием, а затем с Львом Тихомировым, М.М.Левковым и, наконец, с С.И.Огнёвой...

Как странно: люди приходят, люди уходят; меняется обстановка, меняется жизнь; даже, кажется, меняешься сам... Но, если вглядеться попристальней, то, точно под рентгеном, начинаешь примечать неизменяемый стержень души своей, того духовного существа, которым ты живешь и дышишь. Он у меня тот же, что и в 15 лет. Основы моего внутреннего существа не изменились. Только смылось всё то наносное и временное, что как бы прилипло ко мне за пустые и легкомысленные 1922-1932 годы, и то глубокое, искреннее, задушевное, что уже расцветало первоцветом с 1914 по 1920 годы, теперь, углубленное страданием и обогащенное опытом жизни и мысли, окончательно раз навсегда овладело душой и умом. Как жаль, что нет моего тогдашнего верного и преданного друга Алексея Спасского! Он бы во всём понял меня.

8.10.43 г. Судьба, кажется, начинает понемногу благоволить ко мне. Сегодня я узнал, что могу сегодня же получить место в польском детском доме. Это значит, что я зимою не буду ни голодать, ни холодать. Дай-то Бог! Авось, я оправлюсь понемногу и заживу хоть слегка по-человечески. Но как я буду счастлив уйти из РУ!...

9.10.43 г., суббота. За последние дни перечитывание Достоевского и Ницше. Первый — и разрушитель, и великий созидатель, несмотря на оковы православия и самодержавия. Второй — только великий разрушитель. У Ницше нет предвидения и провидения. Хотя он всё время мечтает и мыслит о будущем, но все прозрения его — только в настоящем. Достоевский — прозорливец грядущего, того, которое еще не скоро наступит. Надо завтра попытаться записать кое-какие свои мысли в связи с этим. Если бы мне удалось написать книги «Возрождение Европы», «Религия и Россия»! И я уверен, что напишу их, так же как и «Модерн». Сейчас чувствую в себе новые силы. Идеи крепнут и растут внутри и вырвутся неожиданно даже для меня самого. Только будет ли кому их сообщить? И сумеют ли меня понять, если даже и захотят выслушать? «Кому поведаю о силе и радости?!» Видно, всю жизнь придется мне прожить без настоящих учителей и учеников. Учителя — в именах. Ученики — в читателях моих книг!

10.10.43 г., воскресенье. Сегодня на базаре видел продающуюся большую книгу в переплете с белой, разлинованной и довольно приличной бумагой. Стоит 220 рублей. По нашему времени — дешевка. Но у меня их нет. И я сильно огорчен, что не могу ее купить. Она так бы подошла для моих стихов за военные годы!

Я часто испытываю своеобразное раздвоение. С одной стороны, я неуёмно рвусь к небывалой свободе, стараюсь избавиться от гнёта вещей и обстоятельств, которые связывают меня по рукам и по ногам, и чувствую, что только в чисто аскетической обстановке монашеской кельи, где, кроме книг, стола и стула и скромной кровати нет ничего, что отвлекало бы мой ум от пламенного мира идей, что только в такой суровой простоте я могу развернуться вполне и творить так, как я должен творить... С другой стороны, пленяет уют, хочется красивых вещей около себя, хочется той ласковости, которую они привносят в жизнь...

14.10.43 г. Сегодня Покров. Я вспоминаю академический наш праздник. Как это было торжественно, красиво, полно глубокого значения! Какие возвышенные мысли, чувства и настроения рождались тогда во мне. И

как это невозвратно ушло в глубину времен! Сейчас всё — совсем другое, не похожее на тогдашнюю обстановку. И я огрубел и очерствел. Но внутри теплится огонёк, и он-то, думается мне, и согревает меня теперь в трудные дни, наравне с той добротой и отзывчивостью, которую я еще встречаю в некоторых людях. Сладко бывает на досуге уйти в сияющий и благоуханный мир воспоминаний! Счастлив человек, у кого таковые имеются! И горе тому, кому нечего вспоминать, для кого жизнь — лишь «тысяча съеденных котлет», как выражается один из героев Бориса Зайцева.

И все-таки, в конце концов, я — не Ницше, а Монтэнь или Амиэль; не Толстой Лев, не Достоевский — а Уолтер Пэтер и Роденбах, Чехов и Борис Зайцев; не Пушкин, не Лермонтов, а скорее Тютчев и Вячеслав Иванов... Вот эта кротость сердца, которая иногда граничит даже с робостью, эта мягкость и меланхолия, этот скептицизм и успокоенная созерцательность, делающие чуждыми моей натуре и совершенно ненужными всякое действие, всякую борьбу — они изначальны в моем существе, и, может быть, ради них, а не ради моего уюта, и благосклонна ко мне Судьба, посылая мне в жизнь людей, которые оказываются способны подмечать эти моим черты и за них любить и жалеть меня.

А ум мой — действительно — холодный и безжалостный. Даже ко мне, даже к себе самому. Он не щадит никого и ничего. Всё рассматривает со всех сторон и досконально критикует сурово и требовательно, делает выводы бестрепетно и беспристрастно. Если бы к нему прибавить твердую и непреклонную волю, то, может быть, из меня что-нибудь вышло и покрупнее. Но вот это бедное, и, однако, ласковое и человечное сердце, спасает меня от такой участи. Что ж? — Может быть, это к лучшему — остаться на всю жизнь маленьким, безвестным человеком, жить в мире своих мыслей и мечтаний и не нарушать мирового порядка, а лишь исполнять и, по мере сил своих, восполнять его. Как мне понятны слова Розанова: *«Я мог бы потрясти весь мир — но вот не хочу и стою молчаливо в стороне»*.*

20.10.43 г. Субботу 16-е и воскресенье 17-е октября провёл в Москве у Крестной. Она теперь живет там, у

---

* Цитата не найдена.— *А.Н.*

моей двоюродной сестры Кати, вместе с племянником моим Борисом. Это — около стадиона «Динамо», на Ленинградском шоссе. Комнатка маленькая, но чистая и теплая. Окно на юг. Поэтому — постоянно солнце. Неудобство одно: уборная во дворе. Но в теперешних условиях жить можно. Как сильно постарела Крестная! Да и то: ей уже 70 лет. Опять я был рад и счастлив оказаться в родном кругу и поговорить просто, по душам. Москвы почти не видел, т.к. большей частью ехал на метро. На вокзальной площади перекрашивают вокзал. Видно, что Москва готовится к празднику Октября...

21.10.43 г. Только сочетание великого с малым, телесного с духовным, божественного с земным, личного с мировым создает подлинное человеческое существо. В нем необоримо сильно дыхание жизни. Оно побеждает всё. И всё, что служит укреплению этого дыхания жизни, прекрасно, нетленно и необоримо. Остальное — ложь и суета...

В истории нет никакого прогресса. Прогресс, да и то весьма относительный, можно наблюдать лишь в развертывании отдельных замкнутых циклов человеческого существования. Но завершается цикл или обрывается волею судеб, и люди снова — здорово начинают копошиться и строить с начала, как муравьи, восстанавливающие разворошенный муравейник. И между циклами так слаба, так призрачна связь. Преемники древних культур искажают их смыслы, бессознательно или преднамеренно, — всё равно. Единой линии нет. Есть циклы, круги, а общий смысл мирового процесса сейчас так же неизвестен, как и во времена Экклезиаста. И никакие мудрствования никаких Гегелей не смогут прикрыть этой зияющей бездны.

И жизнь, и смерть, и печаль, и радость одинаково зарождают религиозное отношение к миру. Но только христианство обосновало печаль в сердцах и освятило ее. В древних религиях были радость и страх, но грусть, появившаяся еще до христианства, была узаконена им, как подобающее для человека настроение. А из этого потом вытекла и скука — детище нашей полусумасшедшей и безрелигиозной цивилизации...

Сегодня слышал от Н.Я.Мягкова (он — кандидат географических наук), что в Дмитровском и Загорском

районах за последние пятнадцать лет отмечается усиленное поднятие грунтовых вод. Возможно, что здесь — причина массового умирания деревьев не только в загорских садах, но и в окрестных лесах, которое меня так огорчает.

Не забыть, что в ученых трудах Московского университета за 1938-40 гг. (приблизительно) есть работа Волковой об Африке, о древнейшей африканской культуре. Об этом говорил мне Н.Я.Мягков. Надо попросить Олю Флоренскую достать мне эту книгу из университетской библиотеки и одновременно № журнала «Летопись», где есть статья Брюсова «Учителя учителей».

22.10.43 г. Саван для покойника всегда шьется «на живую нитку». Вот это мне всегда теперь вспоминается, когда я приглядываюсь к работе в современных советских учреждениях. Там все и всё делают «на живую нитку». Не стоит стараться. Всё это — пока. Только бы пережить войну, пережить тяжкое время. Потом заживем по-настоящему и будем работать как следует. А пока сойдет и так. Точно таким же образом думают и при шитье савана: всё равно истлеет в земле...

Как я желал бы знать, что думают, что говорят сейчас такие люди как Ромэн Роллан, Морис Метерлинк, Кнут Гамсун, Бернард Шоу, Герберт Уэльс, Олдингтон, Фейхтвангер? Какие книги они напечатали, что сказали об этой войне и вообще о людях и жизни наших дней? Нет ничего на эту тему в «Интернациональной литературе». И я — современник этих талантливых и глубоко уважаемых, дорогих моему уму и сердцу людей — не слышу их голоса и их биения сердца «в такие дни». Обидно и горько. А разную болтовню слышишь со всех сторон, и по радио, и через газеты и журналы...

24.10.43 г., воскресенье. На днях перечитывал «Флорентийский мед» Р.Роллана. Как сильны у него античные реминисценции! Как вообще они сильны и жизненно необходимы для целого ряда людей! Я с каждым годом всё больше убеждаюсь в том, что только гуманитарное образование делает человека подлинно культурным, давая ему возможность постигнуть душу и дух человечества и всего, сотворенного им. Даже пресловутая «классическая» система покойного российского минис-

терства народного просвещения со всеми ее недостатками всё-таки несравнимо выше, продуктивнее для человеческого развития, нежели самые совершенные системы «реалистического» образования. Дело в том, что реализм в глубоком смысле слова не исчерпывается биологическими и техническими достижениями. Биологический цикл уясняет человеку его место среди растительного и животного мира, но он останавливается и умолкает как раз там, где человек начинает перерастать и преодолевать этот мир. Область сознания и, тем более, область творчества не может быть освещена биологическими науками даже в самой малой мере. Техника и технологическое мышление показывают нам человеческое творчество исключительно с формальной стороны, не задумываясь ни на минуту о сущности вещей и явлений и заботясь лишь об одном, как установить наилучшие способы использования этих вещей и явлений в пользу человека. В этом отношении современный техницизм удивительно родственен средневековому магизму. Оба одинаково утилитарны, вульгарно упираются в вопрос лишь о выгодах и корыстных достижениях. Чистого и возвышенного знания они дать не смогут никогда. Его открывает человеку лишь гуманитарное знание, основанное на художественном восприятии, на философском мышлении и укладывающееся лишь в систему религиозного отношения к миру.

Я непреклонно убежден, что в наше время отсутствие такого гуманитарного знания в нашей стране, повальное увлечение техницизмом и, наконец, постепенное отмирание религиозности послужили главной причиной того ужасного житья, которое мы сейчас видим везде и во всех случаях на 3-м году войны.

Евангелие в основном своем глубинном содержании совершенно не национально. В нем нет ничего типично еврейского, семитического. Проповедь эта могла исходить из уст любого эллина или римлянина. Художественная форма, образы — типичные для Востока. Но идейная насыщенность — всечеловечна. Может быть, поэтому оно так и победило большую часть культурного человечества, став мировой религией. Оно сумело прижиться в любой стране, и в то же время впитало в себя все духовные особенности тех стран и народов, которые покорились его влиянию. Но я никак не могу понять,

что именно заставило варварских королей германских племен сделаться христианами? Неужели только страх ада и вообще страх перед смертью и размышления о загробной жизни? Возможно, это действительно так. Когда вспоминаешь Средневековье с его религиозным фанатизмом, мрачные ожидания конца мира около 1000-го года, невероятную силу веры, вызывающую прямо-таки религиозные эпидемии, то чувствуешь, что во всем этом проявляется страх перед смертью, который с исключительной силой овладел варварскими умами, только еще приучавшимися мыслить отвлеченно и воспринимавшими с необычайной, жуткой реальностью самые метафизические проблемы. И все-таки поразительно, как сильно и как надолго овладело христианство умами. Ведь только в XVIII веке появляется впервые свободомыслие среди образованного общества. Раньше оно было доступно только единицам, вроде Монтеня, да и то в весьма осторожных дозах...

Когда я слушаю шум елового леса под северным сумрачным небом, когда в осенние вечера тень рано окутывает землю, свистят свирепые ветры, неся первые снежинки на окоченевшую землю, и в бедных деревнях зажигаются робкие огоньки, то я думаю: как далека от этого сурового мира та кроткая и любвеобильная проповедь, что зародилась в цветущих долинах Галилеи! Как контрастирует она с этим угрюмым пейзажем, с людьми, которые всю жизнь ведут непосильную борьбу с природой, стараясь отвоевать у нее сытость и тепло! Как странно звучат в этой обстановке заветы Евангелия: «*Не заботьтесь о завтрашнем дне, завтрашний день позаботится о себе сам, довлеет дню злоба его*»! Что, если бы северяне захотели буквально исполнить эту заповедь? Но они об этом не задумывались совершенно. Они утепляли свои жилища, прикапливали топливо и снедь и только тогда спокойно встречали долгую зиму и благополучно доживали до следующего лета... Евангельская проповедь, христианское вероучение было красивым, успокаивающим и облагораживающим дополнением, но отнюдь не основой каждодневного существования. К нему прибегали лишь по праздникам, посещая церковь, слушая проповедь, читая Библию. Это на Западе. А у нас не было даже и проповедей, тем более, чтения Библии. Слово Божие звучало лишь на богослужении и

безмолствовало в домашнем быту. Последний был религиозен лишь формально и вплоть до наших дней оставался в своей сущности или языческим, или же, за последний век, индифферентным.

Древняя сущность христианства глубоко воспринималась и остро переживалась, заполняя собою всю жизнь, лишь немногими единицами. Это были люди «не от мира сего», бежавшие от суеты в пустыню, уходившие в затворничество. На высших ступенях совершенства они создавали великих подвижников благочестия, как Сергий Радонежский, а внизу были просто не нашедшие себе места и пути в обычной жизни странники, юродивые, которыми так была обильна старая Русь. Но ведь не ими создавалось государство, не они продвигали культуру вперед, — не эти странники и юродивые. А ведь их-то было большинство среди «людей не от мира сего». А такие строители общежития и зодчие душевного храма, как преподобный Сергий, были не многочисленны. Это — исключения, озаряющие серую массу. Масса же жила из года в год, из века в век, традиционно веруя, т.е. исполняя церковные требы без всякого вдумывания в их сущность, и, главным образом, в поте лица своего добывая себе хлеб насущный и отбывая свою повинность владыкам, будь то татарский хан, свой князь или царь, или даже просто помещик. И эта масса в своих привычках, заботах, трудах, радостях и печалях, верованиях и стремлениях в наши дни немногим отличается от массы древней Руси. В одном отношении она как будто сделалась получше, в другом — ухудшилась. В подавляющем большинстве ей нужна религия быта, а не религия сердца и души.

Восстановили патриаршество. Пустой звук. Декорация. Форма почти без содержания. Сколько монастырей у «патриарха Московского и всея Руси»? Ни одного. Сколько церквей, священников, наконец, верующих? Пожалуй, поменьше, чем прежде в какой-нибудь обширной епархии. И получился пустой титул, в добавок к давно уже потерявшим значение титулам патриарха: Константинопольского — *«вселенский»*, Александрийского — *«папа»* и *«судия вселенной»*, Антиохийского — *«всего Востока»*... Теперь все эти патриархи и русский с ними — лишь своего рода благочинные, которым и

благочиния-то наладить как следует не приходится. Только политиканствовать, дипломатически лавировать и так или иначе платить дань государству, которое их терпит... Ни величия, ни славы, ни власти — ничего не осталось. Даже в духовном отношении их авторитет ослабел окончательно. Нет! Церковь возродить этим нельзя...

2 часа дня. Сегодня слышал, что нашего директора Кудасова снимают. Посмотрим, как поставит дело его преемник. Хуже того, что есть, представить трудно. Я по-прежнему продолжаю сидеть на двух стульях. В польский детдом дети всё еще не приезжали, и поэтому меня туда пока не зачисляют, хотя заверяют, что буду принят немедленно, как только эти дети приедут. А в РУ противно до отчаяния. Жду — не дождусь, когда моя судьба выяснится и определится и, хочется надеяться, что к лучшему...

26.10.43 г. Вчера наша учительница РУ Зинаида Дмитриевна Вишневская говорила о том, что ее сын, теперь Герой Советского Союза и орденоносец, на фронте сошелся с женщиной-врачом, а дома — жена и четырехлетний сын. Он же в письмах к матери о них и не вспоминает, а во время побывки сообщил о своем новом положении жене. Та его безумно любит и теперь не находит себе места. Сколько теперь таких трагедий! Мужья завели себе «фронтовых подруг», жены в тылу прямо-таки блядствуют (да простится мне это грубое слово, но только оно выражает поведение многих женщин в наши дни). Бедные дети! Что их ждет после войны? Что будет, когда отцы вернутся, а от семьи остались одни клочья? Вот результат того, что в течение последних двадцати пяти лет думали, говорили и заботились лишь об «общественности», а семью забывали, а позднее и сознательно разрушали! Теперь много говорится о Родине, о государстве. Но основа всякого государства — семья. А у нас она в состоянии полного распада. После войны надо будет заново строить не только города, но и семью.

28.10.43 г. Сегодня ходил в МООСО, чтобы взять облигацию займа, «жулик»*, оставшийся у pater'а Черни, и

---

* «Жулик» — соединительная муфта для подключения вилки электроплитки к осветительному патрону вместо электролампочки. — *А.Н.*

книгу сказок Перро, оставленную Овитовским у Новикова. Не прошло и трех месяцев, как я перестал там работать, а уже все люди и вся обстановка стали мне совсем чужды. Это потому, что близкими они мне никогда не были: с таким миром я никогда не смогу сродниться. Но дорога, которая так утомляла при ежедневном хождении, теперь, в серый осенний день, показалась мне приятной. Поле и лес. Небо в тучах, покрытые рябью пруды под ветряными порывами. Деревья, безлистые и строгие, ели с их воющим тревожным шумом... Всё пробудило снова глубокие мысли. В городе такие мысли не рождаются на ходу. Мельканье людей и экипажей рассеивает. Убогие дома и грязь, уродство и нищета на каждом шагу вызывают желание не глядеть, не замечать, и невольно погружаешься в свои думы, стараясь скорее миновать это безобразное окружение, чтобы открылась глазам, наконец, милая, прекрасная Лавра.

Каждый раз, как я ее вижу, со всех сторон, с самых различных точек наблюдения, в разные дни и часы, в разную погоду, при каждом новом освещении эта дивная единственная Лавра всегда прекрасна, всегда дает мне что-то новое, раскрывает свою насыщенную в веках душу, успокаивает, врачует издерганные нервы, радует красотой, углубляет мысль и насыщает меня новым содержанием. Как я обязан ей многим-многим! Наравне с Гимназией и Академией, с Алексеем Спасским и П.А.Флоренским — она — учительница моей жизни. И, пожалуй, если вдуматься основательно, она — главная учительница моей всей сознательной жизни. Если взглянуть серьезно и оценить по-настоящему то, что мне дала жизнь в наставники, то самое сильное влияние на меня оказали природа, книги и Лавра. Я должник перед Лаврой. О природе и о книгах я писал много, а о Лавре — мало, почти ничего...

29.10.43 г. Вчера до 12-и сидел у Флоренских. Очень интересный разговор с А[нной] М[ихайловной] и Т.Н.Грушевской. У последней много интересных и часто глубоких мыслей, но какое-то странное косноязычие. Не умеет, не может она всего высказать. Это, конечно,— результат недостаточного чтения и общения с людьми. Всё — в себе, а наспех не скажешь самого заветного. Это свойственно многим людям, а порой даже

и мне, хотя я, по-видимому, никогда не страдал особенно «муками слова» ни в художественной, ни в обычной речи...

Когда вчера шел обратно из МООСО, то тихонько напевал «Христос воскресе», «Рождество Твое, Христе Боже наш», «Свете тихий», «Богородице Дево», «Достойно». И эти молитвы, особенно напевы, были так дороги, милы и близки так будили воспоминание о родной моей Маме, которая тоже любила петь их, и вообще о счастливом прошлом... Да! Я — «весь в прошлом», хотя настоящее в его духовной сущности еще живо и действенно для меня, и я не устаю мыслить и мечтать о будущем. Но все же большею частью своего существа я — в прошлом. Это значит, что умереть пока еще рано, но жизнь уже переломилась и близится не к зениту, а к закату. Благословим же Бога и за утро, и за полдень, и за наступивший вечер. Пусть будет он ясен и тих, и согрет чистыми лучами созерцаний и размышлений, и украшен блаженным расцветом творческой мечты и художнического осуществления. Господи! Сохрани меня Учителем и Мастером до последнего мига моей жизни!

2.11.43 г. В воскресенье был, по обыкновению, у Ж.К[онева]. Потом он зашел ко мне, и мы посидели вечер вдвоем, разговаривая и читая. Как мне это напомнило былые счастливые дни. Вспоминали Сашу, моего милого Сашу, и не хотели верить тому, что больше его не увидим. Вспоминали и беспокоились о Жорже, от которого давно нет вестей. Я прочел Жене письмо Валентина, которое неожиданно получил на днях. Поговорили о нем. У меня было хорошо: дом истопили, хорошо горело электричество...

3.11.43 г. Вчера был у Флоренских и видел Олю. Интересно поговорили, между прочим, о религии и церкви. Оля говорит, что у молодежи заметна большая тяга к религии. Я думаю, что поле ее наблюдений невелико. Это — только интеллигентная молодежь московских профессорских кругов. А в массе, представителей которой я иногда встречаю, — полнейшее равнодушие к этим проблемам вследствие абсолютного невежества в данном отношении. Масса молодежи, которая уцелела от фронта, живет самыми грубыми материальными ин-

тересами. Их скудные духовные запросы достаточно удовлетворяются тем, что им дает кино, танцульки и — изредка — чтение пустых романов. О том, что испытывает и как мыслит молодежь в армии, судить пока трудно. Если делать выводы по настроению Валентина и Георгия, насколько они мне доступны и известны, то это не внушает ни радости, ни больших упований. Всё можно определить двумя словами: энтузиазм борьбы и депрессия внутреннего чувства и мысли.

Сегодня был у Н.П.Мартовой-Цветковой. Поговорили между прочим и о С.Н.Каптереве. Взял у нее читать «Русское Обозрение», 1894, №№ 1-2. Там интересные отрывки из мемуаров Э.Ренана. Между прочим, — его знаменитая «молитва на Акрополе», которая увлекала меня и раньше, а теперь вызывает еще большие и острые размышления об античности, христианстве, о культуре и религии. Если удастся, то завтра кое-что об этом запишу. Получил сегодня письмо от Жоржа и страшно рад, что он жив и благополучен. Храни его, Господь!

13.11.43 г. 9-го ноября выпал снег и лежит до сих пор. Сегодня мело; возможно, ночью разыграется метель. Но зима, очевидно, легла. В этом году стояла дивная осень. Ясная, морозная, сухая. Дождей и грязи почти не было. Это не только радость поэтам, но и благодеяние всему люду, т.к.обуви и галош нет, все изорвалось, а покупать по базарным ценам нет возможности: подержанные галоши стоят 1.500 рублей, такие же кожаные полуботинки — столько же. А жалованье не увеличилось ни на грош.

За последние дни опять продолжаю «Эрмитаж». Пишу 2-ю главу «Алексей» (о Спасском, моем друге юности)*. Хочу написать и третью о нем же, под заглавием: «Дыхание жизни», с эпиграфом: «Et ego in Arcadia...» **. В заключение поставлю фразу: *«О, не буди меня, дыхание весны!...»* Я так люблю мелодию этой арии, особенно в исполнении Козловского. Она у него звучит нежнее, чем даже у Собинова, и так отвечает моему внутреннему переживанию, затрагивая самое тайное и святое в глубинах моей души.

---

* Судьба рукописи не известна.— *А.Н.*

** «И я [побывал] в Аркадии...» (лат.).— *А.Н.*

Перечитал роман Жанн-Мари Каррэ о жизни Гёте. Недурно. Можно было бы написать и ярче, и глубже. Ничего не поделаешь — автор — только француз и притом поверхностный. В связи с этим перечитываю том «Лит[ературного] Наследства», посвященный Гёте. Там много интересного. Любопытен обзор западноевропейской Гётеаны Ф.Шиллера. Какая масса исследований! Как много писалось об одном Гёте накануне фашистского переворота! А сколько других книг с самым благородным и гуманным содержанием издавала Германия! И все это пошло не в прок... Невольно задумываешься о том, как мало значат для людей призывы к духовной жизни, исходящие от лучших её носителей...

14.11.43 г. Вчера перед сном и сегодня с утра — размышление о человеческой суете и о бренности всего земного. Это под впечатлением «Молитвы на Акрополе» Ренана. Сколько нежной любви, и красоты, и разума, и тут же рядом такая безнадежность, такой, можно сказать, космический релятивизм. Все проходит. И совершеннейшая красота сменяется иным очарованием, и яснейший разум не может объять необъятного. Мир обширнее, нежели мы о нем мыслим, богаче, нежели мы его себе способны представить. Но все эти безмерные пространства не смогут утешить человека, когда он встанет перед неизбежностью исчезновения и себя, и всего, что только есть на Земле и даже во всей вселенной. Разница только во времени. И век людской, и век земной, и век пространств небесных равно истекает, и наступает конец, уход в ту неизвестность, из которой столь же таинственно и непостижимо явились и мы, и мир. Перед этой черной ночью не спасёт никакая резиньяция. Как созвучны Ренану слова умирающего Державина:

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы! *

* Из стихотворения Г.Р.Державина «Бог».— *А.Н.*

Только религиозная вера дает некоторое успокоение человеческому уму, но и то — не всякому и не всегда. Религии тоже умирают, становясь достоянием историков и археологов или рассеиваясь мелкими брызгами постепенно исчезающих суеверий...

Сейчас падает снег. Снова зима. Но каждая зима, повторяя предшествующие, своеобразна. Так и жизнь, и деятельность людей. Один листок на дереве не похож в точности на другой. Так и человек на человека, и событие на событие. Хотя повторение — повсюду и во всем. Основные линии одинаковы, вариируются детали. Но они-то, в конце концов, и составляют сущность каждого момента, каждой индивидуальной жизни, их неповторимость во всеобщем круговороте. Я уже писал, говоря о стилях, что, в сущности, их только три: романтизм, реализм и символизм. Все остальное — лишь оттенки и видоизменения этих основных. Интересно, по каким путям пойдет литература после войны, какие новые направления возникнут в течение оставшихся лет XX века? Но заранее могу сказать: они будут вариацией прежних.

И зачатки романтизма, реализма и символизма мы имеем уже в древнейших литературах. Точно так же и в философии, где своя триада идеализма, материализма и скептицизма определяет все дальнейшие модуляции мысли. Интересно, какие будут вариации, насколько они будут оригинальны, и еще более интересно, как ими будут увлекаться люди, особенно молодежь, которой всё кажется новым, которая уверена, что весь мир родился вместе с нею и впервые переживает всю полноту бытия. Что же! В этом есть своеобразное очарование, которое живит человека, так же, как и в старости есть своя, свойственная ей прелесть, состоящая в умудренном сознании превратности и быстротечности всякого существования. И то и другое равно наполняют ум и душу человека, вспыхивая **острою** радостью, разливая мед и полынь терпкой печали и разрешаясь, в конце концов, тихой, задумчивой и примиренной грустью... Счастлив тот, кому судьба дарует долгую и полную жизнь. Таков Гёте. Я **опять за** последнее время становлюсь гётеанцем и черпаю силы из этого могучего источника. Есть какая-то часть духа Гёте и во мне, хотя мы люди разных наций и эпох. Ведь я родился через 150 лет после дня рождения Гёте. Но мне кажется порой, что некие элементы его души воплотились и во мне.

Вся тысячелетняя история христианства есть не что иное, как приспособление его ультраидеальной сущности к земной жизни. Вернее, это сплошной отход от заветов Христа: «не заботьтесь о завтрашнем дне», «единое есть на потребу», «оставь всех и всё и иди за Мною». Немногие захотели и смогли выполнить эти заветы в абсолютной полноте и точности. Это — аскеты, анахореты, подвижники и мученики. Нам они кажутся подчас только больными или безумцами. И если бы весь мир, подобно им, проникся идеей Евангелия, то жизнь человеческая давно прекратилась бы на земле. Как это странно! Самое высокое, казалось бы, учение совершенно неприемлемо для жизни и, если оно еще и существует, то только ценою уступок, приспособления...

Не следует также забывать, что буддистов на земном шаре побольше, чем христиан... Сколько мыслей рождается, когда начинаешь задумываться обо всем этом. Но люди мало думают. Одни верят по традиции, и им «тепло на свете»; другие не верят, столь же механически существуя, как и первые, и им тоже не слишком уж холодно; и лишь третьи, а их весьма мало, и верят и не верят, но волнуясь и сгорая ежедневно и ежечасно на кострах своих мыслей и чувств. Но и они по-своему блаженны, и, по всей вероятности, не хотят сменить свою участь на участь первых и вторых.

Многообразие жизненного опыта — вот, думается мне, девиз, который должен рано или поздно установиться среди человечества, если оно способно стать когда-нибудь разумным. Многообразие жизненных путей и полное равноправие, предоставляющее каждому идти своим путем, не рабствуя, но и не делая рабами других...

24.11.43 г. Получил два письма от Георгия [Лебедева]. Он в Белоруссии. Настроение у него теперь, слава Богу, бодрое. Мечтает о том, что, если «не сегодня и не завтра, то послезавтра мы увидимся». О, если бы это сбылось и поскорей! Я, конечно, подумал о бедном Саше, и сердце сжалось от боли и тоски. Читаю тома «Печати и Революции», имеющиеся у меня. Вспоминаю слова князя Вяземского: *«Блажен, кто мог библиотеку себе собрать под старость лет...»* Правда! Жаль только, что она у меня слишком маленькая. Очень многих книг

не могу иногда достать, а как хочется их просмотреть и перечитать. Но, слава Богу, что есть и то, что есть. Сейчас — это моя отрада и утешение.

3.12.43 г. Некогда писать. Очень устаю. С утра уроки в РУ — ненужные, бессмысленные. Для меня они невыносимо скучны по своей элементарности. Из ребят разве только десятая часть усваивает то, что я им преподаю. Остальные ничего не хотят знать, бездельничают и хулиганят. Противно это до отчаяния. Но приходится работать из-за куска хлеба.

Когда становится уж слишком тошно и тяжело, я успокаиваю себя мыслью: это всё-таки лучше, чем на войне или на трудовом фронте. Там бы я окончательно сгиб, а здесь можно кое-как терпеть. После уроков часа в 4 дня я иду обедать, а до этого не ем ничего. Школа и столовая пока в разных концах города, и я сразу беру завтрак, обед и ужин, чтобы не бегать три раза. Конечно, это не обходится без того, чтобы служащие столовой не обманывали получателя, сопровождая это вдобавок еще брюзжанием, а то почти и руганью. Что ж! Приходится и это терпеть...

Придя домой после обеда, я тотчас ложусь спать и сплю часа два, а иногда и три. Около 8-9 [часов] вечера встаю. Тайком, боясь, что накроют представители электросекции, т.к. пользование плитками строжайше запрещено, варю картофель. Надо еще заранее спросить плитку у соседки, потому что своей нет. И вот у меня готов ужин: кипяток, хлеб, оставшийся от обеда, иногда купленный на базаре, с кусочком сахара и картофель с солью. Брюхо набито, голод не терзает, и я уже рад и счастлив. Сижу до 12-ти, а иногда и до 2-х часов ночи за книгой. Обуяла меня жажда чтения. Перечитываю снова свои книги, добываю всё, что где удается. Хочется так сильно знать больше и больше! Надо думать, это результат одиночества среди ненужных и скучных людей, которые окружают меня ежедневно и с которыми нельзя говорить серьёзно: до такой степени они малокультурны, лишены всякой оригинальности, чужды каким бы то ни было духовным запросам и, наконец, совершенно подавлены житейскими заботами. А.М.Флоренская говорит, что у меня нет семьи, поэтому я и могу легче относиться к тяготам современной жизни. Отчасти это

верно. Но зато у меня нет людей, которые заботились бы обо мне ежедневно и ежедневно согревали бы меня теплотой родственной любви и домашнего уюта.

Я только с Женей Коневым да с Олей Флоренской могу говорить по-настоящему, да и то очень-очень редко. Неудивительно, что так сильно тянет к себе книга. Кто знает, сколько мне еще осталось жить на земле? Очень может быть, что совсем недолго. Так будем же читать и мыслить! И писать... — когда снова появится порыв. Пока он как будто ослабел и затих. Читаю №№ «Печати и Революции». И статьи, и рецензии. Всё любопытно и дает много материала для размышлений. Перечитываю книгу Розанова «Среди художников» СПб, 1914, и критические статьи Ан. Франса «Литература и жизнь», изд. ЗИФ, 1931 г. Перечитываю повести Ремизова, Сологуба, Кузмина. Всё интересно. Всё заставляет задумываться. А милые символисты, кроме того, напоминают мне мою юность со всем чудесным и неповторимым в жизни, но уцелевшим в благодетельнице памяти ароматом ее очарований.

Отличительным признаком первой половины XX века является усиливающийся с каждым годом контраст симфоничности мышления и камерности бытия интеллигентного человека, если выразиться музыкально. Вымирающие интеллигенты мыслят исключительно широко и глубоко. Они не могут удовлетвориться никакими местными и национальными перегородками, являясь гражданами мира в духовном отношении. Мало того, на известных высотах мысль перестает быть геоцентричной и даже гелиоцентричной, устремляясь в беспредельные просторы астрономических галактик и, правда, теряя при этом свою определенность и сама теряясь в звездной пыли... Но всё это очень характерно для нашего разума. Он ищет всё новых и новых критериев, мыслит масштабами огромных, почти непостижимых величин, открывает глубины в самом простом; сложность и насыщенность мировой культуры заставляет его одновременно и тяготиться этим богатым наследием, и жадно искать и находить всё новые и новые сокровища. А рядом с таким размахом и нагромождением вековых богатств — небывалая скудость каждодневной личной жизни, ничтожность маленьких и скучных дел, иной раз бессмысленность или убогая утилитарность повседнев-

ного делания, узкий круг людей, пошлых и неинтересных, среди которых приходится вращаться, обреченность холоду, голоду и безрадостному труду. И вот из этого противоречия великих мыслей, жизненных порывов, поэтических настроений и сурового, тесного кольца будничного существования и подневольной работы складывается душа современного интеллигента. Правда, эти интеллигенты уже вымирают. Они становятся редкостными обломками прошлого, которые тоскуют в своей разобщенности, испытывают всю боль одиночества и сознания, что некому передать иероглифы умирающей культуры. Новая советская интеллигенция резко отличается от них. Есть у неё и свои достоинства, и свои недостатки. О них я когда-нибудь скажу свое слово. А сейчас пожалею лишь об одном: у нее нет этой широты и глубины, которая была свойственна людям старой культуры и придавала им то исключительное очарование, от которого теперь остается только поэтическое воспоминание. Скоро наступят такие дни, когда даже и воспоминание это перестанет быть ощутимым и понятным для людей нового мира, как и произведения мастеров искусства нашей болезненной, но изысканной и трогательной культуры, равную которой трудно найти в предшествующем столетии.

Мечта о синтезе старой культуры со всеми её лучшими традициями и современной, зародившейся с 1914, а особенно с 1917 года, в её наиболее совершенных и установившихся достижениях, эта трагическая и прекрасная мечта тревожит и волнует многих лучших людей нашего времени. Я убежден, что ею был охвачен и Флоренский, стремившийся стать Филоном наших дней, соединив многовековую мудрость и истину с дерзким прозрением будущего и правдой настоящего дня. Увы! Это оказалось ему не по силам. И современность размолола его своими безжалостными колесами... Что же стремлюсь и я идти по тому же пути, не обладая такой эрудицией, как Флоренский, не получив такой старательной подготовки? В своем «Эрмитаже» я соединяю отдельные камешки, подобно усердному мозаисту. Выйдет ли из этого толк? Получится ли у меня единая картина? — Не знаю. Судить будет потомок, может быть, сохранивший преемственность старой культуры, может быть, ставший ей причастным путем открытия её из-под спуда в дни

предстоящего (несомненно, хоть и не скоро) светлого Возрождения? Во всяком случае, я стараюсь сказать всё, что могу. И если мои писания дадут хоть отчасти этому потомку пережить, прочувствовать и продумать всё то, что было доступно мне, и вдохнуть с любовью аромат моей мечты и мысли, я буду счастлив в Елисейских полях, сознавая, что выполнил своё дело на земле.

Как хотел бы я знать, живы ли Бальмонт, Мережковский, Лев Шестов, Муратов, Вяч. Иванов, Борис Зайцев, Бердяев, Булгаков, Карсавин, Лосский, Франк? Где они? Что пишут, что написали? Жаль, что этого, пожалуй, не узнаешь долго, а, может быть, и никогда... Слышал на днях, что будто бы умерли Метерлинк и Р.Роллан. Это для меня потеря родных людей, столь же дорогих, как Мама и Alexander. Надо будет вырвать время, сходить в районную библиотеку и просмотреть журналы «Новый мир», «Красную новь» и «Интернациональную литературу». Особенно последнюю. В ней, несомненно, будут статьи о них, если они умерли. Да и вообще надо просмотреть журналы, а то я совсем отстал от современности и не знаю, как еще теплится лампада культуры среди диких вихрей войны.

5.12.43 г. Ускользает незаметно быстролетное время. Не успеваешь замечать. Точно книгу читаешь: строчками мелькают дни, страницами перелистываются месяцы, года идут перед глазами, как главы привычного повествования. Не успеешь оглянуться — ан и конец! Нет никаких событий и действий. Только внутренняя жизнь по-прежнему сильна, ее ростки пробиваются сквозь каменные плиты житейской необходимости и даже иной раз нежным цветением радуют сердце. Война с ее ужасами идет в стороне. Непосредственная опасность, создававшая трагическую насыщенность каждого дня в конце 1941 года, сменилась реакцией — появилось утомление и равнодушие. Дни стали опять будничными. Нет страхов, но нет и надежд. Волнение исчезло. Наступила каждодневная серая работа, без отрады и почти без смысла. — Только бы пропитаться, просуществовать, уцелеть! И гнусная окружающая обстановка этой чисто животной борьбы за существование, когда махровым цветом распустились все самые отвратительные качества человека, гнетёт душу, привыкшую к философскому

размышлению. Душа жаждет не только тепла и сытости, но и красоты и ясного внутреннего покоя. А этого нет, и вряд ли скоро создадутся такие условия, когда это будет возможно. Воистину vivimus ut edamus, sed non edimus ut vivamus!* Грустно...

18.12.43 г. Сегодня вечером заходил П.Е.Захаров. Говорили о Розанове и на библейские темы. Оба сошлись во взгляде, что по-настоящему надо учиться в зрелые годы. Только тогда человек способен понимать всё, как следует, и глубоко и искренне увлекаться знанием.

Между прочим, Захаров сообщил о трагической смерти Н.В.Дубовой, вдовы нашего директора гимназии. Она шла вечером посреди улицы. Ее сшиб с ног автомобиль. Какие-то две девушки кое-как довели её домой. У ней оказалась рана на виске. Началась рвота, и она вскоре умерла. Ей было больше 80-ти лет. Жуткая смерть.

25.12.43 г. Сегодня весь мир празднует Рождество. И только мы, русские, в стороне. Не знаю, как обстоит дело с переходом на новый стиль в Греции и славянских странах. А нехорошо такое отделение. И давно пора бы русской Церкви «принять» новый стиль. Приняли советскую власть, а за старый стиль держатся, как старообрядцы за «матушку ижицу». Вообще — разъединение христианских церквей и особенно вражда между католичеством и православием — постыдное дело, позор всей мировой истории. Я полагаю, что в этом случае и католики, и православные равно виноваты. Все забыли о духе Христова учения и углубились в мелочи. Житейское (политика) заслонило духовную сущность. И вот результат — налицо. От православия сохранились жалкие обломки. Эта же судьба рано или поздно ждет католическую Церковь. Что же касается церквей лютеранского типа, то они, собственно говоря,— не церкви, а еле скрепленные рационалистическим элементом объединения. *«Слава в вышних Богу и на земле мир»* — поют в церквах. А на земле, война, кровопролитие, ужасы... И христиане — творят всё это! А ни одна церковь не поднимет своего голоса, чтобы властно заявить

* «Живем, чтобы есть, но не едим, чтобы жить» (лат.).— *А.Н.*

о необходимости мира и любви. Наоборот! Церкви все настроены националистически и лишь подправляют и разжигают злобу людей. Грустная и постыдная действительность...

Когда через несколько дней, 1-го января, я буду, по своему обыкновению за последние годы, подводить итоги истекшему году, я скажу от чистого сердца «слава Богу», т.к. наконец я перестал голодать, холодать и скитаться. Я опять в своем углу и могу жить своим трудом, не вымаливая подаяний, как это было, начиная с осени 1941 года. Нет ничего лучше свободы и независимости!

В чем же истина и мудрость, незыблемое счастье, доступное человеку? В разумном и блаженном пользовании данною жизнью. В умении согласовать временные свои дела с дыханием вечности. В кроткой любви к себе подобным и ко всему миру. В чистом познании, в радостях искусства и, наконец, в добрых делах. Кто несет мир, тот будет благословен между людьми и найдет счастье в себе.

Всё хорошо или худо в зависимости от отношения человека. И безбожник может быть кротким и источать благодушие вокруг себя, и подвижник в порыве фанатизма может творить зло. И наоборот. Только тогда будет счастливо человечество, когда научится самоограничению, самопожертвованию; когда вместо множества мертвых законов будет царить один закон любви. Возьмите влюбленных. Разве они способны делать зло друг другу? Разве они не готовы умереть один за другого? И даже те невольные огорчения и страдания, которые вызываются излишней ревностью, не являются ли уже доказательством того, что гармония их любви нарушена, раз самоотвержение заменилось эгоизмом?

Разгадка тайны не в мире, не во вселенной, даже не в человечестве, а в самом человеке. И если человек ступил на стезю совершенства, то он тем самым не только сам получил счастье, но уже источает его из себя другим. Поэтому прежде всего — самосовершенствование, потом уже всякое социальное и государственное переустройство, а потом опять самосовершенствование. И если поглядеть внимательно на жизнь, то так на самом деле и должно быть и даже отчасти и есть. Всё портят только злые страсти отдельных людей!

Я не боюсь умереть, хотя и до сих пор не уверен в том, существует ли так называемый потусторонний мир. У меня нет страха перед грозным Божьим судом. Ибо немыслимо применить к Божеству, если оно есть, качества земных судей и человеческого правосудия. Божество настолько велико и совершенно, что все наши домыслы рассеиваются перед ним, как летний утренний туман в лучах солнца. Если же нет ничего, если же всё кончено со смертью, то предстоит великий покой, непостижимый для нашего разума. Ибо я все-таки согласен с Гёте, что жизнь, полная творческого напряжения, не может кончиться здесь, а будет продолжаться и там во славу мировой гармонии и её непостижимого Творца и Промыслителя. Что же? Придет время, и каждый из нас узнает эту последнюю мудрость земли.

30.12.43 г. За последние дни почти все вечера провожу дома за чтением. Это так хорошо! Перечитал в 3-й раз «Тихий Дон» Шолохова. Очень сильное впечатление — наравне с Тургеневым и Гончаровым, а в некоторых местах не уступит и Толстому Льву. Впервые по-настоящему показаны земляные люди, мужчины-казаки. И за их грубостью и малокультурностью явлена подлинно человеческая, глубокая душа. И сколько красоты — в людях, их жизни, в природе! Слабы только военные и политические моменты. Впрочем, это и у Л.Толстого так же!...

1944 год

2.1.44 г. Вот уже заканчивается второй день нового года. Вчера был у Валентина. Было шумно. Много пили. Я почувствовал себя хорошо среди тепла и по-родственному настроенных людей...

Ночь под 1.1.44 провел дома, разговаривая с П.Е.Захаровым. Так за разговором и встретили Новый год.

12.1.44 г. Редко пишу. Некогда. Много работы, вернее — много времени отнимает работа, сама по себе легкая, но совсем неинтересная, часто даже постылая. Ученики РУ ничего не хотят знать, совсем чужды культурным каким-либо порывам. Если у них и работает голова, то только для того, чтобы украсть, обмануть, а

главное — нажраться. Даже трех человек не найдется в группе, у которых были бы хоть самые примитивные духовные стремления и запросы. Учителя — немногим лучше, особенно молодые. И вот в этом каждодневном окружении обывательщины военного времени я должен проводить большую часть своего времени!

Да и вне этого мира мне мало утешения. Сейчас, по-настоящему, так, как я люблю и привык, разговаривать мне не с кем и негде. И вот сейчас, идя домой от Сашиной мамы, я размышлял среди безмолвных улиц Загорска, освещенных луной, туманно проглядывающей сквозь снежные облака, о своем безграничном одиночестве. Я вспоминал о былых вечерах у Флоренских, о своих беседах с С.И.Огнёвой и «Марком Аврелием», о беседах с Пиковым во время чудесной осени 1932 года, наконец, о моей «малой Академии» 1934-1941 гг. Там и тогда я чувствовал себя легко и хорошо. А по-настоящему я мог бы быть счастлив лишь «на башне» у Вячеслава Иванова или в соответствующем кругу. Такого общества я уже почти не застал, и Бог мне судил быть одиноким в своих самых заветных грёзах и мыслях. Их мог понимать полностью лишь Алексей Спасский. В будущем же это одиночество грозит мне еще в большей степени. Я это знаю и спокойно мыслю о своем обреченном существовании, которое мне предстоит и по сравнению с которым покажется отрадным даже мой период «внутреннего Тибета»...

18.1.44 г. Читаю мемуары Е.А.Некрасовой-Унковской о М.С.Мухановой. Они очень хороши. Из автора, если бы она занялась литературой в свое время, вышел бы отличный писатель-романист. Теперь поздно. Ей уже 70 лет. Она доживает свой век в Хотькове. М.б., летом с ней увижусь. Рукопись доставила мне Т.В.Розанова...

Вчера и сегодня только и разговоров, что о телеграмме из Каира относительно возможности секретного мира между Англией и Германией. Сколько рассуждений и предположений! Мне все прогнозы кажутся проблематичными. Я уверен только в одном: война кончится неожиданно, и результаты ее будут совсем не таковы, как предполагают заправские политиканы наших дней. Так же неожиданным и непредвиденным оказался финал первой мировой войны. И сейчас, возможно, появятся такие новые силы в мире, о которых мы даже не подозреваем.

22.1.44 г. Вернулся из РУ. Там после обеда посидел в комнате завуча. Легкая болтовня о литературе с Н.Я.Мягковым, Б.И.Ходовым и Л.В.Крыловым. Они неглупы, у них есть свои мысли и интересы. Но как все-таки мал и убог их культурный язык! И вкусы — сплошная обывательщина. Как не похожи эти разговоры на те разговоры, которые велись у меня в моей келье с моими друзьями, в доме у Флоренских или в Академии, в «Синоде» с моими друзьями-монахами. Небо — и земля. Как скучно жить сейчас среди современной интеллигенции! Печально оказаться в положении старика-профессора из рассказа Дж. Лондона «Алая чума». А это — моя участь! Сейчас, а может быть, и до конца дней моих...

27.1.44 г. Пишу перед отходом на работу. Во сне видел Елену Евгеньевну Волкову. Она была какая-то темная, похудевшая и потускневшая, хотя не блистала в последние дни своей свободы и наяву. Уж не умерла ли она? Мы когда-то уговаривались, что тот, кто умрет раньше, явится другому и скажет, что есть «на том свете». Но уговор был явиться наяву и сказать. А здесь — только сон и мгновенный, без слов. Или душа ее встосковалась в заключении? Мне искренне жаль ее. При всех ее недостатках в ней были и достоинства: простота, прямота и некоторая доля доброты. Кроме того, она была неглупа и для женщины — достаточно культурна. В наши дни это не часто встретишь.

28.1.44 г. Вчера получил письмо от К.Флоренского. Он встретился на фронте с Б.Мишиным и был рад ему, хотя в Загорске они не были не только дружны, но даже и знакомы (отцы никогда не были близки в МДА). Вот уж поистине «на чужой сторонушке рад родной воронушке»! Сегодня узнал, что умер от туберкулеза шесть месяцев тому назад мой ученик Виктор Васильев. Он учился в 6-м классе вместе с Валентином... Мне жаль Виктора. Он был приветлив со мной, неглуп, и я ему всегда симпатизировал. Как жаль, что всё чаще и чаще уходят те, кого я знал и к кому был привязан! Растет и ширится пустота вокруг меня...

3.2.44 г. 29-го и 30-го января в Москве. Как постарела моя милая Крестная! Боюсь, что недолго осталось ей жить на этом свете. Утомляется она сильно, и то и дело

задремывает, как и моя Мама в последние годы своей жизни. Жалко и тяжело мне будет потерять последнего родного человека. Катя и Борис никогда особенно для меня не были близки. Нет в них чего-то, что душевно роднило бы меня с ними...

Я что-то опять много задумываюсь о проблеме Христа и христианства. Начал перечитывать книгу А.А.Спасского о догматических движениях в эпоху вселенских соборов. Все более и более убеждаюсь, что современная интеллигенция, даже и православная по традиции, в сущности, мыслит и настроена по-ариански. Да это и неизбежно для всякого рационалистически мыслящего ума. Гениальнее всего этот дух выражен в известной книге Ренана. Такие натуры — теисты по существу. Жаль, что я плохо представляю учение унитарианской церкви в Англии. Любопытно, насколько силен в ней вообще элемент традиции церковной, или это попросту — лишь секта. Если бы и у нас была свобода религиозной пропаганды, то, думается мне, сейчас громадный успех имела бы проповедь всяческих сект или таких обществ, как «Армия Спасения», «Христианская наука» теософическое, антропософическое и т.п. Умы изголодались по духовной пище, руководства в этой области нет никакого, и многие набросились бы с жадностью и доверием на первое попавшееся. Поживем — м.б., увидим еще такую картину. Меня подобная перспектива не радует.

Взял у Т.В.Розановой книжку «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу.» Изд. 3-е Михайло-Архангельского Черемисского мужского монастыря. Казань, 1884. Очень интересна. Есть замечательные психологические и бытовые мотивы. Написана простым и часто ярким языком. Зато «Опыты аскетические» Иннокентия мне не понравились. «Одесский Златоуст» кажется мне поверхностным говоруном семинарского пошиба. И мысли у него глубокие, и пафос есть, но всё какое-то неживое, деревянное, скучное... Впрочем, мне не нравился в свое время и Златоуст. Очевидно, такова судьба ораторов — все они хороши, как витии, в живом слушании, а на бумаге — мертво и бесцветно. Недаром мне не понравился и том речей Плевако, которые я читал недавно...

В Москве 30 января я прошелся вечером по Моховой, Кузнецкому и по Театральной площади. Было тем-

но из-за отсутствия света и фонарей, и как-то жутко и мрачно высились громады домов. Заходил в книжные магазины. Везде пустота, даже в букинистических. Есть книги только на иностранных языках, да и то — выбор неважный.

Вечером по приезде зашел к Флоренским. Т.Н.Грушевская (урожденная Бромлей — ее родственники в прошлом негоцианты, не то фабриканты) показывала альбом фотографий времен своей юности. Очаровательные пейзажи подмосковных дачных мест. Среди лиц встретил юную еще Софью Карловну Духовскую, урожденную Тиль. А Грушевская в числе предков имеет еще архитектора Шервуда, родственника известного предателя декабристов. Какая масса иностранцев осела в России! Вот и говори тут о чистоте расы!

8.2.44 г. На днях узнал, что мой бывший ученик Владимир Ключарев, учившийся с Женей К[оневым], с Олей Ф[лоренской], убит на фронте. Жаль бедного, как и Сергея Синяева. И всё опять напомнило о Саше и тоской подернуло мои мысли и чувства.

27.2.44 г. За это время был у меня Лева Володкович с сестрой. Был очень мил и приветлив. Получил письма от М.М.Мелентьева и Е.Е.Волковой. Она, оказывается, жива. В трудовом лагере в Мариинске Кемеровской области. Чувствует себя очень плохо, просит о помощи. Думаю выслать в этом месяце 100 рублей. Дальше видно будет. Жаль ее, а больше помочь — не в силах...

Стихи давно замерли. Слишком много прозы кругом. Она давит и душит меня. Внутри я сберегаю еще запас творческого переживания, и много поэтических переживаний скрашивают мне жизнь, цепляясь на ходу, чаще всего в самые неожиданные моменты и в самой неподходящей обстановке. Но нет охоты и сил сесть и записать. Всё рассеивается, как дым, как утренний туман...

1.3.44 г. В понедельник 28 февраля было -29° мороза. Зима встречает март сурово и хочет напоследок показать себя. Сегодня туман и тепло. В комнате у меня благодать: и топят, и ежедневно подогреваюсь плиткой, хотя это и беззаконно. Но сейчас жизнь сложилась так, что иначе не просуществуешь. Действительно, если окинешь

легким, но острым взглядом то, как теперь все живут, в том числе и ты, то невольно улыбнешься и задумаешься! Все старые устои поколеблены не менее, чем после Октября. И в числе этих, оказавшихся непригодными в дни войны устоев есть и советские, и старые, дореволюционные. Все затрещало и полезло по швам: и семья, и школа, и общественность... Было время — в период паники — и государственность даже грозила крушением. Сейчас как будто сильно утвердился и окреп патриотизм, а вместе с ним и религиозность. Но религия наших дней — холодный формализм, густо насыщенный суеверием. Лишь немногие веруют глубоко. А патриотизм грозит выработать резкий национализм, почти шовинизм. И всё проникнуто самым грубым эгоизмом. Свое брюхо, своя шкура — вот что на первом плане у всех! А о честности, доброте, душевности, интеллектуализме, о всех этих духовных прелестях и говорить не приходится. Это — роскошь, ненужная в наши дни. Это теперь — заумный язык, непонятный подавляющему большинству. Всё это наводит на грустные размышления о сущности человека. М.б., я сейчас сужу поверхностно, и сильно влияет на меня злоба дня. Но все же грустно быть наблюдателем падения человеческого рода и сознавать, что и сам ты увлечен в значительной мере этим убийственным вихрем...

Вчера на базаре, покупая махорку, узнал о смерти бывшего ученика Посошникова. Сколько их погибло! Там же от одной сотрудницы Лаврского музея узнал, что о моей работе «Чертоги»* дал хороший отзыв директор Архитектурной Академии Каргер, просматривавший все наши музейные работы предвоенного времени. Я считал, что мною написана просто популярная заметка для массового посетителя музея, а Каргер выразился, что это — капитальная работа и поставил ее выше всех аналогичных вещей, имевшихся в архиве музея, в том числе выше и работ профессора Зубова, с которым у нас в музее в свое время много носились. Курьёзно!

12.3.44 г. Накануне собрался ехать в Москву. Но почувствовал себя таким усталым, что остался дома. Сегодня взял у Флоренских рукописи В.В.Розанова

* Судьба рукописи не известна.— *А.Н.*

«Юдаизм», «Во дворе язычников», «Возрождающийся Египет» (2 тт.) и «Восточные мотивы». Я их просматривал еще в конце 1941 г. Но тогда было такое нервное напряжение! А сейчас, в спокойствии, я продумаю все обстоятельно. Надеюсь, что они вызовут у меня жажду писать.

5 марта был у Валентина. Он пригласил меня письмом. Говорили вдвоем много и хорошо. В нем не угас прежний человек (до-вузовский), и это делает его снова для меня М[илым] Д[ругом]. Я был почти счастлив. Когда вчера рассказал об этом Оле Ф[лоренской], она заметила: «Ну, вот — начинается у Вас новый цикл жизни». Как она права!

15.5.44 г. Не писал 2 месяца. Тут всё сказалось: и лень, присущая мне, и усталость от тяжелой жизни, и загруженность повседневной работой, и, наконец, какая-то странная апатия, которая за последнее время стала довольно часто овладевать мною. Как-то все становится безразличным, ничто не радует, не побуждает к деятельности. А всякая мелочь становится огромным преткновением. Так, например, отсутствие хороших чернил. Красными я писать не люблю. Никак не могу понять, как в свое время в Академии Варфоломей писал исключительно красными чернилами. Они хороши для заглавий, подписей, вообще — passim*, а не сплошь. Фиолетовых чернил нигде нет. Теперь удалось достать черные. Я уже переписал стихи ими, потом дело дошло и до дневника. Да и лето наступило. Дни длинные. В комнате тепло. И, я надеюсь, писание мое опять наладится...

За последнее время у меня бывают странные приступы какого-то оцепенения. Всё во мне замирает — и мысль, и чувство. Становится холодно и бесприютно. В такие минуты не радует природа, и безразличными кажутся самые любимые шедевры искусства. Даже о своих любимых друзьях думаешь как-то равнодушно, лишь умом сознавая всю свою близость с ними. А сердце молчит и каменеет. В таком состоянии я не чувствую Бога ни в себе, ни в окружающем мире. Вся Вселенная от макрокосма до микрокосма кажется мертвым бес-

---

* Кое-где (лат.).— *А.Н.*

смысленным механизмом, противным и отвратительным своей бесцельностью, непостижимостью, а главное — бессердечностью. И человек в ней — жалкая затерявшаяся букашка, беспомощное существо, какая-то обреченная игрушка в руках слепой внеразумной и абсолютно внечеловечной Судьбы. В такие часы бывает очень тяжело одиночество. Я иду куда-нибудь, только бы не оставаться с самим собою, не дойти до предельной тоски и отчаяния. Мне думается, что на основе таких мыслей и переживаний, которые, конечно, древни, как мир, и создавался пессимизм Экклезиаста и мрачная философия буддизма. Может быть, подобное состояние будет у меня перед смертью? Тогда, пожалуй, легче будет расставаться с жизнью... Во всяком случае, оно очень несладко. И я от него излечиваюсь лучше и скорее всего лишь сном. А пробуждение, как я уже говорил неоднократно, у меня почти всегда бодрое и радостное. *«Я с каждым утром возрождаюсь, как в дни весенние природа...»*

Неужели эти все мысли и чувства — только лишь причудливая и опять-таки бессмысленная с точки зрения человеческого разума игра мельчайших частиц материи? И за нею нет ничего, подобного Богу, о котором гласят все религии, поют песни поэтов, говорят грёзы художников и воздыхают томительные раздумья мудрецов всех времен и народов? Непостижимая тайна! Никто тебя не разгадал, а, может быть, и никогда не разгадает!

23.5.44 г. Сегодня приобрел «Историю государства Российского» Карамзина за 300 р[уб]. у А.И.Леман. Заплатил 150 р[уб]. Остальное после 3-го июня. Это самая моя крупная покупка за дни войны. Очень рад, т.к. давно хотелось иметь ее. Это повествование нашего «последнего летописца и первого историка» пленило меня, когда я начал впервые читать его вдумчиво и серьезно, работая в Музее Лавры. В нем, наравне с историком и художником, чувствуется и глубоко мыслящий человек. Этого синтеза нет даже у Ключевского, тем более у Сергея Соловьева, который мне всегда был несимпатичен своим педантизмом и наукообразностью метода, свойственной его эпохе. Во всяком случае, это — «сокровище нетленное», как и словарь Дьяченко, который я тоже приобрел во время войны. Жаль только, жаль до бесконечности, что мой милый Саша не разде-

лит этой радости, просматривая эти книги со мной. Слава Богу, что от Георгия идут письма и он благополучен. Хоть бы он вернулся поскорее! И только бы судьба сохранила мне его, как Евгения и Валентина...

1.6.44 г. Вчера беседа с М.Я.Александровым. Все-таки он очень ограниченный человек, хотя в нем есть проблески ума и, кажется, большая доза мягкости и доброты. Последняя — типично обломовского порядка. Взял у него просмотреть «Золото в лазури» А.Белого (М., 1904, изд-во «Скорпион»). Сладко было снова увидеть любимую книгу, которую с таким восторгом я взял в свои руки впервые четверть века тому назад в студенческой библиотеке МДА! Каждая книга, каждое творение символистов для меня — родной голос, любимая душа, сияющий лик иного лучшего мира среди моего тусклого житья-бытья.

Сегодня ждал Ath.* — и напрасно. Грусть, усугубляемая сумерками дождливого дня.

4.6.44 г. Троицын день. Но к полудню стало хмуро, и чуть накрапывает дождь. На базаре купил нарциссов (по 2 рубля за штуку). Они сильно пахнут. Этот аромат мне что-то напоминает, но что именно — не могу себе уяснить. Идя обедать в РУ, встретил Д.Е.Захарову, возвращающуюся от обедни с букетом ландышей. Несмотря на многое, что мне в ней не нравится, в этот момент, в светлом платье, с голубым камнем на тонкой золотой цепочке и с ландышами, она мне как-то слегка напомнила картину Сомова «L'echo des temps passes»**.

Вечером заходил к Валентину, но не застал: он уехал в Москву с женой. Его мама сказала, что теперь он приезжает очень ненадолго. Потом был у Жени К[онева]. Выпили рислингу, покурили, поговорили. Я прочитал несколько стихотворений Бодлера в переводе П.Я. Если бы это были переводы Брюсова или Вяч. Иванова. Но даже и в переложении П.Я. эти стихи меня пленили. Потом патефон. Подбор пластинок меня не удовлетворил. При прощании получил 2 нарцисса и ветку сирени.

---

* Афанасьев Ю.— *А.Н.*
** «Эхо минувшего времени» (фр.).— *А.Н.*

5.6.44 г. Сегодня серый день. Дважды шел сильный дождь, но без грома. Совсем не в стиле Духова дня. После уроков у А.И.Леман. Она собирается перебираться в Москву к дочери. С мужем по-прежнему в разлуке и в размолвке. Я постепенно переношу ее книги к себе, по ее же просьбе. Сегодня перенес 5 тт. сочинений К.Леонтьева. Там интересны статьи из сборника «Восток, Россия и славянство». Слухи о том, что англичане и американцы высадились где-то в Европе под прикрытием 140 тысяч аэропланов... «Нас в Европу не пустят», — говорит А.И. И слава Богу... [далее текст залит чернилами. — *А.Н.*] Только бы скорей война кончилась. Вернулись бы наши близкие с фронта, а в том числе и мой милый Жорж...

7.6.44 г. Вчера — известие об открытии «2-го фронта». Воскресный слух оправдался. На побережье Франции, между Шербургом и Гавром, высадили десант с 4.000 кораблей под прикрытием 11-ти (а не 140-ка) тысяч самолетов. Как все радуются! Я вчера пошутил: сегодня в Берлине сразу — и солнечное затмение, и землетрясение.

Читаю Леонтьева «Восток, Россия и славянство». Много интересных мыслей. Некоторые его идеи сделали бы честь Шпенглеру...

12.6.44 г. В воскресенье утром начал было перетирать книги, но приехал Боря. Он привез ботинки. Стоят 500 рублей. 60 рублей уже уплачены. Остается долгу Кате 440 рублей. Значит, весь июнь и пол-июля буду сидеть без молока, без сахару, без дополнительного хлеба. Едва хватит денег на табак. Зато я обут. И это — уже счастье. Я даже почувствовал вдруг днем бодрость в связи с этим приобретением. Вечером был у Валентина. Он был очень ласков. Говорили много, но преимущественно о пустяках. Рассказывал о своем сослуживце Масанове, авторе «Словаря псевдонимов». Он занимался вопросом о литературных мистификациях. По его словам, известные «Мемуары Вырубовой» сочинены А.Толстым и профессором Щеголевым; «Петр I» А.Толстого будто бы написан в значительной степени Чапыгиным. Последнему я не верю: стиль романа типично толстовский. Затем он утверждает, что какая-то глава 2-го тома «Мерт-

вых душ» написана каким-то профессором-гоголиспецем. Имени его Масанов Валентину не называл. Все это очень любопытно. Рассказывал Валентин кое-что из нравов десантников, их столкновениях с паращютистками. Мало радостного во всём этом. Жуткие гримасы войны. Нескоро и нелегко будет отрезвляться народ от военного дурмана.

Я перечитал на днях «Лже-Нерона» Фейхтвангера второй раз. Опять сильное впечатление. Варрон и Теренций мне близки многим. Особенно Варрон. Любопытен его конец. Жизнь все-таки оказывается сильнее всего. И даже после крушения всех планов и, казалось бы, в момент полной безнадежности жизненный инстинкт побеждает позыв к самоубийству.

2-й фронт в Европе развертывается благополучно. Вчера известие о прорыве нашими войсками финского фронта. Сегодня в газетах сообщение, что финны разрушили и сожгли «Пенаты» Репина. Сколько бессмысленности и жестокости творит война! Я невольно думаю о Жорже. Как хочется видеть его и говорить с ним... Над Москвою, говорят, еженощно летают сторожевые аэростаты. Неужели еще надо ждать воздушных нападений? А может быть, и отравляющих газов? Какие ужасы таит будущее? На радостные сюрпризы не особенно приходится рассчитывать...

16.6.44 г. Был на базаре, покупал сахар и как-то против желания (не было свободных денег) купил сборник «25 лет исторической науки в СССР». Изд. Академии Наук, 1942 г., за 10 рублей, хотя номинал 16 рублей.

Неожиданно в 6 час. явилась Н[аталья] И[вановна] Флоренская, расстроенная, чуть не в слезах, и сказала, что В[асилий] П[авлович] сильно болен брюшным тифом, у него бред, он избил маму, три женщины с ним никак не могут справиться, просила придти помочь. У Флоренских я застал ужасную картину. В[асилий] П[авлович] бредил под впечатлением недавно прочитанной им книги Эренбурга «Трест ДЕ». Он говорил связно и почти логично, но в глазах светилось безумие. Ему казалось, что фашисты хотят отравить СССР тончайшей химической пылью, которую они будут рассеивать с самолетов. Только у него есть средство спасти всех. А его объявили больным и нарочно отравляют псевдолекарст-

вами и обессиливают подкупленные врачи. Даже родных — мать и жену он считал наполовину одураченными, наполовину подкупленными. Озлоблен был против них чрезвычайно, бранил их, грозил убить. Сначала он мне доверился и умолял в память его отца помочь ему спасти СССР, т.е. дать возможность бежать. Просил съездить в Москву в НКВД и сообщить там обо всём, что с ним делают фашистские агенты, чтобы из НКВД приехали и освободили его. Потом неоднократно порывался выскочить в окно или вырваться в дверь. Размахивал железной ложкой, угрожая ей всем; потом делал вид, что расстреливает людей из револьвера... Под конец он перестал верить и мне. Всё это страшно действовало на нервы, тем более, что приходилось поддакивать его словам, чтобы успокоить хоть немного. Я советовал домашним непременно отправить его в больницу, но они боятся этого сделать: «там его бить будут». Какая дикость! Ждали приезда врача Ю[лии] А[лександровны] Флоренской, чтобы сделать, как она решит. Боялись и связывать его: «это вредно отзовется на сердце». А он хотел разбить окно и, прорвавшись сквозь разбитые стекла, бежать к зданию НКВД, находящемуся на той же улице, что и их дом...

К вечеру он немного затих, так как, очевидно, наступило изнеможение. Когда я пришел домой, то меня трясло от возбуждения. Жутко и тяжело видеть умного и корректного человека, когда он несет дикий вздор и грубо ругается; любящего сына и мужа, когда он проклинает мать и жену и бьет их...

Невольно является мысль: куда в это время девается душа человека?

Достаточно изменившегося давления крови на мозг, повышенной температуры — и весь духовный облик человека искажается до неузнаваемости. Неужели это — подтверждение для материалистической гипотезы? И все же мне кажется, что не все духовное погибло в таком человеке в такой миг: что-то порой сознательное проблескивало на миг. И строй речи был совершенно правилен, и умозаключения последовательны. Только основа всего была болезненна, а поэтому при всей правильности решения результат задачи выходил нелепый. Если бы не было души и ума, то все было бы совершенно бессмысленно и бессвязно.

Впрочем, я никогда не бывал в сумасшедшем доме, и это — первый случай, когда я видел больного с явно потрясенным сознанием. Все читанные книги на эту тему, однако, подтверждают мои соображения. Как художественные произведения, так и статьи и исследования по психологии и психиатрии. Не желал бы я быть врачом психиатром...

28.6.44 г. На днях в Ильинской церкви было молебствие о победе. Служили на открытом воздухе. Была масса народу. Много приезжих из деревень. Отец Сергий (быв. живоцерковный епископ) сказал отличную проповедь, м.б. даже слишком интеллектуальную для теперешних «православных». Все это слышал от А.И.Леман. У нас был педсовет, и мне не удалось видеть этого любопытного зрелища.

Василий Павлович Флоренский в больнице. С ним — его жена. Она ходит за ним. У него сыпной тиф. Слава богу, что я от него не заразился. Ему легче (видел на днях А[нну] М[ихайлов]ну)...

3.7.44 г. Сегодня был у А.И.Леман. Она мне подарила католическое распятие, а вчера Мадонн — Боттичелли и Лучиано. Теперь у меня все стены в картинах. Сегодня днем дважды шел дождь. Вечер ясный с оранжевым солнцем. В комнате у меня очень уютно. Вчера и сегодня набрал много доннику. Он сушится в вазе и пахнет, смешиваясь с ароматом жасмина и роз.

А в политике всё победы! Красная Армия стремительно идет, бьет и гонит немчуру. Как это отрадно! Уже гонят обратно стада в освобожденные местности, откуда их эвакуировали в 1941 году. Как грустно и печально было их видеть тогда, и как радостно теперь! Скорей бы конец!...

10.7.44 г. Сегодня сидел на бульваре с З.Д.Вишневской и М.М.Емельяновой. Разговаривали и курили. Пессимизм З.Д. относительно будущего.

Сейчас у меня в комнате солнце. Много цветов. Опять розы и жасмин. Затем красные лилии, ромашки с розовым пионом и, наконец, Иван-да-Марья в окружении розовых кашек. В вазах сушатся лепестки роз и цветы донника. Вместе с ветками мяты в букетах они дают

пряный и сладкий аромат, особенно по вечерам. Мне это нравится. Вчера купил на базаре «Бесы» и «Подросток» Достоевского в 2-х тт., в переплетах — 50 рублей. Затем марксовский однотомник Тютчева, тоже в переплете — 25 р[уб] и «Адольфа» Бенжамена Констана в изд. Некрасова (за 15 р[уб]), которого подарил Ж.Коневу.

12.7.44 г. Вчера выпускной вечер РУ в городском летнем театре. С 7-ми ожидание тянулось до 10 часов вечера: не появлялось начальство из горкома и от завода. Сначала фотографировались с учениками в саду, потом сидели, скучая, в театре. Нам дали первый ряд. Почет учителям оказан. Однако на выпускной обед было приглашено только наше начальство. Меня это нисколько не обидело и не огорчило. Меня не привлекает общество малознакомых и совсем незнакомых людей, притом в большинстве совершенно не интересных для меня, т.к. это — люди не моего круга. У них была солидная пьянка, т.к. сегодня наше начальство сонно, с оплывшими лицами и т.п. Около десяти началось торжественное заседание. Стол был покрыт рытым малиновым бархатом, на нем было 2 красивых вазы с хорошими цветами. Остальное ординарно. Большой портрет Сталина, недурно исполненный; гирлянды из полуувядших ромашек и колокольчиков имели жалкий вид. Умнее было бы сделать их из ельника и расцветить бумажными цветами. Издали это было бы эффектнее. Не сумели красиво расположить знамена. Их было шесть, и они стояли по бокам портрета, жалко обвисая и скрыв свое шитье. Нет вкуса у наших провинциальных устроителей торжеств! Доклад завуча Н.Я.Мягкова шел под грохот грома и шум дождя. Даже в первом ряду я не все слышал. Кое-где потолок протекал, и на сцену капало. Это уж было совсем некрасиво. Гроза разразилась сильная. Я сидел в белом костюме и думал, как я пойду домой, если она не прекратится. Потом был концерт силами артистов красноармейского ансамбля песни и пляски. Недурно пели и изумительно танцевали 2 красноармейца русский танец. Была в них нечеловеческая легкость и удаль исключительная. Прямо вихрь какой-то.

Концертом я остался доволен. Во время концерта из-под эстрады выползла маленькая ящерица и ползала около первого ряда, а еще большой черный таракан. Это было

забавно. Публика вела себя неважно, шумела и во время аплодисментов многие свистели, хотя исполнение было хорошее и большинству, по-видимому, нравилось. Но у нас не могут, чтобы не похамить. Как это противно!...

16.7.44 г., воскресенье. В среду был на именинах у П.Е.Захарова. Скучно. Сразу чувствуется, что это — люди не моего общества, не моего стиля. Несмотря на интеллигентность — все-таки налицо малая культурность. Нет перца, остроты.

Как-то все серо, пресно, точно собеседование учителей начальных школ. Ни на грош оригинальности. Все меньше и меньше становится людей, которые были бы приемлемы для меня. Невольно грустно вздохнешь, когда подумаешь о «средах» Вяч. Иванова...

13-го июля ходил в МООСО, читал там лекцию о Пушкине (за 50 р.). Старые впечатления: милая природа вокруг монастыря и скучные, какие-то насквозь пропыленные люди (учителя). Курсанты-инвалиды очень молоды. Лекция им понравилась, хотя читал я неважно, т.к. до полдня полол огороды с учениками РУ и сильно устал. Вечером заходил к Жене Коневу. Слегка с ним поговорил. Прежние наши задушевные разговоры как-то незаметно отошли в сторону. Очень он устает и полон злобою дня. А я стою в отдалении от этой кипучей, но совершенно чуждой и неинтересной жизни. Слишком я — мечтатель, не от мира сего. И моё — не то, что людям сейчас жизненно необходимо...

24.7.44 г., воскресенье. М.Н.Гребенщикова подарила мне книжечку стихов О.Хайяма. (Экземпляр, подаренный мне Жоржем, затерялся, к сожалению.) Я с удовольствием их перелистал. Перечитываю также «Среди художников» Розанова и «Столп» Флоренского*.

25.7.44 г. Как скучно общество наших учителей! Они даже и не сознают, насколько они малокультурны и даже вовсе некультурны, не представляют себе, какое может быть интересное общество вне их пошлых разговоров! Добро бы житейские одни заботы их загружали... Нет, у них есть свободное время, и они его заполняют пустой болтовней, сплетнями, вульгарным кокет-

* Флоренский П.А. «Столп и утверждение истины». М., 1914. — *А.Н.*

ством и т.п. Просто вянешь как-то в их кругу. Вчера вечером был у Флоренских, разговаривал с В[асилием] П[авловичем]. Раньше он мне казался неглубоким человеком, а теперь, на фоне нашей педагогической суеты, мне его беседа показалась очаровательной!

4.8.44 г. Нашел листы с заметками о символизме.

Символизм, как и всякое другое органическое явление, строя и углубляя свое мировоззрение, неизбежно обращается к прошлому, поднимает вековые напластования и прежде всего и сильнее всего перекликается с античностью. Хотя родственная близость с той или иной «сумеречной порой», казалось бы, должна была соединить символистов прежде всего с романтиками XX в., с людьми trecento и quatrocento в Италии или с александрийской культурой, что и подчеркивалось неоднократно в критической литературе, тем не менее основное и самое глубокое устремление символизма обращено, в сущности, к античному миру, как это ни странно покажется на первый взгляд. Если декаденты больше всего ценили романтику Средневековья и всякого рода экзотику и связанную с ними фантастику, то символисты, в основном, тяготеют к античной ясности, несмотря на собственную темноту и недоговоренность. Эта ясность предстоит им как идеал где-то в глубине, до которого надо с трудом добраться. Они не мыслят эту ясность как некую рассудочность, а как некое чувство внутри себя, интуитивно осознаваемую одновременно с данностью вещей и явлений мира. Но путь к ней лежит через «леса символов». Итак, через пестроту и туманности романтизма символисты неизбежно приходят к Античности, исходя из нее и ею преодолевая наслоения христианства (теория Ницше). Ею проникнут в значительной степени весь французский символизм, не порывавший, таким образом, с наследием классического века. Среди русских символистов духом античного миросозерцания проникнуто полностью творчество Вячеслава Иванова и Валерия Брюсова. Сильно его влияние и у других символистов. Во всяком случае, сюда можно вполне отнести замечание Томаса Манна: *«Поистине тот лишь сын Европы, кто в лучшие свои минуты умеет сердцем обращаться к Элладе»* (Собр. соч., т. VI, 1938 г., с. 229). Основное, что черпает символизм в заветной сокровищнице Ан-

тичного мира — это радость жизни, любовь к миру во всем его многообразии, ясность и красота, непосредственные связи с миром и, вместе с тем, — острый скепсис при соприкосновении с великими проблемами бытия и чуткое прислушивание к глухим и трагическим голосам седой древности.

Проблема трагического оптимизма Ницше и ясный гуманизм Р.Роллана, чисто александрийский скепсис А.Франса и пирроновский Льва Шестова, кристальная ясность и сухая строгость Валерия Брюсова и мудрая углубленность Вячеслава Иванова, восторженное приятие жизни Габриэля д'Аннунцио, легкий гедонизм и вечерняя грусть М.Кузмина — всё берет свои истоки из водоемов Античности...

6.8.44 г. Отдежурил в РУ сутки. Ночь почти не спал. Страшно устал. Зато прочел книгу Дарского «Чудесные вымыслы в поэзии Тютчева» и написал несколько страниц для «Эрмитажа». В РУ новости: сегодня сняли с работы шефа-повара и хлеборезку — за кражу продуктов. Все очень довольны, т.к. в столовой постоянно не додают порций, а хлеборезка была вздорная и скандальная баба...

9.8.44 г. Думал о стихах Хлебникова. О самом филологическом и математическом методе его. Чувствую, что в стихах он столь же филолог, сколь и математик. И если первое неплохо (как оно удавалось Вячеславу Иванову), то второе для стиха губительно. А Хлебников и самую филологию строит по математическому принципу. Он с флексиями, особенно с суффиксами, да и с корнями и префиксами экспериментирует без конца, точно он имеет дело с теорией соединений. А это не проходит безнаказанно. Так может поступать народ. Конечно, в народе отдельные лица пытаются создавать новые слова, особенно путем использования различных аффиксов, но народная практика избирает наиболее удачные из этих экспериментов, а литературная и разговорная традиция закрепляет. Поэт может только участвовать в этих экспериментах, тогда его творчество — лишь лабораторный материал для иного, более сильного и одаренного поэта. Таково положение Хлебникова. А тот поэт может синтезировать на основе проделанного народом и предшест-

венниками-поэтами материала. Он завершает и канонизирует, и его творчество — создание образов совершенства. Такова роль Пушкина.

Вообще же оголенность математических приемов и исключительность математического принципа в поэзии, да и во всем искусстве, опасны и вредны. Они — одновременно и результат рационалистического отношения к жизни и искусству, и почва для укрепления такого исключительного рационализма. Тогда в искусстве иссякают родники жизни...

10.8.44 г. Небо безоблачно. Солнце. Тепло. А у меня еще грипп. Насморк и кашель не прошли. Только стала отделяться мокрота. Боюсь, что оглохну на правое ухо, как это обычно бывает со мной в таких случаях. Утром настроение бодрое, а вчера вечером хандрил. Чтобы разогнать тоску, пошел к Флоренским. По дороге завернул к линии, чтобы нарвать донника для В[асилия] П[авловича]. Случайный разговор с женщиной о «биндюжниках» (по поводу ее песенки о Косте-моряке). У Фл[оренски]х рассматривал книги и был доволен. Взял прочесть «Воспоминания» Д.Н.Овсянико-Куликовского, изд. «Время», П., 1923., книгу А.И.Менделеевой «Менделеев в жизни», изд. Сабашниковых, М., 1928, и VIII выпуск «Русской литературы XX века» под ред. проф. С.А.Венгерова. Последний я читал, но хочется снова перечитать автобиографию Вяч. Иванова и статью Зелинского о нем. И вернувшись от Фл[оренски]х в 1 час ночи, сидел и читал до 2-х с половиной часов. Сколько понятного, близкого и родного во всем этом для меня!

Сейчас иду в РУ. Думаю, что увижу Юрика*. Первая мысль по пробуждении была о нём, о его здоровье и состоянии духа.

15.8.44 г. На днях слышал, что идут разговоры о том, что Москва перестанет быть областным центром, останется лишь столицей. Все областные учреждения переносятся в наш Загорск. Будет большая Загорская область и еще другие вместо Московской. Не знаю, какие блага нам это принесет...

---

* Афанасьева.— *А.Н.*

В понедельник была у меня А.И.Леман. Вместе пили чай. Заглядывала Т.В.Розанова. И еще, оказывается, заезжал Овитовский с дочерью, но без меня. Мне об этом сказала соседка. Желал бы я его теперь повидать.

22.8.44 г. Перечитываю понемногу «Столп» Флоренского. Изумительная книга. Огромные богатства мысли и созерцания. И в то же время неприятный привкус не церковности, а церковщины, поповщины, порой почти вульгарной, которая затемняет глубокую религиозную тему и даже опошляет. Несимпатичны рассуждения об «интеллигентщине». Я ею не болен, она мне самому не нравится, но здесь, у Флоренского, выпады против интеллигентщины, которую он часто идентифицирует с интеллигентностью и с интеллигенцией, меня раздражают. У меня, как я давно уже подметил, сильно развит дух противоречия. С безбожниками я становлюсь верующим, с фидеистами и ханжами — атеистом. М.б., это — признак диалектического ума? Я всегда хочу истину видеть со всех сторон, чтобы в себе создать если не синтез, то хотя бы иллюзию этого страстно желаемого и абсолютно необходимого для меня синтеза. М.б., поэтому меня влечет к самым разнообразным людям. И мои знакомства в самых несходных кругах общества, моя способность с народом говорить на его языке и все-таки оставаться самим собою, м.б., оттуда же? По-настоящему я увлекался беседой и был всецело под обаянием человека только в общении с Алексеем (всегда), с Пиковым и Валентином (изредка) и с Флоренскими и Софьей Ивановной (очень часто). Там бывали случаи, что я готов был забыть и потерять себя. В остальных случаях было интересно, иной раз увлекательно, но я стоял в стороне, даже вверху.

Читаю статью Леонтьева «Средний европеец, как идеал и орудие всемирного разрушения» (собрание сочинений, т. VI). Изумительно предсказано многое, что теперь только стало явью. Вот доказательство гениальной силы мыслящего человека и вообще человеческого разума. Одновременно это же доказывает сверхчеловеческие возможности этого разума. И глубоко неправ Флоренский, когда нападает на интеллектуализм. Одна интуиция — нема и бессловесна, как, впрочем, один разум — близорук, а то и слеп. Только сочетание их, гармоническое взаимодействие дают дивный плод познания...

23.8.44 г. Перечитываю для отдыха «Восстание ангелов» Франса. Прелестная вещь. Думаю о прочтенной статье К.Леонтьева. Много глубоких и глубоко верных мыслей. Но стиль его мне не нравится. Что-то фельетонное. Нет в нем остроты Розанова, глубины и узорчатости Флоренского. Я объясняю это порой безвременья, когда он писал. Как ни силен талант, а всё же эпоха кладет на него свой отпечаток. В данном случае — отпечаток серости...

На днях был у Н.А.Чербовой. Как она удивилась, когда я сказал ей, что купил себе «Историю» Карамзина.— «На что она Вам?» — спросила она с самым наивным недоумением. O sancta simplicitas!*

1.8.44 г. Перечитываю Бальзака. Он очень увлек меня. Переписываю свои стихи за годы войны. И они мне теперь нравятся больше, нежели тогда, когда я их писал. Любопытно: больше всего стихов в то время, когда я жил в Скиту или ежедневно ходил туда. Природа — истинная моя муза. Только около неё я постоянно вдохновляюсь. А сейчас, когда я за все лето только 3 раза был в лесу по-настоящему, так мало стихов.

4.9.44 г., понедельник. Вчера был в Москве. В вагоне разглядывал лица. Какое множество утомленных и вконец истомленных людей! Очень редки веселые и жизнерадостные лица. Но есть и такие, следовательно — есть и такие люди, которым сейчас хорошо живется. В дороге пытался читать «Заволжье» А.Толстого. Много раз читанная книга мало привлекала, хотя кое-где остроумные словечки и иронические зарисовки вызывали у меня улыбку. Всё же больше глядел в окно, на пейзаж, на маленькие домики, окруженные садами, огородами. Почти нигде никаких цветов, всё картофель! Знамение времени! По-прежнему мечтал о завидной участи — иметь свой маленький домик с садиком и по-прежнему горько сознавал, что этого у меня никогда не будет, как никогда не будет того счастья, о котором я думал и грезил с детских лет...

8.9.44 г. На днях был у меня М.М.Мелентьев. Интересно поговорили за чашкой чая. Стыдно мне, что он,

---

* «О, святая простота!» (лат.).— *А.Н.*

гость, угостил меня, а у меня, хозяина, кроме чая, ничего не было. Вот такое общество по мне. Т.В.Розановой, к которой он приезжал, дома не было. Она по обыкновению устроилась в больницу. Он съездил к ней туда...

11.9.44 г. Вчера ездил в Москву. С радостью получил перелицованные брюки: есть что надеть осенью и зимой! Как теперь тяжел вопрос об одежде и обуви... Мои галоши протекают, и нет денег, чтобы отдать залить. Перечитываю 1-й том мемуаров А.Белого. Прежние чувства: и сержусь на автора за его несправедливости, и люблю его за искренний порыв и огромную глубину мыслей и чувств. На днях с удовольствием пересматривал иллюстрации в книге «К.А.Сомов» издания «Общины св. Евгения». Любопытен разговор вчера в вагоне по дороге из Москвы со студентом-техником, читавшим М.Пруста. Как мало знает, как мало читала и как неинтересно мыслит, чувствует и живет современная молодежь! Поистине это — сплошные нищие духом. Не знаю, какого царствия небесного они будут достойны...

14.9.44 г. Переписал все стихи военной поры. Постепенно возвращаюсь к «Эрмитажу». Сейчас пишутся только разные размышления. И они мне самому кажутся скучными и нудными. Нет сил повествовать о прошлом. Как-то ослабела острота мысли. Вернее — ослабели способности выразить ее словом, т.к. не с кем разговаривать так, как я люблю и привык. Кругом — только обыватели.

22.8.44 г. Взял у О.Н.Виноградовой для мамы Жени Конева «Сагу о Форсайтах» Голсуорси. Пересмотрел сам кое-какие места. Люблю я эту вещь. В ней есть чисто английская сдержанность того хорошего тона, о котором теперь у нас почти никто не имеет даже самого малого представления. Да, можно фрондировать, как это делает Олдингтон в «Смерти героя» и девуалировать Старую Англию, но есть в ней своеобразное очарование, которого не отнимешь никакими сарказмами. И его-то и показывает Голсуорси. Даже Сомс, такой неприятный в первой части, во втором томе вырастает в большую фи-

гуру, которая буквально возвышается над всеми его окружающими суетящимися людьми. Неужели это только старость его сделала таким? Да, видно, в каждом возрасте есть своё. В молодости — цветение, пахучесть, порыв. В зрелости — сила, творчество, ум. В старости — ясность, примирённость, мудрость, величие. Счастлив, кто все это испытал в полноте!...

27.9.44 г. Сегодня после обеда ездил с Юрочкой в Абрамцево. Погода дивная. В лесу так хорошо. Когда мы сразу после вагона вышли в еловую чащу, то нас охватил смолистый сумрак и шум колеблющихся вершин. А потом пошли нестеровские овражки в золоте березок с перемежающимися огоньками осин. Травы порыжели. Земля сухая. И все сверкает, залитое желтым светом солнца, еще более золотится от осеннего одеяния дерев. Ни души. Было так легко и ясно, как давно не бывало. И только где-то в глубине ныла рана: мысль о Саше. С ним я привык любоваться этой красотой и о нем я думал в этих самых местах осенью 1941 г., когда в конце августа, только что проводив его в армию, я ездил в Абрамцево, пытаясь устроиться в тамошнем госпитале.

Абрамцево кое в чем изменилось. На доме прибита мемориальная доска, гласящая о пребывании в нем Репина. Мне стало досадно, что нет упоминания о том, кому принадлежал дом и кто вообще в нем бывал. Имена Аксаковых, Гоголя, Мамонтовых, Врубеля, Серова, Васнецова, Нестерова, Антокольского, Поленова, Якунчиковой точно забыты...

Церковь завалена внутри, как и соседний склеп. Ценности изнутри увезены в Лавру, как и все музейные экспонаты. Об этом мне сказал Смирнов, бывший директор музея. Он доживает свой век в домике неподалеку. Печально было смотреть на дряхлого, кашляющего старика... Мне подумалось о предстоящей своей участи. Невеселые мысли. У этого есть, по крайней мере, дом, своя семья. У меня нет этого и не будет.

Вернусь снова к своим впечатлениям. Итальянский барельеф снят со стены склепа. Врубелевские изразцы кое-где побиты или вынуты (то же и на «врубелевской скамье»). Избушка цела. Вся исписана. Я не нашел своих прежних надписей. Не нашел ни одного знакомого имени прежних лет. Около избушки деревья порядком

повырублены. Одна из каменных баб при въезде в парк свалена, и голова отделена от туловища. Уходя из парка, я поцеловал ту каменную бабу, что стоит около избушки. Юра последовал моему примеру. Мне казалось, что я прикладываюсь к самой седой древности, и из полуобозначенных губ грубого каменного лица в меня входит струя тысячелетий. Грустно видеть разрушение и запустение. Печально жить в прошлом, когда настоящее сумрачно, а будущее совсем закрыто мраком неизвестности.

На обратном пути набрали букет папоротников и красных и желтых листьев. Шли осиянные закатными лучами. На перроне станции встретил бывшего своего ученика М.Богданова, теперь художника и архитектора. Он ехал с этюдов. Видел незаконченный его пейзаж. Недурно...

Перечитываю в n-ый раз «Леонардо» Мережковского. Как он мне близок теперь! Помню отчетливо свои первые переживания при чтении этого романа в 16 лет. Но надо порядочно пожить на белом свете, испытать и радость, и печаль, особенно последнюю, которой так много в каждой жизни, чтобы произведение художника говорило тебе множеством голосов и будило в тебе самые глубокие и заветные чувства. Как печальна жизнь! Как одинок мыслящий и чувствующий красоту человек! Сколько грусти и разочарований накапливается с годами! И как трудно и все же хорошо — жить!...

4.10.44 г. Сегодня с 7 до 19 ч. дежурил в РУ. Закончил «Просторы и Пределы» — главу для «Эрмитажа». Погода весь день сырая, сеял мелкий дождь. На улице грязно, но тепло. К вечеру разведрило. Проглянуло ненадолго красное закатное солнце, а сейчас (8 ч. вечера) светит полная луна из-за облаков — тоже красная...

Вчера вечером узнал об аресте П.Е.Захарова. Сестра его Дора в отчаянии. После этого пошел на именины к сестре Юрочки. Было оживленно, и я совсем забыл о несчастии Захаровых. Что это, дурно или нет?

Сейчас пришел с дежурства. Электричества нет. А спать как будто не хочется, хотя спал я эту ночь только 5 часов. Раздумываю: сходить к Валентину или нет? М.б., он приехал. Но идти лень, галоши из заливки еще не получил, а идти в старых дырявых галошах и ботинках неохота. Но и сидеть дома с коптилкой тоже невесело. М.б., и пойду...

13.12.44 г. Этой зимой я прочел новые главы из 3-го тома «Петра I» Алексея Толстого. Они хороши и доставили мне радость. Прочел роман Вяч. Шишкова «Емельян Пугачев». Посредственно. Очень многие страницы напоминают соответствующие из романов Данилевского. Иногда кажется, что это почти списано — до такой степени сходен сюжет, типы и даже почти выражения. Многое заимствовано из Ключевского. Пробовал читать «Давида Сасунского». Бросил. Скучища невероятная. По-прежнему для меня «Одиссея» превыше эпоса всех народов. Да и вообще фольклор скучен. Он подобен старинным, не отделанным как следует драгоценным камням. Они тусклы, неуклюжи. Таково и творение анонимных народных певцов. Культура (от colere*) — в изощренности, в совершенстве выражения, а не в силе одной, если она неуклюжа и громоздка.

Сам я почти ничего не писал. Изредка только — стихи. Да и тогда, когда это прямо-таки «из меня пёрло», выражаясь вульгарно, но в точном соответствии с действительностью. Для «Эрмитажа» с октября 1944 г. сделано очень мало, почти ничего. Возобновил писание размышлений на латинские изречения («Consolationes»). Но и это идет туго. Вообще, я чувствую себя скованным, обескрыленным. Горькие, горькие мысли о себе и своем будущем. Тоска о Саше. Грусть о том, что нет со мной Валентина, Евгения и Георгия. Тусклые дни, скорбные мысли.

1945 год

26.1.45 г. Хотел вечером пойти куда-нибудь, чтобы по обыкновению последних месяцев развлечься и забыться. И никуда не пошел. Везде скучно. Нигде нет таких людей, с которыми мне было бы интересно говорить. Невольно вспомнишь вечера у Флоренских в 1935 году; милую, милую Софью Ивановну Огнёву и тихие уютные вечера у неё; мои вечера последних лет перед войной, когда собирались мои родные друзья Саша, Жорж, Женя и изредка бывал Валя, захваченный в ту пору иной жизнью. Как было тогда хорошо! И как было интересно делиться с ними своим внутренним миром!

---

* Выращивать, возделывать (лат.).— *А.Н.*

Сейчас ничего подобного нет. Единственный приют остался — дом Флоренских, но и там свой серый отпечаток наложила война. И все же я по вечерам то и дело убегаю из дома, хотя за эту зиму у меня почти всегда тепло и светло. — Надо забыться. Надо потолочься на людях, чтобы заскучать от них и после этого по-настоящему оценить свое одиночество. Иногда это удается...

Слава Богу, что питание мое в РУ настолько улучшилось, что меня голод уже не гонит за милостыней к моим ближним. Я никогда не забуду того жуткого времени, когда я из Скита бегал, бывало, в сорокаградусный мороз в город с надеждой: авось где-нибудь меня чем-нибудь покормят, и порой возвращался ни с чем, голодный, измученный физически и душевно, с невыразимой скорбью в душе. Жуткое время! Никому не пожелаю перенести что-либо подобное. Многое оторвалось во мне тогда. И если сейчас я ожил, то в первую очередь оттого, что имею свой кусок хлеба, сыт настолько, что не надо просить подаяния... Да! Материальный фактор бытия так силён, как я никогда об этом до войны не думал. Сытость, тепло, свет, чистота, отдых... Как много это значит, и как мы этого раньше не понимали.

Но все же я не могу стать абсолютным материалистом. Я отлично помню, да и в большом дневнике моем это достаточно запечатлено, что даже тогда, в самые жуткие дни 1942 и 1943 гг. я не переставал быть мыслящим и чувствующим человеком, не превращался исключительно в «хлебоядного», как иронически писал в одном из поздних своих стихотворений. Обессиленный от голода и холода, шатаясь от усталости, мечтая о тарелке горячего супа или о миске нечищенной картошки с солью, с завистью глядя на всякого человека, несущего кусок хлеба, я, поднимавший тогда случайно оброненную кем-нибудь корку хлеба из дорожной пыли и жадно съедавший ее, жалея, что мало, я — такой, тем не менее мыслил, мечтал, писал стихи, рассуждения, читал и даже ни на минуту не думал, что можно жить только одним брюхом, хотя оно мучительно давало себя знать. Я каждый день думал тогда, что смерть стоит у меня за плечами, что она вот-вот наложит свою костяную длань на мое исхудавшее и беспомощное тело. И все же я хотел

даже умереть, но «мыслящим тростником», а не скотоподобным. И это для меня — доказательство непобедимости духа и его равноценности материи в таком сложном единстве, каким является человек. Я уверен, что такие люди, как Брюсов, Гамсун, Ромен Роллан (называю первые вспомнившиеся дорогие имена) были бы такими же, как и я, в аналогичном положении. Вполне возможно, что они оказались бы сильнее и лучше меня, но, во всяком случае, не хуже.

Трудную и жуткую школу пришлось пройти мне и всем, подобным мне, пережившим эту войну. Она сильно надломила нас, но в то же время и укрепила и многому научила. Может быть, это даже и лучше испытать всё тяжелое и страшное, что только может представить человеческий ум, испытать и преодолеть, нежели всю жизнь провести в теплице и остаться неженкой...

Только недостаток бумаги заставил меня в свое время отказаться от ведения большого дневника. Я по-прежнему делаю выписки из книг, но помещаю их на отдельных листках. Как только улучшится дело с бумагой, я снова вернусь к этому плану. И тогда встанет новая задача: все переписать снова, как следует. Ах, если бы у меня была пишущая машинка!...

Меня радует, что я опять стал писать. Это — признак того, что я еще жив и силы мои восстанавливаются. Теперь только преодолеть тоску последних трех месяцев, и всё вернется обратно: и охота мыслить, и страсть читать, и ничем не заглушаемая до конца потребность писать — говорить свое слово миру.

Пишу, а радио вызванивает свой сигнал: «Широка страна моя родная». Значит, сейчас снова будет сообщение о победах. Уже говорили о взятии нескольких немецких городков. И еще будут говорить, вероятно, около 11-ти вечера. Теперь каждый день эти извещения. Как не похожи они на сообщения радио осенью 1941 года! И одновременно: радуемся победам, но страшно и горько подумать, сколько людей гибнет каждый раз, сколько сирот остается и неутешных сердец! Когда, наконец, все это кончится?

28.1.45 г. Вчера до 3-х часов утра был у Н.Н.Савельева. Выпили, поговорили. Его жена пела цыганские романсы и песенки Вертинского под аккомпанимент гита-

ры. Было оживленно, почти весело, т.к. сам Н.Н. очень культурный человек. Но я все-таки не мог веселиться от души. Постоянная тайная грусть последнего времени нигде и никогда не оставляет меня. Взял у него читать «Современную историю» Ан.Франса, «Вопросы теории литературы» Жирмунского, еще кое-что и интересную повесть «Старинная Франция» дю Гара. Последнего прочел сегодня с удовольствием...

30.1.45 г. В РУ очень холодно. В классах еще терпимо, если сидишь в пальто: ребята надышат; а вот в учительской сплошной погреб. Посидишь час в пальто и в валенках и начинаешь дрожать противной мелкой дрожью. Весь день чувствовал себя неважно. Вечером читал лекцию о культуре речи для агитаторов ЗОМЗа. Было прохладно. Все были в пальто, в том числе и я. Сначала я было стыдился своих заплат, но потом стало все равно. Не мне стыдно, что учитель, 25 лет работающий на фронте просвещения, вынужден ходить оборванцем. Прочел лекцию без подъема. Дали только 45 минут: «у нас еще доклад на очереди, а люди здесь сидят с 9-ти утра», так мне сказали в парткоме. Материала у меня хватило бы на два часа. Пришлось скомкать всю историческую часть и остановиться лишь на конкретных погрешностях против орфоэпии. О стилистике не успел сказать почти ничего. Сам остался докладом очень недоволен...

1.2.45 г. В РУ новость: нас будут кормить теперь не итээровскими* обедами, а ученическими, давая только по три раза в день. Если кухня не слишком будет воровать, то это будет неплохо...

10.2.45 г. Дни летят с поразительной быстротой. Недели перелистываются, как страницы. И в году их так немного! И самый год уже не кажется большим томом, а только — тоненькой брошюркой...

Газеты за последнее время полны сообщениями о Поместном Соборе Российской церкви. Фигурируют имена и титулы патриархов и митрополитов. Точно читаешь «Русское Слово» или «Новое Время»! Любопытно

---

* От абревиатуры ИТР — инженерно-технические работники. — *А.Н.*

было бы знать, с какой усмешкой прочел бы все это покойный Ленин и... Победоносцев, тоже покойный. И все же страна вряд ли стала более религиозной, нежели в 1925 или 1935 году. Все окружающие меня люди совершенно равнодушны к сущности религии (кроме, конечно, семьи Флоренских), хотя многие внешне любопытствуют относительно того, что творится в Церкви. Но в душе у них нет божественной искры, той искры, которой движется и питается и вера, и вся религиозная жизнь. Это — люди, преисполненные «печалью мира сего» до краев, и «печаль о Боге» им совершенно непонятна, как китайский язык, как душевный мир бушмена...

11.2.45 г., воскресенье. Вчера вечером перечитывал роман Яна «Батый». Опять понравилось. Близка мне наша русско-монгольская старина. С удовольствием прочел бы еще что-нибудь подобное. Взял в парткабинете книжки: А.Д.Минченков «Воспоминания о передвижниках» (изд-во «Искусство» М., 1940) и Д.Максимов «Поэзия Валерия Брюсова» (ГИХЛ, Л., 1940). Обе посредственные. Вторую я просматривал еще до войны...

16.2.45 г. Вчера был в кино. Видел «Ивана Грозного». Впечатление очень сильное. Особенно хорош артист Черкасов в роли Иоанна. Некоторые детали неверны в чисто археологическом отношении. Но, в общем, постановка очень стильная. До чего красивы древнерусские одежды и весь тогдашний чин! И как всё это далеко от нашей современной жизни. Невозвратное прошлое! Оно и очаровывает своей величественной красотой, и в то же время недосягаемо. Что ушло, того не воротишь. Всякие реставрации — только ошибка, которую понимают лишь впоследствии. Мне понравилось церковное пение, хотя в хоре почти не слышно мужских голосов. Это лишает его величественности и мощи. Я с грустью подумал о том, как печально для меня то, что я за последние два десятилетия лишен возможности присутствовать на церковных богослужениях. Из моей жизни выпал элемент великого строя, который создавался этим неподражаемым и непревзойденным церковным ритуалом. Всё, что я видел в Лавре и в Академии, остается в моей памяти, но реальные факты уже не освежают ее...

Сегодня вечером читал Карамзина о Иване IV. Какое жуткое царствование! Сколько жестокостей, ужасов, насилий и несчастий! Пусть Карамзин сентиментально приукрашивает мрачные стороны своими моральными рассуждениями. Но тяжелая правда тогдашней жизни чувствуется сквозь его риторику и ламентации. Она особенно понятна людям нашего времени, пережившим тоже немало...

17.2.45 г. Вечером был у Флоренских. Только А[нна] М[ихайловна], Тина* да Т.Н.Грушевская. На минутку заглядывала Наташа Маясова. Разговор о фильме «Иван Грозный». Потом мне дали книгу А.Белого «Мастерство Гоголя». ГИХЛ, 1934. В ней нагромождено много всего. И среди навозных куч немало жемчужных зерен. Но отыскивать их нелегко. Все-таки сумбурный человек, этот Боря Бугаев! И талантливый. Это несомненно.

23.2.45 г. Сейчас перечитываю сказочки Вольтера. Как они тривиальны! Какой скучный рационализм и дешевенький морализм! Нужно было быть действительно людьми XVIII века, чтобы восхищаться всем этим и считать автора великим человеком. Аналогичные вещи Ан.Франса несравненно изящнее и глубже. В начале XIX века произошел переворот в умах и в чувствах, который углубил духовную жизнь человечества. Зачинщиком этого переворота надо считать Руссо, а углубили его и расширили Байрон, романтики и особенно Гёте. Поэтому-то я, человек XX века, и чувствую себя так по отношению к Вольтеру. Тем более, что в конце XIX века и в начале XX века аналогичный переворот произведен символистами, которым предшествовали Достоевский и Ницше. После всего этого, конечно, Ренан-философ и Франс-романист окажутся ближе и интереснее, нежели прославленный Вольтер. Интересно, как будут мыслить и чувствовать наши потомки через сто лет?! Судя по современному всеобщему снижению вкуса и интеллекта,— пожалуй, им тоже будет понятнее и созвучнее Вольтер, нежели Франс и Ренан, т.к. в недалеком будущем я не предвижу расцвета утонченности, а, скорее, опрощение и примитивизм. Невольно задумываешься: с кем я буду

---

* Флоренская М.-Т.П.— *А.Н.*

разговаривать, если я проживу еще лет 30? И сейчас уже нет таких собеседников, которые соответствовали бы вполне всем моим запросам и интересам...

2.3.45 г. Умер А.Н.Толстой. Как жаль! Как много мог бы он еще написать! И, судя по новым главам 3-ей книги «Петра I», его талант отнюдь не клонился к упадку. А какую книгу он мог бы создать, такой бытописатель, как он, о людях и делах 1941-1945 гг.! И вот его нет. Кто же остались? Шолохов, Эренбург. И только. Вересаев уже давно молчит. Серафимович и Сергеев-Ценский ни на что не способны, как и Пришвин, в отношении подлинно великих тем. А остальные — мелкота...

Вчера был В.Мишин. Рассказывал, как он почти три года провел в плену в Финляндии. Жуткая картина! Он хочет записать свои воспоминания. Я одобрил этот план. Это — полезное дело для потомства. Отчасти он мне рассказал именно то, что я ожидал в этом случае услышать...

6.4.45 г. Теперь, после выпуска трех групп в РУ, у меня есть свободное время: в неделю остается только 8 уроков. Это — на всё лето. Очень хорошо! Бог даст, погуляем и отдохнем, даже без всякого отпуска. Три дня в неделю совершенно свободен, два дня по три урока и два дня по одному. Красота! — как говорят сейчас. При этом зарплата не изменена нисколько, т.к. с конца года установлена средняя норма на весь год. Следовательно, смогу отдохнуть, побывать в лесу и поработать для Лаврского музея. Уже сейчас на ходу обдумываю работы о посетителях Лавры и о XVIII веке в Лавре.

Сегодня m-me Черчилль в Загорске. Она посетит Лавру и польский детдом. Вчера в нашем РУ говорили об этом мастера и учителя. Боже! Что им m-me Черчилль?! Как сильно любопытство у праздных и пустых людей! Воображаю, что они о ней думают и как ее представляют! А как представляю ее я? Пожилая, элегантно одетая дама. Энергичная. Достаточно умная, достаточно культурная. Rien de trop*. Без особенной широты умственного кругозора. Шоу для нее, наверное,— старый чудак,

---

* Ничего слишком (фр.).— *А.Н.*

Уайльд — к счастью, всеми забытый, «homme sans foi et loi»*, а всё русское — «curiosite»**, вызывающее то изумление, граничащее с восхищением и страхом, то сожаление, смешанное с непониманием. И только ее положение супруги премьера Англии позволяет о ней думать и говорить больше, чем о любой рядовой аристократке Британских островов. Хочется надеяться, что она значительно умней и дальновидней и Мари-Анн, и тех принцесс, которых изобразил Моруа в своем романе о Дизраэли, и что ее визит укрепит наши связи с Англией, т.к. ссориться нам теперь совсем не время!...

25.4.45 г. А Берлин скоро будет взят! Оказывается, Ф.Сологуб в своем предсказании ошибся только на 30 лет!

27.4.45 г. Стоят ясные, теплые дни. Иногда слегка облачно. Я отдыхаю от резких холодов начала апреля, когда у меня было не свыше +5° R в комнате, а теперь +10° и даже +12° R. Это отрадно, т.к. никакого отопления нет с 1-го апреля. Сегодня смотрел репетицию спортивного выступления в РУ. Участвовало около 200 человек, но порядку мало, а красоты и стройности почти никакой. Невольно вспоминаешь те времена, когда в школе КИМ инструктор Жолкин добивался от ребят высокого мастерства. Как все мельчает и снижается! И мне кажется, что я вздыхаю не потому, что мне идет 47-й год, а потому что действительность наших дней во многих отношениях хуже 1925-1926 гг. Когда шел после скудного ужина (скорее — невкусного, но достаточного, чтобы не голодать), то радовался мягкому воздуху и тихому закату, который постепенно угасает сейчас в жемчужно-пепельной тучке. Вспомнился вчерашний разговор с З.Д.Вишневской. И стало вдруг грустно. Повеяло той тоской и безысходностью, которая так явственно слышится у Тургенева в его безотрадных «Сенилиях».

Мы говорили о возможной истинности материалистического воззрения на жизнь. Если нет никакого Бога,

---

* «Человек без чести и совести», т.е. «не имеющий ничего святого» (фр.).— *А.Н.*

** Забавно (фр.).— *А.Н.*

души и бытия после смерти, если индивидум распыляется и теряется в безмерном океане Вселенной, то как бессмысленна, жестока и несправедлива вся наша земная жизнь! К чему тогда творчество, слава, достижения, власть, богатство, даже, казалось бы, самые лучшие радости любви? Они все тускнеют перед могилой. Тогда неизбежен вывод: carpe diem. Но скольким и этого не дано! И все же у меня остается одно неоспоримое доказательство идеализма: мир, Вселенная не могут быть хуже и ниже лучших идей и грёз слабого человека!

30.4.45 г. Канун Первого мая. Я убрался, хотя и с сильным утомлением. Радио передает победу за победой. Сегодня отменено затемнение. Везде сверкают стеклами окна. Хочется надеяться, что скоро-скоро кончится война!...

Я пересматриваю свои заметки о символизме и думаю о том, что мой родной Modern навсегда будет самой любимой, самой интересной для меня эпохой. В нем есть нечто тайное, — моё, как и во мне самое главное и ценное — от него. И вот я еще и еще раз сознаю, что я должен написать книгу «Modern», которая выразила бы это «нечто» с наибольшей ясностью и увлекательностью и заставила бы людей по-моему полюбить символизм, людей, переживания и идеи, творчество этой замечательной эпохи, которая несравненно выше и глубже эпохи Романтизма и может быть поставлена наравне с эпохой Возрождения...

5.5.45 г. Сколько новостей: пал Берлин, убит Муссолини и его приспешники, «умер» Гитлер, «покончил самоубийством» Геббельс и еще кто-то, Германия с часу на час должна капитулировать... Какие перспективы впереди? Кто скажет сейчас?!

На Пасху ждут лишних выходных дней. Посмотрим, сбудется ли! А Пасха, видно, будет подобна Благовещенью: в Благовещенье было хмуро, шел снег. Сегодня Страстная суббота, и небо всё в сплошных тучах, изредка моросит дождь. А до этого стояли ясные солнечные дни. Очевидно, народные приметы не без истины...

9.5.45 г. Сегодня в 3 час. утра я проснулся от сильных артиллерийских залпов и сразу понял, что это —

окончательная победа. Германия капитулировала. На дворе, несмотря на раннее время, тотчас же раздались радостные крики и восклицания, кто-то весело смеялся, кто-то пел и, наконец, чей-то женский голос произнёс: «Ну, надо готовить пол-литра!» Не обошлось и без этого!... Мне слегка нездоровилось, поэтому я решил поспать. Утром в 9 ч. был в РУ. Там все ликуют, друг друга поздравляют. Устроили митинг. Я на нем говорил с таким подъемом, что потом один из учеников мне сказал: «мировецкая речь!» Похвалил по-своему, как умел. На улицах ликование. Нарядная публика, хотя много и плохо одетых, как я. Очевидно, не во что! Все оживлены. У исполкома толпа слушает радио. Есть и пьяненькие. Успели с утра напраздноваться. То ли еще будет к вечеру! Везде пенье, музыка, смех, сияющие лица. И всё это — искреннее, ничего официального. Видно, как все рады концу войны. Я встретил одну старушку, у которой убили 3-х сыновей. Они когда-то были моими учениками. Только учились недолго, и я их забыл. Поговорил с ней. «У людей — радость, а у меня— и радость, и горе»,— сказала она. Сколько таких!

Итак — войне конец!

24.5.45 г., четверг. На днях достал «Хромого барина» А.Толстого и прочел его всласть и в присест. Буквально. Не оторвался от книги, пока не закончил. Что значит настоящий писатель! И хотя в этом романе есть что-то от Достоевского в женских образах (отголоски Грушеньки и Екатерины Сергевны из «Братьев Карамазовых»), тем не менее всё в целом так живо и хорошо! Особенно мелочи быта, а также некоторые штрихи в описаниях русской природы. Как жаль, что Толстой умер! Он мог бы еще написать немало прекрасных вещей.

Смотрел фильм «Собор Русской православной церкви». Очень любопытно. Я сравнивал с тем, что видел в свое время с 1914 по 1920 гг. в Лавре и Академии. Какое оскудение сейчас! И хор патриарший, и архидиакон, и размеры храма, в котором происходит церемония — все жалко, убого, как-то провинциально. Фигуры архиереев внушительны, но церемониал служения как-то выглядит скомканно. У нас, в Лавре и в Академии, было несравненно больше стройности, торжественности и величия. Любопытны фигуры и лица восточных патриархов. Ан-

тиохийский, по-видимому, довольно хитрый, а александрийский — типичный копт с застывшей маской бритого лица. Он мне напомнил мумии фараонов. Итак, вот она — «столп и утверждение истины» — в 1945 году, в Москве! Что-то будет дальше?..

Возвращаясь домой, я подумал о былых ее деятелях, которых знал: о патриархе Тихоне, об епископах Феодоре, Иларионе, Вассиане, Варфоломее и Иосифе... Невольно возник вопрос: ну, а сейчас, Серво, ты не хотел бы быть архиереем? Подумав, я искренне себе ответил: «Нет!» Что прошло и ушло, никогда не возвращается. И мир церковный теперь для меня только воспоминание и мотив для размышлений. И только. Но отнюдь не тропа жизни.

31.5.45 г. В «Московском большевике» от 30 мая прочел, что близ Осло арестован Кнут Гамсун за сотрудничество с квислинговцами. Это очень меня огорчило. И что заставило Гамсуна встать на этот путь? Я так любил да и сейчас люблю его как писателя, и мне грустно и больно, что ему достался такой закат. Ведь ему уже 86 лет. И это испытание вряд ли он перенесет.

5.6.45 г. Вчера был у Фл[оренски]х. Вялый разговор с Василием. Все-таки он ничтожество по сравнению с отцом. Анна Михайловна, хотя и малоучёная, простая женщина, стократ интереснее его. Что за чудо, что за непостижимое явление закон наследственности? Василий, Кирилл, Ольга, Михаил и Тинатин — какая между всеми ими разница! И все — дети одной пары! Я чувствую, как во мне говорят невысказавшиеся голоса предков, и я чувствую одновременно, как они плачут в Василии, Михаиле, Тинатин и ликуют в Кирилле и Ольге Ф[лоренски]х...

10.6.45 г. Сегодня у Ант[онины] Ал[ександровн]ы познакомился с Н.В.Лежневым. Он хорошо знаком с И.М.Брюсовой и обещал познакомить меня. Вот это было бы счастье! Я смог бы у нее прочесть неизданные вещи Брюсова и всласть наговориться о нем. Сашенька! Как бы ты меня тут понял!

30.6.45 г. На днях был у О.Н.Виноградовой и получил от нее в подарок «Ноа-Ноа» Гогена. Радость!

4.7.45 г. Вчера читал рассказы Киплинга. Они занимательны, подчас оригинальны. У него, как и у нашего Грина, есть манера подчеркивать некоторые слова в повествовании. В шрифте это выражено курсивом. Это — хорошо. Это заставляет их звучать особенным образом. Наверно, и Грин перенял от него эту манеру.

Кажется, нам в РУ скоро дадут двухмесячный отпуск. Вчера директор что-то говорил об этом, но без меня. Вот будет хорошо!

5.7.45 г. Вчера встретился с pater'ом Черни. Посидел и поговорил с ним некоторое время в сквере около рика*. Боже! До чего он скучен и пошл! Зашел разговор о том, доволен ли я работой в РУ. Я сказал, что сами по себе занятия там мало интересны, т.к. всё очень примитивно. Но я ценю эту работу, т.к. она не слишком утомляет меня и оставляет мне достаточно свободного времени. «Это хорошо, — сказал pater Черни. — Вы можете *работать над собой*». Это выражение мне как-то сразу напомнило все те банальности и нелепости, которые я смог в свое время слышать от него, когда я работал вместе с ним в МООСО, в Школе инвалидов Отечественной войны. Как это похоже на соответствующий жаргон народников: «трудиться», «быть самостоятельным», «приносить пользу обществу», «идти наперекор» и т.п.! До какой степени люди любят затасканные фразы и выражения, которые вначале были свежи и оригинальны, а потом стали вульгарной болтовней! Как боятся или не умеют сказать свое и по-своему! Впрочем, трудно сказать по-своему, когда и своего-то ничего нет. Всё, что есть внутри такого человека — такая выцветшая и выдохнувшаяся эссенция, которая вызывает только непомерную скуку и отвращение. Так что же дивиться, что и слова у него сыплются мертвой шелухой?!

Почему люди не хотят, не умеют и даже боятся быть оригинальными? — от внутренней пустоты, от полного своего ничтожества. Потому что они — только ходячие брюхи, аппараты для жевания, проглатывания, переваривания пищи и извержения остатков! А если такие вдруг задумают «оригинальничать», то — упаси Боже! Это бывает еще смешнее и еще противнее. И обычно такие люди очень довольны самими собою и нравятся себе...

---

* РИК — райисполком.— *А.Н.*

9.7.45 г. Вечером был у М.Н.Гребенщиковой. Обратно шел под дождем, правда не сильным. Но разгрязнилось порядочно. Я снял ботинки и носки и пошел босиком. Приятное ощущение! Как мне понятно ратование Ф.Сологуба за обнаженные ноги! Впрочем, надо сознаться, мне было немного неловко идти так по Валовой и Красной улицам, особенно когда я встречался с людьми. Не стыдно, а именно как-то неловко. Это, наверное, от непривычки. Конечно, я при этом вспоминал, как С.Н.Каптерев ходил босой давать уроки в Цветковской школе в 1919 и 1920 гг. и отчаянно этим бравировал, а мне тогда все это казалось и нелепым, и смешным. Сам я ощутил прелесть босого хождения лишь незадолго до этой войны, во время прогулок с Сашей и Евгением по лесу. Вообще, я нахожу, что я, несмотря на скромность своего социального положения и еще большую скромность своего бюджета до 1917 года, воспитывался слишком по-барски. Это и хорошо было, и нехорошо. Теперь я стал внешне как-то погрубее и повыносливее, а внутренне — проще.

24.7.45 г. Вчера был в Москве у Ю.А.Лемана. Он очень уютно живет в маленьком домике, окруженном недурным садом. На клумбах левкои, душистый горошек. Очень мила круглая клумба с перемешанными ноготками, алыми настурциями и васильками. Есть несколько тополей. Но самые большие деревья вырублены для огорода, как и везде, к сожалению. Есть даже маленькая терраса, обвитая виноградом и опять-таки с настурциями. Мне было приятно посидеть там несколько минут. И самый переулок (Головановский, около станции метро «Сокол») тоже уютен. Домики одноэтажные, везде деревья, сады. Не похоже на Москву, а, скорее, на провинциальный городок. Я посмеялся Ю[рию] А[лександрович]у: он живет в Москве по-загорски, а я в Загорске — по-московски, т.е. на 4-м этаже и без всякого сада...

3.8.45 г. На днях видел бывшего мастера РУ С.Гуляницкого. Он сейчас устроился в Кёнигсберге и приехал оттуда в командировку. Любопытны его рассказы. Город сильно разрушен. Сначала совсем не было немцев, теперь понемногу они появляются. Мужчин мало — только старики и ребята. Перед русскими держатся приниженно и заискивающе. Что у них внутри — черт их зна-

ет! Вероятно, озлобление. Плохой это материал для будущего сотрудничества наций! Ах, Бисмарк, Вильгельм II и Гитлер! До чего вы довели свой народ, мерзавцы и убийцы! Наши, по-видимому, укрепились в этой части Восточной Пруссии основательно и надолго. Пущен в ход огромный бумаго-целлюлозный завод. На него принимают рабочими и немцев. Тогда их обеспечивают питанием. Остальному немецкому населению выдается по 200 гр. хлеба и только. Впрочем, у них хорошие огороды, да и всякие запасы, наверное, имеются из награбленного за годы военной удачи добра. Немецкие молодые frau и fraulein* усиленно любезничают с русскими военными. Увы! Это бабьё, видно, везде одинаково! Их отцы, мужья, женихи и братья или убиты, или в плену, а им только бы штаны увидеть, как они уже готовы к услугам... Одеты они в простенькие платьица, но материал добротный. На ногах у всех сандалеты с деревянными подошвами. И вот они пляшут по вечерам, кокетничают и так далее... Жалкая картина! «Deutschland, Deutschland, über alles!» ** Вот тебе и «über»!

Наших много. Их хорошо одели и обули. Сергей прибыл в приличном синем костюме, коричневых ботинках и в шляпе. Жалованья им там пока не дают, но они получают бесплатно всё, до папирос включительно. Питание хорошее и достаточное. Однако учеников-ремесленников, прибывших в организованное там РУ из Минска, Киева и даже из Москвы, кормят плохо, у них нет даже котелков для пищи. И они бегут обратно. Как это неумно! И по чьей вине это происходит? Сергей говорит, что он устроился хорошо. У него две комнаты в мезонине небольшого особнячка. Мягкая плюшевая мебель, ковры, письменный стол, трюмо. Одежды и мелких вещей в покинутых домах уже нет. Все забрано в комендатуру и оттуда раздается только военным. В городе пока нет ни театров, ни кино. Даже нет газет. Все новости узнаются по радио...

Сегодня с утра передавали по радио решения Берлинской конференции. Они основательны и крепко прижмут немецкую агрессию, чтобы ей не повадно было мечтать о реванше. Так и надо!

---

* Женщины и барышни (нем.).— *А.Н.*

** «Германия, Германия, превыше всех!» (нем.) — *А.Н.*

А погода у нас стоит прескверная. Почти все время дожди. Только за последние дни потеплело. И то хорошо!

Гремит гром. Он запоздал на сутки: ведь вчера был Ильин день, когда пророку полагалось кататься на своей мифической колеснице по небу. Видно, и на небе не все в порядке, как и на земле. На днях М.А.Гребенщикова и Н.А.Чербова рассказывали мне о своем посещении о. Михаила Соболева. Они в восторге от его материального благополучия и рекомендуют мне шествовать по его стопам. Я им сказал: «А, будучи священником или тем более архиересм, удобно ли будет мне пойти в кино смотреть «Тетку Чарлея», или в лес за цветами, или солидно выпить в компании друзей с шутками и смехом?...» А без этого я, пожалуй, и жить не могу!

Да уж, хорошая из меня выйдет духовная персона, если судить хоть по моим словам об Илье-пророке. Нет, Серво, сиди на своем месте и довольствуйся сознанием, что ты учитель учителей и «архиерей по чину Мельхиседекову», но признания этого со стороны других не жди и не добивайся, и, тем более, не суйся туда, куда тебя сама судьба не подталкивает! Прислушивайся к велениям жизни, покорствуй предначертаниям судьбы и будь свободен и счастлив в своем малом мирке, в котором, как солнечный луч в призме, преломляются светы, летящие со всех концов света, и сверкают дивными цветами теней твоей радужной фантазии! Каждому свое! Твое — великое в малом. Ты это познал до конца и умей быть самим собою до конца, без соблазнов и без разочарований!

7.8.45 г. В воскресенье был в Москве у Крестной. Вернулась Катя. Возвращение поздно ночью. Разговор с украинцем в вагоне. С субботнего утра болит правый глаз. Наверно, ячмень. Понедельник весь день дождь. Утро с 8 до 2 часов дня проторчал в РУ, пока сапожник починял мои ботинки. Разговор с Ниной Позиной. Рассказывал ей анекдоты про А.Н.Гаевского, Н.Р.Обрехт и других знакомых чудаков. Вечером стало скучно. Из-за дождя далеко идти не пришлось. Пошел к М.Н.Гребенщиковой. Но с ней стало еще скучнее. Поэтому, когда вернулся домой, стало легче, и я принялся рассматривать "Огонек" за 1944 г. Некоторые мелочи занимательны. Я и раньше любил за неимением интересных людей, если становилось тоскливо и скучно одному, уходить

чёрт знает куда (например — в «Moulin Rouge»*, как называл Костя Сафронов обиталище наших общих знакомых Тихеевых), чтобы там мне прискучило банальное окружение, и тогда по возвращении домой мое одиночество мне казалось очаровательным. Курьезно: чего только не придумает человек!

Начал перечитывать «Войну и мир» с 3-го тома. Через 2 недели надо читать об этом лекцию на заводе. Взял также книгу Тарле «Нашествие Наполеона на Россию». Написана она хорошо и читается легко...

9.8.45 г., четверг. Итак, эта тетрадь началась с победы, а кончается объявлением новой войны с Японией. Вчера я сидел у А.А.Захаровой, когда по радио передавалась эта печальная, а для многих и грозная весть. Как только я услышал голос Левитана, говорящий о том, что будет сделано «важное сообщение», то сразу подумал о Японии. Так оно и случилось.

Правда, у нас за плечами победное окончание войны с Германией, и теперь нам нечего бояться неизвестности, как это было в июне 1941 года; затем, вместе с нами Японию будут громить и уже громят Англия и Соединенные Штаты; наконец, Япония уже и устала или, по крайней мере, должна устать, да и в Китае, несмотря на всю безалаберность внутренних его порядков, должны же когда-нибудь сорганизоваться все силы для отпора врагу, а ведь там 400 миллионов, — но всё же опять польется русская кровь, и немало будет жертв, т.к. японцы свирепы и упорны в борьбе. И это самое ужасное.

Я беспокоюсь снова о Валентине, Георгии и Евгении. Только бы их миновала чаша сия. А что чувствуют те, чьи близкие уже на Дальнем Востоке?!

Я жду, что в газетах начнут писать о Сахалине, Порт-Артуре, о расплате за Цусиму и вообще за унижения Русско-японской войны 1903 года. Всё это, конечно, очень верно и хорошо. Но чего это будет стоить!...

10.8.45 г. Сегодня к вечеру пронесся было слух, что война кончилась. Но, оказывается, что ошиблись: по радио передали о том, что Монголия объявила войну Японии. Всюду говорят, что эта война может кончиться очень ско-

---

* Название квартала увеселительных заведений в Париже. — *А.Н.*

ро, через несколько недель. У меня самого такое же тайное предчувствие. Посмотрим! Сегодня сообщили о большом продвижении наших войск в Манчьжурии.

Читаю «Войну и мир». Что за прелесть!

11.8.45 г. Ту тетрадь закончил я новой войной. Но она, кажется, к счастью, кончается, не успев развернуться. Вчера радио передавало, что японское правительство согласилось на все требования союзников, прося только не задевать прерогатив императора. Это любопытно: значит, в Японии, несмотря на середину XX века и знакомство со всей разрушительной идеологией разных крайних социальных систем, культ императора сохранился. Впрочем, если подумать глубже, то здесь нет ничего удивительного. Хотя во всем мире много разговоров о демократизме, однако культ великих личностей сейчас сильнее, чем когда-либо. Только разве время Наполеона I может быть сравниваемо с нашим в этом отношении...

14.8.45 г. Сегодня утром, во время уборки явилась мысль сделать изборник своих стихов за все время. Озаглавить: «Русская лира» (м.б. добавить «XX века»?). Стихи расположить тематически, по разделам: 1) Природа, 2) Родина, 3) Века и страны, 4) Лики любви, 5) Смерть, 6) Прозрения, 7) Судьба поэта.

Явилась также мысль написать книгу, вроде «Просторы и пределы», но с предельной искренностью и непосредственностью сказать всё, что я сейчас думаю о жизни (в виде афоризмов). Озаглавить «Sans façons»* или что-нибудь в этом роде. Посвятить ее памяти Розанова и Шестова (хотя последний, пожалуй, еще жив). Не побояться упреков в цинизме и даже дурости от тех, кто сможет ее прочесть. Написать так, как только захочется!

Искусство, особенно поэзия, должны быть магичными. Они должны очаровывать в полном смысле этого слова. Для этого не надо «возвышенных» тем и «мистического» колорита. Нужен реализм живой жизни, величайшее мастерство изображения и предельная искренность выражения. Произведение должно будить в читателе все самое лучшее и преображать его. «Магизм» — вот новый стиль грядущих времен. И он пере-

---

* «Без церемоний» (фр.).— *А.Н.*

кликается с глубочайшей древностью, когда искусство только рождалось.

15.8.45 г. Говорят, что сегодня рано утром радио сообщило о полной и безоговорочной капитуляции Японии. Итак, мое тайное предчувствие меня не обмануло: война длилась только неделю! Сейчас моя Родина стоит на такой высоте, как после побед в 1812 и 1813 гг. Даже выше: авторитет СССР высок теперь во всех частях света. Вот она мощная Советская империя! Ортодоксальные натуры возмутятся таким сочетанием слов и идей. Но это так, и так будет до тех пор, пока около СССР останутся другие империи. Мы изживем империализм, хотя и советский, только тогда, когда весь мир станет единым и Советским. Хочется думать, что в конце концов это осуществится. И только это одно спасет мир от голода и войн. Других реальных способов нет. Есть идеальный — христианство, но 2 тысячи лет показали, что реально оно не способно устроить жизнь миллионов людей в их взаимоотношениях. Кроме того, христианство, как метод связи с высшим миром, в первую очередь, и как метод домостроительства на земле, во вторую, не едино. Не следует забывать буддизм, конфуцианство, даосизм и ислам. Эти мировоззрения или религии, если угодно, могут еще постоять за себя. Они нужны своим племенам так же, как христианство нам...

16.8.45 г. Сегодня видел одного командира (фамилию его забыл, а его спросить было неудобно), моего бывшего ученика из батальона Академии Фрунзе. Он теперь капитан и прибыл из Берлина. Сказал мне, что его товарищей, тоже моих учеников, Ворстина, Быстенко и Савицкого, убили. Как мне их жаль! Это были лучшие. А особенно Женя Ворстин. Бывший педагог. Такой вдумчивый и ласковый. Я его очень любил. Проклятая война! Скольких хороших людей ты погубила!

17.8.45 г. Утром был Андрей Виноградов. Рассказывал о том, как жил в Ленинграде в годы осады. Страшная жизнь! У него много седых волос. Ему уже 37 лет. А как недалеко кажется то время, когда он вместе с Мишей Шингаревым учился у меня в 8-й группе! «Как наши годы-то летят!»

30.8.45 г. 26 августа был с Н.А.Ч[ербовой] и М.Н.Г[ребенщиковой] в Тарасовке, в церкви. Видел, как служит «о. Михаил Соболев». Голос у него еще не вполне установился, и возгласы он тянет. Движения благолепны. Проповедь сказал приличную (на тему Евангелия — хождение Христа по водам), только вначале слишком растянул описание бури. Н.А.Чербова сказала мне, что это напомнило ей пересказ «Буревестника» Горького... Церковь просторная. Внутри не так хороша, как вовне. Иконостас деревянный, резной, невысокого мастерства. Очень много навешано и поставлено икон разного формата по сторонам. Над многими иконами кисейные и шелковые балдахины и покрывала с бумажными цветами или просто вышитые полотенца. На одном полотенце я заметил даже вышитого Георгия Победоносца, поражающего дракона, а то просто — цветы или петухи. Это мне очень не понравилось. Это придает какой-то мещанский вид иконостасу. М.б., это очень неплохо в доме, когда вокруг образа висит чистое, расшитое шелками или шерстями полотенце, но в храме это неуместно. Я подумал, что это, впрочем, пожалуй трудно искоренить: придется ссорится с благочестивыми, но не имеющими достаточного вкуса и соображения прихожанами, которые сделали эти дары из доброго усердия.

С самим Соболевым говорили мельком. Он должен был после обедни уехать на ст. Клязьма, и пригласил нас непременно приехать к нему в пятницу. По дороге обратно нас помочил дождь. На станции высохли, когда взошло солнце. Много шутили между собой о том, как пролетел чай с пирогами, о том, какую пищу мы дали языкам тарасовских кумушек нашим приездом, встречей и лобызанием с «отцом Михаилом»...

3.9.45 г. День Победы. Наконец-то все войны прикончились. Все в жизни проходит, и эти четыре года войны пролетели незаметно, как они ужасны и трудны ни были. И сама жизнь проскользнет незаметно, наступит время расставания, и грустно станет, а, м.б., — и страшно. Посмотрим.

31-го августа был опять в Тарасовке у Соболева вместе с М.А.Г[ребенщиковой] и Н.А.Ч[ербовой]. Были в церкви, потом обедали и пили чай у «о. Михаила». Живет он хорошо. Пользуется большим уважением среди

прихожан и вообще у населения. Его рассказы о духовных интересах и телесных томлениях его духовных детей. Надсон, Ницше. Письмо покойного академика Павлова. Затем наша прогулка вдоль берегов реки Клязьмы.

Видел, наконец, своего Жоржа. Он сильно переутомился и немного погрубел («крепкие» слова). Интересны его рассказы о Румынии, о войне, об армии. Многое именно таково, как я и предполагал. Настоящих разговоров с ним вести пока нельзя. Вот когда он постепенно успокоится, отдохнет, войдет в тон нашей жизни, тогда снова поговорим. А пока это — еще смятенная душа.

Вчера был у меня Женя Амбарцумов, мой давнишний ученик. Тоже из армии. Но этот более уравновешен. Ему помогает религиозность. За время войны у него умерла дочка. Про жену свою он говорит, что это — чеховская «душечка». Они, по его словам, живут дружно, хотя она мало дает ему фермента для умственной жизни...

4.9.45 г. Перечитываю «Изгнание» Фейхтвангера. Много интересных мыслей о фашизме и фашистах. Много тонких замечаний, особенно о «полуправде» — тонком стилистическом приеме в публицистике «3-й Империи»...

6.9.45 г., четверг. Сейчас только что ушли из моей кельи З.Д.Вишневская и ее дочь, которые заходили познакомиться с моей библиотекой. Я незаметно провел с ними около трех часов, и когда остался один, то стало как-то скучно. Хоть это и не совсем в моем вкусе люди, но все же они милы, сердечны, просты, и это уже радует меня. Как немного мне теперь надо!...

12.9.45 г., среда. В прошлое воскресенье были у меня В.А.Новиков и М.И.Сорокин. С первым пустой разговор, причем в конце концов он попросил у меня взаймы бутылку из-под водки. Со вторым — беседа об атомных бомбах и о перспективах в связи с возможностью использования внутриатомной энергии. Это любопытно и возбуждает многочисленные предположения. Потом заходил Th.* С ним разговор об острове Пасхи, Атлантиде

* Комаровский Ф.В.— *А.Н.*

и неисследованных материках. Вечером у Вали. Под конец беседы с ним вдвоем о христианстве и о возможности новой религии, которая зарождается на наших глазах: это своеобразное богостроительство, обожествление человека и человечества, пока в лучших его представителях. Говорили задушевно, без споров и ссор, но стараясь понять и почувствовать друг друга. Расстались очень сердечно...

14.9.45 г., пятница. Сегодня видел Т.В.Розанову. Она снова поселилась у себя. Говорит, что ее реабилитировали...

15.9.45 г., суббота. Сегодня принимал дела в РУ от Л.В.Крылова и с понедельника уже вполне вхожу в обязанности старшего преподавателя, это равняется половине завуча. Мне это немножко страшно. С 1921 года я не имел административных должностей и намеренно избегал их.

17.9.45 г., понедельник. В РУ зачитывали текст письма от ремесленных и других училищ т. Сталину по случаю пятилетия Трудовых резервов и подписывались...

Сейчас вечер. Электричество у нас выключено, и мне volens-nolens* надо идти куда-нибудь или же опять спозаранку ложиться спать. Скучно.

19.9.45 г., среда. Вот уже больше недели, как нет света. Электричество выключили. Приходится сидеть с коптилкой. Когда же, наконец, кончится всё это безобразие?!

В парткабинете взял сборник Академии Наук СССР «Культура Испании», 1940 г., затем юношескую повесть Н.Кальма о Маяковском — «Большие песни». Слащаво и плохо написано. Сам Маяковский, прочитав, обругал бы это пошленькое «житие». **И** еще книжечку Раисы Мессер «А.Н.Толстой». Критический очерк. ГИХЛ, Л., 1939. Тоже посредственная работенка...

20.9.45 г., четверг. Вчера узнал, что у Гали, Валиной сестры, родилась дочка — Вера. Это уже третий ребенок у нее.

---

* Волей — неволей (лат.) — *А.Н.*

Сегодня к вечеру был у меня Валентин. Мы много и душевно говорили обо всем. Так много надо было сказать, что накопилось за последние годы, что было ясно: и сотой доли всего сразу не охватишь. Постепенно всё это развернется перед нами при дальнейших встречах. Ясно одно, раз и навсегда: мы крепко любим друг друга и будем близки до конца жизни. Никакие разногласия никогда не поссорят нас и не смогут отдалить друг от друга. И в этой-то любви и дружбе наша сила жизни. Мы взаимно будем поддерживать друг друга, не изменяя, хотя сами будем изменяться, не уставая любить друг друга. Это — моя последняя радость, надежда и укрепа в жизни. Amen!

23.9.45 г., воскресенье. День серый. Небо в клубящихся облаках. Изредка проглядывает солнце. После завтрака я пошел по линии ж[елезной] д[ороги] к Семхозу. Много красных и желтых осин. В лесу мокро. Посидел на пеньке, подумал. Вспомнил Сашу и почему-то Алексея Спасского. Все время испытывал чувство своего одиночества, полного отделения от всех людей. Обратно ехал с поездом. Привез огромную охапку красных и желтых веток. Сейчас они в вазах и так ярко оживляют мою келью.

Сегодня после обеда встретил Сергея Спасского. От него узнал, что Алексей с того времени, как был арестован в 1938 году, никаких вестей не подает о себе. Сергей думает, что он уже умер. Как мне его жаль! Как жаль, что мы так и не виделись с 1926 года!

27.9.45 г. Сегодня днем было ясно, но очень, очень ветрено. Желтые листья сыпались дождем и кружились в бешеных вихрях. А к вечеру пошел дождь. Я заинтересовался историей Средних веков и читаю то статьи в Б[ольшой] С[оветской] Э[нциклопедии], то учебник Виноградова. Больше ничего нет. А толчок этому интересу дал «Принц и нищий» М. Твена. Мне вернул эту книгу Th., я просматривал ее, и меня потянуло почитать о Средних веках...

3.10.45 г. Вчера и сегодня солнце, теплая, ясная погода. Вчера вечером у Фл[оренски]х. Разговоры о Лавре, о том, что ее в скором времени передают Патриарху.

Сегодня утром сообщение радио о том, что совещание министров иностранных дел в Лондоне кончилось ничем. Это грустно и страшно. Только бы вчерашние союзники не рассорились между собой. У меня до полудня было подавленное настроение. В учительской РУ разговор между мной, Л.М.Шараповой и З.Д.Вишневской о бытии после смерти, легкое философствование по поводу буддийских и христианских взглядов на будущую жизнь, моральную проблему и т.п. Это уже приятно после нескончаемых бесед о картошке, во время которых я упорно молчу. Итак, поговорили о душе, о Боге, об аде и рае и скатились незаметно к вопросам гастрономии и рационального питания! Достойный нашего времени и положения переход от метафизики к кулинарии!...

18.10.45 г. Кончился рабочий день. Педагоги разошлись. Я один в учительской. Холодно. Я в шубе, в бурках и в шапке. Но дома у меня так же холодно, если только еще не холоднее. И поэтому меня не тянет домой. Тикают часы, а сверх них — никакого звука. И эта тишина радует меня. Я все еще болен. Вчера лег в 6 вечера, а встал сегодня в 7 часов утра, но нет той бодрости, какая бывает у меня обычно после такого продолжительного отсыпания. Особенно слабы ноги. Я с трудом сегодня дважды поднимался на 4-й этаж. И слабость во всем теле. Даже голова работает вяло.

Читал Тэна. Не согласен с его характеристикой Византии как сплошного вырождения. В Византии были и творческие мотивы (архитектура, иконопись, ювелирное мастерство, наконец, даже теология — эта своеобразная философия под ферулой церкви). Но разве бывает гделибо и когда-либо абсолютно свободная философия? Кроме того, государство существовало 1000 лет. Жил народ. Значит, были силы жить. Было бы любопытно проследить жизнь простолюдина в провинции. Мне думается, что в ней много было римских и эллинских чисто языческих элементов, особенно в повседневном бытовом укладе. Вообще, Эллада в Византии никогда не умирала. Ее огонь тлел, изредка вспыхивая, под пеплом ханжества и благочестия.

Как редко записываю я теперь в свой дневник такие размышления! Я окружен людьми, которым все это чуж-

до, и в результате начинаю походить на них: интересуюсь каждодневными мелочами, а серьезные мысли и красивые чувства тенями скользят и уплывают вдаль, не оставляя в душе почти никакого следа. Разве только тонкая горечь сознания, что всё это nur an und für sich selbst* , ибо не с кем об этом сказать двух слов.

25.10.45 г. Сегодня у нас истопили в доме. У меня в комнате +7° R. И на улице сильно потеплело. Снег тает, везде большие лужи. Мне все еще нездоровится, ложусь рано и сплю по 12 часов. Так безрадостно уплывают дни моей жизни. Уплывают в прошлое, которое, подобно будущему, становится иногда таким чужим и чуждым. Точно оно не мое, точно обо всём я только прочитал в какой-то книге!...

26.10.45 г. Сегодня археологическая экспедиция из Москвы вскрывает в Лавре усыпальницу Годуновых.

29.10.45 г. В РУ урывками просматриваю «Опавшие листья» Розанова, 1-й том. Это *моя* книга. Который раз я ее перечитываю. Немало сделано заметок на полях. И каждый раз являются все новые и новые мысли. Вот такие книги, писанные буквально en passant, бывают подчас поразительны. В них столько сгустков мысли и чувства, чего нехватает многим детально обдумываемым и тщательно отделанным esseys. А позавчера вечером, опять-таки при коптилке, перечитал «Ватто» и отрывки из «Мария Эпикурейца» Патера. Эту книгу я буду всегда любить нежно и глубоко, как лучшего друга, утешение в печалях. Если бы Патер жил в Средние века, его непременно причислили бы к святым. До того ясна, кротка и благородна кристальная его душа. У нас всех ближе и созвучнее ему — Борис Зайцев.

2.11.45 г. Только что приехал из Подлипок (Калининград) с методического совещания. Дома не топлено (+7° R), темно (света уже два месяца нет) и вдобавок стала вода. Бесподобная обстановка! На улице туман, сырость, грязь. В вагонах ж.д. разбитые окна и гуляет ветер. Однако настроение у меня бодрое. Пишу при ночнике.

---

* Только в себе и для себя (нем.).— *А.Н.*

В мыслях одно: я зашел в столовую, выпил 200 гр.водки, съел тарелку борща, порцию трески с картофелем. У меня был хлеб и сыр. Слава богу! Нет того кошмарного голода, что мучил меня в 1942 и 1943 гг. Курю я сейчас "Беломор". И вот лягу в постель. Она, правда, холодная, как погреб. Но я быстро надышу, и под двумя ватными одеялами мне будет тепло. На голове шерстяная шапка. Перед сном подумаю о милых, о милом и заветном. А сны у меня волшебные! Чего же жаловаться? — Как мало человеку надо в наши дни в нашей стране!...

9.11.45 г. На средней главе Успенского собора сделаны леса для поднятия креста, упавшего в 1927 году от сильного вихря. Лет 5 тому назад об этом не могло быть и речи. Tempora mutantur...*

14.11.45 г. К нам в РУ поступают 18 мальчиков-испанцев. Любопытно будет на них посмотреть и посравнить их с нашими. Впрочем, они, наверно, сильно обрусели, т.к. давно живут в СССР.

Сейчас купил на базаре персик, но никакого от него удовольствия не испытываю. Уж очень он незрел. А по вкусу напоминает все-таки те персики, которые я ел в детстве, привезенные из Самарканда. И напоминает 1909-1910 гг., житье на Болотной, мой сад... Как все было хорошо!

16.11.45 г. Вчера вернулся из Германии мой сосед Ф.Р.Рогожин. Он там несколько лет провел в плену. Рассказывал много интересного. Любопытно, почему его допустили обратно домой, тогда как, говорят, всех пленных и даже их семьи отправляют в концлагеря? Спросить об этом было неудобно. М.б., со временем сам как-нибудь скажет...

19.11.45 г. На улице завывает ветер. Снегу почти нет. Сухая, промерзлая земля. Пыль. Последние дни были солнечны, и это все скрашивало. Сегодня хмуро. Авось хоть ночью нападает снег. Будет теплее и уютнее.

У меня в комнате горит электричество и плитка. Все это — беззаконное. Поэтому окно зашторено, и если кто постучится, надо будет долго спрашивать, кто

---

* Времена меняются...(лат.).— *А.Н.*

это? В случае незнакомого голоса придется врать, что я болен и не одет, прятать плитку, вывертывать «жулик» и гасить лампу... Как это противно! И не стыдно мне ни капельки за мое «жульничество», а противно до смерти, что обстоятельства жизни довели меня и миллионы подобных мне до этого.

Довольно о такой гадости. Если писать всё, обо всём, то и тетради не хватит. Я надеюсь, что все-таки мы вынырнем в конце концов из этой поганой трясины лжи, жульничества, воровства, разбоев, блата, взяточничества, мата и всякого иного хамства. О, если бы поскорей!

В РУ у меня каждый день много работы, и время летит с такой быстротой, что я не замечаю, как летят не только дни, но недели и месяцы.

Нечего читать. Перечитываю «Обрыв» Гончарова. Многое мило, тонко, прелестно. Но все, что касается нигилистических рацей и их опровержения, серо и скучно. Видно, тогда это был насущный вопрос, люди искренне спорили и боролись каждый за свою правду. Но нам теперь эти споры как-то чужды. Они кажутся такими ребяческими, почти глупыми порой. Мы сразу видим и правду у обоих сторон, и все их смешные и нелепые крайности. Во всяком случае, Базаров умнее и человечнее Волохова...

21.11.45 г. Полезно и отрадно посидеть в одиночестве, как я сейчас в своей келье. Тепло, светло, тихо. Я курю, думаю, читаю «Афоризмы житейской мудрости» Шопенгауэра, знакомую книгу, которую снова просматриваешь с интересом. И мне так хорошо. Слава тебе, Господи, за эту милость! Я сыт, у меня нет никаких особенных тревог и забот. А все житейские неполадки можно при желании позабыть...

23.11.45 г. Сейчас я перечитываю «Афоризмы житейской мудрости» Шопенгауэра. Хорошая, умная книга. Есть в ней и старческая брюзгливость, и еще — старческая осторожность. И все же она много дает человеку. По ассоциации задумался о Гёте (они ведь были знакомы, Шопенгауэр и Гёте), а потом о случае с Гёте и Бетховеном, когда оба встретились с прусским королем. Гёте почтительно раскланялся, а Бетховен демонстративно прошел мимо, не снимая шляпы. Теперь превозносят

Бетховена за его поступок, а в свое время умилялись, да и теперь кое-кто умиляется на Гёте. А по-моему, оба правы и оба поступили хорошо. Если бы я был королем, вернее, на месте этого короля, потому что быть одним из ослоподобных Фридрихов я не хочу, я бы остановился, пожал руку Гёте и сказал бы: «Я рад, что Вы приветствуете меня. Значит, есть великий человек, который меня любит и уважает, или, по крайней мере, чувствует это по отношению к моему сану. Но я рад также и столько же, что господин Бетховен нашел в себе мужество выдержать свою линию поведения. Это показывает мне, что я не тиран, которого трепещут. При мне люди могут оставаться собою, не боясь ни меня, ни общественного суждения. Передайте господину Бетховену мое уверение в глубоком уважении, а Вы сами, господин Гёте, примите мое уверение и в моем глубоком к Вам уважении, а вместе с тем и в моем сердечном расположении к Вам.» Мне кажется, что королю стоило так ответить. Но разве очередной Фридрих или Фридрих-Вильгельм мог до этого додуматься?...

27.11.45 г. Сейчас, сидя в уборной, размышлял, что мы живем прямо-таки по-средневековому: полное отсутствие удобств, обеспеченности, уверенности в завтрашнем дне; разбои по ночам, лихоимство и ложь кругом, отчаянное одичание и варварство. Но нет, я ошибаюсь. В истории нет дословных повторений. И если наша эпоха многим напоминает Средневековье, то есть в ней и элементы Возрождения: усиленная научная работа в отдельных оазисах, вроде Академии Наук и подобных исследовательских институтах; изумительные мысли, переживания и достижения отдельных лиц. Счастливчики, кто в силах жить так. Вокруг меня нет и подобия такой атмосферы.

30.11.45 г. Наташа Маясова рассказывала о том, как вскрывали усыпальницу Годуновых. Кости истлели. Сохранились очень немногие. Борис и Ксения, очевидно, были в схиме. А Федор и его мать, как убитые, были наверно похоронены впопыхах, без пострижения. Уцелели обрывки красной рубахи юного царя и шелковые ткани от платья его матери. Сохранилась необычайно маленькая подошва от туфли Ксении. По ней можно судить о

стройности ее ножки да и, пожалуй, всего ее тела. Бедные и несчастные люди! Как мне их жалко. Особенно Федора и Ксению. Я перечитал вчера и сегодня главы из Карамзина о Борисе Годунове, о гибели его рода, о воцарении и гибели Самозванца. Какая трагическая история! Вот богатейший материал для поэта. Только Пушкин да А.К.Толстой достойно его использовали. Современные романы на эту тему, вроде «Из Гощи гость», слабы и неприятно действуют на меня и тенденциозностью, и плохой композицией, и посредственной, плоской психологией, и больше всего — неудачным языком. Надо по-пушкински решать эту проблему архаизации речи героев, надо знать меру, как это и показал Пушкин в «Борисе Годунове». А наши вальтер-скотты советских дней этого не понимают.

А сколько грабежей и убийств творится сейчас вокруг! Ночью, даже вечером, опасно ходить по улицам. Точно во времена Лихолетья или еще более раннего Средневековья! Когда все это кончится? Когда жизнь станет снова прекрасной и радостной? Кто может предсказать?

5.12.45 г. Христианство! Христианство! Как ни сильны, как ни справедливы порой нападки на него, а через него не перешагнешь, из него не выпрыгнешь и мимо не пройдешь безучастно. Будь рационалистом, как Вольтер или Франс, эстетом, как Уайльд, первобытной лесной натурой, как Гамсун, или поэтом ускользающих мигов, как Бальмонт, образ Христа, его учение, его исторические формы воплощения и идеальные образы— все волнует человека. Христианство и античность — это наши родители. Совместно с природой и бытовой обстановкой они формируют душу с детских лет и не перестают влиять до старости.

Кстати: читая на днях заметки Шопенгауэра о религии, я почувствовал, какое влияние он оказал на Розанова и Ницше. Только они в этом не сознаются. Особенно Розанов, который вообще любит заявлять, что он читал мало (хотя это неправда: я сам видел его богатую и умно подобранную библиотеку). Кажется, что и Ницше в своем «Антихристианине» ничего не говорит о Шопенгауэре, насколько помнится мне. А психологию Ветхого и Нового Заветов определил до них ярче всего

именно Шопенгауэр. Он им противопоставляет индийскую мудрость. Мне лично она глубоко не симпатична, даже враждебное что-то я чувствую ко всякому брамаизму, буддизму и его модернизации — теософии. Все это не нужно и даже вредно нам, выросшим на закваске христианства и античности. Думается мне, что глубокое проникновение в тайны античного духа спасло и Ницше, и Розанова от увлечения индуизмом. А Розанов также почувствовал и Египет. У Египта же с Индией нет родства. В этом отношении Шопенгауэр ошибался...

6.12.45 г. На улице сегодня морозно, а наш милейший домуправ со вчерашнего дня не топит. Если бы не беззаконная плитка, то пришлось бы замерзать. Сейчас у меня славно (+8° R). Никуда не хочется идти. Собрался было к Н.Н.Савельеву и отдумал: далеко, холодно, а интересу во встрече очень мало. Вчера зря проходил к Валентину. Он не приезжал. Был вечером у Флоренских. Взял у них читать «Вексфильдского священника» Гольдсмита. Раньше я никогда не добирался до этой книжки. А теперь вижу, что и не стоило. Скучно. Так же мало мне нравится, как и «Сентиментальное путешествие» Стерна. Прав был А.Франс, говоря, по свидетельству Бруссона, что шедевры не нуждаются в чтении. Они числятся шедеврами, а люди читают то, что им интересно. Для человека нашего времени пресны и нудны шедевры сентиментализма. Зато взял еще две книги и их читаю с большим интересом. Случайный 66-й том «Русской Старины» (1890 г.), завалявшийся у Ф[лоренски]х со времен П[авла] А[лександровича], взявшего его в библиотеке МДА, и монографию Б.Д.Грекова «Киевская Русь», изд. Академии Наук СССР, М.-Л., 1944. Приятно почитать несколько наивные мемуары старого времени, и еще интереснее погрузиться в седую древность нашей Родины. Я так увлекся книгой Грекова, что просидел с ней до 2-х часов ночи. Поэтому утром сегодня не выспался. В РУ было холодно, и я вернулся домой усталый, озябший. Да еще предложили от парткабинета составить монтаж для литературного вечера для избирателей на тему: «Старая Россия и СССР». А где книги? Где время? Где уют, необходимый для работы?...

13.12.45 г. Вот уже около недели, как опять мы без электричества. На этот раз почти весь город сидит без света. Говорят, что мы далеко превысили свой лимит.

Ходят слухи, что с 20 декабря вместо электропоездов в Москву будут ходить обычные с паровозами. Бесподобно! Этого не бывало даже, как мне помнится, во время войны. Вчера и сегодня наш дом не топили, и у меня только +4° R. Спать можно, но жить несносно. Сижу в шубе. Был вчера в Москве у Крестной. Они тоже сидят без света. Разговоры о грабежах и убийствах. Шайка «Черная кошка», появившаяся в Москве. Все кошмарно. До чего мы дожили?! И что будет? Мне больно и противно писать об этом.

20.12.45 г. Вчера вечером был у Флоренских. Встретил там Сережу Трубачева. Он только что прибыл из Манчьжурии. Был и в Германии до этого. Он изменился: вырос, стал разговорчивым. На этот раз он мне понравился. Рассказывал многое, но почти всё я уже знал по рассказам других. Одно только противоречило письмам и рассказам о немцах: у них не так уж мало книг в домах. Сережа видел целые библиотеки с прекрасным подбором немецких классиков. Встретил один раз прекрасную библиотеку с греческими и латинскими авторами в подлинниках и переводах, затем библиотеку с большим количеством итальянских, французских и английских книг. Но нигде не видел русских авторов ни в подлинниках, ни в переводах. Значит, все русское, как «советское», для немцев было табу! Когда он говорил мне об этих двух библиотеках, то я подумал: не все, видно, немцы были одурачены фашизмом; были среди них и настоящие люди, любившие и знавшие и античность, и вообще всю европейскую культуру. Я это сам думал во все время войны. И как мне жаль этих людей! Как им было тяжело под копытами Гитлера и его присных! Что-то родное отозвалось во мне, когда я слушал рассказы об этих неведомых мне, наверно, уже погибших или замученных наследниках духа Гёте, скромных книголюбах, окруженных коричневыми бандами...

21.12.45 г. Читаю дневник Никитенко, который читал впервые еще в бытность в Академии. То же впечатление: интересные факты и события и посредственные мысли самого автора. Редко встречается что-нибудь острое, оригинальное. Может быть, со временем то же скажет и

о моем дневнике какой-нибудь потомок, если ему случится когда-нибудь быть напечатанным? Что ж! Не будем огорчаться. Каждое новое поколение подходит со своими критериями, и оно в этом совершенно право. Многое, что в свое время казалось умным, благородным и возвышенным, кажется нам теперь фальшивым, патетичным, скучным и смешным. А каковы будут вкусы у наших потомков, судить трудно. Думается только мне, что у них будет мало нежности, тонкости чувств, изощренности мыслей, задушевности переживаний. Мы вступили в суровую эпоху. И если 19-й век часто называли железным и нервным, то наш век, возможно, позднейшие историки с философским уклоном назовут кровавым, а то и просто кошмарным. Достаточно вспомнить, сколько крови пролилось, сколько жертв было в период с 1914 по 1945 год! А сколько всего этого предстоит впереди! И, конечно, люди, которые выросли в такой обстановке, плохо будут понимать всё утонченное, изысканное и нежное. Куда уж тут говорить о моем дневнике или о моих стихах! Многие более крупные вещи надолго будут отринуты и позабыты. Им предстоит воскреснуть для новой жизни лишь тогда, когда воистину настанет новое Возрождение. Это относится ко всему искусству моего любимого Modern'a.<...> Если мне суждено прожить еще лет 30, то я, может быть, только перед смертью увижу зарождение родственных мне идей. Так некоторые романтики 40-х годов, помнившие расцвет романтизма, доживали до 90-х и 900-х годов. Интересно, чувствовали ли они нечто родственное в зарождавшемся символизме? Или старость притупила в них остроту восприятий, и они негодовали по адресу новаторов-декадентов вместе с позитивистами и натуралистами? Интересно было бы выяснить этот вопрос на основании мемуаров, дневников и т.п. документов. Насколько известно мне, никем это не было освещено.

Сегодня вдруг пришла мне в голову мысль, что я, в сущности, очень плохо доверяю всем естественнонаучным гипотезам и прочим объяснениям мира и его явлений. Какой-нибудь физик, биолог или медик придут в ужас от подобного обскурантизма. Но ничего не поделаешь. Таков уж я уродился. Я готов верить в самую необычайную и нелепую для так называемого здравого ума теорию; любая поэтическая фантазия сильнее овладевает

мной, нежели самый, казалось бы, незыблемый закон точной науки. И вот здесь, на страницах интимного дневника, я не стыжусь и не боюсь высказать это признание. А в жизни молчу, пропускаю мимо ушей, а иной раз и сам говорю не то, что думаю и чувствую. М.б., это нехорошо и даже постыдно. Увы! Разве мы все не ходим постоянно в масках? Пишу при коптилке. Электричества все нет и нет.

22.12.45 г. Когда больше сидишь дома, а не шляешься каждый день по чужим углам, то становишься как-то спокойнее, и дневник пишется чаще. Правда, в одиночестве, да еще при свете коптилки скучновато. Но теперь и в гостях не всегда бывает весело, а очень часто совсем неинтересно. Когда ищешь только теплого угла да чего-нибудь поесть, чтобы не обессилеть совсем от голода, как это было в 1942, 1943 и 1944 годах, то это найти легче, чем интересную беседу, которая пробудила бы дремлющие под гнетом повседневности мысли. Это последнее редко теперь случается: люди все так подавлены заботами о существовании, так устали и так отстали от своих былых духовных запросов, что им не до серьезных бесед. Только поесть, поспать, а если и поговорить, то разве только о самых легких пустячках.

А у меня, как я только мало-мальски стал сыт, снова вспыхнуло стремление мыслить. Да оно не угасало и в самые ужасные годы войны, как я ни голодал, как ни бедствовал тогда. И сейчас, хотя я и оборван совсем, как нищий, хотя в комнате у меня часто очень холодно и полутемно, хотя меня больно давят житейские заботы вроде стирки и починки белья, вопросы о том, что надеть, когда нет обуви и одежды, все же я стараюсь как можно меньше обращать на все это внимания и, хоть урывками, читать, мыслить, писать. Скажут: ты — один, тебе — легче, чем семейным людям. Верно. Но верно и то, что в семье, — конечно, в хорошей семье, — все друг друга поддерживают, и есть в ней та внутренняя теплота взаимной любви, участия, спаянности, чего совсем, совсем нет в моей одинокой келье. Поэтому у каждого есть свои трудности, каждый должен учиться по-своему нести свой крест жизни. И только — не опускаться, не отчаиваться, не унывать...

Наши дамы и девушки, да и мужчины в РУ стараются узнать, когда в суде будет слушаться дело Пустынской. Как им хочется туда попасть и повидать ее, по-

слушать всё! А я совсем как-то к этому равнодушен. М.б., это и нехорошо. Золя и Гонкуры на моем месте не упустили бы такого удобного случая пособрать жизненных наблюдений. А вот у меня внутреннее чувство говорит: это всё — пустяки по сравнению с тем, что ты носишь в себе, и если ты будешь охотно погружаться в этот житейский омут, то потеряешь себя. Проходи мимо, смотри холодным взглядом мыслителя и не задерживайся на пустяках. М.б., это — самомнение с моей стороны? Не знаю. Но мне отраднее пройти по оснеженному полю, глядеть, как склонились ивы над замерзшим прудом, слышать воющий шум ветра в ёлках и соснах, нежели углубляться в эти мелкие драмы, которые кажутся мне скорее дрязгами... При случайной встрече, взглянув внимательно в лицо, особенно в глаза совершенно незнакомого мне человека, я гораздо глубже и интереснее читаю историю его жизни и слышу тайное трепетание его души, нежели во время судебного процесса или после долгого разговора с ним о пустяках. Правда, такое проникновение в чужую душу бывает нечасто. Для этого надо быть в ударе, в своеобразном трансе созерцательности. Не знаю, м.б., все это очень нехорошо, что я говорю о себе, но я говорю искренне. Я — таков и меняться не желаю...

25.12.45 г. Сегодня весь христианский мир празднует Рождество, и только одно православие стоит в стороне. Как это нелепо! Патриархи и митрополиты летают на самолетах, многие духовные носят в обычное время светскую одежду, а григорианского стиля боятся, как чумы. Уж не потому ли только, что он «григорианский»? Так и юлианский был создан не православным и даже не христианином. Я что-то совсем позабыл с академических времен, почему мы так цепляемся за старый стиль.

Рождество! Ёлка, славление Христа и все такое торжественное, а вместе с тем чистое, простое, душевное! Я с наслаждением перебираю в памяти картины детских лет. Становится так ясно и тепло на душе. Вот я теперь совсем уже не православный, не церковник, а все, что связано с юными воспоминаниями о религии, все так прекрасно, так радует. Слава Богу, что все это было. «Суждено было войти и в эту дверь». И теперь скептик Серво с наслаждением окунается порою в эти пахучие волны, звенящие песнопения, сияния дивных огней.

Будут ли наши дети и внуки так счастливы в годы зрелости и старости, когда захотят вспомнить пору своего детства? И будут ли у них так красивы и очаровательны их образы прошлого?

27.12.45 г. Читаю дневник Никитенко и мемуары Бруссона о Франсе. Какая разница! Что значит — иное время, иная обстановка — люди все те же, но взгляды, оценки, самый modus vivendi — совсем иначе. В какой ужас пришел бы Никитенко, если бы он смог прочесть мемуары Бруссона? А, м.б., и не пришел бы?...

Бог — Судьба — Рок — Неведомое — это все Высшая Сила, которая для меня несомненно существует. М.б., она и не такова, как мы все, люди, о ней мыслим, но она есть, и в ней все корни всякого бытия, от звезд и до личинок.

31.12.45 г. Утром ушел и забыл ключи во входной двери. Хватился их в РУ, страшно перепугался: подумал, что потерял. Тотчас же вернулся домой, дело выяснилось: соседка, оказывается, вынула их, и я успокоился. Но страшно устал...

Когда сегодня шел домой с мыслями о возможности потери ключей, то загадал: если ключи найдутся, в следующем году все будет хорошо. Ключи нашлись!...

1946 год

3.1.46 г. Вчера был у меня Th. Просидели весь вечер, проговорили, попили чаю. Он очень мил. Есть природное благородство и даже известная тонкость, есть пылкий и пытливый ум. Но как мало накоплено культуры! А уж ему скоро 17 лет. Но он в этом нисколько не виноват. Наоборот, я изумляюсь, как он остался таким, несмотря на все тяготы последних 4-х лет! Могло быть стократ хуже. М.б., он-то и будет моим «последним» другом, который, если не «закроет мне глаза» (не люблю этой фразы и знаю, что умру совершенно одиноким), то хоть немного скрасит последние годы мои и дни. Хотелось бы поскорей дать ему всё то, что давалось предшествующим друзьям, но все они были в несравненно более выгодном положении, нежели он.

14.1.46 г. В РУ ждут ревизии. Поэтому у всех настроение, как в 1-й сцене «Ревизора». Мне очень это треплет нервы, т.к. теперь в качестве старшего преподавателя я принадлежу до некоторой степени к администрации, и если посыпятся ей на голову какие-нибудь шишки, то достанется и мне. Поэтому у меня за последние дни множество работы по доделыванию и отделыванию всего, что не было выполнено в свое время. Хочется одного: скорее бы все прошло мимо или прошло благополучно. А мне урок: не вылезай из маленьких ролей — покойнее!...

15.1.46 г. Морозит. Утром было -17° С. Сейчас, наверно, гораздо больше. А наш дом не топили со вчерашнего вечера. Когда пришел из РУ, у меня в комнате было только +7° R. С 9-ти часов зажег плитку, как только дали свет, и держу ее до сих пор. Поэтому сейчас +10° R. Попил чаю и согрелся. Зачем я пишу об этих мелочах? Да затем, чтобы потом восстановить картину моего теперешнего житья-бытья. Я жалею, что не вел дневника с юных лет. Как бы он наивен и глуп ни был, он мне теперь был бы очень интересен. Так хотелось бы вспомнить все, что волновало и наполняло когда-то ум и душу. Теперь для этого приходится напрягать память. И иногда в силу какой-нибудь ассоциации вдруг всплывают тогдашние мысли, чувства, лица или события. И сразу переносишься лет на 30 назад и почти живешь всем снова... С 1914 г. некоторой помощью могут служить мои стихи. Но в них Dichtung* преобладает над Wahrheit**...

На днях читал в газете, что японский император в новогоднем рескрипте объявил учение о божественности императора ложным. Вот это — достижение Макартура и американцев! Они сначала добились отмены государственной поддержки для религии синто, проповедовавшей эту идею, а теперь заставили императора самого подрубить тот сук, на котором он сидел. Бесподобно! А что сказать об умах японцев, об их внутренней ломке, которую, несомненно, переживают все искренне мыслящие в Японии культурные люди? Мне думается, что

* Поэзия (нем.).— *А.Н.*
** Правдой (нем.).— *А.Н.*

эту же внутреннюю трагедию переживают все настоящие люди и в Германии, и в Италии, и в Финляндии, и везде, во всем мире, а не только в побежденных странах. Как хотелось бы почитать заграничную публицистику, а еще более — философские статьи и художественные произведения. Но «Интернациональной литературы» нет. А ведь только она, пусть далеко не всесторонне, отражала духовную жизнь заграницы. Сейчас же ничего мы не знаем. Неужели Манны, Фейхтвангер, Уэльс, Шоу и другие молчат? Почему же мы не смеем надеяться услышать их голоса? Меня очень огорчает такая опека над нашей мыслью. Это напоминает цензуру времен Николая I во всех ее худших проявлениях. Но к чему всё это привело? История дает на это свой недвусмысленный ответ. Неужели люди, стоящие теперь наверху, не понимают всего этого? Или им некогда заниматься этими мелочами, и они их отдали на откуп глупцам и подхалимам?

17.1.46 г. Сегодня вечером, возвращаясь из РУ, слышал на площади радио. Передавали стихотворение Ахматовой «Пушкин в Царском Селе». Певица недурно спела его, музыка тоже неплохая (не расслышал, чья). Но как мне сладко было услышать стихи любимой поэтессы! Чем-то заветным и старинным пахнуло на меня, вспомнилось, как в 1919 году я читал впервые ее книгу «Четки» и был очарован. Придя, записал стихи, возникшие в голове еще на площади. Но по дороге кое-что забылось. И получилось гораздо хуже, чем складывалось там, на ходу. Поистине, мне надо с собой носить блокнот и карандаш, чтобы тотчас записывать все поэтическое, которое чаще всего рождается в самой неподходящей обстановке и в самый неудобный момент. Но такие записи на ходу хорошо было делать во время моих путешествий в МООСО, когда в лесу и в поле я почти никого не встречал. А в городе будут принимать, пожалуй, за сумасшедшего, если я остановлюсь на улице и стану что-то записывать... И вот я, при всем своем презрении к общественному мнению, все же стесняюсь. Как сильна «княгиня Марья Алексеевна»!*

---

* Реминисценция на известную реплику Фамусова в комедии Грибоедова «Горе от ума».— *А.Н.*

Вчера перечитывал отрывки из «Соборян» Лескова. Как хорошо! Мне Лесков как-то ближе Гончарова и романов Тургенева, только Тургеневские и Чеховские рассказы я люблю наравне. (Чеховские, конечно, не ранние, не юмористику, которая мало меня трогает, как и вообще всякая юмористика.) Любопытно признаться себе самому, что я и Толстого Льва, и Достоевского люблю не так задушевно, как новеллы Лескова, Тургенева и Чехова. Те — точно глыбы — величественны, потрясающе жутки и мучительны. А эти как-то человечнее, ближе. Вот почему и Флобера я люблю больше Бальзака, Анатоля Франса больше Флобера. Вероятно, потому же Б.Зайцев и А.Толстой 2-й мне ближе и Тургенева, и Лескова, и Чехова. Все это мне говорит о том, что каждый из нас — сын своего века, и свое ему ближе и милее всего. Это все равно, что родные или друзья — они ближе и дороже нам, нежели более значительные, но совершенно чужие и чуждые душе люди. Как все относительно! Боже мой!

18.1.46 г. Сегодня день смерти моей Мамы. Мне было грустно еще вчера. Но сегодня как-то все затихло. Исполнилось уже одиннадцать лет с того момента. Острота и горечь исчезли. Но осталась глубоко внутренняя боль. И она очень ощутима, когда я серьезно об этом задумываюсь. Я стараюсь не углубляться в эти переживания и мысли — из чувства некоторого самосохранения. Пусть это эгоистично. Ведь тот, кто хочет жить, не должен отдаваться длительно трагическим надрывам. Они, как буря, проносятся, и ломают деревья, и разрушают здания, но не очищают атмосферу души. Однако нельзя жить в обстановке непрерывной бури. Так и с душевными катаклизмами. Я часто думаю теперь о своей, м.б., недалекой смерти. Для меня — прожить лет 35 или 40 без Мамы — это порядочный срок. А для нее, если только есть бытие после смерти, индивидуальное и разумное, тем более в некотором высшем плане, нежели наше земное, этот срок, м.б., является только мигом...

Ничего-то ничегошеньки мы об этом не знаем, а ведь эта проблема, казалось бы, самая главная в нашем существовании. Все религии и философии в сущности и вызваны только ею. Другое все — пустячки, житейская необходимость. И вот наука и служит этой необходимо-

сти, вырождаясь мало по малу в технику в лучшем случае, или же просто в ученое крохоборство и гробокопательство. Искусство на высших ступенях взлетает над этим скудным и нудным житейским морем и зовет в блаженные неведомые миры. А в своей повседневной посредственности и искусство только забавляется мелочами и тонет в этом море житейском. Бывали народы и эры, которые жили и дышали вечностью — Египет, хотя бы. А вот мы — совсем другое дело. У нас людей, тянущихся к этому торжественному, жуткому и все же желанному простору, считают мистиками, т.е. сумасшедшими, больными, почти дурачками...

Вечером читал отрывки из статьи Л.Шестова «Potestas clavium» («Бюллетени литературы и жизни» 1915-16 гг. № 14). Как я понимаю Шестова и сочувствую ему! Жаль, что у меня нет всех его сочинений. Это, пожалуй, самый близкий мне по духу мыслитель за последние годы. Надо будет поискать в Москве у букинистов его книги. Жаль, что нельзя достать его работы о Паскале («Гефсиманская ночь»), изданной по-французски уже за границей. О ней я читал в каком-то французском каталоге. А что он еще написал после своего отъезда из России, я не знаю. Как это грустно! Как хотелось бы мне прочесть все, что писали за границей Мережковский, Гиппиус, Бальмонт, Игорь Северянин, Бунин, Борис Зайцев, Муратов, Вячеслав Иванов, Эллис и другие!...

24.1.46 г. Сегодня истопили. Электричество исправили, и я подогрел еще комнату плиткой. Сейчас у меня +11° R. Я счастлив. Напился крепкого чаю с сахаром, со сгущенным американским молоком и белым хлебом. Не каждый день я могу позволить себе это удовольствие. А как немного мне стало нужно! Перечитываю «Кима» Киплинга. Как хорош лама! Как бы я хотел стать таким! Вот что значит близкая старость! Но увы! Страсти еще не совсем умерли во мне, и я — не подвижник, не святой, а грешный и слабый человек. Господи, спаси меня!

3.2.46 г. Вчера с РУ ходил на митинг по случаю приезда нашего кандидата в депутаты [Леонида] Леонова. Это было в 6-7 часов вечера. Площадь освещена яркими прожекторами. Они все время движутся, и сиреневый свет дает видеть летящие снежинки. Очень красиво,

почти сказочно. Речи его из-за шума толпы не слыхал. Потом был фейерверк. Красные и зеленые ракеты. Но все очень однообразно. Не было того разнообразия, которое я видел в юные годы во время пасхальных иллюминаций. Но в теперешней скудной жизни и это хорошо. Я живу действительно скудно: не бываю ни в театре, ни в кино и даже не слышу музыки, т.к. у меня нет радио. Только книги и мечты. Хорошо хоть это есть!...

8.2.46 г. Дома тихо, тепло, светло. Электричество вот уже несколько дней горит всю ночь. Скептики говорят, что это — по случаю кануна выборов. После 10-го февраля — опять посидим в темноте. Хотелось бы и не верить, но теперь как-то привык к неприятным неожиданностям, и потому по неволе веришь... Vivrons verrons!*

Книг новых нет. Негде и не у кого их достать. У Фл[оренски]х в их библиотеке чёрт ногу сломает, такой хаос. И когда у них просишь книгу, то они смотрят так, точно ты ее украсть хочешь. Очевидно, они думают, что раз отец в ссылке, то его библиотека должна оставаться за семью печатями. Вот уж поистине, как собака на сене, и сам не читаю и другим не даю. Как это увязывается с христианскими идеями, я понять не могу.

Вот и перечитываю свои книги. Иной раз это и хорошо, а иной раз так хочется еще не читанного, нового (по крайней мере — для меня). Кончаю писать: почерк — никуда. Устал.

11.2.46 г. Был вчера вечером у Флоренских. Они пеняли, почему долго не показывался. Я ссылался на нездоровье, на занятость в РУ и, наконец, на некоторую долю мизантропии, овладевшей мной за последние недели. Несмотря на их участие ко мне, все же мне было у них скучно. Оля показывала свою комнату, в которой она опять устроилась. На стенах портреты отца, натюрморт (цветы) и Троицкая колокольня — акварель Т.Н.Грушевской. Колокольня не удалась: верхние два яруса смяты. Цветы воздушны и хороши. Затем фотоснимок с Венеры Милосской, а рядом, в углу — икона и распятие. Не по-

---

* Поживем — увидим! (фр.).— *А.Н.*

нимаю, чего Оля нашла именно в милосской Венере? Уж очень она фундаментальна. Впрочем, сама Оля — порядочная толстушка... Я заметил, что у нее, как у Веры из «Обрыва» [Гончарова], нигде не видно книг, а потом пошутил, показывая на шкаф, комод и тумбочку: «Который же из них является «Марфинькиным шкапчиком со сладостями?» — «Будут все, — так же отвечала она, — когда только эти сладости появятся в изобилии...»»

Над кроватью очень красивая вышивка серебром по темно-лиловому шелку из Средней Азии...

За последние дни перечитывал «Дневник» Блока (1917-1921 гг.). Какая нервность! Какая затаенная мечта о победе духа музыки! Увы! Эта победа не осуществилась. Если говорить символически, то последние два десятилетия мне кажутся совсем не музыкальными и отнюдь не поэтическими, а монументально-архитектурными. Точно из небывало-тяжелых и устойчивых плит воздвигается огромное здание, величественно-грубое и простое, но способное простоять века, нечто вроде Вавилонской башни или пирамид Египта... И все музыкальное, все поэтическое принесено в жертву этому великану. Интересно, как откликнулись бы на нашу современность Блок и Есенин? Брюсов нисколько не удивился бы. Он нашел бы в ней многое, о чем писал в свое время («Республика Южного Креста», «Земля», «Диктатор»). Ах, Брюсов, Брюсов! Вот с кем был бы я счастлив поговорить!...

18.2.46 г. Вот вспыхнул свет, и я могу писать. А до этого сидел и читал новый роман Г.Уэльса (не могу понять, почему после 1917 года его стали у нас именовать «Уэллсом») — «Самодержавие м-ра Паргэма». Пока только занимательно и даже скучновато, как самый почтенный английский роман.

Записываю, кстати, название другого его романа, которое забыл вчера: «Мистер Блетсворти на острове Ремполл». Действительно, эти имена неблагозвучны для моего уха. Очевидно, мне чуждо англо-саксонское, как германское. Скандинавское как-то ближе. М.б. потому, что в нас, русских, есть доза варяжской крови?

В этом романе я встретил интересную фразу. Изображается современный культурный пастор: *«Богословие*

было для него игрой, и скорее всего праздной игрой. Он стоял за воссоединение церквей в интересах цивилизации и возлагал большие надежды «на святых людей, живших в Троице-Сергиевой лавре под Москвой» (глава «Либеральный церковник», изд. ЗИФ, М.-Л., 1930, т. 3, с. 243).

Я вспоминаю фотографию времен приблизительно 1914-16 гг. в «Ниве», изображавшую англиканских епископов среди русского духовенства, когда шли заседания, посвященные вопросу соединения церквей. Меня поразили худые фигуры бритых англичан и необъятные «стомахи»* наших владык, особенно Антония Волынского... Неужели среди английской делегации были такие наивные идеалисты, вроде названного Уэльсом «либерального церковника», которые могли всерьез рассчитывать на то, что они встретят в Т[роице-]С[ергиевой] Л[авре] «святых людей»?

Ведь это Уэльс обронил неслучайно. По-видимому, были какие-то соответствующие тона в отчетах англиканской «высокой церкви». Любопытно, кого они подразумевали под «святыми» насельниками Лавры: лаврских монахов или академических? Вернее всего, что последних. Эти, по крайней мере, в культурном отношении были не ниже англичан. Достаточно вспомнить хотя бы Илариона, Феодора, Вассиана и других. Святости же не было ни в тех, ни в других. А о культурности лаврских «стомахов» и говорить не приходится...

9.3.46 г. Давно не писал: очень был занят, да то и дело нездоровилось. Простуда и сейчас еще не прошла. С начала марта погода стоит прямо-таки весенняя. Солнце. Тает, течет с крыш. А по ночам морозы. Не рано ли только это?

Получил в РУ шинель. Сшита хорошо. Она напомнила мне гимназические годы. (В Академии я ходил в пальто, а не в шинели — своеобразная «вольность» в 1917 году!) Вот я, наконец, и не оборванец! Как мало надо человеку моего возраста и моего времени, чтобы радоваться.

Вчера вечером до 1-го часу ночи читал романы Уэльса «В дни кометы» и «Война в воздухе».

---

* Животы (греч.).— *А.Н.*

12.3.46 г. Свет неожиданно погас раньше 9-ти. Пишу при коптилке. Получил сегодня «Хождение по мукам» А.Толстого. Читаю 1-ю часть. — Петербург 1914 года. Канун. Махровое цветение российского modern'а. Александрийская грусть (это же я чувствую и в «Голубой Звезде» Зайцева, и в «Вороне» О.Форш, и в некоторых романах и повестях М.Кузмина, и во всем символистическом искусстве той поры). Сколько мыслей и чувств возбуждает во мне это чтение! Все это — бесконечно близкое и родное и вместе с тем далекое, ушедшее и даже чужое для меня! И я — какой-то двойной: и тогдашний и сегодняшний. А надо всем — единый, тайный в своем внутреннем существе, непонятный в значительной степени себе самому. Не с кем об этом поговорить по-настоящему. Никто из моих друзей этого не поймет так остро и глубоко, как я. Ни Валентин, ни Георгий, ни Евгений, ни Оля, ни Наташа, ни даже АЗ. Ибо они этого не пережили. Они родились позднее. И для них это — история, преломленная в искусстве. Я же помню дыхание, аромат эпохи. Он похо́ж на запах гиацинта...

Только один Алексей Спасский мог бы понять меня и сказать мне многое, что дополнило бы мои идеи и переживания...

Как силён А.Толстой! И какими маленькими кажутся рядом с ним все эти Федины, Фадеевы, Леоновы и «маститый» Пришвин...

В воскресенье, 10 марта, был у Сашиной мамы. Она больна. Рак. Перенесла операцию. Сильно исхудала. Леонид за ней ходит заботливо и ласково. Это хорошо. Мне ее очень жалко и грустно, что сейчас нечем помочь. Она моя ровесница, а выглядит значительно старше меня. Я ушел от них с тяжелым чувством на душе.

Потом зашел к Жене Коневу. Он приобрел 4-й том «Потерянного времени» Пруста. Взял у него эту книгу и читал потом с большим удовольствием. Интересно на этот раз с ним поговорили. Его волнует теперь «Волшебная гора» Т.Манна. О ней он читал в курсе западной литературы и чувствует, что мир идей, обрисованный там, может сильно его увлечь. Самого романа он никак достать не мог. Сказал мне, между прочим, что спрашивал о книгах Льва Шестова (для меня) в букинистических магазинах. Ничего нет. В одном месте сказали: «У

нас нет католических авторов...» Бог мой! Шестова Льва, очевидно, по слуху приняли за какого-нибудь римского папу Льва VI! Как повеселился бы он сам, если бы узнал об этом. Потом слушал по радио хор под управлением Свешникова. Он прелестно исполнил «Выхожу один я на дорогу» и «Вечерний звон». Перезвон («бом-бом», а не «дон-дон», как было в мое время) не вполне удачен. В мое время даже провинциальные хоры пели его нежней. Но сольный голос — очарователен своей задушевностью. Лет 10 тому назад такие номера в радиопрограмме были немыслимы. Как хорошо (для меня и подобных мне), что они мыслимы теперь.

Получил письмо от АЗа. Хотелось бы ответить, но некогда. Надо готовиться к лекции об Алексее Толстом для инженеров ЗОМЗа к 16 марта. А для этого надо успеть перечитать все «Хождение по мукам». Я читал его давно. Всё перезабыл. И сейчас читаю не только по обязанности (для лекции), но и с удовольствием. Получается цельное впечатление. А то я читал трилогию в несколько приемов.

13.3.46 г. Свет в 9 часов погас, но в 10 опять вспыхнул, и я читаю и пишу с удобством. Только теперь я приучился ценить все эти мелочи и простодушно радоваться им. Надеюсь, что эта способность сохранится у меня до конца жизни. Да! Война многому меня научила. Вот сегодня я почти весь день дома. Кроме 2-х часов, когда ходил обедать в РУ и заглянул на базар, где купил белую булку за 15 рублей, сахару на 10 рублей, банку американского сгущенного молока за 45 рублей, стакан турецкого табаку за 5 [рублей] и две коробки спичек за 5 рублей. (Нарочно выписываю эти цены, чтобы впоследствии можно было сравнивать!) В комнате у меня тепло, +12° R. И я счастлив быть среди любимого мною скромного уюта, в тишине, со своими мыслями и мечтами, в стороне от человеческой суеты. Убирался. Переставлял книги на полках. Размышлял, что надо сделать летом: побелить потолок, починить в нем проломы, сделанные в 1942 году, когда исправляли отопление. Сейчас эти проломы кое-как заткнуты тряпками, и весь угол закрыт синей маскировочной бумагой. Потом надо будет оклеить стены, выкрасить рамы и подоконник белой масляной краской. Ликвидировать неудобную полку, купленную у А.И.Леман, этажерку и вместо них приоб-

рести большую, более удобную полку. Надо купить занавеску для окна, попросить Крестную починить турецкую шаль, чтобы использовать ее в качестве одеяла, и сделать из старого кавказского одеяла чехлы для шезлонга, для подушек на стул и на кресло. Тогда моя комната примет прежний уютный вид. Да надо будет завести снова цветы. Без них как-то скучно.

Вот она жизнь! Снова стало славно, если нельзя сказать еще «хорошо», а уж невольно думается о том, как устроить свой угол. Я люблю мою скромную келью. Многие говорят и сейчас, что у меня уютно, но мне хочется сделать всё по своему вкусу и добиться опять исключительной чистоты, какая у меня была до войны.

Хочется пожить покойно и с минимальными удобствами. Я не понимаю, как большинство окружающих меня людей, порой даже культурных, как например, Флоренские, живут кое-как, точно они — на бивуаке. Такой стиль жизни не в моем вкусе. Я считаю, что человек прежде всего должен сделать для себя окружение, чтобы иметь возможность отдыхать и испытывать удовлетворение, придя к себе домой.

И еще задача, и огромная, стоит передо мной: как только появится бумага (хорошая, в изобилии и доступная по цене), приобрести несколько переплетенных тетрадей (не меньше 20, толстых) и переписать старательно и разборчиво и дневник, и весь «Эрмитаж», а также и стихи.

Только бы Бог дал сил, здоровья и времени!

16.3.46 г. Сегодня по радио сообщили, что у нас будут министры вместо наркомов. Интересно, что будет дальше?

20.3.46 г., среда. Вчера вымылся в бане. Теперь это — не такое уж легкое дело, как бывало, — собрался и пошел. То мыла нет, то белья чистого. А чаще всего баня не работает или работает, а горячая вода еле капает. Поэтому я отправился вместе с нашими ребятами. Мылся в бывшей академической бане и вспоминал, как мылся в ней когда-то в 1919 году вместе с Алексеем. Погас свет. Мылись в темноте, и только около мывшегося ректора МДА, протоиерея Орлова, стоял банщик Ефим и жег лучинки, чтобы отцу ректору «было видно»...

Сегодня вечером ко мне заходил мой бывший сослуживец по школе Г.С.Горохов — «художник». Предложил

от имени Товарищества загорских художников прочесть для них лекцию о Леонове, нашем депутате в Верховный Совет, который вскоре приедет. Я согласился, хотя и не хотелось, т.к. творчество Леонова я не очень-то люблю, да и знаком с ним мало. Но за лекцию заплатят 100 рублей. А деньги — вещь неплохая.

Поэтому сейчас спешно читаю «Соть». Ничего себе. Но до А.Толстого Леонову далеко. Это писатель типа разных Златовратских, Елпатьевских и Засодимских, как мне кажется. (Неверно выразился: не «типа», а «масштаба».) Его военные опусы «Ленушка», «Взятие Великошумска» скучны. «Нашествие» — недурно. И в кино оно мне понравилось, и читал его с интересом. Его военные статьи напоминают мне статьи А.Н.Толстого...

25.3.46 г. Прочел «Соть» Леонова. Далеко ему до А.Толстого и даже до Шолохова. Дар поэта не завоевывается, а дается свыше. Монахи его скита отвратительны. Ничего в них нет от тех монахов и монахинь, что описаны у Мельникова-Печерского. Неужели и на самом деле так? Не верится. Здесь слишком явно чувствуется определенная тенденция. Мельников тоже был врагом старообрядчества в деле, но талант художника смог преодолеть вражду. Этого таланта у Леонова в «Соти» нет.

8.4.46 г. Вчера милый вечер у [В.Б.] Рекста. Устраивали вместе с ним Кира Флоренский и Борис Мишин. Было еще много гостей. Интересные разговоры о Германии. К[ирилл] Ф[лоренский] и Б[орис] М[ишин] прибыли из Веймара и Эрфурта. Оказывается, что современные немцы неважно знают Гёте, а Гейне совсем не знают. А у нас за столом была книга «Разговоры Гёте с Эккерманом», мы вспоминали о «Путешествии в Веймар» Мариэтты Шагинян и вообще поговорили на тему русской Гётеаны. Я рад, что мои ученики, не будучи специалистами по литературе, все же оказались культурнее современных фрицев и гансов.

Потом были другие разговоры о музыке, искусстве. Было легко говорить и приятно мыслить, и чувствовать в своем кругу. Очень понравился мне один гость — капитан Владимир Павлович. Фамилию позабыл. Интересный, культурный человек. Поэт к тому же. Жаль

только, что в его стихах чувствуется влияние Маяковского. Чем это Маяковский привлекает и завлекает сердца молодежи? Думается мне, что силой. Она у него несомненно есть, так же как и искренность. Но поэтичности, красоты и души у него нет, как нет ее в архаической скульптуре ранней Греции. Маяковский — лишь предшественник иных, более гениальных поэтов. Сейчас они — еще дети.

29.4.46 г. Светлую заутреню встретил в Успенском соборе Лавры, который открылся к Пасхе. Собор освещен электричеством так ярко, как никогда — в прежние времена. Народу масса. Служения почти не видел из-за толпы и убожества ритуала. Голосов духовенства и певчих (монахов) почти не слышно: так они слабы и такой шум от разговоров в соборе. Когда вышел с крестным ходом на паперть, то был поражен колокольным звоном. И горько — очень он убог по сравнению с прежним благовестом Лавры («Царя» нет, как и многих других колоколов!), и сладко — опять звонят! («Приди ты, немощный; приди ты, радостный!...» — так и вспомнилось.) Около собора, до колокольни, сплошная толпа с зажженными свечками. Вечер теплый и тихий. И это было прекрасно и трогательно...

В среду был у Крестной, а вечером, по возвращении из Москвы, у Коневых, которые продали еще часть дома, переселились и праздновали новоселье. Изумительно вкусный пирог. Женя устроился в новой комнате уютно. На другой день подарил ему Метерлинка (ПСС — изд. Маркса)...

10.5.46 г. На днях ездил в Мытищи в РУ-11 с показом нашей самодеятельности (пение, пляска, пьеса, декламация). Было 80 человек учащихся. Успех посредственный. Выступали и другие училища. Большинство — не лучше нас. Понравился мне хор в РУ-57 (Подлипки) и акробатические номера в РУ-3 (там же). А в общем — все очень слабо. Невольно вспомнишь своих декламаторов, свои постановки, хор Б.А.Гальнбека, драмкружок Яловецкой и Вальдина. Если бы теперь показать это, так все с ума сошли бы от восторга. Отчего это все снизилось и потускнело? Дух времени? Всеобщая усталость?

2.6.46 г., воскресенье. Перечитываю статьи А.Франса из сборника «Литература и жизнь», ГИХЛ, 1921. Пре-

лесть! И вспоминаю: когда-то я читал том его «La vie litteraire» в подлиннике. Это было, когда академическая библиотека находилась еще в Загорске. Как мало я ею пользовался! Если бы теперь она была здесь! А тогда я был еще юн и глуп, много времени тратил на развлечения светской жизни, если только можно назвать жизнь тех годов (1918-1930 гг.) «светской»...

4.6.46 г. Сегодня прочел в газетах о смерти М.И.Калинина. Жаль его. О нем никто никогда злого слова не сказал. Последние соратники Ленина сходят с исторической сцены...

У нас в РУ сегодня был суд над 4-мя учениками, которые грабили своих товарищей. Двух приговорили к 2-м годам, и двух к 3-м годам тюремного заключения. Авось, это образумит остальных!...

Вчера был у меня Ж.Конев. Попили чайку (мятного), поговорили. Он собирается в июне съездить в Крым. Это прекрасно. Надо ему увидеть русскую Италию. Я немножко даже позавидовал его предполагаемому путешествию. Вспомнилось море, розы, кипарисы и лунные ночи в Бахчисарае, Гурзуфе и в Ялте. И мне было тогда только 26 лет!

7.6.46 г. Сегодня сидел до 2-х часов ночи. Это уже суббота, 8 июня, канун Троицына дня. Говорят, что из Москвы в Лавру идет крестный ход, прибудет служить патриарх, будут петь Лемешев и Михайлов.

Я читал мемуары А.Белого, а потом свои мемуары. Приписал еще одну страничку для раздела «Сегодня». Настроение у меня ясное. Это хорошо. Хорошо и то, что меня опять потянуло к писательству.

Сегодня днем собирались тучи, накрапывал дождь, но не разошелся. Наверное, к Духову дню соберется гроза. Только бы Троицын день был ясен. Я хочу побывать и у всенощной, и на обедне. Хочется увидеть теперешнее торжественное служение, чтобы сравнить с прежним. Пугает только теснота. А раньше (в 1919-1920 гг.) я ее не боялся...

9.6.46 г. Вчера был у всенощной, а сегодня на литургии в Успенском соборе. Служили патриарх, митрополит Николай и еще какой-то епископ. Очень тесно,

толкотня, духота. В народной массе мало молитвенного настроения. Преобладает любопытство. Все же «Верую» и «Отче наш» пел весь собор и довольно стройно, хотя и не так величественно, как это бывало до 1919 г. в Троицком соборе. Вообще, весь церемониал как-то бледнее и скуднее, чем во времена патриарха Тихона или даже московских митрополитов. Какая-то Равенна времен Теодориха!

Все навевало на меня грусть. Ушло старое великолепие, ушло и, по-видимому, не вернется... Во всяком случае, я не доживу до этой поры.

И вспомнились мне служения в нашем академическом храме и в Лавре в прежние времена... Надо будет этим летом записать мои воспоминания того времени, поворочить как следует память. Недаром мне Иларион говорил в 1920 году: «Так служить, как служили у нас в Академии, могли и умели еще разве в трех-четырех местах в России...» Он не указал, где именно, а я не спросил, но думается мне, что он имел в виду академические храмы в С[анкт-]П[етер]б[урге], Киеве и Казани.

Как я все-таки разочарован патриаршим служением!

30.6.46 г., воскресенье. Читаю Уэльса «Первые люди на луне» и «Борьба миров». Последняя книга подействовала на меня угнетающе. Вероятно, потому, что напомнила недавние ужасы 1941-1945 гг. Раньше я читал этот роман со спокойным сердцем. Какой поразительный талант у Уэльса! Как он мог предвидеть многое, что потом стало явью! Вот настоящее торжество логического мышления и интуиции!

10.7.46 г., среда. Мы числимся в отпуске с 3 июля по РУ, а по-настоящему я освободился лишь сегодня. К вечеру получил отпускную зарплату, купил водки, сделал винегрет — и блаженствую... Пью в одиночестве, т.к. желанных компаньонов нет, а такие, как Антонина, излишни. Лучше пить со своими думами и мечтами! Купил у нашего бывшего преподавателя А.С.Смирнова два комплекта «Нивы» за 1914 и 1915 гг., еще п[олные] с[обрания] с[очинений] Майкова и Ростана. Настроение у меня прекрасное. Если так будет протекать моя старость, то — благодарение богам! Читаю, курю и пью. Уже далеко перевалило за полночь...

19.7.46 г. Сегодня ездил в Москву. Там меня ждала печальная новость: Крестная лежит в постели без движения. Это не паралич, но все же очень нехорошо. Жаль мне ее отчаянно и больно, что ничем особенно не могу ей помочь. Ехал назад в глубоком раздумьи: неужели и меня ждет со временем такая участь? А погода дивная! Солнце закатывалось в легком, прозрачном облачке, почти в тумане и золотыми лучами заливало землю. Освещение очень напоминало гравюру Фалилеева «Scigla mur» (в монографии Н.Романова о Фалилееве она помещена после стр. 64). Многие, увидев эту гравюру, говорили о неестественности ее красок, о небывалой желтизне, какой в природе не бывает. И я сам готов был думать так. Но теперь убедился, что Фалилеев прав. Я сам видел эту желтизну, это золото солнечных закатных лучей. И всей яркости Фалилеев еще не передал. А в том пейзаже, который он награвировал, должно быть еще больше блеска, т.к. там еще поле со спелой рожью.

Надо верить художникам. Они умеют улавливать редчайшие миги, своеобразнейшие картины природы. Мы думаем, что они своевольничают в линиях и колорите, а они правы, они учатся у природы и подчас еще не в силах полностью передать ее неисчерпаемое богатство красоты и очарований.

24.7.46 г. Вчера был у Н.А.Чербовой. Вместе с М.Н.Гребенщиковой и сестрой Н.А. гуляли по Никольскому кладбищу. Дивный день. Солнце. Тишина. Кругом зелень. Видел могилку Свитальского, вспоминал о д-ре Мелентьеве, о поэтической любви Володи и Михи... Куда все это кануло?! Только во мне живет поэтическая грусть об их сладкой любовной тайне. Подумал о маме, похороненной там же. Мысленно поклонился ей, поцеловал ее и благословил сырую землю, тоже мать, приявшую мою мать и имеющую приять и меня.

Но в основном, настроение мое и моих спутниц было не меланхоличное. Мы много шутили и смеялись. Точно исполнились слова поэта: *«И пусть у гробового входа младая будет жизнь играть...»** Хотя надо заметить,

---

* Из стихотворения А.С.Пушкина *«Брожу ли я вдоль улиц шумных...» — А.Н.*

что четырем представителям этой молодой жизни было вместе побольше 200 лет!...

29.7.46 г. Вернулся с выпускного вечера в РУ. Было скучно. Кое-кто из ребят напился и были маленькие скандальчики. Под конец разогнали всех ребят и устроили пирушку для учителей, мастеров и гостей с завода и из городских организаций. И там было скучно. Слишком разношерстная публика. И малокультурная в большинстве. Наши вечера в Рабпросе и выпускные вечера в десятилетке были оживленнее и интереснее...

6.8.46 г. Вместе с Чербовой, Гребенщиковой и Палкиной был у о. Михаила Соболева в Тарасовке. Прекрасное вино (кагор и портвейн), вкусный сладкий пирог с черносмородинным вареньем. Радушные хозяева. Ласковый, дружеский прием. Поговорили о церковных делах. Соболев рассказывал, как со своими прихожанами совершил на днях паломничество в Лавру. Сообщил, между прочим, что монахи хотят открыть в скором времени бесплатное питание для бедных, как это было при монастыре до 1917 года. Вот это будет крепкая агитация! По дороге наш квартет был, как и обычно, оживлен, много шутили и смеялись. Съездили удачно, без дождя.

11.8.46 г., воскресенье. Вечером был у Флоренских. Разговор с В[асилием] П[авловичем] о влиянии Эллады (через Византию) и Востока на русскую культуру. Слушали по радио «Руслана и Людмилу». С С.Трубачевым разговор о церковном пении в МДА. Взял читать 2-й том «Дневника» Никитенко, письма Тургенева к графине Ламберт, «Картины римских нравов» Фридлендера. Для Феди* взял посмотреть иллюстрированное издание «Народы Земли» под ред. А.Острогорского, т. I, СПБ, 1903 г.

Ночью тепло. Огромная луна. Романтический пейзаж. Но я чувствовал себя неважно. Устал. Было скучно. С удовольствием вернулся к себе домой. Становлюсь домоседом — и хорошо!

Перед походом к Фл[оренски]м разобрался в своих тетрадях (библиография, выписки из книг). Делал кое-

* Комаровского.— *А.Н.*

какие выписки из книги Таннери, перед тем как ее вернуть Василию Павловичу. Удивительно успокаивают эти занятия. Пишешь, думаешь, куришь — и на душе становится покойно и легко.

13.8.46 г. Вчера и сегодня очень жарко. Сейчас окно у меня открыто, и я сижу босой, в одних трусах.

Днем убирался и разбирался в своих бумагах. Вечером заходил к Н.А.Чербовой, думал, что ей передали мой портсигар, забытый у М.В.Соболева. Но портсигара нет. Досадно. Как бы он не потерялся... Взял у Н[атальи] А[лександровны] книжку Панаевой «Семейство Тальниковых», Academia, Л., 1928. Интересна вступительная статья Чуковского. Видел у нее еще интересную книгу Мальвиды Мейзенбург «Воспоминания идеалистки». Academia, М.-Л., 1933. Но ее получить не мог, т.к. она дана Н[аталье] А[лександровне] лишь на краткий срок.

Потом у Ж.Конева. Дивно расцвел у них сад, особенно хороши левкои, настурции и георгины. Сам Женя болен гриппом, но не сильно. У них в гостях его тетка Ксения А[лександров]на, моя бывшая ученица. Как быстро летит время: у нее уже дочь в 9-м классе, и я по рассеянности принял было ее за мать, так она похожа на ту, которая у меня училась когда-то.

Выпили, поговорили обо всем. Потом слушали «Би-Би-Си». Было сообщено о смерти Уэльса. Мне его очень-очень жаль. Хотя возраст его солидный — 79 лет. А Шоу — 90! Неужели и я проживу вроде этого?!

14.8.46 г. Вот и август в полном смысле слова. Сегодня так торжественно звонили в Лавре: «Первый Спас». Погода прекрасная, день солнечный, по небу плывут величавые белые облака. На завтра мы намечаем с Флоренскими отправиться в Мураново. Не было бы дождя, т.к. барометр, кажется, начинает падать...

16.8.46 г. Получил сегодня пригласительный билет на вернисаж в Музее Лавры, но пойти, к сожалению, не удалось: то дождь, то уроки (частные), то обед. Да и не в чем идти. Белый костюм порядком измарался. А черного — приличного — нет. Скоро ли я сошью себе мундир, костюм и обзаведусь приличной обувью, чтобы не

было затруднений, когда надо появиться в приличном виде? Думал ли я раньше когда-нибудь, что буду переживать такие затруднения?! Конечно, не думал. И, кто знает, какие еще трудности сулит будущее! Как хорошо, что мы не знаем того, что должно случиться! Иначе жить было бы не только скучно, но и тяжело...

18.8.46 г. Сходил в Лавру. Побыл некоторое время на литургии в Успенском соборе. Служил какой-то архимандрит. Народу мало, меньше полсобора. Затем осмотрел в Музее выставку XIV-XVIII вв. Очень хорошо. Впечатление прекрасное. И помещение ризницы весьма подходит к экспонатам. Одно время накрапывал было дождик. Но все рассеялось. На небе все-таки облачно. Сейчас сижу и пишу, а окно раскрыто. Небо проясняется. У меня по пути с обеда возникла легкая меланхолия. Теснились какие-то не только невыразимые, но и не понятные мне самому воспоминания. Они смутно говорили о таких же чувствованиях в такие же дни. Грустно мое неизбывное одиночество. Видел двух пареньков, идущих в обнимку, и позавидовал: вот есть же на свете друзья! А мои друзья от меня отходят каждый в свою личную жизнь. Ну, что ж! Примиримся с этим и пожелаем, чтобы их жизнь была легка и светла...

22.8.46 г. Сегодня для меня тяжелый день: я прочел в «Правде» от 21.8.46 г. № 198 (10280) постановление ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград». Я слышал вчера эту новость, но тогда мне говорили только о Зощенко. И это меня мало тронуло, т.к. произведений Зощенко я никогда не любил и не ценил. Но сегодня я увидал, читая газету, что наряду с Зощенко поставлено имя Ахматовой. И это глубоко расстроило меня.

«Журнал «Звезда» всячески популяризирует также произведения писательницы Ахматовой, литературная и общественно-политическая физиономия которой давным-давно известна советской общественности. Ахматова является типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безидейной поэзии. Ее стихотворения, пропитанные духом пессимизма и упадничества, выражающие вкусы старой салонной поэзии, застывшей на позициях буржуазно-аристократического эстетства и декадентства, — «искусства для искусства», не желающей идти в

ногу со своим народом, наносят вред делу воспитания нашей молодежи и не могут быть терпимы в советской литературе...»

Далее говорится о *«пустых и аполитичных»* стихотворениях Ахматовой, о *«вредных влияниях Зощенко, Ахматовой и им подобных несоветских писателей»*, *о «чуждой советской литературе людях, вроде Зощенко и Ахматовой»*, и, наконец, *о «прекращении доступа в журналы произведений Зощенко, Ахматовой и им подобных»*.

26.8.46 г. Вчера с 12-ти до 1 часа ночи... просматривал кое-что Розанова и главу «Геенна» из «Столпа» Флоренского. Теперь я окончательно вырос, потому что сознаю, что стою «над» этой книгой (хотя и признаю ее исключительную талантливость, даже гениальность). Основной недостаток Флоренского: у него нет строгой меры, пожалуй, — вкуса. Слишком много недостойных мелочей касается он, особенно в примечаниях, тогда как надо делать отбор. Вот результат энциклопедизма и стремления к нему. Во всяком случае, из философов до 1917 года — он, Розанов, Шестов и Бердяев — самые значительные.

27.8.46 г. Был у всенощной в Успенском соборе. Служил патриарх и вновь посвященный епископ ташкентский Гурий (бывший наместник Лавры). Пели опять неважно. И вспомнилось мне, как лет 30 тому назад я еще мальчиком был на таком же всенощном богослужении в Успенском соборе... Какое великолепие! Сегодня этого не было и в помине. И день тогда был такой же пасмурный, как сегодня. А мне было только 17 лет. Какое богатство надежд и ожиданий было тогда в душе! И она с восторгом упивалась мрачным великолепием церковного ритуала. А сейчас нет восторженных чувств, как нет и упований. Грусть. Усталость. Грусть. И кругом — сплошная Равенна времен Теодориха. М.б., я и не Боэций, но мне, очевидно, уготовлена судьба подобная. И это усугубляет грусть.

30.8.46 г. Позавчера ездил в Калининград. Выступал там с речью на конференции. Говорил хорошо, уверенно и легко. И думал: не здесь, не перед этими людьми надо бы мне говорить! Но что же поделаешь? Судьба:

быть всегда в малых ролях и среди маленьких серых людей. Не угодно было Судьбе возвеличить меня и пустить по тому пути, к которому я всегда чувствовал предрасположение. Возможно, что и в этом есть свой смысл. Если только, конечно, он есть вообще во всей нашей человеческой жизни. Когда я читаю газеты, то вижу, что его очень мало, почти вовсе нет...

16.9.46 г. Прошла неделя невероятно напряженной работы. В РУ сижу с 9-ти [утра] и почти до 9-и [вечера]. В воскресенье опять работал, и все никак всего не сделаешь. Слишком много сумятицы, нет организованности, директор, завхоз — не умеют работать. Да и не хотят. Завуч — хороший, дельный, умный и трудолюбивый. И вот мы с ним вдвоем несем на себе всю тяготу. Устаю я отчаянно.

Читал «Социальную утопию Платона» Е.Трубецкого. Интересная тема, интересные мысли, но написано суконным языком. Для такой темы нужны Ницше, Вяч. Иванов или Зелинский...

3.10.46 г. 22-го и 29-го ездил в Москву. Привез, наконец, свой форменный костюм и испытываю удовольствие видеть себя прилично одетым. Этого я не испытывал буквально с 1936 года. Всё после этого только «донашивал». Крестной лучше. Но она пока еще не ходит. Жаль мне ее очень. И я задумываюсь о том, как бы мне не пришлось оказаться в последние годы моей жизни в таком же положении. Упаси, Господи! Это ужасно. Лучше, стократ лучше смерть.

Очень, очень я одинок за эти дни. Никто, кроме Феди, не навещает меня. Даже Жорж появляется очень редко. Никому, по-видимому, я не нужен, а особенно Вале! Даже не написал ни строчки. У всех своя жизнь, и мне в ней не остается места. Ну, что ж! Постараемся уйти в себя, мой Серво, постараемся перетерпеть грусть и горечь утраты близких и их охлаждения... Я стал ходить в церковь. Это наводит на меня «глубокую, но приятную меланхолию», как я читал о ком-то в одной книге. И я задумываюсь серьезно над вопросом: не уйти ли мне в монахи, чтобы отдохнуть от мира и от лживых соблазнов... Не лучше ли тишина — перед вечным покоем?!

13.10.46 г., воскресенье. Завтра Покров. Я не смог сегодня пойти ко всенощной (заклеивал окно), но все время думал об Академии и своей тогдашней жизни. Как все было ясно, хорошо! И сколько теперь у меня тягот и забот!

12-го выпал снег и держится сегодня. Ночью была прямо-таки снежная буря, а потом ясно, светила луна и слегка подморозило. Утром было скользко.

Погода до 10-го стояла прекрасная. Морозило. По утрам иней. Дивные солнечные дни. А я так и не выбрался в лес. И некогда, и не с кем. Очень, очень одинок я за последнее время. За утешением хожу даже в собор. Молитвенное пение и вся церковная атмосфера меня умиротворяет. Стоя в соборе, особенно за всенощной, я весь ухожу в воспоминания гимназических и академических переживаний. И это так хорошо, хорошо...

Прочел книжку Марты Додд «Из окна посольства», М., 1942. Очень интересно. Теперь мне становится постепенно понятной психология гитлеризма и покорной ему Германии. Это особенно после пьесы «Агент президента» Э.Синклера, которую я прочел недавно в «Новом мире».

За последние дни много думаю о своих стихах, о том, как их привести в порядок, озаглавить (некоторые старые заглавия книг надо переменить), какие предпослать вступления и т.д. А новых стихов пока не пишу.

27.10.46 г. Как я устаю за последнее время!<...> Старость приходит, война ли пережитая сказывается, или вообще теперешнее тяжелое время и моя нелегкая жизнь? Верно, все вместе взятое. Но я устаю так, как никогда раньше. Придя из РУ домой, радуюсь, если у меня тепло и светло. С наслаждением пью чай, ем что-нибудь и читаю. И такое утомление, что не хочется писать. Поэтому молчит дневник и не появляется совсем стихов. А в душе есть многое. И об этом некому сказать. У Жоржа и Жени сердечное томление и заботы о своем жизненном устройстве, у Вали «семейная благодать» (но именно — в кавычках) и те же заботы. Федя же слишком юн, чтобы во многом понять меня. Хотя меня радует его склонность к философствованию, которое, пусть и в мальчишеских масштабах, все же налицо. Как жаль, что он не учился у меня вместе с Валентином и Олей

Флоренской! Только теперь я убедился, как много я давал моим ученикам, которые хотели и умели брать, в свое время! И не только я, но и некоторые другие учителя, например — Маркиза. Мы влияли на миросозерцание, учили мыслить и чувствовать и жить, философствуя. Теперешние учителя редко делают что-либо подобное. Они сами нуждаются, чтобы их этому научили. До такой степени они ничтожны внутренне!

Зима легла с Покрова. Редкие оттепели, но снег весь не стаивал ни разу. Очень скользко, и мне трудно ходить в моих американских ботинках.

По ночам грабят и даже убивают. Поэтому я никуда почти не хожу. И так хорошо, хорошо одному дома! Как я понимаю теперь слова Розанова, что частная жизнь — превыше всего!...

3.11.46 г., воскресенье. Перечитал «Итальянские впечатления» Розанова. Хорошая книга. Много глубоких мыслей, а написано просто и читается легко. Хорошие книги писал Розанов, хоть сам и не был хорошим человеком. Это — ничего. Было бы хуже, если бы все обстояло наоборот...

16.11.46 г., пятница. В праздники топили хорошо. Сейчас топят редко. Вот уже два дня не топили, а на улице холодно, ветер в мое окно. Обогреваюсь плиткой. Вчера были проверки, но нас успели предупредить, мы всё попрятали, и ревизор нашел полный порядок. А многие в нашем доме попались, в том числе и Т.В.Розанова. Как это противно и унизительно! А приходится жульничать с плиткой и лампочкой в 150 свечей. Иначе и жить невозможно.

За время болезни я бывал иногда прямо-таки счастлив. Тепло. Плитка прилично согревает мою комнату. Приготовишь чай. Есть каша, а к ней сахар[ный] песок, принесенные из столовой РУ. Иногда я в кашу клал растаявшее мороженое. Получалось недурно. Затем немного пастилы яблочной (или мармеладу, как его зовут в коммерческом магазине), сахару и белого хлеба, купленных на базаре — и я счастлив! Я вспоминаю, как голодал в 1942 и 1943 гг., и благословляю Бога за то, что у меня тепло, светло, что я сыт и одет. А милые книги и мои писания дают мне душевное успокоение. Я проси-

живал до 2-х и 3-х часов утра, благо горел свет, и чувствовал себя, несмотря на болезнь, превосходно. Когда испытываешь духовную радость, читая, мысля, ощущая мир в душе, озаряемый мгновенными интуициями, за которыми следует восхищенное созерцание и углубленное размышление, то забываешь о своих маленьких невзгодах, не тяготишься одиночеством. Тогда испытываешь всем существом своим глубочайшую и содержательнейшую правду слов поэта: *«Все во мне и я во всем»*.

В последнее время я перечитывал «Смысл жизни» Е.Н.Трубецкого, «Свет Невечерний» С.Булгакова; читал впервые "Россия и Вселенская Церковь" Вл.Соловьева и "Восток, Россия и Славянство" К.Леонтьева (т. 7-й)...

4.12.46 г. За это время несколько раз хотел взяться за перо и записать свои мысли — и не взялся. Зачем писать? Кому это нужно? Кто посочувствует? Кто хоть прочтет со вниманием? И руки опускались. Лучше сам почитаю что-нибудь любимое, что поможет забыться, отдохнуть от скучной каждодневной суеты...

А вот сейчас, хотя эти вопросы по-прежнему стоят передо мной и отрицательные ответы на них нисколько не изменились, я пишу. Странное настроение! Захотелось писать — вот и всё!

Все чаще и чаще у меня появляются мысли о бренности всего земного. А сегодня, сейчас только что, когда я пил чай и читал рассказ Л.Андреева «Губернатор», вдруг точно осенило меня — стало на миг так ясно, что все — суета сует; что для меня, для моей души, для этого сокровеннейшего существа во мне, которого я сам не знаю, но о котором я знаю, что оно есть, ибо я чувствую его в себе; так вот, для этого-то существеннейшего основания всей моей жизни вся моя теперешняя жизнь — лишь бремя, лишь одна сплошная суета. Нужно что-то иное, какое-то освобождение. Так не уйти ли в монахи? Но и в монастыре суета, а подчас большая и худшая, чем в миру. Это я слишком хорошо знаю: нагляделся в свое время в Лавре и в Академии. Или зажить подобно лесковским «однодуму» и «овцебыку»?* Хватит ли у меня сил на такое самоотречение, на такую

---

* Намек на героев одноименных произведений Н.С.Лескова. — *А.Н.*

суровую самоуглубленность и изолированность? Боюсь, что нет. Очень уж я слаб да и избалован хотя маленьким, но все же уютом и удобством... И вот я стою на распутье, приближаясь к пятому десятку. Поистине чисто русское положение и состояние духа. У европейцев, наверно, этого не случается. Да и у большинства моих современников и даже сверстников этого нет. Все это происходит потому, что я так не похож на остальных, — «человек особой породы», как сказал мне один из учеников, А.Жаров. В этом есть своеобразная услада, но и сильная горечь. Последней, пожалуй, больше. Видно, лучше, удобнее, выгоднее быть попроще, поглупее, может быть, зато — покрепче, поустойчивее. Но уж выше себя самого (особенно — своего внутреннего существа, т.е. души) не прыгнешь!

За эти дни много читал. Скорее — перечитывал, т.к. новых книг нет. И рассказы Лескова, и Л.Андреева, и Ф.Сологуба, и книги Карсавина о католичестве, и Безобразова о Византии (из серии «Огни»), и стихи Брюсова и Вяч. Иванова, и «Воображаемые портреты» Патера, и даже Библию (и еще, наверно, кое-что, что уже позабыл)... Георгий принес мне книгу Каутского «Материалистическое понимание истории. т. II, Государство и развитие человечества.» Соцэкгиз, М.-Л., 1931 (отпечатанную, кстати, в нашем Загорске!). Умно написано. Но какая непроходимая скука! Почему это такие работы (между прочим и наш Плеханов также) отчаянно не нравятся мне, даже тогда, когда я в значительной степени готов согласиться с их положениями, повинуясь голосу холодного рассудка? Мне все вспоминаются в данном случае слова Пушкина: *«Тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман...»** Да! Истина должна возвышаться и возвышать человека. А эти истины какими-то ползучими лишаями лепятся по низине, и нет от них ни радости, ни утешения. Скучно, душно мне в их мире, и я готов от него уйти в царство самой нелепой, самой необузданной фантазии. На любую планету Ойле, что грезилась Сологубу... И это опять-таки потому, что я романтик, не доросший, очевидно, до подлинного символизма. Впрочем, и настоящие символисты испытывали нечто подобное. Вспомним «Переписку из двух углов»...

* Из стихотворения А.С.Пушкина "Герой".— *А.Н.*

1947 год

26.5.47 г. Вот я снова принялся за свой дневник. Почти полгода молчал. Только кое-что записал в разделе «Сегодня», куда я заношу на ходу то, что не успеваю записать сюда, и особенно то, что вдруг остро взволнует меня.

Почему такое молчание? Причины те же, которые упоминались мною и раньше. А сверх этого была еще одна: февраль и март я прожил вне своей комнаты. Наши милейшие домоправители постарались заморозить отопление, и в доме стоял отчаянный холод: у меня в комнате доходило до минус пяти градусов. Я еще держался при ноле, даже прожил дня два-три при минус трех, но потом не вытерпел и сбежал... к Антонине*. Там, по крайней мере, было тепло. А я не выходил из гриппозного состояния. Кашель, насморк не прошли еще до сего дня. Миленькая зима мне досталась в этом году!

Конечно, это пребывание в чужом углу, хотя и гостеприимно мне предоставленном, особенно на первых порах, было для меня нелегким, даже, надо признаться, тяжким. Я вспоминал зиму 1942 года, сравнивал и находил, что теперешняя была немногим лучше. Во всяком случае, я решил одно: даже в самых трудных условиях надо жить у себя, не соблазняясь никакими благами, предлагаемыми со стороны. Они будут очень скоропреходящими и сменятся самой отвратительной зависимостью и стесненностью, к которым такой человек, как я, никогда не привыкнет. А разные мелочи, которые все-таки составляют большое условие существования, тем более для меня, привыкшего к некоторым удобствам, эти мелочи здорово дают себя знать. Отсутствие сносной уборной, отсутствие нормального умывальника, спанье на несколько коротком диване под таким же одеялом с прибавлением другого одеяла, отсутствие моих книг и рукописей, плохой и неудобный свет (хотя и электрический, которого не было у меня на квартире, — тоже явление: где-то на окраине, у черта на куличках, день и ночь горело электричество, а один из самых

* Захаровой А.А.— *А.Н.*

больших домов города, помещающийся к тому же на «проспекте», то и дело был без света!) — все меня томило, нервировало, а подчас и мучило. И, наконец, самая обстановка, безалаберная, часто неряшливая, дом, где «ни пятнышка чернил», ни книги, ни карандаша, ни ручки, ни бумаги, но зато то и дело водка, безалаберные порядки, глупые посетители и такие же разговоры — вот что меня согревало в холодные дни этой зимы...

Прочел с интересом статью Г.Гака о философии «экзистенциализма» («Большевик», 1947 г., № 3). Статья дрянненькая, но тема любопытна. Мне показалось все старым: проблема «ангажирования» напоминает прагматизм Джемса, тема «покинутости» встречается у Метерлинка и у Шестова, цинизм по отношению к общественности слабее, чем у Розанова в его интимных вещах и т.д. Но все же это направление очень симптоматично для наших дней. Вот, пожалуй, и все, что я прочел за эти два месяца «изгнания». Немного! Зато многое передумал. Особенно в те редкие часы, когда заходил в свою насквозь промерзшую комнату и сидел в ней одетый, грустя и мечтая о том дне, когда смогу вернуться...

Не могу не записать того, как я рад сейчас, что сижу у себя, печатаю, горит свет и я опять в своем окружении — в окружении «малой Академии» Серво!

11.7.47 г. Вчера вместе с Женей Коневым собрались в Мураново. Поездка была удачной. Хотя при нашем отъезде собирались тучи, жар давил, и, казалось, неминуема сильная гроза, однако ничего этого не было. Только небольшой дождь покропил слегка землю в то время, когда мы уже ходили по музею. В музее так же прекрасно, как и четыре года назад, когда мы там были в последний раз. Та же тишина, чистота, уют красивых вещей. С особенным удовольствием я на этот раз любовался фарфором. Как он изумительно красив!

Хотелось пожить в этой тихой обстановке под шелест старых деревьев, доносящийся из сада, читая милые тома старых книг, которых там много в библиотеке, пополнявшейся со времен Тютчева-поэта до самых Октябрьских дней. Женя тоже говорил о своем соответствующем настроении. Особенно хорошо в парке, несмот-

ря на полную его запущенность (совсем нет цветов на клумбах, и только милые маргаритки по-прежнему пестреют в траве). Я чувствовал, что вся моя усталость и нервность совершенно излечились бы и исчезли без следа, если бы я смог лето прожить в такой обстановке. Это было бы лучше самого лучшего санатория где-нибудь на берегах Черного моря. Но — увы! — это невозможно...

Сегодня встал в 11 часов. Поубирался немного, потом почитал книгу Ромена Роллана о Вивекананде и Ганди. Это интересно, но все же в корне мне совершенно чуждо. Мир Индии — не мой, и я его считаю в корне враждебным нашей антично-христианской культуре, несмотря на некоторое внешнее сходство, которое слишком уж подчеркивает Роллан. Индия — только Восток. А Европа — только Запад. Мы же, русские, и Восток и Запад вместе слитые. Но Восток не индийский, а палестинский, сирийский и притом сильно эллинизированный...

13.8.47 г. Сегодня читал лекцию о Маяковском в поликлинике. Приятно было видеть по лицам врачей, что некоторых из них она заинтересовала. Но все же пришлось сократить подготовленный мною материал: люди устали после трудового дня и явно хотели скорее домой. Как это скучно! Никто не может сейчас жить так, как хотел бы. Все слишком переутомляются и от этого незаметно тупеют. Я чувствую это по себе.

За целое лето я только один раз был в лесу. Это я-то, который без леса, бывало, жить не мог. А теперь так утомляешься, что страшно и подумать пойти куда-нибудь далеко. И потом такая масса хозяйственных забот: то убраться, то постирать, то вымыть посуду, то сготовить что-нибудь поесть. А ведь я одинокий человек, обедаю, завтракаю и ужинаю в столовой РУ, не имею никаких огородов... Какова же жизнь семейных и многосемейных?

9-го августа всенощную в соборе слушал с Женей Коневым. Потом мягкий и хороший разговор с ним после службы. Тихий закат. Теплый вечер. И чувство, что все мы живем не так, как нам этого хотелось бы и как надо...

14.8.47 г. На днях услыхал, что умерла в Москве в больнице от рака желудка Сашина мама. Жалко ее бедную! Помню, как я встретил ее последний раз около базара, и она была очень плоха, но все же надеялась на операцию. А теперь, оказывается, умерла в больнице еще до операции. Кому какая судьба... Я часто в дни войны, видя ее неутомимую энергию, думал и даже слегка завидовал при этом: вот кто умеет постоять за себя и за своих близких, умеет бороться с трудностями жизни и, конечно, переживет такого неприспособленного человека, как я. А оказалось наоборот. Судьба своя у каждого, и хорошо, что мы не знаем своего будущего...

1948 год

30.5.48 г., воскресенье. Совсем я забросил свой дневник за последнее время. Почти десять месяцев ничего не записывал. Кое-что за этот период отметил в отрывках «Сегодня». И только. Даже не сделал подытоживающего обзора за 1947 год.

Это все потому, что дни мои летят так, как не летели даже и в годы войны. Я как-то стал отдаваться одному настоящему, острее чувствовать его трепетанье. Конечно, и веянье прошлого, и проблески грезящегося завтра не покинули меня. Но они — только в моих мыслях и мимолетных чувствах. Даже для себя я не осмысливаю их. И все же сейчас во мне идет какая-то внутренняя, не понятная даже для самого работа. И ею я не делюсь ни с кем. Впрочем, я ничем из своего внутреннего мира не делюсь ни с кем — не с кем! Много около меня интересных людей, но я одинок.

25.6.48 г., пятница. Опять долго не писал. Некогда. У меня идут экзамены в РУ. 16-го июня ездил с ребятами РУ в Мураново. Н.И.Тютчев очень постарел и даже подряхлел. У меня при взгляде на него все вертелась в голове мысль: неужели и я лет через 20 стану таким же?!

В музее и вокруг музея по-прежнему тишь и благодать. Много раз читал лекции в связи с юбилеем Белинского. Из них четыре платные. Они мне дали 400 рублей. Я даже начинаю симпатизировать Белинскому, как

я пошутил в разговоре с Чербовой Н.А. Но шутки в сторону! Действительно, почитав как следует его и о нем, я начал симпатизировать ему, его искренности и благородству. Вот лишнее доказательство тому, что надо прежде всего понять, глубже проникнуть в душу писателя, и тогда только по-настоящему оценишь его...

6.7.48 г. Сегодня ночь накануне Ивана Купала. Я об этом напомнил Жене Коневу, и тот пригласил меня отправиться в лес. Было уже после 10 часов, когда он зашел ко мне. Увы! Я отказался: поздно, холодно, не так давно я сильно болел ангиной и с приятным последствием в виде острого суставного ревматизма, который и сейчас еще не совсем прошел, так что романтические затеи мне сейчас не по плечу (хотя и по нутру!).

Женя порадовал меня новостью: у него на днях родилась дочка. Колеблется между именами Ольга и Елена. Поговорили кое о чем, вспомнили о Валентине. Я читал ему выдержки из романа Эптона Синклера «Крушение», который мне очень нравится.

Валентин устроился на работу в Москве в издательстве «Международная книга». Поэтому видеть его буду крайне редко. Судьба не благоприятствует нашим встречам.

На днях, когда я болел, навестила меня «Маркиза» (Е.В.Кузнецова). Вид у нее очаровательный. Вот кто выиграл от седины и пятидесятилетнего возраста. Меня ее появление растревожило немного: все напомнило мне более счастливое время моей молодости (1927-1937 годы), которое ушло безвозвратно.

7.7.48 г. Сегодня с сотрудниками и учениками РУ в Музее-заповеднике Лавры.

Монахи спешно ремонтируют здания. Трапезная церковь, митрополичьи покои, надвратная Предтеченская церковь и раньше отремонтированные Успенский собор и надкладезная часовня прекрасно выделяются на фоне полуразрушенных, недоделанных и запущенных музейных зданий.

Еще раз недобрым словом помянул я директоров Музея после Свирина и Трофимова с его «реставрацией», превративших Лавру в руины.

С сегодняшнего дня я в отпуске.

Купил 2-й том "Ивана III" Валерия Язвицкого. Интересно, но не очень. Скучновато. Зато «Крушение» Синклера захватывает так, что с трудом отрываешься от книги.

9.9.48 г. Опять не писал два месяца. Делал только краткие записи одних мыслей, которые меня задевали сильнее прочих, во «Внутреннем саду»* . Да написал 2-3 стихотворения, которые сейчас не нравятся самому. Впрочем, начал работать над «Эрмитажем». Переписываю книгу о гимназии и попутно очень многое добавляю. Это меня радует.

Все же я стал очень ленив. Не хочется иной раз ни писать, ни читать. Хочется только говорить и только с теми, кто мил сердцу, кого я понимаю и кто понимает меня. А если около нет таких, то лучше всего молчать, мыслить, грезить... По-видимому, это старость сказывается. Вспоминаю по этому случаю Маму и ее настроения после 1917 года. Как много во мне ее черт! Говорят, это — к счастью, если сын похож на мать...

Прочел недавно «Первые радости» Федина — посредственно, и книгу Тарле о Талейране (изд. 1948 года) — замечательно.

Сейчас наши ребята на копке картошки в колхозе. Меня и некоторых еще педагогов избавили от этой поездки, щадя нашу старость. А я скучаю без работы: она налаживала темп жизни. Я разучился быть без обязательного дела. Так, вероятно, старая лошадь, оставленная на покое, скучает об упряжи и телеге... Миленькое сравненьице!

5-го сентября был у Валентина. Очень душевно поговорили с ним...

5.11.48 г. Снег выпал 31-го октября. Подморозило. Было ясно. И снег держался три дня. А вчера и сегодня тепло. Все растаяло. Грязь непролазная и густой-густой туман. Я чувствую себя очень болезненно.

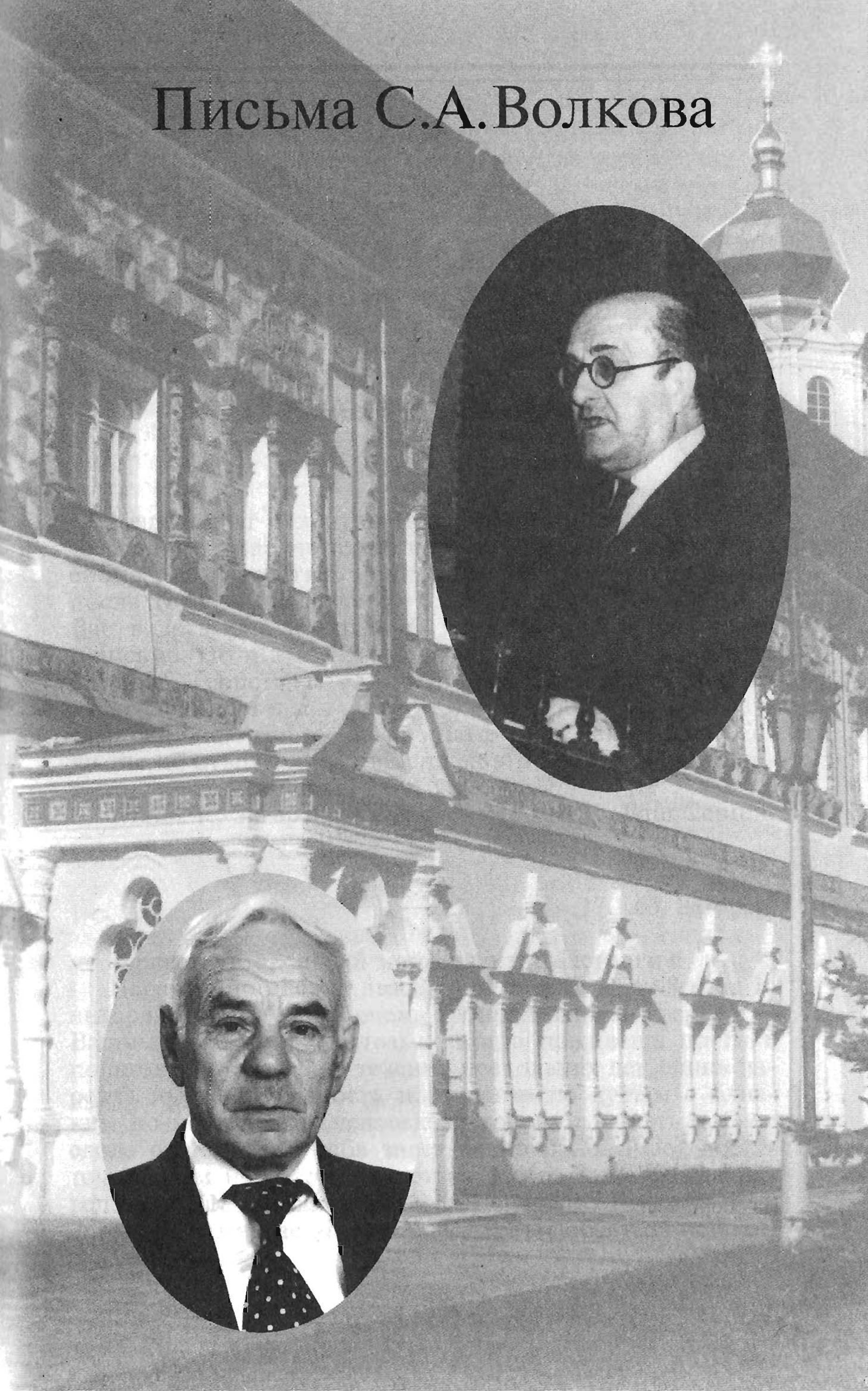
Продолжаю писать и переписывать главу «Гимназия» для «Эрмитажа» и делаю сводку разных выписок из книг

---

* Судьба рукописи не известна.— *А.Н.*

(«Хрестоматия Серво»). Никого из близких не вижу. Это тоскливо. Но я уже привык к одиночеству. Чтение и писание — вот моя единая отрада. Тогда я мыслю и живу в дивном мире родной красоты. И пора! Давно пора! *

* На этом записи в дневнике кончаются.— *А.Н.*


Письма С.А.Волкова

На обороте, сверху вниз: С.А.Волков читает лекцию в МДА, 1963 г.
В.П.Жалченко, 1986 г.

I. Письма к В.П.Жалченко

1

Милый друг Валентин Петрович!

Давно от Вас не имею никаких вестей. Когда-то Вы собирались навестить меня, но нечто помешало Вам. А после того — ни звука от Вас. Мне очень хотелось бы Вас видеть или, по крайней мере, услышать Ваш голос в письме. Но и этим Вы меня не балуете. Что же делать старику? Терпеть! И старик терпит. Он здорово терпит за последние годы... А все-таки хотелось бы повидать Вас: слишком многое за прошлые годы накопилось! Если Вы не отвратились от меня за это время, то напишите мне несколько слов.

1.12.62 г., Загорск. Ваш Сергей.

2

17.1.65. Загорск.

Здравствуйте, милый мой Валентин Петрович!

Передо мной лежат два Ваших письма — от 8 и от 14 января с.г. Они меня очень тронули своими, вернее — Вашими добрыми чувствами. Когда поживешь почти в полном одиночестве в течение нескольких лет, лишь изредка имея возможность поговорить по душам с близким по-настоящему человеком, то рад слышать доброе слово от того, кто тебя знает давно и понимает достаточно. Нам не удается видеться часто: Вам некогда навещать меня, слишком редко и ненадолго Вы бываете в Загорске, а мне не хватает сил, чтобы добраться пешком

до конца города[1], а доехать до Вас и от Вас до меня в воскресные дни на автобусе — дело весьма нелегкое. Так давайте-ка обмениваться письмами, как это делали больные Вячеслав Иванов и Гершензон в лечебнице 45 лет тому назад и создали свою знаменитую «Переписку из двух углов»[2], читая которую я всегда умиляюсь и дышу облегченно: ведь были же на свете такие люди, умевшие так разговаривать!... С ней можно сравнить еще, пожалуй, переписку Андрея Белого с Александром Блоком, изданную в 1940 году Гослитмузеем[3]. Правда, последняя переписка меня не так восхищает, как первая, т.к. в ней очень много юношеской экзальтации, а экзальтация мне не была близка даже и в мои юношеские годы. Я уже с тех пор привык только улыбаться, не злоехидно, как Бернард Шоу, а как снисходительный и к себе и к другим Анатоль Франс...

Видите, какое предисловие закатал! Может быть, Бог даст, снова начну писать большие письма, которые любил когда-то, а потом поневоле от них отвык из-за каждодневной занятости. Теперь досуг некоторый есть, и, надеюсь, такие письма заменят мне и разговор и станут своего рода дневником, хотя и нерегулярным (печатание позволяет их изготовлять в двух экземплярах и один оставлять у себя).

Вы пишете о перечитывании 3-го тома Франса. Там самое лучшее — «Сад Эпикура». В нем немало прелестных, хотя и грустных цветов франсовского скептицизма. Рассказы слабее. Вам не понравился «Кимейский певец»... Да, старик Франс снизил тон. В его повествовании нет того благоговения, которым обычно сопровождается упоминание о Гомере. Помните у Пушкина: *«Старца великого тень чую смущенной душой...»* Я сам склонен так же умиляться, смущаться и благоговеть перед его творениями... Но ведь они — плод и результат многовековой работы неведомых рапсодов, и в этом виде мы их теперь воспринимаем, а Гомер был только или первым составителем, или уже последним редактором, а, быть может, — и вовсе его не было, как утверждает какой-то зловредный немецкий эрудит. Впрочем, последней версии я не верю. Она дика. Имя в древности было священным, и если оно сохранилось, то Гомер был. Но каков он был, об этом можно гадать поразному. Пожалуй, и прав Франс. Мы склонны иногда преувеличивать и приукрашивать того и тех, кого лю-

бим, о чем издревле сохранились предания. Ведь и наш Вересаев в своей «Живой жизни» (т. 2-й — о Ницше) пишет, что у эллинов была очень простая жизнь, если вдуматься и вчитаться в текст хотя бы «Одиссеи»: жизнь даже у царей была очень примитивная, не ахти что ели и чем украшались. Но отношение ко всему было благоговейное, любовное и поэтому даже все простое становилось чуть ли не божественным. И Муратов в своих «Образах Италии» (т. 2-й, глава о Пестуме) говорит, что роскошь прославленного в веках изнеженного Сибариса («сибарит», «сибаритствовать») на наш взгляд показалась бы, наверное, более чем скромной и умеренной... Стало быть, здесь все в отношении человека к миру. Если смотришь любящим и верящим взглядом, то все становится прекрасным и величественным. Это пишу я, который с юных лет привык восхищаться античностью. А трезвый рассудок вздымает время от времени свой голос... Хотя я никогда не забываю пушкинских слов: *«Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется...»*

Не помню, говорил ли я Вам о книге А.Ладинского «В дни Каракаллы». Возможно, Вы ее уже читали, а если нет, то прочтите непременно и получите такое же наслаждение, как от «Алтаря Победы» Брюсова и от «Эгерии» Муратова. У Ладинского так же, как и у Брюсова и у Муратова, в центре — герой, вроде Юния и Орсо Ведоло, со столь же интересными странствованиями и приключениями, заканчивающимися спокойствием и примиренностью много испытавшей и познавшей души... С неменьшим интересом я на днях перечитывал «Метаморфозы» (это другое название «Золотого осла» Апулея) и «Дафниса и Хлою», недавно переизданные. Это — уже подлинники древней жизни и достаточно реалистические. Но при обращении к античности всегда не мешает некоторой доли романтики (как в картинах моего любимого Бёклина)!

А теперь от прошлого перекинемся к будущему, заглянем в мир фантастики, которую я теперь, с появлением новейших авторов и произведений на эту тему, люблю все больше и больше.

Современные писатели-фантасты, особенно такие, как Стругацкие, Парнов и Емцев — у нас, и Бредбери — в США, пишут увлекательно. Это — философская фантастика, которая затрагивает самые глубокие проблемы, часто даже такие, которые опасаются задевать другие

писатели, чтобы их не обвинили в «мракобесии»... А эти проблемы рождаются в связи с новыми открытиями в области физико-математических наук. О них пытается «популярно» говорить Д.Данин в своей книге «Неизбежность странного мира». Но его книга все-таки трудна для неподготовленного читателя. Это я на себе чувствую, т.к. с юных лет и до сего дня пребываю невеждой в области физико-математических наук, а теперь учиться заново трудно... А вот фантасты, наиболее талантливые из них, умеют рассказать обо всем доходчиво и для таких малообразованных людей, как я. Правда, есть такие фантасты, у которых рассказы похожи на плохо излагаемые учебники по технике. Но таких авторов я не читаю. Мне интересны те авторы, у которых на первом плане стоит человек и техника не подавляет проблем философских, социальных и моральных. Особенно в этом отношении хороши Стругацкие. Я их теперь люблю больше Беляева, Ефремова и даже Герберта Уэллса. Произведения последнего несколько померкли для нашего времени. И все же они и теперь глубоко интересны и значительны, т.к. в них автор впервые заговорил особым для этого жанра языком, непохожим на язык Жюля Верна и Фламмариона... Мне кажется, что в фантастике нашего времени поставлены три важнейшие проблемы: космического пространства, космического времени и космического мировосприятия и миропонимания. Перед человеком возникает бесконечный мир галактик и того, что может быть дальше от него и больше него. Неисчерпаемое обилие самых разнообразных возможностей в мире вещей, существ и явлений, какое и не снилось фантастам предшествовавших лет. Тогда думали, что на Марсе или Венере, или на десятке еще каких-нибудь планет человек встретит почти то же самое, что есть и на Земле, только в увеличенном и улучшенном или в уменьшенном и ухудшенном размере. А теперь у Лема одного затрагиваются такие возможности, о которых раньше людям и в голову не приходило (напр., в «Солярисе»). А космическое время... И прошлое и будущее властно вторгаются в настоящее, не только соседствуют с ним, но прямо-таки смешиваются в какой-то порой уму непостижимый симбиоз... Это уже вполне философский вопрос, который в свое время развивал в своих лекциях П.А.Флоренский. Жаль, что мало я из тогдашних его высказываний запомнил, да он к тому же

отяжелял их математической терминологией... (Вообще, как мне жаль, что его сейчас нет в живых! Человек с его гениальным умом и исключительной энциклопедичностью познаний, равной которой тогда во всем мире почти не было; были гениальные люди в отдельных областях знания, в ряде смежных областей, но и только, а он всё понимал, всё охватывал своим гениальным умом и делал выводы, строил на основании всего свои умозрения...) Вот с кем бы полезно и в высшей степени увлекательно и назидательно можно было бы побеседовать об обеих этих проблемах!... Давно я не видел Кирилла[4]. Не знаю, насколько он теперь близок к идеалу такого ученого, каким был его отец. Да что Кирилл... Я сейчас часто жалею, что Борис Мишин[5] живет далеко и с ним нельзя встречаться часто, чтобы переговорить обо всем, что меня интересует в знакомой ему области, ибо этот "Пиппенхер фон Суринам" (помните мою шутку?) обладает даром о сложнейших вещах мира физики и химии говорить человеческим языком, а не воляпюком специалиста. Я одно время думал написать ему или Кириллу большое письмо со своими вопросами, недоумениями и соображениями, но не решился: у них и без меня много всяких дел и забот, а тут отвечай еще непоседливому и неуемному старику...

И, наконец, — третья проблема — миропонимание и мировосприятие человека нашей, уже открывшейся космической эры.

Что такая эра наступает и уже наступила, пожалуй, знают все, но далеко не все понимают ее особое, небывалое значение для человечества. Оценивают ее полезность в техническом, практическом отношении (хозяйственном, медицинском, военном и т.п.), но мало задумываются о ее моральном и философском (то и другое неразрывно связаны). Как она перестроит и насколько это будет полезно для человечества в самом глубоком смысле этого слова? Как изменится гносеология, онтология и вся жизнь человечества при неуклонном развитии и продвижении вперед всего нашего земного жизнетворчества в новой обстановке? Вот что интересует меня, о чем я написал так мало и так невразумительно, к сожалению.

Меня радуют Ваши оптимистические прогнозы: *«мы строим и обязательно построим коммунизм», «заставляем служить себе атом», «совсем недалеко то время, когда наш советский человек побывает на Марсе»*. На это я не

могу не сказать словами Грибоедова: *«Блажен, кто верует, — тепло ему на свете»!* Я хоть и не «неверующий», но все же скепсиса у меня достаточно. Он у меня даже в сфере «божественного» сказывается (а без этой сферы для меня жизнь немыслима: так у меня повелось с иных лет и до сего дня... уж извините мне мое такое «староверство»), а когда дело доходит до человеческих деяний, то весь опыт прошлого (не моего, убогого, а прошлого всего человечества) заставляет меня с осторожностью глядеть вперед и, по возможности, предвидеть не только плюсы, но и возможные минусы новых возможностей. (Не обойдешься без тавтологии!)

Вот и Вы пишете о своего рода «засилии» техники в нашей жизни в наши дни. А меня пугает еще и то «обожествление» этой техники, которое чувствуется уже повсюду. Помните, как милейший Пака Котович, увидев в руках у Б.Мишина какую-то механическую штучку, весь загорелся восторгом, «рабским умилением» и елейно попросил: «Боря, а можно ее потрогать, в руки взять, чтобы рассмотреть получше, как она действует?...» А ведь теперь таких «Пак» немало с кандидатскими и даже с докторскими степенями. В этом я уверен... Вот и может получиться то, что описано в только что прочитанном Вами романе Бредбери, да и еще в каком-то рассказе (не вспомню автора), где говорится о всемогущей говорящей рекламе, оглушающей людей с утра до полуночи, при этом им даже запрещается затыкать уши под страхом тюремного заключения, так что все окончательно обалдели и считают такой порядок вполне естественным и даже приятным, и только одна старуха-бабушка предпочитает сесть в тюрьму, только бы не слушать этих болтающих машин. Термин «болтающие машины» я взял из романа Уэллса «Когда Спящий проснется» (меткое название!). И вот в результате такой дурной интеграции, проводимой свыше последовательно и неуклонно, и появляются конспективно обработанные «Анны Каренины» и пр., а особенно расцветают комиксы и соответствующие кинофильмы; засоряется и уродуется язык людей, вырастают, подобно поганым грибам после дождя, «шедевры» абстракционистского искусства в живописи, скульптуре, архитектуре, поэзии и музыке, по сравнению с которыми футуризм времен Маринетти, Крученых, Бурлюка и водившегося тогда с ними Маяковского кажется уже разумным стилем, почти классицизмом

своего рода. (Хорошо, что в недавно переизданном сборнике рассказов Аверченко есть два на эту тему, да еще какой-то рассказ его печатался даже в газете, чуть ли не «Известиях», приблизительно год — два тому назад.)

Я когда-то раньше любил мечтать о том, как хорошо было бы, подобно «Спящему» Уэллса, перенестись через сто, а то и больше лет вперед и увидеть новую жизнь. У меня даже были сны на эту тему... А теперь, когда я прочел немало фантастических опусов, рисующих такую будущую жизнь, мне отнюдь не хочется попасть в ее окружение. Я от нее или сошел бы с ума, или, вернее всего, заболел бы и поспешил умереть... Даже у Ефремова, в его талантливой «Туманности Андромеды», мне не нравятся люди, их внутренний мир, несмотря на то, что они все исключительно умны и благородны. Нет в них души, нет в них того, что мы называем человечностью, не умея в то же время точно и исчерпывающе определить, что такое «человечность». Герои Ефремова похожи на разных фонвизинских Правдиных, Милонов и Стародумов[6] — не люди, а ходячие прописи добродетельных истин, своего рода Митрополиты Митрополитычи, вроде описанного Чеховым в «Учителе словесности», или те «примерные и образцовые» мальчики и девочки, которые фигурировали в дореволюционных детских книжках. Невольно вспоминаются слова из «Правонарушителей» Сейфулиной: *«Один мальчик был хороший, а другой — плохой, — рассуждает беспризорник Гришка. — Дать бы ему по шее, хорошему!...»* (Цитирую по памяти.) А сочувствую Гришке всецело. И так же готов сказать об очень многих героях «счастливого будущего» в большинстве фантастических романов. Исключение — только герои у Стругацких. Они с недостатками, но они — люди! От таких героев и такой жизни невольно потянет «под березы», в лес, как Вы пишете. Увы! Мне теперь так редко приходится бывать среди природы...

Кончаю. И то уж надоел, наверно, Вам, когда Вы добрели до этой страницы. Откликнитесь! Буду не только рад, но и счастлив. Не обязательно много, а насколько хватит времени и охоты писать. Прилагаю небольшой список книг фантастического порядка, прочитанных мною. Может быть, кое-что для Вас будет новым. Я отметил тех авторов, которые меня заинтересовали.

Будьте здоровы, благополучны, преуспевайте во всем.
Ваш старый и старинный друг S[ervo][7].

3

31.1.65 г. Загорск.

Милый Друг Валентин Петрович!

Получил от Вас два письма. Второе без начала (нет первых четырех страниц). По-видимому, остались у Вас дома. Пришлите! И тогда сразу отвечу на оба объемистым посланием. А пока полюбуйтесь на картинку: не напоминает ли она Вам сцену в горах крымских? Конечно, символически... Да, время идет. Увядают сады Гесперид, и кислыми становятся их перезревшие плоды. И вдруг прозревшие взоры начинают ясно видеть все это. Невольно задумываешься о конце. О нем хорошо говорит Авсоний, последний римский поэт и ритор, столь любезный сердцу Валерия Брюсова: *«Смертный час для камней и для имен настает!»* (Mors etiam saxis nominibusque venit!)[1]

Я написал и перевод: Вы, наверно, порастрясли свою латынь во время военных походов и прочих многообразных трудов... Итак — жду недосланного начала и начинаю готовить ответ на оба Ваших послания.

Ваш Сергей Волков.

А когда побываете у меня, покажу мой «символический портрет»!

4

6 февраля 1965 года. Загорск.

Милый Друг Валентин Петрович!

Я получил оба Ваших письма в трех конвертах: сначала от 28 января — стр. 5-12, и тогда же послал Вам «иносказательную» открытку, т.к. сразу понял, что начало письма почему-то не попало в конверт. Тотчас после этого получил это начало — стр. 1-4, а вчера получил краткое письмо от 3-4 февраля. И все стало ясно. Теперь, имея в руках полный текст, сажусь писать ответ. Открытку послал для того, чтобы напомнить Вам о том времени, когда Вы, покинув долы, восходили «в горняя», говоря превыспренным языком, и там вынуждены

были злыми обстоятельствами завистливой Судьбы, которая всегда старается испортить нам самые сладчайшие миги жизни, источать слова утешения и изливать елей сочувствия страждущему существу...

Вы столько мне написали всего, что я прямо-таки теряюсь, когда хочу ответить на все. Прежде всего, благодарю от всего сердца за все те добрые и прекрасные слова, которые Вы ко мне обратили. Я сто́ю, пожалуй, наполовину всего сказанного Вами, ибо у меня характер неважный и сейчас, а особенно был таким в прежние времена. Теперь годы и жизнь многому меня научили и еще больше смирили. Помните, как Вы когда-то сказали мне, что я *«еще не пробовал медвежатины»*. Увы! За годы войны я ее попробовал достаточно, да и треволнения «периода культа личности», как принято теперь выражаться, тоже дали мне себя почувствовать, хотя я и избежал катастрофы какою-то неведомою мне чудесной случайностью... Терял я многое, отказывался от еще большего, вкушал не столько меду, сколько горечи... Правда, не разочаровался в жизни и в людях, но все же несколько остыл, стал тише воды и ниже травы, перестал ждать от жизни чего-то необыкновенного, притих и в этой тишине и смирении нашел даже некоторую радость или, по крайней мере, утешение. Вот и я теперь «изливаю Вам свою душу». Вы в маленькой записке спрашиваете меня, «не сержусь ли я» на Вас, и предполагаете, что я «ругаюсь, наверно». Нет! Я уже отвык сердиться и ругаться. Очевидно, старость сделала меня терпеливым и спокойным. Я теперь ни на кого не сержусь — ни за теперешнее, ни за прошлое. Вспоминая прошлое, я вызываю в своей памяти только хорошее, радующее ум и душу, и это наполняет меня ясным и чистым созерцанием и переживанием заново дней былых. А если и были смутные и шероховатые моменты, то они были так незначительны, что невольно позабылись и окутались легким флером туманности и неопределенности. Да ведь это всем свойственно — вспоминать из прошлого главным образом, а то и исключительно, прекрасное... А в наших прошлых днях и годах, которые протекли под благими созвездиями, которые мы проводили в прекрасных беседах, бродя по нашим родным полям и лесам, этого прекрасного было столько, что его и в целой книге не опишешь. И за это прекрасное я благодарен Вам сейчас и буду благодарен до гроба.

Вы спрашиваете, когда день моего рождения. Старики, а особенно дамы, ставшие старушками, но не хотящие упорно в этом признаться ни другим, ни даже самим себе, не любят говорить о днях рождения, т.к. за таким разговором неизбежно следуют мысли и даже вопросы о годе рождения. Я не принадлежал и сейчас не принадлежу к таковым. Я давно привык к надвигающейся старости, и теперь, когда она налицо, не боюсь ее, *«не жалею, не зову, не плачу»*, а только улыбаюсь по-франсовски, или как Бернард Шоу, и если боюсь, то только бессилия, болезней и молю Бога избавить меня от этой участи, или дать ее перенести полегче, если она так уж неизбежна. Самое главное — только бы сохранить главнейшие физические силы (мочь самому обслуживать себя) и бодрость и ясность разума до последнего дня. Сейчас я так рад и счастлив, что у меня прежний, если только не больший, интерес к познанию. Я читаю, мыслю, наблюдаю и пишу с огромным удовлетворением, что могу это делать, что в моем распоряжении библиотека в сто тысяч с лишним томов, главным образом, гуманитарная, по всем отраслям гуманитарного знания, с интереснейшими книгами, и старыми, и современными, с большим количеством литературных, исторических, философских, филологических журналов наших дней. Все это составляет счастье моей теперешней жизни. Жаль только, что мало около меня людей, с которыми я мог бы говорить «de omne re scibili»*, как это определял когда-то Пико делла Мирандола (см. книгу — Вальтер (Уолтер) Патер (Пэтер). Ренессанс. Очерки искусства и поэзии. М., 1912. Статья «Пико делла Мирандола», с. 30). Советую, кстати, прочесть еще замечательную книгу Пэтера (Патера) «Воображаемые портреты». М., 1916. Помнится, я давал ее Вам в свое время, но Вы, тоже — помнится!— недостаточно оценили ее в юные свои годы. Теперь она Вам даст много, особенно отрывки из романа «Марий Эпикуреец». — Я никак не могу обойтись без библиографических указаний и советов прочесть то или иное...).

Так возвращаюсь к прерванному разговору о дне моего рождения. Я родился в ночь с 19 на 20 февраля ст. стиля (с 3 на 4 марта — нового ст.). В эти дни мне теперь минет 66 лет. В связи с этим я вспоминаю стихо-

* Обо всем, что можно знать (лат.). — *А.Н.*

творение древнегреческого мудреца Солона о «Седмицах человеческой жизни», которое прилагаю в конце письма[1]. Девятая седмица прошла для меня благополучно. Уже началась десятая — очень хочу надеяться, что и она будет столь же бодрой и ясной!

Вы приезжаете в Загорск по воскресеньям, и вот я был бы не только рад, но и счастлив, если бы Вы навестили меня в воскресенье 7 марта н. ст. после 12 часов дня. Мы с Вами немного выпили бы (много — мне теперь вредно), а главное, поговорили бы по душам. У меня в этот день никого не будет, и другие люди не будут мешать нашей беседе. Я, кстати, прочту Вам некоторые из моих стихотворений периода войны и послевоенных лет. Раз уж, говоря о возрасте, я вспомнил Солона, то говоря о месте своего рождения, вспомню другого не менее славного эллина — Гомера, о котором мы уже говорили в наших письмах. О Гомере в одном стихотворении, не помню чьем, но древнегреческом, говорится, что 7 городов спорили за честь называть себя родиной слепого певца. А обо мне могут поспорить четыре села бывшего Богородского, теперь Ногинского района — в Маврине я родился, в Душенове меня крестили, по отцу — я крестьянин села Петровского, а учился в деревне Огудневе. Церковь, в которой меня крестили, и сейчас цела и даже действует. Дом (школа, где учительствовала мать), где я родился, был цел еще в 1955 году. Только школа, в которой я учился, сгорела. Это я пишу не из тщеславия, чтобы посостязаться с Гомером, которого, к слову сказать, многие из учителей-историков наших дней зовут Го́мер! — а просто потому, чтобы Вы знали о местах моего жительства с 1899 по 1909 год. Как мне хотелось бы побывать в этих местах! Их можно объехать на машине в один день. Вот Вы мне говорили, что могли бы меня летом покатать, так лучшего путешествия для меня не придумать. За один день я пережил бы годы своего детства!...

Вы пишете, что читали мои стихи со своим сынком (я так понял имя «Зайчишка»). Вряд ли ему были интересны мои «Сенилии»[2] (иначе их не назовешь). Спасибо ему за привет и благопожелания. Я, со своей стороны, тоже от всего сердца и всей души желаю ему здоровья, успехов в ученьи, а затем со всей силой, на какую я только способен, желаю ему всегда приносить радость своему Отцу и быть не только его спутником, но и другом-утешителем и по-

мощником в многотрудной жизни. Очень желаю, чтобы он вырос и стал таким, каким хочет его видеть Отец.

Вы пишете, Милый Друг, о какой-то предстоящей Вам поездке в дальние края. Что это — экспедиция, командировка или что-то иное? Надолго ли, и как Вы к ней относитесь? как перенесет разлуку со своим «Зайчишкой» почтенный «ЗаЕц-папаша»?... Не обижайтесь за последний титул. Я нарочно написал его по предполагавшейся, но, к счастью для русского языка, не осуществившейся реформе орфографии, которую вполне заслуженно разбранили и высмеяли в печати (особенно хороша статья Мариэтты Шагинян в «Лит[ературной] газете»). Вот я и пошутил, назвав Вас так. Я сам согласен, чтобы меня называли «ЗаЕц», только бы не заставляли писать это слово так. Между прочим, в защиту проекта реформы выступали некоторые «учителя русского языка» и даже «кандидаты филологических наук» и писали порой такой невероятный вздор, что своими писаниями лишь срамили свои звания и объясняли с непреложностью, почему у нас не может укрепиться грамотность. Почитаешь их соображения, и сразу становится понятно, что в безграмотности, прежде всего и больше всего, виновны глупые и невежественные учителя — «каков поп, таков и приход»! — а уж потом и ученики теперешние с их ленью, распущенностью и всяческим наплевательством. Мы за это крепко критикуем американскую и вообще «западную» молодежь, а у нас самих она часто напоминает европейских «битников»...

Видите, как болтлив я стал за последние годы? Все мои фразы обрастают обособлениями и вводными предложениями, словно старые здания мхом и плесенью... И еще, Вы, наверное, заметили, сколько опечаток в моем тексте. Это не потому, что я не умею печатать или от старости забываю основы грамотности, а потому, что мои мысли так летят, что, печатая, я едва успеваю за ними. Невольно пальцы ударяют не те буквы. Как хорошо, что у меня есть машинка! Если бы я писал пером, то получились бы сплошные каракули. Я теперь пером пишу крайне редко и немногие слова. Но и машинка не спасает от опечаток.

Ну, а теперь перейдем к разговору о мирах иных. Тут я несколько умерю свою торопливость, ибо надо иной раз и задуматься о том, как лучше выразить свою мысль. Вы уверены в обитаемости этих миров. А я теперь ино-

гда в этом начинаю сомневаться. Если есть обитаемые разумными существами миры, то есть основание предполагать, что большое количество из них населено существами несравненно более разумными, нежели земнородные, и достигшими исключительно высокого совершенства, так что по сравнению с ними мы покажемся какими-то неандертальцами или троглодитами (я плохо разбираюсь в доисторической терминологии, она всегда была мне неинтересна и даже неприятна, как и вся жизнь тех пор). Так почему же эти совершеннейшие существа до сего времени к нам не показывались? М.б., потому, что им наша земля для колонизации не нужна, а дружественные связи с нами для них совсем не интересны? М.б., они побывали у нас много-много тысяч лет тому назад, решили не связываться с такой «неуютной» планетой, а, м.б., думают, что и сейчас у нас обитатели все еще дрожат над священным костром у себя в вонючих пещерах? А, м.б., они какими-то способами видят наши беспрестанные войны и не хотят с такими дикарями «водиться»? А, вернее всего, — они, несмотря на все свои технические достижения, не имеют никакой возможности преодолеть расстояния сотен тысяч и миллионов световых лет, а на таких планетах, как Луна, Марс, Венера и других, немного подальше, нет да и не было никогда никаких разумных существ, и наша Матушка Земля является какой-то уникальной планетой в этом отношении, на радость идеалистам, мистикам и богословам всех толков?... Ничего-то мы толком не знаем. Мы взвесили планеты и звезды, измерили их объемы, при помощи спектрального анализа кое-что узнали об их химическом составе. Насколько верны и точны наши знания обо всем этом? Проверки непосредственным опытом не было. А, м.б., мы в своих изысканиях об этих мирах ошибаемся так же, как ошибались раньше относительно проблем пространства и времени до Эйнштейна и прочих ученых наших последних лет?... Одни меры и законы для земного мира, а для космического — другие, особенно когда заходит речь о далеких галактиках и всей необъятной Суправселенной... Мы с достаточной определенностью не изучили недр нашей земли глубже некоего малого предела, мы не знаем жизни глубин наших океанов, мы не изучили археологически нашего прошлого глубже каких-нибудь 8-9-и тысяч лет

(геология и палеонтология частенько прибегает к «приблизительным» определениям и датам, от ста тысяч до миллиона лет — милая «приблизительность»!), а вот наши космонавты облетели земной шар, мы забросили свои вымпелы на Луну, на Венеру (насколько успешно — опытом не проверено), сфотографировали через спутника доселе неведомое второе лунное полушарие и кричим, что мы победили космос... Конечно, все, что сделано за последние годы, нечто огромное и почти чудесное по сравнению со старинными «воздушными шарами», с разными опытами полета Леонардо да Винчи, с русскими «крыльями холопа»[3] или с крыльями Дедала и Икара... Но, по сравнению с неизмеримыми пространствами непостижимой в своей бесконечности и вечности Вселенной, Суправселенной и Супрасуправселенной, это — лишь блошиный прыжок! Для блохи он огромен, но человек видит его малость. Так и мы. Для нас, для нашего теперешнего развития мы достигли очень-очень многого. А что дальше? Страшно и подумать, а иногда невозможно и осмыслить в силу того, что не все доступно нашему мышлению... Пока наши спутники могут изучать и лучше (но не безукоризненно) предсказывать погоду, а мерзавцы американские агрессоры ухитрились их приспособить для подлого шпионажа... Это ведь очень мало, если помыслить о космических масштабах!

Самое главное. Казалось бы, что такие достижения, а еще более вырастающие дальнейшие проблемы должны были бы вразумить человечество объединиться во имя высоких, благородных и насущных целей (хотя бы от возможности «налета» из других миров: ведь никто не поручится, что сверхразумные обитатели иных планет не окажутся своего рода «сверхжестокими», какими оказались «сверхчеловеки» фашистского порядка!). Нет! Создаются атомные, водородные и прочие пакости — для уничтожения людей и их достижений... Значит, мало знания, техники, надо еще что-то для человечества. Но вот этого «что-то», высшей человечности пока не видно в мире. Одни о ней говорят и за нее борются, а другие нагло и подло стараются ее уничтожить и превратить весь мир в стадо покорных рабов...

Вот эти мысли часто тревожат меня в часы досуга и размышлений о грядущем. И тут же давит потрясающая пошлость, распространяющаяся все больше и больше —

звериная идеология всяких «бешеных», абстракционистское искусство, по сравнению с которым все чудачества былых футуристов кажутся невинными детскими шалостями, размножение всяческих «битников», «стиляг» и просто разной сволочи и преступников среди молодежи (а ведь она должна будет строить новую жизнь!) и многое, многое, о чем отрывками читаешь в газетах, в журналах, в новейших книгах наших дней... Все это волнует и тревожит. Вы помните, что я любил мечтать о том, что я смогу при помощи анабиоза или каких-нибудь других чудесных сил попасть в будущее. Мне хотелось видеть мир и людей через сто, пятьсот или тысячу лет, чтобы хоть «глазком взглянуть» на то, что и как будет... На эту тему я писал как-то даже стихотворение. (Прилагаю его.) Но как оно теперь устарело! Мне теперь не хочется этакого путешествия. Я уверен, что если попаду в будущее, то или сойду с ума, или умру тотчас же или, во всяком случае, захочу вернуться в свою эпоху, а в случае невозможности этого [захочу] как можно скорее умереть... А ведь сколько фантастических снов я видел на эту тему! Увы! Они совсем не таковы были, как теперь приходится думать о будущем. Мне это напоминает историю с «калошами счастья», рассказанную Андерсеном[4]. Там старый советник хотел попасть в средневековье, но оно оказалось не тем идеализированным, каким он его представлял, а весьма тяжелым и для него почти не переносимым, так что он радовался, избавившись от своего чудесного путешествия... (Кстати — перечитайте сказки Андерсена! Дивная вещь! И перечитайте с сынком, научите его вдумываться в их глубокий смысл. Такое чтение для него будет куда полезнее и приятнее, чем «Сенилии» старика Серво, проникнутые грустью, усталостью и безнадежностью!...

В своем письме Вы, милый Валентин Петрович, написали о таком множестве идей и вещей, что сразу всего не охватишь. Вряд ли Пиппенхер фон Суринам был бы столь щедр на повествование! И я еще вернусь к некоторым вопросам, которые Вы затронули. А сейчас буду «закруглять», как говорят теперешние деловые и считающие себя очень образованными и даже умными люди. Я вчера купил книгу Гора — «Университетская набережная» и «Докучливый собеседник». Первую вещь не читал, думаю, что не очень-то понравится. А вот вторая очень хороша. Прочел залпом. Еще Г.Мартынова — «Гиа-

нэя». Читаю сейчас. Интересно. Тут опять фантастика и всякие проблемы, рождающие мысли о будущем. Купил еще роман некоего Д.Еремина «Кремлевский холм». Я ведь интересуюсь историей и кое-что в ней знаю и понимаю. Не помню, писал ли Вам, что незадолго до этого приобрел два тома воспоминаний о Достоевском. Кое-что прочел. Интересно. И два тома «Дневников» братьев Гонкур. Их пока не смотрел. Я частично читал эти дневники в одном дореволюционном издании, и в «Интернациональной литературе» за 1938 г. № 2-3. Они очень интересны. На французском языке они изданы полностью, чуть ли не в 20-и томах, а у нас выборочно. Посмотрите «Инт[ернациональную] лит[ерату]ру», указанный мною № — там еще интересная вещь Чапека «Война с саламандрами». Это нечто вроде «Острова пингвинов» Ан. Франса. Если не читали — прочтите. Потом мне скажете спасибо. И еще: посылаю весьма маленький рассказ японского фантаста, переведенный одним из бр[атьев] Стругацких[5]. У меня оказался лишний экземпляр. Тоже интересно. Кроме этого, читаю старые журналы — «Бюллетени литературы и жизни». Это уж для меня специальное чтение. Да еще работаю над своими мемуарами. Если приедете и навестите старика, то тоже прочту кое-что. А покамест кончаю. Желаю Вам всего-всего хорошего. А себе желаю, чтобы Вы не забывали меня. Ваши письма для меня — радость и стимул к жизни и деятельности.

Любящий и помнящий Вас

Ваш старый и старинный Servo[6].

5

4 марта 1965 г. 10 ч. вечера.
Загорск. Желтый (б.Белый) дом.
Резиденция Серво.

Милый Друг Валентин Петрович!

Ласковое Ваше поздравление получил. Большое Вам спасибо за Ваши утоляющие стариковское одиночество и болезни сердечные пожелания. Поверьте, в мои годы и в моем положении бывает отрадно почувствовать, что ты не совсем одинок, что есть любящая и понимающая тебя душа. Последнее особенно радует. Я получил Ваше письмо от 15 февраля. Вы в нем писали, что, возможно,

заглянете ко мне раньше, чем я получу письмо. И я ждал Вашего неожиданного, но столь давно ожидаемого посещения. Поэтому и не писал Вам, думая, что мое письмо, пожалуй, Вас в Москве не застанет... Но, по-видимому, Ваша поездка еще под вопросом. Дальнейшее покажет, как будет обстоять это дело. Я сейчас немножко нездоров. Поэтому не шлю Вам большого письма с моими размышлениями. Скоро пошлю. Куда лучше — в Москву или в Загорск? Купил недавно вышедшую книгу «В мире фантастики и приключений. 1964.» Очень интересно. Почитайте. Потом напишу подробнее. А пока — всего-всего хорошего! Будьте здоровы, и благополучны, и благоустроены. В ночь с 4 на 5-е марта н.ст. я родился. Мне теперь 66 лет! Уж какой же я старик!

Любящий Вас по-молодому и по-стариковски

Ваш Сережа.

Сердечный привет всем Вашим близким.

6

14 июня 1965 года. Загорск.

Милый Друг Валентин Петрович!

У меня лежит два Ваших письма — от 30 мая и от 6 июня. Отвечаю на оба. Простите, что до сих пор молчал: нездоровилось из-за холодов, которые у нас стояли до последнего времени. Хорошо, что снег не выпал, а ведь нечто такое было в средине мая (по старому стилю) в 1917 году, когда снег выпал очень большой и пролежал трое суток. Деревья совсем почернели, вся молодая листва замерзла, и так они стояли около недели, пока не пробилась новая листва. Я очень хорошо это помню... Некоторые в конце 1917 года находили в этом нечто символическое.

Теперь перехожу к темам Ваших писем. Рад, что угодил Вам открытками с видами Лавры. А поэтому прилагаю один полный экземпляр: тогда не послал потому, что он не влезал в конверт, а мне клеить специальный тогда было некогда. Прилагаю также еще одну открытку, которую Вы можете получить только от меня: это наше академическое производство по случаю 150-летнего юбилея Академии, в продажу эти открытки не поступали. Юбилей праздновался очень торжественно 14 октября 1964 года. Я сказал тогда, что имею некоторую

надежду дожить до трехсотлетнего юбилея, а уж до двухсотлетнего никак не доживу. Разъясню, в чем тут хитрость. Двухсотлетний, как и полуторастолетний, юбилей — от 1814 г., когда древняя Славяно-греко-латинская Академия, в которой, между прочим, обучались Ломоносов, Кантемир и первый основатель русского театра Федор Волков, была после войны 1812 г. переведена из Москвы в Лавру и наименована Московской, так что двухсотлетие будет в 2014 году, а трехсотлетие будет в 1985 году, т.к. древняя Академия была открыта в 1685 г., в годы правления царевны Софьи. Вот в чем и курьез моего заявления. Тогда же на одном официальном обеде в Академии я сказал, что старая Академия началась с Ломоносова и закончилась священником Флоренским, этим подлинным Ломоносовым XX века. А один шутник-профессор, будучи уже навеселе от изобилия хорошего коньяка, после моей речи воскликнул: «Она закончилась также Сергеем Александровичем Волковым!» Я тотчас отпарировал словами: «С.А. был лишь точкой, поставленной в конце истории Академии!...» Всем это очень понравилось. Как видите, Ваш друг Серво еще не потерял некоторого дара остроумия...

Но довольно анекдотов. Кстати, слово «анекдот» — греческое, в точном переводе оно значит «не выданный». В древней Элладе этот эпитет прилагался к девушкам, еще не выданным замуж. Не знаю, значил ли он еще и «старая дева». А потом, в византийские времена, он значил «не изданный», и его прилагали к разным историческим материалам, впервые появившимся и доселе неизвестным. Так, например, называется многотомная серия исторических писателей Византии — «Ан'екдота хист'ориэ Бизант'инэ», изданная немцами в XIX веке. Тогда слово «анекдот» не имело специфического привкуса — смешного и легкомысленного рассказа, который оно приобрело значительно позднее, наверно, в легкомысленный XVIII век, когда истории наполнялись пикантными сообщениями о видных деятелях. Теперь же такие анекдоты перешли в область фольклора и мемуаров, а истории заполнились рассуждениями экономическими, социологическими и поэтому стали необыкновенно нудными и скучными...

Но довольно филологизирования! Перейдем к живой жизни. Я хорошо помню случай с портфелем, когда отличились Мирский и Бобровский[1]. Последнего товари-

щи именовали «Дубкинсом», а то и просто «Дубиной». Он к этому привык и охотно откликался на такие обращения! Про Бобровского помню еще один случай. Както он ехал из Москвы с товарищами, которые, конечно, именовали его Дубиной. И вот какой-то солидный дядя, ехавший с ними, обратился к Бобровскому: «Товарищ Дубинин», полагая, что слово «Дубина» является упрощением его фамилии, чем вызвал восторг всех ребят. Видите, как в памяти старика сохранились даже такие мелочи. И мне приятно все это вспоминать: ведь я тогда был молод, и всякие такие штучки меня забавляли...

Теперь о книгах. «Цепь Плутона» мне не присылайте. Она скоро будет в нашем книжном магазине, мне сказали. Она был раньше, но я на нее как-то не обратил внимания. «Путешествие с Чарли» Стейнбека я купил и читаю. Эта вещь мне нравится, а другие его книги я не люблю. Рад, что Вы приобрели два тома «Воспоминаний о Достоевском». Они очень интересны, особенно воспоминания его вдовы. По поводу их расскажу Вам маленький анекдот о Татьяне Васильевне Розановой, дочери известного В.В.Розанова, которая живет рядом со мной. Мы часто с ней видимся и беседуем. Когда я ей сказал об этих воспоминаниях, то она так сказала: «Анна Григорьевна[2] была очень интересный человек, но после смерти мужа она жила под конец в тяжелых условиях. Как-то не умела она примениться к жизни. Я ее лично знала. Поэтому она и умерла». Если переменить местами последние две фразы, то все будет хорошо. Но Т.В. любит говорить своим стилем, и у нее получаются бесподобные ляпсусы. Так, недавно, сидя у меня в комнате, она сказал: «Какое приятное у Вас одеяло. У меня такое же. Мне приятно, что мы с Вами спим под одним одеялом», а надо было сказать «под одинаковыми одеялами». Т.В. часто бывает у нас в Академии, где некоторые лица из профессоров и начальства ее знают и всегда приходят в восторг от ее подобных «откровений»... Но вернусь к книгам.

Я, конечно, по-прежнему увлекаюсь фантастикой. Недавно у одного из авторов-фантастов я встретил выражение «болельщики фантастики». Как это ко мне подходит! Вот «болельщиком на футболе» я никогда не буду, т.к. к нему совершенно равнодушен, хотя в молодые годы любил смотреть футбольные состязания в Загорске. Так вот, я купил и прочел следующие книги: Север Гансовский «Шесть

гениев». В первой повести много интересных мыслей. Но вообще его вещи тяжелы. Очень интересна книжка Ильи Варшавского «Человек, который видел антимир». Много остроумия. Любопытна книжечка В.Дудинцева «Новогодняя сказка». Любопытен сборник «Фантастика 1965. Вып. 1». Лучше всего рассказы А.Львова и С.Юрьева.

Теперь о языке. Рекомендую Вам брошюру А.В.Суперанской «Как вас зовут? Где вы живете?» Очень интересная — об именах, фамилиях и географических названиях. И ценнейший справочник — «Правильность русской речи. Словарь-справочник. Составили Л.П.Крысин и Л.И.Скворцов под ред. + С.И.Ожегова». Изд. "Наука", М., 1965. Приобретите непременно. Очень полезная книга. В ней указаны все неправильности современной речи, откуда они появились, как надо говорить правильно. Между прочим: откуда у нас появилось неправильное употребление слов, неправильное построение предложений? Это результат влияния наших милых родственников — белорусского и особенно украинского языка! Эти языки долгое время были достоянием бедного люда. Помещики и интеллигенция в Белоруссии и на Украине в подавляющем большинстве говорили и писали в XVI и XVII веках по-польски, а в XVIII и XIX веках по-французски или по-русски. Поэтому в этих языках развивалось, главным образом, так называемое «просторечие». Лишь в XX веке начинается борьба за эти языки, а с 1917 г. они стали официальными в данных республиках. А в первые годы своей «самостийности» тогдашние руководители с уклоном к местному национализму немало глупостей натворили, вводили в употребление даже вульгаризмы... Лишь бы не говорить «по-кацапски». Недаром есть украинская пословица: «Хай гирше, та инше»!* Вот поэтому сейчас в наших русских школах бывает очень трудно приучить украинца и белоруса к правильной русской речи, а особенно к русской орфографии. У украинцев же это еще осложняется их прирожденным упрямством! Гораздо легче научить русскому языку грузина и армянина, т.к. он для них совершенно новый, и их не сбивают некоторые моменты сходства его с их национальными языками, как это бывает у милых родственников. Мне такие же трудности приходится испытывать с нашими студентами и аспиран-

* Пусть хуже, да иначе (укр.). — *А.Н.*

тами — болгарами и сербами[3]. Их научить правильно говорит по-русски труднее, чем арабов, румын и армян. Но кончаю говорить на эту тему: Вы, конечно, уже рассердились, читая написанное мною... Скажу только одно, что в Киеве на улицах редко слышна украинская речь, ею пользуются только приезжие колхозники, а киевские интеллигенты-украинцы предпочитают говорить по-русски, хотя их русский язык очень близок к одесскому русскому языку. А в Одессе из-за многонационального населения — самый ужасный русский язык! Но — «молчание, молчание», как говорил Поприщин у Гоголя...

И так уж жду со страхом громов с Камчатки за поругание Хохландии, то-бишь Украины... Помните мои шутки на эту тему в 1933-37 годах? Я рад немножко подразнить Вас, ярого украинофила (увы! не владеющего украинской «мовой»!) — опять злоехидство неуемного кацапа, даже и в старости не имеющего сил укротить свой язык (во рту)!...

Теперь еще хочу Вам порекомендовать одну книжку — Лев Кассиль «Дело вкуса». Изд. «Искусство», М., 1964 г. Купите ее непременно. Ее легко найти среди прочих. Она ярко-лимонного цвета (не она, а ее обложка). Посмеетесь от души, а также З.Финицкой «Люди и вещи. Эстетика быта». Изд. «Искусство», 1963.

А теперь о новом моем увлечении за последние три-четыре года. Это описания путешествий. Сижу я в своем Загорске, даже в лес езжу редко: не с кем, да и утомляют меня теперь эти поездки. А вот благодаря Географиздату путешествую по всему миру. Дай Бог здоровья и успеха этому издательству и его сотрудникам![4]

В заключение посылаю Вам, дорогой Друг, две открытки с рисунками японского мастера. Правда, это — не Хокусаи, а всего художник XIX века. Но его рисунки изящны. Вам японцы сейчас ближе, чем жители Москвы или Загорска, так Вам надо с ними знакомиться. Советую прочесть две книжки о Японии, указанные выше. Особенно — «Японцы». А также поворошите старину и перечитайте «Фрегат Палладу» Гончарова. Правда, там Япония — еще до эпохи Мейдзи, но характер японцев показан хорошо. Да и всю книгу стоит прочесть. Англичане наших дней ничем почти не отличаются от тогдашних, разве только дури и самоуважения стало больше, хотя теперешнее положение Британии более чем неблестящее, и никакие вояжи королевы Елизаветы Второй ей престижа не прибавят

(Британии, а не королеве. Я тоже начинаю заговариваться, вроде Т.В.Розановой: и неудивительно — ей 70, а мне 66, разница невелика!...).

Шлю Вам еще один маленький подарок — мое фото — 1917 года, когда я был молод, полон мечтаний, романтики и всяческих надежд и порывов. О, как далеки теперь эти годы и все, связанное с ними!... А ведь у меня есть сейчас ученики, которым исполнилось 60 лет! Большинство разбрелись по необъятной России, но человек 5 есть еще в Загорске. Редко я с ними встречаюсь. Остались такие, с которыми близок и дружен не был. А те, с кем дружил, или далече, или уже на том свете... Грустно. Лев Шестов говорил, что высшая мудрость — одиночество. Тяжелая и грустная мудрость...

Хочу на закуску написать несколько моих последних стихов.

Вкладываю их на отдельном листе, чтобы легче было при желании перечитать, взять... А явится ли у Вас такое желание? Насколько мне помнится, Вы не очень увлекались моей поэзией...

Любящий Вас «стапер» Servo.

Разгадайте слово «стапер»*.

7

Здравствуйте, Милый Друг! С места в карьер — моя сатира, отысканная в моих бумагах...

ТРИО

В ноябрьский вечер, среди мрака,
В уютном доме собрались
Гросс Михаэль, серьезный Пака
И сам зловреднейший Борис.

Уж угощение готово —
Кагор, Есенина стихи.
Не тратя времени златого,
Друзья нырнули в глубь стихий[1].

Слились, дождавшиеся простора,
Глотки, и ритмы, и табак,
Восторги, шутки, смех и споры
В имажинистский кавардак.

---

* Т.е. «старый пердун». — *А.Н.*

Борис ехидствует, а Пака
Трещит, как добрый пулемет,
И, словно ринувшись в атаку,
Дымит Гросс Михаэль и пьет.

— Как жаль, товарищи, однако,
Что наших девочек нет здесь! —
Промолвил с важной миной Пака.
(Тут Михаэль вдруг вспыхнул весь.)

— Возьмем, к примеру, хоть бы Нину,
(О, нет, я вовсе не влюблен...) —
Как оживилась бы картина,
Вполне галантный был бы тон!...

(Хитрец! Он был обеспокоен:
Что, где и с кем теперь она?
Володя М. изящен, строен,
А Нина очень неверна...

И Валя Ж. с ней так любезен...
Как тут спокойно веселись?!)
В весьма скептическом разрезе
Ему ответствовал Борис:

— Девицы — вздор! Поверь, друг милый,
У них в уме — лишь мотовство,
Им речи умные постылы...
Вот Вера Л. — та — ничего...

— Ах, нет! — воскликнул Пака с чувством,—
Возьми ты Нину, например,
Как увлекается искусством!
Она прекрасней сотни Вер!

Борис взволнован сим сравненьем,
Кричит: "Неправда! Отрекись!"
А Михаэль с остервененьем
Глотает дым и смотрит вниз.

Но спор пылает. Лишь угрюмо
Молчит, скосившись, Михаэль.
В уме ж одна витает дума:
Где Жанна, стройная, как ель?

Но он уж вслух не произносит
Кумира имя своего:
Противный Пака все разносит,
И все доходит... до Серво!

Таков конец! А тот смеется,
За ним же Конев, Токарёв...
И без того с трудом живется,
А тут — поток ехидных слов!

Отраден вид друзей прилежных,
Склоненных разом за столом,
Смешался ритм стихов небрежных
С табачным дымом и вином.

Приятно красит мрак осенний
Кагора русского струя.
Над ними веет сам Есенин —
"Хранитель, гений бытия".

Часы летят быстрей минуты,
Кагор давно уже иссяк,
И строчки, мутны и согнуты,
В глазах мелькают кое-как.

Домой шагает по бульвару
Саженями Гросс Михаэль:
Ему поддали славно пару
Есенин, спор, табак и хмель.

Вот Пака спит в своей кроватке,
Над ним порхает бог Морфей,
Дразня мечтой заветной, сладкой,
О Нине, лучшей из всех фей.

Во сне Борис душой трепещет:
Ах, Масюков летит в окно,
Весь класс с восторгом рукоплещет,
Увидев жданное давно[2].

А утро близится украдкой,
За ним и «нешки»[3], и дела...
Зато с какой свободой сладкой
Вся тройка время провела!

12 ноября 1934 года.

Гросс Михаэль — Михаил Грушевский, Пака — Павел Котович, Борис — Борис Каган, Нина — Нина Гречихина, Вера — Вера Любопытнова, Володя М. — Владимир Маргулис, Валя Ж. — уж, конечно, Валентин Жалченко, Жанна — шутливое прозвище длинной и бестолковой девицы Барановой из 7-го класса, которой поддразнивали Грушевского, учившегося с нею в одном классе. О Серво уж и говорить нечего!...

Я постарался схватить характерные черточки каждого персонажа. Конев тоже известен, а Токарёв, имя позабыл, был насмешник не менее Конева, в классе его звали «Аскарида» — за худобу и вертлявость. «Отрекись» — любимое словечко Кагана.

А помните мои слова: «У Левушки Володковича все любовные увлечения начинаются сладко, а кончаются «хиной...» (Красихина, Гречихина...). Веселое тогда было время. Кто думал тогда, что на носу у всех «ежевщина»»...[4]

Лев Любимов. «На чужбине. Жизнь русских эмигрантов». М., 1963. Автор — репатриировавшийся эмигрант. Его статьи были в 63 или 64 г. в «Новом мире». Эта книга в Москве разошлась в несколько часов. В Загорск было прислано лишь два экземпляра. И я, конечно, купил один. Очень советую поискать ее в библиотеках Петропавловска. Как видите, я все еще покупаю книги, несмотря на то, что моя пенсия — только 82 рубля с полтиной. Вероятно, до смерти буду любить покурить и выпить, хотя теперь и пью, и курю меньше, чем в былые годы. А вот книги, не вероятно, а конечно, буду любить до последнего дня жизни...

Привожу Вам стихотворение митрополита Стефана Яворского, образованного человека своего времени. Он жил при Петре Великом и после смерти последнего патриарха Адриана был некоторое время «местоблюстителем патриаршего престола», а после открытия Синода первым его президентом. Стихотворение было написано им на латинском языке, я привожу его в переводе К.И.Иванова. Латинский и русский текст имеется в ж-ле «Русский библиофил», 1914 г., № 5, русский текст имеется еще в ж-ле «Бюллетени литературы и жизни», 1915 г., № 18, с. 1010-1011. Уверен, что в Петропавловске ни в одной библиотеке этих книг нет, а все-таки на всякий случай дал точное указание. Вот что значит быть «книжной душой» (это выражение Анатоля Франса, в издании собрания его сочинений его не найдете. Я прочел это во французском подлиннике его «Литературной жизни» еще в 1918 г., когда брал эти книги в академической библиотеке. Видите, с каких пор это название мне памятно!).

ЭЛЕГИЯ МИТРОПОЛИТА СТЕФАНА ЯВОРСКОГО, НАПИСАННАЯ ИМ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ, К КНИГАМ СВОЕЙ БИБЛИОТЕКИ

О, как вы часто в руках моих, книги, бывали,
Свет, утешенье мое!
Вас покидаю; питайте других, изливайте
Ценное миро свое.

Взор мой, от вас удаленный, — увы мне, не станет
Душу мою насыщать!
Вы — мое миро, мой мед, моя сладость, и с вами
Сладко мне было дышать!
Вы мне богатством и славой великою были,
Раем, предметом любви, —
Дали мне свет и любовь мне доставили знатных,
Почести дали мои.
Рок неизбежный меня увлекает, лишая
Тихих, безоблачных дней;
Вас я не буду тревожить, на веки сомкнутся
Веки усталых очей!
Вечная книга теперь — пред очами моими, —
Бог отверзает ее;
Каждый прочтет в ней и речи свои, и деянья,
Мзду восприимет за все.
Страшная книга!...Она пред судищем откроет
Скрытые ныне дела, —
В мыслях ее открываю, и члены трепещут,
В сердце вонзилась стрела.
Бог мой, Отец мой! Щедрот неустанный податель,
Нежного чувства родник,
Моря, земли и далеких небес обладатель,
Бури смиряющий в миг.
Ты управляешь так мудро путями созвездий:
Выслушай червя — меня.
О, запиши мое имя Христовою кровью:
Он — вся надежда моя!
Вы же прощайте, писанья, жилище и... книги,
Трудно добытые мной;
Люди, все люди — и братья, и старцы — прощайте:
Мир я покину земной.
Общая мать! Приими мое тело к себе...
Душу дам небу, а кости, родная, тебе!

Как трогательно читать эти проникновенные строки, написанные в начале XVIII века! Мало было тогда книг, и даже митрополит говорит о них «трудно добытые мной». Но тогда мудрые люди читали книгу медленно, с большим вниманием и потом не раз перечитывали ее... Теперь мы завалены книгами. Любители чтения глотают их, а потом бросают и забывают. Теперь мало таких людей, что любят не раз перечитывать одну и ту же книгу... И далеко не многие умеют среди книжного потопа выбрать нужную, ценную книгу. В особенности меня по-

ражают люди, преимущественно молодые, особенно девицы, которые читают в вагонах метро, поездов, в автобусах, даже в разных очередях... Что у них остается в головах после такого чтения? Поистине, для них книга (легкая беллетристика) — нечто вроде опьянения, своего рода «опиум» — только бы забыться, отвлечься от действительности, которая, по-видимому, их не удовлетворяет...

Вот я закончил свое писание. Милый Друг, не сердитесь, если оно Вам не понравится. Я делюсь с Вами своими мыслями и чувствами, через сотни километров разговаривая обо всем. С нетерпением жду от Вас писем и радуюсь, когда вижу пакетик в моем почтовом ящике. Когда же приедете в Загорск осенью, то непременно навестите меня. Отрадно будет поговорить обо всем. Вообще, если вздумаете приехать, то письмом предупредите, когда будете в Загорске, чтоб не случилось, как в последний раз, когда Вы нагрянули врасплох и не застали меня дома.

Желаю Вам всего-всего хорошего, а главное — доброго здоровья и бодрого духа.

Любящий Вас Сергей Волков.

Не обошлось без постскриптума! Очень рекомендую прочесть любопытную книгу: Себастиан Брант. Корабль дураков. Избранные сатиры. Пер. с немецкого Льва Пеньковского. Изд. «Художественная литература». М. 1965. С иллюстрациями Альбрехта Дюрера. Цена 1 р. Это нечто вроде «Похвалы глупости» Эразма Ротердамского, который ценил «Корабль дураков». S.

Загорск. 24 июня 1965 г.

8

Загорск. 2 июля 1965 г.

Милый Друг Валентин Петрович!

Если бы я захотел написать Вам все мои ласковые обращения, то, наверно, не хватило бы полстраницы... Мой Брат, мой верный Товарищ в море житейском, мой Сынок любимый, мой спутник жизни с молодых моих лет, мой сопутственник по лесам, полям и долам нашего родного и милого Подмосковья, мой со-таинник в познании откровений философии и литературы, мой ангел-хранитель в моменты ясности нашей обоюдной, мой демон-искуситель в моменты споров о материализме,

мой цветок, не восхотевший произрастать на пажитях поэзии, отдавший предпочтение дремучим чащам истории, мой шутник и острослов, не уступающий мне — изощренному злоязычнику, мой вечный спорщик, придававший мне силу спорить, мой спутник в годы моей зрелости и до сих пор, когда тени вечера уже спускаются над моей головою... Кончаю: все мои «моди венерационис, амицициэ, аморис атква магнификационис», хотя и не исчерпаны мною, но уж, конечно, порядком надоели Вам.

Тотчас же цепляюсь за Ваше замечание относительно дефиса между «был» и «бы». Посмотрите учебник русского языка: частицы ЖЕ (Ж), ЛИ (ЛЬ), БЫ (Б) пишутся без дефиса, а частицы -ТО, -КА, -ТАКИ, КОЕ-, -ЛИБО, -НИБУДЬ с дефисом. Давая его в свое время ученикам, я всегда рассказывал китайскую сказку: «Жили-были китаец Кое-, либо-, -нибудь и китаянка -То, -Ка, таки. Они любили друг друга, поэтому и писались через дефис. Но у китаянки был злой старый отец Же, ли, бы. Он писался без дефиса и не позволял им жениться. А они все-таки поженились и прожили вместе долгую счастливую жизнь». После этого мои ученики хорошо запоминали правило. Вот я и выполнил перед Вами свой грамматический долг.

Относительно списка географической литературы (главным образом — описания путешествий) скажу только одно: все эти произведения хороши, одни меньше, другие больше. «Дрянца» я Вам не решился бы порекомендовать. Для меня — они — клад: я путешествую в мыслях, в мечтах... Мне ведь не пришлось испытать интересных путешествий. А здесь я углубляюсь или в никогда не виданные мною экзотические страны, или же в глубь веков. А древность я всегда любил страстно и сейчас люблю. Да, Милый Друг! Вся жизнь моя прошла преимущественно в мечтах. Это для меня написал Федор Сологуб в одном стихотворении: «*О, смертный, верь обманам, и сказкам, и мечтам: твоим душевным ранам отрадный в них бальзам!..*» Вот я и прибегаю к этому бальзаму несравненно чаще (почти ежедневно), чем к другому, «с бычком», как говорят опытные в сем деле люди.

Вы пишете, мой Друг, что к моим произведениям надо относиться, как к произведениям и письмам Флобера... Это лестно для меня. Но я больше удовлетворил-

ся бы сравнением с Франсом. Он мне ближе по моему скептицизму (говорю тайком от моих друзей в Академии[1]: они так боятся всякого свободомыслия и не понимают его!). А мне всегда был и теперь нужен простор для моих мыслей, мечтаний и прозрений. И я отталкиваюсь от всяческой догмы — и справа, и слева.

Кончаю. Устал, т.к. и сам немножко выпил. Наверно, много опечаток, а проверять неохота. Хотелось бы повидаться и о многом поговорить с Вами. Когда будете в Загорске, предупредите заблаговременно и навестите. Прилететь к Вам на Камчатку — для меня просто невозможно, как невозможно вдруг стать снова юным. Даже на Комсомольскую[2] мне иногда бывает дойти не под силу. Всего Вам хорошего. Дружески обнимаю и целую Вас. Шлю Вам русскую открытку на японскую тему.

А, кстати, имеются интересные японки в Петропавловске?

Ваш Сергей Волков.

9

Дорогой Валентин Петрович!

Вы долго не могли собраться написать мне. А теперь я сам Вас прошу: не пишите, пока не получите от меня следующего письма. Я заболел и завтра ложусь в больницу (б. Земскую). У меня сильно болит печень.

Желаю Вам и всем Вашим близким доброго здоровья, душевного спокойствия.

С сердечным приветом Сергей Волков.

28-VII-65 г. Загорск. А Женя Конев свозил меня на места моей родины. Много впечатлений. Выздоровлю — напишу.

II. **Письмо протоиерею А.Д.Остапову**

Дорогой, Милый и Многочтимый Отец Алексий!

Я сильно заболел (печень) и завтра ложусь в больницу (б.Земская). Пролежать придется не меньше месяца. И так как медицина соседствует с смертью, само слово «фармакон» означает и лекарство, и яд, то мне приходится об этом задумываться. У меня к Вам будет прось-

ба: если я удалюсь к праотцам, то заплатите за меня должок М.Н.Ковалеву, у которого я занял 20 рублей. Пусть это будет в счет неосуществившихся моих трудов для Музея.

Мои мемуары готовы к переплету. В авторском экземпляре негатив карточки, которую я хотел бы поместить в начале книги. Дальнейшую судьбу мемуаров передаю в Ваши руки[1].

А теперь и очень серьёзная просьба: я прошу Академию отпеть меня по православному чину, ибо, несмотря на все мои вольномыслия, в глубине души я — православный. Только отпеть как можно смиреннее, скромнее, и чтобы не было никаких венков.

Всего хорошего, мой Родной Отец Алексий, спасибо — спасибо за всё добро, которое Вы мне постоянно делали. Да вознаградит Вас Всемилостивый Господь и всех Ваших близких за Вашу помощь в трудные дни и за Ваше сердечное отношение. Если же Господу будет угодно меня исцелить, то своим трудом я выражу еще раз свою признательность.

Низко кланяюсь и прошу пастырского благословения.

Извините, что плохо напечатано: болезнь препятствует.

28/VII-65 г. Сергей Волков

Приложения



На обороте: С.А.Волков в МДА,
июнь 1957 г.

ВЕХИ

(Даты и события)

1913 г.

Жизнь на Болотной улице в собственном доме. Сад — стол и скамья в кустах шиповника. Там появились первые стихи, которые потом я через год сжег. Первое из них — о монастыре, о призыве к уединению и созерцательности — под влиянием лермонтовского «Нищего».

Продажа собственного дома. Переезд в дом О.Пикуновой на краю Вознесенской улицы. Отсутствие сада при нем. Зато я стал гулять за линией.

Первые встречи с Алексеем [Спасским] у него на дому. Запах его химикалий. Его черные рубашки. Сени с желтыми стеклами. Он мне говорит об Э.По и знакомит впервые с символистами.

Дружба с Н.Черновым. Трехсотлетие «дома Романовых». Приезд Николая II к Троице. Мои впечатления.

1914 г.

Изучение теории словесности в IV классе гимназии. Мои первые размышления над стилем. Замыслы a la Пруст и Джойс. Увлечение символизмом. Разыскивание соответствующего материала в «Ниве». Книги из библиотеки Дмитриевской. Я снова пишу стихи. Увлечение темой ночи, леса. Стихи, навеянные открытками с репродукциями Бёклина, Штука, Котарбинского. Я приобретаю «Заратустру» Ницше (в переводе Образцова).

Сближение с А.А.Спасским зимой. Встречи на нейтральной почве (всенощные в гимназии). Прогулки после всенощ-

ных по линии железной дороги к Ярославлю. Новый мир открывается (вернее — утверждается) передо мной.

Лето — отъезд в Маврино. Там узнаю о войне. Много читаю. Много пишу стихов («Далекие зарницы»). Делаю выписки из книг. Первые — из «Гайаваты» Лонгфелло (выписки все утеряны). Одновременно — дружба с Н.Черновым. Затихание близости с С.Беляевым. Наш разрыв.

Приезд из Маврина в Посад. Военные маневры. Пушечная пальба. Странные ощущения — своей изолированности среди всеобщего смятения и возбуждения. В гимназии война совсем не чувствуется. Летние и осенние прогулки с А.А.Спасским. Я — в V классе, Алексей кончает гимназию.

Мое полное равнодушие к Беляеву и Чернову. Вообще, после А.А.Спасского, мои товарищи-сверстники перестают меня интересовать. Я замыкаюсь в одиночество. Болезнь мамы. Я живу два месяца один.

Виктор Кутилин. Мои прогулки по Ильинской улице. Встречи с В.А.Мякишевым. Его отношение ко мне (осмыслил все значительно позже). Сибиряков. Латинская грамматика. Разговоры о нем с Алексеем, также как и о М.Соколове.

1915 г.

Равнодушие к войне. Незамечание ее. А.А.Спасский — в Петербурге. Я увлечен чтением. Открытие Ибсена, Гамсуна, Маннов, Стринберга, Банга и т.д. («Корчагинские» книги в Земской библиотеке). Журналы: «Современный мир», «Исторический вестник», «Вестник Европы».

Плохое учение в гимназии. Единственная двойка в четверти (по математике). Мое жульничество и страхи, связанные с этим. Мои переживания той поры («Пробуждение весны»). Бродяжничество. Увлечение кинематографом. Знакомство с Б.Е.Брауде и НН (Огнёв?). Смертельная тоска. Преодоление опасного возраста. Спасительное влияние природы и книг.

Стихи пишу по-прежнему. Влияние Уайльда. Экзотика, эстетизм.

1916 г.

Бесцветность гимназических дней. Я грежу и мечтаю, не видя каждодневных будней. Редкие встречи с А.А.Спасским,

редкие письма от него. Неудачи на войне. Мои мысли о приходе немцев в Москву и в Сергиев Посад.

Обстоятельное знакомство с поэзией Бальмонта, Брюсова, Сологуба, Мережковского, Кузмина. Приобретение в книжно-букинистическом магазине Шарова (на бульваре) Тютчева, Пояркова («Поэты наших дней») и «Вопросов жизни». Новые имена: А.Блок, А.Белый, Вяч.Иванов, «путейцы» (пока — Бердяев и Булгаков). Лев Шестов. Уклон в философию.

Дружба с К.И.Липатовым. Я начинаю бывать в Академической церкви.

Знакомство со студентами-монахами: Феодосием (Пясецким), Гавриилом (Мануиловым), Панкратием и Порфирием. Беседы в их комнате (в «Синоде»). Знакомство с архимандритом Иларионом (Троицким), посещение его квартиры (описано в главе «Крыло войны»).

Совместные прогулки и беседы с товарищами-одноклассниками: С.Кочетовым, Д.Липеровским, П.Новиковым, М.Скворцовым, В.Тосминским. Знакомство с гимназистом Сапегой. Я провожу в Маврино последнее лето.

1917 г.

Литературный кружок в гимназии. Безрадостные вести с войны, безрадостные мысли о войне. Жизнь в мечтах. Мысль о поступлении в Духовную Академию. Посещение Земской библиотеки и читальни.

Очень редкие встречи с А.А.Спасским. Попытки сдружиться с товарищами-одноклассниками. Их бесцветность по сравнению с Алексеем.

Ухудшение материального положения. Первые «карточки» на белую муку и сахар. Первая «общественная работа» в Городской управе по выдаче этих карточек населению.

Смерть Распутина. Газетные сообщения и толки среди населения о нём, царе и царице. Напряженности внешнеполитического положения. Различные слухи.

Февральская революция. Я милиционер (одни сутки). Митинги. Опьянение свободой. Сияющие горизонты впереди. Мои выступления на общегородских митингах. Организация митингов внутри гимназии для гимназистов и гимназисток. Мое увлечение политикой. Это укрепляет мое тщеславие. Первомайская демонстрация. Я знакомлюсь с проблемами социализма. Первые проявления большевизма. Выборы в городское самоуправление. Агитация, борьба партий.

Окончание гимназии. Выпускной вечер. Знакомство с Олей Земель и Женей Гильберт. Моя лекция о творчестве Бальмонта. Знакомство с Голубцовыми и С.Н.Каптеревым. Дружба с Иваном Полушиным. Наши прогулки и беседы.

Поступление в Академию. Новый мир. Он отвлекает меня от политики.

Конец декабря — в Москве. Приключения. Я спасаюсь от опасности авантюрного пути.

1918 г.

Академия. С.А.Орлов. Лекции, работа в библиотеке. Упоение мудростью. Книжные богатства. Мечты о карьере ученого.

Жизнь на Штатно-Всехсвятской улице в доме Панкратова. Материальные трудности. Встречи с Полушиным. А.А.Спасский — в Вологде. Д.В.Липеровский учится со мной в Академии. Постепенно теряю из вида всех гимназических товарищей.

Г.Н.Навроцкий. Его библиотека. Сплетни о его «хлыстовстве».

Разные студенты МДА. Сближение с монахами из «Синода». Увлечение рассказами Б.Зайцева, А.Н.Толстого и Бунина, живописью Нестерова и Левитана. Эстетизм и утонченность одиноких переживаний. Летние и осенние прогулки в лес и поля.

Эллинизм и христианство. Влияние академического богослужения. Чтение Марка Аврелия. Мысль об умирании античности. Мечты о синтезе античности и христианства.

Чтение «Русской мысли». Вообще чтение без конца. Полное равнодушие к политике. Встречи с К.И.Липатовым и И.И.Липатовым. Николая привозят малышом поступать в гимназию. Серафиму 12-13 лет. Отъезд С.А.Орлова в Архангельск. Одинокое лето.

1919 г.

Сближение с К.Липатовым.

Ликвидация Академии. Отъезд монахов из «Синода». Полное одиночество. Трудности жизни. Голод.

Сближение с Варфоломеем, Вассианом и Матвеевым. Работа при академическом храме и в библиотеке МДА. Я становлюсь заведующим студенческой библиотекой.

Беспокойство по поводу воинской службы. Повальные обыски в Лавре и в городе. Ночной обыск у меня на квартире.

Редкие встречи с С.Н.Каптеревым. Знакомство с Г.Ф.Гирсом. Он устраивает меня заведующим библиотекой Военно-Педагогической Академии в Москве. Поездки. Жизнь в Москве, в Волковом переулке. Ужасные трудности.

Знакомство с Левковыми — А.Ф. и М.М., и Е.Н.Веревкиной. Вечер у последней. Гр. Соллогуб. Моя тоска в Москве. Приезды в Сергиев Сережи Ч.

Кинофильм «Бен Гур» в Москве. Увлечение К.Фейдтом («Леди Гамильтон»). Лето в Москве. Музеи. Одиночество. Военные дела. Я получаю «белый билет». Дизентерия, я при смерти. Выздоровление.

Осень: я ухожу из Москвы и устраиваюсь заведующим 2-й районной библиотеки в Сергиеве. Тяжелая болезнь А.Спасского.

Академическая церковь переезжает в Пятницкий храм. Закрытие Лавры. Поездка в Москву по церковным делам. Патриарх Тихон.

С.А.Спасский — в Курске. Сильное впечатление от «Кима» Киплинга и «Эндимиона» Хейденстема. Увлечение Стринбергом и А.Франсом.

Примечания С.А.Волкова

Веревкина Екатерина Николаевна — работала библиотекарем в Военно-педагогическом институте. Молодая вдова — ее муж-офицер погиб в годы Первой мировой войны. В 1920-21 гг. она скоропостижно скончалась.

Гейман Борис Васильевич — зав. учебной частью в Военно-педагогическом ин-те. Его жена — дочь издателя и редактора «Биржевых ведомостей» Проппера. Я бывал иногда в его семье.

Гирс Георгий Федорович — заведующий Военно-педагогическим институтом в Москве с 1919 г., бывший полковник и директор Кадетского корпуса. Вначале уклонялся от советской службы. С ним я познакомился в 1918 г., когда он с семьей некоторое время жил в Посаде, бывал у них, познакомил его с академическими монахами. Потом он устроился в названном институте и устроил меня там зав. библиотекой, где я работал летом и осенью 1919 г., Был знаком с его женой, дочерью цензора и публициста М.П.Соловьева. Бывал у них в Москве и в 1920 г.

Каптерев Сергей Николаевич (СНК) — младший сын профессора МДА Н.Ф.Каптерева, одноклассник и друг Алексея Спасского; с ним я был знаком раньше, ближе сошлись в 1917-1918 гг. В годы Московского дневника он, по окончании МГУ, служил преподавателем истории во 2-й школе 2-й ступени в Посаде, быв. частной женской гимназии Е.М.Цветковой, вдове профессора МДА Цветкова.

Левковы — Анна Федоровна (А.Ф.Л.), немка по национальности, моя сотрудница по работе в библиотеке Военно-педагогического ин-та в Москве. С ее мужем, Михаилом Михайловичем Левковым (М.М.Л.), преподавателем математики на рабфаке им. Покровского при МГУ, большим библиофилом и поклонником Ан.Франса, я дружил в 1919-1920 гг., часто бывал у них в Москве

Липатов Константин Иванович (К.), мой товарищ по Сергиево-посадской гимназии, был моложе меня двумя классами; наша дружба началась с 1916 г. По окончании гимназии жил в Москве, часто наезжал в Посад, где учились его родные и двоюродные братья. Я иногда бывал у него в Москве. Впоследствии стал летчиком и коммунистом. В годы дневника, хотя он и был неверующим, из любознательности вместе со мной иногда бывал в посадских церквах.

Матвеевы — Надежда Александровна, Василий Никифорович, их дети — Дмитрий, Николай, Любовь, Вера, Екатерина. Дмитрий и Николай — мои ученики по школе 2-й ступени им. М.Горького. Надежда Александровна Матвеева была видной церковной деятельницей в Посаде, почитательницей архимандрита Вассиана (Пятницкого).

Спасский Алексей Анатольевич, сын проф. МДА А.А.Спасского. Мы оба учились в Сергиево-посадской гимназии. Он на три года был старше меня и кончил гимназию в 1914 г., когда я был в V классе. Мы подружились с ним в 1913 г., хотя были знакомы раньше. В годы дневника он жил в Петрограде, кончал Горный ин-т, затем работал инженером где-то на Севере, кажется, в Вологде. Потом приехал в Посад.

Спасский Сергей Анатольевич, младший брат А.А.Спасского, тоже учился в гимназии, классом моложе меня. В годы дневника работал библиотекарем в Курске, после занятия города белыми вернулся в Посад.

Хвостов Дмитрий Сергеевич, сын губернатора и племянник министра. Его мать, Анна Ивановна Хвостова,

бывшая директрисса Екатерининского ин-та, и старшая сестра, Екатерина Сергеевна Хвостова, бывшая фрейлина царицы Александры. После Февральской революции они поселились в Сергиевом Посаде и жили там, приблизительно до 1921 г. Я бывал у них в доме, давал уроки русского языка, литературы и латинского языка Диме, которого мать не хотела доучивать в советской школе 2-й ступени. Тогда я познакомился с матерью А.И.Хвостовой — старушкой лет 80-ти, проживавшей в Москве: ее фамилия —Унковская, ее муж, мичман Унковский, описан Гончаровым во «Фрегате «Паллада»». В свое время у нее бывали Гончаров, Ал.Толстой, братья Жемчужниковы. Она сказала, что знаменитый Кузьма Прутков родился в ее гостиной.

Цветкова Антонина Валерьяновна — учительница, жена С.Н.Каптерева.

1935 г.

Две недели, проведенные в доме В.Жалченко (1-14.1). Смерть мамы 18.1.35 г. У нас сломано отопление. Увлечение Державиным. Снова Гёте (лирика в изд. «Academia»). Мечты о Милом Друге. Сближение с семьей Флоренских. Я и В.Жалченко часто там бываем. Споры, беседы. Симпатия к О.П.Ф[лоренской]. По-прежнему посещения С.И.Огнёвой, она читает свои мемуары.

Частые поездки в Москву за книгами. Много покупаю — себе и В[алентину]. Летом много прогулок по лесам с В[алентином] (в «Царьдар»). Волнения из-за В[алентина] (окончание школы, поступление на подготовительные курсы, В[алентин] не поступает в вуз). Изредка — наезды Ж.Конева из Москвы. В.И.Пиков (Pico) наезжает редко. Окончательно теряю из вида «Аза» [А.К.Зморович], К.С. уже давно исчез. Все реже бываю у О.Н.В[иноградовой] и Тихомировых. Все реже встречаюсь с «Маркизой» [Е.В.Кузнецовой] и С.К.Духовской. Отхожу от компании Н.А.Ч[ербовой], М.Н.Г[ребенщиковой], Н.Л.П[алкиной]. «Три грации» сердятся и ревнуют. В голове масса замыслов, но осуществлять их некогда: сильно перегружен работой.

Женитьба на В.Н.Луценко (октябрь).

Читаю «Смерть героя» Олдингтона. Как и Хаксли, он стал моим любимым писателем. «Эрмитаж» замер. Совсем не пишу. В стихах все сильней тема «Тибета». Злоупотребление вином (осенью и зимой). Непрекращающаяся тоска о маме. Мысли о своей возможно скорой смерти.

Усиление во мне «поучающего» тона. Самоуверенность, переходящая в самомнение. Столкновения на этой почве с В.Н.[Волковой] и Е.Е.Волковой.

1936 г.

Я много пью. Это и успокаивает, и мучает. Много работы в трех местах (школа, педкурсы и медшкола). Переутомление. Покупаю книги, но только просматриваю и ставлю на полку. Усиливается интерес к философским и религиозным проблемам.

Постепенное расхождение во взглядах на жизнь с В.Н.[Волковой]. Она тяготит меня. Сильнее сближаюсь с Флоренскими и С.И.Огнёвой. Знакомство у последней с О.И.[Кузнецовой] («Marc Aurele»). Ее сердечность трогает. Начало душевной болезни.

Pico [В.И.Пиков] — в Хотькове. Редкие встречи. Ссора. Продолжения «Эрмитажа» все нет. В стихах сплошной «Тибет». Летние прогулки с Ж.Коневым, изредка с В.[Жалченко]. Снова глубоко переживаю символистов (философски — особенно Брюсова, Вяч. Иванова). Сильное влияние идей из книг: «I Всесоюзный съезд советских писателей». ГИХЛ, 1934 (куплена в 1935 г., проштудирована в 1936 г.) и, особенно, «Международный конгресс писателей в защиту культуры», ГИХЛ, 1936 г.

Усиливающийся интерес и любовь к филологии. Приобретение словаря Даля. Встречи и беседы с С.А.Г. у Флоренских. Снова увлечение Ницше. Большое влияние 1-го тома мемуаров А.Белого (приравниваю их к «Warheit und Dichtung» Гёте).

Работа летом на курсах переподготовки учителей. Преподаю русский язык. Экскурсии с учителями в Мураново и Абрамцево. Узнаю о стихах А.Дурнова. Симпатия к нему из-за этого. С удовольствием читаю в 3-й раз «Кима» Киплинга. Образ ламы потрясает меня.

Переписал «Внутренний сад» и «Дни моей жизни» (дневник 1919-1920 гг.) с разрозненных листков в одну тетрадь. В связи с этим пережил прошлое и увидел, что почти во всем был тогда прав.

Одиночество: В.Н.[Волкова] в Москве и на юге, Валентин — в Сванетии с К.Флоренским. Волнения в связи с поступлением Валентина в вуз. Сближение с Н.С[уховым]. Расхождение с Валентином после Кавказа, особенно 19.11.36 г. Резкие приступы душевной болезни. Осенью — неприятности в школе в связи с квалификацией.

Нервная экзема на руках и на ногах. Мучения от нее: страшная чесотка, лекарства не помогают (излечился солнцем и воздухом весной 1937 г., гуляя по лесам к Ярославлю).

1937 г.

Пушкинский юбилей. Много читаю лекций о Пушкине. Покупаю книги его и о нем. Много думаю о творчестве четырех гигантов — Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тютчева. Перечитываю с увлечением Лескова, Чехова, Достоевского, Л.Толстого. Сильное влияние книг Фейхтвангера («Успех», «Еврей Зюсс»), Р.Роллана («Неопалимая купина» и вторично — «Кристоф» и «Кола Брюньон»).

Работа в Медшколе, частные уроки. Материальная обеспеченность (до января 1938 г.). Очень много покупаю книг себе и Валентину. Увлечение музыкой (радио у С.И.Огнёвой: Лист, Паганини, Моцарт, Куперен, Рамо, Дебюсси, Равель). Воскрес интерес к своим мемуарам. Много пишу для «Эрмитажа». Перечитываю «Столп...» Флоренского и воспоминания о Флоренском. Стихов очень мало: все звучит внутри, и умирает, когда берешься за перо.

Дивный Пушкинский вечер у С.И.Огнёвой в присутствии О.И.[Кузнецовой] («Marc Aurele»).

Летом брожу по лесам один или с Александром Д[урновым]. Поездка в Софрино к Н.С[ухову]. Прогулки в лесу с ним. Хорошая, спокойная дружба. Ж.Конев на Алтае. Летом навещает меня В.М.Пясецкий (Феодосий). Сердечная, но грустная беседа об Академии, о прошлом.

С августа работаю на кинокурсах. Любопытные встречи и разговоры со студентами со всех концов СССР, особенно с киргизами, таджиками, казахами. К.Б. (его дальнейшая судьба в 1938 г.).

Валентин [Жалченко] летом в лагере на Украине. Осень проводит со мной, много гуляем в лесу.

Отъезд Крестной в Милет (осень). Окончательное расхождение с В.Н.[Волковой] (октябрь), ее отъезд. Сердечный припадок после переселения обратно в свою комнату (надорвался, перетаскивая тяжелые шкафы и книги). Я на границе смерти. Валентин потрясен моим припадком, но потом снова забывает обо мне.

После сердечного припадка — затишье. Мечты о ясности и спокойствии. Часто бываю у Валентина. Игра в карты. Противная семья Б-х. Я еще больше сближаюсь с С.И.Огнёвой (после отъезда Крестной и жены). Она сердечно, по-матерински утешает и успокаивает меня. Сближение с Г.Л[ебедевым] и А.Д[урновым]; Ж.К[онев] и Н.С[ухов] иногда наезжают. Бывает В.Г.Задорожных: интересен и тяжел. Я бываю у него на даче.

Общее тяжелое настроение с конца года (ноябрь, декабрь). Много пью. Стараюсь все позабыть. Сильные припадки душевной болезни.

1938 г.

Тяжелое состояние продолжается и в январе-марте 1938 г. Нервные предчувствия, бессонница, нервирующее окружение — все кажется болезнью. Болезнь. Длительное недомогание дома (январь-март).

Очень много читаю: «Интернациональную литературу», Фейхтвангера («Иудейская война», «Сыновья», «Новая пища» А.Жида и неизданные письма Чаадаева в «Литературном наследстве». Огромное впечатление от «Волшебной горы» Т.Манна. Читаю и перечитываю книги из своей библиотеки. Часть книг (томов 200-300), преимущественно новейшей беллетристики, продано перед болезнью, о чем потом сожалел. Читаю 2-й и 3-й тома мемуаров А.Белого, перечитываю 1-й том: сильное впечатление. 1-й том — самый глубокий.

Протек потолок. Неделя с капелью в комнате, все отсырело. Потом три дня не топят: приступ ишиаса. Апрель и май — в больнице. Невероятные мучения, желание смерти.

В больнице продумываю окончательно «Материализм и эмпириокритицизм» Ленина. Там же перечитываю Тютчева, составляю схемы для работы о нем. Там же прочитываю «Мемуары» Сен-Симона, перечитываю с глубоким чувством Флобера, Бальзака и Блока. Сильно повлияла книга Цвейга о Толстом и Казанове.

В[алентин] совсем покинул меня, только под конец дважды навещает меня в больнице и утешает.

Хорошее отношение врачей Вознесенского и Рождественского. Чисто сыновий уход со стороны Г.Л[ебедева] и А.Д[урнова]. Я тронут. Душевная болезнь затихает после

ишиаса. Одно желание — спокойствия, жизни. В больнице много пишу стихов (апрель), потом записываю по памяти.

После выздоровления все лето с Г.Л[ебедевым] и А.Д[урновым]. Жаркое, сухое, совсем без дождей лето укрепляет меня. Я научаюсь постепенно ходить. Частые прогулки с А.Д[урновым] по лесам. Это меня воскрешает. Особенно хороши — к Дерюзину с Ж.К[оневым] и А.Д[урновым]. Летом Pico приходит с покаянием. Я бываю у него в Хотькове, он у меня. Летом меня навещает Крестная. Дружеские отношения с Т.В.Розановой.

По-прежнему бываю у С.И.Огнёвой. Ее сердечное отношение ко мне до, во время и после болезни. Слушаю радио. Потрясающее впечатление от Бетховена, Чайковского. Читаю вслух Огнёвой Пушкина («Капитанскую дочку»), «Юрия Милославского», «Войну и мир». Встречи у нее с Н.В.Д[убово]й.

Огромное впечатление от Бухаринского процесса. Масса мыслей. Захват Австрии. Осенью Валентин вступил в комсомол. С.В. снова появляется. Я готовлю его в вуз.

К концу года стихи снова оживают. Много пишу для книги «Эрмитаж». Поездка в «Правду» с В.Г.Задорожных. В течение всего года усиливается идейный и душевный отход от меня Валентина. Новый (1939) год встречаю у С.И.Огнёвой.

1939 г.

С апреля работаю в Райпромкомбинате. Занимаюсь с директорами и на рабочих курсах.

Пишу стихи, но мало и редко, так же, как и книгу «Эрмитаж». Очень много читаю, перечитываю свои книги, много думаю. Перечел том Л.Андреева, «Форсайтов» Голсуорси. Снова интерес к М.Прусту; «Лжепророк» и «Изгнание» Фейхтвангера. Перечитывал «Закат Европы» Шпенглера; сильное впечатление от «Спутников» Р.Роллана, «Жизни Ницше» Галеви и некоторых вещей Л.Андреева.

Много книг брал у Флоренских, с которыми опять сблизился. Особенно полюбил Н.П.[Гиацинтову], А.М.[Флоренскую] и Олю. По-прежнему неприятен С.Т[рубаче]в. Бываю у С.И.Огнёвой. Иногда наезжает Ж.К[онев], который подарил мне том «Литнаследства» о символистах, и Н.С[ухов]. Затем — ужасная весть об Н.С[ухове] (через Наташу Маясову). Часто вспоминаю Н.С[ухова]. и жалею его. Еще чаще думаю об Алексее [Спасском].

Летом — прогулки и купанье (после 4 лет воздержания) с Ж.К[оневым] и А.Д[урновым]. В.И.П[иков] с весны снова пропадает. Летом и осенью две поездки в Милет к Крестной, много размышлений.

Знакомство с А[лешей] В[ихляевым] Милый человек. Редко бываю у Валентина. Он у меня — еще реже. Летом он на покосе, потом ездил с семьей в Харьков.

Летом — последний приступ душевной болезни. Я брожу с утра в лесу (после разговора с С.В.). Спасает положение А.В[ихляев], послав за мною Валентина. Провожу у них весь день. Приезд С.В. Дружеские встречи и беседы. По-прежнему увлечение музыкой. Потрясающее впечатление от [?] Моцарта, VI симфонии Чайковского и особенно от «Орфея» Глюка.

Редкие прогулки с В[алентином] осенью в лесу. Поездка с ним и с А.В[ихляевым] на автомобиле к Холодкову. Дивный лес. Разговор с В[алентином] в Василькове, пока А.В[ихляев] покупает яблоки. Кошмарная ночь после этого (поиски Валентина в лесу после ссоры с матерью).

С сентября ухожу из медшколы. В ноябре — свадьба Алексея В[ихляева] и Г.П.Ж[алченко]. Новый год встречаю у Валентина. Тяжелое воспоминание.

1940 г.

Очень сильное впечатление от «Размышлений» Марка Аврелия (читал в 3-й раз и делал большие выписки). В связи с чтением воспоминание о «Marc Aurele» (О.И.[Кузнецовой]). Огромное впечатление от «Заката Европы» Шпенглера — насыщенная книга, книга Гётевского плана. Переписывал «Изборник» для С[аши Дурнова]. В связи с этим оживление творчества. Мечты о 3-м «венке сонетов».

9 марта — женитьба В.П.Ж[алченко] на К.И.О[негиной]. В январе и феврале беспокойство относительно возможного его отъезда в армию.

Январь-февраль-март — продовольственные затруднения. Очереди. Ликвидация курсов Райпромкомбината.

С 10 мая по 1 октября — служба в М[узее] Н[ародных] Х[удожественных] Р[емесел]. Увлечение изделиями из папье-маше (Палех, Мстера, Холуй, Федоскино). Особенно — Палех. В связи с Палехом интерес к иконописи. Намечаю линию развития: эллинистический портрет (Фаюм, Помпеи) — византийская иконопись (Панселин), и далее два разветвления: 1) западное — к. Чимабуэ, Джотто, Беато Анжели-

ко, Боттичелли — в финале Рафаэль; потом перерыв и только у английских прерафаэлитов временное искусственное возрождение древней традиции; 2) восточное — русская иконопись: вершина — Рублев, затем упадок — 18 и 19 века. Ответвление — В.Васнецов, Нестеров, Котарбинский, Рёрих, Врубель (Ге и Поленов совсем в стороне). И продолжение «старой погудки на новый лад» — Палех после революции. Хочется писать на эту тему. Работа по библиографии. Много пересмотрел и прочел интересных книг.

В личной жизни — никаких событий. Летом очень редко бывал в лесу (работал, отпуска не было), осенью — ни разу. Это в первые с 1916 года! Часто с грустью вспоминал о + С.И.Огнёвой и + Н.П.Г[иацинтовой] — наравне с воспоминаниями о милой моей мамаше: все три родные. Тоскливо, что нет со мной Крестной. Хочется побывать у нее, и — некогда. Беспокойство о ней в связи с их переселением. Грустные наблюдения над жизнью Валентина: «что было и что стало!»

Часто навещает меня Б.М[ишин?], очевидно, чувствуя себя одиноким. В 1941 г. его должны перевести на службу в Минусинск. Ж.К[онев] и А.Д[урнов] по-прежнему не забывают меня. Только они и радуют своими посещениями. С ними совсем сроднился. А Ж.Л[ебедев] стал бывать реже: молодость! От В.И.Пикова и от «3-х» — никаких вестей. Как и о бедном Н.С[ухове]. Думаю часто о нем, также и об Алексее [Спасском]. Очень хотел бы обоих видеть. Стихи и мемуары молчат, но во мне зреет новое содержание.

С 1 октября работаю в Лаврском музее. Это еще интереснее, чем МНХР. Здесь сама история говорит со мною. Очарован богатством ризницы. Чувствую любовь ко всему этому и знаю, что буду работать с подъемом. Опять много книг. Читаю «Чтения». Как много в них интересного! Пленяет старый быт со всеми мелочами. Так все выпукло, красочно, своеобразно — и в слове, и в предметах искусства, точно видишь весь этот ушедший мир.

С октября же преподаю литературу на IV курсе рабфака Наркомзема. Развитие студентов очень невысокое. Полное отсутствие глубоких интересов. Приходится говорить примитивно. Двое талантливых и развитых: Вик[тор] Обол[енский] и Юр[ий] Бор[исов?].

Рост поэтического дарования А.Д[урнова]. Мое еще большее сближение с ним на этой почве. Наши частые встречи, прогулки в лес, задушевные беседы. Снова возрождаются стихи. Пишу для «Эрмитажа». Преподаю на рабфаке, работаю в Музее Лавры. Пишу исторический очерк Музея, статью о «Чертогах», перевожу главу «Троица» из «Voyage en Roussie» Т.Готье. Большая работа по описанию экспонатов. В связи с этим знакомство с Н.А.Цыгановым и Е.В.Сильверсван. Поездки в Москву в Институт музейной работы Наркомпроса, в ЦАМ, в Академию Наук. Выступления. Планы и мечты о дальнейшей научной работе.

Много читаю по русской истории, в частности, по XVIII веку. Увлечение «Историей» Карамзина. Это — великолепное художественное произведение. Ключевский многими отрывками неровнее (в художественном отношении), Соловьев и Костомаров уступают. О позднейших историках, а, в особенности, о современных, и говорить нечего.

На рабфаке В.Оболенский и Ю.Б[орисов]. Частые воспоминания об Алексее [Спасском], С.И.Огнёвой и О.И. («Marc Aurele»). Никаких вестей от Коли С[ухове], В.И.П[икова] и «3-х». Жорж Л[ебедев] стал заглядывать чаще. Наши беседы. Знакомство с семьей Ж.К[онева].

Нервный припадок с А.Д[урновым] по окончании школы.

Война с Германией. Как я впервые узнал о ней. Напряженная работа в Музее в связи с эвакуацией. Воздушные тревоги, дежурство в отряде ПВХО, ночные дежурства в Лавре. Лавра ночью. Мои впечатления, размышления, переживания.

С 1 августа по 1 сентября я без работы. Прогулки в лес. Последние встречи и беседы с А.Д[урновым], прощание с ним в его саду 17 августа и проводы 18 августа в Чебоксары. Поездка в поисках службы в Абрамцево, размышления.

Моя служба в военном госпитале с 1 сентября по 1 ноября. Совместная работа с Е.Д.Берс и В.В.Розановой-Гординой. Знакомство с А.И.Леман. Люди и дела госпиталя. Общее настроение. Отступление русской армии. Беженцы. Исчезновение продуктов. Страхи. Отъезд госпиталя. Паника 16-17 октября.

Я безработный с 17 ноября. Болезнь (радикулит) и лечение. Сближение с Т.В.Розановой. Чтение рукописей В.В.Розанова («Юдаизм», «Возрождающийся Египет», «Переписка с Рцы», «Во дворе язычников»). Узнаю о М.М.Мелентьеве и читаю «Книгу о Володе» Михо. Переписка с автором. Читаю по-

смертную рукопись Л.А.Тихомирова об А[нтихристе?]. Впечатление. Встречи с А.И.Леман.

Жорж Л[ебедев] тоже уходит на войну. Письма ко мне от него, А.Дурнова и В.П.Жалченко. Письма от Льва Володковича. Письмо от А.К.Зморовича (АЗа) после шестимесячного молчания. Я становлюсь нищим. Милостыня от Вали, Алеши В[ихляева] и родителей Ж.К[онева] и А.Дурнова. Частые встречи и беседы с Ж.К[оневым]. Он один остался около меня из всех близких людей.

Очень много читаю. Сильное впечатление от перечитывания книг Розанова, Зиммеля о Гёте, «Греческого мировоззрения» М.Вундта, «Спутников» Р.Роллана.

Волнения в конце ноября и 1-3 декабря накануне бегства от подходящих немцев. Перемена положения на фронте в декабре. Тяжелое положение с продовольствием и топливом. В декабре перевожу все свои книги и многие мелкие вещи к А.В[ихляеву], т.к. усиленно говорят, что из нашего дома всех выселят, особенно с верхних этажей, где будут установлены пулеметы. Все перевезенное складывается кое-как на полу в комнате А.В[ихляева] и Г[али], где зимой не топят. Мои неудобства от этого: нет и нельзя найти нужную свою книгу. Некоторое время я живу у Алексея В[ихляева].

1942-1943 г.г.

Встреча Нового Года: опьянение, слезы; мысли 1-го числа. Подарок Жени Конева. Перспективы на будущее: мысли о «выходах» Брюсова.

Январь-февраль: прежнее беспомощное положение. Продолжаю жить у А.В[ихляева] и кормлюсь у него. Тяжелые душевные переживания в связи с этой зависимостью. Изредка, когда топят, ночую дома. Поиски службы. В конце февраля устраиваюсь преподавателем истории в Школе инвалидов Отечественной войны в МООСО (бывший Гефсиманский скит). Ничтожное количество уроков, такой же заработок. Столовая. Новые люди — сотрудники по работе — В.А.Новиков, М.В.Розанов и курсанты. Ужаснейшая обстановка грязи, неряшества, холода и полуголода. С конца февраля — дополнительная работа на кинокурсах — экзаменую вновь поступающих. Частые беседы с В.И.Печалиным. Некоторая бодрость в связи с повысившимся заработком и установившимся социальным положением. Угрозы посылки на труд-

фронт. Меня освобождают в связи с моей болезнью (радикулит).

По-прежнему встречи с Розановой и Гординой, которая к тому времени возвращается из Клина и устраивается в Загорске. Сближение с А.И.Леман и ее дочерью. По-прежнему бываю у мамы Александра Д[урнова].

В марте дом совсем не топят. Дальше жить у А.В[ихляева] невозможно: у них поселяется племянница из Хотькова, и весь март я живу у мамы Валентина. Трудности этой жизни. Дома же — полный разгром: лопнули трубы центрального отопления. Хаос у меня в комнате. Я купил себе шезлонг. Размышления мои, когда сижу на нем в шубе, среди пыли, грязи и опустошения.

Встречи с Ж.К[оневым]. Мои посещения на новой их квартире на Московской улице в доме Мельникова. Воспоминания о том, как бывал там десятилетним мальчиком. Вообще — жизнь в воспоминаниях о прошлом — отдых от непереносимого настоящего.

11 марта и связанные с ним переживания и мысли. Наступление весны. Таяние снегов, солнце, голубое небо, птицы. Я наслаждаюсь природой по дороге на работу в бывший скит и обратно. Мои мысли о Китеже, Радонеже, о древней Руси, о жизни среди природы и согласно с природой.

Все время пишу стихи. Пишу «Александрию» для милого Саши, с которым постоянная переписка. Пишу новые и дополняю прежние главы для «Эрмитажа».

Летом ежедневные хождения по лесу. Крючково и Корбуха. Маргаритки и другие цветы. Купанье. Грустные мысли о Саше Дурново. Тяжелое письмо от Георгия Лебедева с фронта. Встреча с Валентином — ни радости, ни печали.

Две поездки в Милет к Крестной — в начале лета и в августе. Размышления. Равнинный пейзаж, липовая роща (остаток парка князей Ухтомских). Чтение Гамсуна. Я очарован Севером в его творчестве. Вчувствование в душу Норвегии и норвежца. Реминисценции былых юношеских увлечений Ибсеном. Чтение Л.Андреева. Воспоминания об Алексее [Спасском]. Чтение Чехова. Разговоры с Крестной о смысле жизни (особенно однажды ночью), их «экклезиастический» тон. Воспоминания о жизни в Огудневе, Маврино, Душенове. Чувство тоски по Маме, любовь к милой Крестной. Племянник Боря. Как я в конце-концов разочаровываюсь в нем: его равнодушие к чтению (самостоятельному, мое и крестное чтение слушать

любит), полное незнание элементов культуры, дикарское преклонение перед техникой — сплошной terre-á-terre. Мысль о том, чтобы жить с ним и с Катей, отпадает. В обоих случаях — «милетские стихи». Дивный солнечный день в воскресенье в сентябре, когда был в церкви к обедне. Переживания. Возвращения среди песчаных бугров: гвоздики, пруды, синяя вода, синее небо и золотые тополя под солнцем на плотине. Мои чувствования и думы. Житейский курьез, типичный для наших дней.

Сильное голодание летом: отекает лицо, руки, ноги. Началось с весны, после того, как на руках перенес в течение апреля-мая свои книги обратно (около 1000 томов). Туда было перевозить легче — на салазках. Поддержка Сашиной мамы и родителей Ж.К[онева]. Дни, проведенные у Саши в саду. Малина. Мысли о Саше, снова и снова, без конца. Заботы о зиме: где жить, если дома не будут топить. Осень. Дырявые галоши, мокрые ноги. Постепенное охлаждение ко мне семьи Валентина [Жалченко]. Мои мысли и выводы по этому поводу. Валентину об этом не говорю и не скажу. Ночевки у Леман. Сердечные беседы с А[нной] И[вановно]й.

Переписка с М.М.Мелентьевым. Встреча с ним летом у Т.В. Розановой. Разочарование: я представлял его лучшим. Нечто совсем не в моем духе.

С ноября 1942 г. по март 1943 г. живу в бывшем скиту (в МООСО); дома бываю нечасто, ночую только когда топят.

Близкое знакомство с В.И.Овитовским, доцентом Тимирязевской академии, который вместе со мной преподает в МООСО. Мы живем в одной комнате. Есть электрический свет и тепло (голландская печка: Овитовский колет дрова и топит, я приношу). Очень неуютно и грязно. Кошмарные уборная и умывальная комната. Часто замерзает вода, и я по нескольку дней не умываюсь. Неудобно спать. Очень голодно, особенно с января до июня. И все же я рад: есть теплый и светлый угол; много читаю и пишу — целый ряд стихотворений, отрывки для «Эрмитажа», размышления над латинскими «гномами», «большой дневник» (последний начат 11.3.43 г.). Беседы с В.И.Овитовским, наши споры (он материалист). Позднее к нам изредка присоединяется Н.А.Чернохвостов, ставший Черновым («pater Черни», как я его называю). Знакомство с доктором Борисовым и В.Р.Никитиной (Ланг). Гибель преподавателя Андрея Ивановича Кириллова (я его помню еще гимназистом). Мои размышления во время походов из скита в За-

горск и обратно, особенно в морозные, лунные и звездные ночи.

Из чтения следует отметить: «Путешествие по Италии» Тэна, прочитанное впервые. Много глубоких мыслей, близких мне по духу. Я вижу, у кого учился Муратов при создании «Образов Италии». Перечитываю письма Флобера, историю России XIX века Корнилова, лекции по русской истории Платонова, философские произведения Метерлинка. Не расстаюсь с латинской хрестоматией Соболевского.

По воскресеньям регулярно бываю у Ж.К[онева]. Меня поддерживают их обеды, а еще больше возможность поговорить с ним по душам. Читаю ему, что написал. Бываю еще у Леман и Флоренских. Очень редко — у Валиной мамы, у Сашиной мамы, у Печалиных и Вихляевых. В 1942 г. началась было переписка с «Азом», он даже собирался приехать ко мне летом, но это не состоялось. По дороге в Милет, проезжая через Москву, я заходил к нему, но не застал. Вскоре заглохла и переписка.

От Саши нет вестей с июля 1942 г. по май 1943 г.: считаем, что он в плену. Потом оказывается, что он был ранен и жил в оккупированной местности. Огромная радость, когда снова пошли от него письма. Грустные письма Георгия. Валентина вижу очень-очень редко. Чувствую, что душой он огрубел и стал мне совершенно чужд. Это грустно и больно, но уже не так, как в 1938 году.

Я начинаю каменеть, замыкаться в себе, приучаюсь постепенно к одиночеству. Новый 1943 год встретил у Ж.К[онева]. Гадали. Мне предсказано путешествие.

С марта 1943 г. я веду «Большой дневник», а затем с ноября 1943 года — его продолжение — «Дни моей жизни» (решил возобновить название дневника студенческих лет). В «Днях» то же, что и в «Большом дневнике», только без записи своих стихотворений и без выписок из книг. Пришлось посократиться из-за нехватки бумаги. Поэтому прекращаю эти годовые итоговые записи. В дневнике — всё.

Но надо постараться возобновить всё, по возможности, по годам с 1914 года. Здесь поможет напряжение памяти, а также мои стихи, которые являются для меня поэтическим дневником.

Январь 1945 г.

Итоги 1945 г.

Служба в РУ-22. С осени — старший преподаватель. Уходит много времени, реже бываю дома, а поэтому меньше пишу: очень устаю.

Люди: Валентин [Жалченко], Георгий [Лебедев], Евгений [Конев]. Сближение с Федей Комаровским. Флоренские, Вишневские, Леман (поездки в Москву). Н.Н.Савельев, М.Н.Сорокин, Амбарцумов, Леонид Дурнов, В.Мишин, Трубачев. Возвращение Т.В.Розановой. Дора Захарова. Антонина. Наталья Маркеловна Дитрих, Наталья Анатольевна Шуберт. Марнёв. О.Н.Виноградова, Е.В.Вахмистрова. Вести о Шингаревых. М.Н.Гребенщикова, Н.А.Чербова. Поездки в Тарасовку к о. М.Соболеву. Переписка с «Азом».

Летом очень редко был в лесу: не с кем. Не ездил ни в Абрамцево, ни в Мураново. Лето плохое, дождливое; осень неважная, но были пурпурные и желтые листья.

АВТОБИОГРАФИЯ

Я, Сергей Александрович Волков, родился 19 февраля 1899 года старого стиля в деревне Маврино, Московской губернии, Богородского уезда, Ивановской волости. Отец — крестьянин села Петровского той же губернии, с 1917 года — рабочий на станции Загорск, умер в 1930 году. Мать — дочь чиновника, колежского секретаря, и внучка сельского священника, была учительницей в сельской школе, с 1904 года пенсионерка, умерла в 1935 году.

Я учился с 1906 по 1909 год в Огудневском начальном училище, а с 1909 по 1917 год в Сергиево-посадской мужской гимназии, которую и окончил с аттестатом зрелости.

Учась в гимназии, я познакомился со студентами Московской Духовной Академии: иеромонахами Панкратием (Гладковым), Феодосием (Пясецким), Порфирием (фамилии не помню), иеродиаконом Гавриилом (Мануйловым), а через них с проректором Академии архимандритом Иларионом (Троицким). Последний одобрил и поддержал мою настроенность и посоветовал мне поступить в Академию, т.к. в ней я мог полу-

чить желаемое мне гуманитарное образование на религиозной основе.

С 1919 (описка: надо — 1917. — *А.Н.*) до 1920 года включительно я обучался в Московской Духовной Академии, перешел на третий курс, но его не закончил, т.к. к этому времени Академия была переведена из Троицкой Лавры в Москву, в Данилов монастырь, а там вскоре же была закрыта. За время обучения в Академии я писал семестровые работы: по истории древней церкви — проф. свящ. Д.А.Лебедеву на тему «Произошли ли перемены в отношении римского правительства к христианам при Марке Аврелии?»; по истории философии — проф. свящ. П.А.Флоренскому на тему: «Темные лики. Элементы тоски и ужаса у Гоголя»; по греческому языку — проф. С.И.Соболевскому на тему: «Перевод одной из глав сочинения Климента Александрийского «Стромата»; по нравственному богословию — проф. М.М.Тарееву на тему: «Анализ книги Леруа-Болье «Догмат и религиозный опыт» и по основному богословию — проф. С.С.Глаголеву на тему: «Религиозная революция в Египте при Аменготепе IV». Я сдал экзамены: по догматическому, основному и нравственному богословию, по Священному писанию Ветхого и Нового Завета, по истории древней и русской церкви, по истории философии, по основной философии, по психологии, по педагогике, по греческому и по французскому языкам.

Уже в последние месяцы существования Академии в Лавре при академическом храме был организован церковный совет, и я был избран товарищем председателя, а затем и председателем этого совета. После ликвидации Академии академический храм продолжал существовать в надвратной церкви Иоанна Предтечи в Лавре, а потом в Пятницкой церкви возле Лавры. Настоятелями его были сначала архимандрит Варфоломей (Ремов), потом архимандрит Вассиан (Пятницкий), а потом профессор протоиерей Е.А.Воронцов. С ними вместе я продолжал свою деятельность.

В 1919 году я имел честь быть представленным Святейшему Патриарху Тихону, и потом мне несколько раз приходилось бывать по делам академического храма на приеме у Его Святейшества на Патриаршем подворье в Москве.

С 1920 года я начинаю свою педагогическую деятельность, которая до сего дня протекала в городе Загорске.

Я преподавал в средних учебных заведениях города Загорска русский язык и литературу. Кроме этого, преподавал русский язык на заочных курсах Московского Областного Педагогического Института (в Загорске) и на Загорских педкурсах по подготовке учителей неполных средних школ. Преподавал также литературу, русский язык и латинский язык в Загорской медсестринской школе; русский язык и историю СССР на курсах директоров и мастеров социалистического труда Загорского Райпромкомбината; русский язык, историю СССР и Конституцию СССР в школе инвалидов Отечественной войны; был старшим научным сотрудником Загорского Музея-Заповедника.

С 1943 по 1953 год включительно был преподавателем русского языка и литературы в Загорском ремесленном училище № 22 и с 1945 года одновременно руководил методической работой словесников, работающих в РУ и ЖУ Московской области.

В настоящее время работаю преподавателем русского языка и литературы в заочном отделении Ленинградского механического техникума при загорском заводе п/я 31 (вечерние занятия, 2 раза в неделю).

Педагогической работой занимаюсь в течение 33 лет, за выслугу 25-и лет получаю пожизненную пенсию в 150 рублей.

Все вышеприведенные данные о моей работе подтверждаются записями в моей трудовой книжке или отдельными документами, как и награждения и поощрения, полученные мною по службе.

Я был женат в 1935 году. В 1938 году развелся с женой изза несходства взглядов на жизнь. Женат был только гражданским браком. Детей не имею. Родственников тоже не имею: одни умерли, другие погибли в годы войны.

С осени 1909 года проживаю все время в Загорске, с 1927 года на одной и той же квартире — Проспект Красной Армии, 4-й дом Совета, квартира 11.

Под судом никогда не был и административным взысканиям ни разу не подвергался.

На военной службе не был, т.к. в годы Гражданской войны и в годы Отечественной войны был освобожден от воинской повинности по состоянию зрения.

Высшим образованием и теми знаниями, которые я приобрел, я обязан Московской Духовной Академии, ее наставникам и ее исключительно ценной библиотеке, которой я неустанно пользовался с 1917 года по 1932 год.

Моих наставников, когда-то учивших меня, я смог по мере моих сил отблагодарить тем, что, в свою очередь, обучал их детей в средних учебных заведениях. Теперь же мне очень хотелось бы отблагодарить и мою Alma Mater, посвятив ей все мои силы, как только я смогу и сумею, в оставшиеся мне годы жизни.

29 января 1954 года. Загорск. Сергей Волков

Комментарии



На обороте: Троицкий собор 1422 г
в Троице-Сергиевой лавре

В Сергиевом Посаде

Печатается по автографу *«Эрмитаж. (Воспоминания и умозрения.) Тетрадь № 2»*, где текст предваряется следующим вступлением: *«Здесь я записываю воспоминания о годах моего детства и юности. Работа пока черновая. Нет последовательности. Многое будет дополнено. Стиль тоже надо будет отделать. Но пока пишу, что вспоминается. И это радует меня, как будто переживаю все вновь. Сергей Волков. Начато в январе 1932 года. Кончено в 1933 году.»* (РГАЛИ, ф.3127). Опущены первые главы: «Черкизово (1904 г.)», «Маврино (до 1904 г.)», «Переезды (1904-1909 г.)» и «Мой сад». Остальное дается в необходимой литературной обработке.

(с. 63) *Спасский Алексей Анатольевич*, сын проф. МДА Спасского А.А., музыкант, мистик, металлург; окончил Горную академию в Петрограде, работал в Мариуполе, где произошел взрыв с человеческими жертвами; арестован по дороге в Новосибирск, расстрелян в 1938 г.

Последние у Троицы

Текст воспроизводится по изданию: *С.Волков.* Последние у Троицы. М.—СПб., 1995, с исправлением выявленных в указанном издании ошибок и опечаток. В основу примечаний к тексту положены авторские комментарии, в ряде случаев дополненные комментариями публикатора, что всегда оговаривается.

[1] *Липский Н.* Курс православного вероучения. 2-е изд. Харьков, 1913.

[2] Вифания — живописное место в окрестностях Сергиева Посада, где в начале XIX в. митрополит Платон (Левшин) устроил свою резиденцию с великолепной картинной галереей, комплексом храмов, окруженных обширными прудами, и ос-

нованной им Вифанской духовной семинарией с огромной — более 40 000 томов — научной библиотекой. (См.: *Смирнов С.* Спасо-Вифанский монастырь. М., 1889.) Ныне — Птицеград, являющийся частью Загорска, где находится ВНИИ птицеводства с обширным птицеводческим хозяйством.— *А.Н.*

[3] В Академии были кафедры истории западноевропейской и русской литературы. Первая после 1909 г. была упразднена, но вторая просуществовала до закрытия Академии. Довольно часто студенты писали кандидатские сочинения на литературные темы (пасторологический, то есть учительский анализ художественных произведений), на темы гражданской истории и истории педагогики. Приведу названия лишь некоторых таких работ, почерпнутые мною из «Журналов собраний Совета Московской духовной академии» за период с 1909 по 1914 г.

Литературные темы: Идеалы жизни по современной немецкой беллетристике. Символизм и мистицизм в творчестве Мориса Метерлинка. Литературное творчество Гауптмана и его отношение к вопросам религии и морали. Значение современной светской литературы для пастыря-проповедника. Апокрифические элементы в народной русской словесности. Очерк духовного развития Ф.М.Достоевского. Религиозные мотивы в русской лирике с половины XIX столетия до наших дней. Проповедь человеческого достоинства в русской литературе екатерининской эпохи. Иван Васильевич Киреевский как родоначальник славянофильства. Природа в религиозном воззрении русского народа (проблема космологии и космогонии). Демонология в древнерусской литературе. Религиозно-философское жизнепонимание Гёте. Влияние Оптиной пустыни на русскую интеллигенцию и литературу. Обзор курсов и учебников по истории русской литературы с научной и педагогической точки зрения. Книжные и литературные интересы в Троице-Сергиевой лавре с древнейших времен до XVII в. Позитивные и мистические представления о прогрессе в русской литературе XIX столетия. Федор Глинка, его жизнь и религиозно-поэтическое творчество.

Исторические и социологические темы: Учение Фулье об обществе. Граф Я.И.Ростовцев как деятель по освобождению крестьян. Русский город XVII в.: его социальный состав и экономическое значение. Русское общество и Церковь в деле раскрепощения крестьян 19 февраля 1861 г. Хозяйство Троице-Сергиева монастыря до секуляризации и после нее. Россия и балканские славяне в XIX веке. Социологический субъекти-

визм Н.К.Михайловского. Землевладение и хозяйство Троице-Сергиева монастыря в XVII веке. Преобразовательная деятельность Петра Великого в отношении к Церкви. Роль личности в истории. Происхождение христианства (разбор книги К.Каутского «Рождение христианства»).

Педагогические темы: Обзор русской педагогической литературы за последнее полустолетие XIX в. История преподавания философских наук в духовных учебных заведениях России. Национальность и церковность в русском воспитании. Педагогические воззрения К.Д.Ушинского в их отношении к христианству. Математические науки в русских духовных семинариях XIX в. Основы умственного и религиозно-нравственного воспитания в дошкольном возрасте.

В качестве иллюстрации позволю себе привести «Отчет профессорского стипендиата Академии выпуска 1906 года Николая Смирнова о его занятиях в течение 1906—1907 года»: *«Предметом моих занятий в истекшем году была разработка вопросов, связанных с темой кандидатского сочинения «Христианство в отношениях к социальным вопросам», — проблема социальная вообще и социализм в частности. Во-первых, требовалось изучить элементы социального вопроса, его сущность и природу, его статику. Во-вторых, необходимо было анализировать вопрос вне отвлеченных формул — в исторических перспективах, в историческом процессе. В этих целях я одновременно занимался и теорией (главным образом, теорией социализма, штудировал Маркса, Энгельса, Бернштейна, Каутского и др.), и историей (социальной — во Франции, Германии — и общей). Той и другой цели служили как мои домашние занятия, так и занятия в Московском университете, где я прослушал в течение года некоторые курсы исторического характера: Виппера — «Новейшая история Западной Европы», Савина — «Развитие абсолютизма на Западе», Петрушевского — «История средних веков», Покровского — «Современный католицизм и социальный вопрос», — и некоторые отделы курсов философских и юридических: Е.Н.Трубецкого — «История философии права», Гернета — «Уголовное право», Мануилова — «Политическая экономия». Кроме того, я занимался переработкой для печати своего кандидатского сочинения и поместил в «Богословском вестнике» (июль-август) статью «Христианско-социальное движение»* («Журнал СМДА» за 1907/08 учебный год, с.285-286).

[4] Бюллетени литературы и жизни, 1913, № 9 (январь).

[5] Богословский вестник, 1917, № 6-7, с.144-145.

[6] Так, на страницах «Богословского вестника» были напечатаны статьи: в 1906 г.— проф. В.Н.Мышцына «Политические партии и их идеалы», в 1907 г. — В.Ф.Эрна «Социализм и общее мировоззрение», а чуть раньше — перевод брошюры К.Спуржона, А.Винэ и Пибоди «Христос, как социальный реформатор», выполненный кружком студентов под редакцией ректора Академии, епископа Евдокима (Мещерского).

[7] Стоит привести выдержки из постановлений Синода, «возвращающих» духовных лиц, студенчество и саму Академию в прежнее состояние: *«Всякий епископ, пресвитер, диакон, клирик и вообще лицо, по своему званию и должности состоящее по духовному ведомству, пользуясь предоставленной всем гражданам Российской империи свободой слова, печати, собраний и союзов, обязаны, однако, до тех пор, пока состоят в должности или сане, сообразовать свою деятельность с учением и правилами Православной церкви...»* («Журнал СМДА» за 1907 г., с. 7-8.) *«Ввиду того, что общие собрания студентов, имеющие характер сходок, а равно и особый студенческий представительный орган, не вызываются практической необходимостью, т.к. академические студенты, ввиду малочисленности учащихся в академиях, имеют полную возможность с заявлениями о своих нуждах обращаться к начальству через посредство дежурных, Святейший Синод <...> находит, что начальство МДА не должно было одобрять действий студентов по устройству общестуденческой организации и узаконять избранный ими в качестве исполнительно-представительного органа Комитет, тем более предпринимать заботу о выработке подобного устава студенческой организации, и посему определяет: означенное постановление Совета МДА отменить»* (Там же, с.10-11).

Попытка МДА в 1905-1908 гг. вместе со всем русским обществом вступить на путь реформ и пойти в сторону демократизации и прогресса потерпела неудачу. Об этом писали многие бывшие питомцы Московской духовной академии в своем юбилейном сборнике, выпущенном к 100-летию Академии (У Троицы в Академии. 1814-1914. Юбилейный сборник исторических материалов. М., 1914). Литературный критик А.Измайлов, выступивший в печати рецензентом этого объемного тома, сумел в немногих словах показать не только его слабые и сильные стороны, но и огромное его общественное значение: *«...Носящая почти кастовый характер, наша богословская ученость обычно замыкалась в себе, естественно отмежевывалась в сторону, и неудивительно, что и эта область, и выдающиеся в ней люди во многом доселе являются загадкою для светского общест-*

ва... Самые книги их, не говоря уже о лекциях, труднодоступны, и светскому читателю приходится или на слово верить в их научное величие, или отмахиваться от неведомых громких имен с тою несправедливою пренебрежительностью, какую нередко вынуждены переживать представители не одной богословской, но и иных специальностей... Значительная часть (помещенных в сборнике. — *С.В.*) *материалов суха и научна, переписка иногда утомляет деталями и учеными рассуждениями. Незаинтересованный читатель будет не читать, а лишь перелистывать добрую половину огромной книги. Но зато из этих деталей под конец возникает такая яркая, такой густой и сочной кистью выписанная картина красивого научного подвижничества десятков людей, для которых в мире не существовало ничего, кроме знания, кроме любимых стен своей altae matris и ее библиотеки, которые были умны и учены, как мудрецы, и наивны, как дети, во всех иных практических вопросах жизни, — что вы не подосадуете на эти часы беглого перелистывания...»* (Бюллетени литературы и жизни, 1915, № 19, с. 504-505).

[8] *Туберовский А.М.* Воскресение Христово. Опыт мистической идеологии пасхального догмата. Сергиев Посад, 1916.

[9] Эти исследователи в своих работах положили начало серьезному освещению вопроса взаимоотношений философии и религии после поверхностных и крикливых заявлений французского «вольномыслия» XVIII в. и вульгарной критики материалистов середины XIX в. типа Бюхнера, Фохта и Молешотта, а также их наивных последователей среди некоторых русских ученых и публицистов конца XIX — начала XX в.

[10] *Туберовский А.М.* Внутренний свет. Сергиев Посад, 1915.

[11] *Сильвестр* (Малеванский), епископ. Опыт православного догматического богословия, т.т. 1-5. Киев, 1884-1886. Догматическое богословие протоиерея Н.Малиновского в Академии почетом не пользовалось. Доктора богословия ему за этот труд не дали. В своем отзыве о диссертации архимандрит Иларион ставил автору в вину бесцеремонное использование разных авторов почти дословно и без кавычек («Журнал СМДА» за 1913 г., с. 620-711). Отзыв М.М.Тареева был более благоприятен, вероятно потому, что автор нигде Тареева не задел.

[12] *Орлов А.* Тринитарные воззрения Илария Пиктавийского. Историко-догматическое исследование. Сергиев Посад, 1908; его же. Христология Илария Пиктавийского в связи с обзором христологических учений II-IV вв. Сергиев Посад, 1908 (оттиск из «Богословского вестника» за 1908 г.).

[13] *Фотий,* патриарх константинопольский с 858 по 867 г. и с 878 по 886 г. Человек талантливый, высокообразованный и начитанный в области богословия и философии, Фотий начал свою карьеру в царской гвардии и продолжал ее в императорской канцелярии. Когда кесарь Варда уговорил молодого императора Михаила III на место константинопольского патриарха Игнатия поставить Фотия, последний в течение нескольких дней прошел все ступени священства до епископа включительно и так был возведен на патриарший престол. — *А.Н.*

[14] Об «имманентном» или «медленном» чтении поэтов см.: *Гершензон М.* Видение поэта. М., 1919. На идеях необходимости «вчувствования» в разбираемое произведение, «сопереживания», и неизбежно вытекающего из них «сотворчества» основаны работы Ю.И.Айхенвальда, напр.: «Силуэты русских писателей», т. 1-3; «Пушкин»; «Этюды о западных писателях» и др.

[15] *Варфоломей* (Ремов). Книга пророка Аввакума. Введение и толкование. Сергиев Посад, 1913.

[16] *Симеон* Новый Богослов. Божественные гимны. Пер. с греч. Вступ. ст. иеромонаха Пантелеймона (Успенского). Сергиев Посад, 1917.

[17] *Антоний*, архиепископ Волынский. Полн. собр. соч., т. 3, М., 1911, с. 245.

[18] *Соколов П.П.* Вера. Психологический этюд. М., 1902.

[19] *Франк С.Л.* Душа человека. Опыт введения в философскую психологию. М., 1917.

[20] *Соловьев С.М.* Гёте и христианство. Сергиев Посад, 1917 (оттиск из «Богословского вестника»). Другие его статьи см.: *Соловьев С.*, священник. Богословские и критические очерки. М., 1916. Книги стихов С.М.Соловьева: Цветы и ладан. М., 1907; Апрель. М., 1910; Цветник Царевны. М., 1913; Возвращение в дом отчий. М., 1916. В сборнике клуба московских писателей «Ветвь» (М., 1917) С.М.Соловьев поместил три довольно недурных сонета: «Гении народов: латинян, германцев, славян», но эти три ласточки «не сделали весны». Дальнейшего расцвета поэзии не последовало, равно как ничего не дала его статья в «Христианской мысли», за 1917 г., № 3-4, «Национальные боги и Бог истинный», где явно проступают католические симпатии, приведшие его потом к униатству и далее. Друг Андрея Белого и Блока, племянник Владимира Соловьева, сам по себе он не создал ничего примечательного.

[21] «Журнал СМДА» за 1913 г., с. 152.

[22] В сочинениях игумена *Иоанна* (Снычева) — «Церковные расколы 30-х и 40-х годов XX столетия», кн.1-3, и «Материалы по Иосифлянскому расколу», кн.1-2 (Куйбышев, 1963) — указывается, что Ф.К.Андреев склонялся к Иосифлянскому расколу, находился под влиянием философско-религиозных сочинений Вл.Соловьева и симпатизировал католицизму.

[23] *Викентьев В.М.* Древнеегипетская повесть о двух братьях. М., 1914, с. 6.

[24] *Введенский Д.И.* У Сергиевского игрушечника. М., 1926.

[25] Перевод «Стромат» Климента Александрийского, выполненный *И.Н.Корсунским*, печатался в «Ярославских епархиальных ведомостях» за 1891 г., а затем вышел отдельным изданием (Ярославль, 1892).

[26] Хрестоматия для переводов с латинского языка на русский. Сост. С.И.Соболевский. М., 1938, с. 4-5.

[27] *Розанов В.* Легенда о Великом инквизиторе Ф.М.Достоевского. Опыт критического комментария. С приложением двух этюдов о Гоголе. 3-е изд. СПб., 1906.

[28] *Брюсов В.* Испепеленный. К характеристике Гоголя. М., 1909.

[29] Из стихотворения А.А.Блока «Равенна»: *«Лишь медь торжественной латыни поет на плитах, как труба»*. Эти слова в моем сознании всегда были коррективом к словам А.С.Пушкина: *«Латынь из моды вышла ныне...»* («Евгений Онегин», I, 6).

[30] *Иларион*, архимандрит. Письма о Западе. Сергиев Посад, 1915. Его магистерская диссертация: *Троицкий В.* Очерки истории догмата о Церкви. Сергиев Посад, 1912.

[31] Богословский вестник, 1917, № 10-12, с. 419-426.

[32] Каталог русских архиереев за последние 60 лет (1897-1957). Сост. *А.М.* (архиепископ, ныне митрополит *Мануил* (Лемешевский). Чебоксары, 1959, т. 3, с. 105 (машинопись).

[33] Основанное в 1824 г. книгоиздательство *Тейбнера* в Лейпциге издавало, главным образом, греческих и латинских авторов в подлинниках, а также труды по классической и общей филологии, преимущественно на латинском языке.— *А.Н.*

[34] *«Искусственное владение языком заменяет оригинальность и изобретательность; постоянное варьирование готовых элементов воспитывало виртуозов слова в маринизме, в бесчисленных аркадских академиях и поэтических кружках XVII века. У писавших по-латыни приобретенная с молодости привычка становиться на путь реминисценций оказывала постоянное и неосязаемое воздействие на духовное развитие мыслителя и писателя... Для обозначения понятий средневековые философы заимствовали*

у античных систем словообразования, которые, потускневшие, продолжали вести призрачную жизнь. Слово являлось для них не выражением абстракции, а ее квинтэссенцией...» (*Ольшки Л.* История научной литературы на новых языках, т. 2. М.- Л., 1934, с. 47, 49).

[35] Главные труды *М.М.Тареева*: Основы христианства. Система религиозной мысли, т. 1. Христос. Уничижение Христа, 2-е изд. Сергиев Посад, 1908; т. 2. Евангелие. Вера и жизнь по Евангелию, 2-е изд. Сергиев Посад, 1908; т. 3. Христианское мировоззрение, 3-е изд. Сергиев Посад, 1908; т. 4. Христианская свобода, 2-е изд. Сергиев Посад, 1908; От смерти к жизни. Живые души, вып. 1. Сергиев Посад, 1907; Христианская философия, ч. 1. Новое богословие. Сергиев Посад, 1917.

[36] *Тареев М.М.* Из истории этики. Социализм (Нравственность и хозяйство). М., 1912.

[37] *Тютчев Ф.И.* Полн. собр. соч. СПб., 1913, с. 308.

[38] Цит. по: Бюллетени литературы и жизни, 1916, № 3, с. 116.

[39] Известен большинству по его книге «Жизнь Иисуса». Профессор П.С.Казанский в своей переписке с архиепископом костромским Платоном замечал: *«Говорят, некоторые из неверия пришли к христианству, прочитав книгу Ренана, говоря: если Иисус Христос был действительно такой человек, каким изображает его Ренан, то он был Бог»* (*Беляев А.А.* Профессор МДА П.С.Казанский и его переписка с архиепископом костромским Платоном, вып. 1. Сергиев Посад, 1910, с. 303). Любопытно, что эта мысль пришла мне в голову еще в гимназии, когда я впервые прочел «Жизнь Иисуса», ничего не зная о письмах Казанского. Позднее мне приходилось слышать, что книга Ренана — своеобразное «евангелие от Фомы», который сомневается, но крепко любит и еще не удостоился вложить персты свои в язвы и раны Спасителя. Когда в 1943 г. в обстановке тяжкого и скудного жития своего в бывшем Гефсиманском скиту я снова перечитал эту книгу (27.3.43 г.— *А.Н.*), мои чувства вылились в следующее стихотворение:

Когда-то в древности далекой,
Пылая жертвенным огнем,
Учил Христос. Тот миг высокий
Давно исчез. И вот о нем
Благовествует ясно, просто
Для современного ума
Ренан — тринадцатый апостол,
Неверный, любящий Фома.

Странная судьба этой книги! До 1917 г. у нас ее преследовала церковная и правительственная цензура. Ни в гимназических, ни, тем более, в семинарских библиотеках получить ее было нельзя. Нет ее и теперь в наших библиотеках: тогда боялись, что она поколеблет веру, теперь же опасаются, что она может насаждать веру и возбуждать интерес к религии!

40 Богословский вестник, 1917, № 1, с. 163.

41 *Светлов П.Я.* Христианское учение в апологетическом изложении, т. 1-2. 4-е изд., Киев, 1914.

42 Книги «Царица мира и ее тень» у *Фурнье д'Альба* я не нашел. Возможно, что это труд Сванте Аррениуса или еще кого-либо. В справочниках Академии ничего похожего нет, хотя я хорошо помню эту небольшую брошюру, изданную в Одессе, приблизительно в 1911-1914 гг.

43 От слова «майевтика» — повивальное искусство (греч.).

44 20-го числа каждого месяца выдавалось раньше жалованье. То есть «люди, думающие о заработке, но не о том, что они делают».

45 Он давал мне их читать, доставая у своих знакомых в Москве: Античный Космос и современная наука. М., 1927; Философия имени. М., 1927; Музыка как предмет логики. М., 1927; Диалектика числа у Плотина. М., 1928; Очерки античного символизма, т. 1. Происхождение античного символизма. М., 1930; Критика платонизма у Аристотеля. М., 1929. Все названные книги — издания самого А.Ф.Лосева.

46 Впервые напечатано в журнале «Вопросы жизни» в 1905 г. с посвящением З.Н.Гиппиус. В советское время не перепечатывалось.

Аттика и Галилея

Двух Дев небесных я видел страны:
Эфир твой, Аттика, — твой затвор, Галилея!
Над моим триклинием — Платона платаны,
А в моем вертограде — Назарета лилея.

Я видел храм Девы нерукотворный,
Где долинам Эдема светит ангел Гермона, —
Парфенон златоржавый в кремле Необорной
Пред орлом синекрылым Пентеликона.

И фиалки сея из обители света,
Мой венок элевсинский веяньем тонким

Ласкала Афина; медуница Гимета
К моим миртам льнула с жужжанием звонким.

Голубеют заливы пред очами Паллады
За снегами мраморов и маргариток;
В хоровод рыжекосмый сплелись Ореады;
Древний мир — священный пожелтелый свиток.

Шлемом солнечным Взбранная Воевода
Наводит отсветную огнезрачность,
Блеща юностью ярою с небосвода;
И пред взорами Чистой — золотая прозрачность.

И в просветных кристаллах излучины сини;
У Дриады безумие буйнокудрой
Укротила богиня, — и открыты святыни
Ясноокой, и Строгой, и Безмужней, и Мудрой.

И за голою плахою Ареопага
Сребродымная жатва зеленеет елея;
За рудою равнинной — как яхонт — влага;
Тополь солнечный блещет и трепещет, белея.

Пред Гиметом пурпурным в неге закатной
Кипарисы рдеют лесного Ардета,
Олеандры Иллиса, и пиний пятна
На кургане янтарном Ликабета.

Злато смуглое венценосицы Эрехфея;
Колос спелый — столпные Пропилеи;
Терем Ники — пенная Левкофея...
Но белее лилия Галилеи!

Там, далече, где жаждут пальмы Магдалы,
В страстной пустыни львиной под лобзаньем лазури,
Улыбаются озеру пугливые скалы,
И мрежи — в алмазах пролетевшей бури.

И — таинницы рая — разверзли долины
Растворенные наитьям благовонные лона;
И цветы расцветают, как небесные крины;
И колосья клонятся Эздрелона.

Лобный купол круглится, розовея, Фавора;
И лилия утра белее асбеста;
И в блаженную тайну заревого затвора
Неневестная сходит с водоносом Невеста.

[47] *Розанов Василий Васильевич* — известный публицист, философ и критик, близкий кругам символистов, был дружен с П.А.Флоренским. Они встречались еще на башне у Вяч. Иванова и в последние годы жизни Розанова в Сергиевом Посаде. Скончавшийся в 1919 г. от голода, В.В.Розанов был погребен на кладбище Черниговского монастыря рядом с могилой К.Н.Леонтьева. В 1942-1943 гг. я еще видел упавший памятник черного гранита (мрамора? лабрадорита? — *А.Н.*) на могиле Леонтьева, от могилы же Розанова и поставленного на ней деревянного креста ничего не осталось. Относительно полная библиография В.В.Розанова и литература о нем приведена в работе: *Голлербах Э.* В.В.Розанов. Жизнь и творчество. Пг., 1922.

[48] О публицистике этих ученых см.: *Соловьев Н.М.* Научный атеизм. Сборник статей о профессорах Геккеле, Мечникове и Тимирязеве. М., 1915.

[49] Биржевые ведомости, 1914, № 14087. В следующем труде такого же порядка — «Христос», т. 1-7, 1924-1932 — *Н.А.Морозов* дошел, поистине, до «Геркулесовых столпов», утверждая, что история классической древности — сплошная выдумка, а произведения античных авторов — своеобразная мистификация гуманистов Возрождения, сочинивших все эти произведения и прикрывшихся, как псевдонимами, вымышленными именами. В этом отношении у Морозова был предшественник — некий иезуит *Жан Гардуэн* (1646-1729), который в своих трудах утверждал, что все наследие античности — ее литература, искусство, монеты — подделка XIII в., имевшая целью символически преобразовать христианство. Подлинны только Гомер, Геродот, Плиний Старший, Цицерон, «Георгики» Вергилия, сатиры и послания Горация (см.: Новый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т.12, с. 656).

[50] Я не перечисляю трудов С.С.Глаголева: о них можно узнать по указателям к журналу «Богословский вестник» за 1892-1911 гг., составленным К.М.Поповым, а о последующих годах — по оглавлениям годовых комплектов. Хочу только еще раз сказать о его живом и легком изложении предмета, о прекрасном языке и стиле, что увлекало при чтении и полностью захватывало слушателя его лекций.

[51] *Юнгеров П.* Общее историко-критическое введение в священные Ветхозаветные книги. 2-е изд. Казань, 1907.

[52] *Рождественский Д.* Книга пророка Захарии, вып. 1. Сергиев Посад, 1910; *его же.* Комментарий на книгу пророка Захарии. Сергиев Посад, 1910; *его же.* Наставления и предречения книги пророка Захарии, касающиеся постов и праздников, как урок нашему времени. Сергиев Посад, 1911.

[53] Под псевдонимом «А.Сотерский» *А.А. Спасский* напечатал «Общедоступные лекции по истории западноевропейского Средневековья» (Богословский вестник, 1910, № 2-12). Было и отдельное издание.

[54] *Флоренский П.* Столп и утверждение Истины. Опыт православной теодицеи. М., 1914.

[55] Символы и Емблемата, указом...императора московского великого государя Петра Алексеевича напечатаны (Амстердам, 1705).

[56] *«Осложнить вдохновение хитростью — вот Византия. Такова она от перепутанностей дворцовой жизни до канонов и до заставок на рукописях»* (*Розанов В.* Опавшие листья. СПб., 1913. с. 335).

[57] *Пико делла Мирандола* (1463-1494) — один из видных деятелей итальянского Возрождения; изучал творения неоплатоников и Каббалу. *Агриппа Неттесгеймский* (1487-1535) — германский ученый и мыслитель, пытавшийся соединить идеи неоплатонизма с магией и христианством. Современники считали его чернокнижником. См.: Агриппа Неттесгеймский. Знаменитый авантюрист XVI в. Критико-биографический очерк *Ж.Оресье.* Под ред., с введением и примеч. Валерия Брюсова. М., 1913.

[58] *Лосев А.Ф.* Очерки античного символизма и мифологии, т. 1. Изд. автора. М., 1930, с. 680.

[59] *Флоренский П.А.* Первые шаги философии. Из лекций по истории философии, вып. 1. Сергиев Посад, 1917. (Печатались в «Богословском вестнике» за разные годы.)

[60] *Розанов В.* Опавшие листья. СПб., 1913, с. 414.

[61] Это была небольшая брошюра, размером приблизительно в 1/8 листа, страниц около 50. На обложке справа, вверху — «На правах рукописи». В середине название: «Academiae Historia Arcana». Внизу — «Сергиев Посад. Типография И.Иванова. 1914». Она содержала ряд стихотворений и песен из академического фольклора. Так, в одном из стихотворений, подражающем «Песне о вещем Олеге» Пушкина, рассказывается, как инспектор Академии, иеромонах Кирилл, пытается скру-

тить студентов и спрашивает об успехе своего предприятия у ректора, архимандрита Лаврентия. Другое произведение, по словам С.С.Глаголева, написанное протоиереем Д.Рождественским, озаглавлено так: «Из сборника ко дню 200-летия МДА. Памяти почивших начальников и наставников Академии не только из лиц белого духовенства и светского звания, но даже иноческого чина. Сергиев Посад, 1914». Далее следует памфлет на архимандрита Илариона и некоторых монашествующих начальников Лавры — архимандрита Товию, архимандрита Досифея и пр.: «Размышления над аквариумом. После иноческой трапезы и послеобеденного отдыха».

К сожалению, текста у меня не сохранилось. В нем рассказывается, как Иларион, глядя на стоящий в его приемной аквариум, задумывается о рыбе и об икре и приходит к мысли, что полезно было бы монахам Лавры для кандидатских сочинений писать об икре: иностранных и древних языков они не знают, а тут могли бы писать на основании личного опыта. Им же было бы лестно получить кандидатский значок, тем более что некоторые из них иногда достигают высоких степеней. Правда, тут же Иларион с иронией отмечает, что значок этот для них не подходит: он был бы *«яко усерязь злат в ноздрех свиния»*. Затем Иларион якобы с грустью размышляет, какие высокие звания носят восточные патриархи — «Папа», «Судия Вселенной», «Тринадцатый Апостол» — будучи при том всего-навсего «рабами султана», но спохватившись и воскликнув — «Не введи меня во искушение!» — кричит: «Василий, чаю!»

Язык памфлета острый и меткий, совсем в духе высказываний Рождественского, когда он, выражаясь словами Н.С.Лескова при описании Аввакума Китайского («Таинственные предвестия»), бывал *«начитавшись этикеток»*...

Приведенные слова о П.А.Флоренском находятся в другом, самом интересном и значительном произведении сборника — «Челобитной на черного дьякона Трифона», о которой я говорю более подробно в связи с иеродиаконом Вассианом (Пятницким). «Тайная история Академии» была издана, по-видимому, крайне ограниченным тиражом и если имелась в академической библиотеке, то на руки студентам не выдавалась, и я о ней ничего не знал приблизительно до 1925 г., когда получил ее от С.С.Глаголева уже не в качестве ученика, а как сослуживец по школе. Не менее любопытно и то, что название «Academiae Historia Arcana» встречается в «Воспоминаниях» профессора М.Д.Муретова (Богословский вестник, 1916, № 10-12, с. 602) не как указание на определенную брошюру, а

как своеобразный эзотерический термин в применении к аналогичному сборнику фольклорного порядка, только рукописному, который существовал в 1873-1877 гг. и был тогда же вскоре сожжен.

62 О поездке футуристов к Флоренскому весной 1916 г. Дмитрий Петровский писал в своих воспоминаниях о Велимире Хлебникове: *«...Хлебников решил предложить вступление в «317»* (число Председателей Земного Шара. — *А.Н.*) *некоторым, по его мнению, близким "идее Государства Времени" лицам, в том числе Вячеславу Иванову и Павлу Флоренскому. В этот же вечер — 29 февраля 1916 года, в Касьянов день, отправились мы вдвоем с Хлебниковым к Вячеславу Иванову. Кажется, он дал свою подпись на опросном клочке Хлебникова, во всяком случае, вечер провели хороший и серьезный. <...> Вскоре собрались и к Флоренскому — Хлебников, я и Кухтин. <...> Вошли, как школьники, в келью отшельника. Флоренский не удивился, хотя не знал никого даже по имени. Разговор велся вокруг «законов времени». Красноречивый Кухтин немного мешал хорошему молчанию. Флоренский говорил нам о своем «законе Золотого Сечения», о том музыкальном законе, по которому известная лирическая тема (настроение) у разных поэтов одинаково дает преобладание тех или иных шумов, строится на определенной шумовой формуле. После Хлебников подверг такому опыту пушкинский «Пир во время чумы», кажется, это отпечатано в первом «Временнике», издания «Лирень». О «Председателях» Хлебников почему-то умолчал...»* (*Дмитрий Петровский.* Изд. «Федерация», М., 1929. с. 12-14).

У самого В.Хлебникова посещение Флоренского отразилось в его «Ка²»: *«— Люди, идем в море чисел, — воскликнул кто-то, долго куривший. Я вспомнил Посад, красные, тяжелые башни, золотую луковицу собора и полки с книгами ученого, не нуждавшегося в пылинке пространства...»* (*Хлебников В.* Собр. соч., т. 5. Л., 1933, с. 133). — *А.Н.*

63 *Введенский А.И.* Церковь и государство. М., 1923, с. 13.

64 Богословский вестник, 1916, № 6-7, с. 538-539. Было издано отдельной брошюрой: Около Хомякова. Сергиев Посад, 1917.

65 *Флоренский П.* Вопль крови. Слово в неделю Крестопоклонную. Сказано в храме МДА за литургией 12 марта 1873 г. от смерти И[исуса] Хр[иста]. М., 1906. Издание М-на и Х-ва. Стоит обратить внимание не только на содержание проповеди, в которой Флоренский, тогда еще не священник, обличает правительственный террор после подавления революции 1905 года и связанные с ним жестокие казни, но и на дату произне-

сения проповеди, отвлекавшую внимание цензуры от сиюминутных событий на нечто «прошлое» (1873 год!), хотя ее пересчет с действующего летоисчисления от Рождества Христова на время, протекшее *от смерти Христа*, с безусловностью указывает на 1906 г. (т.е.33 + 1873 = 1906).

Позволю себе привести еще несколько выдержек, дающих представление об этом замечательном документе христианского — и гражданского! — сознания Флоренского.

«Безбожное дело убийства Сына Божия как бунтовщика, развращающего народ, свершилось. И этот урок, казалось бы, ужасом перед насильственной смертью должен наполнить душу всякого царя, всякого правителя, всякого священника, всякого патриота, всякого потатчика убийству. Теперь перенесемся через протяжение 19-ти веков в самый христианский центр считающегося самым христианским из государств. <...> Иль вы не понимаете, что это вновь и вновь Христа расстреливают, и вешают, и бьют, и оскверняют? Не понимаете, что каждый выстрел направлен в тело Христово?.. Все это творится перед глазами нашими, перед глазами христиан! Стоны замученных и убиваемых, убитых без покаяния, вопли заключенных и оскорбляемых несутся к алтарю Всевышнего и заглушают наши молитвы. Слезы и рыдания тысяч матерей и сестер мешают нашим песнопениям. Бог не может быть с нами: по горло поднялась кровь пролитая; вот скоро захлебнемся в океане собственных преступлений. <...> Смотрите, чтобы не сбылись над нами слова Господа Иисуса: «Да приидет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником». Да минует нас сие, Господи Иисусе! Не дай новым фарисеям вновь насмеяться над Твоею смертью, когда вспоминают страдания Твои!..»

66 Приведу первую (биографическую) часть цитированной статьи: *«Флоренский Павел Александрович, математик, физик, богослов. Род. в 1882 г. Окончил Московский университет в 1904 г., где работал главным образом на математическом ф-те под руководством Н.В.Бугаева и изучал на историко-филологическом ф-те философию под руководством С.Н.Трубецкого и Л.М.Лопатина. В 1904 г. поступил в Московскую духовную академию и сосредоточился главным образом на философии и истории религий. В 1908 г. был избран на кафедру истории философии. В 1914 г. защитил магистерскую диссертацию «О Духовной Истине» и в том же году принял сан священника, не занимая приходской должности. С 1919 г. начал работать в области техники; служит с этого времени в ВСНХ, сначала при заводе Карбо-*

лит, а затем при Главэлектро, где занят вопросом об электрических полях и диэлектриках...» (Энциклопедический словарь Т-ва «Гранат», т. 44. 1926).

[67] Собором была избрана особая комиссия для разработки чина «настолования» всероссийского патриарха. При этом выяснилось, что Древняя Русь не имела такого своего чина. До патриарха Никона над новопоставляемыми патриархами у нас вторично совершали чин архиерейской хиротонии. Но после него чин поставления патриарха был сведен к очень немногим обрядам, причем особенно подчеркивалось значение московского царя, из рук которого патриарх получал жезл Петра митрополита. Поэтому комиссия выработала особый чин, сочетав в нем древний (XIV в.) александрийский чин поставления патриарха, современную константинопольскую практику и некоторые подробности древнерусские. Днем торжественного «настолования» было назначено 21 ноября (Богословский вестник, 1917, № 8-12, с. 428-429).

[68] Депутация Собора у народных комиссаров. // Церковные ведомости, 1918, № 7-8, с.472-473.

[69] *Шилкарский В.С.* Типологический метод в истории философии, т.1, ч.1. Юрьев, 1916; *Шмит Федор.* Законы истории. Введение к курсу всеобщей истории искусств, вып. 1. Харьков, 1916.

[70] *Несмелов В.И.* Наука о человеке, т. 1. 2-е изд. Казань, 1896; т. 2. Казань, 1898. В одном из последних номеров «Православного собеседника» за 1898 год, органа Казанской духовной академии, Несмелов напечатал замечательную статью — «О цели образования», — в которой развивал мысль об оторванности новейшей русской культуры от христианских начал, чего не было в прежние годы. Некий «В.К.» в «Русской мысли» (1899, № 11) опубликовал посвященную ей статью «Образовательный проект конца века». Удивительно непонимание светским автором тех глубоко справедливых и проникновенных мыслей, что высказал Несмелов! Такова в большинстве случаев судьба писаний ученых богословов. Неужели «В.К.» — В.Каллаш, известный талантливый ученый? Если уж он не мог понять статьи Несмелова, то что было ожидать от критиков типа Протопоповых!

[71] *Глаголев С.С.* О графе Льве Николаевиче Толстом. // Богословский вестник, 1910, № 11. Она тронула меня глубоким уважением к великому писателю, тонким анализом, и с ее положениями я согласен полностью. О Л.Н.Толстом много писали и в литературно-общественных, и в богословских

журналах, в последних весьма враждебно и грубо. Приведу любопытное замечание архиепископа Никанора в одном из его «писем», относящееся примерно к 1888 году: *«Все вам подобные, с графом Львом Толстым во главе, роете яму солидарными усилиями, в которую скоро низвергнется все... по меньшей мере, как во Франции. Но и тут еще ваша наука не сказала последнего слова. Его сказали пока только русские мыслители-бары: Герцен, князь Кропоткин и граф Лев Николаевич Толстой. А падение может быть велие. Дай Бог, не в наше поколение... И первым делом будет мокро там, где ныне пышные центры интеллигенции, воздвигаемые на кровавопотелую потеху мужика"* (цитирую по журналу «Вестник Европы», 1911, № 1.с.345).

[72] *Панкратий*, епископ с 1945 г., в настоящее время (т.е. в 1964 г, — *А.Н.*) находится, кажется, в Америке и придерживается Анастасиевской ориентации.

[73] Я не описываю процесса вскрытия, во-первых, потому, что сам не присутствовал, а во-вторых, потому, что оно довольно подробно, вместе с протоколом вскрытия, описано в книге: *Горев Мих.* Троицкая лавра и Сергий Радонежский: Опыт историко-критического исследования. М., 1920. (М.М.Горев — бывший священник Галкин).

[74] Действительно, вопрос об эзотеризме и экзотеризме особенно подчеркивается в теософской и антропософской литературе: у Р.Штейнера на этом основывались почти все его работы. Флоренский говорил на эти темы с большой осторожностью, но и он признавал педагогичность постепенного раскрытия глубоких истин. И это справедливо. Если мы за Буало и Ломоносовым признаем, что нельзя с разными людьми и в разных ситуациях говорить одним языком даже о бытовых вещах, то еще более необходимы осторожность и педагогическая выдержка в беседах на философские и богословские темы.

[75] В своих воспоминаниях я уже говорил о замечательном даре слова, которым обладали некоторые профессора Академии и который развивался у них в двух направлениях — в искусстве лекции и искусстве проповеди. Но и там, и тут преобладала мысль. Художественными их делало искусство произношения — интонация, паузы, акцентирование отдельных моментов, повышение и понижение голоса, умение передать чувства самого говорящего, то есть чисто ораторские приемы. Собственно художественной образности, такой, как на лекциях Н.И.Костомарова или В.О.Ключевского, было немного. Академические профессора избегали, словно бы боялись

«искусства слова», каким пользуются светские писатели и поэты. Об этом писал и профессор П.С.Казанский: *«Один знакомый предложил мне вопрос: «Отчего это из всякого звания выходят поэты, кроме только духовного?» Дарования поэтические являются и в семинаристах, но они подавляются долблением уроков, сочинениями на темы, не дающие пищи ни чувству, ни воображению, той однообразной средой, в которой проходит жизнь семинариста, теми нуждами и лишениями, которым он подвержен, одним словом — всею прозою его жизни. Если прибавить к этому, что знакомство с поэтами, даже первоклассными, не только затруднительно, но и преследуется, как вредное для нравственности, то нечему дивиться, что из духовных не является поэтов. Пишут стихи только по заказу. Нет предметов вблизи, способных вдохновлять; поэтический талант проявляется сатирами на начальство, а это грозит исключением из семинарии»* (*Беляев А.А.* Профессор МДА П.С.Казанский и его переписка с архиепископом костромским Платоном, вып. 1. Сергиев Посад, 1910, с. 17).

Правда, сказанное относится к первой половине XIX в., когда, как говорит тот же Казанский, *«русской словесности учили нас на латинском языке»*, но вот пример из начала XX в. Некто И.Бачалдин в 1910/11 г. предложил воспитанникам Вологодской духовной семинарии ответить (анонимно) на ряд вопросов по поводу их чтения. Из 485 учеников ответили 396, то есть 82%, и при этом выяснилось, что число любителей богословского чтения много ниже желающих знать светскую литературу, однако летом, на каникулах, им негде достать хорошую книгу, а зимой, если и достанешь, некогда прочесть (*Бачалдин И.* Что читают в духовной школе? Вологда, 1912). Замечание очень характерное. Летом в деревне семинаристы со своими родителями по горло заняты сельским хозяйством, да и нет на селе хороших библиотек, а зимой каждодневная зубрежка не оставляет времени для внеучебного чтения...

Конечно, в Академии все было несравненно лучше, но когда я стал заведовать студенческой библиотекой, в которой была прекрасно представлена вся современная художественная литература, то, просматривая карточки и беседуя с некоторыми студентами, мог убедиться, что, много читая по вопросам философии, богословия, истории, они с большинством наших классиков были знакомы весьма поверхностно, а литературу после 1900-х годов знали просто плохо. Конечно, бывали среди них и исключения. Но, в целом, у многих наших студентов был взгляд на светскую литературу как на какое-то балов-

ство или роскошь, без чего можно — а потому и должно — обойтись. Отсюда неодобрительное отношение к Флоренскому за его пристрастие к символистам, за лирические отступления в его «Столпе...», за цитирование стихов Вяч. Иванова. Некоторые студенты, прочитавшие почти все, написанное Флоренским, удивлялись его «Собранию частушек Нерехтского уезда Костромской губернии», изданному Костромской губернской ученой архивной комиссией в 1910 г. И уже почти никто из них не знал о маленьком сборнике его стихотворений «В вечной лазури», который он напечатал в типографии Троице-Сергиевой лавры в 1907 г.

Как жаль, что Флоренский, подобно Платону, оставил поэзию ради философии! Он был истинным художником слова. Это позволило быть ему художником и в своем философствовании, что так смущало его духовных рецензентов, заставляя находить способы оправдания Флоренского, как то видим в отзыве епископа Феодора на «Столп...»: *«Пусть даже некоторым соблазном в книге является необычный стиль писания, не принятый в богословских сочинениях способ выражения, особенный слог и строй речи: в этом сказался только индивидуализм* (по-видимому, индивидуальность. — *С.В.*) *автора и особенность его психики; на это просто не нужно обращать внимания при чтении, и это не умаляет по существу достоинств его книги...»*

[76] Упоминание архимандрита Серапиона (Машкина) в «челобитной» является анахронизмом, смысл которого остается для меня загадочным, поскольку я не спросил тогда об этом Глаголева. Дело в том, что Машкин (родился в 1854 г., окончил МДА в 1896 г.) скончался в 1905 г., так что никак не мог быть в 1914 г. *«сослан в дальние украинные города»* (см.: *Флоренский П.* Данные к жизнеописанию архимандрита Серапиона (Машкина). // Богословский вестник, 1917, № 2-3, с. 317-354). В самом конце сноски 7 на с. 337 этой публикации есть указание на статью архимандрита Никанора (Кудрявцева) о «Столпе...», в которой автор обвинил Флоренского в плагиате из неизданных сочинений Серапиона (Миссионерское обозрение, 1916, № 2, с. 253-257). Должен заметить, что во время моего пребывания в стенах Академии я не раз слышал подобное обвинение из уст противников Флоренского, особенно упиравших на то, что последний ссылается на труды Серапиона, хранящиеся у него после смерти автора в рукописях, но их не издает. По-видимому, указанной публикацией Флоренский решил после Февральской революции начать публикацию этих

трудов, которые по своему содержанию и направленности не могли увидеть свет при старом режиме.

[77] Дом Аксаковых сохранился. Он находится на Первомайской (б. Вознесенская) улице, и в нем помещается городской почтамт.

[78] *Павел Алеппский.* Путешествие антиохийского патриарха Макария в Россию в половине XVII в., вып. 1-5. М., 1896-1900.

[79] *Готье Т.* Путешествие в Россию. Глава XVIII, «Троица», была частично переведена на русский язык и напечатана в журнале «Русский художественный архив», вып. 3, 1894. Приведу несколько отрывков из этой публикации.

«Ничего не может быть очаровательнее этих золоченых шпилей и куполов, посеребренных снегом и поднимающихся над ансамблем зданий, расписанных яркими красками. Это производит иллюзию восточного города.<...> День уже склонялся к вечеру, когда мы вошли в Троицкий собор, где находится рака святого Сергия. Таинственный полумрак еще более выделял великолепие храма.<...> Иконостас, эта гигантская стена из золота и драгоценных камней, поднимался до свода с золотистыми искорками и радужными переливами. Около иконостаса, вправо, привлекало внимание целое море света: множество лампад, отражаясь в золоте, серебре и позолоте, образовывали зарево. Это была рака святого Сергия, скромного анахорета, который покоится тут в такой богатой гробнице, какой не имеет ни один император. Гроб серебряный, вызолоченный, балдахин из чистого массивного серебра поддерживается четырьмя колоннами из того же металла — дар царицы Анны. Вокруг этой массы серебра, струящей потоки света, мужики, странники, верующие всякого рода в благоговейном экстазе молились, крестились и предавались религиозным обрядам русской церкви.

Все это составляло картину, достойную Рембрандта. Ослепительно сверкающая гробница бросала на этих коленопреклоненных крестьян брызги света, заставляя блестеть то голый череп, то бороду, то целый профиль, между тем как весь корпус тонул в тени и терялся под грубой толстой одеждой. Тут были великолепные головы, озаренные усердием и верой.<...> Насладившись этим интересным зрелищем, мы осмотрели иконостас. Невозможно себе представить, сколько драгоценностей вера, усердие или раскаяние, надеющиеся купить небесное прощение, собрали в продолжение веков на этом иконостасе, этом колоссальном экране, настоящей копи драгоценных каменьев.

Сияния на некоторых образах выложены алмазами; сапфиры, рубины, изумруды, топазы составляют мозаику на золотом одеянии Богоматери, белый и черный жемчуг обрисовывает на нем разводы, а когда уже недостает места, то ожерелья массивного золота, прикрепленные с двух концов, как ручки у комода (цаты. — *С.В.*), *служат оправой для алмазов огромной величины. Не хватает смелости счесть стоимость всего этого: наверное, она превосходит несколько миллионов. Без сомнения, совсем простая Мадонна Рафаэля гораздо красивее такой разукрашенной греческой Богоматери, но все же это баснословное азиатское и византийское великолепие производит свое действие...»*

По-видимому, Т.Готье не посещал ни литургии, ни всенощного бдения, а слышал лишь краткий молебен у раки, когда служит один иеромонах и на клиросе поет один дежурный певчий. Далее он описывает посещение иконописной мастерской, рассуждает, следуя А.-Н.Дидрону, о византийской иконописи и ее влиянии на русскую, а в конце, несмотря на свое несочувствие византийскому канону, отметив некоторые новые веяния в иконах, создаваемых лаврскими иконописцами, говорит: *«Эта манера, более нежная и приятная, не имеет недостатка в приверженцах, и образцы ее можно видеть во многих русских современных церквах. Но мы, со своей стороны, гораздо более предпочитаем старинную методу, которая идейна, религиозна и декоративна и имеет за собой престиж форм и окраски вне обыденной реальности. Этот символический способ представлять идею посредством фигур, определенных заранее, как Священное Писание, в котором нельзя изменить ни одного слова, кажется нам удивительно подходящим для украшения храма. В самой своей точности она еще дала бы возможность великому художнику отличиться возвышенностью рисунка, величием стиля и благородством контуров»*. (Ср.: *Готье Т.* Путешествие в Россию. М., 1990, сс. 268, 272-273, 284. — *А.Н.*)

80 Последняя строка стихотворения «О имени некоего Люция, вырезанном на мраморе». Перевод В.Брюсова (Русская мысль, 1911, № 3).

81 Еще несколько слов о Лавре в 1941 году. Тогда я работал в музее. С утра до вечера, а иногда даже и ночью, мы занимались торопливой упаковкой самых ценных экспонатов для вывоза их в безопасные места. Без конца мне приходилось печатать списки назначенных к эвакуации вещей, письма и отчеты наркому и проч. Работники музея едва волочили ноги и мечта-

ли только об одном: отоспаться! Но часто и просто поспать не удавалось, приходилось выходить на ночные дежурства.

Сюжного балкона Трапезной церкви видно, как в черном небе где-то без конца беззвучно полыхают взрывы, иногда разгорается зарево далеких пожаров. Это немецкая авиация бомбит Москву. А у нас — настороженная тишина. И Лавра, и весь город погружены в полный мрак затемнения. На светловатом звездном небе величественно и строго вырисовываются силуэты зданий и вековых лип. Золотые купола и кресты замазаны белой краской, на куполе Троицкого собора — полотняный чехол. На колокольне, в просвете арок, видны фигуры дежурных с биноклями, долетают отдельные слова их приглушенных разговоров. Покой. Звездное небо... И мысль о войне оборачивается мыслью о безумии, охватившем человечество, перед которым особенно остро ощущаешь и собственную беззащитность, и беззащитность человеческой культуры, всех ее сокровищ, накопленных в предшествующие тысячелетия.

А утром, возвращаясь с дежурства домой, видишь бешено мчащиеся грузовики и легковые машины с обезумевшими от ужаса полуодетыми людьми, спасающимися из Москвы и ищущими прибежища в окрестных деревнях...

Когда, наконец, все музейные ценности были упакованы, на десяти грузовиках ящики с экспонатами отправились в Москву, чтобы оттуда проследовать в Сибирь. Среди них была и рака с мощами преподобного Сергия.

Я предлагал директору музея оставить мощи и отправить одну раку, но он не согласился, потому что не мог решиться нарушить печати, наложенные на стекло чиновниками Наркомюста еще в 1919 г. Вызвать представителей из Москвы для этого нечего было и думать. Так преподобный Сергий вынужден был вторично спасаться от врагов в глубине России, как некогда живым спасался от набега татар...

Ultima vale

Воспоминания печатаются по беловому автографу, датированному 3.11.1938 г. и являвшемуся отдельной главой мемуарного цикла «Эрмитаж» (РГАЛИ, ф. 3127). Публикуются с незначительными сокращениями.

Жалченко Валентин Петрович (28.4.1918 — 15.7.1991), в 30-е гг. ученик школы им. РККА; жил с семьей по ул. Комсомольская, д. 105-а. В 1941 г. закончил экстерном МГПИ им. К.Либкнехта по специальности история, после чего был мо-

билизован; в армии находился до 1969 г., вышел в отставку в звании подполковника (нач. штаба Гражданской обороны в г. Петропавловск-Камчатский). Вернувшись в Загорск, работал по линии партии в НИИПК. В названии игра слов: его можно прочесть как «последнее прощай» и как «далекому Вале».

Из дневника 1943-1948 гг.

Тексты воспроизводятся по автографу, хранящемуся в РГАЛИ (ф. 3127), с указанием на пропуски только внутри публикуемых фрагментов. Ниже приведены сведения об отдельных лицах, которые удалось собрать.

(с. 296) *Огнёва Софья Ивановна* (1857-1940), жена Ивана Фроловича Огнева (1855-1928), профессора МГУ, зоолога, родственница известного славянофила И.В.Киреевского. В Загорске Огнёвы жили на 2-м этаже дома Пивоваровых (ул. Пионерская).

(с. 323) *Чернов Николай Сергеевич* (наст. фамилия — Чернохвостов), преподаватель Константиновской школы, во время войны — инспектор Константиновского РОНО. В школах Загорска в 40-х гг. работали его сестры — Вера Сергеевна, Валентина Сергеевна и Елена Сергеевна Чернохвостовы. Дом Чернохвостовых находился на Болотной улице, напротив дома Машинских. Н.С.Чернов был одинок, все свое имущество завещал Константиновской школе, на территории которой и похоронен.

(с. 340) *Сухов Николай*, в 1934-1936 гг. учился в школе им. РККА, писал стихи; в середине 30-х гг. был арестован с компанией одноклассников.

(с. 344) *Кузнецова Елизавета Васильевна* (Владимировна?), преподаватель биологии в школе им. РККА в 1934-1938 гг., жила в Хотьково.

(с. 376) *Грушевская Татьяна Николаевна*, урожд. Бромлей, художница, двоюродная сестра В.А.Фаворского. Ее сестра работала в Мариинском театре.

(с. 397) *Дубова Наталья Владимировна*, вдова директора гимназии и сама директор женской гимназии; жила с мужем в мужской гимназии Сергиева Посада.

(с. 400) *Некрасова Евдокия Александровна*, урожд. Унковская (1872-1948), внучка адмирала И.С.Унковского и правнучка адмирала С.Я.Унковского, участника Трафальгарского сражения; художница-акварелистка, одна из первых женщин, учившихся в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у

С.А.Коровина (1858-1908) в качестве художника-любителя. Излюбленная тема — лошади. Участница литературно-философских вечеров в доме Л.М.Лопатина (1855-1920), где познакомилась со своим будущим мужем, врачом Сергеем Степановичем Некрасовым. До революции жила в имении в Тамбовской губ., затем в Москве. В 1936 г. ее сын построил дачу в Хотьково, куда она окончательно переселилась во время войны в 1941 г. и где умерла в 1948 г. Похоронена на Горбуновском кладбище.

(с. 401) *Крылов Лев Васильевич*, в 20-х гг. работал преподавателем профтехшколы им. Халтурина, затем в ремесленном училище г. Загорска и инженером в НИИ игрушки.

(с. 401) *Васильев Виктор Яковлевич*, в 30-х гг. ученик школы РККА, позже работал в райкоме комсомола, жил на Штатной ул.; его отец, Яков Евдокимович Васильев, был приказчиком.

(с. 403) *Духовская Софья Карловна*, урож. Тиль, двоюродная сестра художника В.А. Фаворского, по первому мужу — Решетникова, художница — выполняла силуэтные портреты; жила в доме Хвостовых на ул. Белой (затем — Красной, потом — Шлякова); в 30-е гг. бывала в Москве у Раевских.

(с. 403) *Ключарев Владимир*, в 1934-1936 гг. ученик школы им. РККА, писал стихи и погиб во время Отечественной войны; его отец, корреспондент газеты «Вперед», жил в Малинниках.

(с. 404) *Посошников Сергей Сергеевич*, ученик С.А.Волкова, участник войны, позднее работал в Загорске на Скобяном заводе.

(с. 432) *Виноградова Ольга Николаевна* (21.4.1879, Москва — 1950 или 1951, Загорск), помошник санитарного врача Сергиева Посада (Е.В.Вахмистровой). Жила в Сергиевом Посаде с 1919 по 1950 г. в доме Когтева (ул.Московская, 48; в настоящее время Проспект Красной Армии — угол Кооперативной). Муж — Виноградов Леонид, врач; в 1918 г. вернулся из германского плена и умер в 1919 г. Виноградова приехала в Посад с Софьей Эдуардовной Доман. Имела 2-х сыновей, Александра и Андрея (род. 1908 г., учился в 1 и 2 классах мужской гимназии, после окончания семилетки — в 5-й школе в Загорске, которую закончил в 1929 г.). Похоронена на Никольском кладбище в Сергиевом Посаде.

(с. 434) *Гуляницкий Сергей Феодосьевич*, мастер РУ, затем тренер хоккейной и футбольной команд г. Загорска.

(с. 436) *Соболев Михаил Васильевич*, студент МДА, затем преподаватель литературы в школе им. РККА. В Загорске жил на ул. Вознесенской, напротив дома Бабичевой (возле Дома пионеров). После войны принял сан, служил в церкви в пос.

Тарасовка, затем в Москве; умер в 50-х гг. Венчал С.З.Трубачева и О.П.Флоренскую.

(с. 439) *Савицкий Сергей Александрович*, сын врача-терапевта, Савицкого Александра Львовича, заведовавшего Скорпусковской амбулаторией до 1927 г.; в 1934-1936 гг. учился в школе им. РККА в 8-10 классах, был арестован с группой одноклассников, получил срок вместе с остальными, но вернулся из лагерей. Умер в начале 90-х гг.

(с. 439) *Шингарев Михаил Михайлович* (род. 1909), сын врача Михаила Николаевича Шингарева, с 1918 по 1929 г. заведовавшего терапевтическим инфекционным отделением в Сергиевской (быв. Земской) больнице, затем административно высланного.

(с. 441) *Комаровский Федор Владимирович* (род. 1929), младший сын графа Владимира Алексеевича Комаровского, родственник Трубецких; закончил Машиностроительный техникум в г. Мытищи, в конце 1950-х — начале 1960-х гг. работал на ЗОМЗе, затем в г. Риге.

(с. 467) *Петрова-Яловецкая Вера Анатольевна*, актриса МХАТа, дружила с В.И.Качаловым; в 20-х и 30-х гг. вела драмкружки в Учительском институте и в школах г. Загорска.

ПИСЬМА С.А.ВОЛКОВА

I. Письма к В.П.Жалченко

Текст писем С.А.Волкова к В.П.Жалченко воспроизводится по машинописным оригиналам, хранящимся в подфонде мемуариста (РГАЛИ, ф. 3127) с исправлением опечаток, о наличии которых пишет сам автор. Содержание опущенных приложений указано в примечаниях.

1. Адрес: Москва, ул. Каляевская, д.5, кв. 187. Первое из сохранившихся писем в архиве В.П.Жалченко и, по-видимому, открывающее новый период отношений между ними.

2. Конверт не сохранился.

[1] Родители В.П.Жалченко жили в г. Загорске по Комсомольской улице (ныне Вифанская), д. 105-а.

[2] *Иванов Вяч., Гершензон М.О.* Переписка из двух углов. Пг., 1921.

[3] *Александр Блок и Андрей Белый.* Переписка. // Летописи, кн. 7. М., 1940.

[4] *Флоренский* Кирилл Павлович.
[5] *Мишин* Борис Александрович.
[6] Намек на героев комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль».
[7] Т.е. «Servo» — сокращение от «Сер[гей] Во[лков]». Далее— список авторов и книг научно-фантастического жанра, стихотворение «Я хотел бы взглянуть через тысячу лет», датированное 14.11.32 г. и ряд коротеньких стихотворений 1961-1964 гг. С.А.Волкова — «Молодость вершит...», «Кругом осенняя мелодия...», «И в повседневных мемуарах...», «Усталые, осенние, седые васильки...», «Плывут заливчатые трели...», «Скупой судьбой...», «Вам позволят, вам прикажут...», «Прошло немало дней бывалых...», «Плывут, зовут благоуханья...», «Рвется ввысь из плоти дух наш пленный...», «Душа моя ушла в глубокий лес...», «И мысль ведет рукой уверенной...» и др.

3. Адрес: Москва, ул. Каляевская 5, кв.187. На открытке: «Неизвестный художник. Рисунок с острова Бали».
[1] *Брюсов В.* Великий ритор. Жизнь и сочинения Децима Магна Авсония. // Русская Мысль, 1911, № 3, с.1-48. Там же, с отдельной пагинацией (с.1-6) приведены переводы избранных стихов.

4. Конверт не сохранился.

[1] **«Седмицы человеческой жизни»**

Маленький мальчик, еще неразумный и слабый, теряет
Первых зубков своих ряд, чуть ему минет семь лет;
Если же Бог доведет до конца семилетье второе, —
Отрок являет уже признаки зрелости нам.
В третье у юноши кроется быстро, при росте всех членов,
Нежным пушком борода, кожи меняется цвет.
Всякий в седмице четвертой уж в полном бывает расцвете
Силы телесной, а в ней доблести знак видят все.
В пятую время подумать о браке желанном мужчине,
Чтобы свой род продолжать в ряде цветущих детей.
Ум человека в шестую седмицу вполне созревает,
И не стремится уж он к неисполнимым делам.
Разум и речь в семь седмиц уже в полном бывают расцвете,
Также и в восемь, — всего вместе четырнадцать лет.
Мощен еще человек и в девятой, однако слабеет
Для веледоблестных дел слово и разум его.

Если ж десятое Бог доведет до конца семилетье,
Ранним не будет тогда смертный конец для него.

(Пер. В.В. Латышева. История греческой литературы, т. 1. М.-Л., 1946.)

Вот видите, какая замечательная программа жизни. Вы переживаете седьмую седмицу — это «акмэ» — расцвет, вершина, восьмая ее такое же продолжение. И девятая еще не плоха — сужу по себе. А для меня прошло более половины десятой. И все же, благодарение Богу, я не жалуюсь ни на что, кроме только некоторого недомогания. А дух еще бодр. И я по-стариковски радуюсь тому, что украшает старость — непрестанному насыщению мудростью веков, которая мне теперь дороже всех утех юности. Только бы пореже и поменьше уставать и болеть... S.

[2] От лат. senilia— старческое, стариковское.

[3] Намек на одноименный роман конца 40-х или начала 50-х гг., основанный на псевдопатриотической фальшивке о попытках воздухоплавания в Московской Руси XVI в.

[4] См.: *Андерсен Г.-Х.* Калоши счастья.

[5] *Акутагава Рюноске.* В стране водяных. Пер. А.Стругацкого. М., 1962.

[6] Далее — стихотворение «Через тысячу лет», стихи 1941-1942 гг. («В уединении пустынь...», «И вот эти золотые облака...», «Отчего я люблю увяданье...», «Сгустились вечерние тени...», «Только ясно жить!», «Проходят люди, точно тени...», «Мой юный друг — энтузиаст!», «Я сам и все мои писанья...» и стихотворение «Седмицы человеческой жизни» Солона в переводе В.В.Латышева.

5. Адрес: Москва, Каляевская д. 5, кв.187. На открытке с репродукцией картины К.А.Сомова «Арлекин и дама» и подписью С.А.Волкова: «Это — один из любимейших моих художников... S».

6. Адрес: Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная 20, кв. 25. Поскольку в письме упоминается письмо В.П.Жалченко от 30 мая 1965 г., явившееся ответом на письмо С.А.Волкова с открытками, его отъезд на Камчатку произошел не позднее апреля 1965 г.

[1] Ученики С.А.Волкова в первой половине 30-х гг.

[2] *Анна Григорьевна Достоевская*, вдова писателя.

[3] Т.е. аспирантами Московской духовной академии, которым С.А.Волков преподавал русский язык.

[4] Далее идет перечисление названий шестидесяти книг, в том числе и других издательств.

7. Адрес: Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная 20, кв. 25.

[1] Вариант: «в глупь стихий» (прим.С.А.Волкова).

[2] Намек не объяснен.

[3] Значение слова не установлено.

[4] За этим следует перечень приобретенных и прочитанных книг.

8. Адрес: Петропавловск-Камчатский, Партизанская 30, кв.16.

[1] Т.е. в стенах Московской духовной академии.

[2] Т.е. в родительский дом В.П.Жалченко.

9. Адрес: Петропавловск-Камчатский, Партизанская 30, кв.16. На открытке с репродукцие картины М.А.Врубеля «Пан». Это — последнее письмо С.А.Волкова В.П.Жалченко.

II. Письмо протоиерею А.Д.Остапову

Протоиерея, профессора МДА Алексея Даниловича Остапова, Секретаря Ученого совета и заведующего Церковно-археологическим Кабинетом Московской духовной академии, с С.А.Волковым связывала личная дружба и обоюдный интерес к истории православной Церкви. По-видимому, большая часть мемуаров Волкова, находившихся у Остапова дома, погибла при обыске органами КГБ на квартире Остапова сразу же после его смерти.

[1] См.: *Волков С.А.* Последние у Троицы.

Вехи

Печатается по авторской машинописи, имеющей заголовок: *Сергей Волков. Материалы для книги «Эрмитаж» (1913-1935 гг.). «Вехи». (Даты и события.)*, датируемой концом 1945 года, поскольку этот год указан в подзаголовке, а изложение событий обрывается на конце его осени. Содержит развернутый план воспоминаний с 1913 по 1919 год включительно и с 1935 по осень 1945 г. Соответствующий план, охватывающий 1920-1934 гг., в бумагах С.А.Волкова не обнаружен, как не найден и так называемый «Московский дневник», упомяну-

тый им несколько раз, к которому относятся его справки по некоторым персонажам, на отдельном листке вместе с подготовительными материалами и выписками для воспоминаний о МДА: они даны в тексте после перечня событий 1919 г. (*Веревкина, Гирс, Левковы, Липатовы, Матвеевы, Спасские* и пр.).

Собственно тексту в оригинале предшествует любопытная автобиографическая справка, впоследствие дополненная и расширенная Е.А.Коневым, увязывающая воедино хронологию и топографию жизни С.А.Волкова, которую я привожу, опуская даты рождения и смерти.

Места жительства: 1) село Маврино Московской губ., Богородского уезда, Ивановской волости (1899-1904 гг.); 2) Черкизово под Москвой (весна-осень 1904 г.); 3) с. Савино и с. Петровское, Московской губ., Богородского уезда (1905 г.); 4) с. Огуднево Московской губ., Богородского уезда (1906-1909 г.); 5) в Сергиевом Посаде (Загорске) Московской губ./обл. — с 1909 г. и до конца жизни. Кроме того: 6) Москва, Волков пер. 1 (лето и осень 1919 г.) и 7) быв. Гефсиманский скит (МООСО) (осень, зима, весна 1942/1943 г.).

В Сергиевом Посаде/Загорске: 1) Болотная ул, собственный дом (1909-1913 гг.); 2) Вознесенская ул., дом О.Пикуновой (1914-1917 гг.); 3) Штатно-Всехсвятская ул., дом Панкратовых (1918-1919 гг.); 4) Келарская наб., дом Жеховых (1919-1927 гг.); 5) Проспект Красной Армии, 4-й Дом Совета, кв. 13 (один год), затем кв. 11 — с 1927 г. и до конца жизни.

Учился: 1) в Огудневской начальной школе (1908-1909 гг.); 2) в Сергиево-посадской мужской гимназии (1909-1917 гг.); 3) в Московской духовной академии (1917-1919 гг.).

Работал: 1) зав. библиотекой Военно-педагогической академии (позднее — Военная академия им. Фрунзе) (лето и осень 1919 г.); 2) зав. сначала районной, затем центральной библиотекой Сергиева Посада (1919-1921 гг.); 3) преподавателем русского языка и литературы в средних школах г. Загорска (им. Горького, им. КИМ, им. РККА) (1920-1936 гг.); 4) преподавателем истории СССР, русского и латинского языков на Загорских киноконкурсах, в Медсестринской школе, на Курсах директоров и мастеров социалистического труда при МО-ОМП г. Загорска (1936-1940 гг.); 5) старшим научным сотрудником Музея народных художественных ремесел и Загорского гос. музея-заповедника, преподавателем русского языка и литературы на Рабфаке Наркомзема в г. Загорске (1940-1941 гг.); 6) зав. делопроизводством эвакогоспиталя № 9895 (сентябрь-октябрь 1941 г.); 7) преподавателем русского языка, истории и

Конституции СССР в Школе-интернате инвалидов ВОВ МОOCO (1942-1943 гг.); 8) преподавателем русского языка и старшим преподавателем Загорского ремесленного училища № 22 (1943-1954 гг.); 9) заведующим канцелярией Московской духовной академии (1954-1960). С 1.11.60 г. — пенсионер по возрасту и преподаватель русского языка в МДА по договорам.

(с. 523) *Гильберт Евгения Вильгельмовна*, дочь Гильберта Вильгельма Гвидовича, провизора в Сергиевом Посаде; работала у отца в аптеке в 1919 г.

(с. 525) *Матвеев Николай Васильевич* (1910 — конец 1980-х гг.), ученик С.А.Волкова; руководил хором Рождественской церкви в Загорье, затем — в церкви в пос. Тарасовка, позже — в церкви Всех скорбящих радость на Б.Ордынке в Москве; известный московский регент; в 1960-70-х гг. выходили пластинки с записями его хора, в котором пел И.С.Козловский.

(с. 529) *Вознесенский Леонид Рафаилович*, врач-невропатолог; в 1936 г. в бывшем Убежище Красного Креста в Загорске организовал поликлинику для детей от 1 года до 14 лет, ввел участковую систему обслуживания. В годы Отечественной войны — временный консультант в госпиталях 2897 (МООСО) и 2898 (Абрамцево).

(с. 529) *Рождественский*, врач-терапевт, в 1937 г. работал в быв. Земской Сергиевской (1-й Загорской) больнице.

(с. 530) *Гиацинтова Надежда Петровна*, урожд. Рязанова (1863-1940), теща П.А.Флоренского. До 1915 г., будучи женой управляющего имением Шиловских, жила в с. Кутловы Борки Рязанской губ. Занималась выпечкой просфор, имела 4 сыновей и дочь. Похоронена на Никольском кладбище Сергиева Посада.

(с. 536) *Вахмистрова Елена Васильевна* (1889-1968) на протяжении 40 лет (с 1918 г.) работала санитарным врачем Сергиевского, затем Константиновского и Загорского районов, заядлая охотница. В 1937 г. арестована как «вредитель» («отравление колодцев»), Тройкой НКВД приговорена к 8 годам ИТЛ; реабилитирована в 1944 г., после чего продолжала работать по специальности в Загорской санитарно-эпидемиологической станции до 1967 г.

Автобиография

Воспроизводится по ксерокопии оригинала, хранящегося в личном деле С.А.Волкова архива МДА.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

СОДЕРЖАНИЕ

Научное издание

Сергей Александрович Волков

ВОЗЛЕ МОНАСТЫРСКИХ СТЕН

Воспоминания. Дневники. Письма.

Публикация, вступительная статья, примечания и указатель
А.Л.Никитина

Оформление А.Ю.Никулина

Подписано в печать 07.12.99 г. Формат 84x108 1/32.
Гарнитура "Times". Бумага офсетная. Печать офсетная.
Печ. листов 19,0. Уч.-изд. л. 36,9. Заказ № 02282
Тираж 1000 экз.

“Издательство гуманитарной литературы”
117049, Москва, Крымский вал, д. 8.
ЛР № 062452 от 24.04.1998 г.

Отпечатано в типографии ЗАО “ДОССОМ”
129085, Москва, Б. Марьинская ул., д. 9.

